

А.С.СЕРАФИМОВИЧ

Александр Серафимович Серафимович

Том 2. Произведения 1902–1906

(Собрание сочинений в семи томах #2)

Во второй том вошли произведения А. С. Серафимовича 1902–1906 годов. До середины 1902 года писатель жил в провинции и печатался по преимуществу в провинциальных газетах. С переездом в Москву в августе 1902 года расширяются литературные связи Серафимовича, он входит в круг московских литераторов, становится активным участником литературного объединения «Среда». Напряженная работа в «Курьере», для которого Серафимовичу приходилось писать заметки, фельетоны почти каждый день, продолжалась до июля 1903 года. Главным местом публикации произведений Серафимовича с 1903 года становится издательство товарищества «Знание», во главе которого к этому времени стоял А. М. Горький.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Рассказы	0006
Степные люди *	0006
Епишка *	0045
Жара и грузчики *	0061
На курорте	0079
Преступление *	0079
Случай *	0142
В снегу *	0161
В бурю *	0183
Некогда *	0212
На берегу *	0232
Лихорадка *	0257
В пути *	0275
Наденька *	0304
Вечеринка *	0342
Обман *	0351
У костра *	0370
Заяц *	0394
Обед *	0428
Сердце *	0445
Среди ночи *	0495
Похоронный марш *	0523
На Пресне *	0533
Погром *	0577
На мельнице *	0609

Мать *	0641
Востроносый *	0654
Бомбы	0666
На площади *	0683
Астрономия *	0689
Белая Глина *	0729
Сережа *	0747
Очерки, фельетоны и корреспонденции	0841
Заметки обо всем *	0841
Степная Вифсаида *	1089
Мертвый город *	1119
Комментарии	1132

**Александр Серафимович
Серафимович
Собрание сочинений в семи
томах
Том 2. Произведения
1902–1906**

Рассказы

Степные люди*

1

В Предкавказье свирепствовала чума на рогатом скоте, и, чтобы не пропустить эту страшную эпизоотию дальше на север, поставлен был кордон, растянувшийся на много сотен верст, с ветеринарными пунктами, через которые только и разрешалось прогонять гурты скота после осмотра его ветеринаром.

Казак Иван Чижиков с двумя товарищами служил в кордоне на посту у «Соленого колодца». Служба была нетрудная, но скучная и томительная. Кругом на сотни верст ни жилья, ни поселения, ни хуторов. Голая солончаковая степь тянется без конца и края с бугра на бугор, по балкам и оврагам. Изредка вдали зачернеет кибитка, разбитая калмыками-табунщиками, да пройдет косяк степных лошадей.

По целым дням лежал Иван на спине под шалашиком из бурьяна, где было нечем дышать, но по крайней мере не палили прямые

лучи солнца, лежал, подложив руки под голову, подняв колени, рассеянно, без слов мурлыча песню, или курил сигарки из горькой сухой травы за неимением табаку. Соскучившись лежать, Иван подымался, медленно, методически снимал с себя рубаху, порты и, оставшись в чем мать родила, садился на корточки и начинал разглядывать на свет свое серое от грязи и пота белье. Он разглядывал, разыскивая и убивая насекомых, серьезно, сосредоточенно нахмурившись, точно читал трудную и вместе увлекательную книгу. В шалашик заходили и два других казака, также молча раздевались, присаживались на корточки и так же начинали охотиться, лениво перекидываясь отрывочными фразами.

Изредка казаки шли к колодцу, доставали воды и начинали стирать осторожно, чтобы не расползлось, свое белье. Солнце немилосердно палит, но голое общество, сидя на корточках перед колодцем, сосредоточенно продолжает свое дело.

– Братцы, сказывают, нам нового етеринара пришлют.

Казаки некоторое время молча продолжа-

ют стирать.

– Брешут... давно говорят, а он все тут живет.

– Сказывают, кубыть, непорядки за им открылись: дюже уж шкуры дерет со скотопромышленников.

– А он, что ж, думаешь, дерет на себя одного, что ли? Посылает, кому следоваить.

– Этот черт, по крайности, хочь ругается только, а другого пришлют, так под суд пошлет. На Белоглинском кордоне двух казаков под суд отдали.

Снова молчание. Спины становятся под солнцем чугунно-красными. Вымыв белье, казаки растягивают его по бурьяну, и солнцем мгновенно высушивает. И опять нечего делать; все так же простирается палимая солнцем степь, так же высоко стоит белесовато-мутное небо.

Но большей частью казаки убивают время сном. Спят по целым часам, по целым дням, тяжело раскинувшись по земле, с побледневшими влажными лицами, открытыми ртами, и надоедливые мухи ползают и сосут хоботками в углу глаз, в носу, во рту, заставляя беспо-

койно мычать и стонать спящих. Спят казаки, и снится им станица, раскинувшаяся по горе. Внизу Дон с косами, песками, заливчиками; паром не спеша тянется по канату; на той стороне перелески дубового леса, луг, озера, мочажины. В станице свое хозяйство, базы, скотина, широкий двор, куры, ребятишки, баба... вся жизнь, полная привычного хозяйского уклада. Но почему-то они не пользуются этой жизнью, в которой только и есть смысл, а проводят день за днем среди безделья, одиночества и изнуряющего зноя. Почему? Ответа не было, а вместо того кто-то наваливался на них, и они в изнеможении, не будучи в состоянии проснуться, неподвижно лежали с тяжелым храпом, и мухи ползали по иссохшему рту и щекотали в носу. А кругом все тот же зной над иссохшей, истрескавшейся степью, то же побелевшее от жары небо, то же безлюдье, однообразие.

Иногда на казаков нападало беспричинное озлобление, и они с ожесточением начинали ругаться по самому малейшему поводу и без всякого повода.

– Эй, дьявол конопатый, почему на место

не ставишь ведро?

– Да ты што за цаца? Не можешь лишнего шага ступнуть? – сразу принимая вызывающую позу, останавливается небольшого роста с веснушчатым лицом Чижиков.

– Я те так ступну, аж жарко станет!..

– Мне и так жарко, – вон рубаха взопрела... так тебя и вот как!

Отборные скверные ругательства повисают над степью. Казаки изощряются в сквернословии, как виртуозы.

– Да ты што... ты грозить, што ль?.. – и Блинов подходит к Чижикову с угрожающе сдвинутыми бровями и толкает его.

– А ты што, бить? – говорит тот в свою очередь, придвигаясь к Блинову, и слегка сует ему кулаком в живот.

Пот льется с обоих; воспаленные от зноя глаза лихорадочно блестят, и солнце немилосердно жжет черные, точно обугленные, и теперь возбужденные влажные лица...

– Бугай!!.

Это, по-видимому, невинное слово является искрой в пороховом погребе: Чижиков кидается на Блинова, и они начинают бить друг

друга кулаками, тяжело дыша горячим, обжигающим воздухом, приговаривая отрывистые угрозы и ругательства.

Каждая станица носит какую-либо кличку, которая, как бы она невинна ни была сама по себе, считается очень обидной. Достаточно казаку сказать: «сургуч», «рак», «каланча», «в церкви сом оценился», «в чемодане попа удушили» и пр., чтобы он полез с кулаками. И это вовсе не от злобы, а скорее по традиции.

В станице, где жил Чижиков, в давнопрошедшие времена как-то ожидали приезда архиерея. Это было большим событием для патриархальной станицы, где все без исключения граждане ложатся с курами и встают с петухами, где на улицах, густо поросших колючкой, лопухом, репейником, с заходом солнца не встретишь живого человека, где отдаленность событий измеряется ярмарками и стрижкой овец. С самого утра бабы и девки в уродливых ситцевых кофточках, пестрых ярких юбках, щелкая семечки, казаки, старые и молодые, в мундирах, в «чекменях», в форменных фуражках, – все поглядывали на уезженную, пыльную дорогу, которая подыма-

лась за станицей на гору, заслонявшую горизонт; но там никто не показывался. Нащелкали груды семян, шелуха которых белела по всем улицам, немало выпили в ожидании водки, а архиерея нет как нет. Наступил вечер, всех утомило напрасное ожидание, как вдруг на горе по дороге показалось большое облако пыли. Измученные долгим ожиданием часовые-добровольцы кубарем скатились с колокольни и бросились оповещать народ, что показался архиерейский поезд. Все кинулись за станицу, взволнованные и торжественно настроенные, зазвонили в церкви, старики вышли с хлебом-солью, а молодежь стала палить из ружей. Но когда клубившееся по дороге облако подошло ближе, все увидели, что это было возвращающееся с поля стадо, и шедший впереди общественный бугай в избытке силы и страсти рыл землю копытами и рогами, подымая облака скрывшей его пыли. Добровольцев-часовых жестоко побили, хлеб-соль съели и все с горя напились.

Имел ли место в действительности такой случай, или нет, — неизвестно, но только с незапамятных времен достаточно было само-

му почтенному гражданину этой станицы сказать: «Ну, как бугая встретвали?» – чтобы привести его в ярость. Напоминание об этом событии, брошенное Блиновым, послужило непосредственным поводом к бою.

Третий казак, не принимавший участия в ссоре, бросился на обоих противников и, чтоб восстановить нарушенный мир, стал, сверхъестественно ругаясь, награждать кулаками того и другого:

– Дьяволы!.. белены объелись!..

Но обозленные бойцы кинулись на умиротворителя и начали совместно и беспощадно бить его, пока наконец все трое, изнеможенные, избитые, задыхающиеся, не остановились, продолжая еще некоторое время переругиваться и укорять друг друга, потом пошли к колодцу, промыли раны, замыли кровь и сели чинить разорванные рубахи.

Вечерело. Степь терялась в сизой мгле. На очистившемся небе понемногу высыпали звезды. Хотя степь до самой зари не могла охладиться от поглощенного за день жара и остывала, как стынущая печь, но это было единственное время, когда можно было ды-

шать. Казаки сидели около колодца, возле тлели и дымились кизяки, и над ними кипел котелок с пшеном.

Чижиков, охватив руками колени и положив на них подбородок, глядел в темнеющую степь одним глазом: другой у него весь заплыл сине-багровым кровоподтеком. Блинов лежал на боку, вытянувшись по жесткой земле длинным телом и тяжело сопя разбитым и вспухшим, как большая груша, носом. Умиротворитель на корточках мешал в котелке тихо кипевшее пшено, и, когда сквозь пепел тлеющего кизяка несмело пробивался огонек, он, дрожа по земле колеблющимся кружком, робко освещал склонившееся над котелком все в фонарях и ссадинах лицо кашевара.

Казаки не держат зла друг на друга. Как только прошел первый пыл боя, спустился вечер, кузнечики завели свою тонкую сверлящую песенку, стало легче дышать и в котелке, поплескивая, начала кипеть каша, – у заброшенного среди степи колодца снова наступила тишина и спокойствие.

– Да-а... пришел брат из Питенбурга, – рассказывает Блинов, все так же лежа на земле и

подперев голову рукой, – ну, на радостях выпили, почитай целую неделю гуляли, а ее не позвали. Народ гуторит: «Глядите, не позвали гулять, наделаетона вам делов». Ну, брат смелый был: «А, говорит, чтоб ей сдохнуть!» Глядь, а она тут как тут, глянула только на него глазами, ну, ничего не сказала. Хорошо. Об рождество у кума Прокопия гулянка была, брат был, и ее позвали. Сидят за столом, так брат, а так, супротив, – она. Вот брат и отставит рюмку, брешешь, – не влезешь! Только она отвернется, брат скорей за рюмку, а она опять тут как тут, шею вытянет, – брат опять отставит, так до трех разов. В четвертый не утерпел: сразу рюмку к рту, только стал опрокидывать, а она в рюмку шмыг! Он совсем с водкой и проглотил...

– А-а!.. вишь ты!..

– Ну, в горнице этого никто не заметил, а брат-то знает, что в ем сидит, да молчит, потому все одно уж не поможешь... Жарко в горнице, несть числа жарко, народу страсть набилось, и выпили все здорово. Вот вышел брат просвежиться. На дворе мороз ядреный, вышел он, лег и стал кататься по снегу. Про-

свежился немного, а его как кольнет изнутри. Он аж закричал: «Ой, што ты?» А *она*: «Посулил мне издохнуть, сам высохнешь». Ну, он пошел в горницу, напился в лоск. С тех самых вот пор и стал сохнуть, кашляет, одни мослы остались. Пришло лето, собрался раз брат на бахчу поехать, запрет маштака в дроги и поехал. Дело было к вечеру. Пока то да се, выехал, и ночь. Едет, темно, только-только што дорога при звездах маячит, глядь, а наискосок от дороги белое. Конь полыхнулся, храпит, ушьми сторожится, нейдет. Вдарил коня, конь дернул, а *она* – сиг к нему на дроги! Глядит брат, диковина! то конь легко бѐг, дроги легкие, на железном ходу, а то по щетку ногами в землю уходит, как в песок, кубыть сто пудов везет, весь вытягивается, ажно пар с него пошел. Чует брат, *она* позадь его на дрогах сидит, а не смеет оглянуться... Вот оглянулся, а у *нее* глаза, братцы мои, висять...

Рассказчик замолчал, поднялся и сел. В темноте неясно виднелись неподвижные фигуры слушателей.

– Ну?

– Тут брат память потерял. Нашли его на

другой день в буераке, лежит без памяти, возле конь стоит... И, братцы мои, диковинное дело: конь у брата вороной был, добрый конь, прямо сотню хочь сичас за него; глядим, а он весь побелел, в мыле, шатается...

– С натуги, стало быть...

– И за своего коня не признаешь, хочь шкуру с него сымай... А на брата как глянули, а он весь седой... Недолго, сердешный, маялся: через неделю закопали...

Кузнечики и сверчки по-прежнему сверлили воздух. Степь безмолвно и неподвижно простиралась в темноте. Вверху горели звезды. Кашевар сплеснул сбегавшую пену и снял котелок. Все трое уселись вокруг, достали деревянные самодельные ложки, хорошенько облизали их и стали носить кашу из котелка в рот, поддерживая ложку куском черного хлеба.

– Где же *она* теперича?

– Да там же, на хуторе.

– Чего же вы так?

– Да што ж с *ней* сделаешь? Возьмись за *нее*, так все семейство перепортит.

Казаки едят некоторое время молча, с шу-

мом втягивая губами воздух с горячей кашей.

– Теперича моя-то баба ждет не дождется, такая ее мать, – заговорил Чижиков, – письмо небось получила. И он крепко выругался, выражая удовольствие, что скоро увидит семью, родных, знакомых, хозяйство, знакомые места и наконец прекратится эта постылая жизнь в степи без дела и с постоянной думой о хозяйстве, которое день ото дня расшатывалось и хирело.

– Гляди, она тебе подарочек приготовила.

Казаки засмеялись. Чижиков потемнел и насупился. Звезды по-прежнему горели в темной вышине, одни подымались все выше и выше, другие спускались и пропадали за темным краем степи. Долго разговаривали казаки о ведьмах, о порче, о хозяйстве, о службе, о бабах, пока наконец не посветлело в одном месте небо и в степи не стало виднее.

II

Единственным нетерпеливо и долго ожидаемым событием, разнообразившим монотонную жизнь казаков, был прогон гуртов скота.

Вот на самом краю что-то зачернелось, ше-

велится и расползается по степи. Ближе, ближе... Видны уже конные на исхудалых, измученных лошадях с длинными, как змеи, ременными бичами, которыми они громко щелкают в воздухе, и рогатые головы крупного черкасского скота. Конные разъезжают по степи, подгоняют отстающих, бьют бичами и сердито покрикивают охрипшими, надорванными голосами:

– Ребята, гурт!..

Казакi вскакивают, как от электрической искры, высыпают из шалаша и, прикрыв ладонями глаза от слепящего солнца, жадно всматриваются в проходящий гурт. Подъезжают конные, приподнимают шапки.

– Здорово дневали.

– Доброго здоровья.

– Н-но и жарко, мочи нет.

– Тепло... Это откеда же гурт гоните?

– Это, милый человек, из благополучных местов.

– Оно и видно из благополучных: вон сивый бык к вечеру протянет ноги.

– Что ты! Что ж мы себе лиходеи, что ли: один бык заболел, все стадо пропало.

– А как ежели благополучно, так гоните через етеринарный пункт, потому нам строго-настрого не приказано пропускать скот.

– Нельзя ли у вас маленьчко отдохнуть в шалашике?

– Пожалуйте.

Скот стоит, понунив головы. Гуртовщик слезает с лошади, отирая катящийся с лица пот и расставляя ноги, потом, согнувшись, пролезает в шалашик. Казаки пролезают за ним. Появляется водочка.

– Ну, как по газетам слышно, как теперича агличанка?

– Агличанка теперя молчит, а вот будто Китай подымается. Пожалуйте по рюмочке! Как же, господа честные, с гуртом будем?

– Да абнакновенно: к етеринару.

– По пятакку с головы?

– Как возможно! Мы присягали.

– По рюмочке пожалуйста!.. По шесть копеек, вот как перед богом.

– Покорно благодарим. Беспременно на пункт вам гнать придется.

– Милости просим... Вот мать пресвятая богородица, чтоб не сойтить мне с этого места,

одна рубаша на плечах осталась... семь копеек...

– Мы душой рады для хорошего человека, – для хорошего человека отчего же не сделать?.. Главное, присягали, присяга... Опять то сказать: себя оберегаем, потому вы прогоните гурт, станет, упаси господи, скотина падать, а у нас там хозяйство, своя скотина. Опять же етеринар... и не увидишь, наскочит глазастый дьявол, как черт ему говорит...

Долго в шалашике слышится: «по рюмочке... покорно благодарим... главное, присяга... потому для доброго человека»... Наконец и гуртовщик и казаки вылезают из шалашика распаренные, красные, как из бани, с посоловелыми глазами. Казаки считают скот и получают по двугривенному с головы. Конные снова разъезжают по степи, хлопают бичами, и гурт уходит.

В виде разнообразия иногда наезжает ветеринар с пункта. Он с места начинает кричать и страшно ругаться.

– Это что такое?.. Да тут гурт целый прошел, следы кругом...

– Никак нет, вашскблагородие! Это про-

шлого месяца, што на пункт к вашему вашскблагородию заворотили который...

– Врете, мерзавцы: следы-то свежие, а через пункт за эти дни ни одной головы не прошло.

– Слушаем, вашскблагородие! – говорят казаки, держа под козырек и прямо и смело глядя ветеринару в глаза с таким видом, как будто хотели сказать: «Хоть режь, а мы не виноваты».

– Стною в тюрьме мерзавцев!.. Сами себя ведь, подлецы, губите. Дома-то ведь скотина есть? Ведь присягали вы, негодяи, так вас и этак!..

– Так точно, вашскблагородие, есть скотина, по тому самому и оберегаем себя... а главное, што как присягали и присяге своей по гроб жисти...

Долго кричит ветеринар до хрипоты и потом уезжает. Казаки провожают его, и их невинные, покорные, безответные лица широко расплываются...

– Ишь расхорохорился, носастый черт!.. мало загребают.

Казаки знают, что, если ветеринар и не

пропускает за взятку без осмотра скота, зато он всегда может на больший или меньший срок задержать здоровый скот и тем причинить гуртовщику огромные убытки. Понятно, что последний предпочитает откупиться.

Ветеринар уезжает, и опять зной, скука, безделье, побуревшая степь, мертвые солончаки, марево и столбы пыли.

Так провел Иван Чижиков свою службу. Наконец подошел срок. Собрал он свои пожитки в сумочку, зашил в тряпочку и повесил на гайтане на шею тридцать семь рублей сорок девять копеек, собранные им за службу; перекинул через плечо старую шинелишку, сумку, взял пику, помолился и отправился степью.

III

Среди бесплодного солонцеватого степного пространства, над которым стоит огромное, горячее, мутное небо, виднеется затерянная человеческая фигура.

Куда ни глянешь, везде истрескавшаяся сухая земля, горький, жесткий полынок, бурые обнаженные плешины глинистых солончаков, на которых ничего не растет. Сухой зной-

ный ветер ходит по степи, и степь курится пылью, как пожарище. Уходя верхушками в молочное небо, ходят, крутятся, черные смерчи. Мелкая, едкая, горячая, иссушающая пыль лезет в рот, в нос, в уши идущему человеку, покрывая серым налетом волосы, исхудалое, почерневшее от загара лицо, по которому ползут, мешаясь с грязью, капли пота, старую шинель и холщовую сумку, перекинутые через плечо, форменную казачью фуражку на голове, засаленную и затрепанную, и короткую черную пику с сияющим на солнце острием.

Зной струится и колеблется над буграми. Неутолимая жажда мучает и палит. На самом краю степи вдруг показывается длинной полосой вода, неясные силуэты деревьев, ветряных мельниц, строений, маня к себе покоем, отдыхом и свежестью. Немного погодя эта светлая полоса воды отделяется от горизонта вместе с силуэтами деревьев, подымается, держится некоторое время на воздухе, тает, и опять везде одна голая, сожженная, безлюдная степь.

С усилием передвигает казак побуревшие

от солнца, от горького полыня сапоги, то и дело перекладывая с плеча на плечо шинель, сумку и пикку, и оттирает катящийся с лица пот.

Идет он уже второй день. Второй день его немилосердно палит солнце, обжигает горячий ветер, ест пыль, и кругом, насколько глаз хватает, курится, как пожарище, степь.

«Приду домой, перво-наперво полведра старикам, ребятишкам гостинцев, бабе платок...» При воспоминании о бабе лицо у Ивана разъезжается... «Н-ну... да-а... Полведра четыре рубля пятьдесят копеек... Избу в нынешнем году перекрыть бы... пару бычков... молодых дюже надо прикупить...» Как наяву, стоят базы, навесы, плетни, скирды.

Он вздыхает, останавливается и оглядывает степь: сизый полынок, горелая изжелта-бурая трава, между которой сквозит потрескавшаяся земля, обманчивое марево и одинаковая, однообразная степная даль. И в этой дали блестит полоса воды настоящей, а не марево. Возле ни деревьев, ни кустарников, ни зелени; берега скучны, пустынные и плоски; белеет на солнце отложившаяся соль.

Иван, изнуренный и усталый, пускается дальше, не надеясь уже когда-нибудь дойти до жилья или до места, где бы можно было передохнуть.

На горизонте обозначилась черная точка. Нельзя было разобрать – человек это, лошадь или бугор. Но немного погодя темное пятнышко обозначилось яснее, стало приближаться, и через минуту Иван разглядел, что это был всадник. Он скакал прямо на Ивана. Иван остановился и стал ждать. Великолепный степной скакун золотистой масти стлался над самой землей. Старая, в морщинах калмычка в синих штанах, с выбившимися из-под шапки жидкими седыми косичками, сидела на нем верхом. Проскакивая мимо Ивана, она слегка задержала лошадь, а Иван крикнул ей, махая рукой:

– Эй, бачка, постой! Нет ли баклажки с водой? Смерть пить хочется!

Калмычка на скаку перегнулась к нему, странно взмахнула рукой; в ту же секунду в воздухе со свистом развернулся аркан, и, прежде чем успел опомниться казак, волосяная петля мгновенно стянула его поперек, ту-

го притянув к туловищу руки. Калмычка перекинула ногу через натянувшийся от подпруги аркан, дико гикнула, и лошадь понеслась карьером. Натянувшийся, как струна, аркан с размаху кинул казака о землю и поволок за бешено мчавшейся по степи лошадью.

Оглушенный, не понимая, что все это значит, казак тянулся и вертелся на конце аркана, как круглое бревно. То он тащился на спине, и солнце сверху ярко било ему в глаза; то перед ним мелькали откидывавшиеся задние лошадиные ноги, развевавшийся хвост и раздувавшиеся синие штаны; то он ничего не видел, тащился ничком, и иссохшая трава и потрескавшаяся, пышавшая жаром земля сдирали с лица кожу, рвала рубаху, штаны, шинель. Шапка с него свалилась, пика выпала. Он бился о землю головой, ногами, грудью, спиной, животом, переворачивался, крутился, задыхаясь, не будучи в состоянии крикнуть и теряя сознание.

А старуха с диким воем неслась, подпрыгивая и хлопая босыми ногами по начинавшим уже взмыливаться бокам лошади. Она выкрикивала дикие слова, и горячий ветер трепал

ее широкие синие штаны, растрепанные ко- сички жидких седых, выбившихся волос и гу- стую гриву стлавшегося по земле скакуна. Старуха не оглядывалась назад, но чувствовала, как тянулся и дергался у нее под ногой ар- кан, волочивший за собой казака.

Уже потемнела золотистая шея скакуна, белая пена клочьями летела назад, и сквозь широко раскрытые розовые ноздри вырыва- лось тяжелое дыхание.

Впереди показалась котловина. Калмычка направила туда лошадь и, опрокинувшись на спину, что есть силы натянула поводья. Ска- кун закрутил головой и, роняя пену и оседая на задние ноги, с трудом остановился. Сзади недвижно лежал на конце тянувшегося змеей по земле аркана туго стянутый петлей, изо- дранный, в лохмотьях, окровавленный чело- век.

Калмычка спрыгнула на землю, привяза- ла конец повода к передней ноге лошади и, бормоча и выкрикивая что-то, подошла к неподвижно лежавшему казаку. Она схвати- ла его за ноги, с усилием потащила, и голова казака с запекшейся на изодранном, исцара-

панном лице кровью безжизненно переваливалась по земле из стороны в сторону.

– Будь ты проклят, волк лютый... издыхай, как собака, и пусть черви сожрут тебе все нутро.

И калмычка продолжала тащить казака, часто дыша, и пот, смешиваясь с грязью и пылью, сползал по ее загорелому, темному, как дубленая кожа, морщинистому лицу и падал на открытую, такую же дубленую грудь. Калмычка поминала своих детей, свою кибитку, скотину, лошадей... Упоминала про железную дорогу, про больших начальников и лютых волков.

Ей было пятьдесят восемь лет, и она помнила те времена, когда калмыки вольно кочевали со своими кибитками по степям; а теперь их согнали в станицы, предлагают заниматься земледелием и забирают сыновей на службу. Нужно строить избы, справлять сыновей в полк, покупать шинели, мундиры, седла, пики, шашки, белье. Нужно было много продавать, чтобы иметь на все деньги.

Приехал раз купец покупать скот. Калмыки согнали все, что можно было продать:

лишних лошадей, баранов, скот. Купец осмотрел, поторговался, поладил, угостил водкой, достал из кармана шестьсот сорок девять рублей тридцать копеек новенькими кредитками, вручил калмыкам, согнал скот и уехал.

Часть денег старуха спрятала, а остальные раздала членам семьи для покупок. Но при первой же расплате калмыков арестовали с фальшивыми деньгами. Долго не могли они взять в толк, в чем тут дело; но когда на требование властей старуха наотрез отказалась возвратить остальную часть фальшивых денег, всю семью посадили в тюрьму. Только в тюрьме раскусили калмыки, в каком скверном деле их обвиняют и какую скверную штуку сыграл с ними купец, которого они не знали и не могли указать. Чтобы освободить истомившуюся после степной вольной жизни в тюрьме семью, старший сын старухи взял вину на себя, заявив властям, что это он купал и потом сбывал фальшивые кредитки; его же мать и братья не подозревали этого, так как не умели различить настоящих денег от фальшивых. Его сослали в Сибирь, а семья разорилась. Двух братьев взяли в полк, млад-

ший спился и умер от чахотки.

И вот теперь старая калмычка припомнила все это, волоча за ноги одного из тех, которые пришли и забрали их землю, лишили вольной жизни, разорили, обманули, посадили в тюрьму, забрали детей куда-то далеко, а степь перерезали длинной насыпью, положили сверху железо, поставили столбики и пустили по ней телегу с дымом и огнем. Калмычка потащила казака к краю узкой, круглой дыры. Это был степной колодец, глубокий, полуобвалившийся. Ноги казака, согнувшись в коленях, свесились в черную дыру. Оставалось лишь слегка толкнуть его. Калмычка торопливо стала развязывать аркан. Петля, сдавливавшая грудь казака, ослабела, он вздохнул и полуоткрыл глаза. Старуха, не замечая, сидела на корточках и торопливо снимала аркан.

– Восемь вас, девятый будешь... – бормотала она и взялась за его плечи.

У казака волосы стали дыбом. Он собрал все силы и с отчаянием ужаса схватился за калмычку. Не ожидавшая ничего подобного старуха дико закричала и изо всех сил стала

спихивать его в дыру. Казак посунулся в яму, и земля с шумом посыпалась из-под него. Судорожно прижавшись головой к краю ямы, он цеплялся ногтями за землю и последним усилием опять схватился за калмычку.

Началась борьба.

Они возились на самом краю, задыхаясь, цепляясь друг за друга, отрывая один у другого руки, роняя осыпающуюся вниз землю. Казак почти весь висел над ямой и каждую секунду ждал, что полетит вниз с калмычкой, которая делала нечеловеческие усилия, чтобы оторвать его от себя.

Со страшным напряжением казаку удалось стать коленом на землю. Он сдернул калмычку, и теперь она повисла над ямой... Он отодрал от себя одну ее руку, потом стал отди- рать другую. Старуха, чувствуя, что вот-вот она полетит туда, где гниют сброшенные ею раньше люди, закричала, и крик ее разнесся по всей степи. Она кричала и звала своих де- тей, звала старшего сына, которого угнали в Сибирь, звала двух других, которые далеко служили в полку, звала самого младшего, ко- торого берегла как свой глаз и от которого

остались одни мослы; она звала их и кричала им, как их родила, выкормила, воспитала.

Но дети не слышали. Стоявшая в двух шагах лошадь, наострив уши, с удивлением глядела на возившихся людей. Степь по-прежнему, безлюдная и безжизненная, простиралась под палящим солнцем, даль дрожала и колебалась от зноя, и ветер подымал степную пыль.

Калмычка разом смолкла, последним усилием приникла к руке казака, и в его тело по самые десна вошли старые, изъеденные, пожелтевшие зубы. Казак взвыл от боли и отдрал от груди вторую старухину руку, в судорожно сжатых пальцах которой остался клочок его рубахи.

– Ты будешь девятая, будь ты проклята!..

Перед ним мелькнули выступившие из орбит круглые глаза, пожелтевшее, как лимон, изрезанное морщинами лицо, синие штаны и грязные, заскорузлые подошвы босых ног... В следующее мгновение черная пустота все скрыла. Из глубины донесся звук, как будто в мокрую грязь упало что-то тяжелое.

Шатаясь, с дрожащими руками и подгиба-

ющимися коленями казак отошел от колодца. Он все еще не мог опомниться. На нем все было изорвано, рубаха, штаны висели клочьями, на руках, на груди, на вспухшем лице запеклась кровь.

Казак подошел к осторожно поводившей ушами лошади. Лошадь, храпя и натягивая головой привязанный к ноге повод, пятилась назад.

– Тпру-у!.. тпру-у!.. Стой, дьявол калмыцкий!.. А и конь важный! За такого коня две сотни зараз клади, а то и все три... Тпру-у, окаянный!..

Он отвязал повод от ноги и любовался великолепным скакуном, который, танцуя, ходил вокруг него.

– Нет, нельзя... увидят калмыки, убьют... По крайности, хоть подушонку да подпругу взять... Тпруру!.. стой, милай!..

И он, поглаживая коня, расстегнул подпругу и снял с лошади старенькую, никуда не годную, плоскую, как блин, подушонку, из дыр которой лезла шерсть.

– Все дома пригодится.

Потом закинул на шею лошади повод и

гикнул. Лошадь шарахнулась, понеслась по степи и через минуту скрылась из глаз.

Казак подошел к колодцу, послушал, поглядел в черную пустоту, — у него шевельнулось тайное желание, чтобы старуха подала голос и ее можно бы было вытащить; но там было все неподвижно и тихо. Он подобрал подпругу, взял под мышку и пошел по тому направлению, по которому тащила его калмычка. Пройдя несколько верст, он нашел сумочку, пику, шапку, шинель. Запихав в сумочку подпругу и подушку, Иван сел наземь, достал из шапки иголку, которая всегда была заколота внутри шапки с намотанной на ней ниткой, разделся и, сидя под горячим солнцем, стал чинить свою одежду. Идти в таком изодранном виде было опасно.

Долго сидел и махал посреди степи длинной ниткой Иван, зашил прорехи, оделся и отправился дальше. Много он прошел, хотелось подальше уйти от рокового места. Вдали зажелтело полотно железной дороги, но Иван не пошел туда, а свернул и пошел стороной. Казалось ему, что первый, с кем он встретится, сейчас же скажет: «А зачем калмычку

убил?»

Жар свалил. Солнце уже коснулось края степи. От казака легла через всю степь и шла с ним рядом длинная, косая тень.

Вдруг слышит Иван топот. Обернулся, – скачут к нему два калмыка, У него екнуло сердце. Калмыки, в форменных казачьих фуражках, подскакали и сдержали разгорячившихся лошадей. Один из них сидел на вороной лошади, другой на знакомом Ивану золотистом скакуне. Казак повернулся к ним и, взяв наперевес пику, угрожающе направил на них сверкавшее на солнце стальное острие с таким видом, как будто хотел сказать: «Сунься только!»

Но калмыки, сдерживая нетерпеливых лошадей, мирно заговорили:

– Здорово, бачка! Не видал старой калмычки? Лошадь прибегла к кибитке, а ее нет... В хурул ездила.

– Нет, не видал.

– Вот чудно!.. Нет старухи. Всю степь изъездили, как скрозь землю провалилась...

– Не видал... не знаю... кабы видал, сказал бы... «Вот полезут в сумку – подпругу с подуш-

кой найдут...»

А калмыки постояли еще немного, «похурукали» между собой, повернули лошадей и поскакали назад.

Казак отер проступивший на лбу холодный пот, положил пику опять на плечо и пошел дальше.

Стемнело. Хотя и высыпали на небе звезды, но в степи было смутно и темно. – Казак видел только темную землю под ногами да темный край, на который спускался звездный свод; а что было между ними, нельзя было видеть. Слышно было только, как кузнечики сверлили да ночные птицы разговаривали в темноте. Иной раз чудился конский скок. Тогда он останавливался и, придерживая дыхание, прислушивался; но кругом было тихо, одни кузнечики заполняли своим сверлением таинственную темноту ночи.

Казаку становилось жутко. Он теперь не только не боялся калмыков, но желал, чтобы они подъехали и заговорили с ним живым человеческим голосом. Боялся он, – и кровь стыла у него при одной мысли об этом, – что сначала он услышит конский топот, подска-

чет к нему всадник, сдержит лошадь, станет он всматриваться, а это – старуха на лошади с выпятившимися глазами, с морщинистым лицом, в синих штанах. Чувствуя, как холодеет у него затылок, казак среди молчания и темноты при слабом мерцании звезд шел, не смея поднять головы. Ноги у него подкашивались, но он не осмеливался и подумать сесть. Напрасно он ждал рассвета: все та же темная степь, тоже молчание, теперь уже не прерываемое даже сверлящими звуками кузнечиков. Что-то заволакивало небо, потому что и звезды стали пропадать одна за другой. Становилось темно, как в погребке.

Впереди забелелась длинная фигура. Кровь ударила казаку в голову, но он, как очарованный, шел к ней, не спуская напряженно вытаращенных глаз. Бежать! Но разве от *нее* убежишь?.. Перед ним со страшной ясностью предстало, как она *сигнула* на дроги, конь побелел и стал уходить ногами в землю, а у *нее* вывалившиеся глаза висели по пояс. Белая фигура дожидалась его... Когда он подошел почти с помутившимся сознанием, он разобрал наконец, что это был длинный солон-

чак, протянувшийся по степи и белевший в темноте. Чижигов в изнеможении опустился на шероховатую, жесткую траву, подложил под голову сумку, возле положил пику и лег, стараясь не смотреть по сторонам. Он не помнил, когда уснул. Ему казалось, что он задремал на несколько минут.

Проснулся он, точно его кольнуло что-то. Он открыл веки: яркий солнечный свет бил ему в глаза. Над ним стояли на лошадях вчерашние два калмыка...

Казак вскочил как ужаленный, схватил пику и крикнул не своим голосом:

– Не знаю... не видал... не знаю... Чего вы пристали?

– Ты чего кричишь?.. Старуху, калмычку, ищем... Со вчерашнего дня пропала... Чего испужался?..

– Не лезьте ко мне, а то перепорю обоих... и лошадей! – И Иван с побледневшим и искаженным от злобы лицом замахнулся пикой.

Калмыки отъехали, остановились шагах в десяти и стали о чем-то жарко говорить между собою, показывая плетями на Ивана. Потом ударили по лошадям и уехали прочь.

К полудню Иван пришел на казачий хутор, а через три дня добрался и до своей станицы.

IV

Встретила Ивана жена за воротами и упала ему в ноги. Он понял, в чем дело, взял плеть и стал сечь ее плетью нещадно и жестоко. Она валялась в ногах, отчаянно кричала и молила о пощаде. Всю вспухшую, с заплывшим синяками лицом он оттащил за косы и бросил посреди двора. На другой, на третий, на четвертый день продолжалось то же самое. Наконец казак устал, да и жизнь не ждала, надо было приниматься за работу. Деньги, какие он принес, пропили. Базы, сараи, курень требовали починки, скотину надо было гонять на водопой, на выпас, молотить хлеб, готовиться к пахоте, полоть бахчу, заготовлять на зиму одежду себе и ребятишкам, которые бегали по широкому двору, и среди них маленький кудрявый мальчик, не похожий на Ивана.

Сначала Иван часто попрекал жену, но мало-помалу обида и горе сгладились, и трудовая жизнь, полная бедности и заботы, потекла однообразно, так же, как и до службы.

Прошел год. Настала вторая зима. Корм скоту подобрался – надо было ехать в степь за сеном. Иван запряг лошадь в сани, положил полсть, вилы, краюху хлеба и стал потеплее одеваться, так как на дворе все крепчал мороз. Надел тулуп, валенки, стал надевать рукавицы, поглядел, а они все изодрались – дыра на дыре, нельзя и ехать, руки отморозить можно. Иван стал рыться в старье, чтоб найти обрывки кожи, заплатать рукавицы, да вдруг вспомнил, что на полатях валяется изорванная седельная подушка, которую он принес два года тому назад, когда воротился с кордона, и забросил на полати. Иван полез вверх, достал подушонку и стал выкраивать из нее лоскуты кожи. Из подушки полезла шерсть, и вдруг вывалилась пачка кредиток. Иван оторопел, с секунду глядел на деньги, перекрестился, дунул на них, опасаясь, что это наваждение, потом схватил и бросился из куреня на баз, забился в угол под сарай и стал считать. Денег оказалось пятьсот сорок девять рублей.

Иван не поехал за сеном, а через три дня поехал в окружную станицу на ярмарку.

Вдруг открылась масса нужд, которые, оказывается, не терпели ни малейшего отлагательства и которые тянулись из года в год. Надо было закупить овчины для тулупов на всю семью, досок для пристроя к куреню, пару молодых бычков, арбу и многое множество другого необходимого в хозяйстве, Веселый, хорошо и тепло одетый, немного выпивший, похаживал Иван от одной лавки к другой; купцы его ласково и приветливо встречали, и он наслаждался, чувствуя новое, незнакомое дотеле положение богатого человека, к которому относятся все с почтением. Вечером он пил чай в трактире и угощал откуда-то выросших вокруг него новых приятелей и друзей, как вдруг в трактир вошел урядник с двумя полицейскими и потребовал, чтобы Иван шел в станичное. Иван вытер вспотевшее лицо, расплатился с трактирщиком и отправился с урядником в станичное. Здесь его сурово встретил станичный атаман:

– Ты что же это, фальшивыми деньгами вздумал торговать?

Иван побледнел как полотно.

– Никак нет, вашскблагородие!

– Врешь! Пять человек купцов приходило и деньги представили.

– Никак нет... не могу знать... – бормотал Иван, все больше и больше бледнея, заикаясь и путаясь.

Ивана арестовали. Через полгода его судили в окружном суде. Он сидел, сторбившись, осунувшийся и поседевший, и слушал прокурора и своего казенного защитника, мало понимая и мало интересуясь их речами. На вопрос, не сам ли он выделял кредитки, он отвечал: «Никак нет», – а на вопрос, от кого же он их достал, так же неукоснительно отвечал: «Не могу знать».

Когда старшина присяжных после совещания стал читать, виновен ли Иван Михайлов Чижиков, казак такой-то станицы, в том, что... – Ивану с изумительной ясностью представилось, как калмычка кричала и звала своих сыновей, как мелькнули и скрылись в темной дыре ее босые ноги, как он шел по степи и степь становилась все глуше и темнее, как сначала кричали и сверлили кузнечики, а потом и они смолкли, потухли все звезды, и кругом стояла мертвая, черная тем-

нота, как он заснул, потом вскочил уже при ярком дневном свете и закричал: «Не знаю... не видал... не знаю!..»

– Да.... виновен.

На секунду в зале суда наступила тишина. Иван поднял дрожащую руку, перекрестился, потом поклонился судьям, публике и сделал земной поклон присяжным.

– Покорно благодарю... – праведные судьи!.. правильно осудили...

И, обернувшись к председателю, с искривленным бледным лицом, по которому текли слезы, проговорил вздрагивающим прерывающимся голосом:

– Мне бы ее, вашскблагородие, старуху-то, мне бы ее выдернуть оттеда, выдернуть бы оттеда... а я ее... а я ее спихнул... Покорно благодарю... правильно!..

Его присудили к четырем годам каторги.

Епишка*

I

У Епишки, – за сорок семь лет его только три раза назвали Епифаном Васильевым Кокмаревым: это мировой судья, когда судили его за нарушение общественной тишины и спокойствия, – у Епишки был вздернутый нос, конопатое скуластое лицо, редкая бороденка, жена, трое ребят и отставной солдат, неизвестно откуда взявшийся и неизвестно почему живший у него.

Епишка никогда не видал своего отца и матери, ибо был незаконнорожденный. Смутно помнил он большой дом, битком набитый детьми, где его драли, как Сидорову козу, и он ходил с подведенным под ребра животом. Потом отдали к сапожнику. Сапожник хотя бил его и реже, но зато больнее, потому что был сильный человек, а в пьяном виде поил водкой, покупал сластей и учил непотребным словам. Лет двадцати Епишка завел свою маленькую мастерскую на окраине и познакомился с Акулиной, своей теперешней женой.

С черными острыми глазами, упругая,

сильная, она сразу заполонила его, но он и намекнуть не смел о своей любви, – Акулина его просто не замечала. Так прошло около года. С Акулиной, жившей в прислугах у лавочника случился грех: у нее родился ребенок. Тогда Епишка осмелился:

– Акулина Ивановна!.. Как перед богом... то есть до такой степени... Господи, да я...

Акулина – исхудавшая, осунувшаяся, бледная, но с горевшими глазами – глядела в окно, думая тяжелую думу.

– Акулина Ивановна!..

Она повернулась и с удивлением стала смотреть на Епишку, приземистого, в веснушках, худого, скуластого, как будто видела его в первый раз, и крупные капли закапали из ее черных горячих глаз.

– Ладно уж, пойду за тебя.

Епишка было облапил ее, но она так стукнула его по переносице локтем, что у него искры из глаз посыпались.

Молодые перешли в крохотную хатенку на самой далекой окраине города, с земляным полом, с маленьким единственным оконцем, подернутым побежалыми цветами.

Епишка стал работать как вол. Летом ходил по базарам, по набережной, по толкучке, набивал набойки, прикидывал подметки, клал латки в толпе рабочих, которые тут же скидали сапоги и подавали ему для починки, – зимой работал дома на окраинцев. Клиентура понемногу разрасталась, и нужды они не терпели, Епишка был доволен, все у него было: жена, поправившаяся, красивая, ребенок, которого он любил, как своего, работа, – одно только щемило Епишкино сердце – это отношения с женой. Пожаловаться на нее он ни в чем не мог, у них ссор даже не было, но между ними стоял постоянный холодок, точно душа у Акулины заморозилась, и он не мог оттаять ее ни ласками, ни вниманием.

Но когда умер Акулинин ребенок, она резко изменила свои отношения к мужу: нетерпимая, сварливая, злая, она постоянно ругала его за то, что он не может выбиться на широкую, вольную жизнь, завести сапожную лавку или хотя бы порядочную мастерскую, перебраться в город, жить по-людски. Епишка только мычал и начинал втрое усиленнее работать, не отрываясь от шила. Соседи стали

поговаривать, что Акулина балуется.

Епишка пробовал уговаривать ее:

– Куля, Кулина... рази можно?.. А поп-то, поп-то говорил, как округ престола водил нас... Люби, говорит, ее и командуй, а ты, говорит, слухай мужа сво-во... Куля!..

– Дурак ты, дурак, Епишка... Это, видно, которые без роду, без племени – у всех у них борода мочалкой...

Упоминание о происхождении было более всего для Епишки. Когда становилось невтерпеж, он напивался и начинал бить жену, а она, сильная, ловкая, скользкая, как змея, вывертывалась, выбегала с горящими, полными ненависти глазами, и на Епишку сыпались поленья, горшки, камни...

Епишка на своей окраине жил как бы в другом государстве. «Там, в городе», – говорили окраинцы, показывая на сплошную массу домов центральной части, как на что-то чуждое, далекое, незнакомое. По ночам там стоял голубоватый отсвет, подымавшийся до самого неба, и несся глухой и непрерывный гул, – здесь в девять часов все спали, было темно, хоть глаз выколи, и лишь слышался перекли-

кавшийся собачий лай. Там все улицы были покрыты булыжником и плитами, – здесь по колена тонули в грязи. Там на каждом перекрестке стояли полицейские, которые ночью ловили воров, – здесь воры жили, дуванили добычу, с ними водили знакомство, и никто их не боялся. Там жило начальство, и оттуда приходило всякое горе, повестки, вызовы, окладные листы. Пришло оттуда горе и на Епишку в виде лавок и магазинов готовой обуви. Сначала Епишка и не заметил нового врага, но он давил его жестоко и беспощадно нуждой и нищетой и еще больше внутренним семейным раздором.

– Куля, – говорил Епишка в минуты душевной тревоги, – Куля, кабы нам согласие да любовь... Эх, Куля!.. Рази так бы жили... Это что, это ничего, я могу вполне заработать... кабы согласие... В деревню, в деревню с тобой переедем, там завсегда с хлебом будем, там лавок этих нет...

– Да будь ты проклят, скуластый черт!.. На какого рожна мне твоя любовь, писанка воробьиная... Ишь чего захотел – в деревню!.. Накось, выкуси!..

II

Как появился солдат и почему стал жить у них, Епишка до сих пор ясно себе не представлял. В первый раз он принес рваные сапоги отдать в починку. Акулина в это время возилась у печи и почему-то особенно громко стучала ухватами, разбила горшок и, когда солдат ушел, выругалась:

– И носят же черти этих дьяволов...

– Ты чего? – с изумлением спросил Епишка.

– Да и ты такой же черт курносый, – бросила она, отвернувшись.

В следующий раз, когда солдат пришел за сапогами, он принес с собой водки, и ее распили, – пила и Акулина и была разговорчивая и веселая. Потом солдат пропал и несколько месяцев не показывался, а потом опять явился и стал приводить с собой заказчиков. Акулина перестала особенно зло грызть мужа, но это не радовало Епишку: смутная, неясная тревога сосала его. Как-то солдат зашел и попросил, чтобы его взяли на квартиру. Его взяли. Он примостился на лавке в уголке, а соседи стали говорить, что у Акулины появился

любовник. Днем солдат уходил в город искать работы, а ночью трое взрослых и трое ребят спали в одной тесной комнатухе, заполненной густым, тяжелым воздухом. Первый месяц солдат заплатил за постой и еду пять рублей, за второй просил считать долгом за ним, а потом об этом перестали и говорить. Просто Епишка кормил всех шестерых, чувствовал себя зажатым, как в клещах, и от времени до времени Акулина ругала и грызла его за то, что он мало зарабатывал и что до сих пор не мог устроить сапожную лавку.

Епишка стал запивать. Раз он пропал на целые трое суток, но вернулся совершенно трезвый. В хате была одна Акулина, солдат ушел в город, ребятишки бегали по двору. Акулина бегло глянула на изменившееся, белое, с вздрагивающими губами лицо Епишки, глаза ее зло заискрились, и она, точно ничего особенного не замечая, стала возиться у печки с горшками. Епишка припер поленом дверь, подошел к Акулине и, точно опасаясь не успеть чего-то сделать, рванул ее, схватив за горло. Акулина, словно ожидая этого, послушно свалилась, глухо стукнувшись голо-

вой о земляной пол. Епишка наступил на нее коленом, так что ребра вдавились, и достал из-за голенища остро отточенный сапожный нож, которым он резал товар, а сквозь трепетавшие губы, пузыря накипавшую на них пену, с усилием прорвалось:

– Будя... нету моей мочи... один конец... Будя надо мной измываться...

Акулина все старалась повернуть прижатую к полу голову и, скосив на Епишку злые черные глаза, прохрипела полузадушенным от сдавливавшего грудь колена голосом:

– А ежели... а ежели да ничего не было...

Епишка мгновенно размяк. То, что Акулина не сопротивлялась, не кричала, не звала на помощь, не клялась, не отказывалась, а только сказала эти простые и страшные слова, – поразило его.

Его била лихорадка, нож выпал. Акулина поднялась, потерла бок, отрусила юбку и, как ни в чем не бывало, стала заниматься стряпней, но глаза ее злобно и презрительно горели.

Епишка с минуту постоял, трясясь как в лихорадке, и, заикаясь, проговорил:

– Куля... Акулина... – потом выскочил в двери и закричал не своим голосом: – Братцы... братцы, человека было зарезал... вяжите меня... полицию!..

Акулина с изменившимся лицом мгновенно бросилась за ним, схватила за волосы, с непостижимой для нее силой втащила в хату, надавала пощечин и швырнула в угол, а дверь приперла поленом.

– Ах ты, черт пестрый, ишь чего выдумал... Ах ты, окаянный цыплок!.. Да будь ты трижды проклят от меня, анафема, скуластая морда!.. Ах ты, мать ты моя, пресвятая богородица, чего затеял, приبلудный идол конопатый!

С этих пор хомут плотнее сел на шее Епишки, и он уже не пытался протестовать.

III

На дворе стояла черная ночь, но никто из окраинцев не спал, и во всех окнах виднелся огонь. Светилось и оконце Епишки. Все были в сборе: солдат, ребятишки, Акулина – приодетые и празднично настроенные. Сам Епишка, лохматый и грязный, сидел с наклоненной, перехваченной ремешком головой на

низеньком обрубке, торопливо колот шилом зажатый между коленями старый сапог и, пропустив щетинки, разводя руками, быстро протаскивал с легким свистящим шумом дратву.

Горько было у него на душе: даже встретить праздник по-христиански он не мог, — возле лежала целая груда рваной, старой, за-скорузлой обуви. С тех пор как на окраине появились лавки с готовой обувью, Епишка часто сидел без работы, зато под праздники ему несли целые горы всякой рвани для починки и, чтобы не упустить заработка, он встречал праздник с шилом и дратвой, а иногда прихватывал и первый день.

Солдат был в начищенных сапогах, чисто выбритый, с подкрученными усами и выглядел молодцом и ухарем. Ребятишки старательно мазали салом головы, Акулина надевала новую шерстяную юбку.

Солдат присел на лавку, закинул ногу на ногу, вытащил кيسет, трубку, набил ее корешами, закурил, пыхнул вонючим, едким дымом и, ни к кому в особенности не обращаясь, проговорил:

– Вот это так.

И от этих как будто незначащих слов Епишке стало нестерпимо больно, точно его шилом в сердце укололи.

– И куда правда на свете делась, – заговорил он в тоске. – Никого человек не просил, не ублаgotворял, и вот тебе взяли родился на свет... Здравсьте!.. Ну, куда же с ним. Зачали его кормить и тиранить и, замест того чтобы ему помереть, выкормили из его босяка... Ах ты господи, где же она, правда, на свете? Ну, хорошо. Вырос, значит, ума не вынес, тут бы его в солдаты забрить али в острог – нет, женился, семейством обзавелся. Ну, ежели уж так припало, так живи в любви и согласии – так нет, опять наоборот того... Теперь человек работает, трудится – подожди, сбавь прыти, зараз пришли магазинчики, навалились и зачали давить, зачали последний дух выпущать... Хорошо. Где же она, правда? Хоть бы знать, есть на свете правда-то али, може, ее и совсем?..

Епишка, оторвавшись на секунду, посмотрел взглядом измученного, истосковавшегося человека на солдата. Тот крякнул, выпустил

огромный клуб дыма, переложил ногу на ногу и проговорил:

– Правда, она есть, без правды никак нельзя, правда, она беспрерывно есть.

Шило, сверкая на коптившей лампочке, то и дело кололо толстый сапог, за печкой тренькал сверчок, ребятишки отмывали руки от сала, опасно протягивая их, боясь брызнуть водой в рот и оскоромиться.

– Да-а, – заговорил солдат, держа углом рта трубку, подняв брови и глядя поверх носа на тлеющие огнем корехи. – Старушка одна воспитывала детей, дочь померла и сын помер от холеры, от обоих одиннадцати человек осталось. Не выбросишь... Вот так. Воспитывала, и только и было у ней, что иглой зарабатывать. Каждый день с зари садится, ночью встает... Одиннадцать штук. Помоги-то никакой. Вот так. Время-то идет, глаза стали хуже, зарабатывать труднее, не успеваешь за день, а ребятишки каждый день едят, в рот им каши горячей! Взяла она грех на душу и по воскресным дням стала шить. Ну, хорошо. Соседям-то зазор. Что, говорят, бога обираешь, день его сквернишь. Да. Дознался поп, зараз

донесли ему. «Негоже, говорит, так-то, помни, говорит, день субботний, еже святити его». Заплакала она, а в воскресенье, глядят соседи, опять за иголкой. Вот так. Только подошла страстная, урвалась старушка, пошла отговеться, а батюшка епитимию наложил, наставление дал и велел на петровках еще отговеться: тогда, сказывает, и причастия сподобишься. Вот так. Заплакала грешница великая, поклонилась до земли, пошла – и как села за иголку, так светлый праздник ветрел ее с иголкой. Да. Ребятишки-то, как овцы, бесперечь едят, в рот им каши с маслом горячей до слез!..

Солдат, не выпуская трубки из зубов, придавил пальцем горячий пепел и, сопя, опять подняв брови и глядя поверх носа в трубку, стал сосать... Ребятишки, примостившись кто на табуретке, кто на лавке, кто на полу на корточках, смотрели ему в рот так, как будто хотели съесть его совсем с трубкой.

– Ну, прошло сколько время, бегла старушка мимо церкви – шитво относила – и вошла в церковь, хочь перекреститься. Вошла и боится пройтись вперед, не блюла заповедь гос-

подню, не почитала его воскресный день, грешница, – и стала недалече от дверей, молится и плачет и не смеет глаз поднять... Глянул на нее народ, и все повалились на колени. Стоит она, братцы мои, ногами не на земле, а на воздухе, так сказать, аршин от земли, стоит, молится и плачет и ничего не замечает... Да, вот так.

Ребятишки глядели на солдата круглыми, полными испуганного внимания глазами. Акулина, поджав тонкие губы, не то насмешливо, не то сердито, точно желая сказать: «Это меня не касается», – завязывала в салфетку крохотную пасху и четыре яичка. Солдат молчал, посасывая трубку, спокойный, уверенный, как художник, положивший последнюю черту, последний мазок.

Епишка, все время протягивавший, разводя в обе стороны руками, с легким скрипучим шумом дратву, тыкавший шилом и внимательно слушающий – не показывая, впрочем, виду – рассказ солдата, вдруг стал плохо различать стежки, тыкая шилом не туда, куда нужно, и раза два уколол палец. Что-то набегало ему на глаза, какая-то прозрачная по-

движная пелена, и он, поднимая брови, старался смахнуть ее ресницами.

«Буммм!..»

Откуда-то издалека донесся первый удар и, слабо колеблясь, замер среди черной ночи, стоявшей за окном, но в ушах Епишки все еще звучало слабое, нежное, грустное гудение.

Все перекрестились.

«Бум... бум... бум... бум...»

Удары, все такие же слабые, далекие, но торопливые, тревожные, один за другим, наминавшие набат среди ночи, и в то же время веселые и радостные, вызывавшие представление множества огней, сияния, долетали среди ночи и умирали у черного, молча глядевшего темнотой оконца.

– Собирайтесь, ребятишки. Васька, бери пасху, да не разбей тарелки, постреленок, – говорила Акулина, покрываясь большим ковровым платком.

Солдат выбил о каблук трубку, спрятал в карман и проговорил:

– Чудно – отчего это на пасху ночь завсегда такая темная бывает?

Ребятишки надели шапки на густо смазанные салом волосы и, толкаясь, направились в дверь, а за ними Акулина и солдат. Потом Акулина на минуту воротилась, приоткрыла дверь и глянула на Епишку из-под коврового платка, надвинутого на тонкие брови, острыми черными глазами.

– Ты же гляди, а то не поспеешь... придут за работой, а она не будет готова.

Дверь затворилась. Епишка остался один.

Сладкая и острая боль щемила измученное сердце. То, что рассказал сейчас солдат, поразило и потрясло его. Так вот она – правда-то! Так вот как на свете-то! Так пусть же его, Епишку, только три раза в жизни назвали Епифаном Васильевым, пускай он кормит любовника своей жены, пускай он праздник встречает с шилом и дратвой в руках, пусть нищета, проголодь, пусть злая жена, неустанное горе, пусть так, – но ведь есть же где-то большая правда для трудового народа, только Епишка никак не может ее угадать.

И торопливо одна за одной падали светлые капли на заскорузлые, черные, пропитанные варом руки Епишки, на сверкавшее

острием шило, на дратву, на пахнувший товар сапога, зажатого между коленами, и так же торопливо, тревожно и весело звучало за черным молчаливым оконцем: «бум... бум... бум...»

Жара и грузчики*

I

Поднявшееся из-за огромных цистерн нефти на том берегу солнце скользит первыми лучами по светлой поверхности реки. Вода, чуть-чуть колеблясь, сверкает в черных промежутках между боками закопченных пароходов, барж, лодок, беспорядочно теснящихся у строго и молча поднимающейся над водой гранитной набережной, в дальнем строящемся конце которой бухают, падая с двухсаженной высоты, чугунные бабки каперов, вгоняя выглядывающие из воды концы брусьев.

Набережная, во всю ширину заваленная бунтами хлеба, тюками, коробами, бочонками, железом, штабелями леса, досок, угля, земледельческими орудиями, между которыми теряются рельсы, проснулась и принима-

ется за свою обычную работу. За ночь пришло много судов и сверху по реке и с моря, и день обещает быть горячим.

Человек двадцать рабочих расположилось возле бунтов хлеба. Кто лежит на мешках животом книзу, кто сидит, обхватив колена руками, задумчиво глядя на реку. Несколько человек играют засаленными, грязными, мятыми картами, сидя на земле вокруг тумбы, от которой тянутся к пароходам и баржам канаты и цепи.

Все одинаково оборваны, загорелы и босы. У одного в руках истоптанные головки от сапог.

Перед ним стоит мальчик лет двенадцати с кожаной сумкой на спине, с шилом, молотком, дратвой в руке.

– Сколько обои оправить? – спрашивает сумрачно грузчик.

Мальчик, жестикулируя, выкрикивает:

– Пятак с семишником, меньше не возьму, хошь ты што хошь...

Грузчик хмыкает.

– Да и дурак ты. Два раза шилом ширнуть да раз молотком стукнуть.

– Дай-ка я тебя ширну в одно место! Хошь пятак?

Грузчик молча надевает головку на ногу и растягивается по земле.

– Ну, четыре копейки... Хошь режь, меньше не могу! – с азартом и испуганно кричит мальчик, наступая на грузчика.

Кругом собирается кучка, все стоят молча и с ленивым любопытством смотрят. Косые, еще не успевшие разгореться лучи солнца забираются между навесами, между бунтами, больше и больше завоевывают набережную, тени становятся короче и резче. Свежий утренний, еще не успевший насытиться пылью воздух уже наполнен лязгом, грохотом, перебегающими свистками, звоном, криками. И среди проснувшегося оживления странно видеть эту лениво и неподвижно расположившуюся кучку оборванных людей.

– Ква-асу, квасу хорошего!..

– Папиросы... кошельки... портмоне... всякого товару первого сорта! Пожалуйте, честные господа!

– Пирожки-и, пирожки горячие!..

Торговцы с лотками, с корзинами, бублиш-

ницы, квасники с тележками снуют по набережной.

– Три копейки хошь? Руби на месте, лопни мои глаза... одних гвоздей на две копейки!

– Два раза шилом ширнуть да раз молотком стукнуть, – упрямо твердит тот же хриплый бас.

– Отдавай-ай концы... – несется по реке.

Слышится шум падающих в воду канатов. Подходит приказчик в сапогах дудкой, в помятой соломенной рыжей шляпе, в крахмальной грязной рубахе, с большим животом, по которому разъезжается концами грязный чечучовый пиджак.

– Чего лежите?

И вместе с этим в воздухе, как дым от махорки, виснет едкая брань с оттенком добродушия и благорасположения.

Никто из рабочих и бровью не шевелит, продолжая играть в карты; лежат на животе, глядят, обхватив руками колени, на реку.

– Вот те Христос, провалиться на сем месте!.. Две копейки!

– Два раза шилом ширнуть да раз молотком стукнуть.

– Какого же вы, сто чертов, лежите!.. Разбогатели?

– Вишь, брюхо-то у тебя поменело, отполовинилось, мы и сыты.

– Ну, будя баловать! Целковый с четвертаком – и гайда выгружать.

– Заткни себе его в брюхо!

– Разжирели, дьяволы! Пятак накидываю.

– Куды с винновым хлапом?

– А ты што лезешь ему супротив масти! – говорит один из партнеров, выкатив глаза на другого,

– Пирожки, пирожки горячие!..

– Папиросы, портмоне... сладости!..

Бронзовое лицо приказчика понемногу становится медно-красным.

– Да вы что же морды-то воротите? Заелись!

Грузчики по-прежнему сосредоточенно заняты своим бездельем и не обращают внимания на приказчика.,

– Вот тебе сказ, – говорит один из них, слегка повертывая лохматую голову в его сторону, – вот тебе сказ: целковый с полтиной на рыло, и веди зяраз, – и точно заранее предви-

дя, что предложение не будет принято, и словно помогая себе, он ругается, перевертывается с брюха на спину, закладывает руки под голову и глядит в тонко сверкающее голубое небо.

– Васька, да ты окстись, ты ополоумел, что ли!.. Полтора целковых!.. Обтрескаетесь! Ты глянь, солнце-то где поднялось... С полден зачнете работать – и полтора целковых!

– А ты глянь-ко на воду-то, – говорит насмешливо кудлатый грузчик, скосив глаза на реку и улавливая сквозь хаос звуков привычным ухом знакомый шум колес, – никак, вашего хозяина.

Приказчик глядит на реку, и шея его из медно-красной становится багровой. Шлепая колесами по веселой сверкающей воде, шел сверху пароход, все больше и больше вырастая пузатой, неуклюжей и в то же время развязной фигурой, и все яснее доносились шипение пара, вздохи черной трубы и торопливое шлепанье красных колес по воде, взбившейся белой, рассыпающейся пеной. Как скромные скучно-добродетельные дамы, тащились позади на буксире широко рассевши-

еся баржи. Приказчик заскрипел зубами и ласково выругался: «Хоть ложись да помирай, выгрузи к сроку, а рабочих нет».

Приказчик состоит на службе в весенние и летние месяцы, и за эти месяцы только и получает жалованье, остальное же время года он свободен и от службы и от жалованья. И хотя летом получает много – по семьдесят рублей в месяц, но к этому времени набирается столько всяких нужд неотложных и острых, долгов, не терпящих отлагательства, что все жалованье тает, и зиму вновь приходится жить в долг, закладывая вещи.

Зимой он ничего не делает, спит, курит, ходит по базарам, по трактирам, сидит по целым часам на лавочке перед домиком и смотрит вдоль улицы, иногда до бесчувствия напивается. Летом совершенно преображается и работает по восемнадцати часов в сутки. Когда же бывает спешная погрузка и грузчики, при электрическом освещении, работают день и ночь, ему в течение суток, а то и двух, не приходится ни на минуту сомкнуть глаз.

Он снял шляпу и отер зажатым в кулак платком проступивший на лбу пот и, отдува-

сь, с шумом выпустил из себя воздух.

– Ну, ребята, говорите дело, будя ломаться-то как свинья на веревке. Рупь сорок, а то пойду – макаровская артель ослобонилась, будете сидеть без дела, вас теперь никто не возьмет.

Несколько человек беспокожно поднялись. Это все был бездомовный народ, зиму коротавший по ночлежкам, в притонах, занимаясь попрошайничеством, мелким воровством, случайной работой. Когда же взламывался лед и приходили первые суда, вся ватага высыпала на набережную и оставалась тут до осени. Тут они кормились, тут работали до упаду, гуляли и пьянствовали до зеленого змия. И грузчики то лениво валялись, дожидаясь, пока приказчики набьют цену, то ходили за ними, униженно кланяясь и продавая друг друга за гривенник.

– Да вы куда? – проговорил, приподнимаясь на локте, Васька, все время лежавший на спине и глядевший в небо. – Вот дубье! Не видите – брешет. Какие теперь артели? У него, вишь, два аглицких парохода стоят, хочь лопни, да грузи, за каждый день просрочки – сто

целковых.

– Получай, готово, – говорит мальчик, вколачивая последний гвоздь в подошву и подавая головки грузчику. – Давай две копейки.

Тот сумрачно роется в штанах, вытаскивает монету и внимательно рассматривает ее с обеих сторон.

– На. Небось и двух ден не проносишь.

– От пятницы до субботы носи без заботы! – уже весело и насмешливо говорит мальчуган, вскидывая сумку с инструментом на плечи, и через минуту слышится его выкрикивающий удаляющийся голос: «Подметки кому накинуть – чисто, аккуратно, без запросу, дешево!»

Накатившиеся друг на друга вагоны сталкиваются с железным звоном и грохотом.

– Что же, братцы, как вы обо мне понимаете, что же я вам лиходея, что ли? Ежели бы это от меня, я бы и по трешне дал, сам знаю – работа чижолая, ну, главное, хозяин... Сами знаете, летом только и кормлюсь... У меня, братцы, у самого семейство, и я в ваше положение очень даже вхожу...

Приказчик говорит сладко, и ему самому

начинает казаться, что он входит в их положение, понимает всю тяжесть их труда и несправедливость низкой расценки, и поэтому ругается ласково и заискивающе; рабочие же ругаются спокойно, серьезно и деловито, как уверенные в себе люди.

– Шлюпку давай-ай!..

– О-оой... О-о-о-о!.. О-оох, ребятушки!.. Ой, смерть!.. Братцы, решите меня!.. О-о-о!..

Эти стоны, негромкие и подавленные, выделяются среди лязга, среди звона, среди паровозных свистков, среди криков и брани и щемят сердце. Четыре дюжих рабочих несут на лубках корчащегося, с мертвенно-бледным лицом грузчика, – придавило. Полицейский, придерживая шашку, с многозначительным лицом идет сбоку, стараясь почему-то попасть в ногу с несущими раненого.

– В ногу, черти!

– Ква-асу... ква-асу хорошего!..

– Папиросы... кошельки... портмоне... сладости!..

– Ну, шут с вами, идите, – говорит приказчик, в изнеможении отирая потное лицо и оправляя взмокший и съезжившийся воротник.

чок крахмальной рубахи,

Все разом поднимаются оживленно и весело.

II

Солнце подымается выше и выше, накаляя камень, железо, дерево и нестерпимо блестя в весело играющей воде.

Пароходы, от трубы до ватерлинии покрытые угольной пылью, черные, как трубочисты, с обжигающими от зноя железными и медными частями, изрыгают облака дыма, и он стелется над сверкающей рекой, над трубами, мачтами, палубами, над набережной, над бунтами хлеба, над бесконечными вереницами вагонов, – и солнце кажется багровым, а небо – коричневым.

Осторожно, постоянно подавая свистки, настойчиво звоня в качающийся на паровозе колокол, пробираются груженные поезда, и с нестерпимым грохотом, нещадно колотя рвущихся, вытягивающихся в нитку потных лошадей, сверхъестественно ругаясь, пересекают рельсы, рискуя ежеминутно быть задавленными, дрогали, серые от муки, пыли, в одних изодранных портах и рубахах, загорелые,

похожие на разбойников. Точно подгоняемые зноем, удушливым дымом, горячей, тонкой, проникающей в глаза, в рот, в нос пылью, люди бегают, сгибаясь под мешками, по гнущимся под ногами, перекинутым с набережной на пароходы и баржи сходням, гонят надрывающихся от непосильной тяжести лошадей, сыплют зерно, кидают лопатами, обливаясь потом, уголь, бьют бабками брусья, концы которых над сверкающей на солнце водою становятся все короче. И над водой, над набережной, над раскаленной мостовой висит гул, тяжелый, густой, смешанный, в котором ничего нельзя разобрать и от которого распирает голову и нападает глухота. А с горы глядит на всю эту толчею и суматоху раскинувшийся город и равнодушно и спокойно, точно все это его нисколько не касается, белеет на солнце домами, сверкает золочеными крестами, блестит стеклами окон.

Иван Николаевич, то и дело оправляя вокруг шеи мокрую от пота крахмальную рубашку, стоит у сходен и записывает в засаленную книжку проносимые рабочими на пароход тюки. Выражение фамильярности и ласково-

сти давно сбежало с лица, и он смотрит жесткими, чуждыми глазами на бегающих по сходням грузчиков.

– Ты, черт, не нырни! – говорит он с угрозой, провожая глазами огромный шевелящийся, двигающийся по сходням тюк, под которым дрожат и подгибаются выглядывающие из прорванных портов чьи-то колени.

– Не пужайся, дворянин, ступай пообедай, – слышится из-под тюка полузадушенный голос.

Тюк, шевелясь, покачиваясь, сгибая толстые подтоварники, к которым привязаны сходни, подбирается к самому борту парохода и на секунду призадумывается, куда валиться: мимо борта, в весело колеблющуюся и сверкающую воду или на черную, грязную палубу, и, вероятно, решившись за борт, качнулся и стал крениться над колебавшейся водой; но выглядывавшие из-под него ноги, подгибаясь и дрожа, как натянутая струна, переступили на самый край сходен, и гора, шевельнувшись, рухнула, неуклюже переворачиваясь всей громадой, на палубу, и из-под нее разгибается приземистая, с разорванной на

мохнатой груди рубахой фигура, и глядит красное от натуги, с клочками рыжей бороды лицо, с такой же красной побагровевшей шеей. Целый колтун мокрых от пота, спутанных волос шапкой лежит на голове. И странно видеть неподвижно и беспомощно лежащий на палубе огромный тук, который до этого поглощал человека, его живую силу и жил своей особенной жизнью.

Грузчик повел плечами, расправляя спину и отекающую шею, и, помахивая длинными, обрисовывающимися из-под мокрой, потной рубахи мускулистыми руками, пошел по сходням на берег.

– Ваше благородие, отойди от берега малость.

– А что? – строго и нахмурившись, спрашивает приказчик.

– Гляди, кабы брюхо не перевесило, в воду упадешь.

– Проходи, проходи, сволочь!

«И удивительное дело, до чего народ нонче пакостный стал! – думает приказчик. – Пакостный народ, бездельный, потому нет на него управы, грозы на него нет... Чего поли-

ция смотрит, начальство всякое? Как можно?.. Допусти только их, они те петлю надедут». И он строго и враждебно смотрит на эти выглядывающие из-под тюков, дрожащие от напряжения, подгибающиеся ноги, с усилием переступающие по гнущимся сходням.

Когда-то Иван Николаевич сам был вот таким же грузчиком, загорелым, чумазым, без семьи, без роду, без племени. Тогда он был просто Ванька Кривой. Но это было очень-очень давно. Теперь у Ивана Николаевича на окраине домик в одну комнатку, правда заложенный, две девочки и сын, которого он учит в училище и который будет купцом. И ему кажется странным и даже противоестественным, что было такое время, когда он бегал по набережной с мешками и сквозь рваные порты у него выглядывали черные потрескавшиеся колени, – кажется противоестественным потому, что перед ним бегают, сгибаясь под семипудовыми тюками, такие же оборванцы, на них болтаются лохмотья, выглядывает грязное тело, и с сожженных, красных от натуги лиц капает пот. Домик, жена, девочки, сын, который будет впоследствии купцом,

крахмальная рубаша, чесучовый пиджак смыли с него позор его прошлого, позор нищеты, лохмотьев и тяжкого труда поденщика.

Иван Николаевич чувствует себя так, как будто голова, руки, ноги у него присажены к телу совсем по-особенному, совсем иначе, чем у этих оборванцев. Он к ним так же относился бы, как к вагонам, ломовикам, к жару, удушливой пыли, ко всему, что было неизбежно на этой набережной, если бы только не напряжение и озлобленность. Теперь он их ненавидит, этих людей, ненавидит их лица, движения, позы. Ненавидит их, когда опустившиеся, размякшие, с пустыми руками и спиной, гуськом идут с баржи; ненавидит, когда с дрожащими от напряжения мышцами идут, почти невидимые под тюками, по гнущимся сходням на баржу. Ненавидит и за то, что их много, что они нужны, что они, как скотина, с ненужным для них человеческим голосом и лицом. И еще за то, что они не даются просто в руки, а надо много ума, энергии, изворотливости, чтобы взять от них возможно больше и дать возможно меньше.

«Квасу бы теперь испить... Долго что-то

Анька не идет». И ему представляется маленькая голубоглазая, с тоненькими ручонками, девочка, его дочка, которая приносит обед сюда и которая в этом гrome и хаосе кажется такой хрупкой и крохотной. И вместе с этим ему представляется домашний покой, ждет самовар на столе, таранка, огурцы, жена, ребятишки с сонными лицами. Ежели к вечеру догрузить всю шерсть – форменно будет, как в аптеке.

– Побереги-ись!.. Эй!..

Вороной сытый жеребец, с притянутой книзу тугими вожжами мордой, перебирает без всякой надобности и высоко вскидывает ногами. Кучер, с выражением презрения ко всему, что копошилось по сторонам его козел, в белом армяке и перчатках, сдерживает прядущего ушами оглушенного жеребца. В пролетке, расплывшись тучным телом, сильно сгибая рессоры, с красным, замаслившимся лицом сидит Сила Парфеныч.

Приказчик бросается к нему, низко кланяясь, с шляпой в руке.

– Шерсть к вечеру догрузим, Сила Парфеныч. Сверху еще пароход с двумя баржами

пришел, на утро разгрузку оставили, рабочих нехватка.

– Какой пароход?

– «Внучек».

Жеребей, с несколько ослабленными вожжами трогает вперед, все так же высоко танцуя, а приказчик все стоит с обнаженной головой. Вот человек, от которого зависит его будущность, его судьба, завтрашний день. Но не потому стоит Иван Николаевич с непокрытой головой, – меньше всего тут можно взять одной угодливостью, здесь требуется прежде всего неустанная работа, – а потому, что сын его, Ивана Николаевича, будет некогда вот таким же Силой Парфенычем. Он, Иван Николаевич, будет надрываться в работе, недосыпать ночей, недоедать, сделает сына купцом, и все перед ним будут ломать шапки.

А над набережной по-прежнему стоит мутная горячая пыль, и в этой пыли оглушающий грохот железа, весело перебегающие паровозные свистки, шипенье котлов, вздохи локомотивов, крепкая брань и крики разморенных зноем людей, и над всем стелющийся коричнево-черный дым.

На курорте

[Текст отсутствует]

Преступление*

I

— Захар Степаныч! — слышится короткий, резкий, скрипучий, как будто в горле переломилась с сухим треском березовая палка, голос.

— Захар Степаныч!

Кругом все, наклонив головы, пишут. От этого в сумрачной, с темными стенами и потолком комнате, среди плавающего облаками табачного дыма носится шуршанье, как будто бесчисленное множество прусаков бегают и шелестят по бумаге. Временами слышится скрип расшатавшегося стула да шарканье перекладываемых одна на другую ног.

Из комнаты писцов, в которой они набиты, как сельди, и из которых трое и днем работают при лампах, так как в углу, где стоит их стол, совсем темно, тянет прокислым запахом портянок, дешевым табаком и неустанно

несется стрекотание трех ремингтонов.

Это дробное, непрерывное металлическое перестукивание маленьких машин наполняет комнаты, назойливо лезет в уши, переполняет голову, сыплется, ни на минуту не прерываясь, отдаваясь в мозгу непрерывными резкими, сухими, подскакивающими ударами.

Но это – на свежего человека. Все же, кто здесь сидит, не слышат, не замечают этого сухого, раздражающего стука, не замечают черноты и плесени стен, копоти потолка, тяжелого, густого, прокислого воздуха, скудости дневного света, с усилием пробивающегося сквозь густую синеватую мглу табачного дыма.

Привыкли к надоедливому, назойливому, раздражающему стуку ремингтонов, привыкли к шуршанию бумаг, к известным формам выражения мыслей, к известным мыслям, языку, к подчинению, к монотонности, скуке, однообразию, тоске унылой жизни.

За стеной катились экипажи, торопился, толкался занятый, деловой люд; работали, веселились, боролись, богатели, разорялись; со-

здавались события, разворачивалась сложная, запутанная, непонятная жизнь. Здесь, точно это было в другом царстве, писали бумаги, и царило страшное спокойствие, определенность и убеждение, что та сложная, запутанная, пестрая, живая, бьющаяся за стеной жизнь – здесь-то, именно в этих темных, пахнущих плесенью комнатах, и формируется, определяется, направляется в то или иное русло или задерживается, приостанавливается.

И все в этом глубоко убеждены.

– Захар Степаныч!

Захар Степаныч сидит у самых дверей. Он слышит возглас своего начальника и медлит, раскладывая бумаги, медлит, чтобы не уронить своего достоинства: он не мальчишка, не к лицу ему по первому окрику вскакивать и бежать. Впрочем, он медлит ровно настолько, чтоб не дожидаться еще одного окрика, после которого обыкновенно бывает жестокий разнос. Он не спеша подымается и идет через всю комнату, заставленную столами, к своему начальнику, в длиннополом, мешковатом, лоснящемся на локтях и по бортам сюртуке,

важно и с сознанием достоинства.

Голова у Захара Степаныча совершенно облезлая и тускло посвечивает гладкой кожей.

– Конечно, это всем известно, что будущее человечество все будет безволосое, не исключая и дам, – говорил он обыкновенно, вытаскивая при этом из жилетного кармана маленький гребешок и начиная ездить по голой коже зубьями, втайне считая себя только начинающим лысеть, что, конечно, нисколько не мешало молодому человеку в сорок два года ухаживать за женщинами.

Он подходит к начальнику и, слегка наклонив голову, слушает.

– Я не понимаю... я не понимаю, зачем вы сидите там... о чем вы думаете! Это черт знает что!.. В конце концов к чертовой матери нас обоих прогонят!..

Столоначальник кричит, размахивает руками, изо рта брызжет слюна. Он худ, лицо желто, как лимон, и кожу приподымают угловатые кости.

– Да позвольте, в чем дело? – говорит Захар Степаныч, своею сдержанностью и спокойствием стараясь сдержать и своего начальни-

ка.

– Еще спрашивает... Ска-ажите пожалуйста-ста!.. Это вот – что такое? – кричал визгливым тонким голосом столоначальник, тыча своему помощнику почти в самое лицо бумагу. – О чем вы думаете?

Тот взял бумагу и бегло пробежал на ней пометку начальника отделения: *Почему не доложено?* Тонкий, небрежный, беглый почерк этих трех слов, заключавших в себе, помимо своего прямого смысла, признаки силы и власти, носил отпечаток угрозы.

Захар Степаныч спокойно положил бумагу на стол.

– По поводу этого дела мы запросили строительное отделение. До сих пор они не дают ответа, а без справки, Никита Иваныч, сами знаете, нельзя писать доклада.

Столоначальник разом опал. Он вспомнил, что ведь сам же распорядился сделать запрос и что без справки действительно нельзя составлять доклада. Но через секунду его визгливый голос снова стал разноситься в табачном дыму полутемной комнаты.

– Отговорка!.. Знаю я вас... То же было с де-

лом Ивановых...

Никита Иваныч размахивал руками, брызгал слюной и кричал тонкой срывающейся фистулой, стараясь побольнее уязвить помощника; кричал от сознания своей неправоты, от сознания нанесенной ни в чем не повинному человеку обиды; кричал оттого, что у него болела грудь, оттого, что врачи настаивали, чтобы он бросил службу и уехал на юг, что у него пятеро детей, что их надо кормить, что дым ест ему легкие и вызывает кашель... Никита Иваныч закашлялся, а Захар Степаныч пошел на свое место.

Он шел так же степенно и с достоинством, и только красная шея выдавала внутреннее подавляемое волнение и горечь. По-прежнему стоял шелест перьев по бумаге, плавал слоями табачный дым, надоедливо стрекотали ремингтоны и тяжело было дышать.

Захар Степаныч, отложив перо, демонстративно свертывал папироску. К нему подошел Крысиков, молодой чиновник, недавно получивший чин.

Новенький, с иголочки, первый раз надевший мундир облегал худощавую фигуру ма-

ленького человечка, и казалось, в нем-то, в этом мундире, и заключалось все, что было в чиновнике Крысикове важного, особенного, отличавшего его от всех других людей. И все, что прежде составляло жизнь – поскорее уйти со службы, наскоро пообедать, поваляться на кровати, побренчать на гитаре; потом на бульвар, барышни, шутки, смех, орехи; потом охота на горничных, кухарок с черных ходов барских домов, – все это поникло, побледнело и отступило перед темно-зеленым сукном, все время стоявшим перед глазами. Крысиков никак не мог справиться с губами и лицом, – они так и разъезжались, конфузя его. Радостное, праздничное, лучезарное настроение распирало, и мундир, казалось, становился тесен.

И он все ждал, что чиновники побросают перья, дела, столпятся вокруг него, и посыплются восклицания:

– А?!. Да это вы!.. Вас не узнаешь, совсем другой человек...

Тогда Крысиков бы ответил:

– Что тут особенного, господа, мундир как мундир... пустяки...

Но никто не трогался с места; все сидели с наклоненными головами и как ни в чем не бывало писали.

– Дайте-ка папиросочку.

Захар Степаныч молча придвинул бумажку, в которой было немного мелкого сухого, почти пыли, табаку и несколько клочков измятой папиросной бумаги.

– Вот проклятые портные, – заговорил молодой чиновник, не будучи в состоянии справиться с собой, со своим лицом, со своими разъезжавшимися губами, – проклятые портные – до чего проймы режут! – И он приподнял над головой одну руку в новом темно-зеленом рукаве, а другою в таком же рукаве потрогал огромные, болтавшиеся под мышкой проймы.

– А все почему? – заговорил Захар Степаныч, не слушая и отвечая на свои мысли, – все почему? Да потому, что, как известно, люди от обезьян происходят... Шерсть обезьяна потеряла, вот и человек. Не так, что ли? А обезьяна от кого? А обезьяна от собаки или от волка: на задних лапах стали ходить, вот и обезьяна. Не так, что ли?.. Ну, а волк, извест-

но, животное...

Крысиков, в недоумении косясь на Захара Степаныча, торопливо делал папиросу и приговаривал:

– Да-а... да, да... это конечно... ну да, да, это так...

– Или собака... ты ее не трогаешь, а она вскочила, цап тебя за ногу, так себе, здорово живешь...

– Да-а... да, да... это так...

Захар Степаныч многозначительно замолчал, закурил папиросу и так же демонстративно стал затягиваться и, пуская дым, как будто хотел сказать: «На ж тебе!.. курю вот...»

Молодой чиновник сделал папиросу, несколько раз затянулся, постоял у стола, ощущая на себе новый мундир, потрогивая под мышками, и отошел к своему столу, не решаясь опять заговорить о портных, которые так ошибаются.

II

Как только Захар Степаныч заговорил об обезьянах, он почувствовал обычное знакомое облегчение. Держа папиросу в слегка оскаленных желтых зубах и пуская сквозь

них и носом облака дыма, он достал из жилетного кармана маленькую гребенку и стал ездить зубьями по голове, приглаживая вслед другой рукой. Это означало, что Захар Степаныч примирился. Он придвинул к себе бумаги, взял перо и стал писать, не выпуская из зубов папиросу и щурясь от грубого табачного дыма.

Когда-то Захар Степаныч был изгнан из пятого класса семинарии за то, что на столе его квартиры инспектор нашел несколько книг Дарвина. Неизвестно, читал ли Захар Степаныч эти книги; может быть, и не читал, но слово «Дарвин» и представление об эволюционной теории в том смысле, что люди произошли от обезьяны, заняло в его жизни особое место. Каждый раз, как ему приходилось сталкиваться с несправедливостью, горем, обидой, неудачами, он сейчас же выдвигал свою излюбленную теорию и закрывался ею от всех невзгод жизни, как щитом. Выругает его столоначальник, выругает грубо, обидно, несправедливо, – Захар Степаныч вспыхнет, готов ответить дерзостью, но сядет за свой стол, сделает папиросу, закурит и вспомнит,

что на столоначальника так же неразумно сердиться, как на головастика, его родоначальника, что брань, грубость, насилие не больше, как пережиток, унаследованный от зоологических предков. И как только поделится Захар Степаныч своим табаком и этими соображениями с кем-нибудь из товарищей, у него разом станет легче на душе.

Но как ни успокоительно действовала на Захара Степаныча эта философская оценка жизненных явлений, он немало претерпевал за нее. Стоило ему, по обыкновению, начать: «Дарвин был не нам чета человек, высокого был ума человек, а вот додумался же...» – стоило ему так начать, как на него со всех сторон накидывались:

– Да вы что же это себя умней всех считаете?.. Зачем же вы тогда в канцелярию шли? Ишь ты, от обезьяны!.. Служит на государственной службе, пенсию будет получать, и на тебе!.. С жиру, батенька, беситесь... Вот дойдет до начальства, так такую вам обезьяну сотворят, что и «ох» не скажете! Чина-то до второго пришествия будете ждать...

Захар Степаныч сдержанно и с сознанием

своего превосходства улыбается, но последнее замечание в глубине души больно колет его. Он давно отслужил десятилетие, необходимое для получения первого чина человеку недворянского происхождения и без образовательного ценза, но до сих пор его не представляют. Впрочем, и в этом случае Захар Степаныч ухитряется утешиться эволюционной теорией.

– Захар Степаныч! – опять разносится по канцелярии.

Захар Степаныч делает вид, что не слышит, и, пуская носом дым, продолжает писать. Он по голосу чувствует, что Никита Иваныч хочет заглазить свою вспышку, и заранее знает, какой произойдет разговор. Сначала Никита Иваныч покажет какую-нибудь незначущую бумажонку для вида, а потом расскажет, что сегодня он почти всю ночь не спал, мучил кашель, что младший мальчишка расхворался, что утром он успел уже поругаться с женой. Но Захар Степаныч продолжает работать, испытывая приятное ощущение удовлетворенной мести, так как знает, что Никита Иваныч теперь мучается. Потом ему

становится жалко Никиты Иваныча: он вспыльчив, но не потому, что зол, а болен. И Захар Степаныч подымается и идет к нему, а Никита Иваныч смотрит на него ласковыми, добрыми и благодарными глазами и говорит:

– Захар Степаныч, кажется, мы исполнили вот эту бумажонку?.. А, знаете, я ведь промаялся целую ночь сегодня; черт ее знает, от чего это такое, скипидара нанюхался, тогда только и заснул...

И Никита Иваныч рассказывает про болезни ребятишек и про строптивость своей супруги. Захар Степаныч вытаскивает свою знаменитую бумажку с табаком, они делают папиросы, курят, и Захар Степаныч идет к себе на место.

Ремингтоны по-прежнему сыплют сухой горох, носится шепот, шуршанье, слышится кашель, зевота, вялый несвязный разговор, щелканье счетов, звук отодвигаемого стула, скрип сапогов. Писец, стоя у одного из столов, читает оригинал доклада, копию которого, с пером в руке, проверяет высокий худой и длинный чиновник – Мухов. Писец читает механически, быстро перебирая языком, губа-

ми, монотонно, без понижений, без повыше-
ний, как читальщик над мертвым. Эти звуки
постепенно выделяются, растут, подавляют
своей тоскливостью, унылой монотонностью.
И чудится желтое пламя свечей, стол, на сто-
ле покрытое белым, неподвижное холодное
немое тело. Никита Иваныч мысленно загля-
дывает под покров и видит желтое заострив-
шееся лицо... Никиты Ивановича. Ему непри-
ятно, что такие мысли лезут ему в голову, и
он усилием воли старается представить под
покровом чье-нибудь другое лицо, например
Карпа Спиридоныча или Мухова. Но ни кост-
лявое лицо Карпа Спиридоныча, ни строгое,
серьезное лицо Мухова никак не укладыва-
ются в воображении, и вместо них упрямо и
настойчиво выступают желтые обострившие-
ся черты лица Никиты Ивановича.

– Тьфу, черт!.. Иванов, да ты по мертвому,
что ли, читаешь?..

Ровное, монотонное бормотанье прерыва-
ется. Писец недоумевающе и конфузливо
смотрит на Никиту Иваныча, но Мухов серди-
то дает отпор.

– Я вас попрошу не мешать... Что вы меша-

ете?.. ведь не за вашим столом читаем... Читай! – сердито кричит он на писца – и таким тоном, в котором ясно слышится приказание читать именно так, как прежде.

Писец начинает читать.

– Черт знает что такое, ведь это работать нельзя: не то в канцелярии, не то в мертвецкой... Нет, будь она проклята совсем, эта служба, дотяну до весны, уйду, ей-богу, уйду. Скажите, пожалуйста, ну, какой смысл торчать мне в этом болоте, ну, какой смысл? Ведь тут одуреешь, или сдохнешь, или идиотом сделаешься... Ведь это черт ее знает что такое!..

Это обычные ламентации Никиты Иваныча, все к ним привыкли, и никто не верит, что он уйдет. Двенадцать лет тому назад Никита Иваныч по независящим обстоятельствам вышел с третьего курса университета и приехал в родной город. Надо было есть, и он временно, чтобы осмотреться, прикомандировался в канцелярию. Каждый день в девять часов он приходил сюда, с удивлением приглядываясь к этой чуждой и такой странной после университета обстановке, к этим чуж-

дым людям. Что больше всего поразило Никиту Иваныча – это то, что все чиновники были страшно похожи друг на друга: одинаковые землистые лица, одинаково болтающиеся на нескладных фигурах потертые, запятнанные мундиры; одни и те же разговоры, смех, анекдоты, брань, ссоры. Печать уравниения лежала на всех лицах, и часто Никита Иваныч здоровался с Карпом Спиридонычем, разумея при этом Павла Иваныча, и наоборот. Второе, что поразило Никиту Иваныча, – это привычка к той обстановке, в которой все работали. Чиновники относились к Никите Иванычу сдержанно, вежливо. Никита Иваныч писал бумаги, не особенно стараясь, чувствуя себя здесь временным гостем, как будто Никита Иваныч ехал по большой дороге, задержался на постоялом дворе, ему отвели душную комнатку, и, хотя было тесно и грязно, он не думал об этом, а думал о том, как приедет наконец на место назначения и как там пойдет жизнь.

Но трогаться с постоялого двора все не приходилось. Не попадалось подходящей работы, да и Никита Иваныч, чувствуя себя до известной степени обеспеченным, был раз-

борчив. Проходили недели, месяцы. У Никиты Иваныча происходили иногда столкновения с начальством из-за упущений, невнимательности, незнания. И хотя он не придавал этому значения, — не сегодня-завтра всему этому должен быть конец, — все-таки гордость заставляла относиться внимательнее, присматриваться к делу, отдавать ему часть своих мыслей, дум, сосредоточенности, чтоб не сделали упрека, что даром получает двадцатого жалованье. И по мере того как он входил в интересы канцелярии, он стал различать своих товарищей. У каждого было свое лицо, свое выражение, свой голос, свои интересы, горе, беды, особенности и характеры. И обезличивавший всех мундир на каждом сидел по-особенному.

Как только различил Никита Иваныч в каждом из своих товарищей человека, он вдруг почувствовал неприятность своего одиночества в канцелярии. Его молодость, а главное, его университетское образование мешали сближению с товарищами, и Никита Иваныч раздвоился: один Никита Иваныч рвался из канцелярии, думал о настоящей жизни, о

том, что он что-то должен делать, что-то особенное и важное, следил за текущей литературой, читал газеты, журналы. Другой, слушая и рассказывая недвусмысленные анекдоты, перебирал шансы такому-то чиновнику попасть туда-то, получить повышение, расположение начальства; хлопал по животу весельчака Алексея Алексеевича. Раза два в неделю принимал участие в складчине; незаметно пробирался в комнату сторожа, где среди пустых склянок из-под чернил, среди пахнувших керосином ламп разложена была на бумажке колбаса, тарань, селедка и стояли бутылки с водкой и пивом; торопливо выпивал, закусывал колбасой, отрывая ее по кусочку руками, и возвращался в отделение с веселыми глазами, разговорчивый и общительный, — словом, делал все, чтобы заставить товарищей забыть свое превосходство, разделявшую их разницу умственных интересов. Раз приходится, хотя и временно, быть среди этих обездоленных людей, думал Никита Иванович, приходится и жить с ними общей жизнью, и если нельзя их поднять до себя, надо спуститься до них, чтобы не оскорблять со-

знанием своего превосходства их, и без того всем и всюду оскорбляемых. Да и все это только чисто внешняя приспособляемость, сам же Никита Иваныч остается тем же самым Никитой Иванычем, что и прежде, со всеми своими интересами и со всем складом своей внутренней жизни. Ведь каждую минуту, раз он захочет, он может уйти отсюда. Так думал Никита Иваныч, – а время шло.

Ему дали чин. Это в одно и то же время вызвало полупрезрительную усмешку и, в глубине души, хотя он сам не хотел сознаться себе в этом, приятное сознание, что он стал выше, лучше в глазах других. В тоже время чин его испугал. Как, значит, он остается здесь навсегда? Нет, нет... Он бросился писать знакомым, стал энергичнее искать иную работу, – а время шло.

Счастье Никите Иванычу представлялось в виде молодой, свежей, с румянцем на щеках подруги. Они будут вместе работать, читать, у них будут общие интересы, общая цель в жизни, и они будут крепко любить друг друга. И он страстно хотел и искал этого счастья, но оно пока не приходило. Совершенно случай-

но он встретился с одной модисткой, легкомысленной, довольно вольной девушкой. Молодость взяла свое, и результатом этой встречи оказался ребенок. Это событие оглушило Никиту Иваныча. «Как! что же это такое?.. Да ведь я совсем иначе хотел жить, совсем по-иному... Пойдите, что-то не то, и это не так... тут недоразумение... ведь я же хочу, я имею право на ту, на настоящую жизнь, на счастье!..» – кричал он внутренне кому-то, от кого, казалось, зависела его судьба, – но жизнь, с глупой дурацкой улыбкой, слепая, ничего не разбирая, шла вперед, закрепляя все, что казалось временным, преходящим, мимолетным, не оставляя возврата. Нельзя было мать с ребенком выбросить на улицу, и Никита Иваныч женился. Пошли дети, модистка расплылась в мелочную, сварливую бабу, и чем серее становилась жизнь, тем труднее было оторваться от канцелярии, чем больше он завязал там, тем с большей страстностью он повторял себе: «Уйду... уйду... уйду, не могу больше...»

И ему казалось, что семья, ребяташки, ссоры с женой, чиновники, бумаги, начальство,

двадцатое число, – что все это так себе, пока, временно: точно он был на бивуаке, в темноте белели палатки, и ждали только рассвета, чтобы сняться и двинуться вперед. Но время шло да шло...

Уже бородой оброс, лицо посерело, пришла и болезнь. И, просыпаясь ночью в расслабляющем поту, он, с ужасом глядя в ночную темноту, перебирал в голове, как все это случилось постепенно и незаметно. Сначала молодость, сила, здоровье, университетская жизнь, товарищи, планы будущего; потом катастрофа, приезд в родной город, канцелярия, чиновники, желание не оскорблять их своим образованием, женитьба, дети, недостатки... И каждый день, каждый день канцелярия отрывала и уносила его по кусочку. Жизнь не дарила ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты, – она все ставила в счет. У него стало такое же серое лицо, как у других, так же болтался на нем мундир, так же трудно было отличить его свежему глазу от других чиновников. То, что, как клещами, держало чиновников в канцелярии, – полная отрезанность от жизни, атрофия способности приспособ-

собления, – как болезнь, вошло и в Никиту Иваныча. И чем больше он думал, тем яснее понимал, что ему не вырваться. Он сел на постель, дрожащими руками шарил по столику, зажигал свечу, делал папиросу и торопливо курил, пока голова не начинала кружиться. Прежде, когда Никита Иваныч только что попал в канцелярию и все ему казалось так ново и необычно, он относился к чиновникам, к этому забитому, загнанному, запуганному люду в высшей степени бережно, опасаясь лишним словом, неловким выражением причинить боль. Чиновники относились к нему недоверчиво, злобно, чувствуя в нем чужого человека; теперь же, когда он год за годом терял все, чем прежде отличался от них, он начал относиться к ним свысока, третировал и постоянно раздражался, а они ему прощали, как больному товарищу, и он это видел, еще больше раздражался и твердил, что уйдет.

– Уйду, уйду, уйду... не могу больше! Все живут, все работают по-человечески, по-людски, а у нас все не по-людски... Ну что такое чиновник? Если захотят кого обругать, так об-

зовут чиновником... У чиновника нет ни самолюбия, ни воли, ни уважения к себе, ни чувств своих собственных, ни жизни своей, а есть только начальство. Как начальство прикажет, так чиновник и думает... Он и детей родит только по разрешению начальства... И за все за это – нищенское вознаграждение... Нет, дотяну до лета, а там уйду...

– И чего вы, Никита Иваныч, Лазаря поете?.. Вот уж не люблю, – говорит, раздражаясь, высокий и худой Мухов, всегда с сердитым лицом и нахмуренными бровями, точно он только что поругался и все никак не может успокоиться, – не люблю, как это начнут выламываться, как коза на веревке... Служишь – и служи, получаешь жалованье – и молчи!

– Да уж вы не заноситесь, Павел Иваныч, пожалуйста...

– Нет, вы, Никита Иваныч, позвольте, – подымается во весь свой длинный рост Мухов, играя мускулами лица, точно готовый не то заплакать, не то нанести оскорбление действием. – Мы, положим, не воспитывались в университетах, – Мухов делает особенное ударение на слове «университетах», как будто то,

что он употребляет это слово во множественном числе, особенно оскорбительно для Никиты Иваныча, – но, между прочим, можем спросить вас, чем хуже чиновник всякого другого служащего, все равно – возьмите контору какую-нибудь, магазин, что ли, учительское место или там еще чего? Да там хозяин-то похлеще всякого начальства будет, там из вас всю душу вымотают! Вы говорите, тут начальство; а перед хозяином-то не навтыяжку, что ли? Не по его приказанию детей родят?.. Тут что: до трех часов отзвонил – и домой, и никто тебя не спрашивает, а там все двадцать четыре часа у хозяина на счету: он тебе заплатит да свои денежки соком из тебя возьмет... А то чиновник, чиновник... Что ж, не такой труд, что ли? Ведь работают, трудятся люди, чего же их охаивать да насмехаться?..

– Вы меня не понимаете, Павел Иванович, я разве о том... Я о том, что самая атмосфера тут, дух самый...

– Да что вы мне рассказываете... что я маленький, что ли? не понимаю?.. Дух... дух, вон, у козла тоже есть... эка, дух!..

– Эх, господа, чего вы горячитесь, – заговорил Захар Степаныч, – ведь это все один переход, эволюция называется. Вот взять хоть траву. Отцветет она и согниет. Вы думаете, все тут? Нет, она не пропадет, она согниет, а почва через то оплодородится, и на место ее вырастет новая трава, выше и гуще. Так и мы. Действительно, скверное наше житье, ну только мы уйдем, а после нас людям лучше станет...

– Ну, поехала, повезла... Кто про что, а он про Ерему... Вот за твою эволюцию тебе и чина не дают!

– Ну что ж, что не дают, – Захар Степаныч при этом добродушно улыбается, снисходя к их слабости, незнанию, невежеству, – и не дают! Только другой на моем бы месте давно петлю себе приготовил или с кругу спился, а я вот, слава тебе господи, живу и пожить думаю, и веду себя дай господи каждому, вот чин получу и женюсь, и дети будут, воспитывать их буду, любить... Только вот чина этого самого не дают... и пусть себе не дают, потому это закон природы, и ежели бы я не знал, что это закон природы, я бы давно с кругу спил-

ся... Закон-с природы-с... не так, что ли?

– Пошел писать...

– Вот вам и писать. Я вот знаю, что законы в природе, и все по ним происходит, и от этого живу себе спокойно... Чина не дают... другой бы на моем месте крутился, кидался бы во все стороны, а я себе ничего, что ж, подожду... А у вас вот ничего нету такого, нет никакой такой точки, вот и плачетесь и скулите, и не на чем вам душой вздохнуть... Да!

– И о чем вы, братцы, ей-богу! Я вам вот что скажу: хоть ты чиновник, хоть начальство, хоть ты служающий или хозяин, – все одно одинаково без бабы не обойдешься...

И, положив короткие руки на трясущийся живот и прикрыв маленькие заплывшие глазки, кругленький, пузатенький Емельяныч захохотал самым искренним образом.

Все засмеялись.

III

Каждый день сторож Михалыч к десяти часам подавал местную газету. Так как ближе всех к дверям сидел Захар Степаныч, Михалыч, отвесив поклон, клал газету к нему на стол.

В отделении строго соблюдалась субординация, и помощник столоначальника не смел читать газету раньше столоначальников. Тем не менее Захар Степаныч аккуратно каждое утро важно разворачивал номер, взглядывал на заголовок газеты, на заголовки отделов: «телеграммы», «внешние известия», «внутренние», «хроника», и, прежде чем на него успевали зарычать, небрежно, точно он просмотрел все, что ему было нужно, складывал и передавал ближайшему столоначальнику. Захар Степаныч не успевал прочитать и одной строки, но был удовлетворен и аккуратно каждый день проделывал то же самое.

Был канун Нового года. Зимний день тускло глядел сквозь занесенные снегом окна. Михалыч с поклоном положил газету на стол к Захару Степанычу. Тот развернул, проделал все, что обыкновенно проделывал, и положил на стол Мухову. Мухов взял, не спеша развернул и стал медлительно и со вкусом читать. Прочитал правительственные распоряжения, внешние и внутренние известия, телеграммы, стал читать местную хронику и вдруг сделал огромные глаза и посмотрел на всех так,

как будто видел всех в первый раз. Он прочитал еще несколько раз одно и то же место, не доверяя своим глазам.

– Господа... господа, нас пропечатали!..

Все подняли головы и перестали шуршать перьями.

– Будто?

– Ей-богу.

Мухов не любил шутить, и чиновники потянулись к нему.

– Где? Где? Почему вы знаете, что это про нас?

– Как же, вот глядите.

– Читайте... Читайте...

Мухов стал читать, а все слушали с напряженными, или улыбающимися, или нахмуренными и испуганными лицами. В маленькой заметке местной хроники сообщалось о тех условиях, в которых приходилось работать чиновникам некоторых учреждений в городе: низкие потолки, теснота, темнота, сырые грязные стены, слепые окна, тяжелый густой воздух, и даже необходимость для некоторых работать и днем при лампах. Ничего особенного, но все разом решили, что это от-

носится именно к этому отделению. И читали с захватывающим интересом, с бьющимися сердцами. То, к чему они привыкли, что было обычно, неизбежно, буднично, неустранимо, то вдруг в одно время будут читать, представлять себе сотни, тысячи людей, – людей совершенно незнакомых, которых они никогда не встретят, не узнают и которые их никогда не встретят. Это-то и заставляло особенно волноваться, это почему-то и было страшно важно и необычайно.

Библейская история рассказывает, что первые люди жили счастливо и ходили в саду нагие. Они проводили вместе все дни, шло время, и они не замечали его. Однажды змей, свесившись с дерева, сказал им: «Нагота ваша ничем не прикрыта». Они взглянули друг на друга и увидели, что они голые. Им стало стыдно,

Десятки лет люди служили, работали и, нагнувшись над столами, как быки ярмо, несли свою постылую работу и не замечали этих темных заплесневелых стен, низко давившего потолка, не замечали, что за стенами яркий солнечный свет, а здесь люди работают

при лампах, и красноватый огонь сквозь закопченное стекло освещает их поблеклые, землистые лица, не замечали, как уходила жизнь, и вдруг посторонний, чужой, незнаемый человек пришел и бросил им несколько строк, и они оглянулись на себя и с ужасом увидели наготу своей жизни, и им стало стыдно, как первым людям, стало больно и горько.

– Ну, братцы, и здорово описал.

– Начальство теперь нос закрутит.

– Что значит литератор, образованный человек, как по косточкам разберет...

– Господа, надо обмыть статью...

– Посылай.

– Что же я один, давайте-ка...

Чиновник с шапкой стал обходить всех. Кто клал двугривенный, кто четвертак, а кто и гривенник. Через полчаса у всех, заглядывавших в комнату сторожа, лица были красные и глаза веселые и добрые.

– Господа, – возгласил перед уходом Захар Степаныч, – завтра Новый год. Непременно надо сегодня собраться да обмыть хорошенько статью. И Новый год встретить по примеру

прошлых лет.

– Идет.

Условились собраться в «Золотом Якорю».

IV

Собралось все отделение.

Бутылки, селедки, шамая, сардины, запах номера гостиницы, испитое, с отпечатком «чего изволите-с» лицо официанта, оживленные лица компании – все говорило о приподнятом настроении. Пили, говорили, чокались, проливали вино, хохотали, встречали Новый год, «обмывали» сегодняшнюю газетную статью и были в радужном, радостном настроении.

Все чувствовали себя так, будто изо дня в день шли по одной и той же пыльной и скучной дороге, неизвестно куда и зачем; кругом простиралась такая же скучная, плоская, унылая степь; сегодня дошли до станции, и им говорят: «Ну, господа, слава богу, теперь по-новому пойдет... С Новым годом!..»

И все с радостными, влажными от возбуждения лицами встречали новое и неизвестное в грядущем году, полное чреватых событий благодаря сегодняшней статье.

Захар Степаныч, покачиваясь, блаженно улыбаясь, то подымая, то опуская брови, смотрел на облезлые черные часы; длинная стрелка маленькими скачками подбиралась к короткой, которая стояла на двенадцати.

– Господа, рюмки, рюмки!.. Скорее, скорее, сейчас!..

Все, торопясь, звеня, проливая вино на мокрую, запятнанную, залитую скатерть, наполняли рюмки, стаканчики, бокалы водкой, вином, пивом, потом взяли в руки и стояли с сосредоточенными, важными, полными торжественного ожидания лицами, удерживаясь от покачиваний; вино колебалось в рюмках и играло отблеском свечей.

И среди тишины, среди густого спиртного запаха раздался голос Захара Степаныча, торжественный и важный:

– Двенадцать! Ура!..

– Уррра-а!.. Уррра-а!..

– Господа!..

– Господа, позвольте...

– Нет, уж позвольте мне...

– Нет, уж мне позвольте: я постарше вас.

– Урра-а!..

– Емельян, сыпь в рюмку...

– Господа!..

– Дай обнять... поцелуемся, брат...

– Господа, позвольте мне!.. Вот Новый год...

слава богу, дожили... Мне, братцы, тридцать девятый год пошел... То-то вот, я говорю, ежели бы начальство об нас заботилось... Нет, по совести... а то что ему? Ему хорошо, какое ему дело до нас... по совести... а чиновники себе как хотят... Я так думаю, на нас обратят в этом году внимание... Ведь это что такое? В канцелярии прямо задыхаешься, невозможный воздух... Погреб, ведь мы полжизни тут проводим... Вы думаете, это зря в газетах стали писать? Не-ет, шалишь, это, значит, в высших сферах разговор пошел, а то бы тебе так и пропустила цензура такую вещь... разевай шире! Нашему-то начальству что! Сидит себе в отдельном кабинете, ему-то хорошо...

– Постой, ты, брат, того... ты, брат, не дюже, – испуганно озираясь, дернул его за рукав сосед, – может дойти, знаешь...

– Э, пусти!.. А содержание? Что такое? – ничета!.. Ну, господа, в этом году, кажется, все разрешится: я слышал, новые штаты будут, и

вообще на нас начальство обратит внимание... Если уж писать стали, это дело в ходу, это, значит, мы на виду. С Новым годом!.. С новым счастьем!..

– Урра-а!.. Урра-а!..

В горло полилось вино, пиво, водка. Налили опять.

– Нет, господа, зачем... зачем начальство трогать? – проговорил, держа в одной руке рюмку, а другой вытирая мокрые усы, толстенный Емельяныч. – Не будем касаться начальства... начальство пусть себе там... не нашего ума дело. Вот жена у меня, фу-у-у, да и славная женщина! Нилочка... Ну, только действительно холодная... Так-эдак скажешь ей: «Нилочка! А?..» А она: «Чего?» – и подшморгнет носом... Ну, только и хозяйка, аж удивляешься. Я ей все говорю: «И чего ты такая, хозяйка?..» Холодная... так просто... как мешок... ей-богу! Ей все равно... Я ей иной раз говорю: «Отчего ты такая холодная? тебе все равно, что я, что энта табуретка... ей-богу». А она подшморгнет носом: «Чего?..» Ну, с Новым годом!.. Фу-у, да и женщина! Я теперь вот приду, скажу: «Ну, Нилочка, Новый год...» А?.. ей-бо-

гу!.. Ну, с Новым годом, с Новым годом, с новым счастьем, ура!..

– Уррра-а-а!..

– Позвольте вас поцеловать...

– Нет, братцы, постойте, постойте, что я вам скажу... – говорил, стараясь покрыть голоса, молоденький, новоиспеченный, с мокрым, пьяненьким лицом чиновник, – постойте, главное, что у нас из окон канцелярии ничего не видать, кроме мостовой, аллеи да облупленной стены... Подойдешь к окну: мостовая, аллея да ободранная стена... Ах ты, господи боже мой!.. Главное, скучно... Хоть бы веселый дом против построили... с красным фонарем... Ха-ха-ха!.. Все-таки это – подошел бы к окну, посмотрел бы, посмеялся... дескать... там... девицы... все такое... ей-богу!.. А то что такое?.. Ежели бы из окна да видать чего-нибудь... а то мостовая, аллея да стена облупленная... Ну, с Новым годом, господа!.. Я думаю так: с нового года веселей пойдет... С Новым годом!..

– Уррра-а!..

– Человек, еще дюжину пива,

– И водочки пару бутылочек.

– И закусочки.

*Гой, да-а ве-е-се-е-ли-и-тесь, хра-
брые ка-а-заки!*

– Пой!

Э-э... оэ... оо... оэ... э...э... эоо!

– Братцы, а за самое главное не пили...

Э... оэ... эо-о... а-а-а... оэ... о-о!..

– Стой, господа, помолчите... Емельян, заткни глотку!.. За самое главное не пили: за того благодетеля, который об нас постарался, – за сочинителя, братцы!

– Урррр-а-а!..

– Дай ему бог здоровья...

– Уррра-а!..

– Хороший, должно быть, человек...

– Уррра-а!..

– Непременно женатый и небось штук семь детей, потому сразу вошел в наше положение...

– Если бы знать, кто такой, пригласили бы да покачали бы на руках... Братцы, наливай за сочинителя!

– Уррра-а!..

Чокались, наливали, пили, разливали, кричали, обнимались.

– Карп Спиридоныч, теперь ваша очередь: скажите речь.

Карп Спиридоныч, длинный и нескладный, в ужасе заморгал глазами: во всю жизнь он не сказал подряд больше двух слов.

– Карп Спиридоныч, скажите вы...

– Скажите, скажите, скажите!.. – раздавались голоса.

Карпа Спиридоныча подталкивали, подымали со стула, тыкали кулаком в бок. Он ежился, двигался по стулу, испуганно улыбаясь узкими бескровными губами, голубые добрые глаза делались совсем круглыми, обтягивавшая костлявое лицо кожа шевелилась набегавшими вокруг большого рта и глаз складками.

Он заморгал безволосыми веками, высоко поднял облезлые брови, потом усиленно замотал губами и языком, точно раскачивая и усиливаясь пустить их в ход, и, наконец, заикаясь, приподымаясь над столом своим длинным, рыбьим, согнувшимся под углом телом, проговорил:

– Я... я... н... не знаю, ч... что сказать...

– Говорите, говорите, говорите!..

– Нельзя, должны сказать... все говорили...

Его толкали, не давали садиться, подставляли на сиденье стула кверху палец и кололи снизу, когда он пытался садиться. Карп Спиридоныч дергался, умоляюще глядел на всех, наконец, разогнулся и опять пустил в ход губы и замотавшийся язык. Все примолкли, сдерживая готовый прорваться смех; а он, округлив еще больше голубые глаза, проговорил:

– В... в... все... п... по-прежнему... все п... по-прежнему... – и, умоляюще, испуганно поглядев на всех, сел, торопливо моргая безволосыми веками и еще напряженнее улыбаясь тонкими, длинными, почти до самых ушей, губами.

Водворилась тишина. Улыбки застыли на влажных, приготовившихся смеяться лицах.

«Все по-прежнему... все по-прежнему... по-прежнему... по-прежнему...»

Да, да, да, все по-прежнему, ничто не изменилось; в сущности ведь никакого нового года нет, ничего нового, никакого перелома, а

бутылки, колбаса, копчушки, селедки – это можно и в пятницу, и в воскресенье, и первого, и двадцатого, и двадцать первого, и в декабре, и в январе, и в мае.

«Все по-прежнему...»

Та же жизнь, та же канцелярия, те же облупившиеся стены, стол, начальство, бумаги, пыль на стот лах. Так же надо приходиться в девять, уходить в два; так же дожидаться, следующего двадцатого числа, и страдать геморроем, и знать, что на улице те же понурые извозчики, те же прохожие, и никогда, никогда не подойдешь к окну с сознанием, что увидишь что-то другое, другую улицу, другие здания. И вся жизнь кажется длинным и узким коридором, и невозможно свернуть, невозможно ни на одну минуту выбраться, как будто идешь в глубокую грязь по взрыхленной колеями и лошадиными следами чернеющей дороге и чмокаешь большими, отяжелевшими от сырости сапогами...

Все, все останется по-прежнему, по-старому. Новый год... Но ведь Новый год – ложь и обман, ведь никакого нового года нет, идут все те же старые дни.

Впрочем, *одно* может быть ново. В прошлом году вот за этим самым столом со всеми встречал Новый год Степан Семеныч. Он пил, смеялся, кричал «ура» и поздравлял всех с Новым годом, с новым счастьем; а теперь его нет, и никто никогда не услышит его голоса.

А когда на будущий год будут встречать Новый год, кого-нибудь и из них не будет за этим столом.

Жизнь идет вперед слепо, тяжело и страшно: никуда нельзя свернуть, нет и не может ничего быть нового.

Все сидели с искривленными улыбками, и волосы плоско прилипали к мокрым лбам.

Но это продолжалось мгновение. Как бы наверстывая, раздался дружный хохот:

– Браво... браво... браво!.. Ай да Карп, ай да здорово, ай да речь отмочил!.. Ха-ха-ха!.. недаром сидел да молчал: высидел, как петух яйцо...

– Сам длинный, а речь с хворостинку...

– Это ничего, братцы: длинные мужчины любят маленьких бабенок.

– Ха-ха-ха!.. Ххо-хо-хо!..

– Маленьких да кругленьких, ххо, хо-хо!..

– Урра-а!.. С Новым годом!..

Чиновники пили, ели, кричали «ура», поздравляли, целовали друг друга, сидели, обнявшись, по диванам, в расстегнутых мундирах, с побледневшими, мокрыми лицами и, покачивая свесившимися головами, пели усердно и невпопад. Разошлись уже под утро.

V

Хмуро и неприятно глянули угрюмые, закоптелые стены и тусклые окна канцелярии после Нового года. Нехотя, кряхтя, садились чиновники за столы, без надобности перебирая бумаги, почесывая поясницу, зевая и крестя рот.

Но когда собрались все, когда каждый увидел вокруг все те же серые, испытые, землистые лица, те же тощие согнутые фигуры в потертых мундирах; когда смутный говор, кашель, харканье, шорох бумаг заполнили огромное здание и сквозь этот шорох немолчно и надоедливо застрекотали ремингтоны, – все почувствовали, как будто опять закрипели, покачиваясь, возы, впереди потянулась пыльная скучная дорога, скучно раскинулась плоская степь... И все шли за возами неиз-

вестно куда и зачем, и ничего впереди не маячило, и было кругом все просто и обыденно. Опять все почувствовали себя отгороженными, отделенными от новизны, от изменчивости сложной, непонятной, запутанной жизни, что билась за этими толстыми темными стенами, почувствовали себя частицей чего-то огромного, бесформенного, могучего.

Все пошло по-прежнему, по-старому...

Дружное шарканье ног покрыло щуршанье бумаг и стрекотание ремингтонов; все, как по команде, поднялись, опустив руки по швам. Вошел начальник. Он держал газету, лицо было хмуро, левый глаз прищурен, что служило дурным признаком. Из дверей выглянули испуганные лица писцов. Надоедливое стрекотание ремингтонов смолкло; все притихли.

– Что это такое? – раздался резко и странно, среди наступившей тишины и смолкших ремингтонов, сердитый окрик. – Что это значит?

Все глядели, не будучи в состоянии оторваться, на левый сощуренный глаз. Что-то страшное слышалось в этом непонятном во-

просе, что-то чуждое, необычное врывалось в тихую канцелярскую жизнь.

– Я спрашиваю, кто из вас, у кого хватило бесстыдства... кто из вас вот... это вот?.. – Он щелкнул пальцами по газете.

И тогда разом всем стало понятно. Страх холодными иглами проник глубоко в грудь сдерживавших дыхание людей. Для всех вдруг стало ясно то страшное преступление, которое было совершено, и все с изумлением, с ужасом глядели друг на друга. Тогда в этой придавленной темным потолком комнате, как приговор, прозвучало:

– Сейчас меня вызывал его превосходительство и категорически заявил: если через неделю не будет разыскан среди вас тот, кто дал сведения и указания в газету, будет уволено все отделение.

Начальник ушел. Водворилась мертвая тишина. Не слышно было ничьего дыхания. Зловеще глядели тяжелые, сырые каменные стены; неподвижно висел каменный потолок над ровным слоем табачного дыма, ни звука не доносилось из помещений писцов. Что-то давящее, новое и страшное осталось с уходом

начальника в этой полутемной комнате, и ощущение однообразия, монотонности, привычки нарушилось и пропало. Казалось, сюда на мгновение ворвалась та непонятная, чуждая, бившаяся за стеной жизнь, ворвалась и отхлынула, оставив роковую задачу.

Резким, сухим металлическим звуком опять застрекотали ремингтоны; все столпились и разом заговорили, не слушая и перебивая друг друга. Серые, землистые лица покрылись пятнами румянца, раздражения и злобы.

– Это, господа, что же такое, – заговорил высокий и сухой Мухов, играя мускулами лица и сердито дергая левой бровью. – Что же это такое?.. Это, господа, нечестно... Честно, что ли, всех подвел? Все отвечать будут... Подвел, ну, и признайся... Что же всем отвечать за одного?.. Это по-товарищески разве?

Точно из головы всех вырвалась мысль, выраженная этими словами. Да, да, да, отыскать, разыскать виновника! Пусть он признается, пусть добровольно признается, – нельзя одному топить всех. Но где же, где он, кто он? И все с раздражением, со злобой, с затаенной ненавистью, подозрительно заглядывали

друг другу в глаза.

Кто же, кто из них?.. Как теперь подойти к товарищу, покурить, побеседовать, расспросить про семью, рассказать про своих детишек, пошутить, посмеяться, спросить совета насчет доклада? Как это сделать, когда, быть может, *тот*, с кем в эту минуту разговариваешь, он-то и виновник той беды, что рухнула на всех?!

Работа валилась из рук, чиновники без толку рылись и перелистывали дела и с ожесточением курили, из-за дыма с трудом можно было различать лица. Начальник то и дело звал к себе столоначальников и распекал за небрежно и неверно составленные доклады.

То у одного, то у другого стола собирались кучкой и вдруг ожесточенно нападали на кого-нибудь.

– Это вы, Захар Степаныч!.. Кому же больше, как вам?

– Постойте, какое вы имеете право, – говорит, бледнея и поднимаясь, Захар Степаныч, готовый кинуться на первого, кто осмелится заикнуться о том, что он имеет сношение с га-

зетой.

– Конечно, вы, – кому же больше?.. Недавно у вас люди от обезьян происходят, а из себя ученого корчите...

– Что-о?..

– А вы думаете, я не помню, как вы два года назад в гостинице с репортером водку пили?..

– Нет, вы уж прямо говорите: по-вашему, и начальник от обезьяны происходит?

– Ежели вы порядочный человек, вы должны признаться... чтобы товарищи безвинно не страдали...

Захар Степаныч видит вокруг возбужденные, злобные лица, сверкающие глаза, раздувающиеся ноздри. Он чувствует, что у него на шее затягивается петля, что-то бессмысленное, нелепое давит его, нет выхода, – он вскакивает и что есть силы бьет вставку о стол. Осколки пера и вставки разлетаются во все стороны, разбрызгивая чернила, а Захар Степаныч кричит не своим голосом:

– Я... я... если осмелитесь оскорблять... я вам морду разобью!..

Это кажется убедительным, и все расходят-

ся на свои места. Захар Степаныч дрожащими руками вправляет перо в новую вставку.

Никто не смотрит друг другу в глаза. Утром, когда приходят, еле здороваются, сейчас же отворачиваясь. До двух часов успевают раз десять переругаться, нападавая и пристававая то к одному, то к другому.

То, что связывало их десятки лет, разом порвалось. Одна и та же обстановка, одна и та же жизнь, интересы, скука, монотонность, подчинение, привычка друг к другу, безнадежность когда-нибудь переменить жизнь, товарищество – все пропало, исчезло, точно вычеркнулось. Люди, проработавшие по десяти, по пятнадцати, по двадцати лет вместе, с удивлением, со злобой, с ненавистью глядели друг на друга, точно видели друг друга в первый раз. Тонули все. Всем одинаково предстояло очутиться на улице беспомощными, бессильными, ни на что и никуда не годными, никому не нужными. Не на кого было опереться, – не от кого было ждать помощи, совета, слова участия, – все одинаково гибли. И от этого порвалась старая связь, привычка, дружба. У людей ничего не осталось. Так бы-

вает на разбитом судне: измученные люди борются с бурей, с волнами, с темнотой, поддерживаемые сознанием общей борьбы. Но вот роковой крик проносится среди волнующейся, крутящейся над ревушим морем темноты: «Спасайся, кто может!» И все бросаются куда ни попало, отбиваясь руками, зубами от цепляющихся за взмокшую одежду тонущих товарищей.

Часы занятий в это ужасное время тянулись убийственно медленно, но дни пробежали с быстротой, от которой становилось страшно. До срока оставалось два дня. Все ходили по канцелярии с осунувшимися, постаревшими на несколько лет лицами, с ввалившимися, остро сверкавшими, как у горячечных, глазами и говорили хриплыми, точно после пьянства, голосами.

Два дня!..

Слышался обычный шорох бегавших по бумаге перьев, стрекотали ремингтоны. Никита Иваныч поднял голову и посмотрел на эти осунувшиеся лица, на стоявший синеватыми слоями табачный дым, на безучастно глядевшие, подернутые темною плесенью

стены, на равнодушно давивший всех неотвратимо низкий потолок, и острое, яркое сознание, что все кончено, точно впервые ожгло его.

Как, два дня! всего два дня... А дети? а семья? а пенсия? а болезнь? а наградные? а двадцатое?.. Но ведь постойте... нет, нет, это не то, это не так, этого *не может быть!*.. Этого не может быть потому, что только теперь он увидел, что это и была жизнь, та самая жизнь, которая только раз дается человеку и никогда не повторяется...

И ему стало жаль этой настоящей, а не выдуманной, какой-то ожидаемой, несуществующей жизни. Он вспомнил, что здесь, именно здесь, у него пробился первый седой волос, здесь ушла незаметно, невозвратно молодость, здесь у него впала, вдавилась ямой грудь, здесь выступили и приподняли желтую кожу угловатые кости, здесь завяло и умерло все, что дал университет, здесь он оставил по кусочкам жизнь, здесь каждый кирпич, каждое заплесневелое пятно было пропитано его жизнью, его кровью, здоровьем, надеждами, навсегда минувшей моло-

достью. Как же, как же он уйдет отсюда? Как он уйдет отсюда именно в тот момент, когда он увидел, точно пелена упала с глаз, что это и была и есть настоящая, реальная, невыдуманная жизнь, которую неизбежно нужно было прожить. Все время он обманывал себя и теперь вдруг увидел правду... Нет, нет, нет!..

Глаза Никиты Иваныча остановились на Карпе Спиридоныче, и страшная мысль, как брошенная я темноте искра, мелькнула в голове: *«Да ведь это он!..»*

И Никита Иваныч, страшась своей догадки и вместе опасаясь своего малодушия, кошачьей походкой подошел к Карпу Спиридонычу и уставился на него немигающими глазами.

Карп Спиридоныч спокойно, согнувшись длинным телом, писал. Он один из всего отделения не волновался, не ругался, не горячился, не подозревал, не разыскивал виновного, покорно и безответно ожидая общей участи, стараясь только отгонять от себя мысль, чем же он будет кормить своих семерых ребятишек. И его никто не трогал: в голову никому не приходило, чтобы этот забитый, всех боя-

щийся, не умеющий говорить человек мог иметь какие-либо сношения с сотрудниками газеты. Но именно потому, что это была невероятная мысль, она и поразила Никиту Иваныча.

«Да ведь это он!..»

Никита Иваныч совсем перегнулся через стол, не спуская глаз с длинного, костлявого лица Карпа Спиридоныча; а тот поднял на него свои добрые глаза и улыбнулся ему грустной улыбкой, чуть-чуть тронувшей как будто нарочно сложенную по лицу складками и морщинами кожу. Никита Иваныч, чувствуя, как ему перехватывает горло, проговорил хриплым шепотом:

– Сознаться... признайтесь товарищам!.. Нельзя губить людей... нельзя через одного пропадать всем.

Карп Спиридоныч округлил голубые, все такие же добрые глаза, не понимая всей громадности обвинения. Он было пустил в ход с печатью усилия и напряжения на лице заморщившиеся губы и язык; но они помотались, помотались и ничего не сказали, и он улыбнулся. Эта беспомощность, эта добрая улыбка,

эта неспособность защитить себя, сказать в свою пользу – взорвали Никиту Иваныча.

– Па-адлец!..

И вместе с этим, поражая слух, неожиданно раздался сухой удар костлявой руки о костлявое лицо. И этот сухой короткий звук разнесся по всей густо накуренной комнате, проник к писцам, покрыл стрекотание ремингтонов, прозвучал назойливо, резко и отчетливо, точно нарочно, чтобы нельзя было стереть его в памяти и чтобы все слышали.

И все слышали.

Мгновенно смолкли ремингтоны, прервались беготня и шуршанье перьев. Ни звука, ни вдоха, ни шороха. Секунду все сидели неподвижно, с побледневшими лицами, потом разом поднялся смешанный, тревожный, испуганный говор и восклицания... Несколько человек бросились между Никитой Иванычем и Карпом Спиридонычем:

– Что вы... что вы?! Опомнитесь!.. Разве возможно в присутствии?.. До начальника дойдет...

Карп Спиридоныч стоял немного нагнувшись, точно ждал второго удара. Губы дрожа-

ли, нижняя челюсть прыгала, из голубых глаз капали слезы. Это были слезы бессилия, слезы сознания, что он не может, не умеет защититься, закричать, ударить обидчика, что если бы и ударил, его на другой же день выгнали бы, что у него семеро детей, что их надо кормить, что он не дослужил до пенсии, что у него, Карпа Спиридоныча, нескладная фигура, что над ним все смеются, что...

Судорожные всхлипывания душили его, и он судорожно дергавшимися, трепетавшими губами старался задержать их. Слезы пробирались по его нескладному лицу, забирались в складки кожи, в углы губ, капали на борт мундира, на стол, на бумаги.

Никита Иваныч прошел к своему столу, сел и схватился обеими руками за голову.

Видно было, как вздрагивали его плечи и всего его дергало. Он закашлялся. Кашель судорожный, хриплый бил его, как вцепившийся зверь, и вместе с кашлем терзало сожаление, раскаяние, злоба и отчаяние. Долго среди напряженного ожидания раздавалось это надсаживающее буханье. Бледный, с округлившимися глазами, с проступившим на лбу

мелкой росой холодным потом, держась обеими руками за стол, нагнувшись, кашлял он. Сквозь усы брызнула кровавая пена. Красные капельки усеяли бумаги, резко, угрожающе выделяясь среди белизны, как бы предвещающая конец. Никита Иваныч, страшно кашляя, свесил голову у края стола. Прибежал сторож и поставил на полу таз. Никите Иванычу давали пить холодную воду, расстегнули ворот, мочили грудь. Когда кровотечение утихло, его увезли домой.

Чиновники, точно сговорившись, ни одним словом уже не упоминали, не заговаривали о мучившем всех вопросе. Молча, не проронив лишнего слова, в табачном дыму, в полумраке, в густой, тяжелой атмосфере под низко и угрюмо нависшим потолком писали все с озлоблением, с тайным страхом, с мутной надеждой, с отчаянием. Прошел четверг, прошла пятница, наступила роковая суббота.

VI

Обычно к девяти часам утра со всех концов города шли чиновники, завернувшись от тянувшего морозом восточного ветра воротниками, к огромному, с потрескавшейся шту-

катуркой казенному зданию, к которому они так же, как и сегодня, ходили десятки лет.

Зимнее серое небо, угрюмое и холодное, низко висело над молчаливыми домами, и, казалось, на нем никогда не сияло и не будет сиять солнце. Скучно, без конца тянулись пустые аллеи, и голые деревья протягивали обледенелые ветви, как будто уже не ждали, что оживут когда-нибудь и покроются шепчущей листвой. И хотя кругом было все то же, те же улицы, те же самые дома, деревья, аллеи, перекрестки, извозчики, но для семи человек, с тоской чувствовавших, как скрипит под ногами холодный снег, все носило отпечаток не то сожаления, не то холодного, сурового, враждебного безучастия, точно они только сегодня в первый раз все это увидели и поняли.

Визжа, отворялись и, оттягиваемые пружиной, затворялись огромные двери, впуская вместе с клубами холодного воздуха промерзших, с красными, припухшими от мороза носами, чиновников. В темной раздевальне растегивали они скрюченными от мороза пальцами форменные потертые пальто, вешали на огромной, сплошь занятой платьем вешал-

ке и расходились по разным отделениям огромного здания.

Пришел Мухов, пришел Карп Спиридоныч, Захар Степаныч, пришел Крысиков. Они входили, не подымая поникших голов, точно боясь, чтобы не задеть черного потолка, давившего всех своею каменной тяжестью. Сидели за столы молча, без обычного зеванья, потягивания, разговоров, брали бумаги, перья и делали вид, что работают, но на самом деле никто ничего не делал. Никиты Иваныча не было, и его стол чернел без бумаг, производя странное впечатление темной, зияющей пустоты.

К Захару Степанычу подошел Крысиков в новеньком мундире. Он остановился у стола, потянулся, сцепив над головой руки, и притворно зевнул. «Захар Степаныч, как же так?.. Что же это?.. с мундиром новым как же теперь? Ведь я же чин получил!..» – просилось у него, но вместо этого, завернув полы мундира и подтянув штаны, он сказал:

– Папиросочка есть?

Захар Степаныч молча достал бумажку с сухим табаком, с удивлением чувствуя, что

Дарвин и теория происхождения от обезьяны – все это вдруг потеряло весь свой смысл, всякую ценность, никакого отношения к теперешнему их положению не имеет, не может принести никакого облегчения, и подумал: «Эх, Захар Степаныч, Захар Степаныч, устарели мы с тобой!..» – и, так же притворно зевнув, проговорил сквозь зевоту:

– Не спал сегодня...

– Клопы?

– Клопы.

– Ну, у меня проклятые клопы в квартире...

кишат.

И они затягивались и пускали дым. Потом Крысиков пошел и сел на свое место, недоумевая, что же будет с его мундиром и с чином; а Захар Степаныч стал делать вид, что занимается, разом почувствовав, что его покинули силы, что все, на что он опирался прежде, выскользнуло из-под ног, и он сидит за своим столом – беспомощный, слабый и одинокий.

Карп Спиридоныч сидел, как и всегда, согнувшись над столом, писал и думал о том, что уже кончилось все, чем красилась его

жизнь, что придут безрассветные сумерки, и ему было так больно, так жалко, что хотелось плакать, точно жизнь уходила. Но он не плакал, а, плотно поджав бескровные губы и ни на кого не глядя, писал и считал на счетах.

– Вашблгродие, вас женщина кличет, – проговорил Михалыч, подходя к Мухову.

Тот сердито нахмурился.

– Какая там женщина?

– Она здесь, в писарской.

Мухов поднялся и так же сердито прошел к писцам. Какая-то женщина, до самых глаз закутанная старым платком, подала записку. Мухов прочитал и побледнел.

– Господа... братцы... – голос его прервался. – Никита... Никита Иваныч... помер...

Все бросились к нему,

– Что... что вы?.. когда?.. откуда?.. Не может быть!..

– Сегодня... в восемь часов скончался, – говорил Мухов, моргая глазами.

– Ах ты боже мой!..

– Какая неожиданность!.. Царство небесное покойничку...

– И не болел человек...

- Что же, господа, надо кому-нибудь пойти.
- Начальнику бы... доложить...
- Господа, хоть сколько-нибудь пока надо собрать, а там обсудим дело... ведь семейство. У кого сколько есть...

Добыли пятнадцать рублей и снарядили одного из чиновников в квартиру покойного.

Весть о смерти Никиты Иваныча, с одной стороны, поразила своей неожиданностью, с другой – сообщила всем оживленное, почти радостное настроение. То, что давило и угнетало этих людей, свалилось, как тяжелый камень. Все говорили теперь громко, свободно, точно в комнате стало просторнее, светлее и легче дышать. Точно кончилось страшное напряжение ожидания. Все думали об одном и том же, но никто вслух не высказывал своей затаенной мысли.

Чиновник, ходивший на квартиру Никиты Иваныча, вернулся и рассказал, что Никита Иваныч лежит на столе уже омытый и одетый, что на глазах у него по пятаку, отвалившийся подбородок подвязан платком, жена убивается и кричит. И на минуту всеми овладело то состояние, которое испытали в гости-

нице, когда невольно и жутко вспомнили, что в прошлом году за этим же столом вместе со всеми встречал Новый год Степан Семеныч, а в нынешнем его уже не было. При будущей встрече не будет Никиты Иваныча. Но это мимолетное настроение сейчас же снова заменилось ощущением облегчения. Все собрались у стола Мухова.

– Ну, что же, господа, будем докладывать? – проговорил Мухов, не подымая головы и не глядя ни на кого.

И хотя он не сказал, о чем докладывать, но все поняли, о чем он говорит, и молчали.

– А?

– Принимая во внимание, что умершие, будучи похоронены, с течением времени превращаются в почву, и таким образом для них уж все равно... – заговорил было Захар Степаныч, снова разом ощутивший силу и огромное значение в жизни дарвиновской теории, но ему не дали кончить:

– Пойдите вы к черту с своей философией!.. Вас спрашивают, согласны, чтобы докладывать, или не согласны?

Все глядели на него, и всем хотелось, что-

бы он сказал: не согласны, – и все боялись этого.

– Да уж пишите, – подпишемся.

Мухов придвинул белый лист бумаги и взял ручку, потом опять отложил:

– Как он, покойник-то, там?.. И мертвому места нету... Что ж ему, как думаете?..

С минуту стояло тяжелое молчание.

– Что ж делать?.. Отслужим панихиду... помолимся... выпросим прощение у покойника... Ведь край приходит... живым людям пропадать приходится...

Мухов придвинул лист и стал писать: «Имею честь доложить вашему превосходительству на словесное распоряжение вашего превосходительства от 2 января сего года, что по произведенному дознанию и расследованию сведения и указания о вверенной вашему превосходительству канцелярии, оказавшиеся превратными и содержавшие в себе явно неблагонамеренное измышление, доставлены в газету „N-ский листок“ умершим сего числа... Никитой Ивановым Семенниковым, каковые указания и сведения вышеозначенная газета в номере 31 декабря минувшего

года пропечатала. Января 9-го дня такого-то года». Все подходили, брали перо, макали чернила и с виноватыми лицами подписывались. Мухов просушил промокательной бумагой подписи, испытывая смешанное чувство облегчения и щемящей, сосущей тоски. Обдернув застегнутый на все пуговицы мундир, он прошел в коридор, подойдя к двери начальника, сделал почтительное и в то же время строгое лицо и взялся за дверную ручку. Но тут его опять охватило такое острое, щемящее чувство, что он опустил руку. «Эх, Никита Иваныч, Никита Иваныч! Мертвому покою нет... Теперь лежит там, а мы тут...» Мухов, не закончив своей мысли, разом дернул дверь.

Начальник сидел за столом и просматривал доклады. Мухов подошел к столу начальника, поклонился и с минуту стоял, ожидая, когда тот поднимет на него глаза. Но тот, не подымая головы и продолжая делать пометки, уронил:

– Что?

– Вы изволили сделать распоряжение...

– Почему после «сего» нет запятой?.. Чей это доклад?

Мухов немного помолчал, опасаясь нарушить течение мыслей начальника.

– Вы изволили сделать распоряжение о производстве дознания и розыскании виновника по поводу доставления из канцелярии сведений в газету...

– В какую газету?.. о чем вы?.. Опять: здесь не запятую, а точку с запятой... А тут совсем без знака... Ведь сколько раз говорил, что прежде всего знаки препинания!.. От этого смысл зависит!

Молчание.

– Вы изволили сделать распоряжение второго сего января... – проговорил Мухов, точно глотая большим горлом большой, угловатый, никак не пролезавший туда кусок, – виновник найден...

Мухов проговорил это и стоял, как человек, только что совершивший преступление и понимающий, что сделанного уже не поправишь. Начальник посидел молча, раздумчиво поглаживая усы, и потом спросил:

– Журнал по очистке нечистот губернских зданий прошел?

– Нет, не прошел еще.

– Так поторопите, год ведь начался. Пошлите Савельева.

Мухов вышел, прошел в канцелярию и сел на свое место, темный, как туча.

– Ну, что? Ну, что он? – жадно накинулись на него.

– Ничего...

И, помолчав, добавил:

– Да и подлый мы народ!..

Случай*

I

Извозчик, дергая вожжами и хлопая локтями, подъехал к подъезду огромного дома. Дом был белый, четырехэтажный и ничем особенным от других домов не отличался.

Маленькая, тщедушная старушка в черном платье, с бледным, измученным, прорезанным морщинами лицом, сошла с пролетки. Огромного роста швейцар раскрыл перед ней дверь, и она поднялась по лестнице, устланной бархатной дорожкой. На площадках стояли в огромных кадках тропические растения, сквозь цветные окна весело пробивалось солнце, ложась красными и синими пятнами

на пол, на стены, на перила лестницы.

Старушка вошла в приемную. Везде мягкая мебель, ковры, вазы с цветами, лепной потолок. Дожидалось несколько дам в богатых нарядах.

Вошел высокий, важный, осанистый мужчина, с выхоленным лицом, расчесанной бородой, в золотых очках. Он подошел к старушке и подал руку. Та поднялась, отирая неудержимо катившиеся из глаз слезы,

– Что же... ба...тюшка?

– Ничего, прекрасно, в весе даже стала немного прибавляться.

– Спит?

– Сон несколько лучше. Можете пройти к ней.

Важный господин отошел и стал говорить с другими посетителями. Старушка вышла из приемной и в сопровождении служительницы пошла по длинному коридору, застланному мягкой дорожкой и несколько раз заворачивавшему. Им встретилась маленькая, худая женщина, с страшно бледным лицом и мрачно горевшими, впалыми глазами, с густой под ними синевой. Она остановилась и молча

глядела на проходящих. И вдруг кожа худого, костлявого лица ее потянулась в стороны, рот обнажился, выступили синие десны, полуизъеденные зубы; она засмеялась беззвучным смехом. Потом мгновенно лицо стало злым, а глаза мрачно загорелись, а через минуту она опять беззвучно смеялась, обнажая синие десны. Это было страшно, и старушка торопливо шла со своей спутницей.

Они подошли к плотно запертой двери. Девушка принесла стул, поставила у самой двери и открыла в ней крохотное замаскированное окошечко, в которое можно было смотреть одним глазом.

– Благодарю вас, душечка!

Старушка села на стул и, вытирая, глотая неудержимо катившиеся, жгучие, едкие, отнимавшие всякую надежду слезы, стала глядеть в окошечко; но слезы застилали глаза, и она ничего не могла разобрать. Слышно было только, как за дверьми женский голос, напевая, смеялся коротким смехом, говорил с кем-то; но, когда замолкал, было тихо, и никто не отвечал. И это молчание в промежутках было так ужасно, так чудовищно, такой невыноси-

мой болью проникало в сердце, что старушка со страшным усилием подавляла готовый вырваться стон. Кусая губы, со сморщенным, изуродованным сдерживаемыми, подавляемыми рыданиями лицом, не отнимая от державшихся губ платка, глядела она в окошечко: «За что?.. За что?..»

В окошечко видна была часть большой, светлой комнаты, занавеси, портьеры, письменный стол, рояль, книжный шкаф, качалка, картины, фотографии, мягкий ковер. И среди этой красивой изящной обстановки она – все такая же стройная фигура, тот же жгут туго свернутых каштановых волос. Только когда поворачивается, с бледного лица смотрят незнакомые,

глубоко ушедшие глаза. На этом бледном лице лежит черта, отделяющая ее от всех людей, от всего мира. Так странная, почти неупоминимая черта застывшего мертвого лица отделяет его, делает чуждым.

Каждый день приходит мать и смотрит на свою дочь через окошечко сквозь застилающие глаза слезы. Она не может прижать к страдавшейся груди свое дитя, свое дорогое,

несчастное дитя, так нуждающееся в ласке: та не выносит ее. При взгляде на мать девушка приходит в иступление. Странная, жгучая, почти сознательная ненависть горит в ее серых глазах.

Болезнь, страдания, смерть посылаются небом, но ненависть дочери, которой отдана вся жизнь, это – казнь, несправедливая, жестокая, ненужная. И демон ропота и непокорности подымает свою страшную голову в истрадавшемся, измученном сердце. А сквозь застилающие слезы виднеется тугой жгут каштановых волос, откуда-то издали доносятся смягченные звуки рояля, и по коридору чудится чей-то негромкий, страшный, разом смолкающий смех.

«Мама, дай мне жить, как я хочу!» – «Но, дорогая, ведь ты знаешь, я люблю тебя больше жизни». – «Ах, мама!..» – слышится не стирающийся в памяти голос дочери.

А слезы бегут и бегут, и доносятся звуки рояля, и чудится беззвучный, ужасный смех, и слышатся заглушённые шаги по коридору.

– Вам, может быть, воды стакан? – спрашивает, участливо наклоняясь, сиделка.

– Нет... ду...шечка... дорогая... спа...сибо!..

Год, долгий, бесконечно тянущийся, ужасный год, и в то же время все это так страшно, так поразительно ярко стоит перед глазами, как будто произошло вчера.

II

Под нависшими ветвями яблони бунтовал и бурлил на безукоризненно белой скатерти самовар. Косые лучи сквозили и дробились в верхних ветвях деревьев. Лист не шевелился, и синеватый сумрак в тихом раздумье стлался по примолкшей, чуть-чуть отсыревшей земле. Камыш похилился, и сквозь заросли живым блеском поблёскивала вода. Было тихо, уютно.

Осторожно переступая старыми ногами со ступеньки на ступеньку, сходила старушка с выглядывавшего из-за кустов сирени и роз крыльца, неся серебряную, в виде ларца, сахарницу и чайницу и целый пучок ключей. Открыла чайницу, взяла ложечкой чай, засыпала, накрыла горячий чайник полотенцем и задумалась.

Самовар курлыкал, пускал горячий пар, брызгал из-под крышки кипятком и всячески

старался обратить на себя внимание; но старушка, все так же задумавшись, сидела, не замечая его проделок. Тогда он успокоился, перестал бурлить и разочарованно и тоненько запел. И эта бесконечная и тоненькая песенка тянулась, как паутинка, временами точно цепляясь и прерывчато ниспадая звенящими капельками.

А старушка все думала. Маше двадцать третий год, – пора замуж. Чего ей нужно? Красавица, умница, образованная, и средства за ней прекрасные, – имение чистое, без долгов, дом в городе и этот сад. И мать всю себя отдала ей, всю жизнь. Все шло по порядку. Маша подрастала; сначала ученье дома, потом в институте, потом нужно бы замуж и женихи находились; но Маша вдруг стала настаивать, что она хочет ехать на курсы. Это было тяжелое время... Как, откуда это взялось? Зачем на курсы? Для чего они? Для чего они именно Маше, такой красавице, с хорошими средствами? И без того отбою не было от женихов. Но Маша настаивала на своем мягко, нежно, но неуклонно. Пришлось согласиться. Мать ни за что только не хотела отпустить ее одну,

и они поехали вместе.

В Петербурге началась особенная, несколько тяжелая для старушки жизнь. Маша почти все время проводила на курсах, на публичных лекциях, в библиотеке, на кружковых чтениях. И старушка ждала, когда окончатся эти долгие четыре года, и, когда наконец они окончились, она с облегчением вздохнула, и они поехали после экзаменов в свой сад. С ними вместе приехал погостить из Петербурга их хороший знакомый, друг Маши, молодой, только что окончивший врач. Он любит Машу. Он хороший, милый, славный, но... старушке хотелось бы другого жениха. По Машиной красоте, образованию, уму, средствам ей нужен лучший человек из аристократического общества. Впрочем, уже как бог судил, только бы Маша счастлива была. Беда вся в том, что Маша не говорит ни да ни нет. Что она думает? Что у нее на сердце? Ведь время уходит, года уходят, сердце сжимается от боли при мысли, что у Маши даром пропадают молодость, красота, молодая, свежая, полная сил жизнь. Да и у нее, у старухи-то, годы уже большие, начинает уже прихварывать, — до-

ждется ли, нет ли, внуков; а как бы хотелось хотя первенца понянчить, посмотреть на него хотя бы одним глазком, а там хотя бы и глаза закрыть. Господи, ведь так все в жизни просто, ясно, так все идет по порядку, – а тут запуталось, и ничего не разберешь!

И старушка сидела, подперев голову рукой, в грустном раздумье. Неподвижно, не шелохнув, висели в воздухе листья. Лучи еще ниже опустившегося солнца тронули макушки. Укоризненно молчал и самовар, угрюмый, скучный.

– Ах, господи, самовар-то затух! Да что же это они не идут?

И старушка, повернувшись, крикнула:

– Маша, Андрей Семеныч, идите чай пить!

Самовар затух.

Из-за кустов сирени и роз долетел свежий грудной голос:

– Сейчас, мама!

Этот голос, такой свежий, спокойный и как будто немного сдержанный, пролетел между деревьями, между листвой, над взрыхленной, пахнущей садовой землей и наполнил сад ощущением молодости, сдержанного и напря-

женного ожидания счастья, а потом серебристо рассыпался веселым и заразительным смехом. Кто-то торопливо и легко бежал среди деревьев и кустов, и легкий шелест юбок приближался. И кто-то другой бежал позади тяжелыми мужскими шагами. К столу быстро подбежала стройная девушка, с тугим Жгутом каштановых волос, с блестящими, как две свечки, глазами; розовая кофточка шевелилась на торопливо подымавшейся и опускавшейся груди. Следом из-за сирени выбежал молодой доктор, с белокурой бородкой, в очках, и он так же быстро дышал...

– Ага, что?..

И в саду опять зазвучал смех.

– Но это потому, что я упал... Я еще у крыльца бы вас схватил... – сдерживая торопливое дыхание, оправдывался доктор.

– Мама, мама, как Андрей Семеныч сейчас полетел!..

И среди сада прозвучали, переплетаясь, два смеха, – один тонко серебристый, трепетавший радостью молодости и счастья, другой – с теноровым тембром, мягкий, требовавший и просивший этого счастья.

– Ну уж, зачем так бегать?.. Вредно, Маша, – добродушно ворчала старушка.

– Господа, я через пять минут... я на реку... Вы мне пока будьте добры налить чаю, чтоб остыл, – и доктор потерялся между деревьями.

Девушка с секунду стояла у стола все с так же блестящими глазами и с лицом, точно озаренным мягким отблеском загорающейся зари, потом порывисто обернулась и, подняв головку, отягченную туго свернутой косой, крикнула по направлению к деревьям, тихо таившим молчаливую радость:

– Осторожнее смотрите!.. Направо яма...

Она крикнула эти слова, но это означало: «Милый, милый!..»

Из-за деревьев долетело:

– Не в первый раз... А вечер-то какой чудесный!..

И это означало: «Счастье мое!.. радость моя!..» Неподвижные листья, деревья, залежавший низом между ними полумрак, – все было полно тишины, спокойной радости. А высоко над садом стояло чистое, подернутое темной, глубокой синевой небо, и только тон-

кое-тонкое нежное облачко с чуть-чуть порозовевшим краем белело одиноко и случайно.

Старушка открыла крышку с самовара, но он молчал.

– Подвинь-ка, Маша, сахар... Тебе два положить?

– Один, мама... Раз, два, три!.. Раз, два, три... – и девушка прошлась по усыпанной песком площадке, мелькая узкими носками туфелек. – В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут... Mamочka, дай я тебя поцелую!..

Что-то пронеслось в вечернем, затягивавшемся сизыми дымками воздухе – восклицание удивления, крик испуга, вздох или легкий, едва уловимый стон...

Что такое?.. Писк птицы? или шелохнулась ветка? или сухой лист, падая, задел живые листья? или это почудилось? Девушка выпрямилась, лоя напряженно и жадно малейший звук, шелест, шорох в сухих листьях, но было тихо.

– Мама, ты слышала?

Старушка озабоченно разливала чай в стаканы через маленькое серебряное ситце, что-

бы не пропустить из чайника чайнок.

– Самовар-то затух. Сижу себе, сижу, задумалась, смотрю, а он уже затух; а вы нейдете... Углей мало Дарья кладет, – не успеешь повернуться, уже прогорели... Пора из малины варенье варить; переспеет, упустишь время, – вместо варенья семена одни вареные будут.

Кругом было все так же тихо и успокоительно. Девушка повернулась к матери. На щеках ее пробился румянец, глаза светились.

– Мама!..

Старушка сняла серебряное ситце и заботливо закутала чайник полотенцем.

– Мама... я... дала слово Андрюше... Зазвенела выроненная ложечка, старушка поднялась, чувствуя, как подгибаются колени. Протянув дрожавшие руки, она пошла к дочери. По старческому лицу текли слезы. Счастье, облегчение, что наконец кончилась эта неопределенность, что ей еще придется понынчить внуков, смешивалось с затаенной горечью, что он не из того блестящего, светского, аристократического мира, где Маша должна бы блистать, что у них не будет выездов,

парадных приемов...

– Маша... Маша... – и ее голос прервался от слез, от счастья, от сожаления.

Но в тот момент, как она хотела притянуть дрожащими руками к своей груди голову дочери, то страшное, поражающее неизгладимым ужасом, почудилось в вечернем воздухе и то, что таила неподвижная тишина листвы и полусумрака деревьев, нарушило тишину.

В секунду они стояли друг перед другом со смертельно бледными лицами, потом старушка увидела, как мелькнули между деревьями розовая кофточка и развевавшаяся черная юбка. Едва поспевая переставлять свои старые ноги, побежала она за скрывшейся дочерью.

– Господи... господи... спаси и помилуй... мать божия... заступница!..

Спотыкаясь, задыхаясь, бежала она, и казалось, никогда уже не выберется из этого огромного, чужого, незнакомого, утрюмого, темного сада. До сих пор она не подозревала, что он такой громадный, малопроеходимый. Наконец между деревьями блеснул воздух открытого пространства, вода и заходящее

солнце, равнодушно глядевшее красными лучами с противоположной стороны, из-за дальних хат деревни.

Недалеко от берега, по гладкой, отражавшей закат поверхности, бежали, расходясь кругами из одного места, стекловидные морщины, и виднелись взмокшие белокурые волосы, то всплывавшие по воде и облеплявшие показывавшуюся на поверхность голову, то, колеблемые водой, тонули, и тогда по воде только расходились круги шире и шире, отложе и отложе. На песчаном берегу с отпечатками следов в одном месте сложено платье, белье, ботинки, фуражка и поверх блестящие стеклами очки. У самой воды девушка, с побелевшими губами, не спуская глаз с того места, откуда бежали круги, торопливо срывала с себя кофточку, туфли, юбку. Старушка бросилась к дочери.

– Маша... что ты... господь с тобой! Куда ты?!

И она старческими руками охватила дочь; но та, упругая и сильная, разом оттолкнула ее.

– Мама... пусти!.. – Голос ее зазвучал с злоб-

ной враждой и чуждо; она рванула тесемки, юбка черным кольцом легла вокруг ног, и девушка бросилась к воде; но старушка с изумительной живостью повисла у нее на шее.

– Пусти!.. Что ты делаешь!.. Я плаваю...

– Не пущу... не пущу... не пущу!..

Сильная, взволнованная девушка отдира- ла от себя слабые руки матери, рвала на ней платье; но старушка опять хваталась, вцепля- лась в ее рубашку, в тело, в волосы, висла на шее... Они упали на песок, полунагие, задыха- ющиеся, с сочащейся из царапин кровью, бор- моча хриплые, бессвязные слова, все ближе и ближе приближаясь к воде. И через секунду обе боролись, разбрызгивая, глотая воду и за- дыхаясь.

– Ива-а-ан... Ива-а-ан... Ива-ан!

Ломая сучья, бежал без шапки садовник. Выскочив к берегу, он с изумлением увидел в изодранном платье старую барыню и полуна- гую барышню, захлебывавшихся в воде.

– Иван, держи ее!..

Здоровый, сильный мужик схватил девуш- ку. Она билась, рвалась, проклинала, умоля- ла, целовала им руки, а они ее крепко держа-

ли, не выпуская. Круги на воде становились реже и реже, и размытые, взмокшие, колеблемые водой волосы уже не всплывали на поверхность.

– Лодку... человек тонет!.. Ло-одку... ло-одку давайте!..

На другом берегу стал сбегаться народ. Доносился стук весел, всплески, крики, переругивания... Река была по-прежнему спокойна, зеркально блестяща и невозмутима, только в одном месте торопливо выскакивали на поверхность пузыри и лопались, точно кто-то сидел на илестом дне и нарочно пускал их, а они выскакивали один за другим на гладкую, спокойную поверхность, но потом и они пропали и по-прежнему берега отражались в воде, далеко-далеко внизу синело небо, и белело тоненькое, прозрачное, сквозившее, с чуть-чуть порозовевшим краешком, одинокое облачко...

– Маша... Машечка... успокойся... успокойся, дорогая!.. Все бог даст... все опять пойдет...

И старушка со слезами счастья избегнутой опасности трясущимися руками старалась одеть дрожавшую, как в лихорадке, и уже пе-

реставшую вырваться девушку.

– Хорошо... хорошо, мама... да, да... я... я оденусь...

И, громко, неудержимо стуча зубами, она покорно продевала исцарапанные, в синяках и ссадинах руки в рукава натягиваемой на нее кофточки, не спуская расширенных на белом, как мел, лице глаз со спокойной, невозмутимой поверхности.

После больших пререканий, споров, крика, поисков, суеты доктора наконец вытащили. Он лежал на песке со скрюченными руками и ногами, с чугунным лицом. Что-то было страшное в этом неподвижном, почерневшем лице, точно таилась угроза и напоминание, что рано или поздно всех ждет та же участь.

С нечеловеческим криком бросилась к нему девушка и вдруг разом смолкла, поеживаясь, потирая руки, точно от холода, и озираясь кругом с виноватой и жалкой улыбкой; холодное, остывшее тело равнодушно жестоко тайло угрозу и по отношению к ней.

– Машечка... дорогая моя... застегнись, дочка... Пойдем домой... пойдем, дорогая!

– Хорошо, мамочка... хорошо... я застег-

Нусь...

И они пошли от берега, на котором им уже нечего было делать, поддерживая друг друга. Едва они сделали три шага, девушка вырвалась, откинула голову, глаза засверкали беспощадным огнем, налившееся лицо стало пунцовым, и она крикнула необыкновенно высоким, точно ее ударили в горло ножом, голосом:

– Я тебя... не-на-ви-жу!..

Все так же бегут слезы, все так же смотрит старушка в окошечко, все та же неотступная, неотвязная дума беспокойно томит голову: в чем неправда ее жизни? Всю себя отдала дочери, всю свою жизнь, и неужели она не имела права удержать дочь от безумного порыва? А что, если бы та утонула? Нет, нет, никогда!..

– И если бы опять повторилось то же, я опять поступила бы так же.

И старушка подымается, и с сухими, блестящими глазами, подняв голову, идет по коридору, чтобы опять завтра прийти сюда, чтобы опять терзаться муками тоски, воспоминаний, сомнения и безнадежности.

В снегу*

I

В темноте белела метель, развеваясь, как огромное покрывало, волнуемое ветром, застилая землю и невидимое небо. Холодные, мертвые голоса бурана, то печальные и угрюмые, то дикие и озлобленные, носились над безлюдным простором в крутящейся снежной мгле, резавшей остротой холода.

Ни малейшего признака человеческого жилья, ни малейших следов живого существа. Казалось, только в отсутствии живого человека, когда некому подсмотреть, неудержимо разыгрались необузданные силы, резал застилаемое пространство дьявольский свист, и чудилось белое колыхание колоссальной мантии невидимых призраков.

И среди этой волнующейся темноты, среди дикой вакханалии голосов почудились два туманных, смутных живых пятна.

Они слабо пробивались сквозь густую крутящуюся мертвую мглу желтизной, то застилаемые, то снова глядящие сквозь мглу.

Эти два слабых, смутных огня боролись с

неудержимо разыгравшимися темными силами ночной вакханалии. И когда при пении похоронных голосов, пронизываемых сатанинским свистом, подымались, заслоняя даже ночную тьму, белые столбы, терявшиеся головами в мутной, неведомо куда несшейся мгле, живые пятна тухли, и казалось – никогда никто уж их не увидит. Но потом они опять проступали, глядели, одинокие и заброшенные. Бесчисленные снежинки носились в их лучистом, слабо брезжущем свете.

Мало-помалу они увеличивались, становились ярче и, кидая вперед светлую полосу, озаряли колеблющуюся мглу.

Ближе и ближе.

И если бы тут был кто-нибудь, он различил бы сквозь мятущийся снежный хаос, сквозь голоса и свист звуки мерного шума, отличающиеся ото всех голосов ночи, настойчивые, заброшенные и одинокие.

И как ни боролась ночь, как ни сыпала беспрерывно крутящимся снегом, как ни выл ветер на разные голоса, мерный шум уже слышался отчетливо, и два огня, покачиваясь желтым скольльзящим светом, озаряли перед

собой погребенное под снегом плотно.

Шатаясь, светя фонарями, кутаясь в облаках пара, неся паровоз, а за ним покорно, едва брезжа занесенными снегом окнами, катились вагоны. Без перерыва, без устали сыпавшийся снег обтаивал на горячих боках машины и с тем большей злобой и настойчивостью сыпался на вагоны. Лишь колеса, говорливо бежавшие под ними, слабо чернели внизу.

Закутанный по самые глаза машинист, перегнувшись с площадки, глядел на путь, но ничего не видел, кроме желтоватого отсвета фонарей, торопливо скользившего перед паровозом, да бесчисленных снежинок, как бабочки летавших и кружившихся в огне.

— Если под Кривой балкой не сядем, так еще, может, проскочим до станции.

Молодой помощник в кожаной теплушке, с головой, также завязанной башлыком, сильными мускулистыми руками кидал уголь в раскрытую, пылавшую ослепительным жаром и жегшую лицо печь. Спину и бока леденил врывающийся с снежинками ветер. Помощник резко, с металлическим звуком хлопнул дверцу, и жар раскаленных углей,

озарявших красным светом лица и фигуры, мгновенно погас.

– Валяйте, угля не жалейте.

– Некуда больше.

Помощник отер проступивший на раскрасневшемся лице пот, надел рукавицы, взял масленку и выбрался из будки.

Целый ураган ринулся на него, тысячи ледящих рук вцепились и старались стащить с паровоза, в глаза заглядывали колеблющиеся в темноте призрачные, слабо белевшие очертания, а лицо больно секли мерзлые, острые крупинки.

Ему на секунду перехватило дыхание, и он подождал, потом стал пробираться вдоль теплого бока паровоза, крепко, почти судорожно цепляясь руками. Паровоз, тяжело дыша, шатался от неудержимого бега, и белевшее снегом на огне фонарей полотно, бешено мелькая, пропадало под ним. Ураган крутился в колесах. Темнота, снег, ветер со свистом неслись навстречу. Взорванные страшным напором сугробы дымящейся тучей скрывали путь, и тогда эти два человека, как с завязанными глазами, неслись, казалось, на гибель и

смерть, а потом впереди опять показывалось несшееся навстречу, пожираемое паровозом и освещаемое фонарями, полотно.

Помощник, опрокидывая масленку, лил масло, чувствуя, как дрожит под ним дрожью нечеловеческого напряжения машина и с какой безумной быстротой работают ее сочленения. Ход был доведен до высшего предела, чтобы пробиваться сквозь наметанные на полотно сугробы.

– У Федьки Малахина морозом нос отъело. Так он в Москву ездил, новый надделали. А то, говорит, нехорошо, все скажут – от дурной болезни нос отвалился.

Помощник, присевший на узенькую скамеечку и чувствовавший, как бежит по ней непрерывное дрожание, поставив в уголок пустую масленку, стряхнул с башлыка густо насевший снег и засмеялся, потом слегка отодвинул башлык и, просунув масляные пальцы, поскреб густые, давно не мытые волосы,

– И как ловко надделали – не отличишь! Только как мороз, он обозначается, по бокам рубчики белые, швы.

– Теперь, говорят, все члены тела приши-

вают.

Машинист помолчал, потом проговорил:

– Положим, не все: есть которые не пришьешь.

В будке стоял такой грохот, что машинист и помощник кричали друг другу, но им казалось, что они говорят обыкновенными головами. Им казалось, что они беседуют вдвоем в тесной, узенькой дрожащей будочке, и никого больше нет, и снежная ночь бушует кругом. Они были бессильны что-нибудь сделать, предпринять, оградить себя и этот несущийся поезд от несчастья, от катастрофы и не думали об этом.

Машинист, снова наклонившись, выглянул из будочки, и когда выпрямился – башлык, брови, усы белели снегом. Мимо, как светлячок, пронесся зеленый огонек. И этот одинокий зеленый огонек, только на одну секунду мелькнувший в темноте, точно разорвал охватывавшее этих людей в грохочущей будке среди бушующей ночи одиночество, оставив в душе след сознания, что там, среди темноты, среди снега и холода стерегут и заботятся о них живые люди.

В поезде было так, как всегда бывает. В третьем классе в полутемноте и едком дыму виднелись руки, ноги, мешки, чумалы, головы, спины, узлы, ситцевые пестрые одеяла, воняло потом, махоркой, кислым хлебом, следками, водкой. Те, кто ехал до ближайшей станции, сидели, разговаривали; кто подальше – храпел и выводил носом, растянувшись на скамьях, на полу, под лавками, и весь вагон казался набитым, переполненным чем-то спутанным, хаотическим и бессмысленным.

Во втором классе было просторнее, светлее, чище, никто не спал, так как все спешили домой встречать праздник и должны были выходить на ближайших станциях.

В первом классе было строго, чинно, по разным углам молча сидели три-четыре пассажира, как боги, отягченные величием, обязывавшим к одиночеству и отчужденности.

В разных вагонах, присоседившись на скамьях к пассажирам, сидели кондуктора, сонные, вялые, усталые, со сгущающимися лицами, или храпели по служебным отделениям среди запасных фонарей, флагов, сигнальных ве-

ревок. В вагонах мерно стучало, стоял монотонный гул, нагоняя дремоту и скуку, и мертво белели окна, занесенные снегом.

Разом, казалось, без толчка все подались по направлению движения. Те, кто стоял, навалились на передние скамьи, ухватившись за перекладины, два-три узла сорвались с полок, и вещи и люди сами собой сдвинулись с мест. Крепко спавший, подложив кулак под голову, на лавке мужик свалился на пол и, приподнявшись на руках, дико закричал на весь вагон:

– Караул!.. Бьют!..

Везде поднимали головы, сонные, заспанные, протирая глаза.

– А?.. Что?.. Где?..

– Станция, что ли?

– До станции далече.

– Станцию давно проехали.

– Шибануло здорово!

– Маму-уня! Бою-юсь!..

– Пить хацу!

Послышался детский плач.

То, что наполняло вагоны скукой, тоской, одурью, монотонный непрекращающийся

гул, униженный мерными постукиваниями, смолк, и все почувствовали, что этот-то гул и наполнял поезд жизнью и смыслом. Теперь в наступившей тишине всем бросилось в глаза, как мертво белели окна и как над вагонами, то усиливаясь, то ослабевая, носился свист. И все вспомнили, что за окнами была ночь, бушевал холодный ветер и сыпался снег.

Через вагоны торопливо пробирались кондуктора.

– Господин кондуктор, по какому случаю? Али лопнуло что?

– Ничего, ничего, не беспокойтесь. Сейчас пойдет.

Но по тому, что они это бросали на ходу и торопливо захлопывали за собой двери, все чувствовали, что с поездом что-то неладно.

«Вввв... ввы-ы...» – с визгом и воем носилось за стенками и над крышами вагонов, и всем становилось жутко. Только те, кто не проснулся, храпели, неподвижно растянувшись, и их безучастное равнодушие резко и странно выделялось среди общего беспокойства

Поезд тронулся, но по толчку все почув-

ствовавали, что он пошел назад.

Опять побежал гул и мерные постукивания.

– Ребята, назад ведь пошел!

– Должно, зарезал кого-нибудь.

– Братцы, сказывают, зарезало кого-то.

– Будто ногу отрезало.

– Чего ногу... голову напрочь отнесло!

– Головушка ты моя бедная! Теперича семья-то осталась, детишки малые, несмышленные. Кто прокормит, кто напоит? О-о-о!..

Курносая, с птичьим лицом, баба вытирала углом платка нос.

– Ты чего?

– Как же, родимый, задавило кого-то, голову напрочь отнесло.

– Дура баба: корову задавило!

– Ххо-хо-хо!.. Ха-ха-ха!..

Поезд, задерживая движение, опять остановился и потом пошел вперед. Гул, все усиливаясь и усиливаясь, заполнил вагоны. Постукивания, сначала мерные и редкие, мало-помалу слились в непрерывный грохот, вагоны так качало, что сидевшие рядом пассажиры поминутно наваливались друг на

друга. Все примолкли, точно ожидая чего-то.

Недолго пришлось ждать. Скрипя и визжа, сталкиваясь, с размаху стали вагоны. Мешки, чувалы, корзины – все полетело с полок. Пассажиры повалились на скамьи, на спинки сидений, на пол. Поднялся переполох. Кто бросился к двери, кто стал стаскивать и собирать имущество. Дети пронзительно плакали. Мужик, кричавший «караул», схватил громадный чувал и старался им высадить окно.

– Бей стекла, вылазь на двор!

– Крушенье, братцы!

– Родимые мои! Пропала моя головушка!..

Теперича мой-то останется, все дочиста пропъет. Которые прочие мужики в дом, а он из дому... Бились, колотились, правдами-неправдами купили коровенку с телочком, теперь непременно пропъет... Телочка-то я хотела продать. Думаю – продам да пару овечек куплю, ан свои тулупчишки-то и будут, и себе и деткам, а тохватишься-похватишься – все купи, на все деньги...

– Господа, господа, будьте покойны, ничего особенного не случилось! – торопливо проходя по вагонам, успокаивали кондуктора. – Ты

чего воешь?

– Да как же, родимый, мужик-то у меня пьяница, один останется, все дочиста пропьет... Купили коровенку с телочком, думаю – продам телочка...

– Эй, ты, куда тебя черт несет? Окно выдавишь! С тебя, голого дьявола, взять нечего, а оно два рубля стоит.

Пассажиры лезли из вагонов, но, когда отворяли двери, из тьмы с воем и свистом врывался такой бешеный ветер, залепляя глаза и уши, обмораживая лицо, что все шарахались назад, захлопывая двери, – все равно в этой колеблющейся мутной тьме ничего нельзя было разобрать и расслышать.

– Чистое светопреставление, зги не видать!

Но те пассажиры, которые не выходили, все-таки лезли к выходу, желая сами удостовериться, что там делается, и через минуту, прохваченные леденящим ветром, с залепленными снегом глазами, ворочались на свои места, точно успокоенные и удовлетворенные.

– Что же машинист? Что же он смотрел?

Расчесанные седоватые бакенбарды, золо-

тые очки, вялая и дряблая, но холеная и чисто вымытая кожа лица, бархат диванов, простор, чистота и вся обстановка первого класса строго, без послабления глядели на обер-кондуктора, опрятно одетого старичка с свистком на серебряной цепочке на груди.

– Что он смотрел, я вас спрашиваю?

– Машинист, ваше превосходительство, сделал все, что в силах, несколько раз пробивался со всем поездом. Вагоны окончательно сели в снегу. Он отцепил паровоз и стал пробиваться одним паровозом. Снег поднялся выше колес, теперь ни взад, ни вперед.

Обер-кондуктор держал себя и говорил с спокойным достоинством, и, как бы скрадывая проявление человеческого достоинства, которое он без всякого права себе присвоил, обер поминутно прикладывал, чтобы смягчить его превосходительство, к барашковой шапке руку, с почтительной готовностью глядя ему в глаза.

– Но ведь это бог знает что получается! Я должен сидеть в снегу в степи...

Кондуктор неподвижно стоял, не смея подтвердить догадку его превосходительства.

– Наконец, какое имели право пускать поезд с предыдущей станции, не узнав о состоянии пути? Послать сейчас людей на станцию, вызвать вспомогательный паровоз!

– Люди тонут, ваше превосходительство, в снегу. Мы в трехсаженной выемке, снег сыплется, как в кадушку. В трех шагах от поезда человек с головой уйдет в снег, выбьется из сил и замерзнет. Мы уже пробовали.

– Повторяю: я сообщу куда нужно о вашей нераспорядительности!

Кондуктор покорно и безответно приложил руку к шапке.

В поезде понемногу все успокоилось.

– Вот те встрели праздничек-то!

– Встрели!

– Суток двое, а то трое просидишь тут.

– А то не просидишь? Теперь отгребать нас – где их, рабочих, брать в праздник-то?

– Покеда што лечь спать, а там видать будет.

Кряхтя, зевая, крестясь, публика натягивала на себя тулупы, примащиваясь по лавкам, на полу. Во втором классе дамы старались уложить детей, и, как тоненькие колокольчи-

ки, доносились их голоса:

– Мама, отцего поезд не глемит?

– Спи, спи, деточка.

– А елка будет?

– Будет, будет... Спи.

– А папа нас здет?

– Ждет, ждет... Ложись же!

– А мы сколо плиедем?

– Скоро, скоро... Вот как только уснешь, так приедем.

– Ну, так я посизу, сколо плиедем.

Мужчины разбились на группы. Появилась холодная закуска, водка, бутылки с вином.

– Да, – говорит, расправляя огромные усы и прожевывая колбасу, отставной военный, – ехал я в начале семидесятых годов, заносы, так я целый месяц просидел в снегу, кожу от чемоданов жевали...

Собеседник неопределенно крикнул.

– Не хотите ли сыру? Еще по единой!

Из поездного буфета разносили чай, кофе, бутерброды. В первом классе раскинули ломберные столы, зажгли по углам стеариновые свечи, приготовили колоды, мелки, щеточки.

Каждый устраивался, как мог.

III

Почти весь вагон парового отопления занимал паровик. В углу грудой был навален уголь, черная пыль от которого лежала на стенках, на потолке, на стеклах. Пар тоненько и неумолкаемо сипел у некоторых кранов, как дыхание; едва отделяясь и тая, капала вода.

Из огромного железного ящика выгрузили все лампы, фонари, ключи, отвертки, запасный инструмент, ящик опрокинули вверх дном и застелили газетной бумагой.

– Ну, давай сюда.

– «Давай»!.. Ты сначала деньги давай! – И поездной проводник сердито и вместе осторожно поставил у своих ног полуведерную бутыл.

– Черт скаредный, чего же я, сбегу, что ль? Ведь и ты трескать будешь.

– Так я свою часть вычту.

Машинист распахнул кожаную, замасленную куртку, полез в такие же замасленные шаровары и достал кошелек. Кондуктора, помощник машиниста, смазчик также лезли за

деньгами и вручали проводнику. Тот поставил бутылку на импровизированный стол. Кто тащил и резал тоненькими кружочками захваченную с собой в дорогу колбасу, кто – хлеб, рыбу, сало.

– Ах, и здорово же теперь чекардыкнуть!

Потирая руки, побрякивая, садились кругом ящика. Водку наливали прямо в стакан из бутылки, и она играла, колеблясь и поблескивая. У всех лица разъезжались в сладкую, широчайшую улыбку, но все, сделав усилие, глядели серьезно, так, как будто особенного ничего не предстояло.

– Ну, братцы, с праздником!.. А-а, славно!

– Ребята, это Калистратова надо поблагодарить: ежели бы не он – попостили бы, ничего бы не было.

– Завсегда прежде брал к празднику на станции у буфетчика, а теперь думаю, – семка, на Песчаной возьму в казенке. Провезти ничего не стоит, а водка-то по-вострее, – буфетчик все уж воды дольет, – говорит проводник, чувствуя себя именинником. – А она как стодилась!

И ле-ес шу-умит, а ка-амыш тре-

*щит,
а ку-ум-то куме...*

– Будет, утренняя еще не отошла.

– А который час?

– Без четверти три. Ну, с праздничком!

Головы запрокидываются, лица краснеют, с губ не сходит странная, блуждающая улыбка. Понемногу все начинают говорить, и никто не слушает. И в заваленном углем черном вагоне, на три четверти занятом паровиком, который и теперь живет, слегка дышит и рассылает тепло по всему поезду, все кажется уютным и веселым. Смех, шутки, остроты. Точно за стенами не носился морозный ветер и не сыпал беспрерывно крутящимся снегом, а в темноте не расстилалась безлюдная степь.

– Нет, братцы, как хотите, – женюсь, ей-богу женюсь, то есть за мое почтение женюсь! – говорит красный, как бурак, смазчик, пошатываясь, держа в руках стакан с колеблющейся водкой и пытаясь поднять брови, которые опять падают на глаза. – По какому случаю я должен в одиночестве дни свои проводить?

– Не было печали, так хочешь, чтоб черти накачали?

– Ребята, у Федьки Малахина морозом нос отъело...

Кто-то отворил дверь, и в вагон рванулся ветер, заколебав пламя ламп и занеся несколько снежинок.

– Ишь дьяволы!.. Поезд стоит среди степи, пассажиры волками воют, а они тут пьянствуют! Им и горя мало, хоть трава не расти! Что же это делается? И неужто начальство вас не разгонит?

В дверях, когда заclubившийся снаружи пар растаял, оказался дородный купчина с красным и ражим лицом.

– Беспутники!

– А вам чего тут нужно? – поднялся молодой помощник машиниста, отставляя стакан.

– А то нужно! Поезд бросили да пьянствуете...

– Это не ваше дело.

– Как это не мое дело?! Деньги-то за билет платить – мое, а жалованье получать, стало быть – ваше.

– Позвольте, позвольте, господа! – вступается обер. – Вы оставьте пассажира, а вы по-

трудитесь, если находите беспорядок, жаловаться, когда будем на станции.

– Да когда мы будем на станции? Может, мы тут неделю просидим.

– А это уж не от нас зависит.

– Нет, господа, я вот желаю вам сказать, – говорил, протискиваясь, до смешного маленький кондуктор.

Губы, лицо, белобрысые брови, красненький пуговичкой носик – все у него улыбалось необыкновенно добродушной улыбкой.

– Позвольте, господин!.. Вот вы, скажем, купец вполне, первой гильдии или там второй, зависимо от капитала, какой платеж... Я – человек женатый, имею шестеро детей, все эти дела понимаю. Вы не обижайтесь на меня: у меня хоть и шестеро детей, но человек я простой, не горжусь и каждому желаю добра... и как я человек непьющий...

– Оно и видно!

– Нет, позвольте, господин купец, вы первую гильдию платите, а у меня шестеро детей, и дела эти я понимаю вполне. Ведь это не то, что тят-ляп – и вышел корабль... Вы спросите меня, сколько лет я служу на желез-

ной дороге. Сколько? Десять лет. А спросите меня, сколько разов праздник я встретил в семье. А я вам скажу: три раза, господин, извините пожалуйста, не знаю, какой гильдии. Три раза. А то в вагоне. В вагоне спишь, в вагоне днюешь и ночуешь, в вагоне праздник проходит... Ну какой это праздник, подумайте сами! Завидно, смотришь, все едут к семье, детишки, стало быть, жена, спешат там, подарки везут, а ты себе ходишь, как неприка-
янный, из вагона в вагон. Вы первой гильдии, извините пожалуйста, а у меня шестеро детей, и как бы мне с ними провести-то праздничек-то, а я вот должен за вашей милостью первой гильдии смотреть. Вот господь и оглянулся: дать им, сердягам, то есть нам, передохнуть, ну вот метель и разыгралась. То бы нам сутки дежурить, а так как праздник, все напьются, смена не явилась, – ан, нам и вторые сутки лямку тянуть. А теперь мы в тепле, по-семейному, в товариществе... Да-а, господин купец, извините, пожалуйста!

Купец стоял и думал о чем-то своем, потом крикнул и стал торопливо снимать с себя шу-бу.

– Ин быть по-вашему!.. Милый, сбегай-ка в триста тридцать четвертый номер. Как войдешь, от двери вторая лавочка направо, – погребец там, всего у меня припасено.

Через четверть часа купец, красный, с налившимися глазами, ревел, как боров, маленький кондуктор умильно улыбался губами, глазами, красной пуговичкой, белобрысыми бровями и ресницами, путаясь тонкой фистулой в рыкающем, бревноподобном голосе купца. Между ними, то застревая, то выскакивая, выкрикивал тенорок смазчика:

А-ха, оже-е-нили... Оже-е-нили молодца!..

Молоденький помощник, ероша густые волосы, стучал по железному ящику кулаком.

– Мне все равно, хоть ты десятой гильдии.. не имеешь права!

Машинист пил настойчиво, упорно и молча. А за стенками вагона гудел и носился ветер, и сыпался, сыпался, сыпался снег, засыпая стенки, двери, окна неподвижного поезда, и только крыши вагонов слабо выступали, как спины погребенных допотопных чудо-

вищ.

В бурю*

I

— **А**й-яй... ай-яй-яй!.. — разносились над гладкой сверкающей поверхностью моря пронзительные крики Андрейки, извивавшегося в лодке. — Де-едко... не буду!..

Дед — коренастый, с нависшими, лохматыми с проседью бровями и изрезанным морщинами лицом, словно выдубленным солнцем, ветром и соленой водой, — одной рукой держал мальчика за шиворот, другой больно стегал просмоленной веревкой, которая так и впивалась в тело, и потом швырнул его на дно лодки. Андрейка поднялся, всхлипывая, свесился через борт и стал перебирать пока завшился из воды мокрые сети.

Кругом ослепительно сверкала вода, по которой едва заметно шли стекловидные морщины. Горячее, заставлявшее щуриться солнце стояло высоко. Черные, начинавшие течь смолой бока лодки, протянутые к мачте, переkreщивающиеся веревки, с которых также капала смола, обвисшие, черные от грязи и

смолы паруса резко, отчетливо вырисовывались своей чернотой в неподвижно знойном воздухе.

Берегов не было видно.

Андрейка, с сердитым, сморщившимся в кулачок лицом, продолжал перебирать сеть, осторожно и крепко захватывая каждую бившуюся в ней рыбу.

Еще в два часа ночи, когда только чуть-чуть стали бледнеть звезды, Андрейка отчалил с дедом от берега. Легкий предутренний ветерок тихонько подвигал лодку. Когда рассветло и по воде и по небу побежали розовые полосы, а спокойное, гладкое море открылось до самых краев, ветер упал. Пришлось взяться за весла. Андрейка греб попеременно с дедом. Сначала работа у него шла легко и свободно, но прошел час, другой, и он стал уставать. Каждый раз, как он откидывался назад и весла с плеском проходили в прозрачной, игравшей розовым отблеском воде, ему казалось, что он уже больше не в состоянии разогнуться, до того ныла поясница и ломило руки; но он снова и снова закидывал весла, и лодка ползла, как черепаха. Наконец дед, все

время молча сидевший на корме, проговорил:

– Будя, Андрейка!

Обрадованный Андрейка торопливо пробрался по качавшейся лодке на корму, а дед сел за весла и стал молча и упорно грести. Андрейка правил рулем, глядел на разбежавшиеся из-под весел длинные водяные жгуты, на мерно и сильно откидывавшуюся фигуру деда и отирал свое мокрое, вспотевшее лицо, с наслаждением предаваясь отдыху.

Из-за моря поднялось солнце и залило светом спокойную, ровную воду. Начинался знойный день без малейшего ветерка.

Скоро показались на поверхности моря большие плававшие круглые обрубки с укрепленными на них маленькими флажками, – это были полавки сетей, Подъехали к одному из таких полавков, за веревку, привязанную к нему, вытащили один конец сети и, навалившись на борт, стали подвигать лодку, перебирая руками показывавшуюся над водой сеть, которая тянулась в воде на несколько сот сажений. Андрейке, совсем перевесившемуся через борт, весело было смотреть в прозрачную глубину, где от времени до

времени вдруг начинало что-то белеть, колебля и вода из стороны в сторону все выше и выше подымавшуюся сеть, и наконец на поверхности, трепеща и разбрызгивая воду, показалась бившаяся, запутавшаяся жабрами в ячейке рыба. Андрейка подхватывал ее, запуская пальцы в нежные розовые жабры, высвобождал из сети и бросал на дно лодки, где было налито немного воды. Рыба, обезумевшая от боли, страха и отчаяния, начинала биться, разбрызгивая воду, не понимая, что это с ней произошло, и пытаясь вырваться из этой тесной, ужасной обстановки, где она задышалась, вздымая окровавленные, разорванные жабры.

Солнце подымалось все выше и выше, и зной, неподвижный, слепящий, стоял над морем, в истоме раскинувшимся под горячим небом. Андрейка, разморенный жаром, от скуки и однообразия разговаривал с рыбами, которых он вытаскивал из сети:

— Ах ты, селедка-длиннохвостка, погоди, ужо просолеешь хорошенько, не будешь брыкаться! Ишь ты, брыкучая, ступай-ка в лодку! А ты, сазан-брюхан, пузо-то наел. Вылазь, вы-

лазь, неча кобениться, отъелся, не пролезешь никак, хитрый идол! Выла-азь... – И Андрейка вытащил и с трудом поднял вверх обеими руками большую рыбу.

– Гли, деду, пузо-то како!

Но не успел дед раскрыть рта, как сазан, очутившийся на воздухе и замерший от изумления, вдруг рванулся изо всех сил, выскользнул, плюхнулся в воду, блеснул хвостом – и был таков.

Тогда-то над морем и раздались отчаянные вопли Андрейки, потому что дед, молча, не говоря ни слова, поднялся, взял просмоленную веревку, сложил ее несколько раз и жестоко наказал мальчика.

II

У Андрейки нет ни отца, ни матери. Сколько он помнит себя, он живет в белой хатке, под большой вербой, с дедом Агафоном. Возле хаты с одной стороны белеет береговой песок и синее море, с другой, насколько глаз хватает, тянется безлесная, голая, сожженная, покрытая высохшим бурьяном да полынью степь, размытая оврагами и балками.

Лет двенадцать тому назад дед Агафон жил

в этой хате с семьей, с женой и пятью детьми. Случилась эпидемия дифтерита, и дети Агафона перемерли в одну неделю.

Раз как-то зимою Агафон с женой сидел вдвоем в хате. Ночная вьюга мела в черные окна. Агафон угрюмо думал о чем-то, починая сети, жена возилась у печки. Снаружи кто-то постучал. Агафон отпер дверь, и на пороге появилась женщина, в рубище, занесенная снегом, дрожащая, с мертвенно-бледным, стянутым от холода лицом; на руках у нее в лохмотьях лежал крохотный ребенок, весь посинелый и уже не плакавший. Заикаясь, не выговаривая стянувшимися губами, женщина стала просить пустить ее переночевать. Ее приютили, накормили. Отогревшийся ребенок наполнил хату детским плачем, и жена Агафона, стоя над ним, то и дело вытирала слезы фартуком, вспоминая своих детей.

Женщина рассказала, что идет из Орловской губернии на Кубань разыскивать мужа, который уехал туда с полгода и ничего не пишет. Она все проела, что было, и наконец решила отправиться на розыски. Дорогой пришлось питаться подаяннем, по железной до-

роге удавалось на некоторых станциях упротить кондукторов, и они провозили ее несколько станций бесплатно, а по проселочным дорогам подвозили добрые люди. Так добралась она до Ейска. Из него она вышла рано утром, заблудилась в степи, настала ночь, поднялась вьюга; женщина уже приготовилась к смерти, как среди ночи увидела огонек одинокой хаты.

Ночью пришедшая расхворалась, бредила, металась, вскрикивала. Жена Агафона три раза взбрызнула и напоила ее святой водой, но той делалось хуже и хуже, и к вечеру следующего дня она умерла. Агафон и его жена оставили ребенка у себя приемышем.

Андрейка смутно помнит ласковую старую женщину, приемную мать, которая купала, поила, кормила его и укачивала посреди хаты на подвешенной к потолку люльке. Он помнит также, что, когда ему сравнялось четыре года, пришли какие-то люди, сняли ее с лавки, где она спала, положили на стол под образа, зажгли свечи, а потом унесли куда-то, и он остался вдвоем с дедом Агафоном. Помнит он, что дед каждый раз, как отправлялся на море,

отводил его в поселок, который лежал в овраге, в степи, верстах в трех от берега, и оставлял у своей кумы, бабки Спиридонихи. С шести лет дед стал брать мальчика с собой на море, и Андрейка часто спал на носу лодки, на подостланной дедом соломе, а над ним носились чайки, светило солнце и летели брызги волн.

Семи лет Андрейка уже во всем помогал деду. Вставали они рано – часа в три утра: Андрейка торопливо плескал себе в лицо холодной водой, вытирался подолом рубахи, торопливо крестился на ту часть неба, где горела утренняя звезда, и, перевирая, читал «Отче наш» и «Свят, свят» – две молитвы, которые он только и знал. Потом Андрейка притаскивал кизяку, растапливал печь, чистил картошку, рыбу, варил уху. Позавтракав, они уходили в море.

И на море и дома дед заставлял Андрейку делать все наравне с собою: править парусами, грести, чинить, собирать, тянуть, спускать сети, обирать рыбу с крючьев и прочее. И Андрейка все делал, надрываясь от непосильной работы. За малейший промах, недо-

смотреть, ошибку дед жестоко наказывал Андрейку. Стоило мальчику на море неверно положить руля или не вовремя подобрать или отдать парус, как дед подымался и тут же, не говоря ни слова, беспощадно сек мальчика просмоленной веревкой, от которой никогда не заживали рубцы. У Андрейки было худенькое загорелое личико, и сам он весь был маленький и худенький.

Жизнь у него проходила однообразно: кругом было только море, небо, степь да берег. Берег был голый, обнаженный, с глинистыми размытыми устьями оврагов, с песчаными косами и отмелями. Но все это однообразное пустынное пространство для Андрейки было населено и оживлено.

По степи, посвистывая, бегали или, как столбики, стояли у своих нор суслики; в воздухе, мелькая по иссохшей траве тенью, медленно плавали коршуны, ястреба, луни, трепетали, неподвижно повиснув, кобчики; по курганам утрюмо и одиноко чернели степные орлы. Над песчаным берегом носились крикливые белые чайки, подбирая выброшенную из сетей рыбу, иногда чуть не выхва-

тывая ее из рук рыбаков; весной и осенью тут стоял несмолкаемый гам и шум от бесчисленной пролетной птицы.

Но более всего и разнообразнее всего было населено море. Тут стадами ходили стерляди, осетры, сельди, тарань, сазаны, красноперка, вьюны; в песке кишели мириады водяных вшей, ползали крабы. В конце июля море начинало «цвести» и по ночам светиться. Светились голубоватым светом гребешки волн, следы от лодки, разбегающиеся круги от удара весел, линия прибоя у берега, брызги, каждая капля морской воды, выведенная из состояния покоя. Этот странный колеблющийся, то вспыхивающий, то угасающий голубоватый свет казался Андрейке таинственно связанным со всеми покойниками и утопленниками, которые нашли могилу в море.

Дед Агафон был молчалив и угрюм, но когда речь заходила об обитателях моря, морщины у него разглаживались, серые глаза добродушно смотрели из-под нависших бровей, и он готов был рассказывать по целым суткам.

– Дедко, откуда рыбы столько берется? Ло-

вят, ловят, ловят, а она все идет. Сколько народу рыбалит, на море негде весло опустить, – все сети.

– Бог плодит, бог ее плодит, разве у бога мало места, – сколько он воды сотворил, чтобы, значит, рыба водилась – для пропитания людей.

– А рыба знает, что ее ловят?

– Ну, а то не знает, что ль... Рыба, к примеру, вот как мы с тобой рассказываем, как встрелась друг с дружкой, сейчас так и так, мол, все и обскажет насчет рыбалков: где сети поставлены, где крючья; ну, только, конечно, по-своему разговаривает, – человеку не дадено знать... Только одни, которые утопленники в море на дне лежат, понимают, как рыба разговаривает, потому рыба их не остерегается, знает, что они уж не выдадут, плавает возле и друг с дружкой рассказывает.

Андрейка несколько минут молча смотрит на деда расширенными глазами. Ему представляется темная, синяя глубина, смутно желтеющее морское дно и на нем раздувшийся, посинелый, с открытыми в воде глазами мертвец, возле плавают рыбы и, колебля жаб-

рами и глотая соленую воду, рассказывают друг другу, что, где и как происходит. Рассказывают они и про него, про Андрейку, что он с дедом Агафоном сидит в лодке там, наверху, и опускает в воду сети.

Андрейке становится немного жутко. Когда прежде он сидел в лодке, внешний мир замыкался для него водной поверхностью моря, и о том, что было *там*, в глубине, он не думал. *Там* была просто вода, и *оттуда* сети вытаскивали рыбу. Теперь же эта огромная пугающая глубина оказывалась вся заселенной не теми молчаливо-беспомощно бившимися в лодке рыбами, которых он выбирал из поднимавшихся из воды сетей, а разумными существами, которые так же разговаривали и ограждали себя от бед и несчастий, как и люди здесь, наверху. Сверху над водой светило солнце, проходили облака, играл ветер, а в глубине шла таинственная и неведомая жизнь, враждебная Андрейке и деду Агафону, и от этого становилось жутко.

– Господь все премудро сотворил, – продолжает дед Агафон. – Скажем, сазан – рыба бессловесная, и все. А вот ежели станут волоку-

ши тянуть к берегу, есю рыбу, какую захватят, всю на берег выволокут, – а вот сазана захватят, так он весь почти назад в море уйдет. Как почует, что кругом сети, перво-наперво разбежится и, что есть духу, рылом в сеть вдарится, аж веревки затрясутся; ежели волокуша старая – прорвет, сам уйдет и всю рыбу за собой уведет; ежели видит, что не прорвать – зачнет сигать из воды, чтобы пересигнуть через сеть. Сеть к берегу высоко поднимают над водой, – тогда видит – плохо дело, вот сейчас выволокут, он воткнет нос в ил и песок против волокуши и, что есть силы, держится; волокуша снизу хоть и чижолая, – камни понизу понавязаны, все-таки по его гладкой спине так и переедет, иной раз всю спину ему стешет, ну, а он плеснет хвостом – и был таков.

– Он, значит, сазан-то, умный?

– Как же! Господь видит, люди неисчислимо истребляют рыбу, сколько ее ловят, страсть! Видит, что скоро вся рыба пропадет, он и дал разумение. Человек хитрый, ну, рыба еще хитрей.

Дед воодушевляется и, подняв еще выше брови, говорит:

– Ходит рыба в море, все закоулочки выходит, – пропитания ищет. Но тут ей какая пастьба? Так, где червяка ухватит али своим братом закусит; а в реках ей всякой еды сколько душе угодно: там и ил речной. В реку всякую падаль и нечисть валят. Глисты разные водятся. Из лесу подмывает корни, ветки, – одно слово, всякое произрастание. Вот рыба в прежние времена и ходила в реки, особливо в Дон, кормиться, и шла она, прямо сказать, тучей. Когда размножение народу пошло, стали реки перегораживать сетями. И тут ее вылавливали тьмы. И пошел промеж рыбы в море разговор, что, дескать, так и так, нельзя в реки ходить – вылавливают. Распространился по всему морю разговор, и перестала рыба ходить в Дон на пастьбу. Вышел закон-повеление, чтобы по всея Расеи во всех реках раз в неделю никто не ловил рыбы, чтоб передышку ей дать: с шести часов вечера субботы до шести часов утра понедельника никто не имеет никакого полного права рыбу ловить. И что же! Всея неделю в Дону ни одной морской рыбины нету – знает, ловят ее там пять дней. А в субботу вечером гужом гу-

дит из моря в Дон, а в ночь на понедельник ворочается, но не успевает вся, – которая запаздывает и идет в понедельник цельный день к морю. Рыбаки, которые в устье ловят, знают, что за всю неделю в реке и одной рыбины морской не увидишь, зато в понедельник все, сколько их есть, все выезжают, и тут ее, рыбы этой, страсть набивается в сети, – это которая запоздалая. Вот оно как... Человек с хитростью, а рыба вдвое...

Но обыкновенно дед свои рассказы заканчивал так:

– Только, ежели уж правду говорить, пропадает рыба, год от году пропадает... Потому сила, сила этих рыбаков развелось – куда глазами достанешь, всё сети...

И лохматые брови деда опять низко спускаются, и он снова становится угрюмым, сосредоточенным и необщительным.

Дед и Андрейка работали не покладая рук, не зная ни праздников, ни правильного отдыха, и все, что зарабатывали, дед пропивал.

Как только ворочались они с уловом, дед сбывал рыбу перекупщикам, строго-настрого приказывал Андрейке сидеть дома, чинить

сети, конопатить или смолить лодку, стачивать и навязывать крючья, зашивать паруса, а сам уходил в большое торговое село и гулял там, до тех пор, пока не пропивал все до последней копейки и с себя все до последней нитки.

Андрейка, как только дед скрывался за бугром, бросал сети, крючья, недошитые паруса и убегал в поселок, лежавший в степи, верстах в трех от берега, лазал по огородам, таскал огурцы, ловил воробьев, дрался с хуторскими мальчишками на кулачках и постоянно навещал бабушку Спиридониху. Она кормила его пирогами с морковью, маковниками, рассказывала про леших, ведьм, водяных, сказки про заморские страны, про города, которые лежали по той стороне моря.

– Дома там большущие да высокие, – говорит бабушка, глядя шершавой от работы рукой голову Андрейки, который примостился возле ее ног, уминает пирог с морковью и не спускает с нее глаз, – а живут в них все господа бо-огатые, одеваются чисто и цельный год ничего не делают.

– И рыбу не ловят?

– Куды – рыбу! Хату подместь и то гнушаются,

– Я, баулька, с дедом на той стороне у Таганроге был: дома высокие, а на церквах кресты все из золота, а на пристани бабы господские прогуливаются, голова вся в перьях... Баулька, а я на англицком пароходе видал, господа ехали, в трубки на нас с дедом смотрели.

Андрейка некоторое время ест молча.

– Баулька, откуда вши водяные берутся? Вот идешь по берегу, продавишь ногой песок, они так из песку и полезут.

– Из воды, соколик, из воды эта нечисть. На, возьми пирожка еще, кушай на здоровье, сиротинка.

– Баулька, дед рассказывает, матка моя замерзла возле нашей хаты.

– Померла, соколик, померла, болезный, замлела от морозу: стыть какая была да метель, шутка ли, – зги не видать было. Царство небесное покойной Акулине Митревне, вечный покой ее душеньке, – призрела тебя, малую сиротку, и деду Агафону доброе здоровье на многие годы...

– Дерется дед, баулька, уж так-то больно

бьет. Я, баунька, ежели будет бить, так убегу от него.

– Тебе же на пользу, дурачок, – побьет да пожалеет, тебе же в пользу, учит добру, а ты слухайся да не перечь.

Бабка Спиридониха была единственный человек, у которого Андрейка чувствовал себя тепло.

Ворочался всегда дед оборванный, угрюмый и злой, находил брошенные сети и паруса, и начиналась жестокая экзекуция, от которой Андрейка с неделю еле ворочался.

III

Солнце невыносимо печет. Зной, разлитый в переполненном блеском воздухе, неподвижно стоит над морем, в котором на недостижимой глубине синее опрокинутое небо. Черная лодка со стекающей смолой и обвисшими парусами кажется висящей в пространстве, а под нею вниз мачтами висит точно такая же опрокинутая лодка.

Андрейка, не разгибаясь, вместе с дедом выбирает из тянущейся вдоль лодки сети добычу, которой набилось туда множество. Лицо у него пылает, рот полуоткрыт, крупные

капли пота падают в воду. В значительно осевшей лодке возвышается целая гора зевающей шевелящейся рыбы.

После экзекуции у Андрейки, чувствовавшего, как горят и ноют рубцы на спине, в голове толпились самые мрачные мысли. Сначала он все свое раздражение направил на сазана, который так коварно подвел его.

«Хорошо, – со злобой думал он, – брюхатый черт, попадешься еще, небось не вывернешься: запущу по кулаку в жабры, поверти-кось тогда. Ну и потешусь же!..»

Но так как коварный сазан благоразумно решил не попадаться в руки Андрейки, то мысли его принимали другое направление.

«Что я ему сын, что ли, али крепостной, что он лупит меня, чем ни попади? Ишь огрел, ажно рубаху просек, Возьму да убегу.. Ей-богу!.. Пойду в город, наймусь в работники али на берегу в артель стану, тоню тянуть, нехай-ка он без меня повертится. Да даром-то я не уйду: проверну дирю в лодке да заткну маленьчко тряпкой, а сам в степь, ляжу на кургане и буду смотреть. Вот отъедет он, вода и вымоет тряпку, и станет он потопать. Ста-

нет потопать и закричит: „Андрейка, потопаю!..“ А я ему закричу: „Ага!.. а помнишь, как ты меня лупил, ажно рубаху наскрозь протек...“»

Жара, усталость мало-помалу смиряют Андреюку, и негодование у него на деда улегается. А дед, и не подозревая Андрейкиных каверз, преспокойно посасывая трубку, выбирает рыбу на корме. Он работает повсем правилам, сосредоточенно. Старик не любит разговоров. Он доволен сегодняшним уловом, и его нависшие, лохматые брови приподнялись несколько. К вечеру он надеялся осмотреть все сети и ночью вернуться домой.

Вдруг Андрейка услышал голос
– Андрейка, спускай сеть да ставь парус!

Андрейка уставился на старика: что с ним случилось? Осталось еще половину сетей досмотреть, – видно, прошел косяк и рыбы набилось множество, да никогда они раньше ночи и не возвращались домой... Но старик не любил повторять приказаний, и Андрейка, торопливо опустив в воду сеть с бившейся в ней рыбой, быстро стал расправлять и готовить запутавшиеся шкоты и парус.

– Подверни снизу парус да спусти до половины!

Андрейка торопливо выполнил приказание, не смея расспрашивать деда. Парус обыкновенно подворачивали снизу и приспускали только во время сильной бури, чтоб уменьшить площадь парусности, когда ветер чересчур уже рвал. Между тем кругом стоял все тот же неподвижный зной, – нечем было дышать, и все так же на недосыгаемой высоте и в бездонной глубине, друг против друга, синели тонкой синевой два небесных свода, и вода между ними пропадала из глаз.

– Садись на весла!

Андрейка беспрекословно взялся за весла и стал грести, обливаясь потом.

Вверху, не особенно высоко, над морем несло белое, ослепительно блестящее облачко с разорванными краями, точно это уносило оторвавшийся где-то кусочек ваты. И это быстро несущееся облачко резко нарушало впечатление знойной неподвижности и покоя, царивших на море. А дед все поглядывал то на облачко, то на горизонт, в синеве которого терялись и вода и небо: оттуда, теснясь,

густо лезли круглые барашки. Они торопливо выбирались с особенной и необъяснимой при полном затишье поспешностью.

Андрейка, измученный, задыхающийся от тяжелого зноя и напряжения, стал испытывать глухое беспокойство. По небу, за минуту до того безмятежно чистому, бежали одно за другим облака, блестящие с одной и зловеще затененные с другой стороны. Дед, все подгонявший Андрейку, сам сел на весла, и тяжело нагруженная лодка пошла скорее по тому направлению, где должен был открыться берег.

В той стороне, откуда выбирались облака, по спокойному морю вдруг побежала потемневшая узкая полоса бесчисленных морщинок, все удлиняясь и быстро нагоняя лодку. В ту же минуту забежал ветер, шевельнул парус, вздул на спине Андрейки рубаху и понесся дальше вместе с мелкой рябью, темнившей светлое лицо моря.

Опять тишина, неподвижный зной, зеркальный блеск моря и бессильно повисший парус.

Дед, угрюмый и насупленный, поднялся, аккуратно сложил весла, достал из-под сиде-

нья кафтан, надел, подпоясался потуже, уселся на корме, пропустил шкот в кольцо возле себя и взялся за руль.

Море все покрылось темными пятнами ряби, перемежающимися со светлой поверхностью, по которой с неуловимой быстротой бежали тени облаков... И вдруг оно почернело на необозримом пространстве, от края до края.

Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил парус, и лодка, подымая перед собой водяной бугор, с шумом понеслась, едва не поспевая за скользившими тенями облаков. Позади полосой пены потянулся длинный след.

Ветер, превращавшийся почти в ураган, не мог сразу раскачать за минуту до того спокойное море, и, несмотря на все усилия, оно только все больше и больше чернело. Но дед знал коварство этих внезапных летних бурь. Они разыгрывались где-нибудь далеко и потом, налетая оттуда, пригоняли с собой уже поднятые, готовые, расходившиеся волны, которые начинали бить и неистовствовать на совершенно тихой и спокойной до того поверхности.

сти. Поэтому он, с риском опрокинуть лодку, полностью отдавал парус ветру, и они неслись с безумной быстротой, от которой рябило в глазах, и пенящаяся вода проносилась назад, как мимо железнодорожного поезда. Открывшийся впереди тонкой чертой берег выступал все яснее, яснее.

Волны действительно пришли. Они шли, как грозная рать, с белыми колеблющимися головами, зелеными рядами вздымающейся воды, и кругом настал ад.

Лодка зарывалась носом. Волны – огромные, с острыми, подавшимися вперед гребнями и срывавшейся по ветру пеной – шли на нее с шипением, с шумом, без перерыва, без отдыха. Кипящие зеленоватые гребки то и дело обрушивались через борт. Шкоты натянулись, как нитки, а парус, оттягивая мачту, дрожал от страшного напряжения, купаясь в обдававших его брызгах. До самого неба, по которому торопливо и низко бежали серые всклокоченные, как грязная вата, тучи, стоял все заполняющий шум, из-за которого нельзя было различить ни скрипа подававшейся во всех пазах лодки, ни звука человеческого го-

лоса.

Андрейка, уцепившийся за мачту, видел, как у деда шевелились губы, но голоса его не слышал. Прижимаясь к дрожащей мачте, Андрейка глядел на бунтовавшие, с кипящими верхушками волны, которые без числа и без конца шли на их одинокую, заброшенную лодку. Она то совсем ложилась на бок, мочабившийся краем в воде парус, то выпрямлялась и взлетала на самый гребень. И тогда Андрейке в нескольких верстах открывался белый от прибоя берег, старая верба и белевшая на берегу хатка.

Андрейка не чувствовал особенного страха, он привык к бурям, и только внутреннее напряжение наполняло все его существо. Он так привык подчиняться и слепо верить на море деду, что не думал об опасности, хотя хлеставшие через борт волны все больше заполняли лодку, и она все тяжелее взбиралась наверх. Андрейка стал черпать и выливать за борт черпаком воду, но это мало помогало.

Старик сидел на корме, едва видимый в облаке водяной пыли и проносимой ветром пены, правя рулем, отдавая парус каждый раз,

как налетавший шторм клал лодку набок. Суровое, изрезанное морщинами, мокрое от брызг лицо старика было хмуро, сосредоточенно. Он сделал знак, а Андрейка, бросаемый из стороны в сторону качкой, на четвереньках, болтаясь в воде, перебираясь через кучи рыбы, полез на корму. Когда он добрался до кормы, старик нагнулся к его уху и крикнул:

– Кидай рыбу за борт!

Андрейка расширенными глазами глядел на старика, но старик ткнул его кулаком. Мальчик дрожащими руками стал выбрасывать еще живую, трепетавшую рыбу вон из лодки. Только теперь он понял всю грозившую им опасность, и детское отчаяние охватило его. Держась одной рукой за перекладину, он другой торопливо выбрасывал рыбу и горько плакал и причитал сквозь слезы:

– Ы-ы-ы... миленькие, потопаем!.. Ы-ы-ы... потопаем... подайте помощи, пото-опаем!..

Но ветер сердито уносил его жалобу, и волны, разбиваясь о борт лодки, высоко вздымались белым столбом брызг.

Андрейка повыбрасывал всю рыбу... Лодка

пошла легче... Берег все приближался... Уже можно было различить размытые глинистые обрывы, желтевший прибрежный песок и черневшие на берегу остовы старых лодок... Андрейка, продолжая вычерпывать воду, стал молиться. Он молился тому старику с седой бородой, что был изображен на потемневшей иконе в углу церкви, перед которой дед всегда ставил свечи. И Андрейка все ждал, что вот-вот их лодка станет легче и волны перестанут плескаться через борт пенистые верхушки. Но по-прежнему с шумом шли водяные горы, летела пена и низко неслись грязные тучи.

Шумя в оснастке и срывая гребни волн, набежал порыв бури, погнул парус, лодка бесильно легла набок, и в нее всем бортом хлынула огромная волна.

Андрейка, с ног до головы окаченный волной, схватился обеими руками за мачту, захлебываясь от ворвавшейся в рот соленой воды. Старик, с проступившей по загорелому, обветренному лицу землистой бледностью и с прыгавшей нижней челюстью, судорожно навалился грудью на поднявшийся борт. Лод-

ка выпрямилась, но в ней до половины оказалось воды, и она с трудом теперь выбиралась на гребни набегавших волн, которые яростнее и чаще стали ее захлестывать. Андрейка каждую минуту ждал, что они пойдут ко дну. Неодолимый страх охватил его. Он на четвереньках, весь в воде, полез к деду.

– Де-еду, боюсь!..

Дед, все с таким же мокрым бледным лицом и прыгавшей челюстью, втащил Андрейку на свое место, сунул ему руль и конец шкота.

– На вербу... на вербу держи!

Старик крикнул это, что было голосу, но Андрейка из-за шума не разобрал его слов. Он только видел, как дед сбросил шапку и сапоги, торопливо перекрестился, вытянул руки, ринулся за борт, и облегченная лодка, с переполненным ветром парусом, пошла быстрее.

Кругом, как снег в степи в буран, белела несшаяся поверх моря пена, навстречу бежал берег, и все предметы на нем быстро увеличивались, выступая все отчетливее: размытые глинистые овраги, черневшие на песке лодки, белая хата и старая верба возле нее.

Андрейка был весь охвачен восторгом от сознания, что он спасен.

Зажав под мышкой руль, накрутив на руку туго тянувшийся шкот, он оглянулся: далеко-далеко, среди волн и пены мелькнула черневшая голова. Она то совсем скрывалась из глаз, то снова показывалась, поднимаясь и опускаясь вместе с волнами. У Андрейки с представлением о деде соединялось представление о суровой, ни перед чем не поддающейся силе, и теперь вид этой беспомощно подымавшейся и опускавшейся вместе с волнами головы поразил его. Андрейка закричал пронзительным детским голосом:

– Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!..

Глотая неудержимо катившиеся из глаз слезы и соленые бившие в лицо брызги, он изо всех сил навалился на руль. Лодка дрогнула, накренилась, с разбега круто повернулась, описав круг, и, как бы призадумавшись, стала против ветра. Парус ослабел и стал отчаянно болтаться и полоскаться. Андрейка, все так же неудержимо рыдая, положил руль совсем на борт: лодка повернулась еще больше, ветер мгновенно наполнил с другой стороны туго

выпятившийся парус, лодка рванулась и, все больше и больше черпая бортами и с каждой секундой оседая, понеслась от берега назад в море, туда, откуда, толпясь, шумя и разбиваясь, грозно шли волны и где беспомощно виднелась, то скрываясь, то опять показываясь голова...

– Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!..

Некогда*

Он сердито швырнул окурок, зашипевший в луже, засунул руки в карманы расстегнутого, развеваемого ветром пальто и, нагнув еще не успевшую проясниться от дообеденных уроков голову и ощущая в желудке тяжесть скверного кухмистерского обеда, принялся шагать сосредоточенно и энергично. Но как ни шагал, все, что было кругом, шло вместе с ним, – и наискось ливший дождь, мочивший лицо, и открытый заношенный студенческий мундир, громадные дома, чуждо и молчаливо теснившиеся по обеим сторонам узкой улицы, прохожие, мокрые, угрюмые, которые казались в дождь все как один, – все это знакомое, все это одинаковое, повторяю-

щеется изо дня в день, надоедливо шло вместе с ним, ни на минуту, ни на одно мгновение не отставая, не выпуская из равнодушных объятий.

И вся обстановка его теперешней жизни, все одна и та же, повторяющаяся изо дня в день, казалось, шла вместе с ним: утром несколько торопливых глотков горячего чая, потом нескончаемая до глубокой ночи беготня по урокам. И все дома его клиентов были на один манер, и жизнь в них шла на один манер, и отношения к нему и его к ним были одни и те же. Казалось, он только менял в течение дня улицы, но входил все к одним и тем же людям, к одной и той же семье, несмотря на разность физиономий, возрастов, общественного положения.

Он позвонил. Долго не открывали. Загривов стоял насупившись. Дождь все так же ко-со мелькал, и на мокрой, залитой мостовой вскакивали пузыри, чисто омытые тротуары влажно блестели, по боковым канавам шумно бежала мутная вода. Извозчики, нахохлившись, дергали вожжами так же, как и всегда они это делали, было ли вёдро, сухо, дождь,

снег или мороз. Мокрые лошади покорно трюхали с прижатыми ушами, и в этой покорности чувствовалась своя особенная, не доступная окружающим жизнь.

Загремел изнутри засов. Рябая сумрачная прислуга посторонилась, и Загринов пошел по длинному коридору, разделся в полутемной прихожей и вошел в низенькую комнатку. Пахло давно не проветриваемым жильем, лампадным маслом и сухими травами. Оттого ли, что на дворе шел дождь, или окна не были протерты, или на душе у него было серо, – только все в доме было сумрачно, угрюмо, тускло.

В пустой, голой, без занавесей, без картин, даже без печки комнате стояли стол и три стула. На столе лежали две развернутые тетради с положенными на них карандашами и несколько учебников. Обыкновенно при входе Загринова у стола его встречали, глядя исподлобья, два плечистых угрюмых реалиста, здоровались, потом садились друг против друга и начинали делать задачи на построение.

Старший, вылитая копия отца, был в пя-

том классе. Глядя на этот низкий, заросший жесткими волосами бугристый лоб, выступавшие надбровные дуги, скулы, челюсти, на эту срезанную назад тяжелую, неправильную голову, казалось, что в толстом черепе остался очень небольшой уголок для мозга. Скучный, неповоротливый, ограниченный ум, почти физические страдания, вызываемые необходимостью умственного напряжения, подтверждали это, и Загринов приходил с ним в отчаяние.

Загринов никогда не видел их матери, но почему-то ему казалось, что в младшем сквозь тяжелую оболочку отца сквозили мягкие, женственные черты матери, живые, жаждущие жизни, света, тепла. Казалось, он делал тщетные усилия и попытки выбиться из какой-то тяжелой, давившей обстановки, бился угрюмо, не умея и не имея с кем поделиться, отвести душу.

Со своими учениками Загринов никогда ни о чем постороннем не заговаривал. Они чертили, делали построения, угрюмо смотрели в свои тетради, а он делал поправки, подсказывал, наводил, объяснял методы реше-

ния. Между ним и его учениками всегда стояла стена отчуждения, замкнутости, сдержанной, холодной вежливости.

В доме царила неподвижная, строгая, суровая тишина, как будто никто не ходил, не разговаривал, не смеялся. Загривов, проходя по коридору, иногда случайно встречал детей самых разнообразных возрастов, – очевидно, семья была большая, – но никогда детский голосок не звучал в этом суровом и строгом, угрюмо молчавшем доме. Семья тесно ютилась в нескольких дальних комнатах, а в громадных пустых апартаментах второго этажа, над ними, стояла дорогая мебель, висели картины, – дом этот когда-то принадлежал разорившемуся князю, – и веяло строгостью и холодом пустоты нежилого помещения. Два раза в году, на рождество и пасху, здесь накрывался стол в углу и устанавливался закусками и винами. И когда после праздников Загривов приходил в первый раз, старик торжественно вел его наверх, они закусывали, выпивали по рюмочке, перебрасываясь двумя-тремя словами, а со стен ничего не говорившими, потемневшими лицами глядели фамильные портреты. Потом

спускались вниз, в прежние «людские» князя, и начинались опять чертежи, построения, задачи и тяжелая борьба с неповоротливой, угрюмо лежавшей в голове тяжестью.

Под праздники глухо, неясно и зловеще доносились из-за стены заунывные, гнусавые, мертвые звуки, и нельзя было разобрать ни слов, ни ритма, ни голосов, и чудился саван, покойник, ладан. Вероятно, там была молельня.

Загринов прохаживался по комнатке, заложив назад руки, нагнув голову и ощущая вею особенную окружающую обстановку и то давящее чувство, какое испытывал каждый раз, когда входил в этот дом, но ученики не выходили.

– Что же они?

Загринов с удивлением смотрел на приготовленные на столе тетради и учебники. Никого не было.

Нарушая привычное ощущение неподвижного, тяжелого, угрюмого, несколько таинственного молчания, которое наполняло дом, донесся резкий, крикливый, как будто чужой, грубо ворвавшийся извне хриплый, старый

голос, отдельные, разрозненные слова:

– Театры!.. Книги!.. Деньги плачу, а вместо... Книги...

Раздался тяжелый стук, голос мгновенно смолк, как будто человека ударили по голове, и опять во всех углах, затканых паутиной, царила неподвижная, затхлая, мертвая тишина, но это была уже не прежняя тишина, в ней чудилось смятение борьбы.

– Зачем, папаша, зачем учить... зачем нас отдал, а теперь не даешь?!

И опять гулко и тяжело, придавив все звуки, захлопнулась дверь. Загринов прошелся, прислушиваясь к тишине, потом остановился. Посреди комнатки стоял стол, три стула, лежали развернутые учебники, производя впечатление ненужности. По стеклам торопливо расплывался дождь.

«Странно!»

– Ни копейки не оставлю!.. Пррроклянущу!..

И опять чуть-чуть дрогнули от тяжелого удара оконные стекла.

Загринову становилось тягостно. Он чувствовал себя так, как будто вмешался в чужую жизнь, нарушил чужой установленный

порядок. Потом подумал, что это его нисколько не касается, и опять стал ходить.

Немного погодя дверь отворилась, вошли реалисты, поздоровались. Младший, с красными щеками, бегая по сторонам сощуренными глазами, торопливо и нервно стал чертить дрожащей рукой. Старший неуклюже, с тупой покорностью придавил тяжелым мешковатым телом стул.

«Но ведь это меня нисколько не касается, деньги он аккуратно платит», – думал Загринов, напоминая, что площадь ромба определяется произведением полудиagonалей. И он битых три часа толковал, разъяснял, напоминал теоремы, пока наконец не охрип.

Дождь по-прежнему наискось сек мостовую, тротуары, стекла фонарей и окон, стены и крыши домов, когда Загринов с облегчением вышел на улицу, чувствуя уже у себя за спиной этот сумрачный, молчаливый, с огромным пустым верхом дом, в котором таилась тяжелая, затхлая, придавленная жизнь. И когда он шел вдоль подымавшихся над тротуарами домов, втянув голову в мокрый воротник старого пальто, жизнь в них казалась

такой же придавленной и загадочной.

На конке нельзя было проехать, он все время шел под дождем пешком, болтая взмокшей и обвисшей бахромой отрепавшихся внизу брюк. И когда вынул в ожидании, пока откроют на звонок дверь, облезлые железные часы, было около восьми; на ходьбу у него ушел почти час.

– А у Володи-то четыре с плюсом, – говорила высокая, средних лет, с покрывающимся уже морщинками лицом дама, улыбаясь длинными желтыми зубами и глядя злыми глазами.

– Отлично, – проговорил Загринов, пожимая протянутую руку, стараясь также ответить обязательной при встречах улыбкой и чувствуя влажную сырость в промокших штиблетах.

– Да помилуйте, это же несправедливо!.. Крохотная ошибочка, даже не ошибочка... Надо бы у частного поставить название предмета, так как это деление именованного на отвлеченное, а он не поставил, и вот четыре с плюсом.

– Ну да, это простая описка.

– Да-а, описка, а между тем мальчику уменьшили. Я уж и не знаю, право, что делать! На четыре с плюсом он и сам учился. Когда обратилась к вам, я так и рассчитывала, что он будет первым, а то бы не стоило...

«Отцу послезавтра деньги отсылать». И Загринов смотрит ей в лицо, теперь уже не улыбающееся, и видит длинную чавкающую лисью морду, показывающую длинные желтые зубы, и ему страшно хочется плюнуть и непременно в эти желтые зубы, надеть пальто и уйти, но вместо этого он, слегка нахмурившись, говорит:

– Если вы находите так...

– Ах, нет! Пожалуйста, пожалуйста, я вам доверяю!.. К этим четверем с плюсом еще бы хоть плюс, вот бы как раз и составилось, даже пять с минусом, можно бы помириться. Тогда у него все пятерки за четверть, так как минус при выводе не считается, и первым бы записали, а теперь я просто не знаю... Неужели и эту четверть он вторым?

Худенький, сильно вытянувшийся, с нервным и бледным личиком мальчик ни минуты не мог посидеть спокойно: он мял бумаж-

ки, вертел карандаш, поминутно поправлялся на стуле, торопливо, не дослушивая, но умно и толково отвечал, с полуслова понимая вопрос. Потом он становился сонным, вялым, точно облако наплывало, переставал понимать самые простые, самые избитые вещи и смотрел на учителя широко раскрытыми глазками с мучительным недоумением.

– Ну, да ведь как же... Двадцать фунтов сахара и пять фунтов кофе стоят четыре рубля шестьдесят копеек, а двадцать фунтов сахара и семь фунтов кофе – пять рублей восемьдесят. Почему во второй раз приходится больше заплатить? Ну?

Мальчик дергается, нервно комкает край блузы, умоляюще смотрит и говорит, торопливо захлебываясь, что попало.

– Надо разделить... Нет... Сначала узнать, сколько сахара... не сахара, а кофе...

Подходит мать и наклоняется к нему с участливым, ласковым лицом, выставляя желтые зубы.

– Мой мальчик, ну, подумай, подумай, утешь свою маму, будь же умницей!

И, обращаясь к Загривову, говорит:

– Вы себе представить не можете, сколько он мне стоит! Каждый год на воды, доктора, консилиумы, знаменитости... Ужас!

Мальчик трепещет, как замученный зверек, а Загринов, хмурый и сумрачный, думает;

«Из-за двенадцати-то целковых... Проклятая ведьма!.. Уйду, черт с ней!» Но не уходит, а с напряжением на лице старается еще проще, еще убедительнее изложить задачу и навести на решение.

Только в одиннадцатом часу возвращался Загринов к себе домой с последнего урока. Дождь перестал, но тучи, беспорядочные, лохматые, торопливо клубясь и разрываясь, невидимо неслись в темноте над городом, потому что по улицам рвал и носился ветер, колебал огни газовых рожков, и в лужах и по непросохшим тротуарам трепетали отблески.

Он шел, как в лесу, в этом огромном городе, где жили сотни тысяч людей, где в тяжелом ночном мраке, едва приподымаемом огнем фонарей, высились громады зданий, где жизнь не замирала ни на одну минуту. И эти мокрые улицы, по которым скучно катились,

громыхая, угрюмо и неуклюже вырисовываясь, конки, гремели не знающие ни днем, ни ночью покоя извозчики, без устали шла в обе стороны все та же торопливая, спешащая, вечно озабоченная толпа, в которой нельзя было различить отдельных лиц, – все сливалось в общую темную живую массу, как капли в бегущем, шумящем потоке. Эти влажные холодные улицы, огромные дома были для него пусты.

Он поднял опущенную голову и с удивлением, точно все это в первый раз видел, поглядел. Фонари с колеблющимися огнями двумя прерывисто светящимися линиями сходились во мраке пропадающей улицы, мостовая холодно и равнодушно, говоря о бесприютности, поблескивала жидкой грязью, дома, подымаясь над пространством, озаряемым фонарями, терялись головами в недоступной густой тьме, где лишь ветер носился, шумел и гнал тучи, ронявшие по временам одинокие капли.

Жизнь, яркая, радостная, свободная, когда он приехал в университет, незаметно вывернулась наизнанку, свежее, юношеское лицо у

него заострилось, постарело, сухо обтянулось кожей, и в голове мысли понемногу вытеснились погоней, разыскиванием и беготней по урокам, недоеданием, нервным напряжением во время ожидания, что выгонят за невзнос платы. Он почти не заглядывал на лекции, редко бывал на кружковых чтениях, застрял на втором курсе. Не то чтобы он дичился товарищей, но эта вечная забота о куске, эта постоянная смена заработка, эта напряженность – все это точно заслоняло, точно становилось неуловимой, разделяющей преградой между ним и товарищеской жизнью, и он все ждал, что это пока, временно, что сейчас кончится, пройдет, – и вдруг поднял голову и увидел себя среди этих улиц, среди громадных зданий одиноким и заброшенным.

Один!

Он взял за козырек старую, разорванную фуражку, глубже надернул на голову, засунул руки в карманы незастегнутого, развевающегося пальто и, нагнув голову, пошел.

Не хотелось идти в свою опостылевшую, грязную полутемную комнатку. Он прошел несколько переулков, сел на конку и долго си-

дел сгорбившись, чувствуя сырость в промокших ногах и около шеи от мокрого воротника и бежавший гул и встряхивания, и думал, глядя на пассажиров: «Черт их дери, хоть бы одно лицо!.. Рожи!» Женщины были или некрасивые, или старые; коптившая лампочка, моргая, тускло освещала внутренность вагона; под полом, встряхивая, гремели колеса; кондуктор поминутно проходил и выдавал билеты.

– А-а, да это ты! – говорил Слободкин, когда Загривов стаскивал с себя отяжелевшее от впитавшегося дождя пальто. – Здорово! Чего давно не видать?

Слободкин, с маленькими черными горящими глазами на бледном скуластом татарском лице, возился около стола, заваленного книгами, растрепанными, разрозненными, перемешанными лекциями, принадлежностями костюма. Книги и лекции грудями лежали и на полу и на неубранной, грязной, со сбитым к ногам одеялом постели. Из раскрытого чемодана глядела разорванная пачка, на дне которой виднелось немного сухого порошкообразного табаку и старые рыжие сапо-

ги. На небольшом, свободном от сдвинутых в сторону книг и лекций местечке стола, на спиртовой лампочке, какие употребляются в лаборатории, стояла облупившаяся эмалированная кастрюлька, в ней кипятилась черная вода, а в воде висело что-то, завязанное в тряпочку.

Загривов лег на кровать, заложив руки под голову, неестественно изогнувшись спиной, в которую давили лежавшие на кровати книги, и чувствуя ноющее ощущение в ногах, точно в них насыпали песку.

– Что это у тебя?

– Кофе. Хочешь?

– Давай.

В том кавардаке, который был в комнате, казалось, и думать нельзя было что-нибудь отыскать, но Слободкин уверенно запустил руку в перемешанную грудку книг, разбитых, выглядывавших разрозненными листами литографированных лекций, штанов, корок хлеба, объедков колбасы, жестянок из-под кофе и вытащил блюдце, порылся в чемодане под сапогами и извлек выщербленный стакан.

– Чего это ты вздумал? – говорит Загривов,

спустив ноги с кровати, прихлебывая из горячего, жегшего стакана, который брал то в одну, то в другую руку.

– Заряжаюсь. Энергия падает, так взвожу себя. А то после беготни, лекций и уроков идиотом делаешься... Я теперь Маркса дую, он дураков не любит, с ним не шути... Как дернешь стаканчик покрепче, в голове прояснет, ну, часа полтора-два понимаешь, а потом опять болван болваном, и опять стаканчик, пока не свалишься.

Загривов вытянутыми губами с шумом втягивал в себя вместе с воздухом горячий кофе, чувствуя, как тепло горячими струйками разливается по усталому телу и в животе и на душе становится тепло и уютно.

– Вредно искусственное возбуждение.

Слободкин, пивший за неимением второго стакана из блюдечка, захохотал. Загривову показалось обидно, и он разом сделал большой глоток, задержав бровями от обжегшего язык, горло и желудок кипятка.

– Конечно, – проговорил он наставительно. – Посмотри, морда-то у тебя на что похожа.

– Черт с ней, с мордой! Жизнь надо брать так, как она есть, как ее можно взять. Она уходит, каждую минуту уходит, бесповоротно, невозвратно. Ни один день, ни один час не вернется. То, что сделал сейчас, никогда уже не сделаешь.

И это «ни-ко-гда» прозвучало для Загривова беспощадно звуком отчаяния, безнадежностью чего-то навсегда потерянного. Сколько для него минуло этих «никогда»!

Он торопливо пробежал саднившим от обжога языком по зубам и нёбу, подул на уже остывший кофе и осторожно хлебнул из стакана. Вдруг потянуло высказаться, приоткрыть на минуту усталую, сжавшуюся от одиночества комочком душу, позволить хоть на минуту заглянуть другому глазу туда, где было так темно, пусто и скучно.

– Я, брат, тоже чувствую – устал, разбит... Я, брат, больше не могу! И разбит не столько работой, – я уж не бог знает сколько работаю, – а измучен бессмыслицей. Как белка в колесе. Зачем?.. Я не успеваю читать. Жизнь, удовольствия, знания, новые течения мысли – все проходит мимо. Я уйду из университета с

тем же скудным багажом, с каким пришел. Вот что гнетет...

И он сейчас же пожалел: «Зачем? Ничему ведь не поможешь, а только сентиментально и смешно!» Но так как сказанного не воротишь, он опрокинул стакан надо ртом, выпил последний глоток и съел, хрустя, оставшийся на дне мокрый сахар.

Но, вероятно, для Слободкина не было смешно, потому что он вытащил из кармана склеившийся от обильного употребления в грязный комочек платок, с легким шуршанием расклеил его, поискал еще незанятый мягкий уголок и высморкался серьезно, без улыбки.

– Нда-а... – проговорил он, скатывая в комок и пряча платок. – Это так... Только держись, держись, брат, до последнего. Невмоготу – напейся. Это очень хорошо, очищает и проясняет. Держись, брат!.. Или живи, цепляйся зубами и когтями – или плюнь и укокошь себя. Но так как в конце концов все мы жить-то будем, как бы подло и мерзко ни было, так уж тут нечего рассуждать, – все средства хороши, и из дворняги делай бобра.

– Вот что страшно, – говорит Загринов, чувствуя у себя опять под спиной книги, которые лень сбросить, – жизнь идет мимо. Газет не успеваю просматривать, в журналах вижу лишь оглавления, об университете и говорить нечего, книги всё собираюсь читать, – мне некогда, некогда, некогда... Бегаешь, мчешься, нужно удовлетворить данный момент, данную минуту, и все казалось, что это все кончится, а там уже начнется настоящее, действительное, работа настоящая, ну, словом, все... И вдруг – глядь – вижу, все это самообман, самоуспокоение... Все то же будет, все так же буду бегать к раскольнику и к этой длиннозубой ведьме, у которой я за двенадцать целковых в месяц мучаю мальчишку.

Он заложил руки под голову и потянулся, упершись ногами.

– Мне представляется жгучее, острое, захватывающее сожаление, раскаяние в бессмыслице прожитой жизни. Начнешь стареть, оглянешься – и не увидишь позади того, что дает окраску всей жизни... Вот ощущение, мне кажется, которое ждет нас, пропустивших молодость, студенческие годы... Эх, брат,

да это трудно себе представить!.. Я представляю... Лучше сдохнуть, пойти в тюрьму, надорваться, только чтобы не испытать этого едкого раскаяния, запоздалого сожаления о том, чего никогда не вернешь.

Слободкин стоял, делая хитрые татарские глаза.

– Пойдем, брат, напьемся!

– Пойдем.

Приятели надели тяжелые от впитанного дождя пальто, вышли и стали спускаться по крутой темной вонючей лестнице.

На берегу*

I

Огромной чернеющей громадой стоит у набережной пароход, притянутый толстыми канатами. Стройные мачты легко и свободно поднимаются, впиваясь в голубое небо острыми верхушками. Низкая, прокопченная, слегка подавшаяся назад труба угрюмо и беззвучно дымит слабо вьющимся дымком. Воздух над ней дрожит и колеблется, и могучая дремлющая сила чудится в молчаливо разверстой черной пасти.

Темные круглые стекла каютных окон, как сонные глаза огромного тела, глядят молча ничего не говорящим взглядом. На капитанском мостике никого нет, и неподвижно и одиноко вырисовываются рукоятки румпеля. Как змеи, извилисто тянущиеся цепи, сложенные канаты, свернутые паруса, пустота и безлюдье на палубе – все говорит о покое и отдыхе после непрерывной, день и ночь, работы, от которой бежали содрогания по всему огромному, из железа и стали телу, боровшемуся с водной стихией и сделавшему не одну тысячу верст.

Только в одном месте и теперь не знают отдыха, с берега на борта переброшены широкие сходни. Сгибаясь, пропадая совсем под огромными тюками, ящиками, кулями, с дрожащими коленями, беспрерывно, как муравьи, один за другим сходят по мосткам обрванные, босые, в одних рубахах и портах люди, и пот крупными каплями падает из-под тюков на гнущиеся под ногами доски. Сбросив под навесом на берегу ношу, они на секунду выпрямляются, вытирают красное от натуги, блестящее от пота лицо и опять бегут

на пароход, к тому месту, где зияет в палубе черным провалом открытый люк.

У люка стоит помощник капитана и записывает в маленькую книжечку выгружаемые «места». Возле лебедчик поворачивает рукоять паровой машины, и цепи переливчато, с говорливой торопливостью бегут с огромного, как гигантская рука, поднимающегося над палубой крана в чернеющую пропасть. Оттуда, как будто из самой внутренности земли, доносится глухой, ослабленный расстоянием голос:

– Сто-оп!..

Лебедчик одним поворотом останавливает машину, и мгновенно смолкает, как подрезанный, говор цепи. Несколько человек наклоняются и глубоко вниз, как в пропасти, слабо различают копающихся людей. Видно, как в полутьме они хватают крюк, висящий на конце цепи, и цепляют за него несколько бочек и ящичков, перехваченных канатом.

– Вира-ай!.. – доносится оттуда.

Поворот руки – и машина легко и свободно, словно играя, начинает проворно выбирать цепь. Цепь бежит вверх, и в чернеющее

отверстия показываются неуклюжие, пузатые бочки, огромные ящики, толкаясь о края люка. Все это выбирается наконец на свет, и только теперь видно, какая это громадина. Кран делает полуоборот, и бочки и ящики повисают над палубой.

– Майна!..

С секунду цепь гремит вниз, и огромная гора ложится на палубу. Подбегают крючники и взваливают ящики на покорно подставленные спины, а бочки начинают катить. И ящики, важно покачиваясь, шевелясь, чувствуя себя господами, шествуют по мосткам, вот-вот готовые раздавить, смять, изломать идущих под ними с трясущимися коленями людей, но благополучно добираются до берега и валятся к своим собратьям громоздящейся огромной горой.

А там уже опять слышится: «Майна!.. Стоп!..Вира-ай!» – с нестерпимым звенящим звуком бегут цепи, попрыгивает машина, поворачивается кран, и на палубе появляются все новые и новые тюки, ящики, бочонки, свертки, кули, короба, точно цепь вытаскивает все это из бездонной бочки, и нет им и не будет

ни конца, ни краю. Как ни громаден пароход, но, глядя на него, трудно себе представить всю колоссальную емкость его трюмов, скрытых под водой.

Солнце подымается выше и выше, тени подползли к зданиям и стали короткими и тупыми, начинает размаривать жара. Сверкает и шевелится шелковистая рябь спокойного моря, и голубая теряющаяся даль его пропадает в синеве спускающегося неба. Как белые клочки бумаги, белеют чайки, и одиноко, узкими черточками среди сверкающей ряби чернеют лодочки рыбаков. У набережной теснятся пароходы, шхуны, баржи. Показывая голубому небу истрескавшееся дно, лежат опрокинутые на берегу лодки. Стоит говор, шум, лязг цепей, вздохи машин, упорный, ровный воющий звук пароходных гудков, восклицания, песни, брань. С улиц разбросанного по берегу городка доносится дребезжание дрожек, а над всем молчаливо и задумчиво подымаются горы.

Грузчики кончили выгрузку, но отдыхать нельзя; надо приниматься за нагрузку. Штабеля полосового железа, доски, бунты хлеба,

бочки с вином возвышаются на берегу и ждут своей очереди. И опять бегают с берега на пароход потные, усталые люди, опять гремит цепь, подымаясь и опускаясь в пропасть пароходного трюма, черною пастью глотающего приносимые «места», поворачивается кран, и слышится отрывистое, надоевшее: «Майна!.. Стоп!.. Вирай!..» А солнце с зенита беспощадно обливает слепящим зноем нестерпимо сверкающее море, пароходы, набережную, беленький, рассыпавшийся у берега городок и горы, молчаливо глядящие верхушками в недоступную даль.

II

Это была маленькая, лет трех, девочка, с голубыми глазками, с белыми, как лен, волосами, в ситцевом платьице и крохотных желтеньких туфельках. Она бегала, облитая солнцем, как розовое пятнышко, по набережной, лазала между наваленными кулями, тюками, бочками, играла голышами и камешками, разбросанными по земле, и потом, остановившись и прикрыв глазки ручками, ладонями кверху, точно ей мешал солнечный свет, прозвенела тоненьким голоском:

– Я хацу к маме.

На набережной никого не было. Неподвижно возвышались бунты хлеба, штабеля досок и железа, море сверкало.

– К ма-аме хацу!

Этот тоненький голосок опять странно прозвенел над набережной, над сонно поблескивавшей у берега водой и залетел в тень опрокинутой на берегу старой, сквозившей прогнившим дном баржи, откуда неся гомерический храп. Кудластая голова неподвижно лежала на земле, казалось, независимо от огромного, поднимающегося горой тела. Судорожно вздрагивала при всхрапывании широко открытая лохматая грудь. Повернутая, обнаженная, неестественно толстая шея билась выступавшими жилами, и два кулака, неумело и грубо выделанные и плохо обтесанные, лежали спокойно и тяжело по концам раскинувшихся рук.

Не обращая внимания на эту неподвижную тушу, сидит возле татарин, блестя бритой, усеянной точечками головой, с оттопыренными ушами. Он раскачивается, подложив под себя накрест голые ноги, заунывно,

негромко поддвывая, тянет тоскливым и однообразным голосом не то песню, не то жалобу, мерно помахивая иглой с ниткой, зашивает изодранные штаны.

Двое бьются в карты – парень с испитым веснушчатым лицом и ввалившейся грудью и длинный, нескладный, с бегающими глазами и с красивыми, но острыми и хищными чертами черного от загара лица горец в лохмотьях.

– Давай!..

– Чего давай? Карту покажь.

– Давай деньга, говорю... Проиграл, давай!..

И острые черты горца вспыхивают ненавистью, тонкие вырезы ноздрей хищного носа раздуваются, зрачки искрятся.

– Давай!.. – гортанно, с угрозой вырывается из-за сверкающих сквозь усы зубов, и сухое, жилистое, гибкое тело угрожающе подается вперед.

Парень кидает пятак.

– Сволочь!..

Они сидят на земле и продолжают хлопать невероятно засаленными, свернувшимися ко-робом картами, следя друг за другом горячи-

ми, жадными глазами. Сквозь прогнившее дно прихотливо ложатся на землю пятна солнечного света, гнусаво тянется заунывный голос раскачивающегося татарина, и вырываются потрясающие звуки храпа.

– К маме хацу!..

Татарин поднял бритую, с глядевшими в разные стороны ушами, голову:

– Слышал, ребята кричал?

Лежавшая неподвижно туша шевельнулась, храп прекратился, производя странное впечатление наступившей тишиной и давая место звукам, долетавшим с набережной, с улиц; потом открылся громадный рот и так зевнул, что из золотившихся щелей дна посыпалась гнилая пыль.

– Васька, водка осталась?

– Ходы!

– Давай!.. Хлап винновый мой.

С моря донесся пароходный гудок.

– Никак наш?

Горец приложил к глазам козырьком ладонь и, щурясь, всматривался в сверкающее до самого края море.

– Не наш. Азовского общества.

– К маме... к ма-аме хацу!..

Пимен повернулся своим огромным телом.

– Никак, дитё? Откуда ему тут быть?..

Скверно, водки нету.

– Говорю, ребята кричал.

– Да неоткуда ему тут быть.

Татарин перекусил нитку, надел штаны и поднялся.

– Маленький ребята повалился в воду, тонул, чего смотрел?

Он подошел к девочке, присел на корточки и щелкнул языком:

– Ай-ай, какой балшой девка, какой отличный девка!..

– К ма-аме хацу!..

Подошел Пимен, горец, подошел Васька, щурясь, независимо позевывая, делая рассеянное лицо, говорившее, что все это его не касается. Пимен тоже присел на корточки и протянул заскорузлые, шершавые, с вьевшейся грязью руки.

– Подь, девонька, ко мне! Как тебя кличут-то?

Но эта большая косматая голова на огромном, неуклюже присевшем на землю теле,

сильный голос, огромные черные руки показались страшными, и девочка, все так же закрываясь, закричала тоненьким, как волосок, голоском так пронзительно, что Пимен подался.

– Ах ты, шустрая... как уколола!

– Чего лезешь? Вишь, ребята боится, – говорил татарин, отстраняя товарища.

– Да она тебя боится, свина уха. Подошли сторожа.

– Откеда девочка?

– А кто же ее знает: из города али с парохода. Не то заблудилась, не то забыли, а может, и подкинули... Несмыслена, ничего не может рассказать.

Окруженная незнакомыми людьми, девочка, как крохотная испуганная птичка крыльшками, закрывалась ручонками, ладонями наружу; маленькая грудь трепетала и вздрагивала, а из-под рук часто-часто бежали чистые, прозрачные слезинки. Она уже не плакала громко, а, захлебываясь, шептала:

– Мама... мама...

– Совсем махонькая,

– Это бывает, што подкидывают: сама села

на пароход и уехала, а дитё осталось.

– А может, забыла. Теперя, гляди, убивается на море, да пароход не повернешь.

– Надо в полицию отвести, заявить.

Татарин заволновался:

– Зачим в палицию? Ступай сам в палицию! Такая малая ребята в палицию!..

Он исчез под баржу и через минуту торжествующе вернулся, бережно неся обгрызенный кусочек сахару. Но ребенок не брал сахару и все так же истерически, надрывающе плакал, всхлипывая и задыхаясь.

Татарин взял девочку на руки. Ребенок, обессиленный и измученный, приник к плечу, вздрагивая всем крошечным телом. И странно было видеть рядом две головы: одна – маленькая, с волнистыми белокурыми волосами, другая – большая, с торчащими ушами, угловатая, обтянутая усеянной черными точечками кожей.

– Братцы, да это татарину подкинули.

– То-то он на капитанову жену посматривал.

– Всем бы кавалер, да портки худые.

– Зачинил... Все выл, сидел.

– По форме, стало, кавалер. Теперя дети пойдут... К вечеру, гляди, мальчика найдет.

– Хо-хо-хо... ха-ха-ха!..

– Шалтай-балтай, дурака валяй... Мать, может, на базар пошла, в город пошла... Придет, скажет: «Где ребята?» А я скажу: «Ходы сюда, вот твой ребята». Мать скажет: «Спасибо, Ахмет, на тебе цалковый, выпей на здоровье: ребята малый упал в вода, а ты не давал в вода упасть...» Я пойду, буду пить, а вы шалтай-балтай...

Пимен, с всклокоченной головой, крякнул:

– Ишь, свина уха, ловок! Хоча татарин, а иной раз смекнет не хуже православного. Ты один, што ль, ее увидал? Вместе увидали, вместе и пить будем.

– Да и я не слепой, – гнусавым голосом заявляет Васька, – я не спал.

Девочка, измученная страхом и плачем, загнула. Татарин осторожно положил ее под баржой на тряпье. Стали ждать, когда придет за ней мать и даст на водку, но не дождались, а дождались, что пришел пароход и надо было приниматься за разгрузку.

Опять загремела лебедка, говорливо побе-

жали цепи, из темного трюма стали вылезать тюки, бочки, ящики, однообразно, скучно, монотонно слышалось: «Майна!.. Вирай!.. Стоп!..»

К вечеру кончили разгрузку, и татарин, отирая пот, побежал к барже. Оттуда доносился тоненький, плачущий, всхлипывающий голосок. Девочка сидела и кулачками вытирала мокрое, заплаканное личико.

– Чего, девка, плачишь? Не нада плакать. Ай-ай, не нада плакать, бог уха резать будит.

Подошли Пимен и горец, усталые, запыленные, потные, сумрачные.

– Подобрал помет, теперя што будешь делать?

Татарин стоял растерянный, обескураженный. Девочка беспомощно всхлипывала.

– Черт вислоухий, ну?.. А то вот возьму за ноги – рраз... и мокрого не останется! Веди в полицию, – целую ночь тут скрипеть будет.

– Чего кричишь? Какая ночью палиция? Здоровый дурак, а голова малая! Зачим водка хотел пить вместе?

Татарин присел на корточки и щелкнул два раза языком:

– Ай, девка, ай, балшой девка!

Ребенок всхлипывал, шепча одно только слово:

– Мама... мама... мама...

Пришел Васька, принес хлеба, тарани, огурцов, воды, водки. Сели на землю в кружок и стали вечерять. Татарин накрошил хлеба и дал ребенку. Девочка жадно, торопясь, почти не прожевывая, стала глотать. Крючники, угрюмые, ели молча, много, раздирая сильными зубами сухую, жесткую тарань. Но когда прикончили бутылку водки, стали разговорчивыми и подобрели. Пимен даже отдал свой изорванный, вытертый тулуп, на котором татарин устроил ребенка. В двенадцать часов ночи их подняли опять, и они работали до четырех утра.

На другой день татарин с самого утра поглядывал то на город, то на пристань, к которой подходили пароходы, ожидая, что вот-вот появится кто-нибудь и станет расспрашивать о ребенке, но с пароходов сходили пассажиры, из города приезжал и приходил самый разнообразный люд, и никто не заикался о пропавшем ребенке.

– Вечером нада в палицию, – говорил себе татарин. Но опять как-то так случилось, что ребенка не отвели в полицию, смутно чего-то дожидаясь.

Прошло еще два дня. Девочка привыкла к своей новой обстановке, и ее голосок целый день звенел около баржи. Привыкли к ней и крючники, особенно огромный, добродушный Пимен. Он приносил ей ситного хлеба, иногда молока в сороковке, отчего молоко пахло водкой, а после него девочка крепко и долго спала, не просыпаясь. А когда был в хорошем расположении, позволял лазать по своему огромному телу, и ребенок перебирался через него, как через гору. Только Васька цыркал и говорил, что татарин готовит себе гарем, да горец не замечал, словно это была ненужная вещь, – и девочка обоих боялась и дичилась.

III

Заходящее солнце косо заглядывало под баржу, освещая огромное лежащее на брюхе тело Пимена, курившего сигарку, татарина с подвернутыми под себя накрест ногами, Ваську и горца, дующихся в карты, объедки тара-

ни, пустую бутылку из-под водки, огуречные корки.

– Да-а, пятый год, – говорит Пимен, задумчиво глядя на широкий водный простор, – никак не выберешься... как облипло тебя тут. А семейство ждет...

Он помолчал и с долгим шумом выпустил из себя воздух, и это произвело такое впечатление, как будто выпустили ручку медленно осевшего кузнечного меха.

– И ведь шел-то на одно лето, хозяйство чтоб поправить. Теперь парня надо отде- лять, – небось женили уж без меня... Что она тут за жизнь – ни богу свечка, ни черту кочерга, и работа не работа, и покою не знаешь, все безо время. Теперь бы прошелся за сохой али вилами покидал... Э-эх!..

И сигарка быстро и торопливо стала укорачиваться, вспыхивая и разгораясь.

– Соберу тридцать целковых – и гайда в деревню. Меня уж и ждать там перестали, пять лет ни слуху ни духу... То-то все обрадуются да удивятся, и закурим же!.. Семейство у меня большое, сына, должно, оженили, дочь замуж отдавать, а самой меньшей теперь пятый год:

уходил, жена на сносях была... Не выберешь-ся никак.

И опять кузнечный мех медленно и с шумом осел.

– Одно лето только приду, – заговорил татарин, равнодушно слушавший собеседника, – баба управляется, две лошади, три коровы, теперя наказал овец тройку купить.

Огромная туша Пимена сердито поднялась и села.

– Нехристь чертов, али ты товарищ? На сотку никогда не выколотишь. Черт жадный! Не успеет получить – бежит, стерва, на почту. Хошь бы раз пропил с товарищами!

Татарин скосил равнодушно глаза,

– Чего лаишь? Тебе хозяин кабак, я не хотел хозяин, ну, выпей, а остальные деньги гайда домой. Ждал, ой-ой, как ждал дома. Такой малый девка у меня дома ждал.

И сделавшиеся еще более узенькими глазки его и складки кожи на лице полезли врозь. Он глядел на игравшего возле ребенка. Девочка, подражая крючникам, согнувшись, таскала на спине тряпье и, шепелявя, говорила ругательства, которые постоянно слышала.

День проходил за днем, и теперь не только перестали говорить о том, что надо ее свести в полицию, но и позабыли ожидать, чтобы кто-нибудь явился и вознаградил бы их.

– Махан кобылячий, разве от него дождешься? – оторвался от карт Васька. – Жила татарская! И сам-то пьет, как нехристь: выпьет сотку и оглядывается – не много ли выпил... Черт поганый!.. Девятка! Давай сюда!

Татарин почесал поясницу, зевнул, поглядел на море и полез в угол завалиться спать. Пимен крутил новую сигарку.

IV

Море, спокойное, чуть-чуть шевелящееся, уходило в белесый утренний туман, который все еще лениво лежал дымчатой пеленой по горизонту, и солнце, касаясь, стояло над ним, озирая светлое лицо моря.

И хотя на море ничего не было, кроме спокойного светлеющего водного простора, что-то неудержимо радостное, молодое было разлито всюду, и казалось – беззвучная, полная восторга песнь неслась навстречу тонко и необъятно синеющему небу, навстречу солнцу, навстречу молодому утру.

Странный и непонятный в первый момент звук прилетел на берег. Он прилетел издалека, оттуда, где лежала дымчатая пелена, и казался призраком звука, неуловимым и мимолетным. И было что-то недосказанное в этом и таинственное. Но потом он прилетел опять, уже осязаемый, оставляя длительный отпечаток в сверкающем воздухе. Он держался ровно, долго, без перерывов, ослабленный расстоянием, настойчивый и однообразный, как умирающий звук поющего самовара, будя представление, что там, за таинственной пеленой, на затерявшейся под солнцем пустыне – живые существа, что они также чувствуют радость этого утра, приближаются и дают о себе знать.

И на берегу проговорили:

– «Игорь» идет.

На белой пелене смутно и неясно обозначилась черная точка, и нельзя было сказать, что это было – птица ли, или бревно плыло по морю, или чудилось и мерещилось в глазах. Понемногу точка расплывалась в пятнышко, приобретала очертания: вырезались тоненькими черточками мачты; зачернелась ма-

ленькая, игрушечная труба, и из нее, далеко отставая, тянулся черным следом дым.

А солнце купалось и нежилось в синей глубине, играя блеском и погружая ослепительные лучи; пелена тумана быстро таяла, убегая от солнца, от тепла, от радости разгорающегося дня.

И когда туман бесследно пропал, море открылось до самого края, очерченного небом, и над ним грубо звучал хриплый голос, уже ничего не имевший общего со свежестью радостного утра, ничего не было манящего, пленительного и недосказанного. Этот грубый, немножко хриплый голос тяжело звучал, нарушая мелодию утра, говоря лишь об одном — о том, что ничего нет, кроме труда, неустанного, надрывающего, грязного труда. И те, к кому относилось это напоминание, услышали его и вышли на берег.

Тут был и татарин с бритой головой и торчащими ушами, и Васька с тем же испытанным лицом, и черкес, и Пимен, такой монументальный, лохматый, и его огромное тело сквозило сквозь дыры изорванных портов и рубашки. И маленькое, резвое, живое пятнышко бе-

гало по берегу, и тоненький щебечущий голо-сок звучал, выделяясь среди грубых голосов, говора, брани и смеха.

Пароход, казалось, не приближался, а распухал и разрастался. Толстел и делался грузным, раздаваясь черною громадой, корпус, распухала труба, изрыгая черный клубящийся дым, пухли и длиннели, резко и грубо вырезываясь на голубом небе, мачты, росли белые, подвешенные на кронштейнах, шлюпки. Уже можно было различить маленькие фигурки людей, толпившихся у бортов, суетившихся по палубе и стоявших на возвышавшемся над палубой мостике. Работа винта прекратилась, и эта громада, гоня перед собой светлый, вздувшийся, прозрачный вал, бесшумно надвигалась на берег.

С бортов полетели деревянные шары, и мелькнула за ними тонкая бечева, подхваченная ждавшими на берегу людьми. В воду упали концы каната.

Отчаянные истерические крики нарушили ожидание и привычную обстановку причала. Какая-то женщина билась в дюжих руках матросов, порываясь выпрыгнуть за борт, и с

берега в ответ разнесся пронзительный, радостный детский плач:

– Мама! Мама!

Винт забурлил в обратную сторону, и черная громада, медленно повернувшись, навалилась на пристань, и ее притянули канатами.

Перебросили мостки, и на берег бросилась, плача, смеясь, со вспухшим от слез лицом, женщина. Она схватила ребенка, у которого вырывалось только одно слово:

– Мама!.. Мама!.. Мама!..

Кругом обступила публика.

– Девочку нашла!

– Убивалась-то как! На море чуть за борт не скакнула, как увидела, что дочери нет. Думала – утонула. Обезумела.

– Мать – одно слово.

Возле стоял татарин, грязный, оборванный, осклабляясь.

– С нами жила неделю... Кормили, жалели... Зачим в палицию? В палицию не нада... Ребята малая, в воду упала, тонула, я не давал тонуть... Мать, значит, да, да... У меня тоже девочка, махонькая, вот... – И он невысоко по-

казал рукой от земли. – Мать, да, да...

Девочка лепетала, мать безумно ее целовала.

– Мама, возьмем музыков, музыки доблие...
Мама, тут много камесков. А у дяди Пим голова болсаая... А он мно-ого сундуков носит...
Мама!

Она лепетала, переплетая детские слова со скверными ругательствами, которые выговаривала смешно, по-детски присюсюкивая, и от этого они казались особенно отталкивающими и циничными. В публике засмеялись.

– Ишь ты, этому допрежь всего обучилась...

– Этому обучится...

– Молиться не выучится, а уж этому обучится.

– За это надо хворостиной.

Мать побледнела, как полотно, и смотрела на ребенка расширенными, полными ужаса глазами.

– Ах вы, подлые люди! Тьфу!..

И она плюнула в лицо татарину, взяла ребенка на руки и быстро ушла на пароход. Кругом захохотали.

– Что, Ахметка, получил на чай?
– Ахметка, угости! Обещал.
– Теперь Ахметка с чаю-то разжиреет, ба-
рином делается...

– Кавалер форменный...
– Поищи, может, еще подкидыш навернет-
ся, – выгодное дело.

– Эй, крючники!..
Загремела лебедка, цепи говорливо, со зво-
ном пошли в трюм.

– Сто-оп!..
С парохода и на пароход шли пассажиры.
– Майна!.. Сто-оп!.. Вира-ай!..

А солнце так же ослепительно ярко стояло
над морем. Море, светлое и спокойное, чуть-
чуть шевелилось и уходило в далекую откры-
тую даль.

Лихорадка*

Сколько он ни идет, над ним все так же стоит беспощадное солнце, побелевшее от жара неподвижное небо, струится и дрожит горячий воздух.

Мелкий полынок, спутавшись в сухой шершавый войлок, покрывает сожженную, истрескавшуюся землю, нисколько не защищая ее от почти отвесных лучей июльского солнца. И кроме этого сизого полынка, побелевшего неба да струящегося от зноя воздуха, ничего кругом нет. Открытая во все стороны сухая степь равнодушно простирается, лениво, нескончаемо подымаясь по изволокам, отлого спускаясь в широкие сухие балки, по которым краснеет глина размытых оврагов. По балкам, чернея, расползается низкорослый терновник, да одиноко и затерянно стоят дикие яблони с объединной червем, осыпавшейся сухой листвой. Не меняясь, неподвижно стоит над краем степи белое, округло-слоистое блестящее облако. Кажется, никогда и нигде здесь не встретишь людей. Но прошлогодние пашни, пожелтевшее жнивье, далекие

скирды хлеба и серые пыльные дороги, тянущиеся по степи, говорят о жизни. Да дальние курганы стоят молчаливыми памятниками давно минувшего.

А человек все идет да идет.

Пот без перерыва ползет по его сожженному, выдубленному лицу с втянутыми щеками и впалыми висками. Почерневшие босые ноги растрескались, и кровь сочится, запекаясь на солнце. Растрескались и иссохшие губы, краснея свежими тонкими трещинами. Из темных ввалившихся ям глядят воспаленные глаза. Он качается, точно его колышет ветром, но кругом стоит неподвижный зной. Длинные ноги заплетаются, как арбузные высушенные плети, и плечи, острыми углами поднимающиеся над вдавленной грудью, давит лежащий на них полушубок и сума с сапогами и пожитками. Холщовая рубаша, черная от грязи, со стекающим потом, обвисает на костлявом, длинном, угловатом теле.

Зной стоит такой же неподвижный, слепящий, неслабеющий, равнодушный; даль дрожит, и все то же над головой побелевшее небо.

Из иссохшего горла над раскаленной степью проносится, как шелест мертвых сухих листьев:

– О господи!..

Человек останавливается, поднимает руку, чтобы отереть пот, но не доносит до лица и обводит кругом мутным взглядом: по изволоку ползут овцы. Они кажутся крошечными, как серые козявки, и так же медленно ползут, как козявки.

Тогда человек собирает все силы, набирает горячего, жгущего легкие воздуха и кричит то слово, которое неотступно стоит перед ним, которое жжет и палит внутренности, которое печет губы, – одно только слово:

– Воды!!.

И он кричит это диким, хриплым, казалось разносящимся по всей степи голосом, но на самом деле ни один звук не нарушает мертвого, неподвижного зноя... Лишь черные, запекшиеся губы слабо зашевелились, приликая к клейким деснам:

– Воды!..

Черные тени ложатся на лицо, с легким шелестящим звуком вырывается из полуот-

крытого почерневшего рта короткое дыхание, и голова слегка качается из стороны в сторону.

– Пойду... Идти надо... До города бы только дойти...

И, раздувая ноздри и поправляя на плечах тулуп с мешком, он идет, все так же качаясь из стороны в сторону, точно под ним колеблется земля. В ухо вливается тонкий, звенящий звук, точно комариное пение, держится некоторое время, крепнет, ширится, полнеет, как разгорающаяся искорка в темноте, постепенно заполняет голову шумом, звоном, точно там пересыпаются огромные массы песка, и он несет эту громадную переполненную, готовую раздаться голову...

Легкая дымчатая мгла быстро поплыла и закрыла спускавшееся к степи горячее небо, далекую, дрожащую в зное черту горизонта, верхушки курганов, отлого раскинувшиеся балки, яблони, овец, пыльную дорогу, и кругом пропали очертания, – стало черно, прохладно, пусто, как в погребке, и все звуки мгновенно смолкли, как подрезанные... Потом черная тьма опять поредела и открылась до-

рога, красные овраги, яблони, курганы, и опять зазвучали тысячи тонких, звенящих звуков, переполнявших ему голову. И в ту же секунду он почувствовал, что дорога поплыла из-под его ног, его шатнуло, и распухшие, истрескавшиеся подошвы стали ступать не по пыли, а по жесткому, сухому придорожному полынку.

– О господи!..

Теперь у него одно стоит в голове – овцы. Надо дойти до овец во что бы то ни стало. В серых, казавшихся издалека крохотными, животных таился весь смысл его пребывания в этой горячей степи под жгучим небом. И он шел к ним, переставляя ноги, не спуская горячечного взора.

До них, кажется, близко, рукой подать. Он ясно различает, как они, столпившись, опустив головы, стоят сонно и неподвижно, и в то же время чувствует, что никогда не дойдет до них: степь упорно и настойчиво идет вместе с ним, идет вместе с ним дрожащая даль, все на тех же местах виднеются дальние курганы, стоят скирды хлеба, тянутся широко раскинувшиеся балки и белеет неподвижно

блестящее круглое облако. И он, переводя горячее дыхание, смотрит на овец как на свое спасение...

Оттого, что он пристально глядит на них, в глазах начинает рябить. Их серая масса сливается, тянется серой каменистой грядой, а изволок заслоняет горбом небо, терновник ползет по его склону темной листвой, а из-за этой лесистой горы белое облако сверкает ослепительным блеском снеговых вершин. Внизу краснеет глиной железнодорожное полотно, копошатся люди, а дальше... дальше влажным блеском сверкает вода, много воды, безграничный, простор воды; но это соленая, тяжелая, зеленоватая вода, – и это еще больше увеличивает муки жажды.

Семеныч нисколько не удивляется: знакомые места. Вот карьер, вот насыпь, вот порохом скалу взрывали, вот длинный мост перекинут через овраг: в весеннее время и в дожди здесь бушует горная речка; а вот кресты, много крестов, как перелески, потянулись вдоль полотна: лихорадка поела несть числа народу. Не одна тысяча российских людей в лаптях полегла тут, как солома в поле.

Все знакомый народ.

– Семеныч, здорово... опять к нам.

– Сказывали, не уйдешь, тут останешься.

Смеются, на кресты показывают, а кресты растут, растут, лезут из земли, как молодая поросль, и уже не видно горы из-за их чащи.

Семенычу становится страшно... Подошел балластный поезд, с платформ сыплется песок, камень сбрасывают... Кондуктора присели, сигарки крутят, калякают, рабочие с лопатами, с ломами подходят – и все желтые, худые...

– Семеныч, а Семеныч!..

Смеются. Персюк, здоровый, в тряпье, почти голый, тоже смеется, ему ничего.

– Ай, Семеныч... Опять наша, Семеныч...

– Братцы...

Семеныч хочет им закричать, что он не виноват, что все это – не так...

– Письмо пришло... сынишка твой помер... восьми годков...

Смеются.

Семеныч хочет плакать громко, по-бабьи, и... плачет странным, воющим голосом... Нет, это – не Семеныч, это – шакалка... Ночью, под-

лые, спать не дают воем: сядут на задние лапы, сидят и воют...

И как бы в подтверждение, что это – шакалки, опять стало темно и прохладно, и опять посветлело, и показалось на минуту, будто овцы впереди, отлогий подъем из балки, белое облако, – но на самом деле ничего этого не было: тянулась серая каменистая гряда, горбом заслоняли небо лесистые горы, и больно сверкали на солнце снеговые вершины.

– От бабы твоей письмо, зовет... с голоду помирает...

– Братцы!.. братцы!..

Семеныч старается разъяснить, растолковать, что он не виноват, что его нужно отпустить, что он уже все сделал, больше с него нельзя требовать... Шесть лет работал не покладая рук, не щадя себя, работал тяжелую работу: ломал камень, бил щебень, возил землю, по колено в болоте копал канавы, валялся в лихорадке... Он работы не боится... Ведь ему только лошаденку, коровенку да землицы прикупить... Шесть лет копил, гроша на себя лишнего не истратил, с голоду не издох толь-

ко потому, что кормился в артели, – тут уж ничего урвать у себя нельзя было... Шесть лет... Баба кричала, убивалась, голосила, как по мертвому:

– Не ходи, али возьми нас... с тобой хоть через два дня в третий есть будем, без тебя и этого не будет...

Он ушел, ушел, чтобы прийти для новой жизни... Шесть лет... Сначала посылал домой, потом перестал посылать: все уходило туда, ничего нельзя было скопить; считал дни, часы, – как медленно, тяжело, трудно, больно капающие кровавые капли, накоплялись гроши, копейки, рубли... Пускай потерпят, все будет – корова, лошаденка, земляца; пусть не тужат; много терпели, немного перетерпеть... Перестал и письма получать, – слух пошел от земляков, что разбрелись, не то перемерли.

– Го-го-го... копи, копи... Избу-то заколотили... Разбрелись... живы ли... Детишки мерли здорово... Баба на ладан дышит...

Смеются, гогочут, скалят зубы. Все скалят: и живые, и те, кому не нужно уже никакого хозяйства, – желтые, с ввалившимися глазами, с длинными обнаженными зубами.

– Го-го-го... все есть – семьи нету...

– Братцы, – говорит умоляющим голосом Семеныч, – братцы, разве для себя?.. Мне ро-синки не надо... братцы, для хозяйства...

Краснеет полотно, сверкает вода, соленая-соленая, пить нельзя, виднеются вдали мосты, станция; народ, как муравьи, копается, а кресты все лезут, все растут. Уже не видно леса – заслонили лес, не видно полотна – густой чащей заслонили полотно, уже не видно моря – заслонили море, не видно гор – заслонили горы, не видно солнца, неба – кругом непроходимая дремучая чаща крестов.

Семенычу опять становится жутко.

– Сила-то, господи... сила-то их... все народ был...

Он чувствует, как по всему телу пробегает обжигающий озноб, и видит впереди серые пятна сбившихся кучками овец, чернеющий по балке терновник, видит одиноко и печально стоящие объединенные яблони, и лениво поднимающуюся из лощины на изволок серую пыльную дорогу, и медленно и трудно переступающие по этой дороге чьи-то истрескавшиеся, почерневшие босые ноги.

Семеныч с усилием соображает, чьи бы это были ноги, и приходит к заключению, что это – его собственные; потом вспоминает, что ему нужно дойти до овец. Но овцы оказываются страшно далеко. Они кажутся такими же маленькими, как изображения в отчищенных солдатских пуговицах. Но потом они оказываются возле: неподвижно стоят, сбившись в кучу, спасаясь от жары и оводов. Но вот они поднимаются на дыбы и рычат на него страшными, хриплыми голосами.

Он видит черные усатые морды с белыми клыками и вдруг слышит человеческий голос:

– Тю, скаженные... человека съели... цытьте!..

И сейчас же раздается собачий визг. При этих звуках тулуп и сума сами собой сваливаются с Семеныча. Теперь он отчетливо сознает, что это – отара, овчарки, чабан, степь и зной, и безумное, неутолимое желание снова прорывается, и он шелестит губами:

– Во... ды!..

Чабан, весь пропитанный жиром, точно его варили в котле с салом, широкоплечий и

медлительный, с изумлением глядит наивными добродушными глазами на пришельца и шепчет: – Господи Иисусе... человек али холера?

– Воды... ради самого господя!..

– Васька, давай бочонок!

Мальчик лет двенадцати, тоже вываренный в сале, торопливо раскидывает кожухи, достает из ямки небольшой бочонок и подает Семенычу. Семеныч крестится дрожащей рукой, берет бочонок, но не в состоянии удержать. Мальчик поддерживает, и Семеныч дрожащими, спекшимися губами, весь трясясь, начинает пить. Он пьет, подняв глаза к горячему небу, потом закрывает их; пьет, все больше и больше запрокидывая голову, и по длинной, худой, жилистой шее, как пузыри, бегут глотательные движения... Чабаны молча смотрят. Наконец Семеныч отрывается от бочонка, тяжело дыша. С раздувающимися ноздрями, с округлившимися глазами он стоит, стараясь прийти в себя.

– Откель бог несет?

– Из-под... Дербента, – слышится хриплый голос, – с железной дороги... с постройки... Ли-

хоманка нутро все выпила... мочи нету...

И он стоит, поворачивая дрожащую голову, переводя дыхание, с мучительным недоумением собрав над переносицей перекосившиеся брови и кожу. Чабаны смотрят на него.

– Далече?

– Воронежский... мне бы теперича... только до города... только бы до города... а там на пароход... почитай, до места... Только бы на пароход... хоть мертвого довезет...

– Ты бы отдохнул, дядя, а то не дойдешь.

– Нет... пойду... лягу – не встану... целый день буду лежать... Знаю себя... перемогусь... лихоманка-то перетрясет... На пароход только бы навалиться... Спасибо, родные!..

– На здоровье, дядя... Теперя прямо иди, прямо по дороге, как ивняк увидишь – тут и река, перевоз, а на той стороне город... Версты с три осталось... А може, кто будет ехать, подвезет... Дай-ка помогу...

Чабан подымает и кладет ему на плечи тулуп и суму.

– Спасибо... простите..с

– Бог простит... Прямо теперича, прямо, не сворачивай...

Собаки сдержанно повизгивают и рычат, потом со всех ног кидаются на повернувшегося спиной Семеныча.

– Цыть... у-у, скаженные!..

Опять зной, опять иссохший полынок, серыми извивами уходящая дорога, горячее небо, курганы, дрожащая даль.

Переставляются распухшие, потрескавшиеся ноги по горячей пыли, переливается в животе вода.

Снова на секунду дорога уходит из-под ног, и черная мертвая полоса на мгновение застилает степь, небо, солнце, но Семеныч борется, борется с этой охватывающей его темнотою и страшным усилием воли заставляет свои глаза смотреть и видеть курганы, трепещущую даль, палящее солнце.

– Го-го-го... Копил, копил... накопил...

Он борется с безумием отчаяния. Никаких гор тут нет, никого нет, только бы до реки, до реки добраться, на пароход, – пускай хоть мертвого довезет к семье...

– Ха-ха-ха... к семье... Была семья... у Семеныча семья кодысь-то была... Опять к нам пришел... Не уйдешь... гляди, кресты-то...

Ничего, ничего... вон овцы, чабаны стоят, – стало быть, в уме... Понимает: маленькими стали – стало быть, отошел...

Он жалобно стонет, стараясь стоном отогнать наплывающий мрак, старается удерживать сознание: осталось две-три версты... Овцы... Пока видит овец – ничего, значит, еще понимает...

И он часто дышит, подымает тяжелые, как свинец, веки, взглядывает на овец, цепляясь за них, как за последнее спасение.

Мгновенно обжигающий озноб на секунду пронизывает все тело, сейчас же уступая место палящему жару, как будто внутри его раскаленная топка.

Недалеко впереди курится пыль, в пыли видна повозка, дуга, лошадь: навстречу едут. Повозка, лошадь, дуга и клуб пыли становятся все меньше и меньше – значит, не навстречу, проезжали мимо, возле него, а он не слышал и не видел, а его могли бы подвезти.

Отчаяние охватывает Семеныча.

– Господи, донеси!..

Измученные ноги все так же идут, сознание мутнеет... На дальнем увале виднеются

овцы, а кругом, куда ни глянешь, все степь, степь и степь...

Семеныч предается воле божией: пробега-ет языком по жестким сухим губам, смотрит, куда бы опуститься на землю, и видит впереди поникший ветвями ивняк.

Семеныч понимает, что это затмение, и оборачивается: далеко-далеко сереют овцы, дрожат верхушки курганов, и все на одном и том же месте, над сторевшей степью, неподвижно стоит блестящее, белое, с округлыми краями облако. Семеныч чувствует свое тело, чувствует идущие ноги.

– Господи, благодарю тебя... – говорит он и из последних сил добирается до ивняка.

Из-за ветвей серебрится и играет широкая река, и в глубине ее колышется опрокинутое небо и одинокое блестящее облако.

– Слава те, господи...

Семеныч тяжело дышит, смотрит на влажную сверкающую поверхность и с трудом ображает: город виден далеко, затянутый голубой дымкой, и сквозь дымку сияют золотыми точками купола. Кругом пусто и тихо. Он сбился и не попал к перевозу.

Молниеносной дрожью пробегает озноб; небо, прибрежный песок, вода, ивняк – все плывет кругом; руки, ноги отваливаются, как избитые. Израсходован последний остаток сил, и неслушающимися, странно ворочающимися пальцами он развязывает тулуп. На минуту он чувствует себя лежащим в полушубке спиной на земле. Острый, пронизывающий озноб мгновенно разбегается жгучими иглами, сменяясь палящим огнем. Он стискивает зубы, напрягает все мышцы до судороги, но и это одеревеневшее, сопротивляющееся страшным сопротивлением тело не в состоянии избавиться от мгновенно пронизывающей дрожи. Он мычит, как животное, – глухо, подавленно, точно ему забили рот чем-то мягким... Кругом все становится черно и мертво, и он теряет представление о времени...

Проступая сквозь мрак, где-то высоко-высоко нестерпимо блестит голубым блеском клочок неба; на мгновение его заслоняют, нависая, ветви ивняка... Опять черно, холодно, пусто... Потом над ним наклоняется что-то молодое, безусое... Что это? У Семеныча голова лопается от страшного напряжения... Это

не небо, не ивняк, не сверкающий, колышущийся воздух... Что это?.. Оно близко-близко наклоняется к лицу, и у него две горящие точки. Они впиваются, пронизывают... Это шакалка ночью ест падаль, и у нее светятся глаза...

Семеныч чувствует легкое щекотание на своей груди, и от этого прикосновения содрогается конвульсивно все его тело, судорогами ведет мышцы, дыбом становятся волосы...

В смертельном ужасе он не закричал, а заревел так, что заволновалось голубое небо, заструился горячий, сверкающий воздух, запрыгало и исчезло близко наклонившееся лицо с светящимися глазами... А он все ревет страшным, нечеловеческим голосом, который заполняет все пространство, всю степь, ревет, как привязанный бык, которого медленно режут тупым ножом.

Но те, кто торопливо отвязывает ловкими пальцами с гайтана на груди пропотелую, пахнущую острым запахом больного тела сумочку, те не слышат этого рева. Они только видят прилипшие к клейким деснам иссохшие губы, оскаленные, подернутые тонкой

слизью зубы, слышат прорывающееся сквозь них с свистящим шипением горячее дыхание; видят неподвижно лежащий за зубами вспухший язык и бессильно распростертое тело... Потом с преступно-радостными лицами оба скрываются в ивняке.

В пути*

I

Назади все так же подымался по горе город массою столпившихся, белевших домиков, крышами, сплошной зеленью садов, серыми, прямыми, спускавшимися по откосу улицами, а над всем, возвышаясь надменно, вырисовывалась на горячем небе симметричная фигура собора, как шапкой покрытая сиявшим куполом, и все так же неся сухой, жгучий, полный едкой пыли, ни на минуту не слабеющий, свистевший в ушах ветер.

Я отер катившийся пот и с ненавистью посмотрел на проклятую машину. Бессловесная вещь покорно стояла, виновато подобрав под себя колесо и прижав уши руля. Хотелось схватить, хлопнуть о землю, чтобы вдребезги разлетелась, и с облегченным сердцем отпра-

виться пешком назад, в город, но вместо этого я встал на подножку, поднялся на подавшееся пружинами седло и нажал педаль.

Велосипед пошел вперед нехотя, с усилием. Приходилось, раскачиваясь всем телом, наваливаться на тяжело и грузно поднимающиеся педали, шаг за шагом завоеывая у ветра пространство. Вся прелесть велосипедной езды, легкость, быстрота, когда он без усилий, точно закусив удила, несется, пожирая сливающуюся серой полосой дорогу, пропадала. Я тащился, как черепаха.

Из-под колес взрывами вырывалась сухая, горячая пыль, ветер, не теряя ни секунды, подхватывал, она неслась назад чудовищным, все разрастающимся закрывающим город облаком.

Такие же колеблющиеся, высокие, дымящиеся облака шли навстречу.

Ближе, ближе.

Уродливо вытягиваясь, наклоняясь, касаясь горячего неба, они неслись по дороге, вдруг охватывая непроглядной, серой, сухой, едкой, набивающейся в нос, в рот, в глаза горячей пылью.

И тогда мутно проступала покачивающаяся лошадиная морда, оглобли, слегка прыгающая по вспотевшим бокам шлея, бегущие по дороге колеса, мотающаяся в повозке из стороны в сторону косматая, серая от пыли, спящая голова. Потом лошадиная морда, дуга, оглобли, колеса, прыгающая шлея пропадают, и по дороге, все так же касаясь мутного неба, уходит огромное, бесформенное, клубящееся, как дым, с наклоненной верхушкой, облако.

И опять я один, и опять, лежа на руле, со свесившейся головой, безнадежно, с отчаянием работаю, точно пудовыми, медленно вращающимися педалями. Так же ясно виднеется город с домами, с церквями, та же скучная спаленная, иссушенная степь с покорным бессилием простирается обнаженная, и ветер, обжигая, несетя над ней без перерыва, без отдыха, с мертвым равнодушием.

Мысль повернуть назад и под ветер быстро и легко вернуться домой чаще и чаще встает в голове, но я подавляю ее. После сборов, проводов, напутствий, когда все вышли на улицу и долго следили, пока я не скрылся за поворотом, — моя печальная, возвращающая-

яся через несколько часов фигура была бы смешна.

Проходит час, два, ноги немеют, согнутая спина деревенеет. Я уже не оборачиваюсь, все равно от города не уедешь!

Наконец больше не могу. Останавливаюсь, слезаю. Свист ветра в спицах, в ушах, в цепи, заглушаемый до того усилиями и ездой, теперь ясно и надоедливо носится тонкой, острой, воющей ноткой, наполняя безлюдную степь. И этот свист и вой вызывают представление зимней вьюги в глухую ночь, когда, надрывая душу, за окном на все голоса носится мертвое пение, но над головой стоит раскаленное солнце и по лицу стекает пот.

Оглядываюсь, и огромное облегчение радостно охватывает: дома, улицы, крыши, сады – все затянулось сизовато-лиловой дымкой, и уже ничего нельзя разобрать в отдельности, только купол собора сияет далекой яркой звездой. И теперь, когда город потонул в лиловой дымке, что-то незнакомое, новое и немножко таинственное, что я, казалось, еще не знал о нем, подернуло его.

Кругом желтеет жнивье, перемежаясь со старой, заброшенной пашней, затянутой серой пылью и сизым полынком. Навстречу несется ветер, шевелится сухой и жесткий бурьянок, и необозримо простирается мутная даль.

Далеко сзади нагоняет понемногу дребезжащая бричка. В дышле бежит пара мотающих головами лошадей. Из-под колес, уносясь назад, тянется клубящееся, разрастающееся облако.

Я еду с усилием, с страданием; лошади бегут споро, и скоро я слышу позади гул и тарахтение расхлябавшегося железа, дребезжание подвешенного ведра и стук копыт.

Не оборачиваясь, с усилием, некоторое время не даю себя обойти, чтобы не попасть в удушливую, клубящуюся сзади пыль, но понемногу сбоку выдвигается окованный конец дышла, пара сытых потных маштаков, согнувшаяся, в пестрядинной рубахе и портках, с потрескавшимися загорелыми ногами, фигура на передке.

Лошади пошли шагом рядом со мной.
– Трудишься, барин?

Не хочется останавливаться и попадать в пыль.

– Ветер встречный, – недовольно бросаю я, не оборачиваясь.

– Трудно, – с убеждением говорит возница, – машина... поверти-кась...

Я стараюсь делать вид, что уж не так-то трудно, и еду, принимая непринужденную позу.

– Потому народ непривышный... слабый народ... Поверти-кась ее. Одно слово – чижолость...

Мне очень хочется выругаться, хотя человек не дает к этому никакого повода.

Он смотрит на мои с судорогой разгибающиеся ноги, дергающееся от напряжения лицо, на педали, в которых, думает, вся тяжесть, и качает головой.

– Ажнык мыло с тебе тикётъ.

Я останавливаюсь и слезаю. Он тоже натягивает вожжи.

– Тьфу!.. Да ты что привязался, черт?

Но я сейчас же жалею вырвавшееся резкое слово. На меня смотрят добрые, уже выцветшие, из-под белобрысых бровей, когда-то го-

лубые глаза, все в складках точно выделанной кожи, голое, безбородое, как у скопца, лицо, открытая, загорелая, покрытая сеткой черных морщин шея и под облупившимся от жары носом белобрысые, объединенные тараканами усы.

– Ветер и жарко, – говорю я извиняющимся тоном.

– Садись, подвезу.

Это так добродушно, бесхитростно, что я молча, не говоря ни слова, взгромоздил велосипед, и бричка покатилась.

На дне тарахтят обструганные дубовые колья, прикрытые мешками из-под хлеба. Неизъяснимое наслаждение охватывает все тело. Я разгибаюсь, протягиваю руки, ноги и лежу неподвижно, подкидываемый тряской, на мягком мешке с мякиной. По сторонам дребезжат высокие, закрывающие степь бока брички.

Из-за прыгающего передка мелькают гнедые, с отметинами ноги, ветер сворачивает на сторону хвосты; прыгают по взмыленному заду шлеи, и смиренно сидят на вспотевших боках с подветренной стороны налипшие серы-

ми кучками мухи. Пропотелая, забитая пылью пестрядинная рубаха, обтягивающая согнутую, с отчетливо выдавшимися позвонками и лопатками спину, мелькает от тряски перед глазами. Над нею прыгают свесившиеся из-под засаленного картуза волосы, до того свалявшиеся, что ветер приподнимает их колтуном, не умея развеять и растрепать.

Сквозь щели бежит назад дорога, клубясь стелющейся из-под копыт и колес пылью. Сзади же бурным ураганом уносятся зловещие чернеющие клубы, пожирая дорогу, степной простор, самое небо.

Мой возница сидит, согнувшись, покачиваясь от тряски, дергая вожжами и не обращая на меня ни малейшего внимания.

Острота усталости проходит.

– Да ты откуда сам?

Возница некоторое время молча показывает согнутую спину, потом, не оборачиваясь, неопределенно мотает головой.

– С плантации.

Я гляжу на него, на его руки, подогнутые под себя ноги.

Бывают лошади: остро выступившие под

кожей ребра, вся во впадинах костлявая морда, измученные глаза, шерсть клоками, избитая, в ранах, спина. Кажется, дорога ей только на живодерку, а она без усталости день и ночь возит кирпичи, бревна, воду, ест труху, пьет протухлую муть – и год, и два, и десять лет.

И у этого человека такая же костлявая худоба, такие же худые, сделавшиеся железными от непрестанной, непосильной, без отдыха и сроку, работы руки и ноги, эта согнувшаяся спина, все это изможденное, изумительно выносливое, грязное, чуть прикрытое тело. Мужичонка, самый обыкновенный мужичонка из центральных губерний.

– Тебя как звать-то?

– Онисим, – не меняя позы, роняет он, и ветер подхватывает и уносит такой же обыкновенный, как и у тысячи других мужиков, голос.

Подвязанное снизу ведро ожесточенно, ни на минуту не смолкая, дребезжит, наполняя всю степь, которая медленно и непрерывно отходит назад, все так же желтея жнивьем или сизая от жесткого, горелого, шевелящегося полынка.

– Это твои лошади, что ли, с бричкой?

Онисим торопливо оборачивается, и я вижу доброе и немножко лукавое, как у скопцов, с объединенными усами лицо, на котором написано величайшее изумление, как будто я сказал огромную глупость.

– Не-е... хозяйские...

И, как бы извиняя мою наивность, добавил:

– В работниках живу.

И вдруг засмеялся.

– Помешшик возле нашего хозяина, так к нему барин приезжал, важнеющий барин, гладкой, белотелой... Так кобылу изделал и сигал через. Сигает, сигает, аж вопреет, да-а... Истинно говорю... для ради моциену, доктора велят, скушно ему, стало быть глиста ссётъ под сердцем... Как же, много трудов примал.

И он смотрит на меня, на велосипед голубыми, смеющимися глазами, от которых во все стороны бегут бесчисленные морщинки.

– Ты сам откуда же будешь?

– Мы – рязанские... Жара!

– Жарко.

Я провел по спекшимся, шуршавшим сухой кожей губам.

– Издалече будете?

– Из города.

– А-а... далече... Тоже трудов примал, жара, сушь, опять же ветер, а ее качай ногами... Небось пить хоцца? А то не хоцца, все нутро палит, – знамо, жара.

Он полез под полсть, под которой тарахтели колья и на которой горой лежали пустые мешки, порылся рукой и вытащил небольшой, кулака в два, арбуз, кусок черного, как земля, с налипшими волосками, хлеба и крохотную желтенькую дыньку-скороспелку.

Арбуз и дыньку нарезал тоненькими ломтиками, хлеб разломил пополам, пустил мотавших головами лошадей шагом, повернулся ко мне лицом, разложил все на пахнувшей лошадиным потом полсти, снял со свалявшегося колтуна засаленный картуз и истово покрестился.

– Ешь, – пододвинул он слегка ко мне.



Таких арбузиков и дынек в эту жару можно съесть штук двадцать, и я жадно гляжу на

влажные, искрящиеся на солнце, розовые ломтики. Некоторое время я креплюсь, – у Онисима ведь это единственный ресурс, но палящая знойная жажда одолевает, – я съедаю один кусок, другой, третий.

Онисим выгрызает одну корочку, вытирает объединенные усы, крестится, надевает картуз, скромно поворачивается ко мне спиной и подгоняет, дергая локтями, лошадей.

– Ты что же, Онисим?

– Спасибо, наелся, ешь сам.

Но я вижу, как двигаются у него под ушами желваки, – он уминает свою половину краюхи.

«Эх, скверно, – думаю я, – ну, да ничего, хорошенько заплачу ему», – и съедаю и арбуз и дыню.

Как пожар, залитый водой, утихает палящая жажда. Мне хочется отблагодарить, сделать ему приятное, и я завожу разговор:

– Что же, семья дома?

– Семейство, – говорит он, не оборачиваясь.

– Большое?

– Сын женатый, дочь замужем, да дома

четверо.

– Хозяйство?

– Какое наше хозяйство... По восьминке на душу, и то накланяешься... Но-о, милаи!..

По-прежнему трюхают лошади, сворачивает им ветер все на одну сторону хвосты и гривы, мухи боязливо липнут с подветренной стороны, немилосердно, с надсадой, стараясь покрыть самое себя, дребезжит ведро, и палит солнце сожженную степь, все так же уныло теряющуюся в мутной дали.

– Из дома-то давно?

Онисим слегка поворачивается, и я вижу вполоборота голое, и не разберешь – молодое, не то старое лицо.

– Третий год, парень, не был дома, – уж забыли и ждать. Наше дело какое, по работникам век... Только што и пожил, как оженили, три годочка.

Онисим совсем поворачивает ко мне от худобы все в складках, точно кто-то нарочно собирал кожу, лицо, подернутое дымкой непроходящей усталости, как у бесменно работающих людей. Лошади пошли шагом.

– Три годочка, а там в солдаты. Ну, из сол-

дат пришел – дети, семейство, есть надо, а хозяйство все в разор, – лошади нетути, семян нетути, вот и пошел по работникам, да двадцать лет и хожу...

Я всматриваюсь. Ему можно дать и тридцать и шестьдесят лет.

– Часто дома бываешь?

– Да года в три, в четыре бываю раз.

И как ему... тебе не пришлось наткнуться на вопрос,-

Чем был бы хуже твой удел,

Когда б ты менее терпел...

Я стараюсь припомнить точно первую строфу и не могу; слова и буквы мелькают черными очертаниями, не сливаясь в целое, и это меня мучит.

Солнце невыносимо жжет затылок. Вдали, темнея, показываются скирды хлеба.

– Тяжело?

– А то не чижало, што ль? Веселости тут никакой нету...

Легкая полуулыбка шевелит его объединенные усы, – улыбка покорности, улыбка созна-

ния, что ничего не переменишь, что так до гроба.

– Живем вот, как в этой степе: ничего не видеть, ничего не слышать. Семья, дети растут, – не видишь, вырастают, уходят, неизвестно для ча и растут... Баба уж старуха; почитай, что и не жил с ней, а тоже ведь люди... Тут-то, на чужой стороне, за все плати, и за бабу плати, а там своя, да не видишь, а деньги, какие выколотишь, зараз плешь в деревню, и толку нету, как в прорву...

«Наткнуться на вопрос... ему... тебе не пришлось... Нет... Ах, боже мой!..»

И я беспокойно, тревожно ищущу слов, как будто от этого зависит моя участь, как будто этим я могу что-то и кому-то облегчить.

– Своим-то домом вот хорошо жить!.. – говорит, оборачиваясь, Онисим, как будто эта мысль пришла ему в голову в первый раз, пришла в первый раз за недосугом, за двадцать лет скитальческой жизни, и выветрившиеся брови вопросительно, добродушно, с удивлением поднялись, казалось, чтобы лучше было меня видеть.

Пролетели грачи. Пронеслись скворцы, меня полет, то густой тучей, то растягиваясь редкой, мелькающей черной сеткой.

В стороне от дороги, по жнивью важно расхаживают гуси, серьезно и внимательно поглядывая по сторонам, клохчет наседка, и за ней катятся серо-желтенькие, пушистые шаррики. Птицы вызывают впечатление жилья, домовитости и вместе заброшенности, одиночества среди пустой степи.

Желтея, широко рассевшись, поднимаются гигантские скирды хлеба, и люди, копошащиеся у их подножия, кажутся маленькими, и ветер носит над ними солому.

– Здорово ночевали... Помогай бог.

– Доброго здоровья... Спасибо.

Огромный детина гоняет потных, отчаянно отбивающихся от мух и хвостом, и ногами, и головой лошадей. Каменные катки прыгают и крутятся за ними по разостланному хлебу.

С завязанными, несмотря на пекло, по самые глаза лицами бабы, с треплющимися юбками, торопливо ворошат и перевертывают взбитую солому, которую вздымает, взъерошивает, как нечесанные волосы, ветер, и тон-

кая золотистая пыль носится, засыпая глаза.

Люди работают быстро, торопливо, не покладая рук, и пот по их почернелым, сожженным лицам ползет грязными струйками.

– Как бы водицы испить?

Лошади стоят, и отчетливее носится визг горячего ветра.

– А во, в бочке... Ванятка, подай ковшик.

Я пью тепловатую, попахивающую жидкость, потом, перекрестившись, пьет Онисим, потом мы трогаем, и скирды, постепенно уменьшаясь, отходят назад. Это такие же скирды, мимо которых Онисим двадцать лет ездит и останавливается, и просит напиться, и опять едет дальше.

– Своим домком люди живут, – говорит Онисим, оборачиваясь, и глаза его с умилением, с любовью смотрят на меня, – из хутора приволокли и гусей, и кур, штоб около зерна кормились.

Он вздыхает и чмокает губами:

– Ну-у, милаи!.. Ветер окаянный, и дует, и дует, а чего дует? Пользы никакой, акромья неприятностей...

Я сижу и думаю. Онисим разговаривает с

лошадьми, с ветром. Потом опять оборачивается.

– Барин, а барин, сколько твоя машина стоит?

– Двести пятьдесят рублей.

Я вижу, как глаза Онисима расширяются, лицо вытягивается, но сейчас же расплывается в широчайшую улыбку.

– Смеёшься...

– Верно. Зачем же мне обманывать?

С минуту белобрысые брови, собравшиеся над переносицей, выражают недоумение, лицо темнеет, он отворачивается, и мы долго едем молча.

– Двести пятьдесят цалковых!

Я слежу, как слепень настойчиво и упорно вьется под брюхом лошади, и та нервно, содрогаясь всеми мускулами, на бегу с ожесточением бьет себя задним копытом, глухо стуча о пыльную дорогу. Хочется отогнать кнутом или вожжой, да лень подыматься и встретить не в свое дело.

– Двести пятьдесят цалковых!.. За дрот, а?.. Хоша бы, скажем, лошадь, али бричка, али железа много было, а то дрот, – ты его давни,

он весь к лешему... да ешшо сам и верти ногами...

Он помолчал.

– Главное, самому вертеть ногами!..

Опять долго едем молча, и дребезжание брички; царит над степью. В этом молчании чудится что-то странное и особенное, чего раньше не было.

Неловко сидеть, давит подвернутую ногу, по которой бегут мурашки, гремит, нестерпимо дребезжа, расхлябавшееся железо, уходит спаленное по серой пахоте жнивье, темнеют издали скирды на токах, палит стоящее надо всем солнце, и ослепительно сверкают части велосипеда.

И нет силы, нет воли поправиться, изменить положение, – все так же сидишь в неудобной позе, все так же касается при тряске, обжигая, накаленное дерево брички, так же прыгают перед глазами пестрядинная рубаха, белеющие мылом шлеи.

– Двести пятьдесят цалковых!.. Да это я хозяином бы стал.

На секунду я вижу эту сожженную, сложенную складками кожу, выветрившиеся

брови, потемневшие, глянувшие на меня глаза. Новое, незнакомое поражает в выражении его лица, в звуке голоса.

Он приподымается и начинает нещадно хлестать лошадей, которые рвутся из постронок, и потревоженные мухи серой беспокойной толпой, едва справляясь с ветром, насилу поспевают. Бричка несется по дороге, подскакивает, прыгает, размашисто качается, наполняя звоном и дребезжанием степь. Потом, почти совсем отвалившись назад, Онисим злобно натягивает, передергивая, вожжи, лошади крутят головами, роняя пену, и идут шагом, и тогда слышно мутное, как и эта даль и небо, пение ветра без слов, без мелодии, без человеческого выражения, но со своим собственным выражением бессмысленности.

Я чувствую, что за этой качающейся от тряски спиной, за колтуном, за картузом, – что там идет работа, беспокойная и тревожная, и с представлением о них у меня уже не вяжется, несмотря на все усилия, представление о загнанной кляче.

Я озираюсь и вижу кругом огромную безлюдную степь. Мы – одни.

Не знаю почему, рассолоделость и расслабленность оставляют меня, я выпрастываю ногу, сажусь удобнее. Неощутимая, невидимая нить иных отношений протягивается между этим человеком и мною.

Является потребность говорить с моим спутником, слышать его голос, нарушить это странное состояние напряжения таинственной, скрытой работы мысли.

– Хозяином, говоришь?

– Как же!.. – живо оборачивается он.

Лицо как будто расправилось, дубленые складки разошлись, из-под выветрившихся бровей горят расширившимися зрачками незнакомые, почти черные глаза.

– Теперя клади: изба – сто цалковых, клетки, амбаришко – шестьдесят, лошаденка, скажем – три красеньких, коровенка, ну – пятнадцать, пара овчишек – пятерка, семян, корму скотине... полная чаша... Век хозяином... Занавозил, вспахал, посеял. Избу-то сам бы срубил, я и топором могу... А то в работниках... все нутро, сила вся тут... двадцать годов... с утра до ночи... по гроб жисти... Не оглянешься – и помирать надо... Вся-то, вся

жисть... Хоша бы продохнуть... вздохнуть бы...

Он говорит страстно, со сдерживаемой злобой к кому-то, кто мешает этому блаженству, и я его не узнаю, точно это был совсем другой человек, а не тот, с которым я встретился несколько часов назад.

Я опускаю глаза, как будто это именно я – виновник того, что человек двадцать лет ездит по горячей, сухой безлюдной степи на чужих лошадях, в чужой бричке, по чужим делам; двадцать лет не знает семьи, не знает дома, детей, работы на себя. И эти тонко сверкающие спицы, эта безделушка, стоящая целой человеческой жизни, разбудили двадцать лет покорно дремавшее чувство горечи и обиды.

«Дам ему два рубля... дам пятерку!..» – решаю я, и мне становится легко и приятно.

«Чем был бы хуже твой удел, когда б ты менее терпел?..» – тонко звенящей фразой стоит у меня в ухе, и я вспоминаю помещика, «сигавшего» через кобылу,

И опять качается и прыгает спина, колтун, шлеи, и нестерпимо звенит ведро, и под брюхом лошади носится слепень.

– Што, барин, каждый день небось мясо жрешь?

Странно, он ничего не сказал особенного. Он сказал, пожалуй, как раз то, о чем я сам себе говорил, но опять шевельнулось странное, даже неосознанное беспокойство, и это назойливое представление, что я – один среди безлюдной степи, над которой носится ветер. Я вдруг почувствовал, чего прежде совсем не ощущал, как оттягивается правый карман с «бульдогом», в барабане которого молча и выжидающе лежат пять пуль.

И я начинаю прислушиваться к своему тревожному состоянию. Где-то около виска стучит мерно и больно. Когда разом открываю глаза, все с секунду кажется кроваво-красным.

«Эге-ге... да это солнечный удар может хватить!..»

– Онисим!..

– А?.. – хрипло вскидывается он, точно его укололи.

На меня глянули красные, налитые, должно быть, от палящего зноя глаза.

Пугливо озираясь, он торопливо сворачи-

вает и едет бездорожно, целиком. Вид глубоких чернеющих следов, оставляемых колесами по пахоте, впивается в сердце уже ясным, сознанным, беспокойным предчувствием, как будто именно в этих колеях было что-то угрожающее, роковое.

– Стой, да ты куда же?..

– Ничаво... ничаво... этта колодезь...

– Что ты врешь?.. Никакого колодца... Стой же, тебе говорят... я слезу... – приподымаюсь я.

– Ничаво... ничаво... все одно... ничаво... – говорит он хриплым, срывающимся голосом, круто сворачивает, почти опрокидывая бричку, и снова выезжает на дорогу.

Опять дергаются локти, звенит ведро, несется из-под колес пыль.

Жадно воспаленными глазами гляжу я в мутную горячую даль, откуда несется сухой, жгучий, пожирающий нас ветер, к которой бегут и никогда не добегут потные, взмыленные лошади, катится и никогда не докатится бричка с звенящим ведром.

Тяжелый, расплавленный свинец медленно, с жестокой необходимостью стекает на го-

лову, переполняет тело сухим, палящим жаром. Губы шуршат поднявшейся кожей. Теперь я уже отчетливо и хорошо знаю, что в этой безлюдной степи, над которой все то же горячее мутное небо, народилось что-то значительное и угрожающее, но какая-то лень, истома мешает мне определить к нему свое отношение, и я отдаюсь надвигающемуся.

– Эх, барин!..

Онисим быстрым движением становится, шатаясь от тряски, на колени, круто сворачивает опять с дороги и начинает бешено гнать лошадей.

И лошади, храпя, с прижатыми ушами, в ужасе несутся, кидая из стороны в сторону гремящую на всю степь бричку.

«От жары сошел с ума!..»

Это заключение производит на меня удивительно успокаивающее действие. В правом ухе сверлит нелепая, тонко звенящая, как комариное пение, фраза: «Наткнулся на вопрос, сигая через кобылу...»

– Да ты куда?.. Дьявол... стой!.. – кричу я чужим, незнакомым мне голосом.

Но бричка, гремя, несется, желтое жнивье

мелькает. Онисим, так же кидаемый в бричке, бросает вожжи, поворачивается, и я ужасаюсь его лицу.

V

– Голубчик!.. Подожди... постой... все сейчас... милый... ты не понимаешь...

Мой хриплый крик сердито глотают железное дребезжание, грохот, стук прыгающей, как взбешенное животное, брички, визг и плач надрывающегося ветра.

– Ай-ай!.. Сто-о...

Вырезываясь на небе, на секунду взлетает тонкий к рукам, утолщающийся к концу дубовый кол, левая половина головы у меня с тупым звуком, как кусок глины, точно отваливается, все на секунду меркнет, я отшатываюсь в угол брички и широко раскрываю глаза. По лицу, щечка, течет теплое и липкое, и я вижу только правым глазом все ту же равнодушную, не принимающую никакого участия в том, что совершается, степь, дымящуюся в стороне дороги, назойливо и нестерпимо ярко блистающий перед самым глазом велосипедный руль.

Я судорожно хватаюсь за него, подымаю,

тяну, за ним тянется рама, передняя вилка, колесо, и сквозь его тонкие, блистающие спицы вижу помертвелое от злобы и отчаяния, с судорожно искривленными бровями лицо и человеческие, полные муки и ужаса, глаза.

И снова с беспощадной, холодной жестокостью на мутном горячем небе поразительно отчетливо, по-прежнему утолщаясь к концу, вырисовывается тяжелый, как железо, дубок.

– Постой... постой... родимый... голубчик!.. – кричу я пронзительной, тонкой фистулой, кричу не Онисиму, а тому, кто сильнее Онисима, сильнее меня, сильнее жалости, разума, сильнее всего, что есть во мне человеческого.

Я кричу с безнадежностью отчаяния, и, подтверждая эту безнадежность, раздается сухой, негромкий, но покрывающий все звуки треск зажатого в моей руке револьвера, мелькает короткий, чуждый дневному свету красный огонь, и вспыхивает, мягко расплываясь, серенький клубочек дыма.

Мгновенно звон и грохот несущейся брички испуганно смолкает, и степь, и небо, и горизонт стремительно валятся. На мгновенье я

вижу круто свернувших, закинувшихся лошадей, запутавшиеся в поднявшихся колесах вожжи. В ту же секунду сухая, горячая земля всей своей тяжестью грохает меня и бричку, и мгновенно все подергивается пустотой молчания и тьмы.

Когда открываю глаз, надо мною разбитою грудой неподвижно высится бричка с остро торчащим обломком дышла. Лошадей нет. Что-то огромное и странное, не похожее ни на один предмет, который я знаю, заслоняет от меня и степь, и небо, и большую часть брички, Я со стоном закрываю глаз, потом опять смотрю.

Босые, черные от загара, потрескавшиеся ноги с грязными, похожими на когти, ногтями, торчмя, прислонившись к кузову брички, глядят в мутное небо. Живот, бока, грудь уродливой тушей неестественно навалились на подвернувшуюся под шею голову.

Я лежу, прикинув щекой к горячей, сухой, колючей земле и, с усилием и болью ворочая и скашивая глаз, беспокойно ищу чего-то, самого важного и главного.

Вот оно.

С потной черной от грязи пестрядиной рубахи каплют в одном месте ровные, одинаковые, как кораллы, капли, и земля жадно их пьет.

Тогда я гляжу в его открытый глаз. Он – голубой, и смотрит на меня, стекля, с бесконечной усталостью и, как бы засыпая, тихонько затягивается желтым, как воск, веком.

И я жалею, что он закроется, и я не смогу больше в него глядеть, и знаю, что мне нельзя шевелиться.

В углу полуспущенного века держится прозрачная капелька, дивясь необозримому, желтеющему простору, опрокинутой среди него телеге, близко лежащим друг возле друга двум людям и равнодушно глядящему с высоты жаркому солнцу. Потом, извиристо растягиваясь, собираясь, тихонько пробирается между складками, которые принимают вид и цвет плохо дубленой кожи овчинного тулупа, расплывается, и солнце блестит в соленой влаге.

И мы неподвижно лежим с ним, и неподвижно остановившееся время, неподвижна степь, небо, только носится мутное пение вет-

ра без слов, без мелодии, без человеческого выражения, но с мертвым выражением бессмысленности.

Наденька*

I

Давно это было. Я только что кончил курс Духительской семинарии и отправился на лето на урок к одному помещику. У меня было два питомца, ребятишки, девяти и одиннадцати лет. Работы с ними было немного: занимались утром; вставали рано, и часам к десяти, к одиннадцати оканчивали занятия; остальная часть дня была в нашем полном распоряжении. Кругом были чудесные леса... Недели через две после приезда я познакомился с семейством священника тамошнего прихода. Красная крыша его дома виднелась из-за деревьев в полуверсте от нас.

Было у попа две дочки. Старшей – восемнадцать лет; у нее уже был жених, молодой семинарист, готовившийся сделаться попом. Младшая, Наденька, шестнадцатилетняя девочка, совсем ребенок. Она только что окончила епархиальное училище, хорошенькая,

наивная, кисейная барышня. Стал я к ним заходить и быстро сошелся со всей семьей, но особенно подружился мы с Наденькой. О любви не было и речи, а просто я был молод, полон сил, она хорошенькая и привлекательная, – вот нас и тянуло друг к другу. Бывало, как только окончатся занятия, я забираю своих питомцев, захожу за Наденькой, ее сестрой и женихом последней, и мы веселой гурьбой отправляемся в лес. Сестра Наденьки обыкновенно отделялась со своим женихом, и они уходили бродить по лесу, держась за руки, улыбаясь друг другу, счастливые и радостные. Ребятишки пропадали в кустах, разыскивая ягоды, птичьи гнезда, и мы оставались с Наденькой вдвоем, собирали орехи. Я взбирался на деревья, чтоб пригнуть ей ветви, ловко перехватывая руками, легко поддерживая на весу свое молодое, гибкое, сильное тело. Мы болтали, смеялись, бегали взапуски... Я просвещал Наденьку, говорил, что женщина должна быть так же развита, как и мужчина, что она должна сознавать себя не только женщиной, но и человеком, что она должна читать серьезные книги, что в Америке жен-

щины бывают адвокатами, докторами. Наденька слушала, с треском разгрызала орехи, гонялась за бабочками, подпрыгивая на ходу и обрывая с высоких ветвей орехи. Я возмущался таким отношением к серьезным вещам, потом лез на дерево, нагибал ветку с орехами или пускался в погоню за мотыльком, схватывал и, осторожно держа за нежные, обсыпанные тонкой пылью крылышки, подавал ей. Моя серьезность, желание принести обществу пользу, проповедование Наденьке необходимости чтения, развития мысли – странно смешивались с беготнёю, шалостями и забавами среди свежей, зеленеющей листвы, среди лесных озер, среди холмов, покрытых орешником, дубом, буком, грабом. Каждый день было одно и то же, но это не только не надоедало, а, наоборот, становилось потребностью, необходимостью.

Вечера я проводил у Наденьки. Поп меня любил, и мы, бывало, по целым часам проводили в ожесточенных спорах.

Я ему излагал теорию изменяемости видов, а поп на меня с яростью нападал; я в свою очередь приходил в раж, и у нас поды-

мался такой шум, что наконец приходила матушка водворять порядок.

– И чего вы кричите? Ты, отец, как маленький, про собак да кошек, – не нашли разговору лучше. А уж вы... никакого у вас почтения к старшим: ведь он – священник и священнический сан носит. Ему вон каждое воскресенье приходится после обедни проповеди говорить. Да и статочное ли дело: не найдет ничего лучше сказать священнику, как про псов... Тьфу, прости ты меня, господи, грешную! И чему только учат у вас, в семинарии? Идите чай пить!

Мы шли на крылечко, спрятавшееся под огромным развесистым каштаном. Солнце стоит совсем над лесом, блестит крест на колокольне, медлительно надвигается лесной вечер со своими запахами, тихими, меланхолическими звуками, с нисходящим покоем, тишиной. На столе кипит огромный вычищенный самовар и возвышаются горы превосходного сдобного хлеба, который матушка сама готовила и то и дело нарезывала на тарелку. Батюшка выпивал четыре огромных эмалированных чашки и расстегивал кафтан

на груди. После восьмой чашки он распоясывал шаровары, перевортывал чашку вверх дном и говорил, отирая катившийся по лицу и волосатой груди пот:

– Будет, мать, ублажила ты меня еси.

Матушка неизменно и строго возражала:

– Ну, чего еще, пей! Воды, что ли, в самоваре нет! Дай-ка чашку!

Отец Семен не возражал и, перегнувшись через свой огромный живот, подвигал к матушке чашку.

– Ин, быть по-твоему, только дай хоть передохнуть.

– То-то вот, передохнуть – про псов да гадов, прости господи, вы без передышки битых три часа говорите.

Я был скромнее и выпивал не более шести стаканов, красный, потный, поедал в огромном количестве сдобную булку, которая так и таяла во рту. Все веяло в этой семье уютностью, покоем и нетронутостью патриархальной жизни. Умывали с глазу, заговаривали зубы, поили наговорной водой от живота, «выливали» испуг.

Наденька не особенно любила читать кни-

ги и читала исключительно только с «хорошим концом»: если героиня выходила замуж за героя или они внезапно богатели, – вообще, когда роман, повесть, рассказ оканчивались счастливо. При всех своих усилиях я не мог ее заставить прочитать классиков. Когда я давал ей Тургенева, она предварительно просматривала конец и преспокойно возвращала книжку, не читая. Не знаю почему, но мне страшно хотелось заставить ее читать классиков, и не столько из желания развивать, сколько из упрямого желания сломить ее сопротивление и настоять на своем.

– Наденька, да ведь ни одна развитая девушка так не поступает...

– А я вот поступаю.

– Но ведь это же круглое невежество... больше того...

– А я не хочу... – упрямо твердила она и, поглядев на сквозившее через орешник и ярко дробившееся под солнечными лучами лесное озеро, добавила: – Я хочу жить и не хочу, даже в книжках, чтоб мне было неприятно... не хочу!

– Но ведь и книги доставляют наслажде-

ние.

– Неправда... не все... Только такие, в которых люди не мучатся...

– Пусть, но разве можно отворачиваться от людских страданий?

– Все равно я не могу помочь.

Как-то в воскресенье, в жаркий полдень, мы сидели у небольшого озера. Крутые песчаные берега, желтея, отражались вместе с поросшим по ним и опрокинутым в воде лесом. Я вытащил «Обломова».

– Вот вам, Наденька, книга, которой вы останетесь совершенно довольны. Кончается здесь все преблагополучно, свадьбой. Читайте.

Наденька недоверчиво перелистала конец и взяла книжку. Я дня три не заходил. Когда пришел, Наденька встретила меня побледневшая. Черные большие глаза ее стали еще больше.

– Зачем вы дали эту книгу?

– Чтоб вы прочитали. Ведь вы знаете, это – замечательная книга, это – классическая вещь.

– Что такое – классическая?

– Ну, это... это... Видите ли, если у народа лучшие произведения литературные, то они называются классическими.

– Ну, я не знаю, классическая или неклассическая, только мне так тяжело было, так тяжело...

– Отчего?.

– Мне жаль Обломова... Он так любил, мучился... бедный... Он, должно быть, очень жирный был... Я не могла оторваться... Я вам больше никогда не буду верить... Хочется бросить, и не могу; мама велит спать, а я потихоньку зажгла восковую свечку и читала.

Она помолчала.

– Не люблю жирных... Я вам теперь никогда не буду верить: вы меня обманули.

– Чем же я вас обманул?

Но Наденьке почему-то теперь неловко было сказать, что она по женитьбе Штольца решила, что во всем романе будет благополучно.

С этого времени я стал таскать ей книги.

Она их читала и, раз начинала читать, уже не отрывалась. Потом вдруг забрасывала, и ее ничем нельзя было заставить снова взяться.

Когда я, с выражением укора, начинал ей выговаривать и убеждать, она с минуту смотрела на меня веселыми глазками, потом встряхивала хорошенькой головкой и убегала вприпрыжку, как коза. Шли дни, недели. Я поставил крест над своей просветительной работой.

Как-то я спустился с огромного вяза в довольно истерзанном виде, куда лазил доставать для Наденьки не оперившихся еще галчат, которых она подержала в сложенных ладонях, погрела дыханием и опять приказала положить на место. Мы шли, покусывая длинные стебли сладких лесных трав.

– Запах от них противный,

– От кого?

– От галчат.

И, подумав, прибавила:

– Они врут.

– Кто?

– Писатели,

Я немного опешил.

– Как врут?

– Обманывают... Так в жизни не бывает.

– Как не бывает?

– Не бывает... Люди живут по-своему, а они пишут по-своему... Неправда... так нельзя написать, как живут...

– Да ведь жизнь-то, как она есть, именно и описывают.

– Нет, мы не так совсем живем... Мы живем очень обыкновенно, а они пишут очень интересно.

– Да и вашу жизнь, если описать, будет интересно.

– Нет, что же тут интересного... Только вот в лесу разве. Папа в прошлом году, в Кривом озере, с работником бреднем поймали огромного рака. Его в спирт посадили.

– И, наконец, вы еще совсем не знаете жизни. Вот переедете в город, с самыми разнообразными людьми будете встречаться...

– Я уже в городе была, шесть лет провела.

– Да ведь в четырех стенах.

– Нет, к нам ходили разные люди, даже архиерей два раза в год приезжал...

И, приложив маленькую ладонь ко рту, она свежим, звонким голосом крикнула:

– О-о-о!..

И из-за тихого озера, из-за лесных полян,

передразнивая и шая, перекинулось несколько таких же шаловливых голосов:

«Оооооо... о!..»

– Знаете, около Волчьего камня эхо семь раз повторяет, а у Марьиной горы – помните, мы с вами были? – так шестнадцать... Правда, что в Петербурге есть здание, где всех уродов в спирт сажают? Я этому не верю.

«Конечно, – думал я, – в той обстановке, в какой живет эта девочка, ничего иного и быть не может». Но меня раздражало не столько ее непонимание всего того, что я ей говорил, сколько упорное нежелание подходить к явлениям жизни и литературы с той стороны, с какой я их открываю, и брать их в том освещении, какое я даю. Писатели, по ее мнению, «врут». В «Отцах и детях» она обращает внимание не на различие мирозерцаний, не на огромную фигуру Базарова, не на ту недюжинную силу, какую он представляет, что я всеми силами стараюсь ей подчеркнуть, а на отдельную черту некоторой внешней жестокости Базарова в отношениях к отцу и матери.

– Я ему этого никогда не прощу.

– Наденька, да ведь не в этом центр тяжести... Ведь...

– Нет уж, для меня папа и мама прежде всего: они самые близкие мне люди. Куда легче стариков обидеть... А он, какой он там разумница, какой сильный ни будь, – мне все равно; я его терпеть не могу.

В оценку всего она вносила что-то свое, с чем не хотела расставаться, упрямо и несколько не боясь и не смущаясь моего раздражения, моих насмешек. Раздраженный этим упорством, я махнул рукой, и мы просто проводили время в прогулках, беготне, шалостях. «Ей же хуже...» – думал я.

II

Кончились каникулы, я уехал. Я отдался целиком общественной жизни, полной тревог. О Наденьке я совершенно забыл, как будто ее совсем не существовало на свете. Не до Наденьки было.

Прошло два года. Как-то зимою приносят письмо. Распечатываю, читаю, – ничего не понимаю. «Приезжайте... очень буду рада... Папа и мама кланяются... Свадьба пятого в нашей церкви... Марусю с мужем скоро переве-

дут в город... Уважающая вас Надежда».

Какая Надежда? Какая свадьба? Какие папаша с мамашей? Перечитываю опять раз десять. Ба!.. Да это Наденька. Да ведь до их села от меня верст двадцать пять. Что-то меня кольнуло. Наденька замуж выходит. Ну, так что ж, мне-то какое дело? И вдруг мне захотелось поехать, повидаться с ней, посетить опять старые места. Я живо собрался, нанял подводу и выехал. Пушистый снег белел на земле, на перилах, на крышах, на верхушках заборов. Белые рыхлые облака быстро и низко бежали нескончаемой вереницей, то и дело роняя снежинки. С горизонта, как широкая завеса, подымалась сплошная белесовато-серая туча, готовившая метель. Снег беззвучно расступался под полозьями.

Деревня осталась позади. Серая пелена расплзлась все шире. Я плотно запахнулся в шубу и привалился к задку. «Зачем я еду? Чего мне нужно? И какое отношение имеет эта свадьба, да и сама Наденька ко всему, что наполняет теперь мою жизнь? И что такое Наденька? – Девочка, наивная, неразвитая, о которой я совершенно забыл, занятый делом

всей моей жизни». Такие мысли пробегали у меня в голове по мере того, как из-под полозьев, из-под копыт убегала назад белая дорога, а лошади по-прежнему однообразно и в такт потряхивали гривами и шлеями. От их спин и боков шел теплый пар. «Ведь жениться я на ней никогда не мог и никогда не женился бы, – это значило бы связать себя по рукам и ногам, отказаться от той жизни, которой я отдавался и которая только и имела для меня смысл. Женщина прежде всего должна быть товарищем. Попробуй говорить с ней, как с товарищем-мужчиной... Если ты прислушиваешься к ее мнениям как к мнениям товарища-мужчины, если с ними практически считаешься, если чувствуешь, что учить тебе ее нечему, – можешь смело протянуть ей руку. Ну, а Наденька?» И мне вспомнилось, как Наденьку отчитывали от головной боли, как она читала предварительно хвосты книг, как она была далека от всех общественных вопросов, как вообще она была наивна и неразвита.

И я, совершенно убежденный, что Наденька для меня отрезанный ломоть, старался пе-

ревести мысль на другой предмет и все воро-
чался, менял положение, то подворачивал
под себя шубу, то вытаскивал, – было неловко
сидеть, что ли, или грызла странная, неосо-
знанная, скрытая тревога. Воздух серел. Сне-
жинки попархивали и ложились, следы ко-
пыт и полозьев быстро пропадали, все кругом
становилось ровным и белым, и белая мель-
кающая пелена застилала впереди горизонт,
синевший лес, дорогу. Я задремал с мыслью,
что может подняться буран, мы собьемся и за-
мерзнем, что нужно спать и что хорошо было
бы умереть незаметно, без страданий, не про-
сыпаясь. Потом долго чувствовал, как перева-
ливался в санях на ухабах, как мороженая ту-
ша, и наконец услышал:

– Милости просим... милости просим... По-
жалуйте, пожалуйте!

Я открыл глаза. Лошади стояли, понутив
головы. Гривы, хвосты, спины белели от густо
валившего хлопьями снега. Около лошади-
ных ног и полозьев быстро росли сугробы.

На крыльце в одной рясе, с непокрытой го-
ловой и особенно красным лицом и блестя-
щими глазами, стоял о. Семен и звал меня.

Снег крутился над крыльцом, падал ему на плечи, на голову, обтаивая, сбегал по красному, разгоряченному лицу, но о. Семен как будто ничего не замечал.

– Слышу – бубенчики. Дай, выйду, гляну, кто приехал.

Я вылез из саней, отряхая насевший на меня целыми пластами снег, и взошел на крыльцо. Отец Семен заключил меня в объятия.

– Ну, спасибо, спасибо, что приехал! Пойдем, пойдем, – с дороги-то погреться надо.

В небольшой жарко, натопленной комнате было много народу. Пахло вином, жареным и еще чем-то. Было несколько священников в серых и черных рясах, две-три девицы с птичьими физиономиями в белых кисейных платьях и матушки в старомодных шелковых платьях, лентах и с лицами, на которых было написано, что все, что было суждено свершить им в жизни, матушки уже свершили. Матушка-попадья, хозяйка дома, встретила меня нельзя сказать, чтоб приветливо, нельзя сказать, чтоб и недружелюбно: ей было безразлично, нахожусь ли я в числе гостей, или

нет. Когда я поздоровался со всеми, я увидел Наденьку в белом платье, розовую, молодую, с ямочками на щеках, глядевшую на меня своими большими, с синими белками, глазами. Какая-то острая, мгновенная и радостная боль кольнула мне сердце. Она радостно протянула руки.

– Как хорошо вы сделали, что приехали!.. Я все думала о вас...

Мы сидели с Наденькой в уголке, беседовали, смеялись. Я не спускал с нее глаз, рассказывал о своей жизни за эти два года, припоминал разные эпизоды того лета, которое мы провели здесь вместе. Ее белая фигурка с еще неразвитыми, почти полудетскими формами придавала, казалось, этой обстановке, этим людям особенный смысл и значение. Среди расплывшихся, с обрюзгшими лицами матушек, шуршавших шелковыми, неуклюже сидевшими на них платьями, среди черных и серых ряс батюшек, на лицах которых была написана та же проза жизни, – она казалась фантастическим белым пятном. Когда она подымалась, подходила к столу, наклонялась и потом возвращалась ко мне легкой деви-

чьей походкой, я следил за ней, и сердце у меня билось. Начались танцы. Волостной пирсарь, хромой и раскосый, но искусный гармонист, сел в угол, многозначительно, сознавая свое особенное здесь положение, поправился на стуле и, открыв «холостой» клапан, быстро растянул гармонию, и она с хриплым шумом набрала в себя воздух. Гармонист хитро перебирал клапаны, и в небольшой, тесной и жарко натопленной комнате игриво пробежали, переплетаясь, характерные звуки гармонии, напоминая трактир или улицу. Танцевали польку, кадрили. В окна глядела ночь, и мутно белела метель. На столах появились новые графины наливок взамен опустевших. Лица у батюшек и матушек были красны, лоснились. Стоял говор, смех, звон рюмок, стук ножей, вилок.

– А что это отца Николая нет? – провозгласил о. Семен.

– Уж не заблудился ли?

И все посмотрели в угрюмые, смутно белевшие окна. На минуту разговор пресекся, и наступила тишина – потом застучали вилки, ножи, зазвенели рюмки, и в комнате по-

прежнему было шумно и жарко. Я все время был с Наденькой. Мы много с ней танцевали, смеялись, говорили, болтали обо всем и ни одним словом не коснулись предстоящей свадьбы.

И теперь, после возгласа о. Семена, я впервые спросил:

– Наденька, да кто же ваш жених?

– Сын отца Николая... Его приход соседний с нашим, верст семь... Он семинарию кончил... Сергей Николаевич Боготянов...

– А вы его хорошо знаете?

Наденька посмотрела на меня своими милыми глазами:

– Нет.

– Как же так?

– Я совсем не знаю... Он приезжал к нам два раза. Папа его отца знает.

Я вскочил.

– Как же так?.. Как же вы выходите за человека, которого совершенно не знаете?

Наденька продолжала смотреть на меня, все такая же милая и наивная.

– Да ведь он может погубить вашу жизнь! Ведь это навсегда, поймите!.. Ну, если он ока-

жется грубым, испорченным, злым, мелочным человеком, – вся жизнь, вся ваша жизнь погублена: ведь возврата уже не будет... Это в старину отдавали, не спрашивая согласия девушек, – просто, как товар, сдавали купцу – и баста, а теперь не то время... Наденька!..

– Да... я не знаю... Папа говорит – он хороший.

– Да что папа!.. Жить-то не папе, а вам.

Время шло. Старинные часы хрипло пробили, и кукушка, высунувшись, прокуковала восемь. Закусывали, выпивали, два раза принимались за чай, а жениха нет. То один, то другой батюшка выходил на крыльцо и возвращался с волосами и с рясой, белевшими от снега.

– Господи, да что же это такое! – бессильно разводя руками, проговорила матушка-попадья. – Обещались к двум часам, в четыре свадьба, но вот и восемь, а их нет.

– В позапрошлом году я ехал вот так же зимою из Савихина. Стало порошить, потом снег пошел, – проговорил о. Ардальон, поправляя наперсный крест. – Я вижу, мой Антип вправо все забирает. Нет, думаю, собьем-

ся, пропадем. «Держи, говорю, левее, держи левее!» Да. Вечереть стало, дороги нету, темь – вот как сегодня. Антип и говорит: «Батюшка, смерть идет». – «Ну, что ж, говорю, господь посылает, его святая воля». Да. Вот стали лошади, не идут. Вылез Антип, стал шарить ногами – стог. К стогу прибились, так до утра простояли. Утром глядим, а Савихино вот, рукой подать. Да.

– Не дай, господи, теперь заблудиться, – прямо погибель.

В комнате воцарилось томительное ожидание. Все поглядывали в тускло белевшие окна. Кукушка прокуковала девять.

– А может, отказались?

И это чье-то предположение точно сдернуло покрывало с того, что таилось, давно должно было обнаружиться и только теперь обнаружилось. По уголкам стали шушукаться, веселье и непринужденность пропали, точно спугнутые. Все ходили с растерянными лицами.

– Господи, да что же это такое? – говорила матушка с растерянным лицом. – Звонить бы в колокола...

– Что звонить? Ветер-то от них, – все одно не услышат.

– Наденька, пойдите к бабушке! – шепнул я.

Мы незаметно выбрались из комнаты и по темной лестнице пробрались в мезонин, где жила Наденькина прабабушка, бабка о. Семёна, глухая, плохо видевшая, доживавшая свой век, не вставая с кресла, девяностосемилетняя старуха. Она закивала головой и зашамкала беззубым, вечно улыбавшимся улыбкой старости ртом, когда увидела свою любимицу. Мы поместились позади ее кресла.

– Наденька, – проговорил я, – вы... выйдете за меня замуж?

Она широко раскрыла глаза и вся зарделась.

– Да ведь как же?.. Я уже просватана.

– Вы ему откажите... Вы его любите?

Она опустила глазки.

– Нет.

– А меня?

Горячая краска побежала по лицу, по шее, по маленьким ушкам; она стала, как пион, и, мне показалось, готова была расплакаться.

Потом подняла милые, сиявшие глазки и улыбнулась.

– Вы мне нравитесь...

– Наденька... дорогая!..

И, наклонившись к прабабушке, я крикнул ей на

– Милая бабушка, как я вас люблю!..

Прабабушка, покачивая трясущейся головой, прошамкала:

– Да, да... лампадку надо вправить... догорит... Ночи-то зимние длинные... Мой-то покойник раз... метель была...

Я крепко поцеловал Наденьку, и мы с ней полетели стремглав по узкой, крутой, темной лестнице, держась за руки и каждую секунду рискуя сломить себе головы.

Внизу, в зале, стояла все та же растерянность, и ни звон рюмок, ни стук ножей и вилок, ни стоявший в табачном дыму говор не могли ее стереть. Говорили о требах, о прошлогоднем урожае, о соседнем помещике, но все думали об одном:

«Не приехал... не приехал...»

И все так же слепо глядели, предвещая недоброе, белесые занесенные окна. Я подо-

шел к о. Семену и проговорил:

– Отец Семен, отдайте Наденьку за меня!

– А?.. – хрипло переспросил о. Семен.

– Отдайте за меня Наденьку... дочь вашу...

Надежду Семеновну... Я люблю... мы любим...

Я... отец Семен...

Я проглотил слюну.

Отец Семен отодвинулся и протянул, защищаясь, руки. Сидевший с ним благочинный, седенький маленький старичок, не успел положить в раскрытый, приготовившийся рот вздетый на вилку скользкий моченый гриб, с которого капало. Дьякон о. Варсонофий втянул огромную лохматую голову в плечи и, расставив ноги, казалось, хотел поддержать своей богатырской фигурой готовившийся рухнуть на всех потолок; а писарь, растянув гармонию и хитро скосив глаза, с выражением, что он во всей этой истории – сторона, открыл на всякий случай «холостой» клапан, чтоб инструмент как-нибудь сам не заиграл. Шуршавший все время шелк матушкиных платьев теперь не издавал ни звука, как будто это был самый обыкновенный, простой ситец. Я чувствовал, как ползет и у меня по лбу

крупная горячая капля пота. Она проползла, зацепившись на минутку в бровях, заглянула в глаза, скользнула по носу, пробралась в усах и попала, соленая, в рот. Я не спускал глаз с толстой, все больше и больше багровевшей шеи о. Семена. Унылое пение вьюги, носившееся за матово-белым окном, предвещало что-то никому не ведомое.

– Ха-хха-ххха-хха!.. – расхохотался о. Семен.

– Хе-хе-хе!.. – смеялся коротким старческим смешком о. благочинный, уронив с вилки плюхнувшийся на пол гриб.

Отец дьякон шагнул, наступил на гриб, поскользнулся, и вся его дюжая фигура пошатнулась; он грузно сел на заскрипевший, подавшийся под ним стул.

– Братие, друг друга обымем!.. Ххо-хо-хо!..

И от его здоровенного, наполнявшего весь дом хохота становилось тесно в маленькой накуренной, заставленной комнатке, и казалось, действительно готов был надломиться нависший потолок. Снова зашуршал шелк; попадьи, не слушая и перебивая друг друга, заговорили все разом и на все голоса. Пот лил с меня градом.

– А?! Слыхали?..

– Ни у человека стыда... ни совести...

– И чему только их учат?..

– Да недаром, бывало, как сойдутся с отцом Семеном, сейчас про кошек да про собак... Другого и разговору не было...

Писарь, мотая головой и с вожделением закрыв глаза и «холостой» клапан, заливался: «По улице мостовой...»

– Ну, мать, исполать тебе за наливку... только больше не давай ему – пусть поспит... Иди поспи!.. – говорил о Семен, легонько подталкивая меня к своей спальне.

Я вытер пот, весь красный от волнения и злобы.

– Отец Семен, вы... губите дочь... на всю жизнь... не отмолите этого греха... будете каяться, да поздно... Поймите, она его не любит... Что за жизнь у них будет?..

– Ты учить меня!..

– Да что ты его слушаешь? – вступилась опять матушка. – Мы гостям рады, а для смутьянов у нас в домишке тесно, не прогневайтесь... Тридцать лет прожили не по правилу, стало быть?.. Машеньку отдали на погибель,

стало быть?.. А ее теперь вон рукой не достанешь: каждое воскресенье в городе бывает, тарантас-то полтора ста рублей плочен, в комнатах какой только мебели нету!.. Отец-то Михаил тысячи полторы верного дохода получает – даром что молодой... Слава тебе господи, своим умом жили, к соседям не ходили занимать... Статочное ли дело – Надюше слушать такие речи!..

– Отец Семен, – проговорил я решительно, – вы должны отдать за меня Наденьку... Ведь она ребенок, она не понимает, неужто нужна ее гибель?.. Да, наконец, – отчеканил я громко и глядя ему прямо в глаза, – Боготяновы ведь отказались.

Снова наступила на мгновение тишина, и писарь нажал «холостой» клапан.

– А? – переспросил о. Семен мгновенно охрипшим голосом.

– Отказались, ясно: всего семь верст, дорога лесом, сбиться никак нельзя, если бы даже и хотел. Прождете до завтрашнего дня, да так ни с чем и останетесь.

Отец Семен взъерошил волосы.

– Отказались!..

То, что было только предположением, вдруг сделалось для всех ясным, отчетливым и очевидным: семь верст, дорога лесом, сбиться никак нельзя.

– Господи, да что же это такое?..

– В колокола бы звонить: ветер, никак, переменялся.

– Теперь и в колокола не поможешь...

Рюмки, тарелки, графины, бутылки, шелковые платья, вся праздничная обстановка – все теперь казалось не к месту, ненужным, оскорбительным. Гости не знали, как сесть, как держать себя, что говорить. Писарь беззвучно сдвинул гармонию, разостлал платок и аккуратно завязал. Отец дьякон слегка откашлялся октавой, рюмки легонько зазвенели, но ничего не сказал. Благочинный жевал беззубым ртом, помогая себе бровями. Кукушка прокуковала десять.

Отец Семен выпил подряд три больших рюмки наливки и прошелся по комнате.

«Кондрашка хватит...» – думал я, глядя на его багровую шею и вздувшиеся жилы.

– Не позволю! – загремел он, останавливаясь и глядя красными, как мясо, глазами. –

Все снесу с покорностью, а насмехаться над своими сединами не позволю... Не покорюсь!

Он достал красный фуляровый платок, развернул, посмотрел в него и опять спрятал.

– Не позволю!.. Не допущу на поношение честного имени своего...

И, как бы вспомнив о чем-то, быстро снова достал платок, ущемил нос и потаскал его из стороны в сторону.

– Фу-у!.. вот жарко!.. – раздался голос одной из матушек, с самыми добрыми намерениями, видимо, желавшей смягчить напряженность настроения.

– Не позволю... не допущу!..

Отец Семен подошел к угольнику, налил дрожавшей рукой из потускневшего от времени графина огромную кружку воды и залпом выпил. Потом пригладил волосы, поправил бородку и, обернувшись ко мне, провозгласил торжественно:

– Ин быть по-твоему! Надежда, люб он тебе?

Наденька опустила глазки и вся зарделась. Попадья всплеснула руками.

– Да никак вы все тут белены объелись?..

Отец, да ты перекрестись!

– Обедню, мать, сегодня служил...

– Э... э... отец Семен... не тово... не надо... не тово... – говорил старческим, слегка дрожавшим голосом о. благочинный, укоризненно качая головой и перекладывая с одной щеки на другую еще не совсем прожеванный гриб.

– Возрадуемся, братие, и возликуем, сказано бо в писании: «Не подобает человеку быть единому»... – загудела, отдаваясь у всех в животе, глубокая октава дьякона. – Любят друг друга, – ну, совет и любовь... Да оно, как видно, те-то и не приедут...

– Дети, идите, благословлю вас.

Попадья бросилась к о. Семену и повисла у него на шее.

– Ни-ни за что!.. Да что это!! Да посмотрите вы на него...

– Мать, оставь... я знаю... – говорил о. Семен, отмахиваясь от попадья. – Я все знаю и насмешки не потерплю...

– Ну, нет... нет... моего благословения...

Все гости распались на две партии; одна, большая, включавшая всех матушек с благочинным во главе, стала за хозяйку; другая,

меньшая, с о. дьяконом – за о. Семена. Поднялся такой шум и крик, что хоть святых вон носи.

Матушки с хозяйкой во главе, со злыми лицами, выкрикивая и размахивая руками, разбирали меня, нисколько не стесняясь моим присутствием, по косточкам: и нос у меня башмаком, и росту я небольшого, и не священнического роду, и в карманах сквозной ветер. Но и о. Семен с дьяконом не уступали и мужественно выдерживали, резонно отмечая, что хотя у меня нос действительно башмаком, но ведь Наденьке не с носом жить, и хотя я мал ростом, но не даром говорится: «Мал золотник, да дорог», и что, как человек образованный и понимающий, я всегда могу удостоиться священнического сана; наконец, если и возникают некоторые сомнения насчет моих карманов, так ведь у меня добрая голова на плечах и пара здоровых рук. Впрочем, не столько доводы, сколько рыкающая, потрясающая октава дьякона, наполнявшая всю комнату и беспощадно давившая визгливые голоса матушек – стала клонить победу на мою сторону. Кукушка прокуковала одиннадцать,

потом незаметно двенадцать, – и я с радостью видел, что обе стороны утомлены и за взаимным истощением и поздним временем вопрос сам собою решается в мою пользу.

– Ну, иди ко мне, сын мой! – растроганно проговорил о. Семен, обращаясь ко мне.

Матушка-попадья махнула рукой. Гости покорились горькой участи.

Я подошел. Отец Семен положил мне обе руки.

– Будьте счастливы, дети!.. Да благословит господь бог и да приумножит потомство ваше... А я тебя, брат, давно люблю...

Отец Семен всхлипнул и потянул ко мне из-под мокрых усов губы. Как раз отворилась дверь, в переднюю пахнуло холодом, несколько снежинок влетели и испуганно закружились. На пороге стоял человек, до самых глаз закутанный и густо белевший снегом. За ним выглядывал другой, такой же закутанный и занесенный. Все ахнули:

– Отец Николай!..

Отец Семен подобрал губы, не успев меня поцеловать, и бросился к вошедшим.

– Отец Николай!.. Сережа!.. Вот не жда-

ли-то... А мы уже думали – вас засыпало.

– Не засыпало, – сиповатым с холоду голо- сом сказал о. Николай, разматывая с шеи бес- конечный шарф, – не засыпало, а подъезжаем мы сюда к вам еще днем, осталось версты полторы, поперек дороги – заяц стреканул, только ноги задние подкинул. Э, говорю, стой, не за малым делом едем, – ворота, говорю, на- зад. Заяц перебежал – скверно. Этак всю жизнь можно испортить молодым. Поворотили, до ночи дома пробыли, то да се, – в ночь и выехали, дорога тяжелая... А где же невестуш- ка?

И о. Николай, помолившись и потирая с холоду руки, облобызался с о. Семеном, с ма- тушкой, со всеми гостями. Таким же поряд- ком, помолившись предварительно и так же потирая руки, облобызался со всеми молодой человек с птичьим веснушчатым лицом и по- дозрительно щупающими всех, недоверчивы- ми глазами. Все суетились около новопри- бывших, меня никто же замечал, как не заме- чали тесноты, духоты в комнате, позднего времени, вьюги за окном. Как я ни бесился, как ни настаивал перед о. Семеном, от меня

только отмахивались добродушно и незлобиво:

– Ну, отстань!.. Будет... фу!.. Да погоди!..

Я бросился искать Наденьку, но она куда-то исчезла, как только приехал о. Николай. Чувствовалось, что колесо, на минуту выскользнувшее из колеи, снова вскочило на место и покатилося ровно и без помех.

Я уехал.

III

С полгода при воспоминании о Наденьке сердце начинало щемить. Но время взяло свое, – я совершенно потерял ее из виду и забыл. Незаметно ушли пять лет.

В пасмурный осенний день я провожал приятеля на вокзал. Вдоль платформы тянулся нескончаемый воинский поезд. Солдатики бегали взад и вперед, таскали в вагоны мешки, пожитки, ранцы, амуницию. Офицеры распоряжались или стояли группами, беседовали. В стороне выделялись сестры милосердия, с нашитыми красными крестами, фельдшера, врачи. Мы проходили возле, разговаривая.

– Алексей Николаевич!..

Я быстро обернулся. Стройная фигура, вся в черном, резко выделялась среди сестер. С матово-строгого лица на меня глянули черные, гордые глаза. Такой одухотворенной, такой благородной красоты я не встречал. Я секунду стоял в оцепенении. Милая знакомая улыбка озарила ее лицо.

– Не ожидали встретить?

– Надень... Надежда Семеновна!.. Куда вы?.. Как?.. Откуда?.. Зачем?.. – засыпал я ее наконец. – Кого провожаете?..

– Никого не провожаю... еду с ними... – И она, слегка повернув голову, кивнула в сторону солдат.

– Куда?.. В качестве кого?

– На место военных действий, сестрой милосердия. Тут я заметил нашитый у нее на груди крест.

– А ваш муж?

Ее лицо было спокойно, холодно.

– Я уезжаю одна... Мы расстались.

– Боже мой... я так вас давно не видел...

Вы... так...

Пошлое слово «похорошели», «стали красавицей» не шло с языка.

– ...изменились.

– Постарела?

Та же милая улыбка чуть тронула строгое лицо, блеснула в глазах.

– Да нет же... Мне кажется, я вас целую жизнь не видел...

– Да... целая жизнь...

Ноздри тонко вырезанного, с горбинкой, носа чуть-чуть раздулись, выражение упрямой воли, выражение силы и решимости легло по строгим, классическим чертам, и она, слегка прищурив глаза, с минуту глядела на мокрые, тускло блестящие и пропадавшие в сырой, ослизлой серой мгле рельсы.

– Пойдемте!..

Мы пошли в дальний конец платформы, куда не доходила стоявшая у вагонов сутолока.

– Ну, рассказывайте же, рассказывайте!.. Ведь пять лет – не маленький срок... – говорил я, в сотый раз спрашивая себя; «Да неужели же это – Наденька, прежняя Наденька, хорошенькая, наивная, с ямочками, читавшая хвосты книг?»

Она говорила спокойно, уверенно, легко,

без усилий подыскивая выражения.

Она ничего не говорила о своей жизни, но за гордым молчанием чувствовалась борьба, тяжелая, упорная, не знающая пощады.

Раз только вырвалось у нее:

– Конечно, не об этой работе я думаю... Я еду сестрой, чтобы легализироваться. Этой ценой только я могла вырвать у мужа отдельный вид, иначе он бы доставил меня назад этапом... Он ведь ни перед чем не останавливается...

Она помолчала.

– Вот ворочусь, еще поработаем с вами...

И мы ходили по платформе, и этот вокзал, поезд, набивающиеся в него серые фигуры, важные офицеры, железнодорожники в форменных шапках – все это казалось маленьким, игрушечным, ненужным. Вспоминали прошлое, говорили о текущей литературе, об общественных фактах последнего времени. Человек, очевидно, много читал, думал, страдал. Я не знаю, как сложилась ее жизнь, но эти пять лет прошли для нее не даром.

И мне вспомнились белеющие кругом поля, зубчатая синева леса, попархивающие

снежинки, медлительно надвигающаяся, ис-
сера-белесая завеса начинающейся метели.
«Если ты прислушиваешься к ее мнениям,
как к мнениям товарища-мужчины, если с
ними практически считаешься, если чувству-
ешь, что учить тебе ее нечему, – смело протя-
ни ей руку»... Да, да смело протяни ей руку...
И я чувствовал грузные, мерные размахи са-
ней, и скрывающиеся в колеблющейся снеж-
ной пелене синие зубцы леса, и неодолимо
навеваемую качкой сонливость, и возглас о.
Семена: «Милости просим... милости про-
сим...» И мне мучительно хотелось проснуть-
ся и чтобы все началось сызнова. Но кругом
была мокрая, грязная платформа, солдаты,
офицеры, вагоны, кондуктора, садившаяся на
все сырая серая холодная мгла, и эта женщи-
на, гордая, сильная, учить которую, я чувство-
вал, мне было нечему.

Кто-то, насмешливо перекосив костлявое
лицо, беззвучно шептал в самое ухо: «Не уга-
дал... не угадал...» Я продолжал слушать и го-
ворить, и сердце щемили неотпускающая
боль, тоска, раскаяние, сожаление невозвра-
тимой потери; я боялся, что сквозь стиснутые

зубы вырвется стон отчаяния.

Не знаю, может быть, я не был бы с нею счастлив... Да и что ж, я уж почти старик, семья, жена, люблю ее, да и давно это было, но каждый раз, как в душе выступает этот гордый обаятельный образ, где-то в глубине, как червь, начинает сосать та далекая, казалось покрытая уже давностью, боль...

Вечеринка*

Было шумно, весело, людно. Сидели тесно вокруг длинного стола за ослепительной скатертью человек двадцать. Висячая столовая и стенные лампы широко и ярко заливали светом. В рюмках беспрерывно колебалось и искрилось вино. Приглашенный из клуба лакей во фраке, в белом, с огромным вырезом жилете, в нитяных перчатках, с прилизанными напусками на височках, подавал с особенным шиком и ловкостью. И говор, как и свет, наполнял весь зал, и сквозь него с усилием прорывался стук ножей, вилок, звон рюмок.

Хозяин, молодой учитель гимназии, с лицом именинника, поворачиваясь то в ту, то в

другую сторону, бегая глазами по тарелкам гостей, непрерывно, без устали улыбаясь, подливал вино в рюмки и напрягал все силы, чтобы гости как можно больше наелись, напились, чтобы они тоже непрерывно улыбались, смеялись и говорили.

Когда у всех лица стали слегка влажными и глаза заискрились, как и вино, – начали говорить речи. После речей пили, потом опять говорили, ели и опять пили. Когда съели мороженое и пирожное, а за пирожным поели виноград, яблоки и груши, – все, чувствуя, как отяжелели и раздались стесненные платьем желудки, захотели встать из-за стола, еще недавно блиставшего, приятного, привлекательного, со стройно расставленной посудой, неначатыми бутылками, а теперь залитого вином, со сдвинутыми тарелками, с недоеденными на них остатками, недопитым в рюмках вином. Всем хотелось поскорее отделаться от этого места.

– Алексей Павлыч... можно?

– Прошу... прошу... господа... – заторопился хозяин. – Прошу в гостиную, в кабинет...

Все разом задвигали стульями, зашаркали,

стали расходиться, закуривать и наполнять комнаты синим слоистым дымом. Разбились на группы.

Молодой доктор, с обыденным, как будто бы всегда готовым на добрую, приветливую для всех улыбку лицом, и его товарищ по университету, заведующий редакцией местной газеты, весь обросший бородой, со свесившимися на самые глаза бровями, сели к сторонке за круглый столик, где стояла бутылка и две высокие рюмки.

– Да-а, – проговорил доктор, держа в руках рюмку, подняв брови, задумчиво глядя перед собой и не видя ни говорящих, курящих товарищей, ни яркого освещения, ни сизого, стоявшего везде табачного дыма.

Выражение обыденности, то выражение, которое каждый носит каждый день и для всех, которое привычно и неизбежно, как повседневный костюм, улыбка, которою каждый улыбается всем и всегда, – сбежали с лица. Что-то, что было за этой повседневной улыбкой, за этим привычным для всех лицом, что человек носит бессознательно скрытое в тайниках души, – теперь всплыло, как

всплывает в весенний разлив тело утонувшего человека.

– Ты говоришь, что я заелся, что я неблагодарная свинья... Да... это, пожалуй, правда. Что мне? Тридцать лет, любим, люблю, сын чудесный, дело из рук не валится, – чего мне?.. Да...

Он задумался и провел ладонью по лицу со лба и глаз,

– Это, брат, все оттого... – заговорил собеседник, наливая себе и ему вина, – все, брат, оттого...

– И я все-таки должен сказать... – проговорил доктор, перебивая и не слушая, – я должен сказать... ну, не то, что я несчастлив... Боже мой, я до свинства счастлив... А вот червоточина... не червоточина даже, а вот, как отломится иногда тонкий-тонкий конец иглы, самое жало, его и не заметишь даже глазом и не слышишь, что он – в теле; а вот подавишь иногда нечаянно совершенно, вдруг кольнет – слабо, незаметно, тонко-тонко, а все-таки кольнет... Вот и у меня... Знаешь ведь жену... я без ума от нее... Это само счастье...

Брови у собеседника опустились еще ни-

же, – он смотрел перед собой сощуренными глазами, и доктор, принимая это за подтверждение того, что он говорил, взял рюмку. Они выпили и опять поставили. И, заглядывая в нахмуренные и опущенные глаза, доктор сказал:

– Вот и у меня... Меня вдруг иногда начинает беспокоить этот отломившийся кончик иглы... Это, как тебе сказать? – повторяемость. Понимаешь ли, как это выразить: я ласкаю, целую жену, – но ведь это уж было, это было... Ведь первые горячие, стыдливые, девственные, молодые ласки я ведь уже отдал женщине, другим женщинам, и в каждом поцелуе я слышу: «А те?» При всей силе страсти, любви, я слышу: «Но ведь это уже было, это – копия, повторение того, что уже было, прошло и никогда не вернется, когда ты был молод, когда ты был чист»... Как хочешь – смейся или думай, что я выпил лишнее, но это, как отраву, вливается во все мои радости, как отраву, по каплям незаметно, бессознательно, бессмысленно... Это даже не голос, это – ощущение, ощущение повторяемости... Я ласкаю ребенка, – а те дети?.. Да, да, да, дети, мои де-

ти... У меня уже был первенец, и теперь, когда я имею ребенка от любимой женщины... понимаешь ли, от любимой, – я лишен этой остроты новизны счастья... Ведь это уже не первенец, это было... я забыл о первом... Кажется, память самая вытравилась... Новые наслоения, новое счастье, дела, заботы, неудачи, радости, – и вот когда наклоняешься и берешь своего ребенка, точно где-то глубоко сидящий, отломившийся тонкий шип колет, беспокоит... Не долг перед ними, перед теми, перед прежними-то меня мучит, не участь, не судьба их... Они обеспечены, их любят, у них – отец и мать... да, да... Ну, что ж, тут уж ничего не поделаешь: того, что было, не переделаешь... Не это, а то, что у меня-то в жизни, мои-то отношения к ребенку, к моему ребенку, эти отношения – повторяемость... Это – тоже уже было, и это прошлое, уже забытое, уже ушедшее назад, оно дает о себе знать, напоминая, что оно все-таки было... Я-то, лаская своего ребенка, в поцелуе жены слышу, что эти ласки, эти поцелуи, эти порывы сердца уже отдавались кому-то, точно мимоходом, как будто это было не на самом деле, не по-настоящему, не

всерьез, а так себе, пока. А теперь то, что было, оказывается, было на самом деле, а не нарочно, и оно оставило после себя тонкое жало мести – ощущение, что теперешнее мое счастье, которое кажется настоящим, именно таким, каким должно быть, что это – повторение.

Он вздохнул, помолчал и проговорил:
– Выпьем!

Они налили опять,

*Мно-ого не-есен слыха-ал
Я-а-а в ра-адн-ой сто-ро-не-е...*

Покрывая говор, шелест платья, звон рюмок, шарканье ног, покрывая смех и возгласы, выростал в накуренном, душном, ярко освещенном воздухе особенный, казалось, отличавшийся ото всех говоривших тут голосов баритональный голос, отличавшийся не только тембром и силой, но и тем, что запел эту песню.

И всем представлялась эта огромная и печальная страна, над которой из всех песен только одна западает в душу и уныло звучит из края в край. И всем вспомнилась моло-

дось, студенчество и то, что они пели тогда эту же песню с молодыми свежими лицами, молодыми, свежими голосами, с молодыми, нетронутыми еще надеждами, и что все это далеко и уже никогда не вернется, и теперь они помяты жизнью, лица износились, черты заострились. И все подходили и, кто как мог, впопад и невпопад, разными голосами подхватили:

*Э-эй, ду-у-би-ину-ушка, у-у-ухнем!..
Ра-а-аз зе-ле-на-ая са-ма пойдет,
сам-ма пойдет...
Да у-у-ухнем...*

– Да, брат, ты действительно похож на свинью, – проговорил, насупливая еще больше брови, собеседник, моча усы в пахнущем спиртом вине. – Свинье насыпят корму, и хорошего корму, ну, и ешь. Нет, этого мало: она влезет всеми четырьмя ногами да ляжет и... недовольна... Выпьем!..

Доктор сидел все с так же поднятыми бровями, с блуждающей улыбкой, которая закрывала душевную боль, точно прислушиваясь к тому, что у него делалось на душе.

– Да-а, – заговорил он опять, – как-то в ве-

сенний вечер... ну, я тогда сошелся с одной... Жена чиновника... красивая, милая, умная... Город лежал тут же, под горой, в весенней белесой дымке. Черное облако загораживало ночное весеннее небо. Должно быть, вверху светила луна, потому что черный край слегка золотился. Далек за городом блестел разлив. Ничего особенного, вечер как вечер – тихий, теплый, немного таинственный... Но, боже мой, как хотелось любви, хотелось... уж как хочешь там, сентиментальность это или что, только хотелось выплакаться слезами на груди любимой женщины, понимаешь ли ты, чтобы жизнь, счастье, все за нее мог бы отдать... Понимаешь ли, любимой... Мы шли, я смотрел на нее и думал: отчего она не та, которую я ищу, которую я жажду любить?.. Не знаю, какие мысли были у нее: о нелюбимом муже, о детях или о любовнике, который шел рядом. Или, быть может, в этот весенний вечер она также думала о любви – о чистой, омытой слезами любви, вместо которой надо было довольствоваться адюльтером. А я полжизни бы отдал, чтобы идти в этот вечер с любимой женщиной, чтобы держать ее руку

в своей... Говоришь, проще всего было бы взять да уйти, порвать... То-то и есть, сил не хватало, – кровь-то, молодость, знаешь, да и распущенность наша... а любви, а любви-то, которой жаждало сердце, не было, ну, не было, – где же ее возьмешь? На нет и суда нет... Ведь она приходит слепо: не знаешь и не поспеешь – когда, откуда, почему... Да уж что там... выпьем!..

Они выпили...

Обман*

Дождь сеялся мелкий, настойчивый, холодный. По улицам тянулась слякоть. Угрюмо стояли дома, заборы, ворота, деревья, с обвисшей, отяжелевшей листвой. Железные крыши мокро отсвечивали.

Прохожие ежились и проходили, найдя в себе, недовольные и сердитые, но дождь не обращал на них ни малейшего внимания и продолжал с серого низкого неба невозмутимо сеяться сквозь сырость и туман на грязную, сырую землю.

Нельзя было разобрать, осень это или холодная весна, пасмурное утро или вечерние

сумерки. Еще труднее это было разобрать в низкой подвальной комнате портного, которого все в околотке звали Антипычем и у которого на старой почерневшей вывеске над калиткой с трудом можно было разобрать: «Модный Мужеский и Женский портной из Санкт-Петербурга».

Петербурга, положим, Антипыч никогда не видел, но это необходимо было для усиления впечатления. Когда восемнадцать лет назад прибил он эту вывеску на этом самом месте, она была чрезвычайно ярка и нарядна, красными буквами по голубому полю с огромными зелеными ножницами, и вполне соответствовала его славе и репутации среди окружающего фабричного и мастерового люда, на который он шил «спинжаки», жилеты, модные штаны и прочее.

Это было восемнадцать лет назад.

За это время вывеска совершенно почернела, облупилась, он состарился, обессилел, потерял заказчиков. Одни умерли, другие разбрелись, третьих отбили лавки с готовым платьем. На эти лавки он теперь и работал, сидя на «катке», поджав ноги и мерно взмахи-

вая иглой.

Антипыч поднял перехваченную вокруг узким ремешком голову, что делало его немного похожим на апостола лубочной картины с кругом на голове, передвинул на покрытый морщинами лоб очки, перевязанные ниткой и с разбитым стеклом, прижал большим пальцем одну ноздрю и сильно дунул в другую, потом вытер пальцы о голову и огляделся вокруг, двигая бровями и расправляя затекшие от постоянного сидения с наклоненной головой глаза.

Все то же: тонули в наступивших сумерках подернутые плесенью стены, темный потолок, облупившаяся, с дымными полосами, печка, в которой всегда тлело несколько угольков для утюга, горшки, ухваты, грязный позеленелый самовар, широкие дощатые нары с грудой лохмотьев, люлька, которую подергивала за веревку, сидя на нарах и свесив тоненькие, худые ножки, маленькая, тщедушная, с испитым лицом и впалыми глазами девочка. За ее спиной, свернувшись калачиком, спал под дождик такой же худой и бледный мальчик лет пяти. Надо было за-

жечь лампочку, но Антипыч всегда крепился до последнего и зажигал тогда, когда стежки совершенно сливались в слезящихся глазах. И теперь он дал немного отдохнуть натруженным глазам, переводя их со стены на потолок, на окно, по стеклам которого торопливо расплывались капли дождя.

Как только оторвался от дела, сию же минуту пришли те страшные мысли, которых он так боялся и которые его так одолевали последние месяцы.

Он было хотел схитрить, отделаться от них и заговорил сам с собою:

– Ишь ты, дождь-то зарядил и льет себе, чисто Ноев потоп. Потить разутюжить, что ли, завтра отнести надуть... Охо-хо-хо, прости, господи!

Кряхтя, опираясь обеими руками и еще больше наморщивая лоб, полез скатка.

Но это не помогло. Уже мысли охватили его, впились, проникли и потянулись беспощадно и неотступно в голове как раз с того места, на котором, как ему думалось, он остановился прошлый раз. И он покорно отдался им, уже механически, для проформы только

беря с углей уют и разглаживая штаны.

Собственно, с внешней стороны ничего страшного и особенного в этих мыслях не было. Это были отдельные эпизоды из его жизни, случаи, факты, воспоминания о жене, которая умерла год тому назад от чахотки. Мысли его, собственно, в том и заключались, что он сотни раз перебирал в голове то, что последовательно наполняло его жизнь. Все это само по себе ничего страшного не представляло, но по мере того как оно проходило в голове, из-за него выбивался какой-то внутренний смысл, которым все эти разрозненные мысли и воспоминания проникались, – и это был роковой и ужасный смысл.

Жизнь Антипыча была самая обыкновенная – жизнь ремесленника.

Раннего детства не помнил. Отчетливые воспоминания начинаются с восьми, лет, когда его отдали к сапожнику. Сапожник бил колодкой по голове и посылал за водкой. Через четыре месяца от сапожника, который требовал за «обучение», взяли и отдали скорняку. Скорняк бил ремнями от шлеи и посылал с большой бутылкою в кабак. Месяца че-

рез три бутылъ мальчик дорогой разбилъ, водка вылилась. Скорняк избил до полусмерти и прогнал. Дома тоже избил до полусмерти и, чтоб не баловался зря, отдали в школу. Это было лучшее время в жизни. Каждое утро он рано вскакивал, подхватывал полотняную сумочку с растрепанными книжками и бежал в училище. Было много детей, шумно, весело, и не только не били, но рассказывали про разные страны, читали, показывали картинки.

Впрочем, это продолжалось только одну зиму. Из школы взяли и отдали портному. Портной бил аршином и выжимал из него по восемнадцать часов работы в сутки. У портного пробыл семь лет, сидя на катке, поджав ноги. Наконец вышел в подмастерья.

Купил гармонию, сапоги с голенищами дудкой, новую суконную шапку и в первый же праздник в веселом трактире угощал товарищей подмастерьев. «Машина» гремела, рюмки, стаканы звенели, проливая водку и пиво, все орали песни и были пьяны, никто не помнил, как добрался домой.

С этих пор его почти не били, а когда требовалось, ругали крепкими словами. Он сам

стал бить учеников и посылать за водкой. Работал помногу, но праздники проводил в трактирах, в гостиницах и притонах. Через шесть лет он был мастером и, скопив немного деньжат, завел мастерскую.

Около этого времени познакомился Антипыч со своей будущей женой. Матрена была сильная, краснощекая семнадцатилетняя девушка, с огромной косой, веселыми глазами, всегда вострая и смелая. Он только и думал о ней и лип, как муха к меду, но она коротко и резко заявила: если хочет жениться, пойдет за него замуж, а больше чтоб ничего не дожидался.

Антипыч заслал сватов, устроили стовор, по улице с песнями и музыкой пронесли и провезли на дрогах приданое – зеркало, перины, подушки, сундуки, комод, подсвечники.

Сыграли свадьбу. Потом пошли дети, заботы, нужда. Антипыч иногда попивал, дрался с женой и постоянно без усталости работал. Матрена рожала детей, возилась с печкой, обшивала семью, недосыпала, недоедала, и через семь-восемь лет в подвале у Антипыча стала худая как щепка, с плоской грудью, сварли-

вая, вечно кашлявшая женщина. С этой женщиной он прожил восемнадцать лет, и год тому назад она умерла.

Пока жила, он с ней постоянно ругался, подчас дрался и нередко высказывал пожелание «сдохнуть» ей; а когда умерла, в подвале разом наступила непоправимая пустота. Антипыч и не замечал прежде, какую огромную работу несла женщина. Ему казалось, что все шло само собой, не замечал, как несокрушимо тесно были связаны друг с другом.

Семилетняя Анютка, маленькая, тщедушная дочка, заменила мать – подметала, готовила, стирала, нянчила. Часто не могла справиться, и отец бил.

После смерти жены Антипыч запил, два месяца пил без просыпу, остепенился, сел за работу и работал без разгибу, не отрываясь. И вот когда он пил, в первый раз пришли мысли, которые одолевают с тех пор.

Они пили из него жизнь. Он осунулся, виски ввалились, глаза лихорадочно горели. Самое ужасное было, что он не мог от них отделаться. Когда засыпал, они свинцом давили измученную голову, во сне мучили безобраз-

ными, отвратительными видениями; когда открывал глаза, стояли уже у изголовья, готовые сосать его.

Но еще ужаснее было то, что он ни с кем не мог поделиться ими. Пока терзали его, они имели форму, чувствовались, как нечто определенное и ясное; как только он пытался передать их, они расплывались, теряя очертания, мутно и ровно, как холодный осенний туман, щемящий хватающей за сердце тоской.

Ему казалось, что он шел по широкому ровному полю. Позади было прожитое, впереди – надежда, что все устроится, улучшится, что там-то его ждет облегчение и радость.

И он шел да шел. Он думал, идет к радости, а он шел к горю, к беде, к старости, одиночеству, смерти. Он шел, и кругом становилось тесней, уже, труднее, горше, а он этого не замечал, он все думал: «Вот полегчает, вот поправлюсь».

И в ожидании этого он каждый день с трех часов утра, когда все кругом спало, когда на улицах не слышно было извозчиков, пеше-

ходов, когда над городом стояла глубокая тьма, – он вставал, зажигал жестяную лампочку, забирался на каток, подбирал под себя ноги и начинал шить. Кругом было тихо, и за окнами темно, а он сидел с наклоненной головой и шил на кого-то без отдыха, без разгиба, и вечером ложился с тем, чтоб с утра снова начать то же, не зная, кто будет носить его пиджаки, жилеты, брюки, пальто.

Это всю жизнь казалось ему правильным, нормальным, справедливым, но теперь точно перевернулось.

Зачем?

– Сорок семь лет на свете прожил, – говорил Антипыч, в минуту душевной тревоги сидя с кумом, дворником, и держа в руках плескавшуюся рюмку, – сорок семь лет прожил и все думал, как лучше, а оно – как хуже. Все ждал, вот-вот полегчает, а оно дальше да больше, больше да дальше, глядь, старость, жена померла, работник уже не тот стал, поясница ломит... Что такое? Нет, ты скажи, кабы работник был плохой али своего дела не понимал... А?..

Дворник, красный и потный, ощущая раз-

дражающий запах водки, но из-за приличия и «обхождения» не находя возможным выпить без Антипыча, говорил, тоже плеская рюмкой:

– Кум... друг!.. Для тебя все готов... Кум! Сделай милость... для тебя руки не пожалею...

– Не знаю своего дела?.. – наступал Антипыч. – Это что такое? Это как сшито? – тянул он собеседника за рукав. – К примеру, как этот рукав вшит... Разве так надо?.. А бочка? А проймы? Это что такое? – И он сердито ударил снизу под мышки так, что дворник покачнулся.

– Я давно все хочу к вам, Иван Антипыч, чтоб, значит, сшить себе пару... как вы первый портной у нас...

– Не об том говорю... Дело свое вот знаю, никто про меня слова не скажет... Или у иных прочих пинжак весь на шею лезет, хомут хомутом... Восемнадцать лет работаю, а в каком я смысле?

– С трудов праведных не наживешь палат каменных, – держа рюмку и изнемогая, говорил дворник.

– Опять не об этом... А правды на свете нет,

вот что!.. По какому положению... Что касает-
мо бочка выкроить, рукав вшить... Где же она
есть, справедливость?.. Нет ее, правды!..

Антипыч, недоумевая, глядел тоскующими
глазами на кума. Он хотел ему много сказать,
хотел выложить всю душу; но те мысли, тос-
ка, ощущения, которые владели им, не нахо-
дили для себя слов, и он все толковал о прой-
мах, бочках, о своей старости, о жене, о смер-
ти.

Дворник слушал, в свою очередь истом-
ленный, измученный ожиданием и поэтому
растроганный. Он сгреб голову Антипыча и,
роняя на него пьяные слезы, заговорил:

– Кум... друг... Для тебя все готов... Кум, сде-
лай милость... Для тебя хучь в огонь и в во-
ду...

Пришла Спасовка. Антипыч решил говеть.
Каждый день утром и вечером ходил в
церковь, становился на колени, бил земные
поклоны, напряженным шепотом, предупре-
ждая священника, дьякона, певчих, говорил
все возгласы, ектеньи, тропари, псалмы, пес-
нопения и, крепко нажимая и подолгу задер-

живая на лбу, на груди, на плечах сложенные для крестного знамения пальцы, почти вслух говорил, мучительно, почти иступленно глядя большими круглыми глазами на царские врата:

– Господи, отпусти мне, грешному... Господи, спаси и помилуй!..

Питался это время Антипыч только хлебом и водой. Почти с трепетом ждал исповеди. Казалось, в этот день все у него разрешится, раскроется, кончится наконец то мучительное, что цепкими когтями держало его, впиваясь.

Он стал в ряды исповедников и понемногу подвигался к аналою, по мере того как впереди один за другим сходили с амвона окончившие исповедь. Наконец дошла до него очередь. Он положил земной поклон, подошел к батюшке. Губы дрожали. Лихорадочно горели предчувствием близкого и страшного разрешения тайны радостно сиявшие глаза.

Батюшка накрыл его голову епитрахилью и один за другим, не останавливаясь, задавал обычные вопросы, и на все он отвечал:

– Грешен... грешен... грешен...

Но вдруг поднял голову и голосом, полным

неизъяснимого волнения, проговорил:

– Батюшка, да ведь вот... вот тут под сердцем... под самое сердце, батюшка... горько... Кабы все по правде... Правды... нет ее... правды-то, на свете...

Лицо его сморщилось, покраснело, борода запрыгала, он засопел. Он был похож на пьяного.

Батюшка вздохнул, глянул на длинную вереницу ожидающих исповеди, накрыл его епитрахилью и быстро и привычно заговорил:

– Отпускается и разрешается рабу божию... во имя отца и сына и святого духа... аминь... – поднося ему в то же время крест.

Антипыч положил земной поклон, поцеловал холодное серебро креста и руку батюшки, потом в трех местах евангелие, положив на аналой, где лежали медные и серебряные монеты, две копейки, покрестился и, давая дорогу следующему исповеднику, сошел по ступенькам амвона, вытирая покрасневшие глаза.

Шел домой Антипыч радостно возбужденный, испытывая огромное облегчение. Как

будто там, на этом возвышении у аналоя, при этом запахе ладана, и горящих свечах, и длинной веренице дожидających исповеди, свалил холодную, мертво давившую тяжесть.

Но когда пришел домой, когда глянули на него плесенью стены и он, поджав ноги, опять сел на каток и опять стал торопливо шить брюки, пиджаки, жилеты, неизвестно для кого, с тем чтобы каждый день делать то же, – все опять встало перед ним, еще более страшное, еще более неведомое.

Отчего это батюшка отпустил его, отпустил, не сказав насчет правды и насчет того, кто виноват?

«Грехи!»

Грехи – это само собой, грехи не в счет, грехи он каждый год на страстной относил попу... Нет, он хотел, чтобы батюшка сказал ему: «Так кто тебя обидел? Это Иван Сидоров не отдал два с полтиной? Ладно, будет он ужо у меня помнить...»

Но батюшка этого не сказал. Батюшка не только этого не сказал, а положил ему на голову епитрахиль и торопливо проговорил: «Отпускаются и разрешаются... во имя отца и

сына...» Но он не за тем пришел. Ему надо было облегчить сомнения, давившие душу, ему надо было решать, не Иван ли Сидоров, зажививший у него два с полтиной, виноват во всем. И пока он думал об этих двух с полтиной, он сердился на Ивана, а когда начинал думать о всей своей жизни, Иван пропадал, и опять стоял все тот же неотступный, ужасный вопрос: кто виноват?

Антипыч зажег лампочку. Барабанил дождь. Девочка прикорнула возле брата, худенькая и тщедушная. В ропоте дождя, в сонном дыхании детей почудилось что-то мягкое, разрешающее.

Антипыч прислушался. Все было, как всегда: холодно и равнодушно глядела ночь, холодно и равнодушно стучал в стекло дождь, и искривленные фигуры детей, и бледные с тенями лица были неподвижны и немые.

Антипыч полез на каток, взялся за шитье. Игла не слушалась, два раза уколол палец.

Ясно, – виноватого не сыскать. Были отдельные факты, были отдельные люди, которые его обижали, но они терялись во всем

продолжении его жизни, которая во всей своей совокупности была не что иное, как лгание. Он ждал одного – выходило другое. Он страстно желал красивую, здоровую, веселую девушку и нашел, – а пришлось жить с худой, вечно кашлявшей, злой, измученной женщиной. Он всеми силами старался завести свою мастерскую, завел, – и вот десятки лет работает, не разгибая спины, на магазины и зарабатывает столько, чтоб не умереть с голоду. Он ждал и растил детей, но они или умирали, или вырастали и уходили на сторону, потому что им тоже хотелось жить. Он постоянно ссорился с женой, подчас тяготился ею, но когда умерла, охватила непоправимая пустота одиночества.

Все шло наоборот. Ему постоянно кто-то лгал, – и так всю жизнь.

Грязь, слякоть, дождь, нужда, болезни – все это сознавалось каждый день как отдельные факты, которые случайно сменяли друг друга и так же случайно могли сменяться солнечным днем, удачей, счастьем, лишней копеечкой. Теперь же все это представлялось систе-

мой, роковой и неизбежной. Кто-то до сих пор закрывал ему глаза и издевался.

С ужасающей ясностью встало перед ним:
«Обман!»

Антипыч почувствовал сырость, стоявшую в подвале. Грудь заполнилась липким, холодным и ослизлым, от чего уже нельзя было освободиться.

«Обман... вся жисти обман!..»

Он посидел. Кто-то в уголке его души добавил:

«И виноватого нету...»

И, помолчав, добавил еще:

«И виноватого нету... конечно, брат!»

С помертвелым лицом, трудно дыша, Антипыч сопротивлялся последним сопротивлением: «А грех?»

Его охватило тяжелое, удушливое ощущение беспросветности, не давая сознанию вырваться из охвативших тисков, не давая надежды, выхода.

«Вся жисти обман!..»

Антипыч воткнул в шитво иголку, отодвинул, снял очки и перехватывавший его лоб и голову ремешок, аккуратно положил их на

обычном месте. Опираясь, по обыкновению, на руки, чувствуя боль в пояснице, слез со стола, повозился руками у штанов, распустил тонкий ременный пояс, поставил табурет у стены и полез на него, чувствуя свою слабость, старость и скрипучий табурет под ногами. Поднялся, держась за стену, попробовал далеко торчавший из нее крюк, захлестнул за него ремень, сделал петлю, надел на шею, поправил и, придерживаясь за стену руками, стал шаркать ногами. Табурет со стуком перевернулся, Антипыч тяжело повис, подергался немножко, высунул язык, широко и изумленно раскрыл глаза, тихо перекрутился и замер.

Лампочка по-прежнему тускло, безучастно горела коричневым огнем сквозь закопченное стекло. Спали ребятишки. Стучал дождь.

У костра*

Уже посинело над далеким поворотом реки, над желтеющими песками, над обрывистым берегом, над примолкшим на той стороне лесом.

Тускнели звуки, меркли краски, и лицо земли тихонько затягивалось дымкой покоя, усталости под спокойным, глубоко синевшим, с редкими белыми звездами, небом.

Баржа, две лодки, терявшие резкость очертаний, неясно и темными контурами рисовались у берега. Отражаясь и дробясь багровым отблеском, у самой воды горел костер, поплескивая на шипевшие уголья сбегавшей пеной, ползали и шевелились, ища чего-то по узкой полосе прибрежного песку, длинные тени, и задумчиво возвышался над ним обрыв, смутно краснея глиной.

Было тихо, и эту тишину наполняло немолчное роптание бегущей воды, непрерывающийся шепот, беспокойный и торопливый, то сонный и затихающий, то задорный и насмешливый; но река была спокойная, и светлеющая поверхность не оскорблялась ни

одной морщиной.

Всплеск рыбы, или крик ночной птицы, или шорох осыпающегося песка, или едва уловимый шум пароходного колеса, или почудилось, но что-то принеслось издалека. И снова дремотное, невнятное шептание, то замирающее и сонное, то вострепнувшееся и торопливое, и светлый, ничем не нарушимый покой реки под все густеющей синевой надвигающейся ночи.

– «Ермак» никак идет.

– Где ему!.. Теперь небось на Собачьих песках сидит.

И человеческие слова, такие простые и ясные, прозвучали и погасли в этом непонятно-беспокойном шепоте спокойно-неподвижной реки.

Короткая, притаившаяся у колебавшегося огня тень разом вытянулась, побежала от костра, уродливо перегнулась через обрыв и пропала в степном сумраке, откуда неслись крики перепелов и запахи скошенных трав, а над костром поднялся высокий, худощавый, с запавшей грудью, в пестрядинной рубахе человек, и, скинув ложкой сбегавшую через

края пену, ссыпал в бившую ключом воду пригоршню пшена. Вода мгновенно успокоилась, а тень, скользя по обрыву, вернулась из степи и опять притаилась у огня. Длинный человек сидел, неподвижно обняв колени, глядя на светлеющую реку, на пропадающий в сумеречной дымке лес, дальний берег.

Поодаль на песке, протянувшись неподвижно и мертво, чернела человеческая фигура. Не было видно лица. Спал ли он, или думал, или был болен, или уже не дышал, нельзя было разобрать.

Уже потонул в ночной синеве и не стал видим лес, и поворот реки, и дальние пески, — только вода по-прежнему поблескивала, но уже черным, вороненым блеском, и звезды в ней повисли, яркие и бесчисленны.

И казалось, так и нужно, чтоб в эту синюю ночь у дремотно-шепчущей воды возле обрыва горел костер и красный отсвет трепетал, неверно озаряя худого, нескладного человека, охватившего руками колени, и неподвижную темную фигуру на песке, и третьего, со скуластым, здоровым, веселым, неизвестно чему ухмыляющимся, показывая белые крепкие зу-

бы, лицом, голыми руками подкидывавшего назад в костер высыпавшиеся угли.

Как будто кто-то задумчиво, без слов пел, и не было слышно голоса, и только представлялись потонувшая в ночной синеве река, и костер, и обнявший колени человек, и темная фигура на песке, и скуластое, со здоровыми белыми зубами лицо, трепетно озаряемое красноватым отблеском.

– Встретился с нею об петровках. «Зрастьте», – говорю. «Зрастьте и вам». Да. Глянул на нее: гладкая, ядреная да белая...

Голос был ровный, спокойный, медлительный, и так было спокойно кругом: неподвижно сидел человек, обняв колени, мертво рисовалась протянутая черная фигура, так же беззаботно, по-видимому ни о чем не думая, подвигал в костер головешки скуластый; нельзя было сказать, кому принадлежит этот голос. И среди ни на секунду не прерывающегося неумолчного дремотного шепота голос, казалось, принадлежал синей ночи, как и утрюмо стоящий обрыв, как ропот воды, как этот костер, с беззвучно ползающими от него по песку тенями.

– Постоял, сам не знаю, чего с собою делать... куда руки, куда ноги. А допрежь с бабами, чай, был, ни одной, бывало, не спущу...

– Го-го-го!.. – нарушая безмолвие, нагло ворвалось в тишину и покой гоготание.

Смеялся скуластый, показывая белые зубы, ласково и плотоядно приговаривая циничные слова по адресу баб.

– И-и... ну, бабы!.. ей-богу... Ах вы, прорва вас ни возьми!.. Га-га-га!..

Сидевший, обняв колени, с минуту молчал. Молчал и тот, чей темный простертый силуэт смутно рисовался на песке; только скуластый, потряхивая головой, дергал бровями, ухмылялся и хмыкал, показывая зубы, каким-то своим веселым и, по-видимому, грешным мыслям.

– Постоял, постоял... Да... «Ну, говорю, как же вы обо мне понимаете?.. Стало быть, замуж за меня пойдете?» А она скусила травину, глянула и... засмеялась. У меня аж в голове помутилось.

– Ах ты... едят те мухи.

И скуластый опять засмеялся, неизвестно чему, гогочущим, разбирающим смехом.

– Ну вот, поженились... Работа пошла, хозяйство, стало быть, завели, отец меня выделил, не обидел, овчишек, пара лошадей, две коровы, птицы завела хозяйка. Избу срубили... да...

Тонкий, щемящий крик пронесся над рекой. Опять тихо, задумчиво-сумрачно, снова непрерывающийся беспокойно-торопливый шорох, шепот бегущей воды. Молчал в наступившей со всех сторон темноте невидимый обрыв, молчала степь за ним, молчал у костра неподвижно охвативший колени человек. Котелок лениво вскипал, подергиваясь пеной.

Тонкий крик повторился против, над рекой. Может быть, летела над самой водой невидимая теперь птица, нельзя было сказать. Ночь теснилась со всех сторон, молчаливая и темная.

– Ну, так жили три года... Бывалыча, подойдет, положит руки белые на плечи, глянет: «Сема, любишь?» Аж в самое нутро, как шилом, пронзит...

– Ги-ги... го-го-го! Ну, бабы!.. Одно слово...

– Три года жили. Допрежь того действительно баловался... с бабами, ну тут ото всех

отказался, закаялся, дюже уж любил... Вот до чего... аж нутро болело... да...

Оба помолчали, наклонив головы, чутко ловя смутный, неясный звук. Ухо жадно хотело поймать приближающийся шум паровозных колес. Звуки ночи, тихие, неясные, тысячу раз слышанные и все-таки особенные и странные, говорили об отсутствии человека.

Горел костер, у костра сидели двое и третий недвижимо чернел на песке.

– Да... три годочка... не видал, как и прошли. Ну, детей не дал бог... не дал... Бывалыча, сядет, прижметя: «Сем, а Сем, прогневили господа... нету деточек...» И так мне в самое сердце скусит, кубыть я виноват... Кто ж его знает... К бабкам ходила, от козы шерсть жгли, пила на наговорной воде, – нет...

Скуластый скучно, как-то осунувшись, слушал.

Поднялся, долго чесал спину, снял с костра котелок, черпнул ложкой, долго дул, вытянув толстые губы, и, шумно втягивая в себя воздух, стал пробовать.

– Нехай упрееет.

Опять навесил.

– Стукнул двадцать один год, пошел на призыв, взяли. Эге, не хотелось уходить!.. Сердце болело вот до чего... Выйдешь, скотинка, телега, бороны, – постоишь, постоишь, опять в избу, и в избе-то все спостылело... Баба молчит, не плачет, застыла, по хозяйству также работает с утра до ночи. Стали у меня мысли разные: по какому случаю, например... солдатчина, али, скажем, служба, али там война, должен я убивать... да-а... Из наших же, из деревенских, был в турецкую кампанию, – ну, рассказывал много. Вот, говорит, подойдешь к нему, стоит он, человек как есть, глядит на тебя, и глаза у него такие же, и знаешь, от семьи так же ушел, и земляца, может, дома, да... Одно слово, живому человеку надо брюхо железом пороть... Ну, не подымается рука, жалко... А как вдарит, стало быть, он, один наш упадет, другой... кровь... застонет, тут своего-то еще жалчей, все позабудешь, нагнешь голову, как бык, и зачнешь колоть куда ни попадя... Что же, думаю, это такое... Радость малая быком сделаться...

Он перестал говорить, как бы потеряв нить. Парень сидел скучный, с кислым ли-

цом. Снова на реке завозился водяной или ночная птица. Всплеснула возле рыба, но в темноте не было видно расходящихся кругов. И, как бы найдя нить прерванных воспоминаний, продолжал:

– Как уходил, повисла на шее: «Сема... Сема... Сема!..» Никак не отдерешь, обмерла... «Сема, пять годов не будем видаться, жисть вся минет... покеда молодые... Сема!» Ну, признаться, я ревел, как корова, а потом сразу оторвал руки от себя, даже со злостью, прямо на повозку, напился до бесчувствия... Да... Ну потом, значит, в город, потом по железной, в казармы. В солдатах тоже несладко: муштра, ругня, в зубы заглядывают, а дома хозяйство, семейство... Сердце сосет... Эх, и не вспомнил бы... Опять мысли разные: по какому случаю я здесь и почему такое. Невзлюбило меня начальство, за сектанта сочли. Сколько разов на гауптвахте сидел, гоняли без очереди на часах, в штрафные попал, под суд грозились отдать, в дисциплинарный батальон; одно слово, чижало, – думал, и не ворочусь. Одначе так что дотянул. Кончился срок, на железную, гайда домой... Ну, ехал, думал, не доеду, не

удержусь, так рот сам на сторону и едет, не удержусь, смеюсь... ей-богу... Даже совестно стало чужих людей, пассажиров, – смотрят, стало быть, что за чудо – человек сам с собою говорит и смеется. Ну, хорошо...

В неумолкаемый ропот бегущей воды, который сливался со стоявшей вокруг тишиной, грубо и непрощенно ворвался совершенно чуждый звук.

Оба сидевшие у костра повернули к обрыву головы и стали слушать. И костер, дрожа и колеблясь отсветом, беспокойно взглядывал красными очами на выступивший на секунду из темноты обрыв; тени торопливо и испуганно сновали по песку, ища чего-то, и, не находя, с усилием вытянулись, перегнулись и заглянули через обрыв в степь. Оттуда, все приближаясь, неся как бы мерный топот по иссохшей, крепкой земле. Он царил среди ночи. Костер, истратив последние усилия и догадавшись, в чем дело, стал погасать, засыпая и подергиваясь пеплом, и тени разочарованно расплылись, сливаясь со стоявшей вокруг чернотой, но головы все так же были обращены к обрыву.

Топот оборвался. Над смутно видневшимся по звездному небу краем обрыва темно вырисовывался уродливый силуэт чудовища. Оно неподвижно вздымалось, широкое и неровное, как глыба, оторвавшаяся от горы, загораживая ярко игравшие звезды.

С минуту молчали.

– Эй, есть живая душа?

Скуластый по-медвежьи неповоротливо поднялся и в одно время раздраженно и тревожно прокричал:

– Ступай, ступай... отчаливай!.. Неположенного ищешь... Отъезжай... чего тебе, слышь!..

– Быков ищу... ок-казия! Как сквозь землю провалились.

Голос был с хрипотой от постоянного пребывания на ветру в степи и от водки.

– Каки быки?.. Вишь, крутоярина... Быки!.. Знаем мы, быки...

– То-то, думаю, не спустятся тут. Оказия... нету, вот, что хошь... Думаю, не к воде ли забились...

Костер сонно и лениво из-под полуопущенного века глянул, и на минуту можно было

различить над самым обрывом в красноватом отблеске конскую голову и над ней человеческую. Веко закрылось, и темный силуэт, теперь шевелившийся и уже не казавшийся мертвой глыбой, стал делаться меньше, понижаясь и прячась за край обрыва. Звезды снова играли, не беспокоимые, из степи несся удаляющийся, замирающий топот, оставляя в молчании и темноте неосязаемый след угрозы и предчувствия.

– Ах ты! Вот, дядя Михей, а дядя Михей... слышь, казаки подъезжали, высматривали... Ах ты! штоп вас холера поела...

На песке, все так же неподвижно протянувшись, чернела фигура, неподвижно сидел у потухшего костра, охватив колени, высокий, и торопливый, бегущий шепот воды старался по-прежнему заполнить тишину и темноту дремой и наплывающим забвением. Но молчание замершего вдали топота, полное зловещей угрозы, очевидно, пересиливало дремотный, шепчущий покой.

Скуластый снял котелок, поставил и повертел на песке, пока не втиснул в углубление.

– Быки... Знаем мы – быки... Позапрошлым летом так-тошь сел пароход, отгрузили в баржу, пароход ушел. Вот является такой же молодец, то да се, тары-бары, а на другой день ворочается пароход, а обои сторожа лежат... К ним, а у них головы ломami разбиты, и баржа дочиста обработана.

Оба посмотрели на край обрыва, но там равнодушно играли звезды, было смутно и неясно.

– Быки!.. Знаем мы – быки...

Достали ложки, вытерли подолом рубах, покрестились, стали черпать и осторожно дуть.

– Дядя Михей... а дядя Михей!..

Молчание.

– Слышь, иди вечерять. Придут казаки и повечерять не дадут...

– Не трожь. Нехай отлежится...

Выпятив щеки, скуластый сердито и торопливо дул.

Слышно шлепанье студивших горячую кашу губ, да присмиривший, шепчущий ропот воды, да тонкие, странные, неясные звуки, которым нет имени и которыми полна ночная

темнота над рекой.

– Ты чего же?

– Нет... не хочу,

И длинный тщательно вытер языком и губами ложку и покрестился.

Он опять сидел, осунувшись, и мысли, далекие от этой теплой ночи, от товарищей, от своих обязанностей, от опасений грабежа, бродили в голове. Скуластый долго и методически черпал, дул, втягивал воздух вместе с кашей губами, пока наконец, усталый и потный, тоже облизал ложку, спрятал, покрестился и некоторое время нерешительно стоял над полупотухшим костром. Потом растянулся на спине и равнодушно стал смотреть вверх.

– Да, – слышался опять ровный голос, сливавшийся с синей ночью, – кончил срок, ворочаюсь домой. Соскочил с телеги. Батюшка, матушка, сестры, братаны, соседи, почи-тай, вся деревня встревать вышла. Поклонился батюшке, матушке до земли, поздоровался со всеми. «А где же, говорю, благоверная, богоданная супруга наша, Матрена Яковлевна?» – «А вот она», – говорят. Глядь, а она стоит в сто-

ронке, косы распустивши, белая, как глина, и слезьми горючими обливается. Стал я, опустив голову, долго стоял, а она упала в ноги, волосами закрылась, кричит не своим голосом. Долго стоял. Все молчат. «Что же теперь, говорю, будем делать, супруга моя богоданная?.. А-а-а!» Аж в волосья себе вцепился... «Я ж тебя, говорю, уважал и любил, пуще глазу берег, я ж тебя взял не из корысти, по одной любви... Что же теперь будем делать?» Кричит... Тут захолонуло у меня, чую, убью до смерти. И так спокойно стало, холодно... Все молчат: не чужую, свою жену учит муж... Выдернул жердь... да ну... Старушонка подходит старенькая, головой трясет. Стукнула клюкой по земле: «На всяко древо птица садится». – «Уйди, говорю, бабушка, уйди». А она свое: «На всяко древо птица садится». Ах! Закипело у меня: «Уйди, старая, уйди отгреха». А она меня по спине клюкой: «На всяко древо птица садится, всяка тварь молодости рада». – «Цыц, говорю... Птица, говорю, посидела да полетела, а эта посидела да напакостила». А старушонка свое стучит клюкой: «На всяко древо птица садится...» Потом подошла к жене, тро-

нула клюкой: «А ты спроси его, молодка, много ль об тебе на службе помнил, много ль себя в чистоте блюл, небось ни одной бабочки не знал...» Как по башке меня треснула... Жердь выпала. Ну, я... да... а...

Он, видимо, волновался. Скуластый скучно глядел в небо на белесую, все ту же, сколько ни видел, дорогу.

– Ну... ну, я... да... прямо сказать, ошпарила меня. Потому, стало быть, обои мы... одинаковы... спрашивать не с кого... Ежели по правде, по совести, одинаково обпакостились....

Он долго молчал, и долго скуластый глядел в звездное небо, на белесую дорогу, которая уходила неведомо куда и по которой иной раз чертили тонкий дымчатый след скатывающиеся искры.

– Да... хорошо... Потом стали жить... Да... Ни слова ей не сказал, пальцем не тронул, а парнишка, стало быть... этот то ись... с нами же, кормим... Любит она его, и все как будто стыдно ей его за стол сажать... Вот так прошло с полгода... И стала, братец мой, меня тоска брать. Стоит у меня в голове, что, стало быть, она тут без меня вольничала, не вы-

бьешь из головы. Зачнешь себя урезонивать, что, дескать, я так же самое, и с меня не спрашивают, да как вспомню, так у меня все перевернется. Хоть бы вдарил я ее раз, хоть бы за волосы оттаскал, а то здрастье, так и надо, пожалте, без мужа, сколько угодно... Стала меня тоска сосать, не могу я ей в глаза глянуть. Но и красивая, люблю, а вот как вспомню, как червь заворачивается в нутре. В избу идти неохота. Иной раз думаю – убью, мочи моей нету... избью до смерти. А она, братец ты мой ходит по дому, по хозяйству, упрекнуть не в чем, работает, сколько силы есть, и все думает, как бы мне что лучше, и насчет прочего иного никто худого слова не скажет. Бить-то зараз не за что... Да... то-то...

Он опять замолчал и без всякой надобности подкинул на еле тлеющие угли хворосту. По-прежнему колебалось дремотное шептанье воды, и из темной реки глядело бесчисленными звездами ночное небо.

Харкающие, надрывающие звуки покрыли журчащий ропот и тишину. Производя странное впечатление непривычным видом, на том месте, где недвижно темнел по песку си-

луэт, смутно виднелась фигура сидящего человека. Он кашлял захлебывающимся, прерывающимся кашлем.

– У-пу-стил... кххх... кххх... у-пу-стил... кххх... время, – проговорил он, захлебываясь, с мучительным усилием выдувая из себя каждый слог. – Ба-ба-бу... кхх... кххх... на-до... кххх... вовремя... бить...

Он перевел дух.

– Дядя Михей, – проговорил скуластый, – каша застыла, ешь, а то подвесить можно, жару много.

– Все бьют, и ты-ы... кххх... кххх... бей, – все так же сидя, продолжал дядя Михей из темноты, – вовремя бей, зла не будешь держать. Охо-хо-хо... грехи наши... помирать-то все одно придется... Каши-то не хоцца, отставь котелок-от, охо-хо-хо...

– Дядя Михей, казаки подъезжали, высматривали. Гляди, кабы греха не было.

– Ну, что ж, подъезжали, стало, надуть людям... Что ж, ничего... от смерти не уйдешь... земли много, всем хватит. Охо... хо-хо... прости, господи...

Дядя Михей покопался и опять улегся на

песке. Опять в ночном сумраке темнела неподвижно простертая фигура, немолчно и дремотно журчали струи, и чуть-чуть колебалось звездное небо в темной реке. Скуластый глядел на дымчатую дорогу. Стояла сама себя слушавшая тишина, только слабо потрескивали несколько сырых хворостинок, которые никак не могли загореться, и едва уловимый дымок, не колеблемый, как тень, скользил вверх.

И этот покой и тишина, погруженные в ночную темноту, казалось, были полны тоски, воспоминаний о прошлом.

– Ушел... не вытерпел... мочи не стало, – глухо проговорил Семен. – Вот теперь хожу... Ни семьи, ни дому, ни угла...

Он замолчал.

Молчал скуластый, потом повернулся на бок, зевнул, широко раскрыв рот, и по реке кто-то ухнул ему в ответ.

– Теперича завалиться бы спать... Ишь звезда покатила...

Долго стояла тишина. Над водой, удаляясь, слышались тонкие тиликающие звуки, – должно быть, летели кулички.

– Я то же самое, – неожиданно заговорил скуластый, – ни хозяйства, ни семьи. Спервоначально отец жив был, еще хозяйничали, а потом помер, мать по кусочкам с детьми пошла. Потом у сапожника был, потом у постовала, полсти валял, а теперь тут вот постоянно либо на баржах, либо на пароходе. Где же тут семьей обзаводиться? Да оно и лучше, легче, ей-богу, сам себе голова... А насчет, ежели сказать... баб, так их сколько хошь, ей-богу...

И скуластый вдруг оживился, сел и захохотал гогочущим смехом. И над рекой в темноте тоже кто-то игриво захохотал.

– Едят вас мухи... бабы... одно слово – народ... Этта с полстями ходили. Ну, днем полсти бьешь, да... А ночью... ах, чтоб вас холера поела...

Он опять захохотал.

– Ей-богу... то есть вот и здорово... Из деревни в деревню... Ну, тоже есть не приступиться, строгие... Ах ты! все б отдал...

И он выругался скверно и цинично.

– Раз приходим... как глянул... Мать пресвятая... Ну, не видал – белая, гладкая, глянет, аж в животе холодно. Ну, хорошо. Так-сяк, –

она, братец, не глядит. Так мимо меня, как бревно будто я. А, слышал? Ей-богу... Сну решился, как перед истинным... Денег... Куда! В рожу заехала... чтоб тебя раздуло...

Скуластый жестикулировал в темноте, размахивал руками, перегибался, тряс головой.

– Товарищи зовут, отработались, нейду, мочи моей нет. Слезьми плакал перед ней. Вот как перед истинным!.. И не то что там... отзвонил, и с колокольни долой, взаправду, то есть, сердце выжгла, солнцу не рад, все бы бросил, аж сдался весь, еда на ум не идет... Ах ты, господи боже мой! Ну, что, братец ты мой, сжалилась... И то сказать, бабочка молодая, солдатка, муж три года как ушел. Я было сбесился.

У скуластого дух перехватило.

– Да, ну... прихожу на другой раз, а она вышла, глаза красные, дюже плакала, видно: «Что ты со мной исделал! – а сама заливаешься: – Судьбу мою изничтожил, ведь я мужняя жена...» Я, было, полез, она поленом... В ногах валялся... Прогнала... Кабы девка была али овдовела, вот перед истинным, женился бы... Тут пить стал, скандалил... Братаны мужние,

стало быть, здорово били!.. Ух, здорово били. В больницу отволокли, два месяца валялся, думал, не выхожусь, ну, отлежался. Дай бог здоровья дохтору, добрый человек, Иван Иванович... Чудной такой. Бывало, придет...

– Это земский в Власьевке?

– Во, во!

– А ты, стало быть, в Ламтеве был?

– Ага, в Ламтеве, деревня Ламтево.

– У солдатки, у Мотьки?

– Во, во, она самая...

Он осекся... оба разом поднялись.

Скуластый стоял, тяжелый, плотный, приземистый, давя землю неуклюжим сильным телом, отнеся назад огромные кулаки, как взъерошившийся здоровый молодой волк.

Подымаясь сухощавой фигурой, стоял, подавшись вперед, как хищная птица, высокий.

Так они стояли друг против друга. Слышно было – у обоих бились сердца. И не было ни ночи, ни темной реки с дрожащими звездами, ни дремотного шепота, ни обрыва, ни смутной, сумрачной степи. Они видели только друг друга, различая в темноте горящими глазами малейшие особенности лица, движе-

ний.

Костер, совсем почти потухший, с удивлением прислушивался к этому новому и странному. Наконец не выдержал, подсохший хворост вспыхнул, и багровый свет на секунду заглянул им в лица.

И лица их были страшны.

У скуластого дергались губы уродливо судорожной улыбкой, прыгала нижняя челюсть, но громадные кулаки, несколько отнесенные назад, говорили, что он будет защищаться с отчаянием пойманного зверя. Маленькие светящиеся глаза высокого впились в него со злорадством. Губы тоже кривила усмешка, и видно было, что под холстом рубахи этого худого, с вдавленной грудью, и теперь страшного человека – железные мышцы. Скуластому уже чудилось, как захрустит его горло под скрюченными пальцами этого дьявола.

Хворост прогорел. Все стало черно и темно.

Высокий шагнул, качнувшись длинным телом. Скуластый подался назад, хрипло бормоча ненужные слова:

– Чего?.. А?.. Чего?! Чего ты?..

Высокий, качаясь, вытаскивая из песка ноги, прошел мимо и стал теряться в темноте. С минуту глаз с напряжением еще мог различать темное, длинное, мерно движущееся пятно, более черное, чем чернота ночи, но потом ночь, ровная и одинаковая, царила безраздельно.

Скуластый долго стоял на одном месте, потом поднял глаза: над обрывом, померещилось, шевельнулась темная тень. Холод обдал его. Он повернулся и закричал, сам испугавшись своего голоса:

– Сем, а Сем! Слышь, кабы греха не было...

И по реке насмешливо прокатилось: «Е-о-о-ом!»

Послушал: журчала вода, спала степь, недвижно темнел дядя Михей, угрюмо чернел силуэт баржи. И все было уродливо, странно и необычных размеров.

– Се-ме-о-о-он... а Се-ме-о-он... Слышь ты-ы!.. «О-о-о-он!»

Над неровной чертой обрыва свободно, незатеняемые, играли звезды, играли по всему небу, играли в темной глубине реки.

Заяц*

I

Антип Каклюгин, служивший у подрядчика Пудовова по вывозу нечистот, получил из деревни письмо.

После бесчисленных поклонов братцев, сестриц, племянников, дядей, кумовьев, соседей в конце стояло:

«...И еще кланяется с любовью и низкий поклон к земле припадает супруга ваша Василиса Ивановна и с самого Петрова дня лежит и соборовалась чего и вам желает и очень просит чтоб приехали на побывку как ей помереть в скорости писал Иван Кокин».

Антип попросил три раза прочитать письмо и долго чесал поясницу.

– Да... ишь ты, како дело, – проговорил он, тщательно и неумело складывая негнувши-мися пальцами письмо, и вечером пошел к хозяину.

– Ты чего?

– К вашей милости.

– Да и воняешь ты, черт тебя не возьми...
Ступай во двор.

Антип покорно слез с крыльца и стал возле, держа шапку в руках.

– Денег не дам и не проси... Забрал все – когда еще отработаешь...

– Да я не об том... жена помирает. Милость ваша ежели будет, повидать бы бабу, хоша бы на недельку.

– Ах ты, сукин предмет!.. Да ты что же, смеешься?.. Самая возка начинается...

– Главное, помирает... плачется баба...

– Что ж, она без тебя не сумеет помереть, что ль?.. Да, может, и враки, так занедужилась, подыметя, бог даст.

– Соборовали... Сделай милость.

Хозяин посмотрел на вызвездившее небо, подумал.

– Ну, вот что. Завтра у нас какой день? Вторник? Хорошо. Стало быть, завтра выедешь, к обеду дома, – на другой день опять сядешь, к вечеру – тут. Стало быть, в среду чтоб был к работе. Не будешь – другого поставлю. У меня контракт, ждать не станут. Из-за вас, анафемов, неустойку плати.

– Покорно благодарим.

Ранним утром, когда над рекой стоял белый пар и холодная вода влажно лизала столбы, Антип сидел на пристани.

У берега теснились баржи, расшивы, лодки; по воде, оставляя след, бегали катера, пыхтели пароходы. Грузчики, согнувшись и торопливо и напряженно переставляя ноги, таскали одни с берега, другие на берег – тюки, кипы, бочонки, ящики, полосы железа. Над рекой и берегом стоял говор, стук, и по гладкой, чуть шевелящейся воде в раннем, еще не успевшем разогреться утре добежал до другого, плоско желтевшего песчаного берега.

Антип макал в жестяную кружку с водичей сухари и хрустел на зубах. Латаный, рваный, с вылезавшей в дыры грязной шерстью полушубок держался на нем коробом, как накрахмаленный, и было в нем что-то наивное.

– Фу-у, черт, да что такое?.. – проговорил матрос, останавливаясь во второй раз. – Ведь это от тебя... Ступай ты отсюда, тут господа ходят...

– Ну что ж...

Антип поднялся и, держа грязную сумку и кружку, перешел и сел на краю пристани,

свесив ноги над весело и невинно колебавшейся внизу водой.

Пароход, шедший снизу и казавшийся маленьким и пузатым, закричал толстым голосом, и торопливо бегущая над ним белая полоска пара колебалась и таяла в свежем воздухе. С песчаного берега добежал точно такой же пароходный голос, и странно было, что берег был пустой и никого там не было.

Пароход, делаясь все пузатее и гоня стекловидный вал, работал колесами, и приближающийся шум разносился по всей реке. Колеса перестали работать, и пароход, молча, тяжелый и громадный, надвигался по спокойной, чуть колеблющейся, отражающей его воде. Навалился к пристани, притянули канатами, положили сходни, вышли пассажиры.

Потом стали таскать багаж, товар, а черная труба оглушительно, с тяжелой дрожью, стала шипеть, напоминая, что в утробе парохода, не находя себе дела, бунтует клокочущий сдавленный пар.

Когда выгрузили, стали таскать тюки, ящики с берега на палубу. Антип незаметно с крючниками пробрался на пароход, высмотр-

рел местечко и залег между кипами сложенной шерсти. Было душно, голова взмокла от пота, и ничего не было видно. Слышно только, как топали тяжелыми сапогами по палубе, как падали сбрасываемые в трюм тюки, как с гудением шипела труба, и от этого гудения по всему, что было на пароходе, бежало легкое дрожание.

Антип лежал и думал, что забыл попросить не запрягать кривого мерина, – хромать стал; припоминал, куда положил старую уздечку, и думал о том, что баба непременно дождется и не умрет до него. И когда он думал о бабе, становилось особенно тесно и душно лежать, и он ворочался, и все боялся, что его откроют.

Покрывая топот ног, говор, нестерпимо оглушительное шипение трубы, зазвучал наверху чей-то гудящий голос. Он долго, настойчиво тянул, – густой, грубый, упрямый, призывая кого-то, кто был далеко и не слышал или не хотел слышать, потом отрывисто и коротко оборвался, как будто сказал: «Ладно, по-гожу».

Опять топали ноги, слышались отдельные

голоса, дрожа, шипела труба, и было тесно и душно. Время между тюками тянулось медленно и трудно. Казалось, ему и конца не будет. Но пароходный гудок снова потянул настойчиво и упрямо, и два раза отозвался: дескать, погожу еще.

«Упрел», – думал Антип, и ему пришло в голову, как бабы в печи ставят кашу в горшке вверх дном, чтобы лучше упревала.

Долго лежал.

Наконец в третий раз потянулся грубый и упрямый голос и трижды обрывисто оборвал: дескать, ждал, а теперь не прогневайся. Разом смолкло надоедливое шипение, и в наступившей тишине чудилось ожидание. Сильное мерное содрогание побежало по пароходу и уже не прекращалось. И хотя было по-прежнему тесно, душно, темно – Антип с облегчением вздыхал, чувствуя, что пароход двинулся, и, изнемогая от духоты, дышал, раскрыв рот.

III

На пароходе было так, как бывает всегда. На корке и на верхней площадке – господа, на носу – серый, простой люд. Кто пил чай, кто

закусывал и, отвернувшись, выпивал из горлышка, иные сидели и разговаривали, иные лежали на скамьях, на полу. Были богомольцы, были лапотники, торговцы, женщины с ребятами, мещане, люди неопределенной и подозрительной профессии.

Матрос шестом мерил глубину и лениво скидывал на секунду вверх пальцы руки, нехотя взглядывая на капитанский мостик.

– Чудеса! – говорили те, что сидели возле кип с шерстью. – Дух от нее, от шерсти, чижолый.

– Чижолый дух, чисто дохлятина.

– Гм!.. – вертел носом матрос, проходя мимо, – несет... должно, с берега.

– С берега, откуда же больше? Всячину на берег-то валят.

Пошел контроль.

Публика подымалась, из карманов, из-за пазух доставала кошельки, кисеты и, порывшись, вытаскивала билеты. Матросы заглядывали под лавки, между мешками, ящиками, осматривали все уголки и, нюхая вонь, несущуюся от кип с шерстью, добрались до Антипа.

Подошел капитан. Собрались любопытные. Между кипами покорно глядел на публику весь покрытый заплатами зад и истоптанные, заскорузные подошвы, – Антип неподвижно лежал ничком, уткнувшись в шерсть.

Кругом засмеялись.

– Вылезай, черт вонючий!.. Ишь ты, забрался... младенец!..

Матрос завернул ему на спину полушубок и сунул ногой, и Антип ткнулся в шерсть, потом выполз задом и поднялся. Лицо было красно и потно, взмокшие волосы обвисли.

– Билет?..

– Ась?

– Ну-ну, не притворяйся!.. Я тебе притворюсь... Билет, тебе говорят...

– Билет-от?.. – недоумело, ухмыляясь, оглядел он всех. – Билета нетути.

– Как же ты смел без билета?

– Без билета-то? Потерял, стало быть... – И он опять, ухмыляясь, недоумело оглядел всех, точно спрашивая, зачем его заставляют врать, ведь и так ясно.

– Да ты что зубы-то скалишь?.. А... Без билета, да еще скалишь...

Красное от загара и водки лицо капитана стало багроветь. Побагровела шея, лоб, напряжились жилы. А Антип стоял перед ним, ухмыляясь губами, лицом, бровями, и назад насмешливо оттопыривался, как лубок, рванный полушубок.

Публика посмеивалась.

– Что с него!.. Шиш с маслом...

– С голого, как со святого...

– Молодчага!.. Чистенький, как родился.

Одна кожа, да и та боговая...

– Вот ты и потанцуй около него, – на-кось, выкуси...

– Ей-богу, молодчага!..

– А то они мало с нашего брата дерут... Нашим братом только и наживаются... Что господа! Ему каюту целую подай, да чтоб чисто, да хорошо, да убранство, – и денег-то его не хватит, так только, одна оказия, будто платят больше...

– И-и, бедному человеку, где ему денег набраться... Много ли ему места надо? – сердобольно говорила женщина, суя открытую грудь кричавшему ребенку.

– Хо-хо-хо... молодца!.. Антип ухмылялся.

– Куда едешь? – прохрипел капитан.
– В Лысогорье.
– Во-во-во... Как раз одна станция, – слез и пошел...

– Ха-ха-ха!..

– Я жж тебя!! – И большой, волосатый, весь в веснушках кулак с секунду прыгал у самого носа Антипа, точно капитан давал его понюхать.

Капитан пошел дальше. Не слышно было за шумом колес, что он говорил, но долго видна была багровая шея и широкий тупой затылок, злобно перетянутый шапкой.

IV

Антип то стоял на носу, то сидел, привалившись к кипам шерсти. Берега плыли в одну сторону, а смутно видневшиеся на горизонте церкви, деревни, мельницы бежали в другую. Люди ходили, сидели, лежали на палубе, а пароход шел да шел, независимо от желаний и цели этих людей. Казалось, он торопливо работал колесами не затем, чтобы развозить их по разным местам реки, а делал свое собственное дело, особенное, ему только нужное и важное.

С холодно синевшего неба равнодушно глядело негреющее сентябрьское солнце. Было скучно, и время так же тянулось, как однообразно тянулись берега.

– Подь сюда... Ей-богу, молодец!.. К примеру, ты высчитай, сколько они с нашего брата барыша лупят... Стань-ка под ветерок, очень уж ты духовитый... Их, чертей, учить надо!.. Хочешь водки?..

Бритый, весь в угрях, с рваным картузом на затылке, человек, сидя на палубе, распорядился закуской и засаленными картами.

Вокруг разостланной газеты с нарезанным на ней хлебом и закусками сидели два товарища. Один – мелкий торговец, с волосами в скобку. Другой, длинный и прямой, с вытянутым носом, вытянутым лицом и поднятыми углом бровями, сердито и строго глядя на кончик носа, жевал не дававшуюся, как резина, колбасу.

– Покорно благодарим, – говорил, утирая усы, Антип, чувствуя, как приятно и жгуче разливается по жилам водка, и прожевывая хлеб.

– Опять же сказать, взять с тебя нечего...

– Обыкновенно, нечего, весь тут.
– Ежели протокол составить, так и бумаги ты не стоишь.
– Это уж так.
– Ну, дадут раза по шее, и все.
– Чай, не перешибут.
– А то вот есть иностранное царство, – заговорил вдруг длинный тонким голосом, подняв глаза, и глаза у него оказались круглые и совсем не гармонировали с впечатлением длинноты, которое лежало на всей фигуре, на лице, – там возют всех даром, хоша на конке, али в вагоне, али на пароходе. Сейчас подошел, – дескать, туда-то мне. «Пожалте», – и валий. Вот как.

Он засмеялся, и опять разъехавшееся лицо, по которому побежали морщинки, нарушило впечатление вытянутости и длинноты.

Антип ухмылялся, чувствуя себя героем, поглядывая на капитанский мостик. Там стояли только два лоцмана и равнодушно и, казалось, без всякой надобности вертели штурвал.

– В карты можешь?

– В карты?.. Без денег каки карты...

Антип отошел и опять привалился к кипам и слушал, как без отдыха шумели колеса, дышала черная труба и бежал назад песчаный берег.

Неохотно ехал он. Отвык от деревни, отвык от жены, от семьи, в городе у него была любовница. За пятнадцать лет был дома не больше двух-трех раз, недели на полторы, на две, и всякий раз с удовольствием опять уезжал в город. Казалось ему, что тесно, грязно, беспокойно живут мужики. И хотя у него самого была работа грязная и нечистая, он чувствовал себя независимее, был уверен в завтрашнем дне, и кругом было больше порядку, благообразия. Но половину своего заработка аккуратно отсылал семье. Он не спрашивал себя – зачем, а делал это из месяца в месяц, из года в год, потому что дома пахали, сеяли, держали кое-какую скотину.

К жене относился совершенно равнодушно, но было жалко, что она помирает, и надо было распорядиться по хозяйству.

Все те же звуки, то же движение, все то же мелькание берега и убегающей воды. Веки слипались. С трудом разбирался, где он и что

с ним. И дальние деревни, бегущие вперед, и влажные отмели под блеском солнца убегающие назад, и угреватый с картузом на затылке, и длинный с длинным лицом, и женщина с плачущим ребенком, и груды товара на палубе – все путалось в движущейся, неясной, двоящейся картине.

Он не знал, сколько спал, а когда открыл глаза, – было все то же: холодное солнце, светлая река, бегущий берег, убегающий вперед синий горизонт.

Антип встал, почесался, зевнул, покрестил рот и опять сел.

Далеко на отлогом берегу зачернелось что-то. Сначала нельзя было разобрать – что, потом с трудом обозначились люди, повозки, лошади, а у берега лодки. По дороге, видно было, кто-то спешил, подгоняли лошадей, а они торопливо бежали, и пыль сухая и, должно быть, холодная тяжело подымалась из-под колес.

Деревни Лысогорья не было видно, – она верстах в семи за бугром, – но уже все было знакомо: поворот реки, луг, поросшие осокой озерца, рощица, пыльная дорога и одиноко

белевшие на лугу гуси.

Антип вскинул на плечи мешок и прошел к борту, около которого уже суетились матросы. Стопились пассажиры с мешками, сумками, котомками, сундучками.

– Задний ход!..

С шумом вспенили воду колеса, пароход навалился, притянули канатами, перебросили сходни. Пассажиры, теснясь, протаскивая сундучки, сумки, устремились по сходням. Антип, тоже теснясь, двинулся со всеми, но матрос грубо оттолкнул его:

– Куда ты?.. Назад!..

Антип с удивлением остановился. Потом лицо его расплылось в благодушную, широчайшую улыбку.

– А мне здесь слезать.

Матрос снова оттолкнул его так, что он покачнулся.

– Да ты што!.. Мне, сказываю, слезать здесь...

– Назад, тебе говорят...

– Да ты што... ты што!.. – чувствуя, как злоба перекашивает лицо, говорил побелевшими губами Антип и рванулся по сходням.

Подскочил другой матрос. Здоровые, молодые, сильные, они подхватили, почти подняли Антипа на воздух и бросили на палубу. Он задом пробежал несколько шагов, мотая руками и стараясь удержаться, но не удержался и повалился на спину, высоко вскинув ноги в рваных, истоптанных сапогах и показав заплатанные порты.

Кругом захохотали.

Спеша, прозвучал пароходный гудок, выбрали сходни, канаты, заработали колеса и пристань с лошадьми, с людьми, с повозками, с лодками у берега поплыла назад, и все стало маленьким, миниатюрным, потом смутно и неясно зачернело на отлогом берегу, потом потонуло и пропало за поворотом, и была только река, бегущие вместе с пароходом дальние деревни да убегающие назад берега.

И солнце равнодушно смотрело негреющими, холодными лучами.

V

Антип был ошеломлен и не мог прийти в себя.

– Дозвольте... то ись, как это... оно, значит... мне, стало быть...

– Вот тебе и дозвольте... Хо-хо-хо... Не хочешь, а везут.

– Ха-ха-ха...

– А-а, братец мой, а ты как же думал, так это тебе и сойдет с рук?.. – говорил угреватый, еще больше сдвинув картуз на затылок. – Почему такое другие пассажиры должны платить, а ты задарма?.. Не-ет, милый, не резонт... Покатайся-ка... хе-хе-хе... В Лысогорье, говоришь?.. А то нам без тебя скучно...

– Вот от таких-от самых зайцев и воровство бывает, – спокойно наливая из жестяного чайника в стакан мутный чай, говорил торговец. – В вагоне ежели учуешь под лавкой зайца, зараз зови кондуктора, беспременно упрет что-нибудь. Один раз вез пару арбузов, закатил под лавку – цап!.. мягкое, патлы: ага – заяц!.. Пожалел, не заявил... Опосля захотелось арбузика, полез – одни шкорки. Вот они, зайцы.

– Честные господа... да как же так?..

То, что произошло с ним, было так чудовищно, так бессмысленно-огромно, что он каждую минуту ждал, – они поймут весь ужас происшедшего, и, ожидая этого, он улыбался

мучительной улыбкой, глядя на них, и руки у него тряслись.

Но они так же спокойно продолжали пить чай. Публика, поговорив и посмеявшись, опять расположилась по местам.

Бежала вода. Непрерывно шумели лопасти колес. Далеко тянулся пенистый след.

– Ах ты, божже мой!.. – бормотал Антип, хлопая себя по ляжкам, и обращался то к одному, то к другому из проходивших матросов: – Как же так?.. Господин!.. Сделай милость... Ведь мне в Лысогорье надо слезать...

Но те либо посылали к черту, либо молча проходили, не отвечая.

Поворот за поворотом, отмель за отмелью уходили назад старые знакомые места, а навстречу бежали новые деревни, луга, перелески. Пароход бежал вперед, и город уходил назад в смутную, неясную даль, – город, представление о котором сливалось с представлением неподвижных, спящих каменных громад.

Каждую ночь, зимою и летом, весной и осенью, в слякоть, дождь, грязь, мороз и в тихие лунные ночи Антип выезжал на бочке и

трясся по мостовой, а сзади с таким же грохотом тянулась вереница таких же угрюмых, неуклюжих бочек, и на них тряслись молчаливые возницы.

Они проезжали мимо темных и молчаливых церквей, мимо садов, скверов, бульваров, театров, проезжали молча среди грохота тяжелых колес, и по обеим сторонам стояли строгие дома, сонные, со слепыми, невидящими окнами, и так же молчали. И целую ночь качал Антип липкий насос, а под утро, когда серело небо, серели дома, мостовые, панели, телефонные столбы, он тянулся в веренице грохочущих бочек по тем же безлюдным, молчаливым, крепко спавшим предутренним сном улицам. Он жил на окраине, грязной и заброшенной. И в короткие промежутки между сном в течение дня и ночной работой, когда приходилось ходить и убирать лошадей, он видел дневной свет и живых людей.

Но теперь, по мере того как пароход уходил все дальше и дальше, все это тонуло в туманной дымке, становилось чуждым и далеким.

Солнце стало склоняться, и от бегущих ле-

систых обрывов легли на воду бегущие вместе с ними тени. Потянул ветер, острым холодком пробираясь в дыры рваного полушубка, посерела и подернулась сердитой рябью река.

– Вот этот самый, – говорили, когда Антип тоскливо проходил мимо пассажиров, – захотел нашармака проехать, а теперь его и катают...

Антип останавливался около машинного люка и долго смотрел внутрь. Там все было необыкновенно. Длинные, в руку толщиной, стальные оглобли, блестящие и скользкие от масла, торопливо выскакивали и прятались. Коленчатый вал так же торопливо с размахом крутился, и, покачивая головками, независимо от размашистых, мелькающих движений остальных частей, чуть поблескивая, тихонько и задумчиво двигались взад и вперед тонкие длинные стержни.

Эта огромность и непрерывность работающей силы поглощала Антипа, и он подолгу стоял над люком. Белесо-дымчатый пар местами таял над торопливо работающими частями, и то там, то здесь со спокойными дви-

жениями появлялась рука, и масло тянулось желтоватой струей из длинной лейки в сочленения работающих частей.

Антип подымал голову и с тоской глядел на сердито бегущую навстречу реку, на начинавшее хмуриться холодное небо. Хотелось есть. Вытрусил из сумки крошки, перебрал на ладони, струсил кучкой, съел, потом долго, растягивая, запивал водой. И опять нечего делать, и опять все то же.

Стало вечереть, и небо совсем посерело, когда показалась пристань. Антип повеселел. Хитро ухмыляясь, скосив глаза, он отошел дальше от борта и притаился между ящиками.

Поднялась обычная суета. Выждав момент, Антип, как крадущийся кот, направился к сходням, но матросы снова грубо и злобно оттолкнули его. Он завопил не своим голосом:

– Крррр-а-у-у-ллл!.. Убивают... Господин капитан!..

– Да ты что орешь?.. Поори, зараз свяжем...

Антип шумел, рвался, кидался к сходням. Раза два ему сунули снизу в подбородок, он ляскнул зубами, и шапка съехала на глаза.

Пароход пошел. Опять собралась публика.

– Это что такое?

– Да опять энтот, как его...

– Ну, скандалист... Орет, как резаный.

– В трюм сам просится...

– Да больше ничего.

– Господа!.. честной народ!.. – говорил Антип, страдальчески подняв собранные брови. – Што такое?.. Как же так... братцы!.. А?..

– Дурак ты, дурак... Ты сообрази. К примеру, хозяин парохода... Эка радость ему тебя за даром возить... Ежели у него да набьется полон зайца... Тебе спусти – другой влезет, третий, четвертый, – оглянуться не успеешь, пассажирам садиться некуда, везде заяц... А ведь деньги идут: капитану плати, служающим плати, матросам плати, а угля сколько он жрет, страсть. Тебя провези, другого, третьего – да и полетишь в трубу.

– А как же, – воодушевляясь, заговорил торговец, – по нашему, по торговому делу, копеечка рубль бережет... Ты спусти раз приказчику, он те сразу дорожку найдет...

– Вонь от тебя стоит, – с сожалением, покачивая головой, проговорил тонким голосом

длинный.

– Пошел ты, дьявол вонючий!.. Как из бочки. И зачем их таких на пароход пуцают.

– Кто его пуцал! Сам влез. – Картуз сердито высморкался, дернув сизый нос.

В холодной реке потухла красная заря. Пароход, не переставая, работал колесами, вползая в сырую мглу. И она становилась гуще, глуше, поглотила берега, реку, небо. Только электрические лампы и фонари на мачтах боролись с ней, холодной и темной, и, дробясь, ложились живой колеблющейся полосой miriады искр, играя по темной, невидимо шевелящейся воде.

VI

Антип размяк и ослаб. Без цели слонялся или подолгу стоял и все ухмылялся бессильной, униженной улыбкой, сам не замечая этого.

На кухне повар и поваренок в белых колпаках торопливо варили, жарили, резали красное мясо, разрубали крошившиеся под тяжелым ножом белые кости. Антип расширял ноздри, втягивая щекочущий воздух, потом отводил нос в сторону. Откуда-то доноси-

лось:

– Ше-есть... шесть... четыре... четыре с половиной... ше-есть...

Неподвижно стояла ночь, и слепой холодный мрак мертво глядел со всех сторон. Казалось, среди моря тьмы пароход стоял на одном месте, и колеса бесцельно и зря работали, и не было видно ни брызг, ни пенящихся валов.

– Ах тты, божже мой!..

– Ванька, сундучок куда поставил?

Шумели колеса.

– Мм... э-э... это вы?.. Это вас?..

Перед Антипом стоял барин на тонких ногах. В глазу поблескивало стеклышко, и от стеклышка к жилету бежал шнурок, а тонкая и длинная шея сидела в белой высокой кадучечке, из которой выглядывала голова.

– Это над вами... мм... э-э... насилие?

Антип сгреб с головы шапку.

– Ваше благородие... господин!.. Вот как перед истинным... Двести верст отвезли... Мне в Лысогорье...

Господин подобрал верхнюю и оттопырил нижнюю губу, слегка прищулив свободный

глаз и поблескивая стеклышком.

– Жалуйтесь... Жаловаться надо... Протокол... Полиции заявите... Так нельзя.

– Ну да, а то как же можно, человека прут неведомо куда, – слышался голос из кучки, до этого молча стоявшей, не зная, как отнесется барин.

– Ваше благородие... барин хороший!.. Сделайте божецкую милость... Заставьте вечно бога молить... – с отчаянием заговорил Антип, делая поясной поклон. – Баба помирает... Обернуться не успею... Заставьте век бога молить...

Барин, все так же брезгливо-жалостливо подобрал и выпятив губу, осматривал сверху донизу Антипа.

– Жалуйтесь... мм... э-э... Я ничего не могу сделать... Жаловаться надо, – и он повернулся и пошел, выделяясь изо всех, кто был на палубе, светлым пальто, желтыми башмаками и высоким белевшим воротничком, из которого выглядывала голова.

– Слышь ты, жаловаться надо, вот и барин говорит.

– Да, а то не буду, што ль!.. Ей-богу... вот

приедем, подам заявление, зараз следствие производства, – говорил, нахлобучивая шапку, Антип. – Што я – каторжный, што ль? Не-ет, брат, не те времена!.. Теперича запрещено... крепостного права нету... Не-ет... брат!..

– Дурак ты, дурак... И куда ты пойдешь?.. Покеда пожалуешься, тебя верстов с тыщу провезут, жалуйся.

– С голоду сдохнешь.

Опять та же неподвижная ночь, неподвижный пароход, неподвижно и слепо глядящий мрак и без цели шумящие колеса. Ветер, острый и резкий, бежал вдоль палубы, и только потому и можно было догадаться, что шли полным ходом.

Пассажиры устраивались на ночь, кто как мог. Заворачивались с головой в одеяла, в мешки, скорчившись калачиком и втянув голову в плечи, лежали на скамьях, на тюках, на ящиках, на палубе, или, свалившись в ком по несколько человек, неподвижно темнели, и оттуда торчали ноги, руки, головы.

Антип опять забрался в шерсть. С холодным ветром из кухни приносило тепло и запах. И чудилась изба, нагретая печка, баба во-

зится с пирогами, ребяташки лазают по лавкам. Слышно, как работают колеса и бежит неустойчивое дрожание, и из-за него доносится лязг кос, шуршание падающей травы. Народ в косовице.

– Ше-есть... шесть... четыре с половиной... шесть... четыре...

Дядя Михей, высокий и жилистый, остановился, оперся о косу, отер пот с лица и лысины и закричал:

– Давай шесты с правого борта!..

Опять косогор, бродят телки, околица, осинник, березовая рощица, чуть тронутая холодным солнцем. Пахнет свежепеченым хлебом, квасом, за печкой шуршат тараканы.

«Э-эх!.. – думает Антип. – Пятнадцать годов...»

И он теперь понимает, почему аккуратно каждый месяц посылал домой деньги. Тут родился, тут жил, тут и помирать. Как живая, стояла деревня со всеми интересами, с бедностью, с лошадиным трудом, с вольным воздухом полей.

«Э-эх!.. Пятнадцать годов!..»

– Ванька, черт!.. да куда ты сундучок запро-

пастил?

Над жнивьем носится чибис и жалобно кричит.

– Чьи-ви... чьи-ви...

– Пя-а-ать... пя-а-ать... четыре с половиной... пя-а-ать...

«Пятнадцать... – поправляет Антип и радостно думает:- Молотьба зачалась... зерно-то... зерно – золото!..»

И он с наслаждением запускает руку в острроверхую живую кучу свеженамолоченного хлеба и вытаскивает полную пригоршню вонючей, густой, отвратительной жидкости... Золото!.. Бочка зеленая, неподвижно стоит впряженная кляча, неподвижны молчаливые улицы, церкви, театры, дома, мимо которых он ездит каждую ночь, в которых люди и которые немы для него так же, как деревья в лесу... Золото!..

«Э-эх, пятнадцать годов!»

– Убью-у-у!!

– Господа старики, кабы не прошибиться... Действительно. Сидорка – вор, – говорит Антип степенно, – ну только с конями ни разу не поймали. В Сибирь загнать человека – полго-

ря, да как отмаливать грех будем, ежели понапрасну? Кабы ошибочка не вышла. Вы караульте. Ежели накроете, так и Сибири не надо – кнутовище в зад, и шабаш.

– Убью-у-у!.. – куражится Сидорка.

– Известно, пьяный, – говорит Антип и хочет отойти и не может – ноги по колено увязли в земле, и Сидорка наваливается, огромный, и растет и кричит уже без перерыва так, что ушам больно, и глаза у него волчьи, светятся, как огни.

– Уууу-у-у-у!..

Ближе, ближе.

Антип подымает голову.

– Уууу-у-у-у!.. – несется, разрастаясь, из холодной ночи, и от этого тяжелого звука самый мрак, густой и неподвижный, кажется, колеблется.

Кругом смутно, неясно, выступают чьи-то руки, головы, ноги, смутно виднеются очертания тюков, а дальше безграничное море непроглядной темноты.

И в этой тьме встает огненное чудище. Тысячи голубоватых лучей, сияя и скрещиваясь, изламываются и дробятся в реке, тесня нехо-

тя, злобно и густо расступаящуюся тьму. Видны странные и неопределенные контуры, не мигая, смотрит красный и зеленый глаз, и, высоко вознесшись, отделенная тьмой, плывет одиноко белая звезда.

Антип не может разобраться и понять, и ему хочется опять к околице, на косогор, на покос с дядей Михеем... «Ку-уда?.. Назад!..» И он трясется на бочке, и бочка грохочет под ним железным грохотом, и неподвижно и мертво стоят каменные громады, заслоняя и околицу, и косогор, и телок, и людей, заслоняя самую ночь.

Баба машет рукой и что-то говорит, но Антип из-за непрерывного грохота, потрясающего ночь, не может разобрать и трясется все с той же улыбкой скуки и привычки к своему ночному делу.

«Ах ты, сердяга... измаялась... Пятнадцать годов!..»

И с щемящей, новой, незнакомой тоской он выбирается из тюков, подымается и протирает глаза. Множество огней, странно висящих во тьме, удаляются, тускнеют и гаснут, и вместе с ними удаляется непрерывающийся

могучий шум, и слабые отголоски его тонут в шуме колес.

Опять одна тьма. Ветер. Антип ежится. Угреватый, в картузе, лежит согнувшись, натянув на голову и на вылезавшие ноги пальто. Ему холодно, и он скрипит зубами и стонет во сне. Длинный свернулся калачиком, и можно подумать – это мальчик.

Антип с минуту стоит и вдруг вспоминает все, бьет себя об полы.

– Ах ты, божже мой!..

Потом опять стоит, озираясь, и снова лезет в шерсть. Сон, тяжелый и черный, как ночь, наваливается, и он спит тяжело, неподвижно, без сновидений.

VII

– Антип! – закричал кто-то пронзительно-тонким голосом.

Антип вскочил, как ужаленный.

– А?!

Возле никого не было.

Холодная река, берег, длинно протянувшаяся над горизонтом белесая полоса выступали из редющей мглы.

Пассажиры, разбуженные предутренним

холодом, подымались с заспанными, в красных рубцах, лицами, потирая руки, поеживаясь, греясь движением.

Пароход шел поперек, и берег плыл по воде ближе, ближе, и вода, холодно поблескивая, влажно лизала темные столбы пристани.

Когда навалились и положили сходни, Антип перекинул опустевший мешок через плечо и пошел. Он пошел спокойно и уверенно, как будто ничего не случилось и все шло, как надо. Он прошел по гнущимся сходням до конца, и пароход, как тяжело давивший кошмар, остался позади. Матрос, стоявший у конца сходен, загородил дорогу и оттолкнул его назад.

– А?.. Ты чего, милый человек?.. – удивленно и добродушно ухмыляясь, спросил Антип.

– Ступай... ступай назад... ступа-ай! – И матрос продолжал толкать его до самого парохода.

Та привычка, которая пятнадцать лет гоняла Анти-па между каменными немymi громадами, погнала его без сопротивления на пароход. Антип шел, ухмыляясь и бормоча:

– Оказия... Што тако?.. А?

Отвалили. Пристань поплыла прочь.

Первые лучи глянувшего из-за синей тучи солнца холодно блеснули по воде. И, в странной связи с ними, по палубе пронесся крик ужаса многих человеческих голосов:

– А-а!.. гляди, гляди!

Фигура с насмешливо оттопыренным назад полушубком мелькнула за борт. Все кинулись к борту, перегнулись, жадными глазами лова расходящийся по воде и убегающий от парохода круг. Погрузившись краем, плыла шапка, так же убегая назад от парохода.

– Гляди, гляди!.. Вон он... бьется, сердешный, к берегу...

Колеса оглушительно заработали назад. Матросы рвались как бешеные, спуская шлюпку.

– Мешок тянет...

– Да где?..

– Вон он... волоса моет...

– Кончено!.. Шабаш!..

– Опять выплыл... вон он...

– О господи!..

Сдавленный пар, дрожь, оглушительно шипел. Истерический бабий крик визгливо

метался по пароходу. Плакали дети.

На прыгавшей под ногами лодке матросы, задыхаясь и рискуя каждую минуту опрокинуться за борт, ловили что-то баграми в весело колеблющейся воде.

Уже высоко поднялось солнце, когда пароход пошел дальше. На палубе стояло возбуждение и беспокойный говор. Матросам нельзя было показываться.

– Ишь отъелся, идол пузатый!..

– Морда скоро треснет... Людей топите, на этом и жиреете!..

– Сволочи!

– За что человека утопили!.. За девять гривен? Чтоб вам ни дна ни покрывки!..

– И-и, проклятые!.. Как вы на свет-то божий смотреть будете... анахвемы!..

Работали колеса. Дышала труба. Светило холодное солнце. Убегала назад сердитая река, и все бежал вперед синий горизонт, дальние деревни, мельницы, зубчатая лента синего леса.

Обед*

Длинный стол, сиявший ослепительно белой скатертью, посудой, накладным серебром, загибался «покоем». Официанты бегали, торопливо заканчивая сооружение, а сотрудники кучками толпились возле столов с закусками, и легкий гул, как над шмелиным гнездом, стоял в зале.

И хотя все привыкли к этим ежегодным обедам объединения, сотрудники «Облачного дня» неловко толпились. Было не то скучно, не то надо было скорее садиться за стол. И только когда все уселись, и стали разносить кушанья, зазвенели рюмки, захлопали пробки, напряженность и принуждение исчезли, все заговорили, стояли смех, шутки, говор.

Все были хорошо, чисто одеты, торчали крахмальные воротнички, белели из-под рукавов манжеты, и все было как полагается.

Все было как полагается.

На почетном месте сидел директор правления, самый крупный акционер газеты, с собачьей золотой цепью на животе, с устало-презрительным выражением в умных глазах на-

чавшего с лаптей и кончившего миллионным состоянием мужика.

Горой возвышался огромным животом официальный редактор. Этим своим мясистым животом, маленькими глазками он говорил: «Только в покое... только оставьте в покое... что хотите – говорите, делайте, пишите, а меня в покое... я знаю свои три тысячи, и больше ничего...»

Фактический редактор, с неизменным выражением преданности директору, редактору, всем распоряжался, угощал, шутил... «Все вы, конечно, понимаете, что дело держится только мной и вся тяжесть ответственности на мне...» Так и понимали, и все обращались, льстили и ругали только его.

Сидели вперемешку, где кому как пришло, но казалось, сидят в несколько ярусов, и в последнем ярусе репортеры, корректора, конторщики. И хотя одеты они были так же безукоризненно, как и все, презрение стояло над ними.

– Господа, только при дружной работе, только при единстве... – Он слегка покачивался, и шевелившееся в бокале вино поблески-

вало. – Вот почему мы ежегодно собираемся... Разумеется, центр тяжести всякой газеты – в умственных силах, которые ее создают. Господа, что бы случилось с деревом, если бы корни и ствол из-под него были вырваны! Господа, основа всякого предприятия, будь то фабрика или чисто умственная работа, – материальное обеспечение. Ученый не мог бы открывать миры, философ не мог бы создавать системы, газета не могла бы бросать в массы светлые и яркие мысли, если бы кто-то другой не позаботился дать им материальные средства. В нашем предприятии огромную и трудную работу поддержания материальной стороны дела взял на себя многоуважаемый Степан Поликарпыч, – оратор, слегка наклонившись, сделал знак в сторону директора и, подняв бокал, громко возгласил: – Предлагаю вам здоровье Степана Поликарпыча.

Все шумно поднялись и потянулись чокаться с директором, и он с любезным и снисходительным пренебрежением протягивал свой бокал.

– Господа... господа... – говорил сияя высочайший крахмальный воротничок и золотое

пенсне, – господа... вы знаете тяжелое положение печати, вы знаете, как постоянно надо балансировать, с одной стороны, между необходимостью освещать... ну да, освещать должным образом общественные явления, с другой – между постоянной опасностью... мм... опасностью погубить газету. Все мы страдаем от такого положения вещей, но первые удары всегда принимает на себя каш уважаемый редактор Христофор Ильич. Предлагаю, господа, здоровье Христофора Ильича!..

Снова шум, движение, отодвигаются: стулья, тянутся рюмки. Христофор Ильич кивает головой, кладет руку на возвышающийся из-за стола живот, а другой слегка помахивает, дескать – хорошо... хорошо... только, пожалуйста, оставьте меня в покое...

Снова тосты, речи, все идет по порядку, правильно, как по рельсам.

Вместо глаз у всех стали узенькие щелочки; начал плавать приятный, качающийся шум, весь заполненный сияющим электричеством, говором, речами, звоном.

Улыбались глупо и неизвестно чему, и каждому хотелось сказать речь.

«Милостивые государи... нет, нет... господа... нет, просто... товарищи по работе... И это не то... Фу, ты! как глупо... Никуда я не годный человек! Главное – трус... величайший, позорнейший трус...»

Прорезая смех, говор, звон и восклицания, явственно раздалось:

– Господа, только два слова...

Репортеру в конце стола со страху показалось, что это он сам нечаянно заговорил, он боязливо поднял глаза – говорил небольшого роста передовик, сутулый, с желтыми глазами.

– Мне хочется внести... мне хочется осветить положение с другой стороны... Нет ничего скучнее показного, казенного...

Директор тихонько встал и проследовал из зала. Редактор, отваливаясь назад, чтобы поддержать перевешивающий живот, тоже без шума вышел. Фактический редактор, красный, с вспотевшим лицом, странно размахивал руками.

– Хорошо-с, Иван Николаевич, хорошо-с, мы вас слушаем... но надо же считаться с местом и с условиями...

– Так вот один говорит то, другой се, а ведь в сущности все мы... голые!..

– Довольно!..

– Перестаньте!..

– Продолжайте!..

– Не надо!..

– Просим!.. просим!..

– Продолжайте!.. продолжайте!..

– Иван Николаевич, просим... Кому не угодно, может выходить...

Зал разом преобразился, точно сдернули завесу. Сквозь дымчато-слоистые табачные волны остро лилось электричество, раздражающе-едко несся запах водки, вина, разлитого по скатерти, и из недопитых рюмок и сквозь тяжелый туман возбужденно пылали красные вспотевшие лица, сверкали глаза. Стройный порядок сбился, спутался, и высунуло голову что-то другое, лохматое и беспорядочное, все время таившееся, враждебное порядку и чинности.

– ...почему это можно знать и чувствовать, что я под пиджаком, под сорочкой – голый, а сказать об этом нельзя? Почему всем можно знать и чувствовать, что газета – это насос,

выкачивающий из рабочих, из сотрудников мысль, знание, труд, силы, здоровье во славу дивидендов господ акционеров, – знать и чувствовать это можно, а говорить об этом нельзя?

– Совершенно верно!..

– Я вот девятый год... а что я такое... надо об этом подумать...

– Вы говорите трюизмы, Иван Николаевич...

– Нет, позвольте, господа...

В табачном дыму, пронизанном тусклым сиянием, нервно метался говор. Кто-то опрокинул стул. Уронил зазвеневшую осколками рюмку. Проталкивались, говорили не слушая, тянули друг друга за рукав, каждый желал получить слово...

– ...Провозглашаем тосты, пьем, едим во славу объединения, товарищества, а эти товарищи горла друг другу готовы перегрызть. Разве секрет, что внутри редакции идет постоянная, ни на минуту не прекращающаяся борьба, борьба за власть, за вознаграждение, за значение и руководство в газете...

– Это слишком!..

– Верно...

– Правильно!.. Правильно!..

Снова взмывшие говор, крики, восклицания заглушили голос оратора.

– Позвольте... позвольте... – говорил фактический редактор, выдираясь из толпы, красный, взволнованный, вспотевший, то и дело поправляя пенсне на опухшем носу, – это уже личности, это прямой намек на меня, и я не могу этого оставить.

– ...якобы служим высокому делу прояснения общественного сознания, а на самом деле мы просто служим дивиденду господ акционеров...

– Неправда!..

– Верно!..

– Так зачем же вы сами работаете в газете?

– Это – лицемерие!..

– Ага, голому можно быть, а нельзя про это говорить.

– Нет-с, позвольте-с... – нервно поправляя пенсне, выкрикивал срывающимся голосом редактор, и жилы на лбу его надулись, – мне бросают упрек... это не в первый раз... меня упрекают, что я служу капиталу... Господа,

кто же вам велит служить, если это предосудительно... Детский, наивный лепет... Ну, организуйте газету без денег, и я с радостью первый пойду в нее работать. Разве я не понимаю, что приятнее, благороднее, чище, возвышеннее работать в органе, не зависимом от капитала... Организуйте же такой орган!.. Господа, ведь вы все стоите в стороне, вы только критикуете меня, а ведь все сношения, все столкновения, все удары Кит Китычей приходится выносить мне. За каждую лишнюю копейку гонорара мне приходится выслушивать длиннейшие нотации. Вам ничего этого не видно...

– Себя-то не забываете, на четыреста рублей в месяц жить можно!..

– Четыреста рублей!.. А вы думаете, много это – четыреста рублей, за те унижения, за те нравственные пытки, которыми покупается мало-мальски чистоплотный облик газеты. Вы говорите: четыреста рублей, но, господа, ведь я восемнадцать лет тянул лямку журналиста... у меня семья, у меня учатся ребятишки... Господа, неужели и под старость я не имею права на это? Что буржуазный орган...

Ну, хорошо, я уйду на улицу с семьей умирать с голоду, кто выиграет от этого? Вы проиграете, потому что теперешнее обеспечение сотрудников создано многолетней борьбой, я уйду, акционеры воспользуются случаем и сведут всех на пониженную плату... Никто не упрекнет в подлости нашу газету...

– В прямой... – эхом отозвался чей-то голос.

– Да, мы о многом не пишем, не говорим...

– Фигура умолчания, – снова, как эхо, отозвался голос.

– ...но мы не мракобесничаем, мы не лезем на стену защищать интересы капиталистов, и стоит мне уйти, сейчас же найдутся люди, которые, чтоб укрепить за собой положение, будут по-собачьи заглядывать акционерам в глаза, будут торговать и совестью и честью журналиста, и вам всем, господа, если вы уважаете себя, придется уйти.

Все молчали, не спуская глаз с отсвечивавшего потом влажного, потного, красного лица Короедова. И среди молчания, странно и неожиданно нарушая его, раздался одинокий хлопок, и через минуту нерешительного замешательства другой, третий, и весь зал за-

дрожал от аплодисментов.

И снова зал, весь сизый до самого потолка, заполнился голосами, смехом, восклицаниями, говором.

– Все образуется... все пойдет, как надо...

– Я на это так смотрю: надо же жрать, ну, вот и работаю в буржуазной газете... все равно кирпичи бы таскал...

– Разница, знаете... кирпичи-то безразличны для общества, а буржуазный-то орган вносит отраву...

– Извините, и из кирпичей, может быть, как раз строят тюрьму, в которую засадят лучших сынов народа...

– А знаете, вредное насекомое этот Иван Николаевич... от злости он говорит, но всегда в его словах ядовитое зерно правды.

Разбились по кучкам. Голоса становились хриплыми, усталыми, осовелыми. Зал пустел. Хотелось на воздух из духоты и табачного дыма.

Ковылин, небезызвестный журналист, вышел, с наслаждением глотая свежий воздух и стараясь удерживаться и не покачиваться. Фонари, заливавшие улицу синевой, то

необыкновенно далеко, безнадежно и с трудом брезжили сквозь туман, то назойливо и нагло лезли в самые глаза. Ковылин усиленно двигал бровями, стараясь ориентироваться. Кто-то взял его под руку.

– А-а, Игнат Матвеевич...

– Пойдемте вместе...

– Пойдемте.

Игнат Матвеевич, репортер, никогда бы не осмелился на такую фамильярность со знаменитостью, но, когда улица ковыляет и фонари кланяются, все становятся ровней.

– Вот, – говорил Игнат Матвеевич, худой, костистый, с добрым птичьим лицом и весь похожий на заработавшуюся клячу, которую плохо кормит хозяин, – всегда так, каждый год что-нибудь, а уж выйдет. Иван Николаевич – хороший человек, но... понимаете, когда с ним говоришь и он улыбается, так и ждешь – вот-вот сейчас скажет что-нибудь... и ведь он не врет или там ругается, нет, а всегда боишься...

Мимо без перерыва шли в обе стороны широкие панели, гремели пролетки по мостовой, потоками света заливали окна магази-

нов фонари, рассеивая ложившиеся вокруг тени.

– Ведь вот... ей-богу, – заговорил Игнат Матвеевич, с чуть тронувшей усы улыбкой усталого человека, но не той всегдашней улыбкой, с которой он ходил целый день, – как подумаешь: что ж... зарабатываю рублей полтора ста, а то двести в месяц, казалось бы, – хорошо... у дела такого стоишь, не то что в какой-нибудь конторе, чего лучше, а что же – я, право, половину бы отдал за другую жизнь... Бегаешь с утра до глубокой ночи, живешь, в сущности, на извозчике да в канцеляриях... Ведь не поверите, а иной раз упал бы, закрыл глаза, да так и лежал бы без сил, без дум, без желания. Секретари, председатели разных управлений, канцелярий – с каждым надо уметь, каждому надо знать, что рассказать... Знаете... я с жадностью читаю и слушаю разные скоромные анекдоты, записываю в книжку, выдумываю сам. Я их рассказываю по канцеляриям. Ничем нельзя купить так легко русского человека, как потешив сальным анекдотом. Соберется кружок, слушают, ухмыляются, у всех рожи масляные, и

вдруг заржут, а я рад, значит – дело в шляпе, все добуду, что надо... И надо уметь каждому улыбнуться, вовремя промолчать, поддакнуть, а ведь знаешь: перед тобой взяточник, мерзавец... Оно бы, знаете, ничего, но в конце концов тяжело... И то сказать, что же видишь? Стены редакции да на улице дома, да такие же стены в канцеляриях. С добрым человеком перемолвиться некогда, семьи не вижу, дети совершенно отвыкли, как к чужому... Знаете, иногда мечтаешь: вот бы поехал далеко-далеко, чтоб запаху этого городского не слышно было, этой гари от фабричных труб, этой вони дворов, и, главное, не слышно бы было этой трескотни по мостовой. Ах, как она одолевает меня! Иногда спишь, ночью проснешься, голова разворачивается от трескотни, вскочишь – ничего, на улице никого, тихо, это – у меня в голове... Да, думаешь, вот лег бы на траву, на зеленую, на яркую, лицом кверху и глядел бы, как облака бегут... час, два, три, неделю... право. Вы думаете, выпил, но... так вот с вами... свежий вы человек, а вот со своими, друг с другом мы и не говорим, приболтались... У меня ведь нет праздников,

отдыху, перерыву круглый год. Читатель ведь не терпит перерывов... Я ничего не читаю, ни о чем не думаю – некогда...

Он выпустил локоть Ковылина, помолчал, закуривая папиросу.

– Семья, – проговорил он задумчиво.

И это прозвучало, как удар похоронного колокола.

– Во всякой работе есть изнанки, тяжесть, – сказал Ковылин, чувствуя, что надо что-нибудь сказать, и не зная что, – взять службу в банках, в конторах, в тех же канцеляриях. Видите, там тоже... разной степени неприятности, однообразие... вообще, знаете, какая служба...

– Знаю, знаю, – подхватил Игнат Матвеевич с той же измученной улыбкой, – мне же на постоянно это же говорит: где бы я мог зарабатывать полтора ста, двести рублей. Все это так, только, знаете, как я в первый раз пришел в редакцию, сердце билось, ждал чего-то особенного, прилеплюсь, дескать, к огромному, большому, нужному делу, что наконец-то добился человеческой работы, положения, сознания важности ее...

Он снова помолчал, вынимая новую папиросу.

– Это – десять лет тому назад.

Кто-то толкнул: «пардон!..»

– Может быть, я вам надоел?

– Нет, пожалуйста, я с удовольствием...

– Знаете, всего этого не замечаешь; день уходит за днем, не успеешь оглянуться, на себя некогда посмотреть, а вот с вами это – редкий случай, хоть на минуту оглянись, и, знаете, приятно это как-то... да... а то бежишь, как почтовая кляча... Да... что вам скажу: теперь мне тридцать шесть лет... хорошо, пока ноги бегают, кормлюсь, но ведь силы-то не прибавляются, а убавляются, и придет время, стану только шагом ходить или совсем остановлюсь, а у меня пятеро, да старики. Что ж, – на улицу? Ведь газета ломаного гроша не даст, а шагом здесь не велят. Стоит мне ослабеть, как двадцать человек на мое место. Конечно, инвалида кормить перестанут, а мое место двадцать человек караулят... Приспособляться к другой работе поздно... Застраховал, знаете, свою жизнь в десять тысяч рублей, триста рублей в год приходится пла-

тить... Конечно, тяжело отрывать триста рублей в год, но не в этом беда, а в том, что... Страховое общество дало мне копилку механическую, и теперь все, все в доме зависит от этой копилки. Всякий лишний двугривенный, гривенник, пятак – всё это тащат в копилку, и целый месяц только все и думают, чтоб к первому числу открыть ее и высыпать двадцать пять рублей. Я живу, знаете, не настоящим, я живу будущим, даже не будущим, а тем днем, когда я умру и семья получит десять тысяч рублей. У меня вся жизнь теперь, вся приурочена к этому дню, я о нем думаю, о нем забочусь, о нем говорю. Тогда семья будет обеспечена, все отдохнут, успокоятся...

Ковылин остановился и внимательно посмотрел на Игната Матвеевича.

– А знаете... знаете, вы – интересный тип... материал для хорошенького рассказа.

И, достав сафьяновую книжку, бегло занес, какие-то пометки.

Сердце*

I

Непроницаемая тьма стояла над тихо дышавшим, и не было видно ни сомкнутых глаз, ни лица, ни молчаливо простертого тела.

Из-за невидимых стен, из-за тускло глядевших окон не доносилось ни звука. До поры сдерживаемая и таящая нечто значительное и угрожающее, молчаливая мгла нескончаемо выползала неведомо откуда, заполняла комнаты, дом, весь мир и пропадала неведомо где. И время, заполненное пустотой и молчанием, также незримо тянулось, и не было ему конца и краю.

Часы в столовой, нарушая таинственность и напряжение, ударили раз... И звук удара понесся по комнатам, дрожа и колеблясь, становясь все тоньше и тоньше, пока не впился, качаясь, в смутную даль. И тогда потянулся нестерпимо звенящий звук, рождая беспокойство и тревогу.

Егор Матвеевич понимал, что он спит, и это – беспокойный, спутанный, сливающийся

с действительностью сон, что все это необычно и особенно, и надо с этим бороться. И чтобы побороть эту необычность, он сделал усилие представить себе все, что было на самом деле: стены, мебель, ковры, картины, потолок – все, поглощенное ровной, одинаковой тьмой, а на постели, также поглощенной тьмой, под мягким одеялом неподвижно распростертое тело известного в городе адвоката, вчера праздновавшего пятьдесят первую годовщину своего рождения. Были гости, пили шампанское, было шумно и весело. И этот адвокат – он, Егор Матвеевич. И, по-видимому, имея какую-то внутреннюю связь со всем этим, все еще дрожит и колеблется в неподвижной темноте звук только что ударивших часов.

Пока он был занят этими соображениями, темнота вся была наполнена пустотой, молчанием, неподвижностью. Но когда забвение смыло эти представления, снова разгораясь, как тонкая искра, нестерпимо повышался звенящий звук, пронизывая острою болью судорожно, испуганно трепетавшее сердце. Тьма, бесстрастная и мертвая, шевелилась

неуловимо изменчивыми уродливыми очертаниями, и чудилось чье-то присутствие, таинственное и неосязаемое. Он был невидим, с лицом, затянутым чернотой ночи, приземист и неуклюж.

Егор Матвеевич понимал, что если бы он и мог поднять руку и взмахнуть ею, то она рассекла бы только воздух. Но он не мог шевельнуть ни одной мышцей, и чье-то таинственное и, как казалось, враждебное присутствие вопреки всем его усилиям неосязаемо ощущалось.

Чтобы выйти из этого тягостного состояния, Егор Матвеевич, чувствуя свои неподвижно закрытые веки, проговорил:

– Не хочу.

А тот также беззвучно ответил:

«Упраздняется... с разделением...»

Егор Матвеевич с минуту молчал от неожиданности. Это было не только неожиданно, но и бессмысленно, и ни с чем не вязалось, – и оттого, что оно было бессмысленно и ни с чем не вязалось, удивление Егора Матвеевича стало переходить в неизъяснимый, давящий, животный страх. Он трясся весь

неудержимой внутренней дрожью, сердце с безумной болью трепетало, но сам по-прежнему лежал неподвижно.

– А-а... так вот как!.. – проговорил Егор Матвеевич, чувствуя, что уже больше того, что сейчас произошло, не произойдет и не откроется, и в то же время чувствуя, что самое главное и самое страшное стоит возле, отделенное тонкой незримой преградой, и каждую секунду может открыться во всем своем ужасе и наготе.

«Упраздняется... с разделением...»

Смертельная, никогда не испытанная тоска ледящим холодом стала вливаться в измученное, судорожно трепетавшее сердце, и, когда напряжение достигло предела, раздался удар, потрясший до основания весь дом.

Егор Матвеевич раскрыл глаза. Он весь дрожал, сердце судорожно билось, со лба капал холодный пот. Первое, что поразило его, это – среди глубокого молчания бой часов. Они ударили раз в столовой и, дрожа колеблющимся негодующим отзвуком, смолкли.

Сколько ударили? Быть может, это был последний удар трех, четырех, пяти часов? А

быть может... Он засыпал около двух, слышал первый удар двух, это – второй, и то, что казалось ему долгим, долгим, как жизнь, помещалось между двумя ударами.

Стуча зубами, которые тщетно пытался стиснуть, он торопливо приподнялся на трясущихся руках, стал на четвереньки, напряженно и неестественно вытянув шею, которая казалась в темноте длинной и уродливой, и жадно, с пересохшим горлом, стал вслушиваться.

То, что из всех ничего не подозревающих людей, которые спали в доме, только он один слышал и чувствовал, что происходит что-то необычное и особенное, наводило неизъяснимый ужас гнетущей, давящей тоски.

Он сел на постель, стараясь подавить животный страх, и приложил руку к сердцу: оно билось, шевеля сорочку.

Сердцебиение!

Он был рад, что подыскалось обыкновенное, естественное объяснение, и в то же время чувствовал, что это – не все, что за этим таится что-то не менее страшное. Холод тоски и предчувствия, как мороз в покинутый дом, за-

ползал в судорожно с приостановками бившееся сердце. Он ощущал отчетливой ясно, что над ним стояло что-то неотвратимое, тяжелое, жестокое, беспощадное, готовое каждое мгновение сорваться с тонкой, как шелковинка, нити.

Дрожащими руками пошарив на столике, не узнавая и роняя в темноте предметы, он наткнулся на спички.

Белый огонек на секунду озарил стены, стол, бумаги, кровать, концы пальцев. Они были розоватые и незнакомые. Потом мгновенно все потонуло в темноте. Он снова нащупал рассыпанные спички, зажег одну из них и, тыкая мимо черной светильни, наконец зажег свечку. Выступили стены, лепной потолок, застилавший весь пол мохнатый ковер, тяжелые драпри, мебель, вся обстановка, поразившая его в первую секунду новизной, как будто он все это в первый раз увидел.

Дробно стуча графином о стакан, он налил себе воды, выпил, удерживая стучавшие зубы, боясь одного – чтоб не воротилось невыносимое состояние этой давящей смертельной тоски, посидел еще с расстегнутой, мок-

рой от пролитой воды сорочкой, потирая себе грудь.

Пришла странная мысль, что сердце, ни на секунду не останавливаясь, пятьдесят один год билось в груди, а он никогда не замечал, не думал о нем и вдруг сейчас неожиданно почувствовал, что оно есть, что оно бьется, что от него зависит жизнь. Пламя свечи чуть-чуть шевелилось, и шевелились тени на полу, уродливые и живые.

«Отчего бы это? – подумал Егор Матвеевич. – Ничего тяжелого на ночь не ел...»

Он лег, потушил свечу, полежал некоторое время в темноте, и темнота была обыкновенная, и ничего таинственного в ней не было. Потом уснул и спал тяжело и неподвижно, без сновидений.

II

– Ты бледен что-то, – говорила утром Екатерина Ивановна, касаясь губами лба Егора Матвеевича, нагнувшегося к ее руке.

– Ничего... пустяки...

– День сегодня будет славный.

– Да, зима ровная... хорошо – морозно, и нет ветров. – Егор Матвеевич развернул газе-

ту и стал привычно бегать по строчкам.

Веселое зимнее солнце, играя в стаканах, заливало белую ослепительную скатерть.

С приподнятыми, как птичьи крылья, тонкими черными бровями, матовым лицом и легким двойным подбородком, подчеркивавшим округлость и полноту форм физического расцвета, Екатерина Ивановна, с ленивой медлительностью несознаваемой грации избалованной, спокойной, полной довольства жизнью женщины, спокойными, уверенными движениями разливала чай. И когда говорила, из-под длинных, лениво полуопущенных ресниц глядели темные глаза. От белой, лебединым изгибом выбегающей из низкого кружевного выреза шеи, от ленивых, полных грации движений веяло обаятельностью, здоровьем, полнотой и удовлетворенностью жизни.

Двадцать лет назад Егор Матвеевич женился на молоденькой, грациозной девушке не только потому, что она нравилась, была красива, неглупа, но еще и потому, что была моложе его на пятнадцать лет. Это необходимо, ибо женщина изнашивается скорее муж-

чины. И теперь, когда ему уже пятьдесят один год, никто не поверит, что у нее сын студент, и ему, Егору Матвеевичу, не надо волочиться искать других женщин.

Самовар тоненько пел, в граненом серебре его весело играли солнечные искры, и это тоненькое пение, отличавшееся ото всех звуков в доме, тоже говорило об уюте, спокойствии, довольстве, хорошо налаженной жизни.

– Доброе утро, мама.

С румянцем на подернутых пухом щеках, с кудрявящимися волосами, мягко и быстро вошел в студенческой тужурке юноша, поцеловал мать и кивнул отцу.

– Дай-ка «Листок»... Раисе Невстроевой вчера громаднейшую корзину цветов, колье... овазии... – говорил он ломающимся молодым торопливым голосом, быстро и в то же время мягко, по-юношески садясь, беря газету, чай.

– Талантливая артистка, – заметила Екатерина Ивановна, ставя чайник в теплое гнездышко и заботливо накрывая подушечкой.

– Что ты находишь талантливого?.. Красива она, да. Зато полное отсутствие чувства меры, мелодраматический шепот, истерические

выкрики... Ну, мы ж ей вчера... Думал, галерея провалится: свист, кошачья музыка...

– Уж вот этого не понимаю... Студенты, в форме, приличная, воспитанная молодежь, и вдруг начинают кричать, как извозчики, топтать, беситься... Просто не понимаю... Да и зачем ты ходишь на галерею?

«Отчисляется с отчислением?.. нет... с пенсией? с мундиром?.. Да нет же, чепуха...» – И Егор Матвеевич беспокойным усилием старался вспомнить то бессмысленное и страшное, что так отчетливо слышал ночью.

– Мама, но ведь простое чувство правды... Если можно прилично аплодировать, выражая похвалу, то почему же не выражать порицания, недовольства?..

– Никто не говорит, но зачем же так грубо, по-уличному?.. Тебе еще чаю?

– Старика Лунского не встречал? – спросил Егор Матвеевич, стараясь подавить неприятную и тревожную память о проведенной ночи.

– Нет... его ведь нет... Сына взяли, уехал в Петербург хлопотать.

– Вот этого я тоже уж решительно не пони-

маю, – и Екатерина Ивановна даже покраснела, и ноздри ее даже раздулись, – да ведь это одной минуты покойной иметь не будешь. Пошел куда-нибудь – боже мой, как бы чего не случилось!.. Долго нет – места себе не найдешь, вернется ли, – что такое, почему... Да разве это жизнь?.. Это возмутительно!.. Неужели образование дается для этого?..

«Отпускается с... поздравлением... Да нет же, черт знает что лезет...»

Сын, наклонившись, пробежал газету и, не глядя, мешал ложечкой в стакане. Он любовно относился к матери и в то же время ни в какие принципиальные споры с ней никогда не вступал, так же как и Егор Матвеевич. Молчаливо была отмежевана область простых, обыденных, ясных отношений, и за этой чертой начинался мир, как бы не имевший никакого отношения к Екатерине Ивановне.

– Всякий своему счастью – кузнец, – проговорил Егор Матвеевич, желая заглушить неприятное, назойливо всплывавшее ощущение, ни к кому в особенности не обращаясь и перегибая пополам газету, – да даже и не счастьем... Счастье – чепуха, есть только жизнь.

Каждый кует свою жизнь и начинает ковать с пеленок, это – без преувеличения. – И, помолчав, добавил: – И каждый кует по-своему, и помешать ему нельзя.

– Так, Егор Матвеевич, рассуждать нельзя тем, у кого есть дети. Холостякам так можно рассуждать. Надо подумать о судьбе детей.

Егор Матвеевич деликатно дал ей докончить, не перебивая, и, когда она кончила, сказал, продолжая свою мысль:

– Всякому овощу свое время... Есть периоды в жизни человека, когда его неудержимо тянет решать высшие вопросы, воплощать справедливость в человеческих отношениях и...

– Нет, отец. Нравственные побуждения... наконец, время, самый дух времени. С этим считаться нужно... Когда людей охватывает страсть, горячка, когда необходимо идти туда... Разве мы не видим стариков с сединами? Тут не в том дело – молод или стар. Общие условия толкают, влекут...

– Человек черпает изнутри себя мотивы своей деятельности, – продолжал Егор Матвеевич. – Ведь что нужно? Нужно прожить

жизнь, не больше. Как прожить? Наилучшим, наиболее естественным, наиболее целесообразным для данного лица образом. И вот один развратничает, другой копается в пыли архивов, третий идет в сыскную полицию, четвертый приносит себя в жертву за лучшие людские отношения... Что же предпочтительнее?

Самовар по-прежнему пел, тоненько и задумчиво, что-то свое собственное и значительное, не имевшее никакого отношения к тому, о чем говорили люди.

– Все одинаково правомерно... Каждый решает за себя, каждый становится на то место, где в экономии жизни ему уготовано быть, и иначе оно быть не может.

– Что же ты не пошел в сыскную? – угрюмо спросил сын.

– Да потому же, почему не пошел в отходники, – неприятно.

Екатерина Ивановна хотела говорить много, зло, раздраженно, но то, что думала, она уже сказала и не умела иначе, в иной, авторитетной, более убедительной для других форме высказать свои взгляды, страхи, надежды, не понимая ясно, но чувствуя, что невидимая,

неощутимая преграда отделяет ее от любимых людей. И, не умея ее устранить и ища выхода своему раздражению, она нажала кнопку звонка.

– Нет, отец, это – уже индифферентизм, это общественное безразличие...

В дверях появилась тоненькая фигурка в белом переднике. С милovidного личика мягко глядели милые, почти детские, голубые глаза, покорно и услужливо. И ото всей тоненькой фигурки, от полудетских форм веяло беспомощностью ребенка, для которого одна защита – выражение незащитности. Она стояла перед хозяйкой, придерживая тоненькими пальцами передник.

Екатерина Ивановна с злобным и постаревшим от этой злобы лицом, намеренно не замечая чувствовавшую это, красневшую и покорно стоявшую девушку, позванивала стаканами и ложечками. Хотелось желчно и зло бросить: «Вы – мерзкая, скверная... я все, все знаю!» – но вместо этого сказала:

– Писем нет?

И сын и отец продолжали спорить, даже не взглянув на девушку, и оба чувствовали

тот затаенный смысл, который Екатерина Ивановна вкладывала в свой вопрос. Чувствовала его и стоявшая девушка и, не умея на него ответить, робко и просительно, точно слабо защищаясь протянутыми руками, проговорила:

– Почтальон еще не приходил.

Екатерина Ивановна заставила ее еще молча простоять некоторое время у двери.

– Пожалуйста, не употребляй простых определений вместо доказательств... имморально, противообщественно, индифферентизм... А главное...

Егор Матвеевич сурово помолчал и продолжал холодно:

– Главное, сто раз примерь, чтобы раз отрезать. Холодно и спокойно взвесь, чтоб потом, обернувшись, с поздним раскаянием не сказать: «Эх, была жизнь, была молодость, все упустил...» Раз решил, выбрал дорогу, ступай и пускай все силы, весь ум... Все можно взвесить, рассчитать, все можно побороть. Жизнь – только борьба... Но одно только, чтобы не было позднего раскаяния.

И голос его звучал глухо.

Екатерина Ивановна кивнула головой, но только белая фигурка скрылась за колыхнувшейся портьерой, как снова нетерпеливо, уже чувствуя, что не сдержит накопившегося раздражения и что в груди подступает что-то захватывающее и острое, нажала кнопку.

Тоненькая фигурка снова показалась в дверях.

– Почему у вас самовар так неряшливо подается? Жалованье ведь не мы, а вы получаете. Надо же понимать свои прямые обязанности...

Девушка, все так же защищаясь робостью и мольбой, густо покраснела:

– Я... я... барыня... меня посылали... Марина подавала...

– Ступайте.

Собственно, Екатерине Ивановне давно надо бы примириться с фактом. Когда она узнала все, страшно возмутилась и хотела прогнать горничную. Егор Матвеевич упорно и настойчиво убеждал, что из двух зол нужно выбрать меньшее, что если она не хочет, чтобы сын таскался по вертепам, сводил знакомства с грязными продажными женщина-

ми, постоянно рисковал заразиться ужасной болезнью, от которой стреляются, – пусть мирится с фактом.

– Но ведь это же мерзко... это подло и по отношению к девчонке этой, – говорила, волнуясь, Екатерина Ивановна.

– А то, что она смотрит нам в рот, когда мы вкусно едим, и потом доедает объедки наши, это не подло? То, что валяется в каморке, когда мы занимаем апартаменты, работает с утра до ночи за гроши, когда мы получаем тысячи, ничего не делая, то, что, в сущности, она – рабыня наша, это – не подло и не мерзко по отношению к ней? Какая разница? Не надо лицемерия, надо больше последовательности... Да и того, что сделано, не воротишь, – добавил он сурово.

– Наконец... последствия же могут быть.

– Всегда можно устроить, обеспечить, дать ей возможность завести мастерскую маленькую. Всегда найдутся женихи, приданое маленькое дать... Не здесь, так в другом месте то же самое было бы, только там бы ее выбросили на улицу.

Екатерина Ивановна не возобновляла

больше об этом разговора, но каждый раз, как горничная попадалась ей на глаза, у нее против воли подымалось все возмущенное чувство порядочной женщины.

III

Всю свою жизнь Егор Матвеевич построил в высшей степени умно, толково, рационально. Все было пригнано и приходилось одному к одному, как пригнаны новые части только что выпущенной заводом сложной машины. Люди, семья, обстановка работы, удовольствия, запросы ума – все было на своем месте, все было в меру, целесообразно, ничего лишнего, ничего сентиментального, ничего такого, что не требовалось фактом.

И эта печать целесообразности клала на все свой отпечаток строгости. Такой же отпечаток делового пуризма лежал на его речах, никогда не прибегал он к дешевому остроумию, не играл дешевыми чувствами, не искажал, не подтасовывал фактов. Ровно, спокойно, холодно, шаг за шагом раскрывал дело с какой-то другой стороны, простой и ясной, с которой прежде всего нужно было посмотреть и с которой никто не догадывался по-

смотреть.

Егор Матвеевич редко выступал на суде. Он выступал только, если дело обещало крупный гонорар или *honoris causae*[1]. Во время какого-нибудь особенно шумного крестьянского или рабочего процесса всегда видели его крупную фигуру, красивую львиную голову за попитром.

И каждый раз, когда Егор Матвеевич подымался со своего места, в большом переполненном зале наступало внимательное молчание.

В далекое студенчество в длинном гимнастическом зале, заставленном трапециями, лестницами, параллелями, барьерами, он бросал свое сильное, гибкое, молодое тело, чувствуя, как играют упругие, сильные, прорастающие работы мышцы. И ощущение легкого, естественного, почти радостного расхода физических сил охватывало его.

И теперь он испытывал это здоровое, бодрое ощущение расхода в полной мере еще сохранившегося запаса умственных сил и этого властвования над толпой.

О мужиках, сидевших позади за решеткой,

изредка вздыхавших, дурно пахнувших и равнодушно слушавших, ничего не понимая в его речи, он совсем не думал, как будто они были далеко, затерянные в никем не знаемой деревне, как и миллионы таких же мужиков. Никогда Егор Матвеевич не мог запомнить их лиц, выражений, они проходили мимо серой, сливающейся вереницей, как один из элементов той обстановки, среди которой он произносил свои речи, и тотчас же тонули в памяти.

Раз только лицо клиента неизгладимо резко запечатлелось в памяти.

Егор Матвеевич говорил одну из своих могучих речей. За решеткой сидели серые, понурые мужики, сделавшие какой-то нелепый подлог. Молчание в зале, как повышающийся звук натягиваемой струны, становилось все напряженнее. Егор Матвеевич поднял руку ко лбу и, смолкнув на полуслове, с изумлением остановил глаза на мужичонке с птичьим пепельно-серым от восьмимесячного сидения в тюрьме лицом, в рваном, с вылезшею шерстью, полушубке и бесконечно усталыми, равнодушными глазами.

Черная траурная кайма поплыла, заслоняя смешавшиеся ряды, помутневшее золото мундирного шитья, и только птичье, с застывшим выражением равнодушия, лицо несколько секунд упорно держалось в голове.

Знакомая смертельная тоска разлилась по ослабевшему телу, и кто-то отчетливо, как в ту ночь, проговорил: «упраздняется с... разделением». Егора Матвеевича подхватили, вынесли, заседание прервали.

– Очумел, стало.

– Очумеешь, ишь сколько мотал, – делились впечатлениями мужички, которые воспользовались сумятицей, все, как по команде, ущемив нос пальцами, высморкались и потом опять застыли в равнодушных позах, словно на скучной переправе ожидая череду.

IV

Когда консилиум разошелся, Егор Матвеевич молча стал ходить по глотавшему шаги ковру.

Жизнь, разумная, отлично налаженная, прекрасная жизнь надломилась. Точно лопнул невидимый скрытый привод, и все расстроилось, смешалось.

Егора Матвеевича не испугало это новое, ворвавшееся в жизнь. Он слишком привык считаться с фактом, с его ничем не отразимой логикой. И поэтому хотел уяснить себе только одно: размер опасности, которую он носил в груди. И он, удалив жену, сурово заставил врачей без обычных смягчений и умолчаний точно формулировать болезнь и грозящие последствия. Дело было просто и ясно. Он может прожить двадцать, тридцать лет, но может умереть сейчас, каждую минуту.

Егор Матвеевич смотрел на свое положение трезво и просто. Он прожил жизнь разумно, толково и теперь подошел к краю, и туда нужно было заглянуть. Но не смерть была страшна, страшна была нелепость смерти.

Он – еще сильный, с крепким еще телом, с тонким, живым и острым умом, так же тонко чувствующий – он должен прекратить эту так хорошо налаженную жизнь в такую пору, когда еще мог бы прожить такую же жизнь и так же отлично ее наладить и устроить. Но раз умереть неизбежно, на год, на пять, на десять раньше или позже в сущности не все ли равно!

Вопрос в том, чтоб освободиться от того гнетущего чувства страха, страха неумиряющего, животного, который отравит остаток дней.

И Егор Матвеевич стал сухо и холодно разбирать и взвешивать свое положение. Придумал ведь ум человеческий делать самые страшные операции, разъединяя тело на части без боли. Отчего же не придумать такой обстановки, такого психического наркоза, который обезболивал бы естественное чувство самосохранения?

Возмущалась вся его гордость перед тем состоянием трусости, страха, тревожного тоскливого ожидания, которое сулило будущее. Жизнь имела цену постольку, поскольку она была полна и за нее не приходилось унижительно дрожать. И все, из чего она слагалась, все Егор Матвеевич использовал до конца. И теперь нужно было пустить всю силу, весь ум, всю волю, чтоб использовать последнее – бесстрашный спокойный конец.

Предстояла борьба, упорная, тяжелая и замкнутая, потому что то, с чем ему надо было бороться, он носил в себе день и ночь, ни на

минуту не освобождаясь от него.

Первое, что представлялось наиболее рациональным, – это самому приостановить испортившуюся жизнь.

Безболезненно и просто решался вопрос, и Егор Матвеевич спокойно и ясно смотрел в глаза такому исходу.

«А что, если впереди еще десять, двадцать лет жизни?»

И он отложил эту мысль до той поры, пока ясно почувствует, что действительно расшатался и разрушается. Всегда успеет.

Егору Матвеевичу легко было выполнить советы и указания врачей: стоило только ту разумность, расчет и порядок, которым определялась вся его жизнь, внести в ежедневный обиход. И он ввел.

Все пошло по-прежнему. Так же утром он выходил в веселую, светлую столовую, так же целовал белую, нежную руку жены. Она спрашивала о здоровье, говорили о вчерашнем концерте, потом он читал газеты, иногда спорил с сыном, а затем дела, изредка суд, обед, отдых, вечером гости, книги, иногда театр. Все шло, как зубья шестерни, цепляясь одно

за другое, необходимо и неуклонно.

Спокойно, холодно, методически исполнял он предписания, обливался водой, гулял, бросил курить, нисколько не обманывая себя насчет результатов, и так же спокойно-холодно принимал свои меры, стараясь заполнить весь досуг.

И никогда он не вел так блестяще дела, никогда не произносил таких могучих речей. Молодежь стекалась в зал суда учиться, старики одобрительно кивали головой и говорили:

– Егор Матвеевич помолодел.

Сердечные припадки от времени до времени повторялись. Если это бывало днем и дома, жена, испуганная и растерянная, глотая слезы, посылала за доктором, звала сына и, когда все проходило, раздражалась истерикой, а Егор Матвеевич сумрачно и молча ожидал, пока кончится вся эта суета. Если же случилось ночью, Егор Матвеевич никогда не звонил, не звал никого, зажигал свечу, принимал лекарство, смачивал грудь и угрюмо прислушивался к разраставшейся, заполнявшей его щемящей тоске. Он знал, что это – физиче-

ское следствие заболевания сердца, и огромным усилием воли старался подавить это состояние. Он прислушивался к этой глухой, глубокой борьбе, в которой одолевал то слепой и мертвый инстинкт, то человеческая воля – самое драгоценное, что было в жизни.

V

– Егор Матвеевич, у меня к тебе просьба...
Дай слово, что исполнишь...

Екатерина Ивановна сидела вполоборота, и приподнятые концы бровей придавали ее лицу моложавость и выражение непрерывного удивления.

«Катя, я... умираю... я хожу, разговариваю, работаю, но я мертвый человек. Страшно, Катя, умирать».

И ему хотелось, чтоб жена сказала что-нибудь, чтоб она заплакала, взяла его за голову и говорила бы ему слова утешения, может быть и не имеющие логического значения, даже и ненужные, как слова, которые говорят ребенку, но которые бы заставили дрогнуть сердце, от которых бы накипели облегчающие слезы.

Но вместо этого, подавляемый привычкой

всей своей жизни строго и сурово относиться к факту, он спокойным обычным голосом всегда владеющего собой человека только спросил:

– Что такое, Катенька?

– Дай слово, что исполнишь... И доктора говорят... Оставь дела, тебе нельзя переутомляться, разве я не вижу? Посмотри на себя...

Губы ее дрожали. Она делала усилие, чтоб не расплакаться, и в то же время хотела расплакаться, чтобы он видел и поступил так, как она просит.

– Но, Катенька...

– И зачем... зачем это? Кому нужно?.. Средства у нас прекрасные, обеспечены... Ты болен, надо отдохнуть, успокоиться... Поздоровеешь, если захочешь, опять возьмешься...

Его поразило.

В самом деле – зачем? Ведь то, что он делает, теперь никому не нужно. Никому!..

Егор Матвеевич почувствовал, что тонет. Пока он был беден, нужна была работа, доставлявшая средства семье; пока он был здоров, нужна была деятельность – просил мозг, просили руки. Теперь ему не нужно и, оказы-

вається, нікому не потрібно. Ні-ко-му!

Це слово прозвучало чуждо і самотньо, як звук захлопуваної гробової кришки. І Егора Матвеевича охопив враз холод отчуждення і самотності, точно он, Егор Матвеевич Тяжін, відомий адвокат, проведший стільки блискучих процесів, точно он – один в великому виміреному місті... Тягнуться мовчазні вулиці, відступають пустельні площини, мертво сліпими вікнами дивляться безголосі доми, і Егор Матвеевич блує дні і ночі, блує тижні, місяці, роки, блує один і не чує ні людського голосу, ні крику, ні сміху.

– Видиш ли, Катенька... ти права. Добре, я погоджений... Тільки зовсім без роботи я ще не можу бути...

Раз Егор Матвеевич взявся за справу, він взявся толково, вміло, чітко представляючи собі всі практичні деталі і невідмінно доводячи до кінця. Тому, коли обрали його головою товариства поширення народної освіти, всі були впевнені, що майбутнє товариства захищено.

– І охота тобі, право, втрутатися в раз-

ные эти общества, – говорила недовольно Екатерина Ивановна, – ну, если бы ты здоров был, еще туда-сюда, а то больной, покой нужен, волнений всяких избегать... Ты и свои-то дела совершенно оставил. Здоровый этим никогда не занимался, а теперь вот на! Не понимаю, право...

– Неловко же, Катенька, настойчиво просят... все... депутацию присылали, – говорил Егор Матвеевич, как всегда в разговорах с женой приводя чисто внешний довод и умалчивая о своих внутренних затаенных мотивах.

Егор Матвеевич никогда ни в каких благотворительных, просветительных и других обществах не участвовал. И не то чтобы он был принципиальным противником самого существа такого рода деятельности.

Он был бы чрезвычайно рад и доволен, если бы кругом было меньше голода, невежества, темноты, грязи, если бы его и на улице, и в суде, и на железной дороге окружали человеческие лица, а не глядели бы в глаза испитые, голодные, звероподобные экземпляры.

Но ведь никакое в мире общество не устроит этого. И если вся эта работа, песчинка за

песчинкой, созидает возможность светлого будущего человечеству, так это – бесконечно далеко, гуманное будущее, которого не дождется истлевающий прах Егора Матвеевича и возможность которого ни на одну каплю не сделает теперешнюю жизнь Егора Матвеевича более удобной, устроенной, целесообразной, разумной и приятной.

Теперь же Егор Матвеевич принял избрание. Надо было бороться не только с состоянием ожидания, но не состоянием одиночества, которое все больше охватывало его.

Как всегда, Егор Матвеевич взялся энергично за дело. Прежде всего он вымел из правления, из комиссий всех, кто шел сюда из тщеславия, из мелкого любопытства, кто ничего не делал. Тех же, кто остался, держал в ежовых рукавицах, заставляя неустанно работать, возбуждая к себе и раздражение и уважение в одно и то же время, входя в каждую мелочь, преодолевая благодаря авторитету и связям внешние препятствия.

Пожертвования стекались, было выстроено здание Народного дома, по городу рассыпались библиотеки. Имя Егора Матвеевича бы-

ло у всех на устах.

И каждый день заботливо посещал он свое детище, направляя, организуя большое, сложное дело, и со смешанным чувством отчуждения и близости глядел на волнующееся море голов в огромном, залитом электричеством зале.

Последние ряды толпившегося народа выливались в широкие двери. Бабы, подростки, мастеровые толпились, протискивались, стараясь выбраться. Стоял говор, гул, шарканье ног.

– Об воде читали, а мне пить ну вот до чего захотелось!..

– Брешут... Ежели бы да в каждой воде да столько червей водилось, к ней бы не приступился, народу бы мерло во как, а пьют же.

– Остолопина! Да ведь это – невидимая черва, глазом-то не видишь...

– Ой!.. Ты чего? Отстань, липучий... закричу!

– Ребята, как же теперича: винополия-то заперта...

Сторож с нетерпеливым злым лицом выпроваживал, подталкивал в спины.

– Ну, ну, выходи, выходи, что стал? До утра чесаться будешь... – и вдруг ринулся к вешалке, к которой подошел Егор Матвеевич.

Он сорвал пальто и стал бережно, приседая и заглядывая в рукава, просовывать одну руку и другую, словно опасаясь, чтоб которая-нибудь не отломилась, потом стал к сторонке, как будто хотел сказать: «Так точно-с... больше ничего-с...»

Егор Матвеевич методически застегнул пальто, надел перчатки, взял палку и сунул ему двугривенный. Сторож совсем переломился, с ожесточенным лицом рванул двери, словно желая сорвать их с петель, и в душное помещение, заполненное запахом только что разошедшейся толпы, широко пахнул свежий ночной воздух.

Егор Матвеевич с чувством облегчения после исполненной работы вышел. В глубине темной синевы шевелились звезды. По тротуарам расходилась публика. По бульвару гуляли парочки, стояли молчаливые акации, слышался смех, и синеватый ночной сумрак делал все иным, не похожим на то, что было днем. Изредка прогремят дрожки, и снова все

тихо, прозрачно сумрачно, и шевелятся звезды, и слышится женский смех.

Здание «чтений» стояло молчаливое, угрюмое, темное.

«Зачем? Разве это хоть на волос что-нибудь изменило?.. Все остается по-прежнему, так же неизбежна ничем не стираемая бессмысленность...»

Знакомая смертельная тоска подползла к сердцу. Он вдруг почувствовал, что это темное молчаливое здание, эта улица, акации, бульвары, темные фигуры и смех незнакомых ему людей, – что все это отодвинуто, отстранено от него, что стоит он один, беспомощный и одинокий, и над ним трепетно шевелятся безмолвные звезды.

Егор Матвеевич направился домой, и шаги его звонко и ясно носились в сумрачном воздухе. Ему представилась уютная столовая, жена, еще молодая, красивая, привлекательная, милое лицо сына, весь уют и покой толково, разумно налаженной жизни. И он почувствовал, как потеплело в груди и постепенно растаяло студившее грудь холодное одиночество и отчужденность.

«Все очень просто и ясно: я болен, могу прожить до ста лет, могу каждую минуту умереть. И мне не хочется умирать, и немножко страшно, а главное – тягостно быть постоянно начеку у смерти... Хорошо... что же дальше?»

Выплыло птичье веснушчатое лицо мужичонки в продранном на плече тулупе, из которого лезла грязная шерсть. Этот мужичонка прожил всю свою серую заброшенную жизнь в такой же серой заброшенной деревушке, копаясь в земле, платя дань и куделью и овсом, а когда стало невтерпез, написал на местное начальство нелепый донос и подписался чужим именем, И Егор Матвеевич никогда о нем не думал и никогда бы не узнал, если бы не этот подлог.

На бульваре прозвучал смех, и женский голос проговорил:

– Никогда, никогда я вам не поверю.
А мужской голос запел:

В моем ски-та-анье
Мно-ого стра-да-а-нья...

Светились по обеим сторонам, улицы рас-

крытые окна, неслись звуки рояля, плакали дети, хлопали двери... Теплая летняя ночь была полна звуков, живых и разнообразных.

Егор Матвеевич думал о читальне, о своем сердце, о пухнувших ногах, о людях, от которых был всегда отделен тонкой незримой преградой. И здесь, в этой просветительной миссии, он почувствовал себя лишним, как когда-то чувствовал себя, лишним в своей адвокатской работе, потому что все это было не нужно, не нужно для него самого, Егора Матвеевича.

VI

Яркий, ослепительный, режущий свет пронизал темное небо, и на мгновение исчезли звезды. С поразительной отчетливостью выступил каждый листок, каждая веточка, вспыхнувшие стекла, вся улица до самых последних домов, каждая складка на лицах людей; Потом все мгновенно погасло в синей мгле летней ночи, по-прежнему шевелились, играли звезды, смутно и неясно стояли голубоватые силуэты деревьев, зданий, проходили темные, неразличимые фигуры без лиц, только тонкий дымчатый, слабо светящийся

след чуть брезжил, тая в небе.

Егора Матвеевича пронизала такая же ослепительно режущая мысль: он, так толково, так разумно делавший свою жизнь, сделал огромную, уже непоправимую ошибку. Он, отлично понимавший людей и людские отношения, упустил что-то, что так же необходимо для полной разумности и удобства жизни, как и молодая, красивая, сильная, здоровая жена, здоровые дети, уютная обстановка, ощущения и усилия борьбы, как наслаждения искусством, литературой, продуктами творчества, мысли.

Пятьдесят один год он жил и не замечал, что день и ночь, ни на секунду не останавливаясь, бьется сердце; пятьдесят один год он не замечал то интимное, неназываемое, что проникает человеческие отношения вопреки разуму, пониманию, скептицизму.

Сладкая, томительная боль раскаяния охватила его. Он почти с сладострастным чувством бередил раскрывавшуюся рану..

С женой были ласки, многолетняя привычка, невозможность обойтись друг без друга, но чего-то не было, чего-то, что, как подклад-

ка, должно бы лежать подо всем, неощутимое, забываемое, как биение сердца, и такое же необходимое, как это биение.

Он любил сына, жизнь без него была бы пуста, и любовался сыном, как молодым, упруго растущим деревцом. Но для него, Егора Матвеевича, важно было не то, что волновало сына, а то, что сын волновался, кипел молодой впечатлительностью, жаждой жизни, ибо это было полно, красиво и жизненно. И то, что жило в сыне, не тянулось живыми непрерываемыми нитями в душу отца. Незримая тонкая преграда, отделявшая его от жены, отделяла и от сына.

И если не было этого интимного, неуловимого, неназываемого с близкими людьми, тем более не было со всеми остальными людьми.

И Егор Матвеевич обернулся и стал вглядываться в свою жизнь. Вся жизнь до самых далеких, смутно тонувших в раннем детстве дней озарилась холодным, ровным, немигающим светом. И этот негреющий свет постепенно осветил все до последних мелочей, и в темной памяти вставали все мельчайшие, давно забытые и никогда не приходившие

прежде слова, поступки, случаи.

И нигде Егор Матвеевич не мог открыть перелома, той роковой ошибки, с которой он постепенно и незаметно отошел от людей и попал в тупик, где было одиноко, холодно и жутко. Пятьдесят один год день за день цеплялся ровно, спокойно, счастливо, без толчков и потрясений.

Его поразило соображение, что он ни в чем не виноват. Не было ошибки. Жизнь складывалась так, как складывалась. Он не виноват... Никто не виноват... Он так же не виноват в том, что у него чего-то недостает в жизни, как в том, что ему теперь пятьдесят один, а не двадцать один год.

И тогда снова впились и уже не погасало глухое ровное чувство тоски и отчаяния... Он ни в чем не виноват.

О, если бы вина лежала на нем, если бы он сделал непростительную, непоправимую, исковеркавшую всю жизнь ошибку, промах! С каким бы жгучим, с каким бы страстным чувством укора, раскаяния, сожаления он бередил бы незаживающую рану, плакал бы громко и навзрыд и не стыдился бы своих слез.

Ему и этого не оставалось, и он шел, сам не зная куда, потеряв направление, и все глуше становились пустынные улицы, тухли огни, гасли последние звуки.

VII

День уходил за днем, и надо было вставать утром, ложиться вечером, надо было лечиться, советоваться с докторами, вести правильный образ жизни, надо было встречаться с людьми, надо было жить.

«Нет, – думал Егор Матвеевич после одного из припадков, когда он, задыхаясь, с выступившими из орбит глазами, холодным потом, капавшим со лба, лежал на диване, – нет, не все еще потеряно. Пусть так, пусть у меня не хватает чего-то, что связывает с людьми, это еще – полгоря... Да если бы и была эта доза сентиментальности, может быть и необходимой в конце концов в жизни, разве она спасла бы меня от сознания бессмысленности надвигающегося? Нет, умирать все так же было бы бессмысленно и страшно... Надо суметь обойтись и без этого...»

Ноги стали пухнуть, пожелтевшее лицо обрюзгло, подымаясь на лестницу, он зады-

хался, но мысль о самоубийстве уже не приходила.

Худой и желтый, с отекившим лицом, с горевшими впалыми глазами, он производил впечатление человека, пожираемого одной неотступной мыслью. И эта мысль была: приспособиться к тому особенному положению, в котором он был, вытравить неутомимую тоску и ожидание, которые, свернувшись клубком, сосали больное сердце.

VIII

Егор Матвеевич шел, как всегда, спокойно и солидно, выпростав темную, начавшую серебриться бороду.

Ярко сияло веселое, ранней весны, утро; под ногами, под колесами звонко звенела еще не отпущенная утренником земля; над головой, по крышам, как безумные, метались, кричали галки, справлявшие ранние свадьбы, — и в немного остром свежем воздухе проносились и упруго звучали, тяжело колеблясь, удары гулко поющего колокола еще невидимой за домами и деревьями церкви.

Егор Матвеевич пятнадцать лет не был в церкви. Последний раз он был, когда хорони-

ли председателя окружного суда. Тогда Тяжину шел тридцать шестой год. Он был весел, силен, здоров, жизнерадостен, подрастал сын; уже пользовался известностью, почетом, богатством, уважением, весело и здорово смотрел на жизнь и к этому печальному пению, дымившимся свечам, черным ризам относился, как к неизбежной и необходимой в общезжитии условности.

Его нельзя было считать неверующим, но он не был к верующим. То, что взрастило далекое детство, стерлось и атрофировалось, и ему некогда было об этом думать. Слишком много приходилось тратить ума, энергии, напряжения, ловкости, нервной силы, чтобы пробиваться, чтобы брать все, что прекрасно, здорово, сильно.

А теперь он шел в церковь, но шел не затем, чтобы заработать себе хорошее местечко на том свете, не из трусости. Он смутно искал чего-то, что освещало бы, озаряло бы конец его жизни, то тихое чувство умиления, непосредственное и простое, умиления перед огромной, никогда не разрешимой загадкой человеческой жизни, умиления, в котором бы

растворилась душа.

И оно было знакомо – это чувство, когда-то испытывал его в далеком туманном детстве, и потерявшийся, почти стершийся след его все же оставался в душе. Он шел и хотел обновить, оживить живой росток, таившийся в глубине души. И по мере того как он проходил знакомыми улицами, он чувствовал, что оживает, что идет тихонько в рост этот росток. Пусть это будет только иллюзия, но разве иллюзии не увеличивают удобств и разумности жизни? Разве в театре мы не плачем над вымыслом? Разве мы не страдаем, читая заведомую ложь в романе, в повести?

А галки без умолку кричали, опьяненные радостью жизни; щебетали, без устали прыгая, воробьи; любовно ворковали голуби, и земля звонко звучала, и солнце сияло над улицами, над домами, над людьми, которым так хотелось жить.

Егор Матвеевич завернул за угол. Выделяясь из всех зданий, выступала тяжелыми, строгими линиями паперть, каменная, широкая, холодная. Массивные гранитные колонны поднимались над ней, и между ними ба-

бы, оборвыши, нищие, мальчишки казались маленькими, ничтожными и как бы составляли преддверие тех людей, которые молились в храме.

Егор Матвеевич поднялся по широким ступеням, снял шапку и прошел в огромные, настежь раскрытые железные двери. И в синеватом, пахнущем ладаном, пряном сумраке, где-то далеко прорезанном из окна косым светом, терялось темное море голов, уходя в глубину до трепетно горевших красноватых огоньков. И оттуда над этими бесчисленными головами проносилось стройное пение, звучащее, как множество согласно настроенных струн. Тяжин протиснулся и стал к сторонке, недалеко от входа.

Возле продавали свечи. Мимо Егора Матвеевича постоянно ходили: одни выходили, другие входили, покупали свечи, разговаривали напряженным шепотом со стоявшим за свечным ящиком церковным старостой, благообразным стариком с волчьими глазами, говорившим громко и непринужденно. Ребятишки, продираясь, беспрестанно шныряли между ногами. Пахло потом, давно не сменяемым

бельем. Бабы, с испитыми, измученными лицами и головами, обмотанными платками, истово крестились, размашисто кланяясь в пояс, вздыхали, клали земные поклоны, становились на колени, напряженно шептали: «...Мати пресвятая богородица... угодники божии...» – и хлопали Егора Матвеевича по плечу свечами, которые надо было передавать дальше.

И Егор Матвеевич никак не мог сосредоточиться, углубиться. То, за чем он пришел сюда, не овладевало душой, спугнутое этой суевой, будничной обстановкой. Он прошел вперед по узкому, постоянно шевелившемуся, менявшемуся проходу между молящимися. Ризы, иконы, резьба алтаря, сверкавшие позолотой, были залиты огнями. Узкие солнечные полосы наискось длинно прорезали голубоватые облака пахучего дыма, и, когда ложились на молящихся, выступали шляпы с цветами, шелковые платья, кружева, белизна накрахмаленных воротников и спокойные, уверенные лица чисто, опрятно одетых людей. Они молились сдержанно, прилично, ни на минуту не забывая себя, чинно, не очень часто и

не очень редко крестились, слегка наклоняя голову.

И Егор Матвеевич усилием воли старался вызвать теплое, задушевное, таинственное состояние, какое испытывал в детстве, когда самое движение руки, клавшей крест, торопливое и нервное, само в себе уже носило смысл таинственный, приносящий удовлетворение исполненного долга и усилия.

Он стоял, слегка наклонив голову, как подходят под евангелие, и, глядя исподлобья, поднимал руку, сложив три пальца, прикладывал ко лбу и плечам, к груди, и рука была тяжела, и он ее нес с усилием, постоянно ощущая ее тяжесть.

Лики святых глядели неподвижными, ничего не говорившими изображениями... Красный пламень свечей молчаливо бежал вверх, и струившаяся едва заметная копоть, напоминающая о похоронах, расплывалась в полумрак, сгущавшийся в углах, в приделе, под куполом. От этого изображения святых, расписанные стены, лица молящихся казались более темными, суровыми, подернутыми траурным флером; даже позолота не выделялась ярко и

крикливо, как в первый момент, а сурово и тускло обозначала ризы, резьбу, сосуды, паникадила.

«Господи по-ми-и-луй!..» – неслись детские и мужские голоса, настроенные, как струны инструмента.

А в голову Егора Матвеевича неодолимо лезли воспоминания о клиентах, которые ему рассказывали, как этот дьякон бил священника во время службы в алтаре – не поделили сбор.

«О святом храме сем и обо всех, кто входит в него с верою, благоговением и страхом божиим, помолимся господу...» – гудела октава дьякона, а Егор Матвеевич с ужасом думал: как же он его бил? Ведь неудобно, риза мешает и народ мог услышать.

Вместо того чтоб все больше и больше проникаться умилением к словам богослужения, Егор Матвеевич боролся с собой, стараясь выдрать из головы отвратительные мысли, которые неудержимо лезли, мысли о дьяконе, о священнике, о монахах. И чем больше он их выдирали из головы, тем назойливее они лезли.

– Господи, да что же это? – почти вслух прошептал Егор Матвеевич и в отчаянии стал быстро креститься.

Детские голоса, тонкие, певучие, просившиеся в душу, нежно вплетались серебристым узором в темную канву тяжело и грубо, но с сдержанной силой звучавших мужских голосов. И это сочетание нежности и мягкой ласки с непреклонностью силы говорило Тяжину о чем-то, что ему недоступно.

И он вспомнил, что о. Александр, теперь служивший, раз был в его доме с водосвятием. Окропив все углы, он снял епитрахиль и, заправив волосы и придерживая нагрудный крест, проговорил, весело показывая хорошие искусственные зубы:

– А славный вы домик себе соорудили, Егор Матвеевич. Я ведь тоже место купил на Воскресенской площади, возвожу построечку.

И думая об этом и стараясь отогнать эти мысли, он вдруг почувствовал себя лишним среди молящихся. Кто-то бунтовал и подымал голову, и Егор Матвеевич чрезвычайным усилием воли пригибал, заставлял его прятаться, упрямо стараясь побороть преграду, стояв-

шую между ним и иконами, песнопениями, всем этим торжественным порядком и укладом.

Так, переходя от внимания, торжественности к унынию и скуке, то настраивая мысль, ассимилируясь с этими наполнявшими храм людьми и их настроением, чувствуя что-то особенное, громадное и недоступное, то устало наваливаясь на одну, на другую ногу, он стоял, боясь, что сейчас начнется сердцебиение, что он может тут же упасть и его понесут среди расступающегося народа, или что он широко, с изумлением откроет глаза, оглянется кругом и торопливо выйдет из церкви.

Когда кончилась служба, он пошел вместе с выходящим народом. И уже с паперти было видно, как ярко и весело заливало солнце улицы, дома, деревья, идущих людей.

IX

Егор Матвеевич победил. Посещал храмы, выстаивал службы, в дом приглашал причт, служились молебны.

– Да, – говорил он о. Александру, – человек до всего доходит медленно и трудно... Я, на-

пример... Скажи мне несколько лет назад, что я каждое воскресенье буду в церкви, – расхотелся бы.

– Господь неосязуемо указывает пути нам, невидимо и незримо призывая сердца человеческие.

Мир воцарился в измученной душе Егора Матвеевича.

Только ночью, когда неподвижно стояло, молчание и тьма, и часы, печально смолкая дрожащим отзвуком, били два, Егор Матвеевич просыпался, уже чувствуя, как выступает холодный пот на лбу.

Егор Матвеевич просыпался и широко открытыми глазами глядел в неподвижную темноту, и ужас, неиспытанный, холодный ужас охватывал его. И детское пение, и голубой дым от кадил, и о. Александр, и его новый дом на Воскресенской, и холодная каменная паперть – все это было где-то в стороне, далеко, а Егор Матвеевич один лежал на кровати, неподвижно глядел в густую нешевелиющуюся тьму, один во всем мире. Он отдал бы богатство, семью, полжизни, только бы не просыпаться, не открывать глаза в этот страшный

час, среди молчания и мрака. Потом он засыпал и спал тяжело и неподвижно до утра, а утром опять шел в церковь, служил молебны, организовывал духовные чтения для народа и только со страхом думал, что опять придет ночь, и он откроет глаза, и среди молчания и мрака часы, дрожа, ударят два...

...Умер Егор Матвеевич. И люди поспешили опустить мертвые веки на его открытые глаза, в которых застыл ужас.

Но веки опять подымались, и опять глядели остекленевшие, с застывшим выражением глаза. Тогда снова закрыли эти страшные глаза и положили на них два новых тяжелых медных пятака.

Среди ночи*

I

Они взбирались среди молчаливой ночи между угрюмо и неподвижно черневшими соснами. Под ногами с хрустением расступался невидимый мокрый снег или чмокала так же невидимая, липкая, надоедливая, тяжело хватавшаяся за сапоги грязь.

Внизу, у моря, тепло стлалась синяя весенняя ночь, а здесь ни одна звезда не заглядывала сквозь мрачную тучу простирившейся над головами хвои, и все глуше, все строже становилось по мере подъема.

Тот, который пробирался впереди и которого так же не видно было, как и всех остальных, остановился, должно быть снял шапку и стал отирать взмокший лоб, лицо. И все остановились, смутно выделяясь, шумно дыша, сморкаясь, вытирая пот, и заговорили разом и беспорядочно.

– Ну, дорога – могила!..

– Ложись, зараз закопаем.

– Братцы, кисет потерял... сука твоя мать!

Загорелись спички, красновато зажглись

двигавшиеся в разных местах папиросы, освещающая временами кусок носа, ус, часть заросшей щеки или выставившийся мохнатый конец сосновой ветви. И когда немного отдохнули и дыхание стало ровное и спокойное, опять стояло строгое, всепоглощающее молчание.

– Вот, когда в Грузии служил, тоже горы... фу-у, ну и высокие... Так там завсегда – зима, и летом – зима, так снег и лежит, нанизу – жара, а там – снег.

Снова слышны тяжелые срывающиеся шаги, глубокое дыхание и хруст невидимого снега, становившегося морознее, суше, скрипучее. И воздух был острый, звонкий, покусывавший за уши. Иной раз люди проваливались, слышалась возня, крепкие слова и учащенное, прерывистое дыхание.

Давно погасли папиросы. Последние окурки, тонко чертя огнистый след и рассыпая золотые искры, полетели и несколько секунд во тьме красновато светились на снегу и тоже потухли.

– Должно, года через два дойдем...

– Сдохнешь где-нибудь под сосной, покуда

дойдешь.

– Да куда мы идем, ребята?!. Киселя хлебать...

– А все Ехвим... Пойдем да пойдем, а куда пойдем – сам не знает...

И все шли. Нельзя было остановиться, остаться одному, свернуть, пойти назад. Кругом – крошечная темь, молчаливые сосны. Невидимая тропка уже на втором шагу терялась под ногами.

Временами наплывало мутное и влажное, и, хотя было темно, хоть глаз коли, оно казалось белесым, бесформенным и меняющимся. Тогда охватывала расслабленность и апатия, хотелось лечь на снег и лежать неподвижно в поту и испарине. Потом так же беззвучно и бесследно проносилось и стояло молчание и нешевелиющаяся тьма.

В темноте высоко засветился огонек. Пробираясь, скрипя по холодному снегу, то и дело подымали головы и глядели на него, а он так же одиноко глядел на них в пустыне черной ночи.

– В жисть не узнаешь, где мы теперь.

– Вот, братцы...

– Ехвим Сазонтыч, голову тебе оторвем, ежели да как заведешь...

– Так лезть будем, скоро до царствия небесного долезем.

– Ей-богу, долезем... Хо-хо-хо!..

И в горах, поглощенных тьмой, хохотом перекликнулись человеческие голоса. Ночь сурово покрыла строгой тишиной говорящих.

– А-а... гляди, гляди!..

– Братцы, чего такое?

– Наваждение!..

Посыпались восклицания удивления. Им ответили ночные голоса. Все разом остановились. Все по-прежнему было поглощено зияющей тьмой, но снеговая стена, уходившая в черное небо, слабо выступала таинственной синевой. Призрачно чудился тихий, странный, неведомый ответ. По снежной, едва проступавшей стене двигались гигантские силуэты, так же внезапно остановились и стали оживленно жестикулировать, как жестикулировали остановившиеся люди.

Все, как по команде, обернулись. Черная бездна, до краев заполненная густой тьмой, простиралась, и не было ей конца и краю. Да-

леко внизу, на самом дне, голубым сиянием сияло множество огней. Они ничего не освещали, кругом было так же мрачно, но казались веселыми, отсвет их добежал через десяток верст, и от людей призрачно ложились смутные, едва уловимые тени на слабо озаренный снег.

Это был город.

Долго стояли и молча смотрели на далекие сияющие огни.

– Ночь, а господа теперича самое гуляют по трактирам да по гостиницам али в карты.

– Господа гуляют, а нас нелегкая несет не знать куда.

– Диковина... далече, а светит.

– Электричество, известно.

– Ну, айда, что рот-то разинули, не видали.

Огонек, державшийся впереди среди черной ночи, пропал, потом опять мелькнул, вызывая надежду, снова пропал, и разом раздвинулся между смутно выступившими соснами красновато освещенный четырехугольник окна, слабо ложась полосой на снег и ближние стволы.

Все шумно столпились у неясно обрисовав-

шейся стены и дверей. Стукнули кольцом, и эхо гор откликнулось. Отзвук, длительный, мягкий и унылый, далеко покатился среди ночи. Ночь простиралась ровная, одинаковая, всепоглощающая, как будто в ней не было ни леса, ни гор, а одна ненасытимая, заполненная мраком, звучащая пустота.

– Эй, дядя Семен, отпирай!

«...а-а-а-ай!..» – мягко слабея, пропадало во мгле.

II

Стоны женщины неслись, то слабея, то усиливаясь; то совсем замолкая. Все те же приступы невыносимой боли, тот же безжалостно давивший, черный от копоти потолок и тоненький, как змейка, звук коптящей лампочки на стене.

Бесконечная ночь, упорно-тяжело глядевшая в слепые окна, мутно белела снегами. Ребятишки, измученные за день, забытые и голодные, в самых неудобных положениях спали, разметавшись по нарам.

– Оо... о-о-ооох-ох... ох... о-о-о!.. Господи, смер-тынька моя... ой-ой-ой... батюшки!..

Совсем молоденькая, с горячечным румян-

цем на щеках, со свесившимися на одну сторону волосами, беременная баба, в пестрядинной рубахе, корчилась на застланной соломой и покрытой дерюгой кровати, и голова ее металась из стороны в сторону.

Бородатый, лет за сорок, второй раз женатый мужик, с пятерыми детьми от первой жены, наклонившись, сосредоточенно, молча и неуклюже месил засученными, в волосах, руками тесто. Оно пучилось, лопалось пузырями, назойливо липло к рукам, особенно цепко держась на волосках, а он хмуро соскребал и сильным движением сбрасывал плюхавший в общую массу комок.

– Тять... тять... бб... бл... бллезли... двя... двя... двя... – торопливо и сонно забормотал кто-то из ребятишек.

Мягко ступая, степенно вышел на середину кот, прижмурившись поглядел на хозяина, на тоненько поющую лампочку, повел хвостом и так же медленно и важно направился к печке, свернулся клубочком и, зажмуриваясь, сладко замурлыкал.

– Ооо... ооххоо-хо-хо... ооохх!.. смерть моя!.. Сем, а, Сем!..

– Чево?

– Помираю я... попа бы... господи...

Она заплакала.

Мужик, с одной и той же, никогда не покидавшей думой на лице, молча месил, потом сосредоточенно стал обирать с мускулистой руки налипшее тесто.

– Все бабы родят, не ты первая.

И, помолчав, мотнул головой на нары.

– Вона... пятеро.

Кот, задремывая и заводя веки, перестал мурлыкать. Женщина замолкла. Только лампочка тоненько тянула жалобу, да ночь мутно глядела в окно, и все та же, никогда не оставляющая дума лежала на обветренном, с заросшей бородой, лице мужика.

Нарушая тишину, безлюдье и неподвижный ночной покой, стукнуло снаружи кольцо, слышались голоса, скрип шагов по снегу, и в горах многоголосо откликнулись ночные голоса, слабея и замирая.

Мужик перестал месить, поднял голову, прислушался и стал счищать с рук налипшее и падавшее кусками тесто.

– Ты, Ехвим?

– Я – отворь!

Дверь отворилась, и вместе с клубами холодного воздуха вошел плечистый, с ухватками лесного медведя парень, с голым, безбородым, безусым лицом. За ним, толпясь, стали пробираться другие, заполняя маленький чуланчик.

– Во, народу привалило.

Хозяин крикнул:

– Э-эхх!.. А у меня дела, – и почесал в затылке.

– Что?

– Жана родит.

– Н-у? Что так рано?

– Да, рано... так мекал: две недели еще, а она во, не спросилась.

Парень тоже снял шапку и поскреб голову.

– Эк ты!.. куды жа мы теперича?.. Народ... гляди, сколь перли, замучились.

– Чево стали! – раздалось из задних рядов, толпившихся перед дверью,

Хозяин подумал.

– Ступайте в холодную... и рад бы, сами видите, каки дела...

– Ну, ничего, не будем раздеваться, миром

дыхать станем, обогреем... чайничек поставить можно?

– Чайник можно, все одно бабе воду буду греть.

Все повалили из чуланчика в холодную половину шоссейной казармы.

Дыхание тонким паром носилось в воздухе и играло радужным ореолом вокруг принесенной лампочки.

В углу навалены лопаты, кирки, топоры, массивные ломы, опрокинуто несколько тачек. Принесли доски, положили концами на обрубки и стали располагаться, усталые, мокрые и довольные, что добрались.

– Сказывал, до царства небесного долезем, вот и долези.

Когда вскипел чайник и все, взяв по крохотному кусочку сахара, вооружились кто потускневшим от времени стаканом, кто таким же почернелым блюдцем, кружкой, а то и поржавевшим жестяным черпаком от воды, стали дуть на дымящийся кипяток, прихлебывая и обжигаясь, – в угрюмом, холодном и молчаливом до того помещении совсем повеселело.

– Стало быть, зять письмо получил от своего брата с войны. Пишет так, что сам видал: в отдельном поезде везут нашего генерала в Питербурх, и он – прикованный цепями в вагоне, и рука прикована так вот, как к присяге когда приводят, – рассказчик поднял правую руку, сложил два пальца и среди молчания подержал некоторое время, – а возле, стало, него куча золота, стало быть японские деньги. Ей-богу, не вру.

– Накрыли?

– Знамо дело!.. Протить негде – одне деньги.. сам сидит по колено в золоте, а рука прикована, как на присяге.

– Оххо... ооох... ооо. Царица небесная... матушка!.. – глухой скорбно проникало из-за стены.

– Вот и хорошо, пару-другую генералов наших купят, нам прибыль.

– В Расеи подати перестанут брать.

– Нам меньше отседа высылать придется домой,

– Здорово!

– Держи карман ширше. Тоже да дураков нашли. Она, сказывают, Япония косоглазая,

сколько миллиенов тыщ уж с нас взяла. Начальство-то наше, сказывают, скоро в лаптях пойдет.

– Как наш брат, мужик.

– Не признаешь, чи генерал, чи мужик.

– Ванька, кабы не прошиблись, тебя за генерала не обознали.

Ванька, распаренный, красный, с капельками на ресницах, на носу, выкатив глаза и сложив трубой губы, с шумом втянул воздух, и дымившийся кипяток разом исчез с блюда, стоявшего перед губами на трех пальцах. Он перевернул блюдо, положил крохотный огрызок сахара, размашисто перекрестился и, обернувшись, бросил крепкое забористое словцо.

Все засмеялись.

– По-енеральски.

– Чисто енерал и спереду и сзаду.

Те, кто заморил червячка, сплеснув, передавали посудину и огрызок сахара дальше. Было человек тридцать – каменщики, плотники, ремесленники, несколько человек из местного завода, сторожа шоссежных казарм, чернорабочие.

Ремесленники и заводские, щуплые и мелкие ростом, бойкие, подвижные, в сапогах дудкой, говорили бойко, много, споро, вставляя «ералаш», «безобразие», «ерунда». Черно-рабочие и шоссейные – кряжистые, неуклюжие, в лаптях, малоречивые, с деревенскими оборотами, наивные своей нетронутой силой.

Маленький человечек, подмастерье из портняжной мастерской с тонкими, слабыми от постоянного сиденья, поджавшись на катке, ногами и, как писанка, пестрым веснушчатым лицом, залез на опрокинутую тачку и тонким голосом торопливо прокричал:

– Товарищи!.. вот мы собрались... братцы!.. потому жизнь рабочего человека... так сказать, трудящегося люду... потому что, что мы видим?.. экономическое производство капитализма производит буржуазию и кризисы, а буржуазия и общественный строй – сила, захочет – купит, захочет – продаст, захочет – дом выстроит... а куда нашему брату, пролетарию... потому, собственно, одна голая эксплуатация... хозяин, который на готовых хлебах, спит себе с женой или брандахлыстает по театрам да по трактирам, а, между прочим,

рабочий человек когда отдыхает? когда свое семейство видит? какие радости видит?.. Товарищи, ввиду всего этого... единственная возможность... потому вспомните веник: раз-дергай – и весь по прутуку ломай, а свяжи, попробуй-ка переломить!

Он утер зажатый в руке в комок платочком выступивший от горячего чая и внутреннего напряжения пот на лице и лбу, радостно взглянул на всех, хлебнул воздуха, и, прислушиваясь к важным и торжественным мыслям в голове и ища для них и не находя старых и не справляясь с новыми словами, он начал снова высоким фальцетом:

– Братцы, счастье наше в наших руках!.. Оглянитесь, сколько нас, голодных... и все это – эксплуатация, и все это – народ... пролетарий... ведь ежели все да встанут... все до единого человека, что будет?.. Товарищи, крикнемте же «ура!..». «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Точно радостное похмелье разливалось по всему его тщедушному телу, пробиваясь на бледных щеках непривычным румянцем. Все эти новые понятия, новые слова: «буржуазия»

вместо «хозяин», «эксплуатация» вместо «кровь нашу пьют», «пролетарии всех стран, соединяйтесь» вместо «ребята, не выдавай» – ворвались в его серую, замкнутую жизнь, жизнь изо дня в день, которую он проводил, поджав ноги на катке, ворвались чем-то праздничным, ярким, сверкающим и огромным. И хотя эта серая, скучная жизнь все так же серо, монотонно тянулась, над ней, как утреннее солнце, стояла, заслоняя жестокую, неумолимую действительность, каторжный труд, стояла радость ожидания огромного, всеобъемлющего счастья грядущего освобождения.

В молчании и неподвижной тишине слушали тяжело и трудно этого маленького человека с востреньким носом и тонким голосом.

Бородатые, обветренные, изборожденные лица были неподвижны, и было на них что-то свое, давнишнее и старое, не пускавшее в глубину сознания эти новые, странные и в то же время близкие в своей новизне и непонятности слова и мысли. Молодые, безусые, как соколы, приготовившиеся лететь, не спуская глаз, с напряженным ожиданием глядели на

говорившего товарища. Некоторые из них прошли уже школу известного политического воспитания, и эти чуждые массе слова, обороты и термины соединялись более или менее ясно с определенными понятиями, но каждый раз все же звучали ново и призывающе на что-то сильное, большое и захватывающее.

Хозяин то входил, то выходил и теперь стоял, опершись о притолоку, точно подпирая стену, нагнув голову и глядя исподлобья. И все та же одна, не сходящая с лица дума лежала на нем.

Кто-то кашлянул. Переглядывались, ожидая, что еще будет. Все свое, тоненькое и заунывное, тянула лампочка.

С впалой грудью, с втянутыми щеками и длинными морщинами на лбу вышел слесарь. Он был не стар, а пальто и сапоги были стары, потерты и рыжи. Он постоял, расставив ноги, сутулый, шевеля черными от масла и железа пальцами, и вдруг густой, какого не ожидали от него, с хрипотой голос наполнил казарму:

– Все на свете меняется, одно, товарищи,

не переменяется – рабочий люд, – как был, так и есть гол как сокол, ни кола, ни двора, один хребет да руки мозолистые.

– Правильно, – сдержанно и угрюмо отозвались голоса.

– ... О-о-хх... ох-ох... ооохх... Мать божия... – тускло и слабо, все же пытаюсь напомнить о себе, проникало сквозь стену.

– Была прежде барщина, теперь барщины нету, ну что ж, легче стало народу? Как не так! Все одно: гни спину по четырнадцать часов в сутки да виляй хвостом перед хозяином...

– Куды-ы!.. Легче! Кабы не так... по миру идет народ...

– Край приходит, рази жизнь?.. Могила...

И в пустом, с холодными стенами помещении шевельнулось что-то живое, беспокойное, понятное и близкое всем.

– Так вот, братцы, речь о том, чтоб помочь рабочему люду. Кто ж ему поможет? не хозяин ли да подрядчик?

– Помогут! подставляй шею...

– Жмут они нас, аж сок из нас бегить...

– Ну, попы, может?

– Тоже... им что! отзвонил – да с колоколь-
ни долой...

– Ему хабаров набрать, больше ему ничего
не надоть... Карманы у них что твоя мотня
мотаются...

– Ну, так полиция, может?

– Гляди, эта зараз поможет... Вот брат вто-
рой месяц в больнице.

– Что?

– Да помогли... с подрядчиком зарезонился,
не доплатил, вишь, – ну, в участок... Теперь
ребра заращивают дохтора...

– Так вот, братцы, куда же деваться? На ко-
го понадеяться?

– На гроб надейся, больше ничего.

– В могилу закопают, вот и спокой... тогда
все хозяева добрые станут.

И, точно ветер тронул, закачалось, загово-
рило по верх леса, подержался над толпой го-
вор укоризны и насмешек. Но и этот говор
как бы говорил: «Знаем мы это... давно зна-
ем».

– Э-эxxx-вы!.. – тяжелым комом кинул сле-
сарь. – Овечье стадо... козлы отпущения... вас
гни, вы кланяться будете да благодарить...

– Не лайся... что лаешься!

– Сам – из Козлова царства...

– Да што, не правда, что ли? – выкрикнул, раздув ноздри, блестя раскосыми глазами, молодой рабочий, в сапогах дудкой и с вытянутой, как у зашипевшего гусака, шеей. – Вон у нас сорок ден стачка была... с голоду пухли... жена в ногах валяется: «брось»... у ребят голова не держится, вповалку лежат... руку бы свою вырвал, сварил... вот... а добились своего, а то могила!..

– Тебе хорошо... вишь, сапоги – гармония... продашь – восемь целковых, месяц и сыт, а на нас лапти, – угрюмо протянул грязную, обвиту веревкой по онучам ногу шоссейный.

– Не украл... слава те господи, не доводилось еще... Я, брат, их заработал... во, соком...

– Стой, ребята, помолчите...

– Товарищи, не об этом речь...

– Это все одно, как у нас в Панафидине...

Приходит единожды пономарь...

– Помолчите...

– Братцы... ведь все мы пролетарии, – остро выделяясь из всех голосов, зазвенел тонкий голос, – все пролетарии... а пролетарии всех

стран, соединяйтесь!..

И он оглядывался, ловя блестящими, остро сверкающими глазами глаза товарищей.

– Я и говорю, – вдруг снова покрыл всех густой голос, и все голоса смолкли. – Я и говорю: овца, когда с нее шкуру дерут, только мемекает, а мы – люди. Ежели будем по-овечьи, так и дети, и внуки, и правнуки наши... Поэтому надо дружно стать всем, да не в розницу...

Он с минуту молча оглядел всех. Все слушали и глядели на него.

– Матери вашей кила!.. – вдруг неистово заорал слесарь. – Да ведь понимать надо, за что стоять, чего нужно добиваться, в чем спасение рабочего люду... Бурдюги проклятые! Вот, как собаки, перли сюда по ночам... темь, того и гляди голову сломишь, а почему?.. Что ж нам о своих делах поговорить нельзя?.. Как воры... да ведь люди мы!.. А соберись, зараз за шиворот... бедность заела, хозява давят, а нам нельзя собраться, поговорить, обстроить свою судьбу... Нас таскают, избивают по участкам, гноят в тюрьмах, гонят в Сибирь... А от кого это все?.. Ну?.. Понимаете вы... чего нужно рабочему люду?..

Тяжело, злыми глазами обвел он всех, то-ропливо шевеля черными от масла и опилок пальцами. И среди выжидающего молчания раздался голос:

– Землицы бы...

В ту же секунду дрогнули самые стены.

– Земли... Земли...

– Наделы нарезать...

– ...потому земля...

– ...кормилица...

– ...без нее, матушки...

– ...куда мы без земли... бездомники...

– ...семейство, его и не видишь, так и бро-дишь, как Каин, по чужой стороне...

Красные, мгновенно вспотевшие лица со сверкающими глазами поминутно оборачи-вались друг к другу, гневно ловя несогласно мыслящих, тянулись руки, сжимались кула-ки, дергали друг друга за плечи. Не помеща-ясь в тесной и низкой казарме, стоял ни на минуту не ослабевающий гул разорванных голосов, в котором совершенно тонули проби-вавшиеся из-за стены стоны. Точно всплывая в водовороте, оторванно выделялось:

– Да ты трескать будешь ее, землю-то?

– Панов покрываете...
– Голыми руками...
– Все одно, и с землей сожрет барин да начальство...

– ...она, матушка, все сделает, все произведет... всем хорошо будет...

– Вошь земляная... гнида!..
– Да ты, сволочь, старуху обобрал, с которой живешь... все знают...

– Брешешь!..
– Помолчите!..
– А вон у нас как по восьминке на душу...
– Товарищи!..
– Братцы, пролетарии!..

Хозяин, опершись одной рукой о косяк, другой колотит себя по ситцевой рубахе на груди.

– Десять годов... во... как дикой... сладко, што ль...

Понемногу гомон затихал, и стало слышно;

– ...0-0-0... охо-0-оохх...
– Десять годов бьюсь... зимою во... снегом занесет под крышу, голоса человеческого не слышать, так и сидишь... А все зачем? Все об

одном: вот-вот сколотишься, соберешь... сколько детей, каждого знаешь, – так копейку: ее каждую знаешь, каждую помнишь.... с потом, с кровью, с мясом.... А все зачем?.. Все об одном... день и ночь... хошь бы четыре десятинки... в вечность... земля-то у нас, господи боже ты мой!..

Он со страстью, с разгоревшимися глазами бросал кому-то путаные, неясные, но полные для него всеохватывающего, всеобъемлющего значения слова. Десять лет гнездится он в этих безлюдных горах. Рождались и умирали дети, похоронил одну хозяйку, взял новую, сила не та, поясницу ломит, старость подбирается, а кругом все те же молчаливые горы так же, как и в первый момент, равнодушно стоят и не выпускают его, и он дробит булыжник, равняет для кого-то ненужное ему шоссе и не знает, когда придет его черед крестьянствовать.

Дикие, обезумевшие, животные крики во-рвались, опрокинув здоровые мужичьи голоса, из-за стены. Хозяин кинулся в двери.

Среди разбившегося неровного гула голов выросстал хриплый голос слесаря. Он со

злостью бросал ядовитые, язвительные слова, вставляя неписанные выражения:

– Задолбили... кабы можно, всю бы землю забрали. Я б и сам в первую голову... да то-то вот, которые все земли дожидает, давно без порток ходят, а вон он земли не дожидает, вишь – сапоги гармонией... потому гужом друг за дружку, а не как вы, как баранье стадо, куда вас гонят, туда и идете все мордой в землю... Э-эхх, остолопье!.. Вон Митрич десять годов из казармы не выходит, все землю дожидает, тут и сдохнет, и отец его сдох, пухлый с голоду, все дожидался... Кабы понимали, анафемы!..

Он ненавидел эту толпу, ненавидел острой, жадной ненавистью фанатика. Лет двенадцать скитается он из города в город, из мастерской в мастерскую, с завода на завод, перебиваясь и голодая с семьей и всегда пользуясь вниманием полиции. И каждый раз, когда, высланный, он снова пристраивался и попадал в рабочую толпу, его опять охватывала ненависть, едкая, жгучая ненависть к этому непроходимому, самопожирающему непониманию и темноте. И его агитация состояла

в том, что он жгуче, отборно клеймил своих слушателей. Иногда подымался протест, но большей частью покорно сносили брань и уходили со сходки, унося конфузливо в душе зерно просыпающегося сознания.

И теперь угрюмо и молча слушали этого лохматого черного человека, такого же заскорузлого, мозолистого, покрытого морщинами трудовой жизни, как и они сами. И если они не отказались от того, что было так же неизбежно и неуничтожимо для них, как жизнь и смерть, то впервые за всю жизнь в цельном, нетронутом, как гранит, представлении «землица» что-то надтреснуло тонкой, невидимой, не доступной глазу трещиной.

– Зачем мы тут!.. На кой дьявол возимся с вами... Да пухните себе, оголтелые черти, пухните с голоду, и чтоб вас били до второго пришествия в морду, в брюхо, в шею!.. Чтоб вас запрягали в дроги и ездили на вас бесперечь полиция, паны и все псы их дворовые!.. Чтоб вас на веревке водили за шею, как рабочую скотину... чтоб...

– Тю, скаженный!..

– На свою голову...

– Чтоб ты сдох!..

* * *

Огонек лампочки побелел, и в углах уже не лежала тьма. Все выступало без красок, серое, проступающее. Прильнув к стеклам, пристально глядело в окно мутно-матовое, все больше и больше светлевшее. Из-за стены не доносилось ни звука.

– Теперича бы выспаться.

– Высписся... цельное воскресенье.

– Стало, как в швейцарском королевстве. Там, братцы... народ пределяет. Скажем...

Дверь распахнулась, показался хозяин с засученными рукавами. На перекошенном лице дергалась улыбка, прыгала борода.

– Бог сына дал.

– А-аа!!.

– Вот это хорошо: работничек в дом,

– Дай господи...

– Поздравляем... дай господи благополучия... и чтоб вырос, и чтоб не по-нашему, а зычно да гордо: сторонись, богачи!..

И в казарме постоянно что-то свое собственное, независимое, и всем почудилось, точно теплый маленький комочек коснулся сердца.

III

Когда вывалили из казармы, совсем рас-
свело. Неподвижно и важно стояли сосны. Бе-
лел снег.

От самых ног необозримо тянулась молоч-
ная равнина тумана, изрытая, глубоко и
мрачно зиявшая черными провалами. Не бы-
ло видно ни города, ни долин, ни лесистых
склонов, ни синеющей дали, только холодно
и сурово зыбилась серая пелена, бесконечно
клубясь и волнуясь. Стояла точно от сотворе-
ния мира ненарушимая тишина, и человече-
ские голоса одиноко, слабо и затерянно тону-
ли в ней...

– Как же спускаться будем: ничего не ви-
дать внизу!

– А ты не спускайся.

– Не жрамши?

Ге-эй, па-алочки, чу-у-ба-рочки...

– Вот, братцы, семь годов в городе живу,
никогда не видал этого... равнина, а?.. будто в
церкви, и будто кадила, и дым плавает, а?..
семь годов...

Когда б могла поднять ты рыло...

- Ванька, подари сапоги... ах, сапоги!
- Рылом не вышел... и в лаптях хорош...

*Вставай, по-ды-ма-а-айся, ру-у-
сский нар-ррод!*

Встава-а-ай...

...народ... рооод... ооод...

Встава-ай на вра-га,

...бра-ат го-ло-од-ны-ый!.. – –

дружно подхватили молодые голоса, и над все так же чуждо, сурово и равнодушно волнующейся равниной поплыло, теряясь умирающими отголосками:

...а а-аат оооо-оодны-ы...

– Товарищи, кабы да отсюда, да гаркнуть всему рабочему люду, да так, чтобы по всему миру слышать было: «Пролетарии всех стран, со-еди-няйтесь!»

...аааа... аа... аай...

Когда спустились в полосу тумана, за сапоги снова стала хватать тяжелая липкая грязь, каждый видел в молочно-мутной мгле только спину идущего впереди товарища, и отовсюду беззвучно капали с невидимых ветвей хо-

лодные капли.

Похоронный марш*

I

Они шли среди огромного города густыми чернеющими рядами, и красные знамена тяжело взмывали над ними, красные от крови борцов, щедро омочивших их до самого древка.

Они шли между фасадами гигантских домов, испещренных лепными орнаментами, статуями, мозаикой, живописью, равнодушно и холодно глядевших на них блеском зеркальных окон. Город шумел обычной, неизменяемой жизнью. И среди каменных громад, среди заботливо, равнодушно торопящейся по тротуарам публики – над их бесчисленными рядами, как тысячеголосое эхо, носилось:

– Да здравствует свобода... Да здравствует рабочий народ!..

И гордо и чуждо неслись эти клики.

Гордо неслись над черными рядами, бесконечно терявшимися в изломах улиц.

Чуждо звучали среди каменных громад, среди роскоши зеркальных витрин.

С веселыми безусыми лицами шли молодые.

Сурово-сосредоточенно шли старики, быть может все еще борясь с таившейся в глубине души привычкой рабства, с темной боязнью новизны впечатлений, все опрокинувших. И с испуганным изумлением оглядывались они на руины вчерашнего дня.

Мелькали черные козырьки, сапоги бутылкой, пиджаки, черное пальто. Носились шутки и остроты, вместе с толпой плыл говор, гомон, и, местами покрывая, веселыми взрывами вырывался смех.

– Товарищи, держите равнение!

– Да все Ванька выпирает.

– Вишь, у него брюхо колесом, и забастовка его не берет...

– С запасом, стало...

* * *

– Да-а... приходим, сейчас дежурный: что угодно? Так и так, депутация от рабочих. Ждем. Выходит генерал. Ну, мы скинули шапки...

– А вы бы и штаны скинули...

– Ласковее бы стал.

– К ноге дал бы приложиться...

Рассказчик конфузливо-сердито замолкает, и по рядам густо несется добродушно-иронический смех.

Весело, беззаботно идет толпа, как будто эти чистые, прямые, широкие улицы, эти фасады, испещренные лепными украшениями, как раз были предназначены для них, случайных здесь гостей, для этих черных рядов, развертывающих почуявшую себя силу.

И ряды проходят за рядами, и реют знамена, и плывет:

Нам не ну-ужны зла-ты-ые ку-у-ми-и-и-ры...

и разрастается, захватывает и, густо дрожа, заполняет улицы, площади, овладевает городом, подавляя на минуту его беспокойно-крикливую жизнь, разрастается в нечто могучее, могучее не своей наивной неуклюжестью поэтической формы, а всколыхнувшимся чувством глубоко взволнованного моря, почуявшего человеческое. И в этом густом, все заполняющем гуле шагов слышалась гордая сила, познавшая самое себя.

– Товарищи!

Его высоко поднимали над чернеющим морем голов, и далеко был виден он, и голос его звучал отчетливо и ясно. Передние ряды задерживались, задние подходили, становились все гуще, и текучая людская река останавливалась, как в молчании останавливаются шумные воды, прегражденные в русле своем.

Звук шагов замер и только глухо и мощно доносился из дальних улиц.

– Товарищи!.. Даже окинуть я не могу ваших рядов. Но... – он поднял руку, и голос его скрепчал, – не в численности наша сила. Вот мы идем, идем безоружные, с голыми руками, на которых только мозоли. Перед физической силой мы – слабее ребенка. Десяток вооруженных людей может затопить нашей кровью улицы. Почему же враги в злобном ужасе озираются на нас?

Он приостановился. И стояло великое молчание. И он окинул неподвижное чернеющее море и прислушался к далекому мощному гулу еще идущих.

– Не руки наши страшны врагам – страшны сердца, страшно наше прозрение, страшны горячие сердца, бьющиеся неутолимо жаждой свободы! Как черная зияющая бездна, раскрылось наше сознание. Мы увидели наше глубокое рабство, мы увидели наших поработителей. Собравшись, мы стали на одном краю бездны, а наши поработители – на другом, и поняли мы: нет нам примирения. И они поняли: нет им примирения. И в этом ужас наших врагов!..

Он говорил им о вечной борьбе поработителей и поработенных, говорил о железном ходе исторической жизни, который неутолимо сотрет главу змия власти человека над человеком, говорил о вещах, которые они тысячи раз слышали, знали наизусть, сами могли говорить, и все-таки жадно, не отрываясь, ловили его слова, ловили много раз слышанное, ибо оно не утрачивало для них девственной прелести новизны. Как любовь для юноши, старое для человечества было вечно ново для человека.

И снова течет черная река между неподвижными громадами, яркими пятнами крас-

неют знамена, и слышится говор, гомон и смех, и, мешаясь с непрерывным гулом шагов, торжественно плывет:

На-ам не ну-ужны зла-ты-ые ку-у-ми-и-ры...

А из дальних улиц все выходят и выходят ряды.

Далеко в дымке теряющейся улицы смутно засерело, как сереет печальная отмель в пустынном море, плоская и безлюдная, печальная отмель, над которой носятся белые чайки. Все подняли головы, раздулись ноздри, собрались складки между бровями.



– А-а!..

– Где?..

– Вон...

– Какие?..

– Не видишь...

– Они!.. Они!..

Как тревожные ночные звуки, срывался говор, передаваясь трепетом неопределившегося беспокойства.

А серая отмель выростала и из печальной

и скучной становилась грозной. Ясно стало: это люди, серые, одинаковые. Солнце играло на остриях оружия.

Было у них одно лицо, неподвижное, немое, как каменное лицо валуна среди мшистых скал, от века нагроможденных. Тусклые глаза мутно глядели на приближавшихся.

А те шли тесно, взявшись за руки, и над чернотой бесконечных рядов кроваво реяли знамена, и стоял все тот же густой, непреградимый, упорный, все заполняющий гул шагов.

IV

Офицер полуобернулся к солдатам и сказал слова команды.

Горнист поднял рожок, раздвинул усы, приставил к губам, надул щеки. И разом вся огромность, все значение больно сверкавших штыков, черно зиявших пулеметов перешло к одному человеку в серой шинели.

Словно испытывая всю мощь, весь ужас, который сосредоточился в нем, он оторванно бросил этим тысячам жизней три коротких звука.

Дружно блеснув, покачнулись штыки, и

сотни их послушно легли на руку, остро протянувшись к надвигавшемуся живому морю и безмолвно глядя чернеющими дулами. Передняя шеренга серых людей опустилась на колени, и пулеметы жадно глядели на неумолимо приближавшиеся живые тела.

Смолк говор, потух смех. Настала звенящая тишина и все больше заполнялась звуком шагов. И этот нарастающий гул шагов наполнял мертвое молчание и стоял над улицами, площадями, царил над примолкшим городом.

Разрушая напряжение, над тысячами обреченных, тысячами молодых и старых голосов могуче зазвучал похоронный марш:

Мы же-ер-тво-ю па-а-ли в борьбе-е-ро-ко-вой...

Как прощание, восходило пение к бледному небу, к кровавому солнцу, к каменному городу, затаившему шумное дыхание, и народ, толпившийся по переулкам, жавшийся вдоль тротуаров, народ снимал шапки им, идущим.

...лю-бви без-за-вет-ной к на-ро-о-ду...

Как погребальный звон, плыло над ними:

*...мы от-да-ли все, что могли за
не-го...*

Лица были бледные, глаза светились, и шли они, как обреченные.

Розовато дымящийся туман окрашивал солнце, дома, лица, и острой волной набегал кровавый запах, и чувствовался на языке приторно знакомый привкус.

Пространство между надвигающимся погребальным шествием и серыми шинелями, страшное пустотой смерти, таяло, как догорающая жизнь.

*...но гроз-ны-е бук-вы дав-но на
сте-не
чер-тит ру-ка ог-не-ва-я!..*

Тысячи людей шли, тысячи людских голов звучали погребальной песнью, торжествующей песнью смерти, и на лицах и на белых стенах домов траурно реяли черные тени знамен.

V

Офицер, с бережно зачесанными кверху усами, холодно мерял привычным глазом неумолимо сокращающееся расстояние, блес-

нул, поддав руку, саблей, и губы шевельнулись, произнеся последнее слово команды.

Страшные секунды ожидания покрылись:

...прощайте же, бра-атья!..

И в то же мгновение исчезло пространство смерти, зато пленное живыми, движущимися рядами. Как сверкнувшая вода, блеснули покорно поникшие к земле штыки, и солдаты, растерянно и радостно улыбаясь, потонули в человеческом потоке; лица их были бледны, и у каждого было свое особое молодое лицо. Растворилась серая преграда в бесконечно чернеющих надвинувшихся рядах, как скатившийся с кремнистого берега гранитный валун в набегающих волнах.

Отвернувшись, офицер опустил ненужную холодную саблю. Глупо глядели пулеметы.

Десятки тысяч людей шли, пели гимн смерти, и торжественно и могуче из могильного холода и погребального звона выростала яркая, молодая, радостная жизнь, и сверкала на солнце, и играла на лицах тысяч людей, и народ, густо черневший вдоль улиц, несмолкаемо и исступленно приветствовал их.

Кровавая дымка подобралась и растаяла. Исчез приторный привкус и острый, раздражающий запах.

Солнце сияло, и город снова зашумел тысячами задержанных звуков.

На Пресне*

I

«Бумм!..»
Он донесся издалека, этот глухо-тупой удар, от которого слабо дрогнули стекла, донесся из центральных улиц.

«Началось!..»

И что бы ни делал, куда бы ни ходил, с кем бы ни разговаривал, ко всему примешивалось: «Но ведь началось...» Вырвется детский смех из комнат, стукнет дверь, громко кто-нибудь кашляет, и в памяти угрюмо встает звук смолкшего орудийного удара... «Началось!..» И сердце жжалось, сцепив грудь тоскливым предчувствием огромного несчастья или огромного счастья, и уже не отпускало до конца.

– Матушки-и мои!.. – просунув голову в дверь, приседая и хлопая себя по бедрам, го-

ворила кухарка, рязанская баба. – Народу-ти наваляли-и... конца-краю нету!.. Вся Тверская черна, один на одном лежат, как тараканы... Со Штрашного монастыря содют из пушек.

Я вышел. Орудийные выстрелы доносились с томительными перерывами. Народ обычно шел по панели вверх и вниз по улице. Хрустел снег.

На морозном небе вырисовывалась вдали каланча. Хотелось побольше полной грудью забрать этого славного, бодрого, покусывавшего за уши, за щеки воздуха, не думая ни о чем, но глухие удары, доносившиеся *оттуда*, и каланча на морозном небе говорили: «Началось...»

Все было обычно, только, когда проходили мимо кучки, слышалось:

– А *она* вдарилась возле, так и обсыпала...

Да лавки хмуро глядели наглухо заколоченными ставнями и щитами. Но, по мере того как я шел, народу больше попадалось на встречу, и слышался беспорядочный, торопливый говор. Останавливались, моментально образовывалась кучка, и говорили, говорили нервно, торопливо, как будто эти люди, нико-

гда не видавшие друг друга, были знакомы много лет.

Какая-то пожилая дама, должно быть немка, придерживая трясущиеся руки на груди, говорила, придыхая, и перья прыгали у нее на шляпе:

– Я кофору, пойдем, я боюсь... а она кофортит: не бойся... Смотрим: баххх!.. а у него колофы нет, а из шеи крофь... а из шеи крофь, как фонтан...

И она с перекошенным лицом теребит ближайшего слушателя за пуговицу пальто... Угрюмо слушают, не умея еще разобратсья, не решаясь довериться рассказчице, но орудийные удары подтверждают истинность рассказа.

Вот и баррикады. Торопливо снимают ворота, выворачивают решетки, валят столбы. На протянутых через улицу веревках трепещут красные флаги. Оставлены узкие проходы по тротуарам. Все пролезают, покорно сгибаясь, под протянутые проволоки.

Орудийные выстрелы все ясней, и при каждом ударе тяжело вздрагивает земля. Теперь уже не идут, а бегут *оттуда* с растерян-

ными, бледными, как будто помятыми лицами.

– Куда идешь?.. – со злобой, прибавляя непечатную брань, кричит мне в самое лицо какой-то маленький старичишка. – Черту в зубы?.. Из пулеметов бьют...

– А-а... пусть... пусть натешатся... – с такой же злобой кричит молодой парень, грозя *тому* направлению кулаками, – пусть натешатся... пусть... – И он торопливо обгоняет меня.

Как роковая полоса, пустынно тянется через перекресток Тверская. Никого нет, но на углах кучки любопытных – дети, женщины, мужики, торговцы. Вытягивают шеи, выглядывают за угол и опять назад. Я замедляю шаг. Впереди у самого угла раздается оглушительный взрыв. С дымом и огнем веерообразно взлетают вверх куски чего-то черного. Навстречу, что есть силы, бегут люди. Впереди молча несется, стиснув зубы, сжав кулаки, огромный рыжебородый мужчина, и алая полоска со лба по носу, по щеке теряется в густой рыжей бороде. Девочка, лет двенадцати, кричит нечеловеческим голосом:

– Ай, родные мои... ай, родные!..

И долго, теряясь где-то в конце улицы, доносится:

– Родные... ро-одные мои!..

Бежит старушка с огромными, навывкате, белками.

– Свят, свят, свят, господь Саваоф, исполни небо и земля!..

Из кучки любопытных шрапнель вырвала шестнадцать человек. Часть раненых разбежалась, часть растаскивают по дворам, а на снегу неподвижно чернеют четверо. Пятый стоит в изумленной позе, потом постепенно валится и, не сгибаясь, падает лицом в снег и так же лежит неподвижно, как и остальные. Возле – воронкообразная яма. Кругом кровавые пятна и какие-то черные обрывки не то одежды, не то человеческого тела.

Никого нет. Хочется заглянуть за угол. И страшно и мучительно тянет, как тянет заглянуть в черную бездну.

С замиранием сердца делаю шаг.

– Погодите...

Я оборачиваюсь. Парень, кричавший «пусть натешатся», отделяется от соседней ка-

литки.

– Обождите трошки – зараз вторая ударит.

В ту же секунду раздаётся такой же оглушительный взрыв у противоположного угла. Дым и огонь расходящимися струями несутся кверху, с соседних домов густо сыплется штукатурка, и со звоном летят изо всех окон стекла.

– Теперича можно.

Чувствую, как холодеет затылок, я заглядываю. Тверская мертвенно-пустынно тянется в обе стороны. Только где-то далеко, в морозной дали, маленькие, игрушечные люди маячат около маленьких, игрушечных пушек.

– Отходите.

Я отошел дома за два.

– В кого же они стреляют?

– А так, глупость одна.

Я гляжу на кобуру от револьвера, которая топорщится из-под расстегнутого пальто.

– Вы дружинник?

– Да.

– Как же так... мало?

– Мало, а видишь, сколько пушек навезли.

– В мирных бьют?

– Потому публика необразованная, зря суется... Умей выйти, умей схорониться, а она лезет. За сегодняшний день эва набили их, а в нашем отряде не ранен еще никто.

Я пошел назад. Орудийные удары, то вздваиваясь, то порознь, стояли в воздухе.

Наплывали сумерки. На площади красновато бросалось из стороны в сторону пламя костров: жгли ворота домовладельцев, которые их запирали. На стенах смутно белели объявления генерал-губернатора о штрафе в три тысячи рублей, если ворота не будут закрыты.

Уже царила ночь, темная, глухая. Ни одного фонаря, ни одного огня. Орудийные выстрелы смолкли. Зато то там, то здесь раздавались одиночные или целыми букетами ружейные выстрелы. Где стреляют, кто стреляет – нельзя было сказать. И среди глухой темноты эти щелкающие короткие звуки впивались болезненно и угрожающе. Винтовочные пули без прицела летят на несколько верст и поражают совершенно случайных людей.

Скрипел снег. На улицах ни души.

С утра обыкновенно бывало тихо, но к часу разыгрывалась оружейная стрельба. Улицы – как вымерли. Зато у каждых ворот, у каждой калитки, на каждом перекрестке кучки народу. Передают случаи расправы войск и полиции, подвигов дружинников и горячо обсуждают шансы победы той или другой стороны в развертывающейся кровавой драме.

– И у нас баррикады строят, – и испуганно и радостно говорит прислуга.

– Где?

– У заставы.

С представлением революции, восстания вяжется что-то необычайное, поражающее. Но когда я подходил к заставе, все было необыкновенно просто. С пением, со смехом, с шутками валили столбы, тащили ворота, доски, бревна, сани со снегом, и баррикада вырастала в несколько минут, вся опутанная телеграфной и телефонной проволокой. У ворот по тротуару толпился народ.

– Ну, братцы, и бабы пошли на баррикады... Дело Дубасова – дрянь... Хо-хо-хо...

Все весело подхватывают и смеются.

Баррикады одна за одной вырастают вниз

по улице, по направлению к Пресненскому мосту. Вдруг публика исчезла. Улица пустынно, мертво и грозно белела снегом. Бревна, доски, столбы, перевернутые сани, неподвижные и беспорядочно наваленные поперек улицы, придают этим домам, окнам, наглухо закрытым лавкам, зияющим воротам вид молчаливого и напряженного ожидания.

Я тоже захожу за угол в переулок.

– Что такое?

– Казаки.

И это короткое слово разом освещает пустынную улицу и наваленные бревна ровным, немигающим серым светом, в котором чувствуется: «Для кого-то в последний раз?..» Любопытные жались к воротам. Молодой парень, подняв руку, крикнул:

– Пе-ервый номер!..

Несколько человек с револьверами в руках сгруппировались у ближайшей к углу калитки.

– А вы отойдите... отойдите, пожалуйста... а то подойдут – вы побежите, паники наделаете, – говорил парень, обращаясь к публике.

– Это – дружинник, – передавали, отходя,

шепотом друг другу, и в этом шепоте и во взглядах, которыми его провожали, таилось уважение, смешанное со страхом, и надежда на что-то большое, что сделают эти люди.

Я выглянул. Серым развернутым строем поперек всей улицы шли вдали спешенные казаки. Когда взошли на мост, их серый ряд разом блеснул огнем, и раздалось: рrrrr... рrrrr... рrrrr... точно рвали громадный кусок сухого накрахмаленного ситца. По баррикадам, по водосточным трубам, по вывескам и окнам, а особенно по калиткам дворов, щелкая, посыпались орехи... Рrrrr... рrrrr... рrrrrы!.. Я вбежал в калитку переулка. Тут толпилось человек двадцать прохожих и любопытных. Металась какая-то женщина.

– Ой, батюшки, да куда же я...

А ситец продолжали рвать. В промежутках нежно защелкали браунинги. На противоположном перекрестке дружинник спокойно опустился на колени, прицелился из винтовки, блеснул огонь, – и вдруг среди стрелявших раздались крики и радостный смех:

– Браво... браво... браво!..

Ситец перестали рвать. Публика опять вы-

сыпала на улицу. Я тоже вышел. Везде стояли кучки. Подобрал четырех раненых, свернувшись повзводно, серели вдали, уходя, казаки.

Снова закипела работа. Баррикады росли одна за другой. Внизу улицы, возле моста, выросла последняя. Красный флаг победно волновался над нею. А вдали угрюмо и молча глядела на нее пресненская каланча.

III

Ночью город вымирал. Мутно белел снег. Черными неясными громадами в глухой неподвижной тьме тонули дома. Ни одного огонька. Ни одного звука. Только собаки лаяли, перекликаясь, и в промежутках стояло молчание. Казалось, среди ночи раскинулась большая деревня и покоем и мирным сном веяло над нею.

Половина одиннадцатого ночи.

...Prrrr...rrrrr...rrrrr...

Залпы раздирают ночное молчание и гонят иллюзии... Prrrrr...

Это уже у нас внизу, во дворе. Я осторожно отворяю форточку. Стреляют в воротах. Пули, как из решета, сыплются в забор, в парадные двери. Весь дом – как мертвый. Дружинников

тут нет, потому что им неудобно скрываться и оперировать, — двор, как мешок, с одним выходом, и их легко всех захватить. Тем не менее солдаты стреляют во двор, в окна обывателей, чтобы нагнать страху, чтобы никто не показывался, и главное потому, что в дружинников стрелять не приходится: они неуловимы.

Выстрелы стихают. С улицы доносятся говор и голоса. Небо понемногу багровеет. Несутся искры, коробится и трещит дерево, — жгут баррикады.

Кто-то громко высморкался, и этот мирный звук звонко и как-то умиротворяюще разнесся в морозном ночном воздухе, и представился солдатик, отирающий о полы шинели пальцы, обветренное добродушно-туповатое лицо мужичка, оторванного от земли, около которой он и теперь бы с наслаждением ковырялся.

Зарево разгоралось. Дома угрюмо выступили, кроваво озаренные, с мертвыми, незрячими окнами. Потом понемногу потухло, все стихло, солдаты ушли, — и снова угрюмо царил мертвый, молчаливый мрак, и лаяли со-

баки.

«Конец!»

Грудь давило, как наваленной могильной плитой. Впереди чудился кошмар кровавой расправы. Каково же было удивление утром, когда я увидел, что это еще не конец: вновь возведенные баррикады гордо красовались, и непреклонно веял красный флаг. В городе все было подавлено, только Пресня, пустынная и вся связанная баррикадами, угрюмо и гордо давала последний бой.

Мне пришлось ворочаться из города, и я попал на Пресню со стороны Горбатого моста. Надо было перейти через Большую Пресню. Меня остановили.

– Не ходите.

– А что?

– С каланчи охотятся... беспременно подстрелят...

Я глянул. На каланче действительно вырисовывались фигурки, и иногда доносился оттуда звук выстрела. Городовые и солдаты, обозленные бессилием взять Пресню, охотились на обывателей. Достаточно было кому-нибудь показаться, как его клали. Пули об-

стреливали вдоль всю большую улиду, летали по дворам, пронизывали окна.

Большая Пресня безлюдно тянулась в обе стороны, но во всех переулках, укрытых от каланчи, чернел народ. В эти дни невозможно было усидеть в комнатах. Я прислушался.

– Ночью у Горбатого моста студента арестовали, обыскали – револьвер; потом девушку, потом рабочего. Офицер ничего не спросил, не узнал, кто они, как и что, мотнул головой – ну, и...

– Что?

– Расстреляли.

Стояло угрюмое и суровое молчание.

– Как же мне теперь перебраться?

– А я вас переведу.

Мальчуган лет десяти, шустрый и проворный, глядел на меня ясными глазенками.

– Как же ты? – удивился я.

– Пожалуйте.

Он подвел к углу, от которого поперек улицы тянулась баррикада.

– Ложитесь на пузо.

– Что такое?

– Беспременно на пузо, а то все одно под-

стрелят.

Делать нечего. Мы поползли по холодному снегу, укрываясь от каланчи за баррикадой. На той стороне, уже за углом переулка, поднялись, отряхнулись. Я заплатил, и мальчуган весело, как ящерица, завилял назад, ожидая случая еще кого-нибудь переправить, пока не уложит пуля караулящих на каланче городских.

«На Москву-реку!..»

«На Москву-реку!..»

Это, как кошмар, стояло в мозгу, ни на минуту не отпуская ни днем, ни ночью, ни за работой, ни во сне... Они шли, шли трое, быть может не зная друг друга, шли молча. И с трех сторон шли мужички Рязанской, Калужской и других еще губерний, положив ружья на плечи.

И тоже шли молча.

И не надо было просить, плакать, сопротивляться, ибо было бесполезно. И была морозная мгла. По бокам отходили назад дома, черные, мертвые, немые. Там, внутри, может быть, спали или ходили, разговаривали, ужинали, раздевались, раздавался детский плач,

а эти шли мимо черных и мертвых снаружи домов.

Потом потянулись заборы и пустыри. Потом была одна морозная мгла, да низко белел снег. Остановились. Поставили, чтобы было удобно. На секунду водворилось великое молчание. И эти трое и мужички из Рязанской и других губерний думали. О чем? Потом, когда мужички ушли, по мутно белевшему снегу чернели три пятна.

IV

Меня разбудили тяжелые, потрясающие удары. Было темно. Я приподнялся. Дети спали. Няня возилась в соседней комнате. Орудийная канонада разрасталась, дом трясся. В промежутках слышно было, как трещали пулеметы и рассыпались ружейные залпы. Странные, скрежещущие звуки, точно много железа тащили по железу, тянулись в стоящей за окном мгле, и это наводило неподвижную тоску.

Вдруг: чок! С коротким звуком пуля, продырявив два оконных стекла, впиалась в стену. Штукатурка, шурша, посыпалась на пол.

– Ой-ой-ой... убили, убили!.. Родимые!.. – за-

голосила нянька, мечась по комнате.

По голосу, каким она голосила, я угадал, что она не ранена.

– Няня, сядьте... сядьте!.. Не подымайтесь выше подоконника... Сядьте на пол... – старался перекричать я гул канонады.

Я сполз на пол, оделся на полу и – увы! – по Руссо, на четвереньках пробрался к детям. Оба мальчика тихо спали, ничего не подозревая. Я стащил их и по полу потащил во вторую половину квартиры, которая выходила окнами не к стреляющим.

Маленький стал отчаянно реветь, а старший тревожно говорил:

– Папа,пусти меня,я сам пойду...

– Нет,ничего, – говорил я,проползая в двери, – только не подымай головы.

– Разве опасно?

– Нет,нет... только не подымай головы!..

В дальней комнате собралась прислуга, хозяйева с детьми. Мы лежали, прижимаясь, на диванах, на стульях.

Здесь, оказывается, тоже нельзя было стать во весь рост: трехлинейные пули, пробив две дырочки в окне, пронизывали внут-

ренние стенки квартиры и впивались в кирпичи противоположной наружной стены вершка на полтора. То и дело слышалось: «чок, чок...» Осыпалась и падала штукатурка, подергивая пол белым налетом.

Стало светать. Время ползло томительно медленно. Орудия гремели. Женщины, уткнувшись лицом, плакали. Детишки расширенными глазами молча глядели на непривычную обстановку.

– Пойдемте, посмотрим, – проговорил хозяин, бледный, с подергивающимися губами.

Нагибаясь, мы прошли в мою комнату и, прижавшись в угол, стали глядеть наискось в окна. Рассвело. С нашего пятого этажа улица и Пресненский мост, с которого стреляли, видны как на ладони.

– Да они расстреливают дома!.. – вскрикнул хозяин, белый как полотно.

Действительно, каждый раз, как из жерла орудия вырывалась длинная огненная полоса, в одном из домов таял клубочек дыма, брызгами разлетались осколки, валились кирпичи, чернея, зияли бреши, и мертво глядели провалы вместо окон.

Под нашим полом раздался гул. Густое облако зеленоватого дыма проплыло, относимое ветром, заслонив на секунду все, мимо окна. Под нами, в квартиру четвертого этажа попала граната.

Как сумасшедший, я кинулся, уже не соблюдая никаких предосторожностей, схватил мальчиков и бегом бросился по коридору. За мной бежали хозяйева с детьми, прислуга. Пули то и дело чокали, и сыпалась штукатурка. Надо было бежать по громадной, проходящей все пять этажей лестнице. Сквозные окна, освещавшие ее, были пестры от пулевых дырок. Громадные огни орудийных выстрелов, вспыхивающие на мосту, мелькали в глазах. Из всех дверей квартир выскакивали полуодетые трясущиеся люди и бежали вниз. Дети, старики, женщины, мужчины – все смешалось в живом потоке.

Мальчики крепко обвивали мою шею, и я каждую секунду ждал, что эти ручонки разом обмякнут и тельце безжизненно обвиснет у меня на руках. Не разбирая ступеней, бешено мчался вниз, мелькая мимо безмолвно и страшно глядевших окон. Последняя площад-

ка где-то далеко терялась внизу. Ноги подкашивались, стучало в висках.

Наконец выскочил во двор и облегченно вздохнула двор был закрыт зданиями и заборами. Но пришлось и отсюда бежать, – пули шуршали, дымясь снежком, по земле, по груде угля, наваленного у забора. На обывателя охотились с каланчи.

Я вбежал с мальчиками на руках в подвальное помещение.

Было темновато и сыро, и пахло мышами. Смутно виднелись силуэты сидевших, стоявших, прохаживающихся людей. Звуки выстрелов глухо доносились сюда. Страшная, никогда не испытанная усталость овладела, руки и ноги отваливались. Я сел на какой-то ящик. Надо было собраться с мыслями.

– Ня-ня!.. – капризно протянул маленький.

– Тсс... тсс... – испуганно прошептала какая-то женщина, бросаясь к ребенку и зажимая ему рот.

Все говорили шепотом, ходили на цыпочках, как будто в доме был покойник и как будто это от чего-то могло спасти.

В самом деле, где же старуха? Она или уби-
та, или забежала в подвал другого корпуса.

Среди шепота слышалось:

– О-о господи, за что наказуешь?..

Таким же придушенным шепотом кто-то
молился в углу, и доносилось урывками:

– Боже правый... боже всеильный... в тво-
их руках... избави и помилуй... от глада, труса
и нашествия иноплеменников...

– Если разрушат верхние этажи – обвалят-
ся, и нас тут раздавит...

Кто-то поднялся и стал щупать руками сво-
ды.

– Крепко.

– Да еще балки железные, пять домов вы-
держат.

– Да-а, выдержат!.. Если б люди строили, а
то подрядчики...

– Не знали, что вы тут будете сидеть, а то
бы прочно выстроили.

В другом отделении чернела громадная
печь центрального отопления. Из-под колос-
ников, дрожа, ложились на земляной пол
красные полосы. Приходили и, протягивая,
грели руки.

На кучке угля, сливаясь с темнотой, сидел кочегар, угрюмый и черный. Он был из Тульской губернии, ходил без места, и его из милости приютил управляющий. Он помогал около печки, и за это ему давали ночлег и кормили.

– Что, Иван, страшно?

– Все одно, – угрюмо послышалось из темноты.

– А как убьют?

– И убьют – не откажешься.

И, помолчав, прибавил:

– Нас давно убивают, не в диковину.

– Как?

– А так. У меня в семействе, опрочь меня с женой, было восьмеро детей, а теперя – двое.

– Куда же те?

– Померли... с голоду... голодная губерния...

Опять в темноте постоянно молчание. Дрожали красные полосы, и выскакивали, прыгая, раскаленные добела угольки. Все незаметно ушли в другое отделение. И мне вспомнилось, как бежал я по лестнице, прижимая ребят. И этот человек так же прижимал своих детей, и у одного за другим разжимались у

них руки и обвисало исхудалое, изможденное тельце...

Я вышел, перебежал под пулями двор и стал подниматься по лестнице к себе на квартиру: надо было достать мальчикам потеплее одежду – в подвале было сыро.

Хрустя штукатуркой по полу в пустых комнатах, я прижался к стене и глянул в окно вниз.

Там, где еще час тому назад стояли громадные дома, полные детей, женщин, полные труда, забот и жизни, – бушевало море огня.

В раскаленных окнах среди ослепительно струящегося света безумно прыгало, металось, кроваво кивало острыми головами, хитро высывалось и пряталось что-то неуловимо призрачное, и, дрожа, мелькали, появляясь и исчезая, светлые одежды. И столько было в этом необузданного, мелькающего, змеино-хитрого, что я иногда с ужасом видел живые существа. Торопливо, безумно весело играли в таинственно непонятную игру, и продолжалась необузданно дикая пляска.

Временами в раскаленной атмосфере разверзались черные провалы, и оттуда глядели

обуглившиеся балки, и змеились перебежавшие искорки добела накалиленного железа.

Это веселье и движение было мертво.

Огонь бушевал, пожирая целый ряд домов. На другой стороне тоже горело. За Средней Пресней подымался колоссальный столб дыма. Дома загорались разом во многих местах. Из всех окон, дверей необыкновенно дружно выбивался дым, клубясь и застилая. Десятки языков со всех сторон лизали стены, крышу. Слышался треск, шорох, несло дым и искры. За Пресненским мостом море пожара. Крыши обрушивались, и уцелевшие почернелые трубы, как призраки разрушения, высились среди дыма и пламени.

Было что-то громадное, что-то непередаваемое, противоестественное. Было разрушение города.

Я оцепенело глядел на совершающееся, как вдруг сухой мгновенный звук цоканья заставил вздрогнуть: пуля, пробив стекло, расщепляя дерево, пронизала две двери и пропала в стене другой квартиры. Надо было уходить. Я взглянул в последний раз вниз и не мог оторваться. У бушующих пожаром зда-

ний бегали торопливые фигуры.

Они прибегали откуда-то, молитвенно подняв руки вверх, подбегали к загорающемуся дому, бросались вперед головой, и в клубах густо валившего из окна дыма воровато мелькали ноги.

Несколько секунд тянулись мучительно медленно. В окнах молча крутился черный дым. Потом разом появлялась опаленная голова и вся закопченная фигура. Отбежав несколько шагов, задымленный человек, ловко вышибая ударом в дно ладонью пробку из сотки или полубутылки и далеко запрокинув голову, торопливо лил дрожащей рукой в рот весело колеблющуюся, кроваво искрящуюся на огне водку. Горела казенная винная лавка.

А кругом реяли пули, гудел пожар, лопались стены, проваливались крыши.

V

В подвале по-прежнему стоял гнетущий шепот. Пробравшаяся сюда няня рассказывала детям сказки:

– Вот серый волк и говорит Ивану-царевичу: «Иван-царевич, садись ты на меня, понесу я тебя через луга и леса, через горы и дуб-

равы, через моря и реки...»

Детские глазенки широко глядят на морщинистое лицо.

– Няня, ты чего плачешь?

– Боже мой, неужели мы не выберемся отсюда? – шепотом, полным слез и отчаяния, говорит больная, неподвижно лежа на кровати.

– Не волнуйся, дорогая... тебе так вредно волноваться, – говорит, наклоняясь у изголовья, брат.

– Вредно волноваться, – горько усмехается она. Глухо доносятся теперь где-то дальше выстрелы передвинутых орудий.

– А серый волк откинул полено и пустился скоком...

– Что такое полено? – звенит тоненький голосок.

– Тише. Это волчий хвост.

Никто ничего не ел. Детей поят холодным чаем.

– Нет, это невозможно. Надо же отсюда выбраться.

– Да вот подите и узнайте.

– Куда же я пойду – стреляют... Подите вы.

– Я бы пошел, да ведь... дети. Что они будут

делать, вдруг... понимаете...

– Я бы тоже пошел – мать у меня... в Туле...
единственный кормилец...

– Надо дворника. Яков!

– Чего изволите?

– Сходи узнай, – можно нам отсюда вы-
браться?

Все дружно накидываются на дворника.

– Ведь это же невозможно...

– Не сидеть же нам тут, пока расстреляют
или сожгут...

– Черт знает что такое... Надо же меры
принимать, чего же ты ждешь?..

Дворник уходит.

– А я вот что скажу, – слышится глухой ров-
ный голос, – я вот что скажу: пожар подбира-
ется и к нам...

– Ах, оставьте, оставьте, пожалуйста... Тер-
петь не могу, когда начинают...

– Какой там пожар?.. Куда подбирается?..
За десять верст от нас...

– Слава тебе господи, наш дом громадный,
кирпичный и стоит отдельно...

– Вы – вечно!..

Его ненавидят. А он, помолчав, так же ров-

но и глухо говорит:

– Отдельно!.. А ведь заборы-то тянутся к нашему. А возле забора у нас, сами знаете, какая громада угля... Загорится – косяки, двери, полы начнут гореть. А то – кирпичный!.. Ну, а тогда не выскочишь, ход-то один, мимо угля, а полезем в окна в переулок, – в первую голову расстреляют, сами понимаете...

Все понимают – он говорит правду, но его продолжают ненавидеть, отворачиваются, перестают говорить. Входит человек в картузе и фартуке.

– Вы кто такой?

– Приказчик из мелочной лавки.

– А-а, это которая горит... От гранаты загорелась?

– От гранаты! – злобно говорит приказчик. – От гранаты бы не загорелась. Ни один дом от гранаты не загорелся. После стрельбы, когда весь квартал очистили от дружинников, пришли солдаты. Ну, мы обрадовались, – значит, успокоилось все. Входит офицер и говорит: «Уходите все из дому». Мы рот раскрыли. «Уходите сейчас, жечь будем». Стали просить. «Некогда нам дожидаться, сейчас же

уходите». Насилу хозяин на коленях умолил, – четыре ящика товару позволили взять. Солдаты сейчас же облили керосином и зажгли в пяти местах. А сколько квартирантов, – битком, и у всех имущество.

Что-то слепое, холодное и липкое заползло, постепенно наполняя подвал... Точно чудовище с громадным мокрым тяжелым брюхом улеглось и бессмысленно глядело на нас невидящими очами, глядело безумием жестокости.

– А сейчас подожгли дом с угла, возле вас; видят – ветер в ту сторону, ну и подожгли, чтобы весь порядок...

– А-А!!.

У всех разом охрипли голоса.

– Господа... сию минуту... надо завесить... Ведь генерал-губернатор... И тише... ради бога, тише...

И окна завесили, и все ходили на цыпочках, и опять говорили шепотом. Стало совсем темно, только на потолке, пробиваясь сквозь щель окна, ложилось отражение зарева. И эта кровавая полоса то разгоралась, то бледнела, и все с замиранием следили за ней.

– Да где же дворник?.. Боже мой, где же дворник?.. – разносился истерический шепот.

– Яков, что же ты пропал? Что ж ты не узнаешь, когда нам можно отсюда выбраться?

– Да, узнаешь... Подите да узнайте. Я вон высунулся, а солдат мне отмахнул. Я говорю: «Дозвольте объяснить», – а он как ахнет – так угол у ворот и сколол.

Тихий, покладистый и услужливый Яков сейчас говорит, держит себя свободно и независимо: он уже не дворник, он теперь ровня всем, кто тут есть, ибо подвергается одинаковой опасности сгореть заживо или быть расстрелянным.

Ночь или день – трудно различить; должно быть, ночь, и полоса на потолке становится кровавее.

– Да мне одно ведро!.. – звонко и дерзко, нарушая, как искра темноту, напряжение и оцепенелость, раздается среди подавленности, тишины и мертвого шепота мальчишеский голос.

– Тссс!.. Тише!.. – шипят все, выскакивая, и машут руками. – Тише... ради создателя, ти-

ше!

Мальчуган лет одиннадцати, краснощечный, с круглым лицом, скаля веселые белые зубы, ловко подставляет под кран ведро, и струя, пенясь, наполняет шумом угрюмое помещение.

Его обступают.

– Да ты откуда?

– А во, наискось, из белого дома...

– Значит, по улице ходить можно?

– С превеликим удовольствием... куда угодно.

Разом распадается давившая тяжесть, чудовище исчезает. Все шумно, наперебой говорят, торопливо и радостно.

– Ну вот, я же вам говорил: не звери же они. С какой стати они будут жечь и расстреливать больных, детей, женщин... людей, совершенно ни к чему не причастных.

– Слава тебе господи... слава тебе, царю и создателю... – безумно-радостно крестится, приподнявшись на локте, больная, подняв глаза к потолку.

Слышатся счастливые всхлипывания.

– Дети, одевайтесь!

– Иван Иваныч, куда вы мои калоши дели?

– Значит, не стреляют?

– Стреляют! – весело бросает мальчишка, заворачивает кран, и мгновенно наступает мучительная, давящая тишина. – Двоих зараз подстрелили. Лупят и по переулку, и по улице, и из Зоологического.

– Как же... как же ты?

– Да хозяин кричит: «Чайку хочца... Сбегай, кричит, Ванька, принеси ведро...» У нас водопроводу-ти нету, водовозы боятся, не ездют... А хозяин-ти с хозяйкой в погребу сидят, со страху рябиновку тянут, как пуговички... – мальчишка заразительно хохочет, подхватывает ведро и исчезает.

Снова давящая тишина, снова шепот, снова покойник в доме.

Ребята бегают между наваленным хламом, ссорятся, плачут, смеются, визжат, и взрослые, останавливая, поминутно шипят на них.

VI

– А пожар-то больше, – слышится спокойный, ровный глухой голос.

– Да вы откуда знаете?! – злобно и с ненавистью накидываются на него.

– А вон!

И все поднимают глаза к кровавой полоске на потолке. Она яркая. Потом понемногу тускнеет, тускнеет. И все жадно тянутся к ней воспаленным горячечным взором.

– Ну, вот видите, тухнет.

– Боже мой, неужели же!

– Деточки... дорогие мои... родные мои... вы спасены...

Все поднимаются, и все, даже дети, глядят в одно место на потолке.

– Да это дымом заволокло, – угрюмо слышится все тот же спокойный глухой голос.

– А-а, оставьте!.. Каркает ворона на свою голову...

Но на потолке становится опять светлее, и кровавая полоса, мигая и шевелясь, равнодушно смотрит, как приговор.

Все опускают головы. Что-то чудовищное по своей нелепости охватывает душу. Иногда кажется, все – сон, и хочется проснуться. Я гляжу в пол и прячу преступную мысль: все сторят, а я останусь с детьми цел.

И я торопливо и беспокойно бегаю воображением по двору, заглядываю в сарай, за за-

боры, – ищу маленькой дырки, в которую бы можно пролезть. Взять детей и проползти на животе через Зоологический сад – но там особенно усердно расстреливают и расстреляли сегодня служителя, который шел кормить зверей. С другой стороны колышется пожар. По переулку свистят пули... Выхода нет...

Я с усилием дышу стесненной грудью. Подымаю голову, встречаюсь с злобно сверкающими глазами и в них ловлю ту же мысль: все сторят, а он один останется.

– Гм... дымком отдает...

И хотя его ненавидят, ненавидят его глухой голос, но не возражают; и в горле у всех щекочет горечью, а глаза ест. Дыма на самом деле нет, так как ветер пока клонит его в другую сторону, но все чувствуют его.

Кровавая полоса разгорается. Глухо отдается выстрел: кого-то еще?.. А те, кого прикалывают штыками?.. Ткнут в сердце, другого, третьего по порядку, – спокойно и без хлопот.

– Ночь бесконечна.

– Который час?

– Должно быть, около трех.

– Боже мой, еще четыре часа муки!..

Я достаю часы, гляжу, протираю глаза, опять гляжу.

– *Восемь часов!*

– Не может быть... не может быть... – шелестом ужаса проносится. – Ваши стоят...

И изо всех карманов лезут часы.

– Восемь...

– Без пяти восемь...

– Десять девятого... – подавленно слышится со всех сторон, и все прикладывают часы к уху.

И тогда все замолкают и сидят неподвижно, как каменные. Дети в разнообразных положениях в разных местах спят.

Все молчат, но подвал полон странных шепчущих звуков, шороха, беспокойного и трепетного, тревожного потрескивания. Разгорающийся пожар ведет свой собственный разговор, и шипение, треск дерева, звуки осыпающихся кирпичей воровски вползают, приглушенные, придавленные тяжелыми сводами, толстыми стенами, наполняя глухую темноту тревожным ропотом отчаяния и тоски.

Слышатся чьи-то всхлипывания, подавляемые рыдания. Больше, больше. Вырываются

неудержимо, заполняют подвал, подавляя стоящий в нем шорох и шепот. Молодая женщина упала на колени, спрятала лицо в ладони, рыдает.

– Зачем... зачем обман?! Любовь, счастье... Если это для того, чтобы на твоих глазах погибли дети, не надо, не хочу... не надо счастья... не надо обмана.... не хочу!..

Рыдания неудержимо бьют ее. Все молчат. Ни у кого не находится слова утешения. Каждому мучительно жалко самого себя. Грозно рдеет кровавый потолок.

А время остановилось, остановилась ночь, остановилась мысль, только тесный круг одних и тех же ощущений устало давит душу.

VII

– Они пришли!.. Они пришли!! – иступленно несется истерический крик.

Все вскакивают с изуродованными страхом лицами, готовые на самое худшее.

– Кто?! Солдаты?.. Артиллерия?.. Расстрел?

– Они пришли... они пришли!..

– Да кто?.. Кто?..

Ее злобно трясут за плечи, а она бьется в судорожной истерике...

– Кто же? Кто? Говорите!..

– Они... пожарные...

– Тушат пожар?..

– Нет... разбирают заборы, которые тянутся к нам... Нас не хотят жечь...

Всеобщая истерика заполняет подвал. Женщины на коленях ползут в угол, где, по предположениям, икона, крестятся, хохочут, обнимают друг друга, целуют детей. Проснувшиеся перепуганные дети отчаянно режут. Я выскакиваю в кочегарку.

Печь почти потухла, Иван полудремлет, прислонившись к углю, – для него все равно. Публика понемногу успокаивается. Все входят с радостными, улыбающимися лицами,жимают руки, говорят громко. Всем жалко друг друга, все любят друг друга. Ночь быстро проходит. Уже десять... Половина одиннадцатого...

Хочется спать, и чувствуешь, как сладко, как крепко заснул бы, но негде прилечь, – все занято. Детишки понемногу утомонились. Красная полоса рдеет на потолке, но на нее никто не обращает внимания.

– А знаете ли, – слышится глухой голос, – я

бы убрался подобру-поздорову; по крайней мере воспользовался бы мирным настроением и вывел бы женщин и детей... Вернее было бы...

Но ему прощают, даже его теперь любят.

– Зачем же? – говорят ему мягко, и в этой мягкости слышится: «Что с вас возьмешь? закон вам не писан». – Раз приняли меры против угрожающего нам пожара, значит находят, что в доме сидит ни в чем не повинный народ.

Неодолимая усталость охватывает. Я ставлю локти на колени, кладу голову на руки и отдаюсь полудремоте? Иногда мне хочется расхохотаться, – до того нелепо и бессмысленно наше положение.

Потом мне начинает сниться, бессвязно и запутанно, и я борюсь со сном и сновидениями, с усилиями подымая брови, открываю веки, и они опять, отяжелевшие, незаметно падают. И все кажется красным, и в этой густой, приторной красноте отражаются мохнатые человеческие лица, слышится кровавый шепот разгорающегося пожара, и солдаты трудятся, стараясь всадить в меня штыки, и шты-

ки заворачиваются в мое тело, солдаты торопливо их распрямляют и опять всаживают, и я кричу им: «Скорей... скорей!..»

И кто-то кричит над моим ухом: «Скорей... скорей!..» – и трясет меня за плечи. Я открываю глаза: красный потолок, в красноватой полумгле – головы, руки, ноги, как будто оторванные и лежащие в беспорядке, и опять закрываю. Но опять трясут. Я поднимаюсь.

Стоит дворник. Лицо тревожное.

– Солдаты... Страсть их сколько... В окна в сторожку заглядывают... Сказывают, зараз расстреливать дом будут...

Разбросанные в беспорядке руки, ноги, головы шевелятся, отовсюду поднимаются люди с заспанно-испуганными лицами.

– Что?..

– Кто говорит?..

– Откуда?..

– Уже два часа... а я все думаю – я сплю.

– Боже мой, какая долгая, какая мучительная ночь!..

– Да не может быть. За что будут расстреливать? Забор же разобрали...

– За что? А за что расстреливали целый

день?

– Надо кого-нибудь послать.

Все глаза обращаются на обладателя спокойного глухого голоса. Он подымается и уходит. Потом приходит через минуту.

– Там не солдаты, а звери: я думал, меня посадят на штыки.

– Требуйте, чтобы отвели к офицеру.

Опять уходит. Ждем. Проходит двадцать минут, полчаса... Томительное ожидание разрастается в беспокойство. Поминутно лазают за часами,

– Нет его!..

Прислушиваются к малейшему скрипу, но звука шагов нет. Одна и та же страшная мысль проползает в мозгу: «Убит».

– Его убили... – слышу я шелест над своим ухом. – Не говорите только вслух...

– Не говорите только вслух, – шепчут все друг другу.

И каждый ревниво следит в кровавой полумгле, чтобы не прочитали в его глазах страшной мысли. Больше всего боятся ужаса, паники, когда роковое слово будет произнесено.

Вот шаги. Все с секунду напряженно вслушиваются. Может быть, солдаты? Он.

Бросаются.

– Что?..

– Сказал?..

– Будут?...

Он ровно говорит таким же спокойным глухим голосом:

– Вывели со двора. Все время штыки на меня. По переулку все освещено пожаром, ни души... «Куда же вы ведете?» – «Иди»... Мне стало казаться – приколют где-нибудь у забора. Одним больше, одним меньше... Сколько таких трупов валяются по Москве. Вывели на улицу. Светло как днем. Стоит офицер. Лица я у него не видал – нету лица, одни усы, холёные, громадные, смотрят к бровям. Излагаю ему: «дети, женщины, больные...» Он стоит ко мне спиной. Потом небрежно цедит сквозь зубы: «Если завесят окна, если никто не будет подходить к ним, никто не выйдет из дому и если... со стороны дома и двора не раздастся ни одного выстрела, мы... не будем расстреливать...»

В доме снова покойник. Все расходятся по

местам. У всех окостеневшие от напряжения лица. Отблеск пожара играет, шевелясь и трепетно озаряя, но в широко и напряженно открытых глазах стоит глухая тьма. Шорох и ропот пожара, по-прежнему придавленно, суетливо и тревожно шепчутся, но в ушах этих страшно прислушивающихся людей – могильная тишина: одного ждут, одно жадно ловят – глухой и слабый звук рокового выстрела, который с секунды на секунду раздастся там, за стеной.

Я с тоской гляжу на ребят и ищу глазами место, куда бы их положить, если начнут стрелять в окна. Но тут нет безопасного уголка: мостовая в уровень с окнами, и пули усеют все пространство. Теперь выгоднее было бы подняться в верхний этаж, но показаться в дверях – быть расстрелянным. Мне опять хочется расхохотаться. Я не гляжу на часы, прислоняюсь и засыпаю крепким, без сновидений, черным сном.

– Сидит, сидит за углом, где забор сходится с нашим домом... там удобно ему, не видно...

Этот зловеший шепот входит в мои уши и раскаленными каплями просачивается в

мозг. И на меня смотрят хитро злые глаза под хитро поднятыми бровями и голое морщинистое лицо, все перекошенное хитрой и злобной улыбкой.

– ...Он ждет только, чтоб помучить нас... Он наслаждается нашими лицами, нашей мукой ожидания...

– Да зачем ему...

– ...А!.. хи-хи-хи, как же зачем?.. Весь черный, обугленный... Все сгорело: столы, кровати, платье, дети, жена... И он не может смотреть равнодушно на наших детей... гнездится там... и...

И в мои глаза близко-близко впиваются злорадно сверкающие зрачки под косо поднятыми бровями, и заглядывает голое, морщинистое, перекошенное лицо.

– ...И *выстрелит* два раза в воздух!..

Я стряхиваю теребящие меня за плечи крючковатые, костлявые пальцы.

«Настанет день, и все кончится, и все будет по-прежнему, но останется безумие...»

* * *

Никогда не встречал я с таким ужасом счастья брезжущий день, как теперь. Я вскочил

и торопливо одел детей.

– Ну, что, можно уходить? – с замиранием спросил я, прислушиваясь к одиночным выстрелам.

– Конечно, ручаться нельзя... – говорит дворник. – Руки кверху, и зараз надо... Никак, опять начинают...

Я схватываю за руки мальчиков и высккиваю из подвала. Вид обугленного пожарища и разрушения поражает.

Прокаленный мороз перехватывает дыхание. Маленький зевает, как вытащенная рыба, задыхаясь и выпучив глазенки, и изо всех сил бежит рядом, торопливо семеня ножками.

– Папа, – говорит старший, испуганно озираясь, и так же бежит рысцой возле меня, – в нас выстрелят?

– Нет, нет... Только скорей... скорей, детки... Скорей... скорей, пожалуйста!..

В забор сухо плюхает шальная пуля. Я каждую секунду жду сзади залпа. Раздражающе звонко хрустит снег.

– Скорее, скорее до угла... до угла скорее!..

Осталось пятнадцать... десять... пять ша-

гов... Мы добежали... Мы заворачиваем...
Мы... спасены!..

Москва

8-18 декабря 1905 года

Погром*

I

Наташа Цыганкова со свежим от недавнего умывания личиком шла по аллее в гимназию маленькими торопливыми шагами. Отбрасывая косые, не успевшие подобраться тени, провожали ее знакомые неподвижные ряды тополей, и в не проснувшемся еще воздухе не струился их трепетный серебристый лист.

И по аллее и по тротуарам в обе стороны торопливой, деловой походкой, с отдохнувшими лицами шли люди.

Проехал, тархтя пустой бочкой, водовоз и крикнул бабе у ворот:

– Эй, тетка, не надо ль воды?

И эхо-звонко и весело перекинулось между домами.

Когда гром колес по мостовой смолк, в прозрачно-голубом неподвижном воздухе стояла

такая тишина, как будто на теряющейся вдали улице никого не было. Чтоб не нарушить эту свежую, полную радостной улыбки тишину, недавно выехавшие извозчики стояли неподвижно на углах в добродушном ожидании.

Сквозь деревья глянуло белизной большое здание. И смешанное чувство начинающегося трудового дня, привычного и скучного порядка, неоформленное желание каких-то иных ощущений, чувств, впечатлений, встреч овладело Наташей.

Отовсюду шли фигурки в коричневых платьях и черных передниках. Встречались, здоровались, целовались, стрекотали, и в чутко-звонком воздухе над улицей резво носились детские голоса, точно проворно и резва реявшие, сверкавшие на солнце ласточки.

Наташа потянула большую певучую дверь и с толпой неутомонно шумевших, смеявшихся учениц потонула в смутном гуле огромного здания.

Из раскрытых дверей пятого класса непрерывно неся говор и гомон. И этот гомон, и цифра V над дверьми, и ряды виднеющихся

парт, и паутина, обвисшая серой бахромой в углу, – все носило особенный отпечаток, имело особенный смысл и значение, как будто вся гимназия, все интересы, все события и все помыслы начальства и учителей тянулись сюда, концентрируясь как около фокуса.

По мере того как Наташа переходила из класса в класс, это значение центра и средоточия гимназической жизни передвигалось из класса в класс: старшие классы были смутным будущим, младшие – уже отмирающим прошлым.

Она вошла в свой класс, стукнула книжками о парту и возгласила, стараясь говорить мужским голосом:

– Милостивые государыни и милостивые государи, объявляю заседание открытым... Кто не выучил по истории, подымите руки!..

Одни, прижав уши, повторяли уроки, другие, обняв друг друга за талию, гуляли. За доской над чем-то заразительно хохотали.

– Тише, Оса идет!..

Смех, гомон и шум поползли по классу, точно слегка придушенные. Вошла Оса. Оттого что кругом были свежие, юные, с сияющи-

ми глазами лица, перед которыми только раз-
вертывалось будущее смутной дымкой меч-
ты, счастья, любви и радости, – Оса, невероят-
но перетянутая, готовая переломиться, с по-
блекшим лицом, с печально-унылым про-
шлым, где не было ни счастья, ни любви, ни
материнства, казалась еще востроносее, еще
злее.

– Mesdames, что за праздник у вас?.. Что за
шум? Ведь вы же не в приготовительном
классе.

Началось то, чем начинался для Наташи
каждый день вот уже пятый год. Ею разом
овладел бес злобно-раздраженного веселья.

Все шло заведенным порядком: было скуч-
но, серо, и хотелось не то смеяться, не то пла-
кать. Никто ничего не мог сказать, никто не
мог даже формулировать вопроса. Все с недо-
умением посматривали друг на друга, но чи-
тали у каждого на лице такое же недоумение
и вопрос. Уроки, перемены, звонки – все шло
своим порядком, но рядом стояло что-то свое,
особенное, напряженное и непонятное,

– Что такое?

– Да где?

– Кто сказал?.. – слышалось то тут, то там.

А на уроках все с серьезными, озабоченными и непонимающими лицами поглядывали на окна, друг на друга, ища причины странной, не проявляющейся, но растущей тревоги.

Слышали, как Оса сказала:

– Они идут!..

Слышали, как в учительской преподаватели горячо, взволнованно о чем-то спорили, и то и дело доносилось:

– Да нет же... не допустят...

– А я вам говорю, будут здесь, и... – Но прихлопнутая дверь отрезала слова, и был слышен только общий говор.

Начальница торопливо прошла по коридору. Лицо ее потеряло всю важность и величие, было бледное, растерянное, и она только повторяла:

– Ах, боже мой, боже мой!..

Тогда тревога достигла высшего напряжения. Гул огромного здания разом упал, точно там никого не было. Вдруг все разрешилось поразительно странно и неожиданно.

Смутные звуки откуда-то извне стали доноситься, все разрастаясь, становясь все шум-

нее. Все вскочили, как от электрической искры, с испуганным изумлением глядя друг на друга.

Тогда Оса, бледная, с пятнами на щеках, прошипела:

– Не смейте подходить к окнам.

И как только сказала это, – все ринулись, как по команде, роняя книги, ручки, чернильницы, и прилипли к окнам.

Густым колышущимся потоком заливала толпа площадь. Ближе, ближе... Треплются и плывут красные флаги с надписью, но надписей еще нельзя разобрать. Над толпой, над площадью, над соседними улицами с могучей дрожью звучат тысячи голосов, и возносятся к небу, и царят над городом.

Совсем близко. Уже можно различить надписи: «Конституция!»... «Да здравствует свобода!»... «Да здравствует рабочий народ!»... Уже можно различить лица.

Пение смолкает. Над толпой, мелькая и переворачиваясь, летят вверх тысячи шапок, и потрясающее, все покрывающее «ура» раскатывается по площади, по улицам, врывается в гимназию, и стекла жалобно звенят. Гимна-

зистки машут платками, кланяются, смеются, снова машут, оживленные, раскрасневшиеся.

Шумной гурьбой врываются другие классы. Маленькие, цепляясь, карабкаются на подоконники, и только и слышится: «Миленькие, дайте же мне посмотреть хоть одним глазом».

Оса в ужасе мечется, стараясь оттащить от окон. Но одну оттащит, а десять уже прилипло.

Тогда в исступлении она кричит тонким голосом:

– А-а... так вы так? Так знайте – они пришли вас перерезать: флаги у них красные от крови, они кричат «свобода», значит все могут сделать с вами...

На секунду воцаряется мертвая тишина, потом раздаётся оглушительный визг, крики, плач. Маленькие бросаются бежать; истерические вопли, стоны, заражая, несутся по всей гимназии.

Оса отчаянно кричит:

– Успокойтесь, mesdames... успокойтесь!.. Я пошутила... это все хороший, милый народ... они очень милые!..

Никто не слушает. Бегут по коридору, маленькие цепляются за классных дам, облепили и повалили начальницу. Учителя, сторожа, горничные начинают растаскивать по классам. Вся гимназия бьется в истерически судорожных рыданиях.

Наташа, глядя на всю эту кутерьму, сначала судорожно хохочет, потом, не умея овладеть собой, начинает сквозь смех так же судорожно плакать.

II

Пришла воинская команда, оттеснила манифестантов, очистила площадь. Девочек выпустили.

Наташа шла возбужденная и радостная, и странная пустота улиц поразила ее: магазины закрыты, безлюдно, молчаливо.

– Мамочка, милая... Ведь конституция... свобода!..

Они бросились и долго целовали друг друга. Наташа отодвинула лицо матери, с секунду вглядывалась и опять страстно принялась целовать.

– Какая ты у меня красавица, мамочка... королева!..

Пришел Борис в гимназической блузе и с демонстративно серьезным лицом.

– Боря, милый, что у нас было!.. Что у нас было, если бы ты знал!.. Манифестация была...

– Да это мы же и были, – мальчишеским басом проговорил Борис, – а вы хороши, хоть бы один класс вышел.

– Да-а, выйдешь, – одна Оса чего стоит...

Борис важно помолчал и проговорил с сосредоточенным видом:

– Разумеется, манифестации имеют значение постольку, поскольку они пробуждают классовое самосознание...

Наташа, напевая и придерживая двумя пальчиками платье, прошлась мазуркой и остановилась перед матерью.

– Мамочка, а ты знаешь, наше классовое самосознание каждый день бреет усы... чтоб скорей росли.

– Я на глупости не отвечаю...

И, помолчав, сердито добавил:

– Ты должна отлично знать гимназическое правило – не носить бороды и усов...

Наташа подмигивающе звонко расхохоталась.

лась и захлопала в ладоши.

– Что-то папы долго нет.

Стол был накрыт и сверкал ослепительной скатертью, тарелками, свернутыми трубочкой в кольцах салфетками; и было все так уютно, чисто, привлекательно, что Наташа не могла утерпеть и все пощипывала хлеб.

– Мама, она у черного хлеба всю корочку общипала, а у белого все горбушки съела.

– Наташа, что это!.. А потом сядешь и есть ничего не будешь... отец сейчас придет...

– Врет, врёт, врёт, мамочка, ей-богу врёт... я только две корочки съела, а горбушку... а у горбушки у одной... да и то не съела, а только надкусила... пусть это для меня... пусть это моя будет...

И, наморщив на минуту тоненькие, не умеющие хмуриться черные брови, вдруг весело рассмеялась каким-то своим, внезапно пришедшим мыслям и опять, придерживая черный передник, прошла из угла в угол, покачиваясь и притопывая через раз мягкими туфельками...

Пришел Цыганков, поцеловал дочь и руку жены. Сели за стол. Отчего-то было особенно

весело, и смех дрожал в комнате.

Боря рассказывал, как старухи на окраинах крестились и со слезами умиленно кланялись красным флагом, принимая их за хоругви. Но к концу обеда, как и в гимназии, почувствовалась странная, неопределившаяся и беспокойная тревога.

– Что такое?

Отец несколько раз подходил к окнам и глядел на улицу, сумрачный и озабоченный.

– Не уходите, пожалуйста, из дому сегодня.

– Почему?

В комнате было все так же уютно, весело, и из окон падали на пол яркие четырехугольники, залитые солнцем. Изредка прогремит извозчик.

Когда Анисья, с рябым, замученным постоянной работой лицом одной прислуги, подала сладкое, она не ушла сейчас, а остановилась и не то недоброжелательно, не то недоумевающе покачала головой.

– Там... пришли...

И то, что она не сказала, кто пришел, разом повысило напряжение тревоги и беспокойства.

Отец и мать быстро поднялись из-за стола и пошли в кухню. Вскочил Борис, и, уронив стул, как коза, прыгнула Наташа.

III

В первый момент ничего нельзя было разобрать в кухне. В густом, жарком, пахнущем маслом и жареным мясом воздухе виднелись головы, руки, детские глазки. Стоял шепот, подавленные стоны, мольбы:

– О бог, бог!..

Было тесно, пройти негде.

Цыганков что-то говорил, сдерживая голос. Ему отвечали страстным, молящим шепотом. Только взглядевшись пристально, Наташа увидела, что это были евреи. И сквозь густой, горячий кухонный воздух она разглядела белые как мел, исковерканные лица, трясущиеся губы. Дети цеплялись ручонками за волосы матерей и издавали беззаботные агукающие звуки, точно ворковали голуби.

– Ах, да о чем же тут разговаривать? – властно и громко сказала госпожа Цыганкова и, взяв за руку стоявших впереди, торопливо повела в комнаты. – Идите сюда, идите скорее сюда, идите все сюда.

И они пошли за ней, такие же дрожащие, жалкие, прижимая детей, но уже с робко разливавшейся по мертвенным лицам краской надежды. А из кухни, из прихожей все шли, шли и шли, старые, молодые, мужчины, женщины, дети. Переполнили комнаты, заняли мебель, сидели на подоконниках, на полу, на столах, под роялем. Воздух сделался густой, тяжелый.

День точно опрокинулся; веселое, смешливое, беспричинно радостное исчезло; глянуло что-то большое, угрюмое и бессмысленное. Но Наташе некогда было думать. Достали все белье из комода, разодрали на полотнища и отдали детям: они были почти голые, так как с ними прибежали впопыхах.

Цыганкова, с чертой властности, настойчивости и непреклонности на красивом, гордом лице, распорядилась, и дело кипело. Она чувствовала себя так, как будто надо было перевязывать раненых, стонавших и ползавших по окровавленной земле.

Поставили самовары, кипятили в кубах и кастрюлях воду, собрали все, что было можно, в доме, кормили детей, поили чаем. И дом

стал похож на бивуак, на раскинувшийся стан, над которым стоял сдержанный говор и гомон. Люди сбивались группами, шепотом говорили. Капризничали дети. Стены и плотно закрытые двери заслоняли совершившееся в городе, и своя быстро сложившаяся жизнь с минутными интересами продолжалась в квартире; роняли самоварную крышку или, со звоном разбиваясь, падал стакан, все вздрагивали и с испугом переводили глаза на окна и двери.

Наташа носилась по всем комнатам, при-саживалась то там, то тут, и ее смех в этой атмосфере тоски и отчаяния, когда какой-нибудь карапуз начинал торопливо сосать ее палец, звенел необычайной лаской, примирением и мягкостью.

– Мамочка, какие они пресмешные... Отчего они все такие голомозгие? Как думаешь, думают они о чем-нибудь?.. Я думаю, что думают, а то отчего они так брыкаются...

Анисья сбилась с ног, бегая в кухню и из кухни; она то и дело вытирала фартуком красные глаза. И когда давала себе передышку, становилась у притолоки, подпирала ру-

кой локоть и качала головой, глотая слезы,
– И-и-и, болезные мои!.. Горькие мои!..
Младенцы-то несмысленные... неповинные души ангельские... Варвары-то земные вторую улицу бьют, всю пухом застелили, в квартирах-то все дочиста бьют, да ломают, да рвут... Сколько народа загубили неповинного, и ребенчков не жалеют, варвары... и нет на них ни судов, ни расправы, а взыщет господь... это вы мне и не говорите, взыщет с них, иродов, попомните мое слово.

И она опять вытирала фартуком неудержимо выступавшие слезы и снова бегала, кипятила, варила, подавала, помогала матерям убирать за детьми.

– Так вот что!.. – с удивлением говорила себе Наташа, глядя вокруг широко раскрытыми глазами.

И хотя там делали страшное дело, но это было за стенами, а здесь кипели самовары, детишки расположились табором, как в Ноевом ковчеге. И Наташа всей душой была поглощена тем, что делалось тут.

IV

Сумерки вползали, в квартиру. Люди по-

степенно тонули в безмолвно сгущающейся мгле, и черные окна загадочно-немо глядели, не раскрывая тайны готового совершиться.

Огня не зажигали. Никого не было видно, но чувствовалось, что этот густеющий мрак заполнен дыханием людей.

Слышен шепот:

– О бог, бог!..

Задавленные вздохи да минутный крик ребенка... Кто-то молится в углу, и шепчущие, спутанные, неясные звуки с таинственным шорохом расползаются по черной комнате. Ночь тянется, немая, чреватая неизвестностью. В столовой перестали бить часы, и время потерялось среди мрака, среди ожидания.

Достали ковры, тюфяки, подушки, верхнее платье; все это разостлали по полу, по столам, на рояле и устроили детей. И люди ворочались и шуршали, как раки в темноте.

Ночь тянулась так однообразно темно, так бесконечно долго, что ощущение страха, ощущение тоски и горя притупилось, как будто был только этот шорох, этот подавленный шепот вздоха и ничего не было за окнами, в которые смотрелась молчаливая мгла.

Стало светать, но это не было утро: стояла глухая, глубокая ночь. И это не был утренний рассвет: кровавый, чуть брезжущий отсвет тихонько и незаметно разливался по комнатам. Постепенно выступали, окрашиваясь, стены, лица, мебель, волосы, лежащие на полу люди.

И окна глядели красные.

Евреи стали собираться кучками, нагибаясь и не поднимаясь выше красных подоконников, жестикулировали, показывали руками на красные окна; стоял подавленный шепот, и глаза у них были большие и круглые.

Наташа, присевшая на кровати, боролась с молодым, неодолимым сном. Наконец головка свалилась.

Кто-то толкнул.

Наташа вскочила с испуганно бьющимся сердцем. Все было залито кроваво-красным светом, ее руки, платье, и около никого не было.

Наташа прислушалась. В первый момент показалось – стоит тяжело колеблющаяся тишина, но потом она различила, что улица заполнена глухим, мутным гулом. Кто-то огром-

ный хрипло рычал, то падая, то подымаясь, и минутами рычание переходило в рев. И рев стоял, тяжело дрожа, и заглядывал в кровавые окна.

Должно быть, был в этом какой-то особенный смысл, потому что евреи хватали ее за руки и умоляюще шептали:

– Барышня... хорошая барышня, не подходите к окнам... Пусть не знают, что тут люди... пусть не знают, что тут люди...

Наташа задумчиво отошла от окна и, забыв про жавшиеся, согнутые, красневшие фигуры евреев, прислонилась к роялю, на котором из-под пеленок торчали голенькие грязные ножонки. Хотелось вспомнить что-то неотложное и требующее внимания, но это не удавалось. Напрягая память и собрав не умеющие хмуриться брови, она проговорила:

– Мама, что такое?

Мать со строгим и в то же время ласковым лицом успокаивала плачущих женщин. Отец что-то говорил сбившимся около него евреям, и голос его был живой, а рев, рвавшийся в красные окна, был слепой и злобный и казался кровавым. Тогда Наташе пришло в голову:

Хвост чешу ею змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь, дрожит...

Наташа прошла в кухню.

– Анистья!

Анистья, не обращая внимания и не слушая, гремя, мыла тарелки и торопливо и сердито ворчала:

– Дух-то чижолый... не продыхнешь... Все комнаты запаковостили... – И плюнула.

Не понимая, о чем идет речь, Наташа пошла в комнаты, и все сверлило:

Хвост, замирая, свиваясь, дрожит...

Как только она отворила дверь, тяжело ревуший вой, казалось под самыми окнами, ринулся на нее, терзая и мучая. Он давил все, топтал живые человеческие голоса и безумно метался в красных окнах.

Наташа тревожно, с болезненным личиком, озиралась, точно ища места скрыться от этого тяжело дрожащего воя, который то бился, то ровно, монотонно, упорно стоял в ок-

нах.

– Мамочка, да что же это такое!.. Боже мой, что же это, наконец, такое!..

– Скажи Анисье, чтобы ставила опять самовары, – надо взрослых поить; ведь ничего не ели, и неизвестно, сколько это протянется.

Анисьи и след простыл. Борис сам засучил рукава и наливал самовары. Наташа помогала, нервно и без причины смеясь.

– Ну, чего ты? – сердито говорил Борис.

А вой, дрожа, стоял в краснеющих окнах, ни на минуту не ослабляя своей силы. И Наташа металась, сдавливая голову обеими руками, точно голова, переполненная этим ревущим, мятущимся воем, готова была лопнуть.

– Мамочка... я не могу, не могу... так не могут реветь люди...

Она затыкала уши, но и сквозь пальцы все стоял сн – воющий, слепой и злобно трясущийся. Чудовище тяжело ворочалось, и судороги бежали по его мягкотелому, обвисшему брюху. Наташа торопливо легла на кровать и придавила голову подушкой, но и теперь чувствовала дрожание от глухо замирающего в голове рева.

Когда Цыганкова заглянула в кухню, Анисья стояла у стола и перебирала тонкие полотняные сорочки с прошивками. Она улыбалась, подымала брови, причмокивала языком и разговаривала сама с собой.

– Анисья, что ж вы самовары?.. Ведь там же ждут.

– Кабы люди ждали, а то нехристи, прости, господи, душу мою грешную... И удивляюсь я вам, барыня, что вы возитесь с этой нечистью... Христа распяли...

– Да вы с ума сошли! Что это у вас?

– А это, барыня, – лицо Анисьи лучезарно расплылось, – в кои-то веки полотняные сорочки себе завела... такие уж тонкие да гладкие, чисто шелковые...

Цыганкова всплеснула руками,

– Анисья, да ведь это – грабеж!

Лицо Анисьи сразу стало злым и ожесточенным.

– Нас, барыня, весь век грабят, да молчим... Я, барыня, вами очень довольна, и барышней, и барином, ну только с ранней зари до поздней ночи присесть некогда, а ни во мне,

ни на мне... За восемь целковых не токмо руки, душу продала... а сдохну на улице, знаю... а тут само добро в руки просится... А самоваров иудам искаримотским не буду подавать. Будя им из младенцев кровь христианскую пить...

И, хлопнув дверьми, Анисья ушла.

Казалось, не будет конца этой томительно красной ночи, этому чудовищно звериному реву, который стоял в окнах страшным предостережением против чего-то неизвестного, готового совершиться. Это томительное ощущение ожидания передалось Наташе, и она смотрела то на красные окна, то на плотно запертые двери, ожидая, что вот-вот войдет особенное и неожиданное.

И оно вошло, вошло вместе с высоким, согнутым стариком. У него была большая борода, вся залитая багровым заревом, как и платье, лицо, руки. Он вошел неверной, качающейся походкой, мутно обводя глазами, в которых также отражалось багровое зарево. Тогда все потянулись к нему глазами, в страшном напряжении, как будто с ним пришел приговор. Он опустился на стул и молчал, гля-

дя перед собой. И все молчали. Потом он сказал:

– У меня нет семьи, у меня нет детей, нет дома, все отняли, я – нищий и со спокойной совестью приму от вас милостыню...

Хотя голос у него был старческий и слабый, а за окнами по-прежнему, ни на минуту не смолкая, стоял рев, все жадно уловили все до последнего слова. И в багровом сумраке смутно пронесся сдавленный стон-вздых:

– О бог, бог!..

– Несчастье на нас и на детях наших!..

Цыганкова неподвижно стояла, слегка наклонившись, не отрывая глаз от старика. Торопливо села с ним, порывисто обняла за плечи и заплакала. И он заплакал, и все плакали, кто был в квартире. Наташа судорожно зажимала платком рот и, казалось, смеялась тонким голоском, а Борис хмуро отворачивался и недовольно моргал глазами. Так сидели люди в красной темноте.

VI

Анисья просунула голову в дверь и прокричала:

– Народ убивает всех, кто жидов прячет...

ей-богу, вот вам крест!..

Все вскочили, схватили детей.

Цыганков бросился в кухню, потом пробежал в кабинет, торопливо вышел оттуда и проговорил срывающимся голосом, протягивая болтающиеся на ленточках дешевые медные крестики:

– Наташа, Борис, наденьте... сейчас, сию же минуту... Это необходимо...

– Папочка, да зачем?..

– Наденьте, наденьте же, я говорю... Слышите?

И вдруг в душном, кроваво озаренном воздухе почувствовалась вражда и злоба. Казалось, враг таится в этих затененных багровыми колеблющимися тенями углах, здесь, в душных комнатах.

Про евреев забыли, их уже не угощали чаем, не заботились, а растерянно, точно разыскивая что-то, ходили по комнатам, и чувство напряжения и ожидания росло.

Только Наташа легко и свободно, как будто в классе во время перемены, носилась по всем комнатам, присаживалась перед женщинами на корточки, и ее звонкий, свежий

девичий голосок звенел, выделяясь на дрожащем вое:

– Дорогие мои, не бойтесь... не бойтесь... Все пройдет... Никто вас не тронет, никто не смеет сюда войти... Не бойтесь... Уже ничего...

И она боязливо оглядывалась на глядевшие кровавыми стеклами окна.

– Хотя бы рассвет... Хотя бы рассвет скорей!.. – И слышно, как хрустят чьи-то пальцы.

Анисья опять просовывает голову, и в полуотворенную дверь с дьявольской силой врывается дикий рев. Пересиливая его, она кричит:

– Вот и дождались: анжинера Хвирсова, что через улицу, убили... И жену и детей побили, – жидов нашли на квартире.

Воцарилась мертвая тишина, – мертвая тишина, в которой, как в зияющем провале, потонули все звуки; не слышно было рева, не слышно было шороха платья, не слышно было дыхания людей. И когда нестерпимая острота молчания достигла предела, тонкий, скрипуче визгливый крик, крик хищной ночной птицы, пронесся по комнатам:

– Уходите!.. Уходите, уходите!.. Я прошу

вас... я требую... Уходите все... все до одного человека.

Ужас заползал по комнатам среди все еще неподвижно стоявшего молчания, среди судорожно неподвижных людских фигур; неподвижно стояла Наташа, озираясь, ничего не понимая и не зная, чей это страшный голос пронесся в багровой темноте. Она старалась понять и вглядывалась в лица людей, но не видела их, а видела только десятки глаз, страшно тянувшихся из орбит в одном направлении. Наташа обернулась по этому направлению и увидела женщину с повелительно протянутой рукой, с исковерканным лицом, но это не была мать: глаза у нее провалились, а Сведенные судорогой губы низко опустились углами.

Опять скрипуче-пронзительно пронеслось:
– Уходите... уходите, очистите квартиру!..
Все, все... ведь дети... мои дети!..

Все упали на колени.
– Не гоните, не гоните нас... там смерть... там смерть нам и детям нашим... Не гоните нас, добрая госпожа!..
– Нет, нет... уходите...

Цыганков, весь красный, не смотря ни на кого, говорил:

– Господа, пожалуйста... сами видите... я вас прошу... у нас дети...

Поднялся старик, неподвижно сидевший на стуле посреди комнаты.

– Погодите, я скажу.

Все смолкли.

– Жену задушили на моих глазах, а прежде на ее глазах зарезали сына, а дочь...

Он закрыл лицо и стоял с минуту.

– Меня отпустили, чтоб было хуже, чем им... У меня нет детей, нет семьи, я – нищий, но... я не заслужил еще права на милостыню...

Он пошел к выходу, высокий, согнутый, с большой багровой бородой.

С минуту стояла тишина, и, разрушая ее ревушим воем, заметалось в красных окнах чудовище, и, как крик хищной птицы, пронеслось:

– Уходите сию минуту... все, все до одного... Мои дети... понимаете вы?!

А они в смертельной муке ползали за ней, ползали на коленях, хватали ее руки, целова-

ли края одежды. Она отступала, отмахиваясь с гадливой ненавистью, и только страшные, пощады не знающие слова «дети... мои дети...», как коршуны реяли над распростертыми по полу людьми. Они не кричали, а шептали ласково-ласково, и заглядывали ей в глаза, и улыбались, страшно улыбались мертвыми лицами, синими губами, улыбались и шептали:

– Добрая госпожа... сударыня... все хорошо... отлично... деточки... у вас деточки... двое деточек... хорошие, отличные деточки... вырастут умные деточки... хорошо – деточки... это отлично – деточки...

И этот страшный шепот покрывал собою стоявший в багровых окнах рев.

Цыганков тоже легонько поталкивал и говорил, заикаясь:

– Господа, будьте добры... пожалуйста... Сами видите... Вы на нашем месте так же поступили бы...

Наташа металась, ломая руки, от отца к матери, от матери к отцу,

– Мамочка... папочка... что же это... что же это такое!.. Это не то, постой, все сейчас по-

правится...

И вдруг, плача и смеясь, захлопала в ладоши,

– Я придумала!.. Я придумала!..

Она бросилась в свою комнату и выбежала со шляпой.

– Скорей, скорей одевайтесь... Борис, где твоя шапка?.. Скорей, скорей... выйдемте, квартиру запрем, станем в воротах, будем говорить, что у нас никого нет... Их никто, никто не тронет...

– Оставь! – резко крикнула Цыганкова голосом, которым она никогда не говорила с дочерью и который Наташа не узнала. – Ступай в свою комнату.

Ворвалась Анисья.

– Близо уж, у Хайцкеля бьют...

– Анисья, выводите их!..

Крик, вопли, плач... Анисья тащила старуху. Та вырвалась и, как девочка, резво бросилась через комнату. Анисья поймала и опять потащила. Старуха уцепилась за притолоку. Анисья оторвала одну руку, другую, некоторое время они боролись. Пришел дворник, стал помогать, но ничего нельзя было сде-

лать. Забирались под столы, под рояль, хватались за ножки стульев, валили мебель.

Тогда схватили несколько детей и побежали с ними в переднюю. Пугаясь в тюфяках, в коврах, с воплем бросились матери. Плакали, молили, проклинали, ломали руки. Кто-то по-еврейски молился в углу. Две женщины неподвижно лежали на полу, разметав косы. Иные тупо сидели, не шевелясь.

Молодая еврейка с диким воплем, иступленно разорвала на обнажившейся груди сорочку, и крик ее пронесся по всей квартире. Она схватила ребенка, потрясая над головой, и руки, ножонки, голова беспомощно мотались у него, кричавшего изо всех сил.

– Вы!.. Пейте кровь... пейте нашу кровь... вы – звери!.. Я перегрызу ему горло... Я перегрызу горло ему, моему Хаимке, моему маленькому дорогому Хаимке... Я перегрызу ему, чтоб никому не достался... Вы не разобьете ему голову о камни, я задушу его своими руками, вы жадные звери!.. И чтоб дети детей ваших...

С ее криком слился другой иступленный крик. Борис кинулся к дверям и замахнулся

стулом.

– Не смейте... не смейте выходить... не смейте выходить никто, ни один человек – или я раздроблю голову!..

Наташа, удерживая неподдаваемую мелкую дрожь, вцепившись матери в плечо, дико расширенными глазами глядела ей в неузнаваемое, чужое лицо, и страшное слово готово было сорваться:

– Мать!.. Ты...

Все поплыло в густую красную темноту. Стало холодно, неподвижно, спокойно...

* * *

Когда Наташа открыла глаза, было утро. Тихо. Сидели отец и мать. Отец наклонился и сказал:

– Ну что, девочка? Будь покойна, все кончилось благополучно. Погром прекращен. Нашу квартиру не тронули, и все спасены.

И, задумчиво глядя в окно, добавил как бы про себя:

– Кроме старика... напрасно он ушел!

Отец как-то смотрел вкось, и Наташа никак не могла заглянуть ему в глаза.

Она перевела глаза на мать. Та наклони-

лась, поцеловала в лоб. Наташа с напряжением вглядывалась: то же гордое, красивое, немного побледневшее лицо. Но, заслоняя его, нестираемым призраком стояли судорогой сведенные губы, провалившиеся глаза и исковерканное злобой лицо.

Испытывая мучительный холод, Наташа хрустнула тонкими пальцами, закрыла глаза.

Безумно захотелось воротить вчерашнее утро: синевато косые длинные тени, чутко дремлющий воздух, нешевелиющийся лист на тополях и весело перекинувшееся между домами эхо:

– Эй, тетка, не надо ль воды?

На мельнице*

I

Пара сытых маштаков бежала споро, и уже забелелись мылом шлеи. Колеса густо подымали пыль, и серые клочья недвижно висли в воздухе.

Все тот же однообразный степной простор, щетинистое желтоватое жнивье, сторевшая трава, сизый полынок, прошлогодние пашни.

Степь лениво поднимается широким изволомом, тянется по бугру, незаметно спадает в лощины, сухие и безводные, снова на изволок, и так без конца.

Ни деревца, ни кустика.

Кажется, никогда и нигде здесь не встретишь людей. Но прошлогодние пашни, пожелтевшее жнивье и далекие скирды хлеба говорят о жизни.

В стороне от дороги, быстро трепеща крыльями, недвижно висит в воздухе кобчик. На курганах одиноко чернеют орлы. Суслики, по-свистывая, стоят неподвижными столбиками. По пашне бродят красные рогатые быки. Степь, когда к ней приглядываешься, полна

своеобразной жизни, теряющейся среди безлюдного простора.

– Креста-то на бугре уже нет, должно быть повалило, – проговорил сидевший в тарантасе в запыленной офицерской шапке и парусиновом пиджаке, задумчиво глядя на подымавшуюся на изволок серую дорогу, на угрюмо и одиноко черневших орлов.

Возница в пропотелой рубахе и портах и теплой, сбившейся блином шапке обернулся, ухмыляясь, и, помахивая сложенным кнутом, проговорил:

– Все дочиста переменялось, как иностранное царство стало, степь и не признаешь... где бугорок был, теперя ерик, где ерик, теперя буерак, не переедешь, не перескочишь. Пашни песком заносит, а целину давно подняли, сквозь пашут, ей-богу!..

Он, опять согнувшись, сел передом к лошадям и стал старательно сгонять засевшего на гнедом овода, кладя кнутом одну возле другой по вспотевшему крупу темные полосы. Лошади, вздергивая головами, подхватили, и тарантас, курия колесами, покотился быстрее.

– А батько здорово переменялся?

Работник живо обернулся, и лошади пошли шагом.

– Да ему сносу нету, такой же, ей-богу... и-и!.. до свету встанет, последний ляжет, без его глазу курица яйца не положит... Народу-то, боже ты мой!.. и каждому надо дело дать, и с каждым надо поругаться... чистая ярманка...

Он ловко стегнул под брюхо, и овод свалился.

– А-а, стервец, напился!..

Лошади опять побежали.

На краю степи у самого неба призрачными, неуловимо-воздушными силуэтами чудились деревья, ветряки, дома, расплывчатые, тающие линии их дрожали, колебались и длинной светлой полосой, не то вода, не то воздух, отделяли от степи.

– А ведь это Безгубов.

Молодой голос смешался со стуком копыт, с поскрипыванием тарантаса, постукиванием колес во втулках.

– Ни, паньчу, марево.

Снова уходит по сторонам жнивье, сизый полынок, кобчики, бежит навстречу, теряясь под мелькающими копытами, пыльная доро-

га. Вдали целым городком поднимаются скирды. Курится длинный силуэт локомотива. Ток.

«Панычу... панычу»... – назойливо, мешаясь со стуком копыт, лезет в уши, заглядывает в глаза.

Пропотелая спина работника качается перед глазами.

Марево тает. Ветряки, деревья, дома отделяются от степи, с минуту волнуясь, дрожат и зыблются и тихонько исчезают, как призрак счастья, как мечта. Степь и небо.

«Панычу... панычу... панычу»... – с укором и насмешкой постукивают втулки на осях, поскрипывает, качаясь, тарантас монотонно и скучно.

«Я-то тут при чем...» – И на молодом, чистом лбу собираются морщины усилий отделяться от назойливых приставаний.

– Ах ты, кровопивец!

И работник снова усердно начинает избавлять кнута от гнедого от овода.

II

Радую взор зеленью, открывается из-за бугра левада. Громадные вербы, старые, с потрес-

кавшейся корой, задумчивые, полные далеких молчаливых воспоминаний, стоят неподвижно, не шелохнув листом, и такие же неподвижные тени, пепельно-сквозные, тянутся через дорогу мягкой прохладой. Стеной стоит молчаливый камыш, печально поникнув метелками, и в просвете узко светлеет вода.

Безмятежный, задумчиво-тихий покой оскорбляет непрерывающийся, бегущий откуда-то сюда неустанно шум.

Дорога осторожно пробирается между вербами, подбрасывая на кочках тарантас. Давая глазу простор, редет, тихонько расступается на повороте камыш. Светлая, безмятежная поверхность ширится, и рыбы бесчисленно пускают молчаливо расходящиеся круги, точно беззвучно ведется разговор, полный своего особенного значения и смысла. Далеко чернеет, узко протянувшись, плотина, высоко подпирая тихую воду с опрокинутыми облаками, камышом и вербами.

Вверх по речке, напоминая о хозяйстве, о трудовой мужичьей жизни, белеют между вишневыми садами хаты слободы.

Лошади жмутся, сторожко стригут ушами, и стук копыт по доскам мостков заглушается шумом несущейся воды. Этот клокочущий шум, торопливый стук, скрипение, тяжело дрожащий гул несмолкаемо стоят над выглядывающей из-за плотины мельницей вместе с тонко виснувшей в воздухе мучной пылью. Все бело: сруб, куры, свиньи, мужики, лошади, жующие сено, возы с поднятыми оглоблями. Сгибаясь, носят мешки, ссыпают пшеницу, кидают кули на весы, и все занято, торопится, спешит в этой клокочущей толчее перепутанных, мешающихся, несущихся, как вода на колеса, звуков.

– Где батько?

– А?

– Где батько? – кричит, не слыша своего голоса, тот, что в офицерской шапке, приподымаясь на руку и разом чувствуя, как охватывает эта шумная, точно прорвавшаяся после степной тишины жизнь.

Кони машут головами и тянутся к мешкам с мукой.

– Бани нонче у нас нету.

– Батько, я говорю, где?.. Иван Макарыч!

– А-а... мабуть, у постави...

И баба с высоко подоткнутым подолом и голыми икрами, с белым от муки лицом и волосами несет дальше корыто с месивом, и за ней с невообразимым, покрывающим клоко-чуший шум визгом, гамом, хрюканьем, коткудахтаньем идут, сбивая ее с ног, свиньи, гуси, поросята, куры, индюшки, утки, и все это назойливое, не отстающее, и все это комично-серьезное, сосредоточенное и занятое.

– Та-ца!.. у-у, скаженни!..

Собаки, поджарые, на высоких тонких ногах, улыбаясь и выпустив красные длинные языки, с которых тонко бежит прозрачная светлая слюна, тоже идут, конфузливо приостанавливаясь и сдержанно помахивая хвостом.

Большой человек в громадных порыжелых сапогах, с черной кудлатой головой и черной бородой, чуть тронутой, как мучной пылью, сединой, стоял, крепко упираясь в землю, точно уж слишком давило большое, сильное, мускулистое тело, и слушал, свесив мохнатые брови, что говорил мельник. У мельника длинное семинарское лицо, хитрые острые

уши, и он держал в руках шапку.

– Брешешь, – голосом, покрывшим мельничный шум, проговорил черный человек, – куля одного нет... видимо... батьке своему набреши...

Уши у мельника стали еще острее и больше насторожились.

– Вот провалиться зараз сквозь землю... хошь перемерять...

– А-а, служивый приехал. – И черный человек повернулся к мельнику спиной и пошел.

Мельник облегченно отер пот с лица и заулыбался ушами.

– Здорово, сыну!

– Здорово, батько!

И он крепко обнялся и расцеловался с этим человеком, от которого пахло потом, дегтем, навозом, лошадьми, который чуждо, казалось из другого мира, смотрел из-под нависших бровей и который странно и необъяснимо был дорог и близок.

III

Неизвестно откуда, только по слободе поползли слухи, забираясь в каждую хату, шепотом повторяющиеся на улице, в поле, на то-

ку, в трактире, тревожные, жуткие слухи... о том, что приехали из Питера царские посланцы, переодетые, тщательно скрывающиеся от народа, специально приехали затем, чтобы отобрать землю у панов и передать народу. Но не пробил еще час, и они скрываются, бродят по хуторам, по селам, по слободам, оборванные и отрепанные, часто голодные и измученные.

Видели, как ночью в степи загорелся огонек, точно люльку кто раскуривал, подержался среди молчаливой, неподвижной темноты и погас. И не донеслось ниоткуда человеческого голоса, не послышалось в степи шагов, никто не проехал, не прошел. Среди камышей ребяташки нашли золу потухшего костра и несколько штук печеного картофеля. По ночам странные, таинственные звуки неслись с реки, непохожие на уканье выпи.

Когда молодой Петренко приходил на мельницу, шел по плотине, спускался к реке купаться, его, не отрываясь, провожали внимательные, долгие, настойчивые, молчаливые взгляды.

Старик с утра до ночи таскал сына, пока-

зывая огромное хозяйство.

– Вот, сыну, все бы хорошо, воды не хватает. Сукновалку поставил, а работает дня четыре в неделю.

– Да уж больно ты жаден, все хочешь забрать. Ведь это у тебя пять камней в ходу.

Николай наклонился, присматриваясь, как с дрожью и шумом крутились огромные колеса.

– Вот что, я тебе турбину поставлю, всю воду будешь захватывать, много пропадает, да ключи вверх по речке надо расчистить. Я осматривал, значительно воды прибавится.

– Добре, сыну. Теперь заживем. Все ведь твое, мне-то ничего не нужно: в могилу и одного карбованца не унесешь.

Николай задумчиво глядел на белую дрожущую пену.

– Нынешний год одной шпанки у меня ходило двадцать тысяч, да рогатого скота в Москву богато гонял. Эй, дай-ка бегунки!

Сели, и добрый жеребец, легко и играя, крутя протянутой головой, тронул, и бегунки покатили.

Поднимались из лоцины, и внизу лежал

пруд, плотина, мельница, белела слобода. Потом лощина закрылась, и развернулась степь, громадная, необъятная, могучая, и лишь небо синей чертой очерчивало ее.

Верстах в пяти подъехали к целому городу колоссальных скирдов хлеба. Человек двести рабочих, потные, с напряженными лицами, подавали в молотилку вороха хлеба, отгребали иссеченную, измельченную солому. Над бешено вертевшимся барабаном, бурно крутясь, стояла золотым столбом тонкая пыль, садясь на лица, на одежду, остро разъедавая горло, легкие. Локомотив, отнесенный шагов за пятьдесят, гудя, бешено гнал громадный ремень, который, колеблясь и мелькая, бесконечно бежал по шкивам. Раскаленная топка паровика пожирала колоссальные количества соломы, которую без перерыва совали туда измученные, обливавшиеся потом рабочие.

Пшеница толстой струей бежала по полотняному рукаву. Тут же подставляли мешки, завязывали, кидали на весы и увозили на то и дело подъезжавших подводах.

«Фабрика!..» – думал Николай, задумчиво

глядя на эту напряженно-торопливую работу.

С этого дня Николай отдался делу. Прежде всего он разыскал хлопцев, своих ровесников, друзей детства, с которыми когда-то играл в бабки. Сметливые, расторопные, обмятые уже машинами, с которыми постоянно возились, с озлоблением просыпающегося сознания и неудовлетворенности, они представляли благодатную почву.

Было организовано несколько кружков, жадно впитывавших слова и понятия, в такие определенные формы отливавшие стихийное недовольство и нараставшее вековое озлобление. Наконец Николай решил созвать в слободе всеобщий волостной сход всех окрестных обществ. Было назначено ближайшее воскресенье.

IV

– Ой, Миколка, повадится хорь за курицами, прищемит хвост дверями.

«Уууушь... ууушь... ууушь...» – оттуда, где, поблескивая, узко светлело меж камышей, неслись упорно и монотонно укающие звуки выпи.

Тени, вытянутые, длинные, тянулись к

пруду, к мельнице, откуда несся все тот же неутомимый, непрерывающийся, но забываемый от постоянной привычки шум, и никак не могли дотянуться, – солнце из-за верб еще заглядывало на пруд, на берег, на плотину. Гуси, легонько гогоча октавой, белой вереницей не спеша переваливались к возам.

– Микола, я тебе говорю – брось!

– Когда я был в полку...

– И это не одобряю: зачем ушел из полка?

Охвицер так охвицер, пан – пан, мужик так мужик... Зря я на тебя деньги тратил, обучал?.. чтоб в дело произвести, а не как... почему бросил?

Пузатый самовар, около которого сидела старая-престарая баба Горпино, курлыкал, из-под крышки рвался пар, быстро таявший под нависшими над столом лапчатыми листьями клена, и, точно издеваясь, уродливо показывал в своих отчищенных боках отраженные, растянутые, обезображенные лица, стаканы, чашки, тарелки.

– Когда я был в полку, привели солдата. Одно твердит: «За правду стою... все минется, одна правда останется». Сам знаешь, в полку:

«точно так» да «чего изволите», ну а он, чуть чего, требует правды. Били его, на часах морили, на хлебе, на воде, – подай ему правду, да и шабаш. Так и пошел в дисциплинарку, и засекли за правду-то...

– Э-э, поешь, як курица на насести.

И голосом, от которого тонко зазвенели стаканы и шумно поднялись тучей голуби, мирно клевавшие просыпанную пшеницу, загремел:

– Вот она, правда, во, во! – И он засучил и протянул сыну лохматую жилистую руку с резкой, выпукло и мощно подымавшей кожу мускулатурой. – И вот она, правда, во! – И он громко хлопнул себя сзади по шее.

– Иван Макарыч, прикажете рушку ковать? – Мельник снял шапку с белой головы и глядел белым лицом и белыми, запушенными мукой ресницами,

– Да что вы, дьяволы, не знаете своего дела!.. А почему свиридовскую пшеницу не взбрызнули перед помолом?

– Та они не велели, мука горит.

– Да кто тебе хозяин: они или я? Теперь лишний мешок и упустили... Скажи Сазонту,

чтоб на поле рабочим сала не брал... пост,
неча бога гневить...

– Жалются...

– Но-о... заелись... бога-то тоже вспомнить
надо...

Мельник ушел.

– Был я молодым, ладный парень, здоровый, и мне тоже правды хотелось... чтоб жинка была, чтоб детишки бегали возле, чтоб свою землю ковырять, чтоб свою скотинку на водопой гонять, а замест того...

– Отец, да я не о том...

– погоди, сыну. А замест того до сорока годов по чужим хатам до чужих жинок как воркрался, а которые дети были, так байстриами по свету пошли, я их не знаю, и они меня не знают, а скотинку на водопой гонял хозяйскую, а землю до кровавого поту убирал, годувал, пестовал все чужую... Да-а!

Он налил из пузатой чашки дымящийся чай, поставил блюдце на три пальца и, громко прикусывая сахар, шумно втянул губами.

Острые тени дотянулись до пруда и расплылись, погасив блики, и веселый берег, и белая от муки крыша, и плотина померкли,

точно тень легла на смеющееся лицо. Но на противоположном берегу еще золотилась узенькая полоска.

Рыбы взапуски пускали по светлomu лицу воды круги. Водяной бык, как из бочки, басом гудел в воде, укала выпь, и камыши дремотно стояли, поникнув метелками и неподвижно отражаясь в темной глубине.

– Батько, вот ты сам сказал... Как ты не видишь, что живешь чужим потом и кровью! Сколько на слободе парубков здоровых и сильных, как ты был, и им хочется до жинки пригарнуться... до своей, а они, как воры, лазают до чужих, и чтоб детишки возле бегали, а сам знаешь, сколько покрыток на слободе, сколько бегают байстрят и сколько находят в колодцах младенцев... и чтоб свою землю ковырять, а они потом и кровью поливают твою и проклинаят ее, ту землю, которая обвила их и душит, как змея...

– Э-э, потяни поросю за хвост, он жалобно поет... мабуть, ты три дня чаю не пил, пей...

И вдруг, побагровев, с набежавшими на шее жилами, голосом, опять вспугнувшим шумно поднявшихся голубей, загремел:

– Не было у меня заступников!.. сам бился!.. сам бился с бедностью, с арендой, с панамми, с банками, с начальством, и горше всего, с мужиками, будь они прокляты... а-а!.. все на меня, а я один, как тот волк посередь поля середь борзых... Мясо с шерстью из него летит, а он осел задом, прижал уши, ляскает зубами, только на все стороны успеваает поворачиваться...

И он поднялся, огромный, всклокоченный, тяжело расставив в громадных сапогах ноги, действительно похожий на матерого степного волка в глухую осень.

Золотая полоска на том берегу погасла. Тени пропали. Все тонуло в ровных, тихих, наполненных молчанием приближающейся ночи сумерках, и голос, охриплый, дикий, наполнял их:

– Ага-га... потом, кровью поливают... да она не принимает, земля-то, бо полита до самого дна, полита моим потом... насосалась крови, моей крови...

И он бил себя огромным железным кулаком в железную грудь.

– Не было заступников!..

– Ты не про то, батько. Разве ж я говорю, что даром тебе досталось... я лучше всякого знаю твою жизнь... я правды требую не только им, а и тебе. Что твое – твое, твои труды твоими и будут, а что сверх, то будет их, потому что сверх твоих трудов – их труды, а то выходит лихва, ростовщичество...

– А что ж ты мне дашь за мои пятнадцать тысяч десятин, за мельницу, за экономию, за мою кровь, за мои грехи, за нудьгу мою? а-а? выкуп? На-кось!!

И он поднес сыну огромный, из заскорузлых, потрескавшихся, трудно гнущихся пальцев, кукиш.

Оба замолчали и прислушались и вдруг услышали среди неподвижной вечерней тишины, что мельница по-прежнему шумит ровно, неустанно, не прерывая своего шума.

V

– Господа старики, сами знаете, какое смутное время в русской земле. В городах бунты, на фабриках бунты, везде бунты, везде разорение, нищета. Нищета, как язва, съедает русский народ. Но нигде нищета не царствует так, как в деревне. Сами знаете.

– Знаем, – глухо и сдержанно отозвалось среди тысячи людей, отозвалось в слободе и молчаливо, без слов – в степи.

– Отчего же так? Разве не работает русский мужик?

И он глянул с высоты телеги, на которой стоял, на суровые, обветренные, почернелые около земли и под солнцем лица, на грубую изорванную одежду, на потрескавшиеся мозолистые руки, на тысячи глаз, упорно и загадочно глядевших из-под опущенных бровей.

Белые облака торопливо бежали в степь, и, мелькая неровными краями, торопливо бежали по загорелым лицам тени.

– Не дождем, потом поливается пахота, кровью мужицкой сдабривается русская земля. Но из пота и из крови, как чернобыл, одно вырастает – нищета..

Тысячи глаз все так же упорно глядели, тысячи глаз так же упорно таили от века ту же мысль.

– Отчего же это?

Он с секунду помолчал, оглядывая бесчисленную, плотно сдвинувшуюся, напряженно неподвижную толпу, помолчал, как худож-

ник, готовый ярко положить последний мазок, готовый взять на этих простых сердцах вековой аккорд, помолчал, и в еще прохладном воздухе, в котором длинно лежали синеватые тени утреннего солнца, торжественно прозвучал голос, точно голос, произнесший в преддверии храма слово евангельской правды.

– Нет у мужика того, чем он дышит, чем живет, – нет земли.

И он ждал взрыва, он ждал бурного выхода страсти народной, но немо и неподвижно было молчание, как в степи в глухую полночь под низким небом.

Точно шуршащие листья закрутил проснувшийся осенний ветер, побежал по толпе шелест, говор, разрастаясь, вырываясь возгласами, выкриками, бранью, угрозами. Головы оборачивались, глаза сверкали, и, как лес, бесчисленно поднялись над головами тысячи мозолистых кулаков.

– Петренки забрали землю!!

– Кровопивцы!..

– Хриstopредатели...

– Всю кровь выпили...

– В ярмо одягли нас...

– И сиють и пашуть нами, так что и скотины не треба держати...

– Скотиной сделали, а теперь рассказывают, что у мужика земли нету...

И хотя это было естественно, и последовательно, и вытекало из всего положения, но Николай был поражен таким оборотом.

– Господа старики!..

– Из нашей шкуры сапоги себе шьют...

С краской, ударившей в лицо, стоял Николай надо всеми, выставленный под беспощадные взгляды, и злобно-тревожный говор, как косматые тучи, низко метался над людьми. И оттуда, изнутри этих давивших друг друга тел, где стоял тяжелый человеческий запах, выросло слепое, упорное, свое, не желающее ни с чем считаться, ничего слушать.

Николай кричал, раздирая себе горло, бешовался, грозил, требуя одного, чтоб его выслушали, но море человеческих голосов, тупых, скрипучих, топило его одинокий, брошенный голос.

– А-а!!.

Он злобно грозил им кулаками, он ненави-

дел, как лютых врагов, и неутолимая жажда борьбы, жажда сломить эту тупую, узкую ненависть жгла его каленым железом.

Безнадежно обвел чернеющее, колышущееся море голов, куда ему была заказана дорога, и вдруг увидел пробирающегося среди толпы Кавуна, ростовщика-лавочника. Толстый, приземистый, тот расталкивал почтительно расступающихся мужиков..

«Это кончится тем, что меня тут же прикончат...» – И спокойствие и самообладание разом вернулись к Николаю.

Кавун, как перегруженная лодка, боком раздавая народ, подошел к телеге, кряхтя, взобрался, вытер лысину и поклонился на четыре стороны.

– Православные христиане и братие! Миколай Иваныч Петренко правильно говорят – обеднел землей народ. Чижало, и меры нету.

Говорил он с натугой и хрипотой и как будто только для себя, но слышно его было в самых дальних рядах, слышно было и в слободе, где у крайних хат пестрели юбки и рубахи толпившихся женщин и взапуски бегали ребятишки, слышно было и в степи, где тороп-

ливо подбирались утренние тени, убегая от все выше подымавшегося над дальними курганами солнца.

– Миколай Иваныч это правильно говорят, человек они образованный и понимают... ну, только хоша некоторые из граждан и скажут, сын за отца – не ответчик, только надо внимание взять, яблочко от яблони недалече падает, и, так сказать, господин Петренко ахвицер, а как ахвицер должен присягу соблюдать. Теперича господин ахвицер насчет земли пришли вас подбивать, а как за землю приметесь, господин ахвицер солдат приведут и зачнут командовать в вас стрелять... очень просто!..

Кавун вытер лысину и поглядел на солнце, и смешанный звук, звук удивления и неожиданно пришедшей мысли, пробежал по придвинувшейся вплотную толпе.

Николай стоял нелепо и беспомощно на телеге. Говорить не давали и слушали Кавуна. А Кавун, не торопясь, размеренно, спокойно, точно у себя в лавке новые хомуты раскладывал перед покупателем, выкладывал все, что могло поднять на дыбы толпу против

Петренко. Нельзя было уйти, потому что человеческое море, грозное в своей неподвижности, сейчас же поглотило бы; нельзя было уйти потому, что с поля битвы не бегут.

Кавун, точно сапоги тачал, мерно рассказывал, что старый Петренко работает силой, а молодой – хитростью, с силой можно справиться, а хитрость, как паутина, со всех сторон запаутинит, захлестнет, задушит.

Царило прислушивающееся молчание, чреватое беспокойной загадочностью следующей минуты, быть может непоправимой, и, разбивая его острую тишину, раздался из толпы голос:

– Два волка влезли в закут, да не поделят пороса...

Огромное лицо толпы дрогнуло от дружного хохота, и сорванное его взрывом молчание, точно по ветру разорванные клочья, пропало в степи. Тонкая нить напряжения и томительного грозного ожидания лопнула, и Кавун, словно его захватили на месте преступления, растерянно оглядывался, торопливо вытирая лысину.

– Правильно... правильно, господа стари-

ки!.. – горячо хватая момент, заговорил Николай. – Да! перед вами два волка, два волка, которые не поделят вашей шкуры. Что Петренки, что Кавуны – одна цена. Только и волки разные бывают. Кавун – брехливый волк; я не офицер. Отец отдал меня в военное училище, тогда я не мог выбирать себе дорогу, но когда сделался офицером, меня исключили из полка, исключили из полка за то...

– Крестьянский сын, известно.

– Паны не пустят до себе мужика.

– На мужике только пахать, а мужику не командовать...

– Они только своих допускают, а нашим – от ворот поворот...

Веселый насмешливо-иронический говор бежал над толпой. Кавун слез с телеги и выдирался из тесноты. Битва была выиграна, и Николай, захваченный удачей, говорил этим людям, жадно, не спуская глаз, слушавшим его, говорил о том, что всосалось в них еще с пеленок, о чем века думали их предки, что земля – народное достояние, что владеть ею должен тот, кто поливает ее своим потом, и что не только нужно это знать, но что нужно

понять, как устроена жизнь и как ее можно сделать справедливой. Сотни тысяч крестьянских костей гниют в земле, за которую они подымались на своих поработителей, но и дети их детей несут все то же ярмо рабов, тупо и низко глядя в почерневшую от горя, от ужаса их жизни землю.

И опять стояло мертвенно-напряженное молчание, и вздох, тяжелый народный вздох, нарушил его.

Кто-то воскликнул, кто-то продирался к телеге.

– Чи вы будете посланец от царя?

Баба держалась рукой за колесо, как будто она устала и измучена ждать лучшей доли, и черное лицо ее было глубоко вспахано непреходящей нуждой и горем.

– То-то по ночам в степу укало все, а оно вон на что. Мы давно чулы, что царь послал до мужиков посланца, а он не объявляется, все ховається, панов боится...

VI

Николай с головой отдался трудной и упорной борьбе. Он отказался от многочисленных сборищ, а собирал и беседовал с

небольшими группами.

За ним присылали лошадей целые общества за сто – полтораста верст. Чуть не за месяц вперед дни у него были расписаны, и по селам разъезжали запыленные мужики, разыскивая «наставителя», без которого общество не приказывало ворочаться.

Молодой Петренко стал некоронованным королем мужицкого царства, и по одному его знаку самое слово «помещик» было бы стерто на огромном пространстве, но он все свое колоссальное влияние употреблял на то, чтобы направить движение в сторону планомерной, сознательной борьбы. С громадными усилиями это ему удавалось.

Старик с изумлением видел ореол славы и глубокого уважения, окружавший его сына не только со стороны мужиков, но и большинства деревенской интеллигенции. И чувства гордости и удовлетворения странно мешались в душе с мраком подымавшейся вражды и ненависти.

Старик несколько раз пытался заговорить с сыном.

– Микола, я стар, один ты у меня, все тебе,

чего ж ты еще хочешь. Гляжу я на тебя и никак не пойму... Ведь это, Микола, все кровь моя, нудьга моя... что ты делаешь?.. Жалко тебе? Поди в отару, выбери сотню овец, раздай. Неурожайный год? Возьми полсотни четвертей пшеницы, раздай – разве я жалею? Не жалею, не собачье и у меня сердце, помру, только три аршина и нужно... Ну только ведь в руках у меня, у тебя – сила, слышь ты, никто тебя не избидит, всякого ты избидишь, коли захочешь. Забирай хозяйство, веди сам, царем будешь, ноги тебе будут мыть да воду пить... Эх, Микола, не убивай меня допреж срока.

– Отец, ты живешь, как тебе совесть велит, я живу, как моя велит.

Старик впился в него загоревшимися глазами и, глубоко дыша и отчеканивая каждое слово, проговорил:

– А... прокляну!!.

Николай опустил глаза. Где-то в глубине шевельнулся инстинкт крови – это был отец. И, смягчая голос и ласково глядя, Николай проговорил:

– Батько!..

Но тот чувствовал в молчании сына, в том, как он опустил глаза, инстинктом почуял свое бессилие, почувствовал себя беспомощным, как ребенок, перед тем кругом понятий, каких-то иных и недосягаемых, в черте которых было замкнуто сердце сына.

И он молча постоял, опустив глаза в землю, и потом, не говоря ни слова, повернулся и пошел тяжело и грузно, с трудом отдирая железо своих сапог от земли, к которой они прирастали.

VII

Лошади уже были поданы.

Спирька Кривой все утаптывал кулаками сено в тарантасе. Старик Петренко стоял с открытой головой и распоряжался:

– Под ноги, под ноги сена набей, мягче сидеть. Никола, я тебе велел полушубок положить, новый, добрый полушубок.

Николай расхохотался.

– На дворе пекло, а он полушубок.

– Бывает, что из пекла в зиму попадают, – пристально поглядел старик на сына.

– Да ну-у, будет!.. вели вынуть. Отнеси в хату, Спиридон.

– Не трожь... нехай лежит!..

Николай пожал плечами. Баба Горпино соваля в тарантас своему любимцу бесчисленные кульки с жареным, вареным, печеным, с ватрушками, пирожками и прочей снедью. Собаки повиливали хвостами в ожидании отъезда. Мельница шумела, как всегда, и в синем высоком небе бродили барашки.

– Денег буду тебе высылать, сколько потреба.

– Да ведь я через неделю вернусь. В городе три-четыре дня пробуду, потом по волостям поеду.

– Ни, сыну, не звернешься, отризанный ломоть не прыскочить...

– До виданья, бабо.

Николай поцеловал бабку.

– Прощайся... прощайся, небого... прощайся, сирая!..

– Батько, ты прощаешься, как будто я на войну иду.

– Хуже, сынку, хуже... то война меж чужими: сегодня штыком, а вжеж завтра опять щирые други, а вот война, страшная война, несказанно страшная война, як кровь на

кровь, як ридна душу на ридну душу... о сынку! цей войны нема коньца, нема краю ни на сим, ни на тим свити. Це война не забувається и травою не поростае... ну, прощевай, сынку!

Они обнялись.

Лошади дернули, колеса, гремя, покатились. Собаки с веселым лаем сорвались, прыгая перед лошадиными мордами.

Копыта застучали по мосткам.

– Стой... стой!.. – загремел знакомый голос, покрывая шум мельницы.

Лошади, пятясь и топчась, осадили, поводя ушами и косясь на несущуюся на колеса воду.

Николай слез. Старик шел к нему, здоровый и сильный и в то же время грузный и подавшийся от давившей плечи, должно быть, тяжести лет. По лицу его, не дрогнувшему ни одним мускулом, текли слезы.

И он крепко, не отрываясь, обнял сына. И когда тот садился, крестил его черными потрескавшимися пальцами.

Опять открылась степь. Николай оглянулся. Внизу серебрилась река, светлел пруд, дремала осока и камыш, и на том же месте стоял огромный черный человек, с черным лицом,

с непокрытой черной головой.

* * *

Когда жандармский полковник разорвал конверт, он бегло прочитал на толстой серой бумаге:

«Его Высокородию Господину начальнику
Губернского жандармского Управления.

Землевладельца Степного уезда той же
Губернии слободы Белой.

Ивана Макарова Петренко.

Прошение.

Покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие обратить внимание на разрушение священного права собственности на землю, доставшуюся трудами, не покладаячи рук, а также инвентарь, мельницу и прочую худобу. Сын мой единственный и любимый до глубины души, Николай Иванов Петренко, топчет ногами священные законы, свою и чужую совесть и развращает народ. Сын мой, Николай Иванов Петренко, ездит по волостям, собирает сходы и объявляет, что нету государства и законных властей, нету ни церквей, ни свя-

той присяги, а бери кто что хочет, а земля общая. Имею честь покорнейше просить арестовать и препроводить в отдаленнейшие места Сибири сына моего Николая. Мужики волнуются, и не сегодня-завтра по всей степи разольется огненный поток мужицкой подлости...»

Мать*

Не неслись из-за окон звуки дрожек, не хлопали двери, молчали звонки, погасли все звуки, разнообразные, неуловимые, забываемые, но из которых складывается дневная жизнь. Все стояло на своем месте – мебель, картины, зеркала, но полное иного, таинственного, еще не раскрывшегося смысла.

Больная лежала неподвижно, вся в белом, на белой подушке, с выпростанными на одеяло тонкими руками. И, не выделяясь на белом фоне подушек, белело лицо. Было оно прозрачно, спокойно. При взгляде на него вспоминались румянец, здоровье, молодость – далекое и милое воспоминание.

Огромные черные глаза глядели, не отрываясь, на дверной крючок, с которого непо-

движными складками свешивалось студенческое пальто.

Никого нет. Прислуга разбежалась, и это так и должно быть. Но... мальчик, милый мальчик!

Он сказал:

– Мама, я останусь с тобой.

Да, он должен остаться с ней. Ничто не должно оторвать его от нее. Нет такой силы, нет такой власти!

– Мама, я останусь с тобой.

– Да, милый, ты оставайся. Все, что нужно, там сделают без тебя другие.

И вдруг он ей сказал:

– Мама, но ведь я отлично стреляю и мог бы пригодиться.

Она рассмеялась. Никогда не смеялась так. Он отлично стреляет, он ловок, гибок и смел, но ведь это – только для нее. Это – для нее. Гибкое тело – ведь это ее муками, ловкость и смелость – это ее усилиями, ее бессонными ночами, ее знанием, ее наблюдательностью, ее характером, настойчивостью. Это созидалось день за днем, час за часом, минута за минутой, упорно, медленно, трудно. Это выры-

валось у болезней, у обстановки, у школы, у предрассудков, у проклятых общественных условий.

– Мама, я останусь с тобой.

Это естественно, иначе и не может быть. Если бы она физически могла и если бы понадобилось, она, ни минуты не колеблясь, отдала бы жизнь за дело общего счастья, и в свое время она доказала это и целых десять лучших лет жизни, после трехлетнего тюремного заключения, провела в полярных снегах.

Нет цены, которую нельзя бы отдать за это огромное, страшное дело, только... только не мальчика.

На верхней губе у него пушок, и он очень серьезно, скосив глаза, смотрит на нее, а для нее он такой же голенький, с пухлыми ножками, как и в те времена, когда она подымала его на одной ладони.

«...Но ведь я отлично стреляю».

И она засмеялась, засмеялась тихим счастливым смехом матери, и одиноко и пусто прозвучал ее смех в безмолвной квартире.

Мысли на минуту примолкли, и она взглянула на висевшее складками пальто и улыб-

нулась, и мысли опять тихо и радостно побежали.

Среди вековой тайги, среди снегов, среди суровой природы, где белели кости народных бойцов, под колеблющимся, фантастическим неверным отсветом полуночной игры родился он. И сколько усилий, сколько нечеловеческих мук, страданий, слез, унижений стойло, чтобы сохранить чуть теплившийся, колеблющийся крохотный огонек жизни и пронести его сквозь вековые дебри, сквозь снега и тундры, сквозь насилия и позор несправедливой жизни.

«Мама, я останусь с тобой».

Да...

Часы ударили раз, медленно и протяжно, и звук удара пронесся, дрожа и колеблясь и становясь все тоньше и тоньше, пока не впился смутным предчувствием тоски и страха.

Она широко раскрыла глаза.

«Час, а его нет!»

Она взглянула на пальто и... улыбнулась.

«Мама, я останусь с тобой... я забегу только к Сорину. Они, знаешь, переехали и живут теперь как раз над нами. Пальто я здесь остав-

лю».

Она никогда не расставалась с ним. Он уходил к товарищам, в театр, на сходку, и она, прикованная к постели, шла с ним, говорила его речами, думала его мыслями, смеялась его смехом, негодовала его негодованием. Он приходил, садился возле и все рассказывал до мельчайших подробностей, и все оказывалось как раз так, как она представляла без него.

Тонкий, нестерпимо звенящий, как комариное пение, звук назойливо стоял в мозгу:

«Отчего его нет?»

За двадцать лет он никогда не солгал ей, даже в шутку.

«Мама, я останусь с тобой... я пойду к Сорину...»

Она взглянула на пальто и улыбнулась.

«Он здесь, наверху... Боже мой, но отчего так неловко лежать? Я не могу разглядеть его лица... как будто темно... и не слышно его голоса... Но ведь он здесь же, наверху? Да?..»

И все свое тянул, нестерпимо повышаясь, комариный звук. И потому, что он был неуловимо тонок, было в нем что-то затаенное. И

она прислушалась к нему, и ее поразила тишина. Стоял день, но можно было подумать, что это ненарушимый покой глубокой ночи. И, скосив расширенные ужасом глаза, она огляделась: было все то же, и была неуловимая и страшная новизна.

Тонкий звук оборвался. Раскальвая тишину, кругло пронесся тупо-глухой удар, и в своей глухоте такой потрясающей силы, что дрогнул пол, стены, жалобно зазвенели стекла, ахнул весь город.

– А-а-а!.. – вырвалось у нее изумленным криком.

Догоняя, тяжело пронесся второй удар, и, торопясь заполнить промежутки, весело отскакивая, посыпался сухой треск и кто-то за-та-атакал: та-та-та-та...

На секунду погасли все мысли, все представления.

«Кто сказал?! Кто это сказал?!»

Она закричала диким, страшным голосом, и он исступленно пронесся по всем комнатам.

Но промелькнувшее на мгновение представление было так чудовищно, так противостоестественно, что она спокойно завела веки и

с минуту лежала с закрытыми глазами, чтобы не допустить самой возможности возникновения этого предположения.

И она опять улыбалась своему мальчику, улыбалась высохшей шелухой потрескавшихся губ, улыбалась глазами, в которых горел лихорадочный блеск, улыбалась мертвыми, ввалившимися висками, кожей, высохшей, как пергамент.

Бум-м!.. Бум, бум!..

Наперебой сыпался веселый сухой треск, заполняя промежутки.

И снова ядовитое жало сомнения, по-змеиному качаясь, подымалось в душе.

...Но ведь он не мог сказать неправду. Он не мог этого сделать даже во имя ее покоя. За двадцать лет он не солгал ей даже в шутку. Он сидит наверху, у Сорина.

А неумолимое время, издеваясь пыткой, медленно ползло, ничего не изменяя, и часы медлительно отмечали его мучительный след.

И вдруг затрещала ружейная перестрелка, и, как бы подтверждая весь ужас ее смысла, косо заглянуло; в окно солнце, и узенькая по-

доска красноватого отсвета легла на стене, в то окно, куда заглядывало только при закате.

И стало ясно – *он* там.

И с трясущейся головой, делая нечеловеческие усилия, больная села на постели.

Вся жизнь ее клокотала вокруг бурными приливами, всеми чувствами, всей любовью и ненавистью, наполнявшими эту жизнь. Полный жгучей ненавистью протест подымался; затопляя все ощущения, все чувства. И лицо ее было перекошено злобой, она тряслась, и грозила костлявой рукой, и кричала, покрывая трескотню перестрелки:

– Какое право имеют эти люди? Какое право?! Откуда вы пришли? Кто вы? Это – мой сын! Слышите ли? Это мой сы-ын!! Сын!.. девять месяцев я носила его, девять месяцев я кормила его, и всю, всю жизнь, молодость, всю жизнь я отдала ему... Вы не смеете!.. Это я, я – в нем! Это – мой голос звучит в нем, это мои глаза глядят в нем, это мой румянец на его щеках... О вы!! Вы не смеете! Вы – святотатцы! Вы не смеете!.. Я – мать!

В промежутке затихших ударов воцарилась торжественная тишина, как будто она

сказала: «Я – царица мира».

– Я – мать, – прозвучало в зале, в столовой, прозвучало в квартире, во всем доме, выбросилось на улицу, разлилось по площадям и зазвучало гордо и могуче над всем городом.

– Я – мать!

Бум, бум, бум!.. Та-та-та-та!..

– Зачем вы сожрали моего сына, вы, злые звери?! Вам нужна свобода? Вам нужно всеобщее счастье? Но какой свободой, каким мировым счастьем окупите вы жизнь моего сына, вы, проклятые, жестокие звери?! Слышите ли – мо-е-го сына?

Она прислушалась.

– Что? Вы все дети своих матерей? Да, но это тех, других, чужих матерей. Я – мать *моего* сына, и ничем вы не сотрете, не смоете, не умалите своего преступления!

Бум, бум, бум!.. Та-та-та-та!..

– Возьмите меня, – зашептала она ласково и заискивающе, с хитрым лицом, – возьмите меня... Я буду служить вам, я буду ползать у ваших ног, я буду служить вам прикрытием от вражеских пуль, я буду ползать у ног ваших врагов, я буду грызть им колена, закаче-

нею с пальцами у их горла, но...

Она молитвенно сложила исхудалые руки, и слезы полезли по иссохшим щекам.

– Отдайте сына!..

Отвечая на другое, трещали за окнами выстрелы. Тогда она злобно захохотала.

– Вы издеваетесь!.. Вам нужно не иссохшее, измученное, вам нужно молодое, живое, здоровое тело, вам нужна горячая, свежая, красная кровь, вам нужны ловкие молодые руки, – и вы взяли моего сына!

Дом трясся от тяжких ударов, и над городом стоял грохот, покрывший мелкую и торпливую трескотню.

– Вы издыхаете, дикие звери, вы заливаете вашей преступной кровью мостовую! Вы покупаете себе свободу, вы отняли у меня сына!..

Она прислушивалась с мучительно изломанными бровями не к канонаде, а к страшной мысли, которая подымалась в ней, и, с ужасом стараясь подавить ее, пронзительно закричала, защищаясь руками:

– Нет, нет, не хочу, не хочу слушать!.. Неправда! Замолчите! Вам никто не пове-

рит!..

И, защищаясь и собрав всю ненависть, кричала:

– Прокляты вы! Ведь есть же в материнстве сила, стоящая вне нашего сознания, вне нашей воли... Есть же в нем что-то чудовищно огромное, иначе мы бы не чувствовали этого... Так во имя его проклинаяю вас, убийцы!..

Она тряслась от озноба и качалась.

– Пощадите, пощадите, не мучайте так страшно, так нечеловечески!.. Я умоляю, целую ваши кровавые руки, сжальтесь!.. Я – *не убийца*... Я отдала ему душу, я не думала об этом, я не представляла, что так кончится, что к этому сведется...

Она дрожала мелкой дрожью неподдаваемо-го ужаса, и качалась, и шептала, съезжившись и глядя искоса глазами побитой собаки. Эта трескотня, это бесстрастно ползущее время, эти молчаливые комнаты свидетельствовали, что она – такая же убийца, как и *те*. Они убили в несколько часов, она подготовляла это двадцать лет. Мальчик не мог иначе, он не мог не идти на улицу, когда бились за сча-

стве. Его неумолимо вели туда все мысли, все чувства, вся любовь, вся ненависть, взлелеянные ею же. Он пошел потому, что она с колыбели вела туда.

Судорожно ловя дрожащими пальцами воздух, она приподнялась, глядя огромными глазами, и *они* кивали и смеялись ей в лицо разбитыми черепами, оторванными руками и ногами, вытекшими из разорванных животов внутренностями, дрожавшими на мостовой красными лужами остро пахнущей крови.

– *Убийца!!*

Все поплыло... Пусто, черно, немо.

* * *

Когда вернулось первое ощущение, это было ощущение холодного пола, на котором лежала. Тянуло из дверей. Тикали часы, равнодушно меряя время. Стояла ночь. По карнизам, по стенам, по мебели трепетал красноватый отсвет. Испуганно сновали красные тени.

Наморщив лоб, она болезненно собирала разбредавшиеся мысли. И вдруг в красной темноте огненно вырезалось:

– *Убийца!!*

И уже не погасало.

И она поползла, судорожно хватаясь за пол, как ползет червь, влекущий раздавленное тело. Ночь тянулась, и похоронным боем извещали об этом часы. Каждый вершок давался нечеловеческими муками. Подолгу бес-сильно лежала, и леденящая мысль, что умрет прежде, чем доберется, опять гнала.

Окно. Женщина оставалась неподвижной. Умерли звуки. Не было слышно дыхания. Невозмутимо царила ночь.

Медленно перевела отуманенные глаза. Что осталось? Одно – увидеть издыхающими убийц.

С нечеловечески искаженным лицом при-поднялась и глянула в окно, но в широко от-крытых глазах, из которых уже глядела смерть, отразилось одно только зарево.

И было оно багрово.

Востроносый*

I

После погрома их подобрали по квартирам и на улице и поместили всех в одном бараке.

Второй у входа лежал с пулею в животе. Огромный, черный с ввалившимися, горячечно блестящими глазами – он умирал молча, ясно отдавая себе отчет в надвигающемся. И все знали, что ему – конец, и молча, с тайным страхом и тайной надеждой, что с ними не будет того же, обходили его глазами.

Через две койки лежал маленький, мозглявый, с птичьим носом, конопатым лицом и громадной раной обжога на боку. Он был вечно голоден, вечно готов клянчить, просить, жаловаться.

Он приподымал голову, обводя всех испуганными воспаленными глазами, и под белым потолком барака, все повышаясь, пугливо дрожа, ползали нудные животные крики:

– Ой-ёй-ёй-ёй... О-ой... ой-ой!.. Хха-ха... ую-ю-ю...

И всех озлобляли эти захлебывающиеся

трусливые крики.

– Ну, когда только сдохнешь!

– Одна поганая овца весь барак запакостила...

– Добро, к вечеру стянут за ноги в мертвецкую, хоша разговаривать можно будет в барачке.

И опять полные муки и ужаса собачьи крики:

– Ой-ёй-ёй-ёй... ой-ой-ой... А-хх-ха-ха... уффф... ва-а... ую-ю-ю...

Вентилятор выл, то начиная шибко крутиться с все более и более повышающимся гудящим звуком, как будто подхватывал и тянул последнюю ноту кричавшего, то затихал, – и в бараке стоял неясный говор, покашливание, шлепанье туфель, тяжелое дыхание умирающих.

«Сестра» в белом переднике, в белом чепце, с белым измученным лицом и тихими грустными глазами, беззвучно двигалась между койками. И казалось, что это была оболочка, белая и нежная, бестелесного и неосязаемого.

Она подходила, переменяла компресс, по-

правляла повязку, давала лекарство, и, когда говорила скорбным и тихим голосом, все прислушивались, и ее слышно было в самых дальних углах барака.

Жизнь ее прошла так же серо, так же скорбно, как эти серые, скорбные дни в бараке. Молодость просила яркой, звучной и живой жизни, а была бедность, убогость, скучный и будничный мелкий труд. Сердце стыдливо просило счастья и любви, а уже увядало лицо, увядало тело, увядали желания, и она радовалась только чужому счастью, чужой любви. Материнство жадно, властно, подавляя все движения души, требовало исхода, а она ухаживала за чужими, за больными, немощными, недужными, спасала гулящих девушек, подбирала, кормила и устраивала собак, кошек, брошенных детей, подкидышей.

Она не укоряла, не убеждала, не говорила о позоре и ужасе этих преступлений, о позоре и ужасе такой жизни, – она меняла компрессы, оправляла подушки, бинты, и от этого в бараке, в самом воздухе стояла напряженная убежденность, что был позор и ужас, но что

это было, а теперь начинается другое, начинается иная жизнь, иные мысли, иные отношения.

И никто об этом не говорил, никто даже для себя не формулировал этого в голове, но оно стояло в глазах, в движении руки, во внутреннем – независимом от внешнего, логического, формального – смысле речей, слов, восклицаний.

– Сестрица, завсегда я голодный был, одно слово – прожора, – говорил востроносый, любовно и мягко глядя на сестру, – тут вот ты накормила впервой. А поглядеть, что такое – каша, и больше ничего. На воле и трескать бы не стал, свиньям бы выкинул, вот как перед господом.

– Она хоша каша, ну пользительность свою имеет... для внутренности...

– Заелся, идол, вот и морду воротит.

– Не кладите так руку – отекает, и вам будет тяжело, – говорила сестра тихим и слабым голосом, и сейчас же все на минутку примолкали, и ее было слышно в самых дальних углах.

Утром по бараку проходили врачи, и каждую ночь какая-нибудь койка освобождалась. Освобождались большею частью те, на которых лежали с простреленными животами и головами. И остававшиеся тяжелораненые с затаенным ужасом косили глазами на белешшее пустотой полотно коек. И все представляли, на минуту закрыв глаза, неподвижное молчание, трупный запах и желтые, таинственно мигающие огни перед образами в мертвецкой.

Востроносый лежал, закинув руки за голову, с остановившимися глазами. Он не видел ни пустых коек, ни больных, ни потолка, в который упорно смотрел, не слышал мягкого шлепанья туфель, говора и смеха выздоравливающих, тихого голоса сестры. Он видел одно, необъяснимое по своей бессмысленной жестокости: во всем мире нет человека, который дал бы ему кусочек кожи, маленький кусочек живой кожи.

Этот кусочек он мог бы купить, если бы имел деньги. Каждый бы с радостью продал, протянув руку: «На, вырезай».

«За деньги всю человеческую шкуру ку-

пишь...»

Но у него не было денег. И о нем все забыли с тех пор, как он перестал юлить, как будто его уже не было в бараке, как будто его оттащили *туда*, где тяжело стоял трупный запах и затаенно мигали желтые огни.

А он примолк с тех пор, как врачи, разбинтовав его бок, долго возились над ним и горячо говорили о чем-то между собою. Потом старший доктор сказал:

– У вас есть родные?

– Кто ж их знает? Может, в деревне и есть... давно по городам шляюсь.

Доктор помолчал и посмотрел в окно.

– Видите, нужно, чтобы кто-нибудь согласился... согласился пожертвовать вам кусок кожи, небольшой кусок кожи. Вырезать и перенести вам на бок, – через две недели вы будете совершенно здоровы. Ну, а если...

Доктор развел руками и поднял брови, как бы хотел сказать: «Что ж я! Ничего не могу сделать».

– Сдохнешь, и отволокут, – хладнокровно проговорил фельдшер, когда вышел доктор, – потому без кожи рана твоя не затянется.

С тех пор востроносый замолчал, неподвижно лежал, заложив руки под голову, и все о нем забыли.

А страшный подбор делал свое дело, и барак оглашался все более здоровым смехом и говором, не слышно было хрипения, тяжелого дыхания и стонов по ночам. Остались выздоравливающие, а на местах других пусто белели койки. Только востроносый был последним из «тяжелых». Но его было совершенно не слышно, точно он старался изо всех сил остаться незамеченным.

III

Дня через два, перед обходом врача, служители внесли и поставили возле койки востроносого низкий белый стол, тазы, воду, бинты, губки. Востроносый не шевелился, боясь спросить. Что-то зловещее и грозное чудилось ему. И когда закрывал глаза, назойливо мерещилось низкое полутемное помещение и мигающие желтые огни.

Пришли доктора, серьезные, молчаливые, в белых балахонах, с засученными рукавами, фельдшера. Они подошли и, не говоря ни слова, стали разбинтовывать востроносого. Он

отдавался послушно и покорно, как ребенок. Мучительно хотелось спросить, что с ним будут делать, но слова застревали в горле от страха услышать свой приговор.

И он жалобно искал глазами сестру, и когда она бесшумно вошла, такая же тихая, скорбная, – востроносый не отрывал от нее молящих глаз. Она подошла, ласково положила свою руку на его горячий лоб, и он разом утих и успокоился.

Сняли бинты, и на боку раскрылась, как изорванный кусок говядины, широкая сочащаяся рана. Доктора стали ее очищать, весь барак притих, и только слышно было, как скрипел зубами побледневший востроносый.

Сестра села возле на стул, фельдшер высоко закатил ей рукав на белой, прозрачной руке и стал повыше локтя обмывать спиртом. Доктор порылся, достал блестящий инструмент, подошел к сестре и вдруг, обернувшись, проговорил сурово:

– Вот... моли бога за нее... Предложила взять кожу у нее с руки.

И, помолчав, добавил:

– А то быть бы тебе с теми...

И он мотнул головой, и все поняли, кто это *те*. Востроносый, удерживая трясущуюся нижнюю челюсть, не сводил глаз с сестры во все время операции.

IV

Многие уже выписались, и остальные были на очереди. Играли в шашки, втихомолку и в карты, слышался смех, говор, шутки и спор, точно сюда вошло с улицы обычное, здоровое и сильное и стерло самое воспоминание о болезни, о столах, о темном и низком помещении с желтыми огнями. Как будто это было очень давно, прошло и больше никогда уже не вернется.

Востроносый, накинув халат, ходил по барраку веселый и радостный, подходя то к одной, то к другой кучке, вмешиваясь в разговор, бросая шутку.

– Они, дьяволы, что же делали: засядут в квартиру, мы только туда, а они из левольвертов палить.

– Ишь ты, кобелячьи дети!

– Анахвемы!

– Ну ж, мы в одном месте застукали. Выпалили из левольвертов, Хвонку в руку задели,

а он сразу дверь-то припер. Дверь дубовая. Они там стреляют, а пули-то не берут...

– Кабы бранинг, взял бы...

– Бранинг взял бы наскрозь...

– Мы зараз завалили дверь-то шкапами, креслами, столов навалили, облили керосином и подожгли. То-то потеха была!

– А вон Семка Кирьяк сцапал в погребу... Переплетчик оказался... старый идол. Трясется, борода белая: «Мучь меня, сказывает, только женщину не трожь...» – «Ее-то мне и надо, – говорит Кирьяк, – а чтоб ты, старый черт, не мешался...» – зараз сцапал его, тиски тут такие переплетные, разинул их, сунул жидовскую голову и стал свинчивать – глядь, а глаза-то у него вывалились... напроць, ей-богу!..

– Хо-хо-хо...

И потекла из уст людей зловонная сукровица, дышавшая ужасом наивного непонимания. И лица их были возбуждены, и слышался отрывистый хриплый смех.

– А я-то вот напал, – говорил возбужденно востроносый, – вбег, в комнатах никого. Э-э, думаю, брешете, не зря это, никого нету. Зараз в шкапы, под кровати – нет. Ах ты, сука твоя

мать!.. А чую человеческий дух. В углу книги навалены. Ну, книги, на кой они черт, а семкась, думаю, копну. Копнул – ах ты! Девчоночка оттеда подымается, так лет четырнадцать, коса до полу, хорошенькая...

– Ишь черт карнаухий!..

– Он хоша востроносый, а нюх у него собачий...

– Не по рылу честь...

Востроносый возбужденно-торопливо рассказывал:

– Стоит ни жива ни мертва. Ну, мне некогда, – повалил... Догадалась, руки целует: «Пусти... я...» Вырвалась, упала на пол, сапоги обхватила, не оторвешь, сапоги целует, ей-богу...

– Лешман, ты бы морду подставил, что зрято сапоги...

– У него морда хуже сапога...

– Ишь ты, дьявол!.. – завистливо раздавалось кругом.

– Некогда, рассказываю, мне... погодь трошки... а она обхватила опять коленки: «Отпусти... у меня папа, мама... они меня любят... я в гимназии... я получила награду...» – а сама

глядит на меня, братцы, во как глядит. Екнуло у меня!.. «Эх, иди, што ль... только скорей...» Кинулась она, как ветром ее вынесло, проворная да ловкая, только затупотела по лестнице...

Он на секунду замолчал, растерянно оглядываясь.

– Вот, братцы, жалко стало, а?..

– Дурак, дурак!..

– Дурак... я и сам думаю – дурак... Как увидел, что выбегла из комнаты, кинулся, думал – голову расшибу, через десять ступеней сигал... У самых дверей, у самых, как есть, дверей сцапал... Еще бы трошки – убегла бы, поминай как звали... Как завизжит... Подхватил, наверх... Запрокинулась головой, так и обвисла на руках... У меня руки трясутся... Раздел – махонькая такая, беленькая...

Среди мгновенно наступившей тишины остроносый разом осекся, не спуская безумно расширенных глаз. Три глаза, три черных глаза, которых он никогда не встречал на человеческом лице, в упор глядели на него так близко, что сердце у него перестало биться и остановилось дыхание. Потом из одного, глу-

боко чернеющего, брызнул огонь, и барак со всеми людьми, со всеми красками, звуками, со всей жизнью опрокинулся и мгновенно погас.

Больные в ужасе разбежались по койкам. Сестра молча постояла над тем местом, где странными мертвыми складками топорщился халат. Со стуком упал на пол револьвер. Сестра пошла к выходу усталой, медленной походкой.

Бомбы

1

Маленького роста, тщедушная, в оборванной юбке и грязной сорочке, все сползавшей с костлявого плеча, она, нагнувшись над корытом, усердно терла взмокшее, отяжелевшее белье в мыльной пене. Пар тяжело и влажно бродил под низким темным потолком. На широкой кровати в куче тряпья, как черви, копошились ребятишки.

Когда женщина на минуту выпрямлялась, расправляя занывшую спину, с отцветшего лица глядели синие, еще молодые, тянувшие к себе, добрые, усталые глаза.

Ухватив тряпками чугунный котелок, она лила кипяток в корыто, теряясь в белесых выбивающихся клубках, и опять, наклонившись и роняя со лба, с ресниц капельки пота, продолжала тереть красными стертыми руками обжигающее мыльное белье. Капал пот, а может, слезы, а может, мешаясь, то и другое. На дворе перед низким, почти вровень с землею, окном лежала, похрюкивая, свинья и двенадцать розовых поросят, напряженно упираясь и торопливо тыча в отвислый, как кисель, живот, взапуски сосали. Петух сосредоточенно задерживал в воздухе лапу, повернув голову, прислушиваясь, шагая и для вида только редко постукивая клювом по крепкой земле, сдержанно переговариваясь с словоохотливыми хохлатками.

– Ох, господи Иисусе, мати божия, пресвятая богородица... И чего это...

Пена взбилась над корытом целой горой, и пузыри, играя радугой на заглядывавшем в окно солнце, лопались, тихонько шипя.

– Конца-края нету!.. – как вздох, мешалось с плесканьем воды, с подавленным шепотом и смехом ребятишек, затыкавших руками

друг другу рты.

Кто-то за дверью громко колол орехи, и их сухой треск то приостанавливался, то сыпался наперебой. Орехи, должно быть, были ка-леные, крепкие, и сыпалось их много. Потом начинали щелкать прямо перед окном, хотя на дворе никого не было, кроме свиньи с двенадцатью поросятами.

Между сухим треском коловшихся орехов вставлялись глухие удары, как будто кто сильно, с размаху захлопывал дубовые двери, и стены и пол вздрагивали, и чуть звенели подернувшиеся от старости радужными цветами стекла в низеньких окнах. При каждом тяжелом ударе свинья вопросительно хрюкала и шевелила длинными белесыми ресницами. А стертые, красные и припухшие руки продолжали тереть, и капали в мыльную воду не то пот, не то слезы.

– Мамуньке скажу...

– А ты не сказывай, а я те дам тоже такую.

– А я ее исть хоцу.

– А ее не едят... Вишь, крепка... – носился детский шепот и подавленный смех и возня.

В окно заглядывала темная ночь, шурша ветром и стуча дождем. Ребятишки спали. Марья возилась около печи, ставя тесто. Снаружи стукнули кольцом. Она отперла. Вошел муж с несколькими товарищами и он. Это было два года тому назад.

Вытерли ноги и прошли в чистую половину. Сели. У него было молодое, строгое и безусое лицо. Он сел под образами, и все молчали, покашливая в кулак.

Когда посидели, он сказал:

– Что же, больше никого не будет?

Муж откашлянулся и сказал:

– Нет... никого... Потому, собственно, погода, и народ занятой...

И хотя был очень молод, он сидел, нахмурив брови, и все глядели на пол, на свои сапоги, изредка украдкой поглядывая на него. Он сказал:

– Тогда приступим.

И, поднявшись, басом, которого нельзя было ожидать от такого молодого, сказал:

– Товарищи, вы видите перед собой социалиста.

Точно в комнату невидимо вошел кто-то

страшный. Марья стояла за дверью и прижалась к притолоке. Все перестали покашливать, перестали смотреть себе на ноги и на пол, а, не отрываясь, глядели на *него*. А *он* говорил, говорил, говорил...

У Марьи дрожали руки, и она тыкалась возле печки без толку, брала то кочергу, то миску, то без надобности подымала полотенце и заглядывала на теплое пузырившееся тесто.

– Ах ты господи, кабы дети не проснулись!.. – шептала она.

А безусый все говорил. Марья ничего не понимала, о чем шла речь, без толку возясь с посудой и схватывая только отдельные слова. И ей пришла дикая мысль, что он сейчас скажет: «Бабу повесить у притолоки, а ребят – в лежанку головой...» И хотя *он* этого не говорил и – она знала – не скажет, руки у нее ходили ходуном. Или скажет: «Будет им, хозяевам-то, носить шелки да бархаты, нехай твоя баба поносит... Сделать ей шерстяную юбку да кофточку шелковую...»

Но *он* и этого не говорил, и она знала, что не скажет. Слесаря, когда *он* к ним обращался:

«Не так ли, товарищи?» – отвечали хрипло срывающимися голосами:

– Верно... это так.

Они робели пред ним, и это наводило на нее еще больший страх. А в окно все внимательнее заглядывала ночь, и шуршал ветер, и плескался дождь.

И когда ложилась с мужем, Марья проговорила, крестясь и испуганно глядя в темноту:

– Вась, а Вась... кабы беды не нажить?.. Сицилист вить... Мало ли что...

Муж сердито повернулся на другой бок.

– Молчи, ничего не понимаешь.

3

Свинья по-прежнему неподвижно лежала, и двенадцать розовых поросят, подкидывая мордами, толкали ее в живот. Очевидно, им уже нечего было сосать, но доставляло удовольствие колыхать этот большой, упруго подававшийся живот.

Важно и медленно густой, черный дым подымался над городом в нескольких местах, и орехи продолжали торопливо щелкать, и бухали дубовые двери... То вдруг все затихало, и это имело какое-то отношение к этому

медленно и важно подымавшемся дыму, и на мыльную воду, и на красные руки капали капли не то пота, не то слез...

Безусый приходил после того несколько раз, и хотя он больше не говорил, что он социалист, и она угощала его чаем, – все-таки продолжала его бояться и чуждаться.

По субботам маленькая комната битком набивалась рабочими. Красные и потные, они сидели чинно, пока он говорил, но понемногу вступали в разговор, разгорались, перебивали друг друга, стучали кулаками в грудь, и подымался такой содом, что хоть святых выноси.

Что-то странное, новое и непонятное вошло неувлимо в их домишко. Марье казалось, как будто проломили стену и через пролом стало светлее, и неслись с улицы звуки, но она боялась, что будет непогода, и сюда будет нести дождь и снег, и будет заглядывать осенняя ночь.

Очень хорошо она знала, что завод давит рабочих, что муж каждый день приходит истомленный, что у него, когда-то краснощекого, здорового и веселого, ввалилась грудь,

впали щеки, и при каждом расчете излишка рабочих они дрожали. И все это было неизбежно привычно и тянулось, как тянется день, наступает вечер, ложатся спать, и опять день, и опять работа, ребятишки, заботы... Теперь же то, что было привычно, буднично и неизбежно и о чем не думалось, да и некогда было думать, теперь это называли вслух, об этом говорили, спорили, и оно обернулось к Марье какой-то иной, новой, тревожной и беспокойной стороной.

И опять ей показалось, что придет кто-то, строгий, недоступный и суровый, и скажет:

– Будет хозяевам-то с чаями да с сахарами... Пора и вам, сердягам, передохнуть...

И кто-то другой, ухмыляясь поганой рожей, скажет:

– А в тюрьму хочешь?!

Безусый стал приводить с собой товарища. Этот был постарше, с лысиной и черной бородкой. На обоих были синие блузы и высокие сапоги, но руки у них были белые и мягкие. Нельзя было понять, что они говорили, но у обоих были чистые и ясные голоса, и все хотелось их слушать.

– Вась, а Вась... – говорила Марья, ложась возле мужа.

Она виделась и успевала перекинуться с мужем двумя-тремя словами только перед сном. Уходил он до свету, а приходил ночью, черный, пропитанный железом, нефтью, усталый и сердитый.

– Вась, кабы беды не нажить... Неровен час... У Микулихи, сказывают, забрали мужа и брата, и ей-богу!.. Жандармы, сказывают, приходили, все обшарили, перину пороли, вот как пред истинным!..

– Много ты понимаешь!

Он сердито отвернулся к стене, но не захрапел, как это обыкновенно бывало, а полежал, молча и торопливо сел на постели. Ворот рубахи отстегнулся, показывая волосатую грудь.

– Они – благодетели наши... А то как же?.. Что я понимал! Пень бессловесный, и больше ничего...

Он посидел, строго покачивая головой, и почесал поясницу.

От синей полосы лунного света по всей комнате лежали длинные, ломаные, уродли-

вые тени.

– Блох ноне множество.

– Блох – сила. Пропадать бы надо, а они кипят.

Он опять почесал поясницу.

– Главное, понять... Нашему брату, рабочему, понять только, а там захватит и поволокет... Все одно как пьяницей сделался – не оторвешься... Никак, кто-то калиткой стукнул?

Они прислушались, но было тихо, и лунная полоса по-прежнему неподвижно лежала на кровати и в комнате, прорезанная теньями. И в этой полосе сидел человек, всклокоченный, костлявый, с глубокими впадинами над ключицами. Жена глядела на него, и тонкая, щемящая боль кольнула сердце. Ей захотелось приласкать этого человека.

– Вась, а Вась... худой ты...

4

Марья стала разбираться. Она понимала, что «эксплуатация» значит – хозяева мучат, что «прибавочная стоимость» – это что хозяева сладко едят, сладко пьют вместо нее с мужем, вместо ее детей, и прочее.

И двоилось у нее: все это было старое и известное, и все это поражало остротой новизны и несло в себе зерно муки и гибели. И она внимательно слушала, когда в тесной комнатке стоял гул голосов, с тайной надеждой и радостью, что изменится жизнь, что еще в тумане и неясно, но идут уже светлые дни какой-то иной, незнаемой, но радостной, легкой и справедливой жизни. А когда осталась одна и сходилась с соседками, сердито говорила:

– И чего зря языками болтают. Так, невесть что. И будто умные люди, из панов, а так абы что говорят. Ну, как это можно, чтоб хозяев не было? А кто же управляться будет, а страховку кто будет делать, а жалованье платить?

– И не говори!.. Вон у Микулихи-то забрали, доси не выпускают... Дотрезвонятся и эти.

Но когда приносили литературу, прокламации или мешочки со шрифтом и муж отдавал ей, она тщательно и бережно запрятывала и хранила их.

В глухую полночь пришли жандармы и арестовали мужа. Марья обезумела. Бегала в жандармское, в полицию, к прокурору, валя-

лась в ногах и выла. Под конец ее отовсюду стали гнать. Потом она съежилась, замолчала, никого ни о чем не просила, и когда приходила на свидание в острог, глаза у нее были сухие и горячие. Она непременно приносила бублик, или пирожок, или яиц. Не волновалась, не плакала, не упрекала, а рассказывала о детях, о соседях, про заводских.

Дома работала как лошадь, и никто не знал, когда она спит. Надо было прокормить семью, и она билась как рыба об лед.

Раз как-то пришел безусый проведать и навести какие-то справки. Когда она увидела его, лицо исказилось, она схватила полено и бросилась на него.

– Вы погубители наши!.. Вы кровососцы..
Будь вы трижды прокляты!.. И чтоб вас, анафемов...

Из тюрьмы муж вышел совсем больной и несколько месяцев был без работы. Это было самое тяжелое время для Марьи. Она работала с неослабной энергией, и одно только жгучее чувство светилось в ее сухих и горячих глазах – ненависть. При одном имени: жан-дарм – она трепетала от злобы.

Снова по ночам стал таинственно собираться народ в их домишке. Назревали события. В воздухе пахло порохом и кровью. То там, то здесь находили убитыми городских и шпионов.

5

Клубы черного дыма важно подымались над городом, свинья кормила поросят, грохот захлопывающихся дверей сливался в протяжный гул. Женщина торопливо домывала... Кто-то, несмотря на этот черный день, несмотря на трескотню и грохот, кто-то должен был носить тонкое чистое белье, не мог оставаться без белья. И ребятишки, возившиеся на кровати, не могли оставаться без хлеба. И она запаривала, намыливала и терла, терла, терла.

Низенькая дверь отворилась. Нагнув голову, торопливо шагнул молодой парень. Женщина разогнула спину, глянула и всплеснула руками.

– Савелий!..

У него было почернелое, осунувшееся – как будто он не спал целую неделю – лицо и темный сгусток запекшейся крови под правым

глазом:

– Тетка Марья... во...

Он с усилием улыбнулся запекшимися губами, тяжело опустился на табуретку и завел веки. Потом торопливо вскочил и, глядя испуганными красными глазами, проговорил:

– Дай глотку промочить да достань поскорей... энти... знаешь, которые спрятать тогда приносили.

Она с отчаянием хлопнула руками.

– А мой-то, мой где?.. Что с ним такое?.. Что он не идет?.. Господи, да разнесчастная я, несчастная... Да милый ты мой соколик... Да куды же я теперь голову приклоню...

Она уставилась на парня злыми глазами и шипела:

– Где мой?.. Говори, где... не брешы... говори!..

Он бегал глазами по комнате и оглядывал себя.

– Вишь, шрапнель всю полу, как горохом, дырочки проделала...

Она взяла ведро и, рыдая и сморкаясь в руку, пошла во двор. Парень прислонился к стене, запрокинул голову; веки тихонько полуза-

крылись, рот открылся, показывая белые зубы. Он тихонько подсвистывал носом, покойно дышала грудь, и мирное, спокойное, счастливое выражение разливалось по измученному лицу.

Было тихо. Ребятишки притаились и хитрыми смеющимися глазами следили за спящим. В углу грызла мышь. Петух подошел к самому окну, постоял, поворачивая голову, и вдруг заорал что есть силы: ку-ка-ре-ку-у!.. Свинья хрюкнула, ребятишки прыснули со смеху.

Вошла Марья с оттягивающим руку ведром. Парень вскочил, как безумный, шаря у себя на груди и оглядывая комнату дикими глазами.

– Где?.. Куда?.. Постой!.. Фу-у, а я думал...

– Испей, касатик... Покормила бы тебя, – нечем, родимый: корочки сухой в доме нет. – И она опять заголосила: – Да куды мы денемся? Да куды мы голову приклоним?.. Да родимый ты наш батюшка!..

Он жадно пил, запрокидывая голову и проливая прыгавшую по одежде серебряными каплями воду.

– Спасибо, Ивановна!.. Прощай!.. Будь тебе, чего сама пожелаешь. – И вдруг нервно заторопился: – Скорей, скорей!..

– Да куды он их дел, не помню.

– В подполье будто, сказывал.

– Вытащил... Где-то в коробке под кроватью...

Она лазила на коленях, шаря рукой под кроватью, под скамьями, и вытащила небольшой ящик.

Оба нагнулись.

– Пустой!!

– Куды же делись?

– Взял разве?

– То-то, что нет... Послали. Непременно надо.

Ребятишки хихикали.

Странный звук пронесся по комнате. Парень стоял белей стены, протянув растопыренные пальцы. Марья, не поднявшись еще с колен, глянула по направлению его взгляда и застыла, и глаза у нее сделались огромные и круглые: перед сбившимися в кучу ребятишками лежали небрежно на кровати два металлических цилиндра, грубо обделанные на-

пильником. Что-то в них было необыкновенное, потому что люди в застывших позах несколько секунд не могли оторваться глазами.

Потом Марья, как кошка, подобралась к перепуганным детям и с ненавистью прошипела:

– Тссс... нишкни!..

Парень, у которого лицо стало отходить, шагнул, осторожно взял и положил, пожимаясь от холодного прикосновения, один цилиндр за пазуху, а другой опустил в карман.

И когда был уже у двери, обернулся и покачал головой.

– Крошки бы от дому не осталось...

И из-за притворенной двери донеслось:

– Прощай, Ивановна. Спасибо... Не поминай лихом!

Свинья поднялась на ноги, постояла и подумала. Поросята играли, боком подкидывая мордами друг друга. Потом опять грузно легла на бок, и поросята снова взапуски, тыкая мордами, стали сосать ее.

Из орудий продолжали стрелять, и дым клубами подымался к небу.

Сыпались орехи, громко хлопали дубовые двери, и столб, густой и черный, медленно и важно подымался к небу. А Марья терла скользкое мыльное полотно, и пот, как роса, проступил на ее лице, и капли, соленые и едкие, капали в мыльную воду.

На площади*

Весело и радостно, отдавая последние осенние ласки, заглядывало солнышко в улицы, в сады, на площади, в окна домов, в возбужденные лица торопливо спешившего по тротуарам народа.

Шли молодые и старые, паны и простонародье, мужчины и женщины; бежали, смеясь, толкая друг друга и шая, ребятишки, – и все это пестрым движущимся потоком вливалось в огромную театральную площадь, по которой сплошь волновалось живое человеческое море и стоял смутный и неясный гул и говор.

Все головы были обращены, и все глаза тянулись к высокому театральному балкону, на котором развевались красные флаги и чернела кучка людей.

Из этой кучки людей выступил один, подо-

шел к решетке балкона и поднял руку. И тогда разом смолк гул и говор, и воцарилась немая тишина, какая стоит на этой площади только в глухую полночь. Десять тысяч человек, придерживая дыхание, как один, глядели на того человека, а он, стоя высоко на балконе, смотрел на всех.

– Господа! – раздался его голос, и голос был крепкий и сильный и добежал до самых последних рядов.

А в самых последних рядах стоял мужичок с изборожденным морщинами нужды, труда и забот лицом, в рваной одежде и рваных, разбитых сапогах, стоял, как все, слушал, ковырял посошком землю, и солнышко ласково, как и всем, заглядывало в его возбужденное лицо.

– Господа! свобода так же нужна человеку, как воздух, как земля, как вода. Без свободы человек – не человек, а рабочая скотина – кляча, на которой не ездит только ленивый. В чем же заключается свобода? Свобода заключается в том, чтоб пользоваться всеми дарами, которыми одарен человек...

И он говорил о свободе людей выражать

свои мнения, о свободе людей общими силами бороться за свои интересы, о свободе людей исповедовать бога так, как подсказывает совесть.

– Вот что нужно, – говорил он, – чтобы люди сделались людьми, а не жили, как звери лесные. Но чтоб все это было и чтобы каждый мог устраивать наилучшим образом свою жизнь, свои дела, свою судьбу, нужно, чтоб весь народ до единого человека принимал участие в управлении государством. Теперь же государством управляют одни чиновники. А кто же лучше знает народные нужды: сам народ или чиновники?

– Конечно, народ, – как гром, прокатилось по площади.

– И будет ли народ несправедливо относиться к самому себе, как относится часто к нему чиновничество?

– Народ не станет сам себя обижать, – загремела площадь.

– Так вот нужно добиваться всего того, о чем я говорил.

И он продолжал говорить, и все слушали, подымаясь на цыпочки и вытягивая шеи. Сто-

ял и мужичок, ковырял землю и отстоял ноги. Впору бы уйти, да все стоят, слушают, и он стоит.

Бывало, прежде по большим праздникам устраивались парады: шли солдаты, играла музыка, били в барабаны. По улицам стоит народ и глазеет, и мужичок, бывало, станет в толпе, смотрит, как ходят солдаты, как трубит музыка, а самому все равно. Так и теперь: он стоял, там говорили, а ему было все равно!

И уж хотел было уходить, да глянул, стоит возле него рабочий, востроносенький, в картузе, маленький, и все тянется и брови подымает, чтоб не пропустить, о чем там говорят.

Мужичок усмехнулся и тронул его за локоть.

– Чудно, чего люди так убиваются, а мне все одно – хошь слобода, хошь неслобода, все одно пятеро детей, и бесперечь едят, как овцы. Хошь нету слободы, сорок копеек в день получаю, хошь будет слобода, те же сорок копеек буду получать. За слободу, чай, не дадут мне вместо сорока копеек целковый в день, шубы из нее, стало быть, не сошьешь.

И он засмеялся добродушно, и по загорело-

му усталому лицу побежали морщины.

– Ах ты, благой ты человек!.. – закипел рабочий и весь покраснел, как вареный рак. – Кабы ты понимал. Ты слушаешь-то не ухом, а брюхом. А ты вникни да пойми. Ну хорошо, и теперь ты сорок копеек получаешь, и свобода будет – будешь получать те же сорок копеек. Да пойми ты, еловая твоя голова, что при свободе-то твои сорок копеек вместо рубля тебе сослужат службу.

– Ннуу, сказал!..

– А ты не нукай, я не лошадь...

– Тссс... тишше... не мешайте слушать, – зашипели кругом.

– А очень просто, – загорячился рабочий. – Теперь государственную казну расходует кто? – чиновники, и расходуют много зря, себя не забывают. По этому самому много приходится налогов налагать на все. А когда народ сам будет управлять государством, он будет беречь свои кровные денежки, не будет тратить зря, не допустит воровства, поукоротит жалованье чиновникам, – в казне-то много будет денег оставаться, значит налоги можно будет сбавить.

– А ведь это верно, а! – с восхищением проговорил мужичок.

– Эх, миляга! Только все это понимать надо. Вот ты сейчас говорил, на кой тебе свобода, шубы из ней не сошьешь, а кабы тот человек не говорил свободно, ничего бы ты не знал. Кабы вы, темнота, да понимали, да то ли было бы на Руси. Теперь бы во как гоголем ходили бы мы все.

– Сердешный, неграмотный я человек-то, где же мне знать-то. Кабы нашему брату, мужику, да раскрыть бы все это...

А солнышко по-прежнему ласково и тепло светило, тени передвинулись, и народ, оживленно беседуя, расходился с площади.

Астрономия*

I

В одних исподних и рубахе, поджав на катке по-турецки босые ноги, торопливо заделывал Парфеныч борт пиджака.

Хмуро глядел из-под нависшей рыжеватой брови единственный глаз. Мертвенно-неподвижен был другой, затянутый веком. И что-то свое, особенное, какая-то тайная работа независимо от всего, что делалось кругом, витало около этого незрячего глаза, неподвижного, что-то таящего.

«Ишь, прохвост, горелый всучил», – заделывая волос, подумал Парфеныч и сердито сказал:

– Будет тебе, развылся; чать, праздник завтра.

– Праздник – завтра, а я – сегодня.

– Ннуу!!

Мурлыкавший курносый мальчишка, лет пятнадцати, также сидевший на катке, в ситцевой рубахе и исподних, замолчал. Слышен только свист иголки с ниткой, да в тускло намерзшие окна слепо глядел кончавшийся

день.

От плиты с разогревшимися утюгами несло нестерпимо горячим угаром, и холодный пар дымился по слезящимся окнам. Было тесно, и низко давил в сумерках прокопченный потолок. В соседней, такой же крохотной комнатке на огромной, все занявшей кровати, как куча червей, копошились ребятишки, сдержанно пища и шепотом укоряя друг друга.

– Вы чего лампочку не вздуете, чай и стежку не видать, – заговорила хозяйка, прихлопывая за собой пропустившую белые клубы морозного пара дверь и сматывая с головы платок.

– А ты его, керосин-то, сама делаешь?

– Зараз встрела Игнатку, об пальте все беспокоится.

– Подождет.

– Мамка-а!.. Маська меня за пятку укусила...

– Цытьте!..

II

Среди черной и неподвижной тишины Парфеныча давила громада всех этажей, под-

нимавшихся над его подвалом. И бесчисленные люди, которые жили в этих этажах, свесив головы, с любопытством глядели на Парфеныча.

Парфеныч сурово хотел сказать: «Ну, чего вам?» – но не сказал, а с усилием стал соображать, что лежит поперек своей огромной кровати, возле Матрена и ребятишки вповалку и что только это и есть. Но выплывало мутное и путаное, и опять, свесив головы, со всех этажей глядели люди. Парфенычу становилось не по себе, беспокойно и трудно. Надо было усилием что-то отстранить, прервать, и пот выступил на лбу. Люди, свесившись, глядели, и нельзя было понять, с насмешливой радостью или злобным любопытством рассматривали они его. Изнемогая и отчаявшись, он в бессилии отдался давящей муке их холодных взглядов, и тогда разом, как обручи с разошедшейся бочки, упало сковывавшее состояние: люди исчезли, он сел и открыл глаз.

Первое – это была густая, неподвижная, заполненная молчанием и духотой тьма. Потом широко раскрытый глаз поразил слабый отсвет.

Парфеныч долго вглядывался и не мог понять. Была раскрыта дверь, и хотя было темно, он знал – там каток, и над катком, отсвечивая среди тьмы краями, поднимался кверху контур угла.

– Да воскреснет бог и расточатся врази его...

И торопливый шепот, как шуршащая бумага, испуганно заползал в темноте, мешаясь с тихим детским дыханием. Но видение не исчезало, и контуры странного и неуловимого по-прежнему отсвечивали.

Парфеныч с секунду широко вглядывался и вдруг бесшумно полез с кровати с хитро-злобным выражением, как крадущийся кот.

Пожимаясь от холодного пола, стукнувшись о притолоку, он подкрался к катку и загремел:

– Ты опять?

Но там помолчали, и голос курносого нехотя проговорил:

– Свое жгу.

– Брешешь!.. – И Парфеныч сорвал растопыренный по опрокинутой вверх ногами та-

буретке тулуп.

Крохотный приклеенный восковой огарок, боязливо шевеля желтым пламенем, глянул на него, дрожа и неверно озаряя лежащего на брюхе курносого и раскрытую перед ним книжку. Парфеныч с минуту стоял растерянный: он думал опять накрыть курносого за лампочкой. И, чтобы не уронить достоинства, выругался:

– Чертова кукла, полунощничает, а как работать, так «ох»!..

Курносый хладнокровно продолжал читать и, не поднимая головы, уронил:

– День – твой, ночь – моя.

Волосатый кулак хлопнул по огарку, и мгновенно охватила непроглядная черная тьма, такая густая, что Парфенычу сразу стало трудно дышать. Слабо проступили мертво-белесые окна.

– Да ты что!.. Ты что... Какое такое полное право?.. – слышался в темноте прерывающийся голос курносого.

– А то... Не допущу разврата в доме своем...

– Это – не разврат, а правда...

– А-а... правда!..

Парфеныч, тяжело дыша, лапал руками по верстаку, стараясь отыскать курносого.

– Правда!.. – дрожая от злобы и обиды и лихорадочно ища, как бы побольнее уязвить врага, мальчишка злорадно прокричал: – Правда!.. и все люди – от обезьяны!..

Как раненый буйвол, заревел Парфеныч. Они катались по катку, тяжело свалились на пол. Слышались тупые удары, хрип, прерывистое дыхание.

– Кусаться... я ттеб...

Хозяйка приподнялась на локте, с секунду прислушалась к странным звукам возни в темноте, торопливо пошарила возле рукой и завопила не своим, нечеловеческим голосом:

– Карра-у-ул!.. карра-у-ул – убивают... убили... грабят... Карраул... ратуйте, добрые люди... караул!..

Она соскочила, босая, в одной рубашке, и безумно металась в темноте. Ребятишки кричали сливающимися в один визг голосами.

– Я те дам... я тте даам... обезьяну... я тте!..

Хозяйка разом смолкла, точно ей сдавило горло.

Трясущимися руками чиркала спичками.

Хотелось в последний раз взглянуть на мужа, на его перехваченное ножом хрипящее горло – и вцепиться в глаза злодею. Вспыхнул беглый огонек, трепетно выступили в мигающей темноте черные силуэты печки, стола, кровати с орущими детьми, каток и под катком подмявшая под себя кого-то фигура Парфеныча и с тупым, глухим звуком опускавшийся его кулак.

– Митрофан Парфеныч... а Митрофан Парфеныч?..

– Я тте дам... обезьяну...

Когда Парфеныч поднялся на ноги в изорванной рубахе, с расцарапанным лицом и сочащейся из прокушенного пальца кровью, на полу неподвижно в уродливой позе лежал мальчик.

III

Парфеныч шел, поскрипывая снегом, размахивая покрасневшими от мороза руками и чрезвычайно нахмутив свой единственный глаз. Он шагал длинными, неуклюжими шагами, ничего не видя, кроме мелькающих под ногами проломанных, полопавшихся плит тротуара. Что-то сидело в нем, и он то вздер-

гивал плечами, то высоко поднимал над невидящим оком рыжевато-лохматую бровь.

– Митрофану Парфенычу!

Парфеныч кланялся, кому сдержанно, кому торопливо. Злоба клокотала и бурлила в нем, и он боялся только ослабить ее и потому проходил молча, не останавливаясь и ни с кем не заговаривая.

Перед деревянным покосившимся домиком Парфеныч на минуту остановился, потом крякнул и шагнул, шумно растворив дверь и впуская клубы холодного воздуха.

Небольшая, плохо топленная комната с кроватью, двумя стульями, простым белым столом и без иконы поразила его множеством книг на полке, на столе, на стульях. В переплетах, без переплетов, разбитые и новенькие, они грудями и беспорядочно были навалены всюду, даже на полу. Вид этой груды, молчаливо таившей много чего-то непонятного и даже угрожающего, разом вызвал ощущение сторожкой напряженности. Что-то враждебное и такое, чему он – чувствовал – не мог сопротивляться, чудилось в них. И, подавляя это настроение, забурлило раздраже-

ние, подступив к горлу острой и теплой горечью.

Молодой человек, рябой, с широкой бородой по синей рубахе, в очках, отложил книгу, которую читал, и глянул поверх очков, слегка нагнув голову.

– Что вам угодно?

Парфеныч на минуту опешил. Что-то простое, добродушно подкупающее было в голосе, во взгляде, в рябом лице хозяина и точно придержало Парфеныча.

Он помолчал и, вспомнив свою злобу, сказал:

– Бить тебя пришел... вот что!..

Тот улыбнулся.

– Ну, это вы всегда успеете.

Парфеныч видел, что действительно успеет. У того хотя и была широкая борода, но был он узкогрудый и слабый.

– А вот садитесь-ка да потолкуем. – И он сдвинул книгу со стула.

И Парфеныч, вместо того чтобы размахнуться волосатым кулаком, присел на кончик стула. Он чувствовал себя в этой комнате огромным, неуклюжим, четырехугольным.

– Вы... Митрофан Парфеныч Селедев?

– Ага!.. – злорадно загремел Парфеныч, и глаз его стал громадным, а рыжие усы подняла злая усмешка, – ага, знает кошка, чье мясо съела.

– Миша о вас много рассказывал... Добрый, говорит, мягкий человек, да магазин заедает, всю жизнь съел...

Что-то екнуло у Парфеныча... Магазин заел!.. Магазин съел силу, молодость, детей, магазин выпил веселье, беззаботность, румянец со щек жены, проглотил все думы о хорошей жизни. Сзади уныло тянулись серые дни, впереди мертво сквозь туман в сумерках виднелся погост.

– А тебе какое дело до моей жизни?.. Ты об своей жизни больше отмаливай: за хорошие дела людей не высылают под надзор полиции.

Тот, вместо того чтобы рассердиться, снял и протер очки. Потом надел их и сказал, как будто говоря сам с собою:

– Самая страшная система... Пьют пот... «потовая система»...

Парфеныч боролся с разгорающейся к са-

тому себе жалостью и старался не спускать клокотавшей, вскипавшей, как под крышкой кастрюли, злобы. А тот задумчиво поглядел на него сквозь очки.

– Магазин пьет из вас, а вы... из Миши...

Парфеныч взревел, точно к нему прикоснулись каленым железом, и вскочил, вращая оком.

– Почему разврат!.. Разврат вносишь... Бога нет!.. Да из тебя я узел свяжу и развяжу... Замест бога – обезьяна... Да ты хуже всякой обезьяны... Жилы из тебя тянуть мало... Не скверни, не погань... Что он, мальчишка, понимает!.. А из-за тебя, смерда, я смертным боем его бил...

Парфеныч ругался, кричал на весь дом, но эти книги, эта простая и в то же время таившая в себе что-то обстановка, это рябое лицо и, главное, то спокойствие, с которым его враг ходил, заложив руки, по комнате, не принимая никаких мер к ограждению собственной безопасности, обезоруживали Парфеныча.

– Да, – говорил тот, продолжая ходить, глядя в пол и поглаживая бороду, – хорошо. Вот оба мы с вами от Адама, и одинаково головы у

нас с вами выросли!.. Ведь не дьявол же мне присадил голову?..

– А черт тебя знает, может над тобой дьявол поработал.

– Да... Это так... Ну, хорошо... Пойдите... Ведь бог же все сотворил... Сотворил и мою голову, и голова моя думает. Думает она: почему же бог – справедливый, добрый, который всю вселенную держит на мизинце, помимо которого ни один волос с вашей головы не упадет, – почему он не устранил, почему не сделает так, чтобы магазин не пил из вас пота и крови. Главное, что это было бы справедливо, по-божески.

Ноздри у Парфеныча раздувались, и глаз, круглый, огромный, глядел из-под всклоченной брови с негодующим изумлением.

– Да ты бога учить!.. Ах ты, прихвостень чертячий!.. Ах ты, ублюдок верблюжий, недоносок ведьмин!..

И, разразившись трехэтажной бранью, повернулся и хлопнул дверь. Штукатурка посыпалась у притолоки.

IV

Дни тянулись у Парфеныча, как и прежде:

садился за работу – было темно, и вставал с катка – было темно. В течение недели некогда было выглянуть за ворота, и все так же пышали угарным жаром утюги и слезливо смотрели замороженные окна. Только по субботам вечером, с удовольствием глотая морозный воздух, ходил он сдавать в магазин работу, но и тут не видел ни улиц, ни людей, ни домов, потому что туда шел, напряженно усчитывая материал, долги и работу, а оттуда – с отчаянием соображая, что ничего на полученные гроши не сделаешь.

Миша вернулся из больницы похудевший, с побледневшим лицом и зарубцевавшимся шрамом над глазом. Он за это время вырос, сделался как-то глубже, серьезнее, как будто постарел. Молча сел на каток, и они молча, не сказав ни слова друг другу, стали опять работать, и слышен был только свист иглок, шуршанье материи, да горячий утюг глухо постукивал сквозь сукно.

«Голова у тебя такая же, – думал Парфеныч, тайно борясь с какой-то странной, навязчивой, смутной и неопределившейся мыслью, – и у меня такая же, иначе я обезьяну

замест бога не ставлю... Стало быть, у тебя от дьявола... Ему что, дьяволу-то, ему абы больше народу в лапы нагресть, а там он покажет...»

И рядом с явными мыслями в голове пробиралась тайная, прячущаяся, насмешливая и ядовитая.

Парфеныч встряхивал перехваченной ремешком головой и, придавив ноздрю пальцем, сердито сморкался.

Назойливо и без всякой связи в голове вставало:

«Всея жисти обман!..»

«Обман!..»

Много лет назад Парфеныч сидел в трактире с подрядчиком, дальним родственником, по постройке школы и церкви в их деревне. Кругом шумел народ, стоял смех, говор, песни, чад и дым, и, оглушительно звеня тарелками, играла машина. Подрядчик, припав грудью к столу, залитому и заставленному пустыми бутылками, крутил потной растрепанной головой и ронял пьяные слезы.

– Сорок лет на свете прожил, – был подрядчик, как голодный волк, утирая кулаком

мокрое, красное, вспотевшее лицо, – сорок лет, и все думал, как лучше, а оно как хуже... Все ждал, вот-вот полегчает, а оно дальше да больше, больше да дальше... Что такое?.. И по какому случаю?.. Нет, ты скажи, кабы работник я был плохой али своего дела не понимал... Ну, работник я такой, сам черт не подберется...

Парфеныч знал, что он действительно работник своего дела, и ни к одному из его ловких мошенничеств сам черт не мог подбраться. Только на последнем порядке он так крупно и смело сплутовал, что попался, и теперь плакал.

– Кум... друг!.. Для тебя все готов... кум!.. Сделай милость, для тебя руки не пожалею... – утешал Парфеныч.

– Обман... всея жисти обман... – горько жаловался подрядчик.

И теперь перед Парфенычем неотступно стояло: «Обман... всея жисти обман...» И это уже относилось не к подрядчику, не к воровским проделкам, а к нему, к Парфенычу, к его жизни, к несправедливости его жизни.

Все было кругом то же, был тот же и Пар-

Феныч, такой же суровый с домашними, такой же угрюмо-сосредоточенный в непрерывном труде, но что-то сидело рядом с ним, громоздкое, полное сомнений и ядовитых, без ответа, вопросов. И Парфеныч постоянно чувствовал это странное, постоянно носил за собой и, что бы ни делал, всегда помнил о нем.

«Всея жисти обман... А по какому случаю книги разврат вносят? – думал непоследовательно Парфеныч. – Мишка, покуда книжек не читал, и в церковь ходил, и к иконе прикладывался, и у святого причастия был, а теперича лба не перекрестит... а почему? Что же, руки, что ли, отсохнут... а энтот, борода-тый! Ишь ты, какую канитель выкрутил. Голова, грит, у тебя такая, как у меня... Бре-шешь! Твою-то дьявол вылизал, а мою миром мазали... И отчего такое все кверху ногами? Теперича бы все их собрать до кучи да сжечь, а их сколько типографиев печатают, сколько ученого народу голову ломают, сколько нашего брата стоят в наборных, прелестью ихнею себе кусок хлеба зарабатывают. Этих ученых прелюбодеев, которых бы по тюрьмам, которых разослать, а замест того им чины да орде-

на, а которых под надзор, – им же способие и деньги от казны, а наш брат, рабочий, по совести и по правде с голоду дохни и со всем с семейством...»

Но позади этих внешних благообразных мыслей по-прежнему толпились отрывочно и путано мысли, которых он не хотел и которые вставали, навязчивые, насмешливые и ядовитые. И на него нападал то страх за эти кощунственные мысли, то озлобление на тех, кто сеял их.

– Прохвосты!.. Один разврат, и больше ничего!..

– Ась? – отзывается хозяйка.

– Не твое дело.

Стучит машинка, со свистом протягивает нитку игла, поблескивая при взмахах, угрюмо тяжелой синевой висит угар, давит почернелый потолок.

V

Парфеныч говел.

Каждый день утром и вечером ходил в церковь, становился на колени, бил земные поклоны, напряженным шепотом предупреждая священника, дьякона, певчих, говорил

все возгласы, ектеньи, тропари, псалмы, песнопения и, крепко нажимая и подолгу задерживая на лбу, на груди, на плечах сложенные для крестного знаменья пальцы, почти вслух говорил, мучительно, почти исступленно глядя большим круглым глазом на царские врата:

– Господи, отпусти мне, грешному... Господи, спаси и помилуй!

Питался в это время Парфеныч только хлебом и водой. Почти с трепетом ждал исповеди. Казалось, в этот день все у него разрешится, раскроется, кончится наконец то мучительное, что цепкими когтями держало его, впиваясь.

Он стал в ряды исповедников и понемногу подвигался к аналою, по мере того как впереди один за другим сходили с амвона покончившие исповедь. Наконец дошла до него очередь. Он положил земной поклон, подошел к батюшке. Губы дрожали. Лихорадочно горел предчувствием близкого и страшного разрешения тайны радостно сиявший глаз.

Батюшка накрыл ему голову епитрахилью и один за другим, не останавливаясь, задавал

обычные вопросы, и навсе он отвечал:

– Грешен, грешен... грешен...

Но вдруг поднял голову и голосом, полным неизъяснимого волнения, проговорил:

– Батюшка, да ведь вот... тут под сердцем... под самое сердце... горько... Кабы по правде... Правды... нет ее, правды-то, на свете...

Лицо его сморщилось, покраснело, борода запрыгала, он засопел... Он был похож на пьяного.

Батюшка вздохнул, глянул на длинную вереницу ожидающих, совсем надвинул эпитрахиль на лицо и быстро и привычно заговорил:

– Отпускается и разрешается рабу божию... во имя отца и сына и святого духа... аминь, – поднося в то же время крест.

Парфеныч положил земной поклон, вытянутыми губами нащупал холодное серебро креста и теплую руку батюшки, потом в трех местах евангелие, положил на аналой, где грудой лежали медные и серебряные монеты, пятак, взял две копейки сдачи, покрестился и, давая дорогу следующему исповеднику, сошел по ступенькам амвона, вытирая покрас-

невший глаз.

Шел домой Парфеныч радостно возбужденный, испытывая огромное облегчение. Как будто там, на этом возвышении у аналоя, при этом запахе ладана и горящих свечах и длинной веренице дожидających исповедников, свалил холодную, мертво давившую тяжесть.

Дома первое, что бросилось в глаза, был Миша. Он сидел на катке, поджав ноги, мерно взмахивая иглой и задумчиво мурлыкая песню. И в фигуре и в выражении лица было обычное, будничное, но Парфеныч, глянув на него, сразу разозлился.

– Что ковыляешь, как хромая корова!.. Руками али копытами обметываешь?..

Тот молча и мельком глянул на сердито ворочавшийся под мохнатую бровью хозяйский глаз и продолжал спокойно обметывать петли.

Хозяйка стучала тарелками и ложками, собирая обед.

– Мосевна приходила, сказывала, дворничиха-то с приказчиком Мясниковским снюхалась. Так муж бил, бил, и бить некуда, вся чу-

гунная...

Парфеныч сердито выругался:

– Да вас бесперечь надо бить... Ваша такая женская глупость... Ровно скотина, идет – мордой в землю... Ну, что ты понимаешь? Об чем ты можешь рассуждать?.. Сварила щи, поставила горшок – и все тут твое... Разве... вы... тьфу!..

– Да я, Митрофан Парфеныч... – с удивлением оправдывалась женщина, не зная за собой вины.

...Опять сидит на катке Парфеныч, опять торопливо шьет брюки, пиджаки, жилеты неизвестно для кого, и каждый день будет делать то же, и так без отдыху, без перерыва и... без смысла.

И он торопливо ищет в памяти недавнее ощущение облегчения, когда был у исповеди, и не находит его.

Грехи?.. Что же, грехи? Грехи – это само собой, грехи – не в счет, грехи он каждый год на страстной относил попу... Нет, он хотел, чтобы батюшка сказал ему: «Ничего, Парфеныч, все, брат, правильно идет, как должно... Оно будто и не по правде, а наконец того, в правду

выйдет, и все довольны будут... потому это – не нашего ума дело, все это дадено нам от века веков...»

Но батюшка этого не сказал. Батюшка не только этого не сказал, а положил ему на голову епитрахиль и торопливо проговорил: «Отпускаются и разрешаются... во имя отца и сына...»

Но что было самого тоскливого в этих мыслях, это поднимающееся сознание, что если бы даже батюшка и сказал так, он, Парфеныч, уже не успокоился бы. Перед глазами стояло бородатое, спокойное, в очках лицо, и давили непознанной тяжестью немые, молчаливые книги.

Точно что-то в его привычной жизни треснуло, расхлябалось и расшаталось, и он не умел и боялся поправить.

VI

Давно уже отцвели яблони. Прошло половодье. Солнце без отдыха с утра и до вечера весело смотрелось в тихие, все отражавшие воды. Был воскресный день, и в блестящем воздухе плавал благовест.

Парфеныч намазал голову, обмотал шею

цветным платком и отправился в город. Шел он сосредоточенно, не глядя по сторонам, как человек, принявший определенное решение.

Через полчаса он стоял, опустив руки по швам, в полутемной прихожей, перед добродушным господином низенького роста, с небольшой лысиной и в халате с кистями.

– Так чего же вы, собственно, хотите?

– Так что касательно астрономии. Я вам этот самый халатик подбивал новой подкладкой, старая совсем истрепалась, так я – этот портной...

– Помню, помню, так вы... ведь вам заплачено?..

– Очень благодарны, много довольны... Ну мы не об этом, а, собственно, касательно астрономии и светил небесных... потому это не порядок... от обезьяны: обезьяна – тварь, а человек от Адаму по образу и по подобию...

– Гм!.. нда-а!..

– По образу и по подобию... А ежели нет тебе правила, ежели нет тебе правильности, крепости нет, что ты такое? И в каком разе жисть твоя?

– Гм...

Господин поднял брови и крепко потер лысину.

– Легко сказать: бога нет! Нет, ты засвидетельствуй, докажи, ну, трубой там али по книжке, а то за это и по морде можно.

– Дда-а!..

Господин слегка нагнулся к лицу Парфеныча и потянул носом.

– Мне, господин добрый, покою не стало, вот шепчет словно на ухо: докажи им, посрами!.. Ежели они астрономией – и ты астрономией, они трубой – и ты трубой... Только как мы не образованны и не понимаем, так к вашей милости... Не оставьте вашим образованием, заставьте век бога молить...

Господин прошелся по прихожей, в недоумении побалтывая кистями.

– Насколько я понял, – остановился он перед Парфенычем, – вы хотите почитать по астрономии, что ли? Так это вам нужно к другому обратиться... Я – учитель чистописания... Понимаете – овалы там, закругления, нажимы, чтобы рука правильно перо держала... Чистописание, ну и рисование, это одно с одним, а насчет астрономии, это уж вы к учи-

телю математики. Он в восьмом классе космографию читает, там и астрономия; худой такой, скелет скелетом, ученики у него по струнке ходят, многих выгнал... Жена у него бежала, так с тех пор... На углу Большой Песочной, еще два льва у ворот...

– Покорно благодарим... Это львы действительно есть... облупились еще от дождя здорово.

– Да, он по астрономии может и книжек вам даст, а насчет правил жизни – к попу, это по его части, это он может.

– Покорно благодарим.

Парфеныч вышел и направился на угол Большой Песочной. Долго и терпеливо ждал Парфеныч, наваливаясь то на одну, то на другую ногу, пока наконец дверь в переднюю не отворилась и не выглянуло костистое, желтое и злое лицо.

– Что тебе нужно?

– К вашей милости, стало быть. Как вы занимаетесь астрономией, трубами и все такое, потому, собственно, и наука, ежели ее правильно понимать, на пользу божию... Как же жить-то на свете, господин хороший, ежели

давит тебя день-деньской... Ведь магазин-то продыхнуть не дает; что же останется, ежели бога нет, а он грит – от обезьяны... Докажи астрономией али трубой, разыщи бога... Где же ему быть? Известно, на небе... «во облацех лецех», недаром в церкви поется...

– Матрена, выведите его.

– Иди, иди... Ид-ди-и, не упирайся, ид-ди, покуда полицейского не кликнула... Много вашего брата тут шляется, а потом, глядишь, калош нету либо пальто смочет. Иди с богом да не оглядывайся...

Парфеныч постоял с минуту на улице и направился к гимназии. Он не был обескуражен, ибо знал, что ничто не дается человеку даром, а наипаче истина.

Парфеныч знал, что стоит ему пойти к своему врагу, и он найдет у него все, что нужно: и книги, и знание, и готовность объяснить, – но он не хотел идти к нему растерянным и ищущим, а победоносным, уничтожающим.

В гимназии у сторожа выпросил адреса других учителей и по очереди побывал у преподавателей латинского языка, географии и у француза, – везде был один и тот же прием.

У инспектора гимназии его совсем не пускали, и инспектор к нему не вышел. Только когда Парфеныч резонился в кухне с прислугой, вбежал на шум гимназистик, мальчуган лет двенадцати, с живыми, задорно бойкими глазами, и торопливо, слегка задыхаясь от бега, заговорил:

– Вы – портной? Вы хотите по астрономии? А вы знаете, какая земля? Вы, наверно, думаете – плоская...

Мальчик подмываяще расхохотался.

– Не-ет, она круглая... Вы думаете, как тарелка? Не-ет, как... ваша голова... Отчего у вас один глаз? От роду? А может, вам индюк выклевал?.. Мама мне рассказывала, когда я был маленький, за мной индюк гонял. Я упал лицом вниз, а он стал клевать в затылок, а если бы тут как раз были глаза, он бы мне выклевал... Садитесь, садитесь... Вы не бойтесь, у нас кухарка всегда ворчит, она сердитая, а сама добрая, а папа сюда не входит... Вы не знаете, что земля вертится? Вертится, вот так!

Мальчуган несколько раз торжественно и сосредоточенно покрутился вокруг себя.

– Садитесь, садитесь, садитесь, я вам все са-

мое главное расскажу, а потом дам книжек.

Парфеныч ушел от инспектора, держа под мышкой несколько популярных по астрономии книжек и очень обескураженный. Вопрос жизни пришлось разрешать с помощью мальчугана, к которому относился свысока. Но Парфеныч был упорен и во всякую свободную минуту, а по воскресеньям и праздникам – с утра и до вечера читал, налегши грудью на каток и подперевши голову руками.

Новые понятия, слова, обороты укладывались туго и трудно. Голова лопалась от напряжения, и когда Парфеныч подымался, моргая измученным глазом, стирал пот с лица и лба.

Работа, заказы, весь распорядок трудового дня шли сами собою обычно, по-прежнему, но в мастерской Парфеныча поселилось что-то новое, странное, незнакомое. Матрена боялась спросить мужа, над чем он так убивается, и с удивлением только присматривалась к этой новой, трудной и непонятной работе. Миша теперь невозбранно читал, сколько хотел, в свободное время и по ночам, но никаких разговоров ни о чем не подымали. У каждого из трех шла своя жизнь, замкнутая и

отъединенная, а между собой только коротко перебрасывались: «Спинку-то надо разутюжить?..» «Подкинь угольков-то... Вздуй огоньку, темно...» «Идите вечерять, пора бросать».

VII

Парфеныч хотя трудно и медленно усваивал элементарные понятия, но это ничего не изменяло. Да, земля бегаёт вокруг солнца, но что ж из того? И небо над нами не твердое, и на нем нельзя сидеть или ходить: но ведь и это прямо не разрушает укоренившихся старых представлений. И чем больше читал и учился Парфеныч, тем суровее хмурился сердитый глаз.

Каждое воскресенье приходил он к инспекторскому мальчику. Мальчуган окончательно убедился в своем педагогическом призвании и очень вразумительно читал Парфенычу целые лекции.

Скоро, однако, оказалось, что непреодолимым препятствием для Парфеныча служит полное отсутствие математических элементарных знаний. Парфеныч, не задумываясь, принялся за математику. И когда мальчугану

надоели профессорские обязанности, разыскал через заказчиков студента, согласившегося с ним заниматься.

Проходили дни, недели, месяцы. Парфеныч свирепо занимался. Параллакс, абберрация, орбита, вековое движение земной оси, миллионы миллионов верст расстояния до светил – со всем этим он освоился и свободно обращался, но все это было в книжке, на мертвой, немой и шуршащей бумаге. А когда он в зимний вечер выходил во двор и, подняв голову, глядел на искрившееся мириадами искорок ночное зимнее небо, когда проходили по улице похороны, и мелькали черные ризы, пахло ладаном, и хватающей тоской несло: «Свя-а-ты-тый бо-оже!» – когда утром разносился благовест, и народ спешил в храмы, – Парфеныч чувствовал, как прочно держится все, с чем он сжился. Он чувствовал, что не одолеть мертвой и немой бумаге живой жизни. Может быть, земля действительно бегала, но для Парфеныча неподвижно тянулись поля, белел снег, светило солнце, слышались голоса и многообразные звуки, и жизнь шла такая же сложная, такая же пол-

ная забот, горя, труда, усилий, как будто никаких астрономий на свете не существовало. Но тем жаднее отдавался он изучению новой для него области. Точно шел он по широкому ровному полю, и все та же дорожка, узкая, скучная, слегка повиливающая, бежала впереди. И он все думал – вот-вот откроется что-то огромное и неизвестное и осветит ровным сильным светом до самого края, но было все так же смутно, все так же бежала, уходя, пыльная дорожка, все так же до края терялось ровное поле.

VIII

– Гляди... Гляди... Длинная!..

– А это – у ей ноги...

– Пушка!..

– Ну, куда вы лезете? Не трожь!.. – сердито покрикивал на ребяташек, сбившихся, как овцы, на катке головами, Парфеныч, освобождая от бумаги что-то длинное, блестящее отчищенной медью.

– Гляди, а это у ней рот...

Матрена тоже стояла возле, вытирая тарелку.

– Митрофан Парфеныч, что же это будет?

– Не вашего разума дело... свое делайте.
– Тру-уба!..
– Тятка пожар будет заливать водой.
– Какая труба... пушка!.. Как двинет!.. Как двенадцать часов – бу-ухх!! – с азартом спорили ребятишки.

Парфеныч наконец развернул бумагу, поднял и укрепил на треножнике небольшую телескопическую трубу.

– Брысь!.. Пошли вон!..

Ребятишки прыснули из мастерской. Матрена возилась около печки, а Парфеныч похаживал около треножника, как артиллерист около орудия.

Да, это – орудие, которое откроет перед ним огромное, неосязаемое. И не то что он ждал, что там, в темно-голубой бездонной выси, среди звезд, планет, бродячих светил с светлыми хвостами увидит бога, сидящего на престоле, окруженного летающими херувимами и серафимами, ангелами и архангелами, – нет, но он ждал, что, когда проникнет в неизмеримые пространства вселенной, перед ним откроются такие явственные и осязаемые следы присутствия божия, каких на зем-

ле он не находил. И он с трепетом и волнением ожидал ясного, незатемненного вечера.

Миша давно видел, что с хозяином что-то делается особенное, и он много раз пытался заговорить. Молодому самолюбию хотелось удовлетворения, хотелось развернуть, быть полезным своими знаниями, своим пониманием, но Парфеныч хмурил глаз и близко никого не подпускал заглянуть себе в душу. Миша по-прежнему слышал от него только окрики.

Когда Парфеныч устанавливал в звездную ночь свой треножник в глухом углу двора, за мусорной ямой, руки у него дрожали. На заборе нависли ребятишки с соседних дворов.

– Палить будет!

– Палить!.. Много ты знаешь!.. Звезды, которые падают, так он их ловить будет в трубу. У него там и щеколда устроена, – как, значит, влетит, так зараз и защелкнет.

– Не брешь!.. Ежели это ангельские души, которые померши, как ее поймаешь?..

Подходили и взрослые, стояли с минутой и уходили, качая головой.

– Тово... стало быть, тронулся...

Парфеныч ни на кого не обращал внимания, поглощенный своей работой, и весть, что портной Селедев спятил с ума, облетела околоток.

Пришел городской.

– Ты чего тут смутьянишь народ?

– А тебе что?

– Этта что за машина? По какому случаю своим делом не занимаешься? Портной – так сиди и шей, а неча в небо стрелять. Пойдем в участок.

– Чего я там не видал... А ты спервоначалу проспись, басурман.

В участке много смеялись над Парфенычем и отпустили с миром.

Сначала дело с трубой долго не налаживалось, но потом справился. И, когда справился, его поразило совсем не то, чего он ожидал и искал, а совершенно непредвиденное и пустяковое обстоятельство. В сущности, труба не дала ничего нового, только звезды несколько ярче горели – и все. Но когда он в первый раз навел трубу на звезду и увидел, как она торопливо убегает из поля зрения и ее пришлось нагонять винтами, у него все потемне-

ло от волнения.

Все, что было мертвого в книжках, все, что было только печатными словами, – все это мгновенно ожило в неизмеримом пространстве вселенной. В этом чернеющем без границ и без конца мировом просторе действительно носились огромные шары. Неподвижное, немое, застывшее небо заполнилось движением, огромной, волнующейся, не знающей ни покоя, ни границ жизнью. И это свидетельствовали не книги, не печатная бумага, а открыла неожиданно и странно маленькая блестящая звездочка, убегавшая из поля зрения.

И крутом Парфеныча все изменилось. Точно с треском поломалось. И «святой боже...», и благовест, и людские отношения, и семья, и хозяйство – все потеряло прежнее значение определенности, системы, все плыло уродливыми разбитыми обломками. И напрасно судорожно хватался за них Парфеныч, не находя успокоения во вновь раскрывающемся мировоззрении.

IX

Матрена, припав грудью на подоконник,

голосила, как по покойнику. Ребятишки испуганно жались в углу.

– И за что меня, несчастную, господь покарал? Мать пресвятая богородица!.. У людей, как у людей – работает, об семье беспокоится: мой же азиат, крокодил окаянный – ему горюшка мало. Возится себе с книжками да бельмо свое тарацит в трубу, чтоб она тебе лопнула, черт одноглазый! Да что же это такое! Да за что же это на меня, несчастную, да за какие грехи наказуешь меня!.. Ну пошел бы в трактир, ну выпил бы, не без того, да я бы слова не сказала... Нешто люди не пьют?.. Пьют, и ты выпей, а то ведь невесть что, как бусурман какой, лазает по небу, что хочешь делай... Срамота людская, от сраму не знаю куда спрятаться... Все соседи просмеяли глаза, только и слышишь: опять на небо полез Митрошка... бога разыскивает... Ой, головушка ты моя несчастная, участь ты моя горькая!..

– Эй, Матрена, помолчи, – слышался суровый голос Парфеныча, торопливо взмахивающего иглой.

– Не буду молчать... Не замолчу! – исступленно кричит Матрена, и пятна выступают

по ее измученному, старообразному лицу. – Не замолчу. Ведь мы скоро с голоду сдохнем... Ведь мы по миру пойдём... Ведь из магазина ты теперь и половины не зарабатываешь, несчастный ты мазурик, циклоп ты полосатый!.. Чтоб тебе последний глаз выдавило, чтоб ты окошел, пес смрадный, под забором совсем со своей трубой!

– Эй, помолчи, баба!

Парфеныч перестал шить и грозно смотрит на нее единственным глазом из-под лохматой брови.

– Не замолчу, изверг ты, не замолчу, кровопивец, кровь мою пьешь... Все книжки твои бусурманские изорву да сожгу, трубу, будь она трижды проклята, анафема, изломаю!..

Парфеныч соскакивает с катка. Слышатся удары, бабий визг, падение. Ребятишки орут, Миша выскакивает сзывать соседей.

Дела Парфеныча шли все хуже и хуже, и нужда чаще и чаще стучалась в его квартиру. Работал он не покладая рук, но от чтения уже не мог оторваться. Его тянуло, как пьяницу.

Теперь он пользовался и книгами, которые приносил Миша, но брал их молча, не спра-

шивая, и никаких разговоров по поводу их не вел. Отношения у них по-прежнему были суровые, деловые.

Попалась Парфенычу «Мировая эволюция» – популярно, но довольно плохо и мало-вразумительно изложенная книжонка. Парфеныч прочитал ее залпом, не отрываясь. Потом целую неделю ходил хмурый и молчаливый, не брал в руки книг. Труба его куда-то исчезла. Матрена повеселела.

Как два года тому назад, шел Парфеныч, поскрипывая снегом и не замечая ничего вокруг. И как два года назад, небольшая, плохо топленная комнатка, куда он внес с собой с улицы морозный холод, была завалена книгами на столах, на стульях, на подоконниках, даже на полу.

Молодой человек, с рябым лицом, широкой бородой и в очках, сначала не узнал его.

– Что вам угодно?.. Ах, это вы... господин Селедев... Что же не заходили, я давно вас поджидал... Миша о вас много рассказывал... Садитесь, пожалуйста...

Парфеныч сел, справляясь с одышкой. Он осунулся, похудел и поседел с тех пор, как

был тут в первый раз.

– Ну, как поживаете?

Молодой человек похаживал по комнате и потирал руки.

– А помните, вы меня бить хотели?

Парфеныч тяжело вздохнул и, глядя в сторону на сложенные в углу грудой книги, заговорил:

– Да... нету... ничего нету... и... – он с усилием выговорил, – и бога нету... ничего нету... пусто... одна эволюция.

Он помолчал и сидел осунувшийся и придавленный.

– Все развалилось... идешь будто, и кругом почернелые трубы, да печи обвалившиеся, да валяется мусор... и бродишь, бродишь...

– Вот это и хорошо, – оживленный, довольный, заговорил собеседник. – Чтобы новое выстроить, нужно старое снести... Да ведь что первое нужно рабочему человеку? – заговорил он, еще больше оживляясь и чувствуя, что попадает в свою сферу. – Что нужно рабочему человеку? Это понять, что, пока царь, да фабриканты, да помещики, он – не свободный человек, а раб. И все кругом приспособлено,

во-первых, чтобы держать его в этом рабстве, во-вторых, чтобы ему казалось, что он – не раб, а свободный человек, все: законы, полиция, попы, церкви, школы, трактиры, железные дороги, армии, флоты – все до маковой росинки. И вот перво-наперво рабочему человеку спихнуть царя, сбросить помещиков да фабрикантов, то есть, значит... революцию!..

– Скинь мне двадцать годов! – вдруг загремел Парфеныч и, поднявшись во весь рост, ударил себя в грудь кулаком. – Кабы двадцать годов назад, я бы ахнул, всю жизнь бы перевернул вот этими самыми руками... Ежели одна нам – революция, стало быть валяй, не давай себя в обиду, а главное – понимай, куда бить... Разве я так бы жисть свою устроил?.. Что ж, я не понимаю, что ль, свободный человек али скотина идет в землю мордой...

– За чем же дело стало?

Парфеныч опять осунулся, потух и сидел, крепко сцепив пальцы.

– Поздно!..

В комнате постояло молчание, и книги неподвижно лежали, тая таинственное, угрожающее и огромное.

– Куда я – разбитая скотина на все четыре ноги... Знаю – революция, а... Вот из Мишки будет человек, по-моему жизнь станет переворачивать... Прощай же...

Парфеныч стал шибко запивать.

Белая Глина*

I

Без устали мелькая, бежала назад зеленым простором степь, уносились белеющие пятна разбросанных хат, колодцы с высокими журавлями на голубом небе, но все на одном месте над лиловатым горизонтом громоздились блестящие груды белых облаков. А по свежей, омытой дождями, девственной зелени убегающей степи скользила, поспевая за поездом, сизая тень одиноко бегущего вверху облачка.

Из-за перегородок покачиваются головы в картузах, платках и без картузов с взлохмаченными волосами. В табачном дыму, в духоте вагона, в непрерывно бегающем гуле плавают – плач ребенка, смутный говор, смех, вздохи, кто-то сладко зевает. Когда не смотреть в окно, кажется, вагон без всякой надоб-

ности гремит и качается на одном месте, и своя особенная, оторванная от всего, что вне, жизнь заполняет его.

Входит кондуктор. В отворенную на секунду дверь, как ураган, заглушая все, врывается снаружи бушующий железный грохот. Дверь захлопывается, подрезывая мгновенно упавший грохот, и он угрюмо-сдавленно бежит под полом, и человеческие голоса, и вздохи, и брошенная фраза отрывочно всплывают в нем, как в шумно бегущей из-под колес, торопливо волнующейся воде.

– На ярманку?

– На ярманку.

– Торгуете?

– По свиной части.

И снова поглощающий, без устали бегущий гул, бесконечно и мерно разрезаемый стуком колес,

*Что-о ж ты, Ва-нька, ром не пьешь,
Аль лю-убить меня не хо-о-о-шь... –*

вырывается в конце вагона с игривыми, переливчатыми звуками гармоники, с секун-

ду трепещет где-то под потолком, падает и бессильно тонет в не знающем ни радости, ни печали, в не знающем человеческих звуков железном грохоте.

Бабы в ярких кофточках и красных юбках, со сбившимися набок платками и потными лицами, ни на кого не глядя, ничего не слушая, ничем не интересуясь, взапуски щелкают семена, равнодушно выплевывая перед собою, и шелуха толстым слоем белеет на полу,

– А вот-с, скажите, пожалуйста, – говорит молодой человек в высоком, подпирающем уши, запотелом крахмальном воротнике, – станции, и на каждой станции буфет-с, и в буфете-с водочка-с, и при водочке закуска-с. Известное дело, как говорится, рыба плавает. Подойдешь, выпьешь, иу, выпьешь и спросишь: «А какая у вас тут, позвольте спросить, местная рыба?» – «Селедка-с». И вот, верите ли, всю Россию проехал, разные климаты, разные местности, реки, а местная рыба все одна: селедочка-с.

Старик торговец в напяленном картузе, с белеющими из-под него косичками, нахмуренными седыми бровями и острым, старче-

ски худым лицом, сердито поворачивается, стараясь пересилить железный говор вагона..

– То-то вот – водочка-с. Водка-то – дело рук человеческих, злак, и с устатку крестьянину разрешается, от трудов это не грех. Сам господь в Кане Галилейской...

– Так то вино...

– Все одно, тогда водки не было, а теперь заместо вина водка, злак все одно, хлеб, и произрастает на корню... А вот табаком ноне задушили, так это что? Молодой человек и бесперечь дымит, как из трубы, прости господи.

– Так ведь и табак – злак, на корню.

– Не говори хулы. Хлебом-то хрестьянин кормится, а табак – нечисть. Ишь, вагон некурящий, а наскрозь продымили, не продыхнешь. Порядок это?

Он сердито стал смотреть на мелькающую степь, и вагон продолжал свой говор без помехи.

– Що правда, то правда, – после долгого молчания проговорил украинец, с черным, сожженным степным ветром и солнцем лицом, с черными, мозолистыми, полопавши-

мися от неустанного труда, заскорузлыми руками и чернеющими от набившейся грязи толстыми ногтями, – хлеб – божье произрастанье, а энто – чертов корень.

И он замолчал, спокойный, невозмутимый, легонько покачиваясь от качки, думая свою собственную думу. И все замолчали, как будто не о чем больше было говорить, и только колеса бежали со своим однообразным, но о чем-то новом непонятно рассказывающим говором.

На станциях, когда, скрежеща, вагоны, валя пассажиров, со звоном сталкивались и проплывшие мимо станционные двери, окна, столбы останавливались неподвижно, из поезда, как из разохшейся бочки, выливались толпы пассажиров, заливая платформу.

Бьет звонок. Платформа пустеет. Входят новые лица, останавливая на минуту на себе внимание, тихонько проплывают станционные помещения, фонари, водокачка – и опять качающиеся стенки, перегородки, полки, табачный дым, духота, бегущий гул, и всплывают говор и плач ребенка, и мимо уносится зеленый простор и белеющие пятна хат, и пе-

пельная тень, поспевая за поездом, скользит по зеленому ковру, торопливо изламываясь на неровностях.

II

Вошли двое. Они внесли с собой впечатлительные непреклонности, силы и вражды.

Каждый из них оглядел публику, потрянул волосами и сел, подбирая оружие. Один был в кургузом мундире, обтянутых кавалерийских брюках, а на ногах звенели шпоры. Другой в долгополом, неуклюжем мундире, с волосами в кружок, с беззаботно самоуверенным лицом и красными широкими лампасами на шароварах. Фуражка без козырька была надета набекрень.

– Фу-у, жарко! – сказал драгун, сняв фуражку, и отер вымокшее лицо.

– Жарко, – проговорил казак.

И по тому, как они сидели прямо и молодежато, не сгибаясь и выпятив грудь, и как говорили, ни к кому в особенности не обращаясь, чувствовалось, что эта особенная одежда, эти ремни через плечо, патронные сумки у пояса, позвякивание шпор – все отделяет их от остальных недоступностью и силой, точно

замкнутым кругом.

И весь вагон как бы распался на две половины: с одной стороны – табачный дым, духота, плач ребенка, качающиеся пассажиры, непрерывный гул и уносящаяся в окнах зеленая степь, с другой – эти двое, как бы отделенные, странно уверенные в своем особом положении.

Драгун достал табак, скрутил папироску и нагнулся,

– Дозвольте прикурнуть.

Молодой человек, разыскивавший по России местную рыбу, со смешанным выражением скрытого недоверия и вражды протянул папиросу,

– Куда, служивый?

– На побывку, – сильно затягиваясь и подряд вспыхивая папиросой, бросил тот, не взглянув.

– Наши места зачинаются, – проговорил казак, и белые как кипень зубы блеснули на добродушно разъехавшемся загорелом скуластом лице, – степь!

И, помолчав и опять блеснув зубами, проговорил:

– Через две станции Донская область зачнется. У нас тоже все во.

И все поглядели на бегущее без конца и краю зеленое степное царство.

– Рады небось будут?

– И-и... там рады!.. Хозяйство все в препорции, как есть, – говорил казак, захватывая побольше и захлебываясь воздухом.

– Надоела служба?

– Ну-да, а то... Бог с ней совсем, со службой... Скучился... дома жана ждет, ребятенки, вся домашность...

И, воодушевившись, заговорил:

– Четыре пары быков, два плуга, овец с полсотни – полная чаша... Зараз покос подходит – только берись да работай.

Он защемил двумя пальцами нос, на весь вагон высморкался и, нагнувшись, вытер пальцы о нижнюю сторону сиденья.

– Али тяжела служба?

– Да она чижала не чижала, а дома лучше.

Украинец сидел так же неподвижно-спокойно, сурово-сосредоточенно. Черная борода и спутанные волосы белели проседью, и по черной, как чугун, от загара шее раскинулась

перепутанная сеть морщин. Расставил монументальные сапоги, оперся о колени и, свесив голову и шеveled черными, как юфть, пальцами, глядел, потряхиваемый вагоном, в пол. На полу ничего не было, только горы белеющей шелухи.

Драгун, докуривая папиросу и сосредоточенно глядя через нос на подбирающийся к губам огонь, независимо закинул ногу на ногу, звякнул шпорами, потом придавил о каблук окурок и глянул на баб.

– Хоть бы подсолнухами угостили.

Те, блеснув на него глазами, продолжали щелкать.

– А все жалуются на казаков, – проговорил молодой человек в пропотелом крахмальном воротнике, – обижают народ.

– Что ж, жалуются, – сказал казак, и опять добродушно разъехалось загорелое скуластое лицо, блеснув ровным рядом белых, здоровых зубов, – служба.

И, помолчав и ухмыляясь, добавил:

– Опять же – присяга.

Молодой человек посмотрел на зеленое мелькание в окне и раза два высоко поднял и

опустил брови. Ему хотелось прямо и открыто сказать то, что думал, и в то же время подыскивал форму, чтоб не обидно было.

– Это, конечно, действительно так, что как крест целовал, стало быть, присяга... ну, только, разумеется, в разных обстоятельствах и разное применение, не одинаково... потому что, собственно...

– А такие обстоятельства, – заговорил внушительно и авторитетно старик по свиной части, с белыми косичками, в картузе, напяленном на самые уши, – такие обстоятельства... Вот к нам прислали сотню, да житья не стало: кур режут, все тянут, девок всех перепортили, бабе показаться на улицу нельзя – зараз как кобели; мужикам проходу нету – порют, как скотину. Вот они, обстоятельства.

– Я то и говорю, – заторопился, приосанившись, молодой человек, – жалится, жалится народ. К примеру, я сам, изъездивши всю Россию, и везде неправильность, везде бедствие от военного мундира.

– Оно, конечно, не без того, – все показывая зубы, проговорил казак, – да ведь што ж... Так уж поведено.

И он вдруг громко засмеялся каким-то своим мыслям и тряхнул головой.

– Командир у нас – веселый человек. «Ребята, говорит, тут все бунтовщики, постарайтесь, говорит, чтоб умножение произошло верноподданному народонаселению». Ну, мы – рады стараться! Все по деревне.

И он опять засмеялся, показывая здоровые веселые зубы.

Из-за перегородок выглядывали головы, глядели глаза, в проходе столпились, опираясь друг о друга, о спинки сидений, слушая казака. Степь по-прежнему уносилась, и навстречу летела Донская область с хозяйством, с семьей, с родными местами, со всем укладом привычной, родной жизни.

– Ишь ты, а это что же, по-божецки, что ли!.. Это басурмане, и то легче.

– А то зачнут палить, бьют подряд, кого попало – и мужиков, и баб, детей бьют!.. Сколько положили народу.

– Ироды, прямо ироды!..

– Им что!.. Нажрется пьяный, и валяй...

Лица у всех стали пасмурны, как будто в вагоне потемнело. Казак перестал смеяться и,

повернув голову, стал смотреть на убегающую степь. Только под полом по-прежнему равнодушно и упрямо бежал гул, как бы говоря, что ему нет дела до того, о чем говорят, думают и что волнует в вагоне.

Тоненьким звуком зазвенели шпоры. Драгун повернулся и, сдвинув шапку на затылок, заговорил:

– Да, а ты кто такой будешь?.. Это из таких, которые политические песни поют... Знаем мы... Вот такие – самые бунтовщики, самые и вредные. Зараз кликнуть жандарма – и все.

– Да ты что расхорохорился? Ишь ты, нацепил побрякушки, и я – не я.

– А то... стало быть, сам просишься под арест, а то и так, что пристукнуть такого и отвечать не будешь. Бунтовщиков истреблять, вот как, потому приказ... Все вредный народ...

Он повел плечами, выпрямляя грудь.

– Конечно, если бунтовщики, – заговорил молодой человек с грязным воротником, – а то ведь есть которые невинные.

Драгун живо повернулся к нему, звякнув шпорами,

– Да разве их разберешь!.. Вот он, вишь ты,

сидит, – мотнул он головой на невозмутимо сидевшего украинца, – воды не замутит, святой, а там у себя в деревне-то зараз жечь, бить, грабить. Сколько экономиев сожгли!.. Так где же тут разбирать? Скомандуют: «Бей», – и стреляешь, а там пуля виноватого найдет. Ну, разумеется, всякого не пожалеет. Ежели в толпу, там и баб и ребят наколотишь. Как же быть-то – не бунтуй, на то правительство... Не-ет, нонче этих слабостей нету.

– Не-ету, – снова благодушно засмеялся казак.

– Ноне чуть чего – нагайки да пули откушай, ноне разбирать не станут. Его, мужичье это сиволапое, его, одно слово – бей. А то как же?

Все разбрелись. Из-за перегородок по-прежнему покачивались головы, мелькала степь, стояла духота, бабы щелкали семечки, и в непрерывно бегущем, заполняющем вагон гуле всплывали – плач ребенка, отрывки доносящегося из разных концов вагона говора.

III

Украинец по-прежнему сидел невозмутим-

мый, спокойный, думая свою собственную думу. Раза два он исподлобья глянул на драгуна, и странный беглый огонек пробежал у него в глазах. Широко зевнул, покрестил рот и опять посмотрел на драгуна.

– Та ты, мабуть, не из-під Харькова?

– С Белой Глины, – небрежно уронил драгун, глядя в окно.

Украинец глядел в пол, пошевеливая пальцами,

– Чи не Карый будешь?

Драгун сдержанно посмотрел на него.

– Нет, Горобцов – а что?

– Да так, думаю, чи Горобец, чи не Горобец, – лениво и нехотя протянул украинец, и тот же огонек бегал у него в глазах.

– А ты сам откуда?

– Та с Белой же Глины, белоглинский, – и опять невозмутимо уставился в качающийся пол.

Драгун повернулся к нему, позванивая шпорами,

– Не признаю,

– Та як же ж... Дядя Хведор.

И помолчал:

– Дядя Хведор.

– Дядя Хведор? Не признаю... – недоумело говорил драгун.

С его лица поползло прежнее выражение, и пополз куцый мундир, и обтягивавшие штаны, и патронная сумка, и вся выправка и самоуверенность человека казармы, и на дядю Федора глядело наивно-добро-душное, немножко глуповатое безусое лицо белоглинского парубка, и шпоры уж не звенели на подобранных под скамью ногах.

– Скажи на милость!

Дядя Федор снова уставился в пол, спокойный, невозмутимый.

– Ну, как наши там?

Дядя Федор лениво помолчал.

– Та ничего, що ж, пашуть, сиють, скотину годують.

– А батько?

– Та и батько... – лениво тянул Федор.

– А жинка?..

И лицо драгуна разом подмывающе засветилось, глазки сделались маленькими, хитро сощурились, и во все стороны от них побежали тоненькие лучики.

– А жинка... у земли.

Смеющееся лицо драгуна померкло. Он испуганно подался вперед, и глубоко чернел раскрытый рот.

– А? – ненужно и коротко вырвалось, хотя он отлично слышал.

– У земли, кажу, – невозмутимо повторил дядя Федор, пошевеливая пальцами.

Драгун вобрал в себя воздух, удерживая подергивания лица.

– Хворала?

– Ни-и... здоровая...

Среди на секунду наступившего молчания, как повышающийся звук лопнувшей струны, нестерпимо впиалась острота ожидания.

– Что же? – с возрастающим страхом спросил драгун.

Федор не спеша почесал за ухом, полез за голенище и поскреб черными, похожими на собачьи когти ногтями.

– Та усмирение було... так пулей... ось в это самое место, – и он, не подымая головы и не торопясь, показал заскорузлым пальцем над глазом.

– А-а!.. – беззвучно пронеслось в вагоне.

Только побелевшие губы судорожно трепетали. Из-за перегородок глядели внимательные глаза, в проходе опять столпились, опираясь друг о друга и о спинки сидений.

– А диты? – точно подкрадываясь, по-кошачьи, глядя исподлобья, прошептал парень.

– Старший... у земли... – с жестокой, спокойной неумолимостью продолжал дядя Федор, – а маленький у батькови... Ноги переломаны копытами... та ребра... як скакалы, та и топталы...

Драгун поднялся, озираясь. Вагон качался, но молча – не слышно было гула и стука.

– И диты? – как шелест, пронеслось среди страшного молчания.

– Так як же ж, – заговорил, оживляясь, дядя Федор, – толпа!.. разве разберешь, як стрелили у гуцу, та и навалялы, як тараканов. Пуля виноватого найде... А потом конями топтать зачалы... экономию громилы...

Драгун криво усмехнулся, шагнул, пошатнулся от качки вагона и странно ловя воздух и цепляясь за перегородки, беззвучно, как мешок, опустился на скамью.

И снова побежал гул, уносились зеленею-

щая степь, проносились белые мазанки, и стучали колеса на стыках.

Лающие, собачьи звуки сквозь гул вагона рвались с того места, где на скамье виднелся мундир.

На него поглядывали с строгой укоризной сожаления, потом отворачивались и глядели в окна, мимо которых все летела степь.

Украинец невозмутимо глядел вниз, в пол, опираясь о колени.

На станции драгун, всхлипывая, с красными, заплаканными, по-ребячьи вспухшими глазами, в странном несоответствии с мундиром, ни на кого не глядя и придерживая мешок с вещами, вышел из вагона.

Только казак, уже не ухмыляясь, сделал под козырек и проговорил, конфузясь:

– Счастливо!..

Опять качается вагон, летит степь и пусто смотрит лавка, на которую никто не садится.

Долго сидел дядя Федор, глядя между сапогами в пол и слегка покачиваясь от хода. И когда о нем забыли, поднял голову, пристально оглядел всех и проговорил с раздувающимися ноздрями:

– Та я ж его в первый раз вижу, и семейства его не знаю, и в Белой Глине николи не бувал!..

И в глазах, как искра ночью от потухшего костра, блеснул огонек торжествующей ненависти, которая вечно тлеет в сердцах, вскормленная около земли.

Сереза*

I

Щуря заспанные глаза, Сереза подымается, начинает одеваться, потом идет умываться, потом садится пить чай. Мать говорит, что надо повторить слова, но он торопится: можно опоздать на молитву, а остаться за это на час без обеда у Серези нет ни малейшей охоты. И он торопливо, обжигаясь, допивает чай, поспешно собирает книги, засовывает их в ранец и, вскинув на плечи, идет к двери.

– А галстук... а галстук!.. – кричит мать.

Горничная бежит к нему с галстуком. Он на минуту в раздумье останавливается, держась за ремни ранца на груди, потом торопливо засовывает галстук в карман.

– Там... после надену... – и выходит во двор. Яркое весеннее утро слепит его всюду разлитым блеском.

В воздухе стоит особенный, новый для уха после зимней тишины, живой, изменчивый, неуловимый шум, как отголосок пробуждающейся после зимней спячки жизни. Ласточки реют, мелькая белизной брюшка и острыми крылышками, с веселым чиликаньем. Куры, петухи озабоченно роятся в сору, оживленно, ни на минуту не прекращая своего веселого куриного, но полного для них значения разговора. Колеблющиеся столбы насекомых мелькают по солнечным местам, и из палисадников доносится легкий аромат расцветающей сирени.

Сережа открывает калитку и выходит на улицу с таким чувством, как будто его жизнь отделена, обособлена от жизни домашних, от жизни всех других людей, от всего окружающего. По улице идут кухарки, хозяйки с отягченными провизией корзинами, идут на службу чиновники с портфелями в руках, с выражением оживления наступающей весны на лицах и еще, как казалось Сереже, с тем

выражением, что вот у них есть там какое-то дело, которое им нужно, и они хотят его и идут его делать. Почему же, почему только вот он, Сережа, как будто не на своем месте, как будто делает не то, что нужно...

Сережа завернул за угол и пошел вниз. Улица, с тянувшейся посередине аллеей еще не зацветавших акаций, шла под гору, и отсюда видна была большая часть города. Внизу белели домики, сплошь виднелись крыши вперемежку с зеленью деревьев, оттуда несся шум уличной жизни, и весенняя дымка придавала всему легкий голубоватый колорит.

Воробьи целой кучей возились в пыли посреди улицы, прыгая и без умолку чирикавая. Сережа близко подошел, приостановился и сделал: «фф-ррр!..» – но воробьи по-прежнему неугомонно скакали, с легкой насмешкой и задорно поглядывая на него.

Тогда Сережа быстро нагнулся, делая вид, что хватает с земли камень. Ранец скатился со спины, съехал ему на затылок и сбил фуражку. Воробьи разом и с шумом полетели густой кучей и тут же сразу рассыпались по ветвям акаций.

«Ишь, поганцы! как из мешка посыпались». – И Сережа поправил ранец, поднял фуражку, ударил ею несколько раз о колено, оглянулся по сторонам и пошел дальше.

Ему вдруг почему-то сделалось легко и весело и очень захотелось подпрыгнуть козлом или пуститься во весь дух, но ведь он был на улице и шел в гимназию. Он сделал серьезное лицо и пощупал у горла, тут ли галстук. Галстука не было. Сережа вспомнил, что он у него в кармане, и решил надеть сейчас, как войдет.

Со всех сторон шли гимназисты с ранцами на спине, с выражением оживления на лицах. Впереди сквозь акации показалась часть огромного белого здания, и ощущение связанности и сознание, что никуда не денешься, не убежишь, опять овладело Сережей, хотя он по наружности с прежним видом оживления потянул к себе огромную дверь и вбежал по лестнице в раздевальную.

Колокольчик резко звенел на молитву, и Сережа бегом бросился в класс, оставил ранец и пустился вниз по лестнице, прыгая разом через две-три ступени, с риском сломать себе

шею.

В большом зале, толкаясь, смеясь, разговаривая, становились в ряды гимназисты, и легкий гул голосов висел над рядами. Вошел директор. Шум мгновенно смолк. Позади директора скромно стали учителя. Директор требовал, чтобы и они являлись вместе с учениками на молитву, и никто не смел послушаться.

Гимназический регент стукнул камертоном о сустав большого пальца и поднес к уху. Потом, приподняв обе руки, подержал их немного в воздухе, вдруг махнул и после стал слегка помахивать, и гимназисты стали быстро и в то же время отчетливо, разделяя слоги, выговаривать слова молитвы: «Ца-рю не-бес-ный, у-те-ши-те-лю ду-ше и-и-сти-н-ный...» Сотни две голосов наполнили зал.

Кончили молитву, и все разом зашевелились, ряды расстроились, ученики торопливо попрятали подстрочники и слова и стали расходиться с ощущением исполненной обязанности и начинающегося трудового дня.

Все здание ожило, наполнилось смутным гулом голосов, точно кто-то, неизвестно для чего, обеспокоил шмелиный рой, и он, гудя и

жужжа, стал разлетаться.

II

В классе, из окон которого можно было видеть залитую горячим солнцем площадь, Сережа и его сосед по парте – Дронов – гонялись друг за другом вокруг доски, хватаясь за нее руками, отчего она вся тряслась и вот-вот, казалось, готова была опрокинуться. Куски мела летели во все стороны, и от упавшей на пол и захватываемой ногами тряпки подымались клубы пыли.

– Будет, черти!.. вот дураки...

И дежурный, ставивший на кафедру чернила с пером и все поправлявший перед кафедрой стул, повернулся к ним и солидно, с сознанием власти и исполняемого долга, нахмурил брови.

– Ей-богу, запишу.

Те продолжали бегать. Дежурный не вытерпел, кинулся в свою очередь ловить и колотить по загривку нарушителей порядка и тишины в классе. Поднялся шум.

– Из-под доски их! – кричали с парт. – Лови их за ноги!..

– Переверни доску, переверни доску... Дос-

кой их... Доской их!.. – раздавались советы.

– Алексей Иванович идет! – точно ветром пронеслось по классу.

Ученики, прыгая через парты и получая пинки и подзатыльники бросились к своим местам с покрасневшими лицами и блестящими оживлением глазами. Дежурный торопливо подбирал разбросанные по полу куски мела и затыкал на место тряпку. Вошел маленького роста, с бледным спокойным лицом, с черной бородкой, в очках, учитель. Он подошел к кафедре, положил журнал и повернулся к иконе. Дежурный бойко и громко прочитал молитву. Учитель повернулся и испытующе поглядел на учеников.

– Кто кричал?

Все примолкли и опустили глаза.

– Я спрашиваю: кто кричал перед уроком?

Молчание.

– Дежурный!

Дежурный поднялся с места.

– Кто кричал?

– Все.

– Значит, и вы?

– Нет.

– Кто же кричал?

Дежурный делает виновато-сердитое лицо, смотрит на бронзовую пуговицу на фраке учителя и выговаривает, словно глотая язык;

– Все.

– Значит, и вы?

– Нет.

– Кто же кричал?

Это становилось тягостным. Дежурный чувствовал, что надо как-нибудь ответить, и стоял потупясь, с раскрасневшимся лицом.

– Ну, так останьтесь после уроков на полчаса.

Дежурный сел на свое место, нагнулся и стал искать что-то в парте, хотя ему ничего там не нужно было...

Сережа сидел на второй парте и прижимал подбородок к груди, – он позабыл перед уроком надеть галстук и теперь старался закрыть шею, чтобы не видел Алексей Иванович. Он испытывал обычное напряжение, ожидая, что его вызовут, и усиливался восстановить в памяти урок, упорно глядя в книгу.

Алексей Иванович некоторое время молча просматривал среди неподвижной, напря-

женной тишины класса свою записную книжку и наконец вызвал ученика. Все зашевелились с облегчением. У Сережи тоже отлегло от сердца.

Он так же, как и остальные ученики, сидит на парте, неопределенно смотрит перед собой, в книгу или в рот учителю с видом внешнего внимания, а мысли и мечты, совсем посторонние, лениво и беспорядочно тянутся в голове. Он думает о лодке, которую давно мечтал выстроить, о том, что наконец-таки неделя кончается и послезавтра суббота, о том, что к завтраму не надо готовить по математике, так как учитель назначен присяжным заседателем в окружной суд. Потом думает о суде, о преступнике, представляет его себе с зверским лицом, косматыми бровями, потом о разбойниках, и картины темных лесов, глухих ущелий в горах, где Сережа сам скрывается с разбойниками, одна за другой и, по-видимому, без связи, но ярко проходят в голове, совершенно оттесняя сознание действительности.

Внимание Сережи раздваивается: он слышит, что говорится в классе, в то же время во-

ображение рисует самые разнообразные и так далекие от всего окружающего картины.

Фантазия устает работать в одном направлении, и Сережа смотрит на доску, на карты, развешанные по стенам, на Алексея Ивановича, на его бледное лицо и думает: «Отчего он такой бледный? Верно, больной». Сережа продолжает глядеть ему в лицо и старается представить это лицо иным, смеющимся, хохочущим или злобным, кричащим или плачущим, мокрым от слез и не может его себе представить больным, усталым, обедающим или спящим. В воображении стоит все то же холодно-спокойное, неизменное лицо, спокойно-требовательные глаза, неволнующийся голос. Но не только голос, лицо, глаза, – Сережа не может представить себе иной фигуры, иных манер, движений. Он на минуту закрывает глаза, и та же фигура, важная, строгая, в синем застегнутом фраке, стоит отчетливо и упрямо в темноте опущенных век.

– Рогов Сергей, повторите, о чем сейчас говорили.

Сережа подымается и, делая невероятное усилие вызвать в памяти последние слова от-

вечавшего ученика, повторяет.

– Садитесь.

Сережа садится и некоторое время вслушивается в то, что говорят и делают в классе, но потом снова отдается мечтам.

Впрочем, иногда случается, учитель улавливает его невнимание.

– Вот видите, Рогов, вот не слушаете и ничего не знаете.

– Я знаю урок.

– Этого недостаточно. Недостаточно дома выучить по книжке... Что такое книжка?.. Вы должны внимательно прислушиваться ко всем разъяснениям в классе. Если вы не будете вслушиваться в то, что делается в классе, вы будете чисто механически усваивать знания, а такое усвоение очень непрочное, нет сознательного элемента. Даже если и перейдете в следующий класс, все равно там застрянете.

Учитель говорит долго, вразумительно.

Сережа стоит, потупившись, наваливаясь то на одну, то на другую ногу, чувствуя, как за пятку необыкновенно щекотно кусает блоха. Он давит пятку, удерживает мышцы лица, которые дергаются, и стоит хмурый, с морщин-

кой между бровями. «Зачем блохи созданы!.. Кому они полезны?»

С улицы, залитой весенним блеском, сквозь раскрытые окна врывается нестройный говор уличной жизни, несется грохот дрожек и экипажей, на подоконнике воркуют голуби, в водосточных трубах гомозятся воробы, чирикающая и мелькающая перед окнами.

При заключительных словах: «Я вам поставлю единицу», – Сережа садится на парту.

Его неприятно томит сознание, что у него единица, потом понемногу это сглаживается, он отрывает кусочек бумажки, осторожно под партой пишет: «Митька, сколько?» – и тихонько, не поворачиваясь, показывает за своей спиной сидящему сзади ученику, у которого есть часы. Тот тычет его в спину ручкой два раза: две минуты.

По коридору уже слышно – идет сторож. Звонок. Ученики шумно поднимаются. Алексей Иванович берет журнал и уходит.

III

На широком гимназическом дворе лениво строились в две длинные шеренги ученики. Офицер, учитель гимнастики, покрикивал:

– Стройтесь, господа, становитесь в ряды... время не ждет.

Приготовишки то и дело, смеясь, балуясь, толкаясь, выбегали из строя и опять сейчас же вскакивали на свои места, поталкивая друг друга растопыренными руками и крича: «Равняйся, равняйся, равняйся!» Семи- и восьмиклассники становились в строй и солидно разговаривали друг с другом.

Сережа стоял среди своих товарищей. У него сосало под ложечкой, крепко хотелось есть.

– Смиррр-но!..

Сережа опустил руки вдоль туловища и стоял, сгорбившись, с выдавшимися на спине лопатками и впалой грудью, и глядел в конец двора. Там подымалась гимнастика своими лестницами, шестами, наклонными досками, трапециями, стояли гимнастические машины: параллели, барьеры, «кобыла» и пр. В дальнем конце нескончаемыми рядами тянулись дрова и росли громадные лопухи. Все это было знакомо до мельчайших подробностей и всегда связывалось с представлением отдыха, когда на малых переменах все выбегали

из гимназии и лазали по гимнастике и по дровам, но теперь почему-то производило впечатление чего-то давно надоевшего, намозолившего глаза.

– Выбрасывание рук вперед и назад, раз-два... раз-два... – зычно командовал офицер.

Сережа, махая по команде руками, приседал на корточки, вытягивая носки. «Если б теперь съесть котлету с булкой!..» И опять слушал команду, по счету мерно наклоняясь, стараясь достать концами пальцев до земли, качая направо и налево головой, и старался припомнить что-то, что он должен был сделать и не сделал, – и никак не мог припомнить. Ему приходило в голову, что он не докончил последней фразы в диктовке, что надо списать у кого-нибудь задачу и что хочется есть, – но все это было не то. Охватывала расслабленность, апатия. «Зачем блоха создана?.. Нет, не то... Ах да – галстук!..»

И Сережа опять стал прижимать подбородок, чтобы не попасться.

– Справа по шести, правое плечо вперед, ша-го-ом... марш!

Ученики, толкаясь, подымая пыль, постро-

ились в колонну и стали ходить как попало, не слушая охрипшего от крика офицера, который кричал, чтобы шли в ногу, бодро и расторопно.

– Левой – правой!.. Левой – правой!.. раз!.. левой!.. левой!..

Вышел директор. Все подобралось, подтянулись, и в облаке пыли, которое шло над колонной, слышно было, как дружно и разом стали отбивать шаг. Директор два раза пропустил колонну мимо себя, и при этом учитель шел задом перед колонной, отбивая в такт рукой и резко и строго считая: «Раз-два, раз-два...»

Наконец скомандовали: «Вольно!» Директор ушел. Приготовишки рассыпались по двору, как цыплята. Ученики разбились на группы.

Многие, улучив минуту, шныряли за дрова, доставали табак, делали папиросы и торопливо несколько раз подряд, без передышки, затягивались. Одну и ту же папиросу курили несколько человек по очереди, курили до тех пор, пока она не начинала жечь губы. Едкий табачный дым бил в голову. Над дрова-

ми легкой синевой вился дымок.

Сторож усердно звонил, без шапки стоя у дверей здания и махая колокольчиком. Мальчишки, выбираясь из-за дров, бежали в класс.

IV

Был пятый урок. Все сидели с равнодушными, усталыми лицами. Ученик, красный от волнения и напряжения, решал у доски задачу, робко постукивая мелом, Учитель молча следил за ходом. Ученики сидели неподвижно: кто, опустив глаза, читал прижатые коленями к парте «Тайны мадридского двора»; кто сосредоточенно долбил перочинным ножиком узкое отверстие в парте, тщательно выбирая крошки дерева, с тем чтобы в конце урока залепить отверстие бумажкой, смоченной чернилами, до следующего дня; иные, уставившись, неподвижно смотрели перед собой ничего не говорящими глазами.

Сережа сидит на своем месте, со скукой глядя в раскрытый задачник. Отяжелевшие веки неодолимо опускаются на глаза, и Сережа, чтобы не дать им окончательно опуститься, то и дело ворочается и поправляется на парте, Нечаянно он задел своего соседа Дро-

нова.

– Ты чего? – шепотом спрашивает тот.

Сережа хочет сказать, что ничего, что он его толкнул нечаянно, и не может: его начинает душить смех, беспричинный, нелепый, бессмысленный и в то же время неудержимый смех. Он беззвучно смеется, сдавливая себе грудь партой, в страхе, что заметит учитель. Дронов с удивлением глядит на Сережу, видит, как лицо его напрягается, краснеет, глаза делаются узкими, брови поднимаются, и самого Дронова начинает разбирать смех. Он некоторое время крепится, потом, красный, задыхающийся, стискивает зубами ручку, чтобы не расхохотаться. И они оба, не глядя друг на друга и в то же время видя друг друга боковым взглядом, корчатся от душащего их смеха. Ничего нет смешного, да им вовсе и не хочется смеяться, но они не могут овладеть собой и, красные, с мокрыми от слез глазами, задыхающиеся, подавляют невероятными усилиями готовый вырваться хохот. Внутри все напряженно бьется, точно смех беспощадно вцепился в них и ни на секунду не отпускает.

– Рогов Сергей, вы чего смеетесь? – раздаётся среди тишины класса спокойный голос учителя.

Теперь, когда все кончено, смешливость мгновенно прошла, и Сереже стало скучно, тоскливо, стыдно и неприятно. Он подымается с опущенной головой.

– Что вы смеетесь? Что вы нашли смешного?

Но Сережа, при самом искреннем желании, не может ответить.

– После урока ступайте к инспектору.

Снова тишина, тикают карманные часы, поскрипывает мелом у доски ученик, но теперь эта тишина полна томительного, тоскливого и грустного ожидания.

После урока инспектор сделал ему выговор и сказал: «Ступайте и в другой раз ведите себя лучше на уроках». Обрадованный Сережа по забывчивости приподнял голову больше, чем следовало, и инспектор, быстро взглянув на него, проговорил:

– А галстук?

Сережа испуганно прижал подбородок, но было поздно.

– Галстук, я спрашиваю?

Сережа полез в карман и вытащил оттуда кончик галстука.

– Оставайтесь на полчаса.

V

– Мама, зачем это учиться?

Сережа сидит в углу с книгой на коленях. Щеки пылают, из-под ресниц блестят глаза. Он запоем, без перерыва, читает сегодня целый день с самого утра, как только пришел от обедни, после которой из гимназической библиотеки выдавались книги. За обедом подносил ложку ко рту, за чаем пил из стакана, постоянно скашивая глаза на лежащую возле на столе книгу. Стаканы опрокидывались, суп проливался на блузу, жаркое попадало на скатерть, мать сердилась, Сережа умолял не отнимать книги и читал не отрываясь.

Теперь, когда все больше сгущались сумерки, усталые глаза отказывались служить, комната казалась затянутой мутным туманом, и болела все время согнутая шея.

Сережа читал у Майн-Рида о том, как четыре молодых человека плыли в лодке по Гудзоновой реке, как они охотились, встречали

различных зверей, птиц, ловили рыбу, попадали в опасные положения, проводили ночи на берегу при свете костра, а кругом стояли леса, подымались скалы, тянулись луга и шумели речные пороги. Сережа все позабыл: гимназию, учителей, уроки, товарищей. Сцены, картины лесной жизни вставали, точно живые, окружали его, заслоняя комнату, где он сидел, всю обстановку. Настоящая, действительная жизнь, как он ее понимал, разворачивалась перед ним.

Но теперь, когда он поднял усталую голову от книги, небольшая комнатка, низкие потолки, стол, стулья – все выступило кругом в вечернем полусумраке и молчаливо стало на свои места. Со двора сквозь раскрытые окна доносились крики и смех детей.

– Мама, зачем учиться?

Мать сидела у окна и штопала пятку Сережина чулка, натянув ее на маленькую высохшую тыкву, и, не отрывая глаз, протягивала нитку за ниткой.

– Вот тебе раз!.. Не знаешь, зачем учиться?

Сережа торопливо поднялся, подложил под себя книгу, сел на нее и, придерживаясь

обеими руками за стул и раскачиваясь, проговорил:

– Нет, мама, постой... видишь.... я... я говорю... видишь... мама, ты меня не понимаешь...

– Тут и понимать нечего: ты просто лентяй.

– Нет, постой... – говорил Сережа, ерзая по книге и держась руками за стул, как будто боялся улететь с него. – Мама, ты пойми... Ну, хорошо: ну, я буду учиться, ну, буду переходить из класса в класс, ну, представь, вдруг меня закинет на необитаемый остров – ну, зачем мне тогда это?

Мать улыбнулась.

– Чудной ты, Сережа! Зачем тебе забираться на необитаемый остров?

– Нет, мама, постой... ты меня не понимаешь... Хорошо. Поеду я куда-нибудь, вдруг буря – это же возможно... Иногда не думаешь, а с тобой случится... Робинзон, например, разве думал? А сколько лет провел на острове?.. Вдруг буря и загонит куда-нибудь на остров, – зачем мне тогда все это? Я каждый день, каждый день учу, а это совершенно не нужно...

Сколько я в жизни потеряю дней!

– Глупости ты все говоришь. Ты бы лучше за уроки сел.

– Мамочка, я успею... Вот закинет меня на остров, я там буду лазить по горам, охотиться буду, птиц ловить. Знаешь, как птиц ловят? Если пароход совсем разобьет и мое ружье утонет... Мама, купи мне ружье, – купишь? Если же ружье утонет, я буду ловить птиц на крючки: сделаю из булавки крючок, насажу червяка и закину на нитке, птица – хап! – я ее и притяну... А то вот на севере диких гусей пьяным горохом ловят: намочат в водке, разбрасают по берегу, гуси наедятся, их руками и ловят.

Мальчик некоторое время молча сидел, болтая ногами и задумчиво глядя в окно.

– Разве кто-нибудь знает, что с ним будет? Вот ты жила на Дону, а потом в Польшу уехала, а потом мы приехали сюда... Тетя умерла... А мы ведь не знали, что все это будет. Почему знаешь, что со мной будет? Почему ты знаешь, что меня не закинет на необитаемый остров?

Сережа нахмурил брови и еще сильнее замотал ногами.

– Вот, например, буква «ять» – ну, зачем мне ее, мама?

– Если ты будешь набивать себе голову всякими пустяками, так я знаю, что останешься на второй год, а то и совсем исключат... Что ж, ты хочешь совсем остаться без образования? На всякого человека смотрят и оценивают по уму. Человек прекрасно одет, манеры у него, даже богатство – все перед ним на задних лапках, а потом присмотрятся, а он без образования – все на него плюнут. Каждый порядочный человек должен получить образование. Ведь тебя никуда не примут, если ты будешь без образования, никакого места не дадут, чем же жить будешь?

Сережа все окружающие явления подразделял на два больших отдела: одни – это те, которые составляли самое существенное того, что наполняло жизнь, были необходимы и неизбежны и имели смысл и с его точки зрения, – и другие, которые, в сущности, к жизни-то, как он ее понимал, не имели никакого отношения, представляли собой что-то чуждое ей, искусственное, придуманное людьми и в то же время тоже неизбежно роковое. К

последней категории он относил и учение.

В глубине души он сознавал, что все, что говорит мать, в конце концов имеет особенное значение, но это должно было влечь за собой и признание всей окружающей его жизни, настоящей, действительной, такой именно, какой она и должна быть, а все, что он читал в книгах, что рисовало ему воображение, – мечтой, призраками; но против этого он протестовал всеми силами своей души.

Он сидел все такой же нахмуренный и перестал качать ногами.

– Мамочка, да на что мне место? Учителем я ни за что не сделаюсь, – их все терпеть не могут. Чиновником? Чиновником тоже не хочу: каждый день все ходи да ходи в одно и то же место – ску-учно... Я непременно сделаюсь охотником... Ах, мама, разве я живу теперь?!

Сережа вскочил, поставил посреди комнаты два стула, с разбега перепрыгнул через них, зацепился и с грохотом полетел под стол.

Мать, отложив работу, сердито повернулась к нему.

– Да что это ты в самом деле содом поднял? Садись сейчас заниматься. Вчера не готовил

ничего, сегодня книжки в руки не брал. Двоек нахватать хочешь?

– Сяду, сейчас сяду, – говорит, выбираясь из-под стола, Сережа, красный, делая просительное лицо и потирая локоть и колено. – Мне необходимо быть ловким и сильным... Мамочка, если ты мне не позволишь сделаться охотником, так я путешествовать отправлюсь... Мама, ну что за жизнь: в класс да из класса, в класс да из класса... Ты посмотри, например, в Америке краснокожие... Ах, мама, какие они хитрые, ловкие. Вот они заметят, что белые лагерем стали, и поползут к ним с тамагауками в траве, так совершенно незаметно, трава даже не шевелится.

Сережа быстро лег на живот и пополз по полу, волоча за собой ноги и пролезая между ножками стульев, стараясь их не зацепить.

– Сережа, ты завтра принесешь-таки двойку. Сию минуту садись заниматься!

Сережа ущипнул себя за ухо, подхватил одну ногу рукой, а на другой поскакал в другую комнату заниматься,

VI

– Сережа, ты чего же чай не пьешь?

– Я, мама, не хочу.

– Что за глупости!

Сережа сосредоточенно складывает книги в ранец. Утреннее солнце глядит в окно, блестит на самоваре, ярко дробится в стаканах янтарного чая. На столе белая, еще горячая булка и масло.

Сережа старается так стоять, чтобы не видеть булки и масла и этого колеблющегося золотистого чая. Книги сегодня что-то особенно долго и туго лезут в ранец,

– Пей же, тебе говорят, опоздаешь.

– Я, мама, не буду пить.

– Это почему?

– Я... я, мама... видишь ли... ну... обедня еще не окончилась... а до обедни не буду пить.

– Что еще за глупости! Будешь сидеть пять часов в гимназии не евши.

– Мамочка, не сердись, не сердись...

Сережа подходит к матери, ласково берет ее руку и целует.

– Христианские мученики еще не так терпели... Я, мама, постоянно грешу... богу не молюсь... я, мама...

– Сережа, всему время и место. Богу надо молиться, надо всей душой молиться, и чай надо пить. Ты думаешь, богу приятно, что огорчаешь мать... Ты учишься, старайся, слушайся учителей, не огорчай мать – это лучшая жертва богу. Бог разве требует от нас, чтобы мы себя морили?.. Ведь он – отец людям, это наш отец. Разве отцу нужно, чтобы дети голодали, не ели для него?.. Ему одного только нужно, чтобы они слушались его и слушались тех, кого должны слушаться.

Сережа продолжает запихивать книги. Слова матери, как и слова учителей, влезают в одно ухо и вылезают в другое. Каждый раз, как в его голову приходят мысли, его собственные мысли, он упорно охраняет их не только от учителей, но даже и от матери. Он невольно чувствует, что они оценивают эти мысли совсем не с той стороны, с какой они ему так дороги и близки, и поэтому все их убеждения его совершенно не трогают.

– Мама, я чай не буду пить, – говорит Сережа тихим, покорным и упрямым голосом.

– Что за несносный мальчишка! – И мать с раздражением дергает Сережу за руку и на-

сильно сажает за стол. – Что за фокусы!.. Расхвораться захотел, а потом возись с ним!

Она придвинула к нему стакан с чаем и положила возле булку, намазанную маслом. Сережа сидит, сгорбившись, со складкой между поднятыми бровями, и смотрит на стакан.

По-прежнему ярко светит утреннее солнце, ослепительно белеет в его лучах чистая скатерть, и искрится и колеблется золотисто-янтарный чай. Никогда он не казался таким вкусным, как сегодня. Сережа глотает слюну и, когда мать отворачивается, незаметно выливает из стакана в полоскательницу.

– Ну вот, давно бы так, – говорит мать, беря стакан, – без всяких фокусов... Налить еще?

– Нет, больше не хочу. – И Сережа, покрасневший, старается не глядеть ей в глаза.

– А булку что ж не ешь?

Сережа берет булку, незаметно выбрасывает за окно, где ее подхватывает собачонка, надевает ранец на сутулую спину и уходит.

Дорогой он старается вернуть себе то значительное, особенное чувство, которое наполняло его утром, и не находит его. На душе неприятный осадок и глухое раздражение.

Этот день был очень несчастлив для Сережи: он подрался со своим соседом Дроновым, за что пол-урока должен был стоять; повалил на перемене огромную классную доску, надев страшного грохота и переполоха, и, когда его вызвали на третьем уроке, долго не мог начать отвечать урок, так как рот был забит булкой; он, давясь и вытягивая шею, глотал, не прожевывая; учитель, сердитый и раздраженный, стоял перед ним. За это его водили к директору.

VII

– Мне скучно.

Сережа лежал на животе, положив щеку на «Таинственный остров» Жюль Верна. Другая щека у него была красная, с отпечатком пальцев руки, на которую он опирался. Мать, рассматривавшая выкройки только что полученного журнала, проговорила рассеянно:

– Пойди погуляй!

Мальчик, все так же прижимаясь щекой к книге, лежал, похлопывая носками о диван.

Часы тикали торопливо и равнодушно, им было все равно. Шуршали разворачиваемые выкройки, из окон доносились воробьиная

возня, говор, детские голоса, стук дрожек на улице, и охватывала лень и истома жаркого дня.

– Так почитай!

– Не хочется,

Сереза приподнял голову: в переплете окна ему был виден кусочек неба, голубого и яркого.

«Отчего это так, – думал Сереза, глядя на этот сверкающий голубым блеском кусочек, – отчего это так: некуда пойти, никого у меня нет... Другие люди везде ездят, им весело... верхом или на пароходе, а я все-о-о дома...»

Сереза вздохнул и опять прижался щекой к книге. Он попытался вызвать в воображении картины жизни и приключений жюль-верновских героев на «Таинственном острове», которым он упивался и которые стояли перед глазами ярко и выпукло, как живые, но теперь они показались тусклыми, однотонными и мертвыми,

– А уроки выучил?

– Выучил, – безнадежно проговорил Сереза.

– Пойди к Ване.

– Не хочу. Как придешь, он вытащит дневник и начнет показывать, сколько у него пяттерок и четверок.

– Ну, к Мише

– Не хочу.

– Да почему же? – начиная раздражаться, проговорила мать.

– У него тонкая шея и за ухом шишка, – упавшим голосом проговорил Сережа.

– Что за глупости... Сделают операцию, вот и не будет шишки.

– Ну, когда сделают, тогда и видно будет.

– Что ты раскис так, Сережа?.. Мальчик должен быть живой, резвый, деятельный, а ты квасишься. Выучил хорошенько уроки, повторил что нужно, и надо, побегать, порезвиться, поиграть, а не кваситься.

Сережа слушал, все так же прижав лицо к книге. То, что говорила мать, была правда, и хотя Сережа чувствовал, что это – прописная истина, все-таки он ощущал перед матерью некоторую вину, но что-то смутное, чего он сам хорошенько не понимал и чего мать не могла видеть, давило сердце.

– Я не понимаю, чего ты скучаешь, тоску-

ешь, – продолжала мать, – чего тебе нужно? Ну, чего тебе недостает? Ведь все есть: сыт, обут, одет, учишься – чего еще? Сколько мальчиков твоих лет позавидуют тебе, сколько из них остаются без образования, терпят горькую нужду, а тебе бог всего дал, а ты еще чего-то ломаешься.

Сережа чувствовал: мать говорит поповскую правду, ту правду, которая всем давно надоела, и, помолчав немного и желая открыть матери скрытое от нее, он проговорил, приподняв голову и с блеснувшими слезинками на глазах:

– Мама, у меня нет друга...

И тут же почувствовал, что он не открыл того, что хотел, что он не может, не умеет, никогда, никогда не сумеет. Мать на минуту оторвалась от выкриков.

– У тебя нет друзей!.. А Миша, а Леша, а Коля?

– Ах, мама, нет, не то... У меня нет такого друга, с которым бы я был всегда-всегда вместе... Если какая опасность, чтобы мы защищали друг друга, чтобы все у нас было вместе, чтобы спали вместе, ну... чтобы... чтобы мы

постоянно были вместе.

Сережа чувствовал, что он говорит не то, что давит его сердце, что ему действительно нужен друг, нужно вылить кому-нибудь сердце, что он одинок, и вместе с тем он чувствовал, что не умеет выразить словами того, что скрывается за его тоской и одиночеством, и, не умея высказаться, он только сказал:

– Ах, мама, мама! – и опять положил лицо на книгу.

Должно быть, в его голосе прозвучало что-то особенное, – мать поднялась, подошла к нему, взяла его голову. И Сереже вдруг показалось, что открывается его сердце, и слезы побежали из глаз. У матери тоже навернулись слезы. И так они сидели, прижавшись друг к другу, и плакали, сами не зная – о чем.

VIII

Учитель русского языка, Алексей Иванович Слободин, не пришел на урок. Чтобы ученики не баловались, их заставили писать диктант, а на большой перемене надзиратель сказал Сереже:

– Рогов Сергей, отнесите тетради Алексею Ивановичу на дом.

Сереза взял под мышку стопку тетрадей и вышел на улицу. Обычное ощущение свободы и желание подпрыгнуть козлом и побежать вприпрыжку, охватывавшее каждый раз, когда он выходил из гимназии, на этот раз не овладело им, и он шел хотя торопливо, но солидно, с несколько ускоренно бившимся сердцем. Сереза в первый раз шел к учителю на дом.

Он прижимал тетради и думал, что тут и его тетрадь, и, быть может, Алексей Иванович в ней поставит два, а то единицу. Сереза старался вспомнить, как он писал диктант, и, как на грех, ему приходили на память грубые ошибки, которые он сделал. Если бы теперь свернуть куда-нибудь в переулок, отыскать свою тетрадь, то можно бы поправить. Но Сереза никуда не сворачивал, а чинно спеша, с сознанием исполняемой важной обязанности шел по улице и скоро звонил у парадной двери.

Ему отворила горничная и провела в большую комнату – должно быть, зал. Сереза увидел какого-то человека в сером пиджаке, с белокурыми волосами, как у Алексея Ивановича.

ча. Он сидел на корточках, а возле него между стульями доставал маленького зверька мальчик лет четырех с такими же белокурыми волосами.

Это был как будто Алексей Иванович, и это был совсем не Алексей Иванович. Тот же нос, брови, блестящие золотые очки, та же небольшая характерная фигура, но – когда он повернулся к Сереже и Сережа увидел его лицо, – это было совсем другое лицо, другое выражение лица. Из-под очков смотрели мягко и как будто с грустью глаза не Алексея Ивановича, а какого-то незнакомого до сих пор человека. И так это было ново, неожиданно, так прочно в сознании Сережи с именем Алексея Ивановича въелось представление небольшой фигуры, сухой, строгой, такого же ничего не говорящего лица и глаз, всегда чуждо, холодно и требовательно глядевших на учеников, что теперь этот мягкий, подернутый грустью взгляд смутил Сережу. Он растерялся, мял тетради, глядя то на белокурую головку, возившуюся под стульями, то на окна, заполнявшие комнату веселым, ярким светом, то на свои сапоги, подернутые тонкой сероватой

ПЫЛЬЮ.

Человек в сером пиджаке, который так похож и так не похож на Алексея Ивановича, поднялся и проговорил:

– Вы еще не видели сурков?

И потом, улыбнувшись, подал руку.

– Ну, здравствуйте!

Вместе с этой улыбкой что-то теплое, мягкое, нежное, как ласка матери, волной поднялось в душу мальчика. Мысль, никогда ему не приходившая в голову, вдруг поразила его: у Алексея Ивановича также есть свой дом, семья, сын, которого он горячо любит. И теперь Сережа уже никак не мог, даже при усилии, вернуться к прежнему Алексею Ивановичу – в застегнутом фраке с бронзовыми пуговицами, со спокойным лицом и холодными глазами. Смущение, робость, растерянность и отчужденность разом пропали. Сережа присел на корточки возле мальчика и, улыбаясь и глядя снизу вверх, проговорил:

– У наших знакомых тоже был сурок... У них длинные зубы...

Мальчуган, наконец выбравшийся из-под стула, держа сурка, перевесившегося толстым

животом через ручонку, смотрел на Сережу внимательными, не по-детски серьезными, широко раскрытыми глазами и солидно сказал:

– Он не кусается.

Алексей Иванович переложил тетради на стол, даже не взглянув, как будто вовсе не в них было дело, и погладил Сережу по голове.

– Что же, за городом в лесу не были? И рыбу еще не удили?

– Нам не позволяют... в гимназии... – запнувшись, проговорил Сережа, с удивлением глядя на Алексея Ивановича.

– А, не позволяют, – проговорил тот, как будто в первый раз узнал об этом, улыбаясь все той же милой незнакомой улыбкой.

Когда Сережа вышел и пошел по улице, солнце особенно радостно и весело заливало белые, смеющиеся, с настежь раскрытыми окнами дома, кудрявые яркозеленые деревья, мостовые, тротуары, по которым, чтобы не нарушать всюду разлитой радости, узенько и незаметно лежали короткие, полуденные тени.

«Динь, динь, динь, динь!» – мысленно на-

певал Сережа, незаметно для прохожих при- скакивая в такт одной ногой. И ему казалось, что серая, однотонная пелена, покрывавшая, слегка волнуясь, гимназическую жизнь, чуть-чуть приподнялась краешком, и он увидел что-то как будто обыкновенное и простое, но от чего у него на душе стало необыкновенно легко и весело.

IX

Сереже было скучно. Он встал рано, в шесть часов, и не знал, что делать. В доме тихо, в окна сквозь ветви цветущих акаций заглядывало утреннее солнце, а на дворе, хлопав крыльями, пел петух.

Сережа подошел к окну и, прижавшись к стеклу, стал смотреть во двор. Каждая хворостинка, каждый листок, каждый камешек выступали отчетливо и выпукло, залитые солнечным светом, и зелень была так ярка, точно на листьях блестела свежая, еще не про- сохшая краска. В ветвях с чириканьем шныряли воробьи, и с улицы доносилось дребезжанье дрожек. Сережа постоял, потом подошел к кровати и лег лицом в подушку.

Вот и каникулы. Целый год ждал и думал,

что не будет большего счастья, как перейти в третий класс и дожидаться каникул. И вот он – третьеклассник, и начались каникулы, а ему нечего делать, и день начался длинный, скучный и пустой.

Он вышел и бесцельно пошел по улицам.

Припекало. Стены домов ослепительно ярко белели, в акациях без умолку чирикали мелькавшие воробьи, а под деревьями, над крышами, над улицей в синем воздухе реяли ласточки.

Сережа шел мимо стен домов, мимо растворенных окон, в которых виднелась глубина комнат и доносились голоса, говор, смех, звуки рояля, детский плач, звон посуды, стук передвигаемой мебели.

Мостовая кончилась, ноги мягко ступали по пыльной дороге.

– Ах, боже мой, боже мой!..

Сережа сам удивился звуку своего голоса и осмотрелся, не слышит ли кто-нибудь, как он разговаривает сам с собою, но кругом никого не было, только сады зеленели под голубым небом да мягкая от пыли дорога весело тянулась между ними.

И отчего это так? Когда началась зима, он только и думал о том, как придет рождество, будут вечера, катанья, и казалось, что все счастье, вся жизнь именно в том, чтобы пришло рождество и за четверть были бы хорошие отметки. Но пришло рождество, и первые дни Сереже было скучно, а когда он разошелся и стал бывать на вечерах, танцевать – рождество кончилось. Потом он стал ждать пасху, и опять в первые дни было скучно и нечего делать, а когда наконец стало весело – пасха кончилась. Вот и теперь – каникулы, он свободен, а ему скучно.

Последние строения и сады остались позади. Под горой сверкала река, желтели отмели и косы, на той стороне зеленел лес, и местами, как отчищенное серебро, блестели озера. Вправо, далеко над рекой, сверкали желтым блеском кресты монастыря, белели стены ограды, келий, и весь монастырь был чуть-чуть затянут тонкой голубоватой тенью. И это сверканье крестов, белизна стен, сады, крыши – все, подернутое голубоватым оттенком, носило таинственный, как будто незнакомый характер, как будто это был не тот мо-

настырь, в котором так часто бывал с матерью Сережа и где были одни и те же кельи, монахини, дорожки, цветники – все, что он давным-давно знал и что ему порядком надоело.

Сережа перестал смотреть на монастырь и стал смотреть в другую сторону. В одном месте реки, выделяясь темным пятном, на прибрежном песке теснились к воде повозки, лошади, телеги, брички, фуры. Через реку медленно и неуклюже, отражаясь в воде черным пятном, тянулся по канату весь заставленный лошадьми и повозками паром.

Сережу вдруг потянуло туда. Он торопливо стал спускаться с горы, осыпая под ногами глину и мелкие камешки, и через минуту нога утопала в горячем песке, и возле ослепительно и больно сверкала вода.

Х

На перевозе стоял гам, шум, говор, крики, восклицания, скрип колес. Лошади отчаянно мотали хвостами, отбивались от липнувших мух и оводов, быки мычали, стараясь выпростать из ярма широколобые рогатые головы. К горячему небу подымались подвязанные ог-

лобли, дуги с мотающимися в них лошадиными головами, по взрытому почерневшему песку валялись свежие и засохшие арбузные корки, и над всем стоял крепкий запах теплого навоза и лошадиного пота. У берега, шая, брызгаясь, с криком, со смехом купались ребяташки.

Сережа проходит между колесами, между крупами и головами лошадей и останавливается возле небольшой ручной повозочки. В повозочке в тряпках сидит урод. Высохшие, как арбузные плети, лежат неподвижно руки и ноги. Несоразмерно большая бескровная голова сваливается на длинной тонкой шее то в ту, то в другую сторону. Ловя жадными глазами каждого проходящего, стоит возле нестарая женщина, чисто одетая. Мужики, бабы, проезжие проходят, крестятся и кладут ей в деревянную чашку копейки, трехкопеечники, а кто и пятак. Она следит ястребиными глазами за каждой протягивающейся рукой и быстро опоражнивает чашечку, когда в ней наберется достаточно, в холщовый мешок, оставляя несколько монет в чашке «для почи-ну».

Сережа смотрит на уroda, и гадливая жалость к странному телу с длинной, хлещущей направо и налево шеей и неприязнь к женщине с холодными, злыми глазами заползает в душу. Солнце печет бескровную желтую голову, глаза закатываются, показывая одни белки... Зачем она мучит его? Разве можно за это брать деньги? Мать она ему или кто?

И эта тележка и сваливающаяся во все стороны на длинной шее бескровная голова странным образом связываются со сверкающей рекой, с раскинувшейся по прибрежному песку маленькой ярмаркой, с темным абрисом парома, с желтым блеском крестов монастырских церквей и ощущением тоскливой пустоты и скуки, когда он вышел сегодня из дому.

Сережа бывал здесь с матерью, когда ездил кататься в лес за реку, но тогда он все это видел с высоты экипажа, – и между сытыми лошадьми, важным кучером и этими оглоблями, фурами, повозками, ободранными клячами, мужиками, бабами, нищими всегда стояла, отделяя, черта, которую Сережа постоянно чувствовал. Теперь эта черта пропала, и ка-

залось, Сережа стоял вместе со всеми, и его охватывает вместе со всеми чувство ожидания, точно и ему надо дожидаться парома и куда-то идти или ехать.

А паром уходит все дальше и дальше. Лошади, люди, телеги становятся меньше, поднятые вверх оглобли вырисовываются тоньше на голубом небе, и сам паром теперь кажется уже не таким угловатым и неуклюжим. Наконец он пристаёт к тому берегу. Слышен стук и скрип съезжающих подвод и крики мужиков, подгоняющих на крутой берег лошадей и волов.

XI

– Красная говядина, зеленые щи!

Сережа обернулся, чувствуя неприязнь в этих словах, – так дразнили гимназистов. Голый, с блестящими на коже каплями воды, стоял перед ним вихрастый, со вздернутым носом мальчишка, хлопал себя по голым ляжкам руками и скалил зубы.

Сережа нахмурился и съежился. Надо было вести себя осторожно, чтобы не дать повода к столкновению и в то же время сохранить достоинство и не выказать трусости. Сережа от-

вернулся и демонстративно стал смотреть на паром, черневший под тем берегом, и, чтобы симулировать сосредоточенность и внимание к парому и полное равнодушие и невнимание к противнику, он сощурился и прикрыл от солнца глаза ладонью, как козырьком. Но это не помогло: Сережа, к ужасу, вдруг почувствовал, что сзади его обхватили мокрые голые руки, и он повалился спиной на изрытый и истоптанный песок, а над ним раздался отвратительный хохот.

Сережа вскочил взбешенный, лицо у него горело, на глазах дрожали слезы. Он все забыл – свое достоинство, выдержанность, то, что гимназисту не пристало драться, все, что его связывало и налагало ограничения, и кинулся на своего обидчика. А тот с торчавшими во все стороны вихрами, мелькая голыми ногами, бросился к воде и, точно взрывом подняв шумные столбы засверкавших брызг, кинулся в расступившуюся влагу и поплыл, глупо гогоча и шлепая ладонями по воде. Не давая себе отчета в последствиях, которые его ожидают, Сережа, глотая слезы обиды, торопливо, дрожащими руками стащил с себя сапо-

ги, брюки, курточку, белье и пошел в воду, сам не зная, что будет делать, так как не умел плавать. Но не успел он намочить ног, тучи брызг стали сыпаться на его лицо, глаза, грудь, на все его тело, больно рассыпаясь по коже: мальчишки с хохотом били по воде ладонями и обдавали его брызгами. Визжа от бессильной злобы, Сережа стал хватать мокрый песок и с ожесточением сыпать в своих врагов. Те отплыли и поодаль стали кувыряться и баловаться в воде.

Сережа стоял с мокрым песком в руках, чувствуя, как бьется сердце, испытывая некоторое удовлетворение, и в то же время в недоумении, что же теперь делать? Начать просто одеваться – смешно, стоять голому у воды – еще смешнее, и он полез в воду. Играющие струйки воды охватывали его приятной свежестью, и чувство раздражения стало проходить.

– Ребята, паром!

Ребятишки выскочили из воды и торопливо надевали рваные рубашонки на мокрое, блестящее каплями тело. Сережа также вышел из воды и стал одеваться.

Паром, черный, громоздкий и неуклюжий, весь заставленный телегами и лошадьми, стукнулся о край помоста, и стоявшие на нем лошади подались и переступили с ноги на ногу. Человека три стали прикручивать брошенные концы к столбам.

Торопясь, задевая друг друга осями, двинулись с парома телеги и повозки. Не успела съехать последняя, как на паром кинулись дожидавшиеся на берегу, цепляясь, крича, ругаясь, хлеща лошадей. Маленький веснушчатый мужичонка, видя, что не проберется в этом содоме, торопливо отпряг свою лошаденку, ввел на паром и, подвязав кверху оглобли, вытащил свою косолапую тележку на себе. Высокий отставной солдат кричал, что он — георгиевский кавалер, женщина с ястребиными глазами протаскивала между колесами, оглоблями, лошадиными ногами тележку с уродом, у которого так же равнодушно ко всему окружающему сваливалась то в ту, то в другую сторону голова на длинной шее. И опять Сережу захватило это оживление, стук, крики, шум, суета, торопливость спешащих людей, и он пробрался вместе с другими на

паром и стал возле мокрого каната, с которого капала вода.

Отвязали концы. Несколько человек стали тянуть канат, и он всей длиной бился по реке, и вдоль него при каждом движении вспыхивала серебряная полоса. Заскорузлые, почерневшие руки мерно перехватывали канат, с которого обильно бежала вода и который медленно выходил из воды с одной стороны и опять тянулся в воду с другой.

– Бог дождика не дает...

– Чисто все посохло...

– Скотина голодная ходит, всю землю выбила, аж почернела.

– Ежели еще дён пять дождя не будет – пропали.

Сережа смотрит на эти огрубелые руки, на загорелые, прорезанные морщинами лица, с которых безнадежно глядят усталые серьезные глаза, и начинает смутно чувствовать тяжесть какой-то незнакомой ему жизни, жестокой и трудной. Ему почему-то вспоминаются нянькины слезы, но ему неприятно вспоминать об этом. Он отходит от каната, нагибается через перила над высокими лод-

ками, на которых положен настил парома. В глубине лодок под настилом темно и прохладно, и на дне темным блеском колеблется застоявшаяся, пахнувшая плесенью и конским навозом вода. Сережа щурит глаза и видит фигуры мальчишек, с которыми у него вышло столкновение, приютившихся под настилом.

– Емназист, иди к нам.

– Не хочу.

Берег подходит все ближе и ближе. Телеги, фуры, повозки, лошади, люди стоят там в ожидании. Натянувшийся канат уже не достает воды и болтается в воздухе, раскидывая сверкающие капли. Со скрипом наваливается паром к причальному помосту.

Опять стук, грохот, брань, вытягивающиеся лошади, подпрыгивающие телеги. Мальчишки, как обезьяны, выкарабкиваются из глубины и соскакивают с парома. Сережа сходит на берег и останавливается в недоумении: куда же идти и зачем он, собственно, переехал.

– Емназист, пойдем с нами раков ловить.

Мальчишки стояли вокруг него – их трое.

Серезу подмывает пойти с ними, но он делает усилие и, насупившись, говорит:

– А зачем дразнишься?

Вихрастый с ожесточением крестится.

– Не буду... Ей-богу, не буду.

Сереза колеблется. К нему подходит самый маленький, в коротеньких штанишках и ситцевой рубашонке – ему лет шесть, – и берет за руку, глядя добрыми детскими глазками:

– Пойдем с нами.

Серезе делается тепло и весело.

– Пойдемте. – И все четверо, торопясь, взбираются на береговой обрыв и идут в лес.

XII

Мальчики торопливо мелькали по пыльной дороге босыми ногами. С обеих сторон над дорогой тянулись узорчатыми запыленными листьями дубки. Иволги кричали переливчато и игриво, точно кто-то пробовал играть на флейте, слегка перебирая пальцами и все начиная одну и ту же коротенькую мелодию. В лесу было свежо, зелено и таинственно. Сереза проезжал тут, когда катался с матерью, но опять-таки с сиденья экипажа все

казалось иным, точно отделенным, отодвинутым. А теперь лес подступал вплотную и охватывал Сережу со всех сторон, и чувство свободы и вместе легкой опасливости и боязни какой-нибудь неожиданности – волк выскочит, или бешеная собака, или недобрый человек – заставляло немного учащеннее биться сердце...

– Куда мы идем?

– А во, туда, – неопределенно мотнул головой пихрастый.

«Отчего они все без шапок?» – подумал Сережа.

– Там озеро есть, а там раки, – проговорил маленький тоненьким голоском, мелькая рядом с Сережей босыми ногами и заглядывая ему в глаза.

– Дурак, зачем рассказываешь?.. Ловиться не будут.

Сережу немного обидело, что вихрастый не позволил рассказывать.

«И зачем я пошел с ними... Еще заведут да бросят в лесу... Они будут раков ловить, а я что буду делать?..»

Сережа почувствовал отчужденность и

одинокчество. Он был одет в чистенькую гимназическую блузу, а они – в ситцевых рубашонках и латаных тонких штанишках. У вихрастого рубаха разорвана на спине и тело сквозило сквозь дыру. Сережа не прочь был бы воротиться, но, с одной стороны, его тянуло идти дальше, а с другой – страшновато было возвращаться одному через лес, и он шел молча и насупившись.

Впереди сквозь ветви блеснула светлая полоса. Мальчики, осторожно ступая босыми ногами по сухим прошлогодним листьям и обломанным сучьям и отодвигая от лица ветви, стали пробираться через чащу. Сережа полез за ними, нагибаясь и опасливо сторонясь от протягивавшихся со всех сторон ветвей.

Поражая спокойной неподвижностью, открылось, раздвинув лес, узкое лесное озеро. На другом берегу, который был всего в нескольких саженьях, деревья спустились к самому берегу, неподвижно наклонившись над водой густой зеленой купой.

Два куличка полетели над самой водой, отражаясь, посвистывая задорно и насмешливо. То там, то сям всплескивала рыба, и тогда в

том месте бежали круги, и голубое опрокинутое небо и белые облачка колебались, дрожали, а потом опять все успокаивалось, и водная поверхность пропадала из глаз. Было тихо, спокойно и уютно, точно это был не уголок леса, а уголок в кабинете отца, где Сережа любил читать.

Мальчики достали из сумок сухие тараньи головки, привязали их на длинных нитках к прутикам, головки забросили в воду, а прутики воткнули в берег. Три мальчика сидели на берегу и смотрели в воду, и три таких же мальчика смотрели на них из воды.

– Хочешь ловить? – проговорил маленький, подавая Сереже нитку и таранью головку, от которой шел не совсем приятный запах.

– Все одно не умеет, – кинул вихрастый и весь вытянулся и замер, потом стал подтягивать ниточку, которую кто-то водил в воде, и, осторожно погрузив в воду руку, разом выдернул, и на берег шлепнулось живое, темно-зеленое, неуклюже ворочавшееся.

Сережа с удивлением смотрел, как рак ворочался и бил себя по брюху хвостом. Сережа

видел только красных, вареных раков на столе и не подозревал, что живые – они другого цвета.

– На почин. – И вихрастый сунул рака в холщовый мешок, где он продолжал ворочаться, приподнимая холстину.

Сережа подошел к мальчикам и сел на корточки. Мальчики то и дело подтягивали нитку, и тогда в прозрачной воде выступали выпуклые удивленные рачьи глаза, осторожно шевелившийся ус и с вцепившимися в нее клешнями таранья голова, которую упрямый рак не хотел выпустить, за что и платился. Мальчики занимались своим делом сосредоточенно и молчаливо.

Сережа смотрел, как они ловили, смотрел на наклонившиеся на том берегу деревья, на далекое, синевшее внизу, с белыми облачками, небо, на спокойную, нечувствительную для глаза поверхность воды, которая проявлялась только тогда, когда на ней разбегались от всплеска рыбы круги, – и чувствовал себя одиноким. Он не мог, не умел найти себе дела в этой обстановке, так новой для него, приятной и чуждой. Он сидел на корточках у самой

воды и ковырял прутиком ил в воде. Оттуда выскакивали и лопались пузыри. Это был бо-лотный газ. Он читал когда-то, что, если со-брать его в какую-нибудь посудину и подне-сти спичку, он взрывает. Сережа подумал это, и ему стало скучно.

Солнце подымалось все выше, стояло пря-мо над лесом и ослепительно отражалось в озере.

Холщовые сумки мальчиков стали мокры-ми, наполовину заполненными живым и во-рочающимся, и оттуда беспрерывно неся ше-пот, точно шло таинственное совещание. В лесу стрекотали сороки, и все начинала и не доканчивала мелодию иволга.

Мальчики все реже вытаскивали раков, – очевидно, распугали. Наконец вихрастый поднялся, взял свою мокрую, до половины за-полненную сумку и тяжело встряхнул.

– Будя!

Остальные двое тоже встряхнули свои сум-ки. У них было значительно меньше.

– Теперь дров валяйте...

Мальчуганы живо набрали сухих ветвей, развели костер, вырезали «вилки», воткнули

в землю и навесили котелок с водой. Вода вскипела. Всыпали пшена и стали бросать в котелок живых раков. Раки, попадая в кипяток, судорожно шлепали хвостами себя по брюшку и, крутясь, пропадали в клокочущей пене, Сережа стоял над котелком с гримасой боли и сострадания.

– Сенька, сымай, готово! – проговорил тоненьким голоском маленький.

– А соль сыпал?

– Сыпал.

Вихрастый Сенька расставил ноги, нагнулся над котелком, быстро снял с огня и поставил поодаль, на травку. В успокоившейся, переставшей кипеть, слегка подернутой жиром воде виднелись мертвые красные раки, наполовину прикрытые разварившимся пшеном. Мальчики достали краюху черного хлеба и уселись кругом.

– Садись с нами исть, – проговорил вихрастый, обращаясь к Сереже.

«Есть – пишется ять», – подумал Сережа и сделал было движение сказать: «Нет, благодарю вас...» – как он говорил в гостях, когда его приглашали, но, взглянув на дымящийся ко-

телок, вспомнил, что сегодня не пил молока, и его охватило такое острое ощущение голода, точно клещами сжало желудок, и во рту быстро стала выделяться слюна. Он молча, с виноватой улыбкой поместился рядом с мальчиками и, по их примеру, стал палочкой доставать раков.

– Бери хлеба!

У мальчиков была одна обгрызанная деревянная ложка, которой они ели по очереди и которую, облизав, передавали Сереже. Сережа черпал ею солоноватую, подернутую рачьим жиром воду и разваренное пшено и, как ни мучительно хотелось еще ему похлебать, передавал ложку следующему, а сам опять жадно принимался за раков. И раки, и разварившееся пшено, и солоноватая водица – все было изумительно вкусно.

– Вы откуда? – спрашивал Сережа, прожевывая рачью головку с куском черного хлеба.

– Я при матери... Матрена, может знаешь, прачка, поденно ходит, – говорил Сенька и, надув щеки, продолжал студить горячее пшено в ложке.

Сережа не знал, но, с усилием проглотив

кусок, проговорил:

– А-а!

– Захворала, в огне вся лежит... Поди, говорит, Сенька, принеси раков – может, поем, легче станет.

Погасающий костер слабо дымился, рыба пускала по озеру круги, и слышно было, как работали четверо челюстей.

– А вот он убег, – засмеялся Сенька, мотнув головой на третьего мальчика, – Митька-то.

Митька молча и серьезно ел. Сквозь изорванные штаны и рубаху сквозило почти черное от загара тело. Угловатое, скуластое лицо было спокойно, сосредоточенно, и особенное выражение решительности придавал ему глубокий зарубцевавшийся шрам над правой бровью.

– Откуда же вы убежали? – вежливо спросил Сережа Митьку.

– От сапожника.

– Вы у него на квартире?

– В обучении, – пояснил Сенька.

– А хозяин здорово Митьку колотит, – проговорил, оживляясь и расширив детские, с синевой, глаза, маленький.

– Отчего же вы убежали? – конфузясь и нерешительно спросил Сережа.

– Погулять хочется.

– Хозяин-то, вишь, его не пускает, – пояснил опять Сенька, – праздник ли, воскресенье ли – все одно должен работать али по дому прибирать, а Митька, как неделя кончится, так убежёт.

– А как вечером воротится, а хозяин его здорово отдует, аж кровь, – радостно и торопливо, еще больше расширив громадные глаза, проговорил маленький.

Сережа поглядел кругом: так же неподвижно было озеро, и в глубине его так же стояла густая зелень деревьев, синева неба, белизна облаков. И по-прежнему кругом было тихо, не шевелился лист, и по-прежнему по зеркальной поверхности вскакивали и расходились круги, в сумках шептались раки, но за этим спокойствием, за этим первым впечатлением тишины и уютности стояло теперь что-то новое, иное, незнакомое, таинственное и тягостное. «А я ведь из этого леса не выберусь сам», – подумал Сережа, и чувство беспомощности, слабости охватило его.

Сережа хлебнул три раза дошедшей до него по очереди ложкой и спросил, показывая на маленького мальчика:

– Это ваш брат?

– Не, – проговорил Сенька, – у него нет ни отца, ни матери... Он безродный.

– Я безродный, – повторил маленький, и его брови над расширенными глазами поднялись с удивлением.

Тут только Сережа заметил, что у него было худенькое тельце, тонкие руки и худое, измученное личико, которое, казалось, все уходило в огромные, широко открытые глаза, окаймленные синевою.

– Безродный, – проговорил задумчиво Сережа. – А где же вы живете?

Брови у мальчика высоко и удивленно поднялись, маленький ротик раскрылся, но он так и остался с выражением удивления – и ничего не сказал.

Сенька засмеялся.

– Нигде... Придет к нам, мать покормит, а как она на работу пойдет, а я иду в город в мусоре уголь выбирать, он по улицам шляется... А то когда Митька у хозяина картошки да хле-

ба наворует, принесет ему.

– А как Митька наворует мне хлеба, – то-ропливо и задыхаясь, чтобы его не перебили, проговорил мальчуган с засветившимися глазками, – хозяйка его бо-ольно скалкой по голове... – И радостная детская улыбка озарила его личико...

Сережа внезапно почувствовал, что кто-то изнутри больно и остро защекотал горло. Он поморгал, с подергивавшимся лицом, стараясь удержать что-то едкое, неудержимо про-сившееся на ресницы, поднялся, удерживая трепетание губ, и проговорил:

– Уж, должно быть, два часа... Благодарю, наелся.

– А тебя бьют? – спросил маленький, глядя на Сережу удивленными большими глазами и с таким видом, как будто задавал праздный вопрос.

– Нет, меня никогда никто не бьет, – ответил Сережа, испытывая гордое чувство,

– Побожись.

Сережа с удивлением посмотрел на него,

– Честное слово, не бьют,

– Ребята, купаться!

Мальчики торопливо разделись, и Сережа с ними, и через минуту с шумом расступилась вода, полетели вверх брызги. Опрокинутые зеленые деревья, голубое небо, белые облака задрожали, запрыгали и пропали, рыбы перестали пускать круги, а по разбуженному озеру пошли широкие, отлогие, стекловидные морщины. Крики, смех, всплески. Ребятишки ныряли, брызгались, прыгали, выскакивали на берег и с размаху кидались в воду.

XIII

– Постойте, я вам покажу, – кричал Сережа, садясь на корточки в воде у берега с пустым котелком в руках.

– Чего такое?

Мальчики столпились кругом, резко отличаясь от него бронзовыми загорелыми телами.

– Я вам из воды огонь покажу...

– Бреешь, ишь чего выдумал... Чего морочишь-то...

– Нет, господа... серьезно... Постойте... подождите минутку... я сейчас...

Руки у Сережи дрожали, сердце билось, – что, если осрамится, ничего не выйдет. Сдер-

живая сердцебиение, он погрузил котелок и опрокинул в воде так, чтобы внутри в нем не осталось воздуха, и стал палочкой шевелить ил, из которого торопливо выскакивали пузыри и собирались под опрокинутым в воде котелком. Мальчики смеялись, брызгали водой, шалили. Сережа чувствовал, что под котелком набралось достаточно газа.

– Господа, дайте мне одну спичку, одну только спичку...

– Но, там, спички портить... И то четыре осталось.

– Я вам отдам... Одну только спичку... Я вам целую коробку за это отдам...

– Отдашь?

– Отдам, отдам...

– Побожись.

– Ей-богу, отдам.

– Ну, на.

Сережа, поддерживая одной рукой котелок, другой зажег спичку и поднес ее к котелку, край которого приподнял. Мгновенно вспыхнул, с легким шумом, длинным языком огонь. Мальчики шарахнулись в стороны, изумленные, с расширенными глазами. Посы-

пались восклицания:

– Вот так так!

– Братцы, да ведь огонь!..

– Ка-ак пыхнет!..

Сережа с торжествующим, победоносным видом поднялся.

– Ага, что!.. А вы не верили...

– Ну, брат, здорово!

Сережа вдруг почувствовал свою силу, значение, достоинство.

Мальчики наперерыв стали производить опыт, и у каждого получался легонький взрыв. Удивлению, разговорам не было конца. Сожгли все спички и решили идти на мельницу – добывать спички у мельника.

– Это отчего же она? – говорил Сенька, балансируя и ступая босыми ногами по сухим, колким веточкам, – ка-ак пыхнет!

– Отчего? Знамо дело, отчего... – авторитетно ответил Митька. – От нечистой силы, от чего больше.

– Нет, это газ такой образуется. Листья, ветки гниют на дне, а газ образуется, его зажжешь, а он горит, – радостно объяснил Сережа, чувствуя в себе огромный запас знаний,

понятий, каких не было у этих мальчиков.

– Ну, газ, это нехай газ, а в воде тоже нечисть всякая.

Из-за деревьев стал доноситься шум, и скоро сквозь ветви зажелтела новым тесом крыша мельницы. Лес раздвинулся. На пыльной площадке точно ярмарка раскинулась: возы с мешками хлеба, распряженные быки тупо жевали жвачку, лошади, отмахиваясь от мух, дергали из повозок сено. Мужики, привезшие молоть пшеницу, лежали, закинув руки под головы, в тени под повозками. Небольшой прудок тянулся по канаве к огромному мельничному колесу, которое медленно, тяжело и лениво ворочалось. Из мельницы, двери и стены которой белели от муки, несся непрерывный шум бегающих жерновов. Прислонясь к косяку, лениво стоял мельник, с большой бородой. Он весь белел мукой: рубаха, шапка, борода, ресницы.

– Дядя, а дядя Силантий, дай мне спичек.

Мельник сонно посмотрел на Сеньку.

– Для ча?

– А мы, дяденька, чудо тебе сделаем: из воды огонь пыхнет.

– Мельницу захотелось спалить. Много вас тут таких курильщиков.

– Мы не курим, дяденька, ей-богу, не, – мы чудо покажем. Дай три спички.

Мельник отвел сонные глаза и опять невозмутимо стал смотреть на отпряженные возы, на пруд, на канаву, на лениво и медленно ворочающееся колесо.

– Дяденька, дай, мы тебе раков за это дадим.

– А где раки?

– Во.

Сенька снял с плеча мокрую сумку, встряхнул, и раки усиленно зашептались.

– Сколько дашь?

– За три спички пяток.

– Мало. Давай десяток, да которые поядреее.

Сенька нагнулся и стал выбрасывать из сумки шевеливших усами и клешнями влажных темно-зеленоватых раков. Мельник забрал их, не спеша достал три спички и отдал.

– Чего будете делать?

– Пойдем, дядя Силантий, к пруду, мы те покажем чудо: из воды огонь.

– Болтают зря.

Тем не менее дядя Силантий, белея мукой, которая покрывала не только платье и волосы, но и была на носу и в ноздрях, снисходительно поплелся с мальчиками к пруду.

– Дядя, дай нам гарнец, а то котелок мал.

– Подите возле дверей возьмите.

Сенька живо сбегал и принес объемистый, больше ведра, железный гарнец. Наполнили водой, опрокинули и усердно стали ворошить прутиками ил, из которого торопливо выскакивали пузыри газа, собиравшиеся под гарнцем.

– Пороть вас некому... Ишь чего делают, бе-са тешат... Чего же это будет?

Мельник присел на корточки возле и стал медленно крутить сигарку, выражая всей своей белой фигурой полное пренебрежение к мальчишеской затее.

– погоди, дядя, погоди... зараз будет...

И мальчики с нервной торопливостью делали свое дело, стораю от нетерпения удивить дядю Силантия невиданным зрелищем. Подошел еще кое-кто из помольщиков.

– Ну, готово... зажигай спичку... дядя!..

Осторожно приподняли над водой один край опрокинутого гарнца, чтобы дать выход скопившемуся газу, и поднесли зажженную спичку. В ту же секунду из гарнца с шумом вырвался громадный сноп пламени. Дядя Силантий повалился, хватаясь за лицо руками, на спину и заорал благим матом: ему сожгло полбороды, ус и опалило левую бровь.

Сенька и Митька, никак не ожидавшие ничего подобного, подхватили свои сумки и котелок на спину, схватили за руки маленького Иваську и что есть духу пустились бежать. Сережа с достоинством и не спеша, чувствуя, что он тут ни при чем, и все это не больше как печальная случайность, и что его не смеет никто тронуть, солидный и нахмуренный, пошел шагом за убегающими мальчиками,

Мельник, страшно ругаясь, вскочил, затушил затлевшуюся было шапку, бросился к ближайшему возу, выдернул кнут и при хохоте, крике и улюлюканье выскочивших из-под возов мужиков кинулся за мальчиками.

«Он не смеет тронуть... он меня не смеет тронуть», – тревожно, гордо и настойчиво стояло в голове у Сережи, и он слышал у себя за

спиной тяжелый приближающийся топот.

«Не смеет тронуть... Не буду оглядываться, он подумает, что я его боюсь...» – и... оглянулся. Здоровенный мужичина несся на него с кнутом в руке, «Не смеет...» – упрямо твердил Сережа. Но когда глянул на изуродованное лицо приближавшегося мельника, ноги сами собой подхватили и понеслись с такой быстротой, что он едва успевал их переставлять.

«Не смеет... не смеет... не смеет!»

Сереже казалось, что он разделился: его туловище, мотающиеся руки, бьющееся сердце и голова, переполненная упорным, настойчивым сознанием, что его, Сережу, не могут, не смеют ударить, – были сами по себе, а с неудержимой быстротой бежавшие под туловищем ноги – сами по себе. И ноги, казалось, делали свое дело независимо от всех соображений, какие были в голове.

Сережа, задыхаясь, с расширенными глазами, с раздувающимися ноздрями, видел впереди себя мелькающие босые ноги Сеньки и Митьки, которые то и дело оглядывались, и тогда видны были их хитрые заячьи лица, испуганно ухмыляющиеся, а между ними, дер-

жась за руки, нагнув белую головушку, не оглядываясь и, очевидно, напрягая все свои детские силы, мелькал тоненькими ножонками Иваська.

– Я вам дам... я вам, проклятые... я вас выучу...

«Не смеет... не смеет... не смеет!»

Сережа чувствовал, что силы изменяют ему. Впереди во всю ширину из-за обрыва открылась река. Мальчишки, точно сквозь землю провалились, скрылись за обрывом. Сережа добежал и спрыгнул вниз. С минуту он катился, как бревно, крутясь, бился о сухую глину и, наконец, растянулся на прибрежном песке, сейчас же вскочил и бросился к парому, который уже отвязывали и с которого ему махали и кричали забравшиеся туда мальчишки. Сережа прыгнул на отделявшийся уже от берега паром и, схватившись за колесо, не мог никак отдышаться.

На краю обрыва показался мельник. Он размахивал кнутом и отчаянно ругался. Мальчишки хохотали, били в ладоши и кричали:

– Смотрите, смотрите, дядя Силантий полови-

ну бороды себе окурил!

На пароме с удивлением смотрели на мельника и смеялись. Сережа насупился. Его неприятно грызло чувство обиды, что за ним гнались и даже могли побить. «И чего они смеются? – думал он, сердито глядя на мальчиков. – Сами виноваты – и смеются. Хорошо, что ль? Мельник им разве сделал что-нибудь дурное, что они над ним же издеваются?» Но вид спокойной широкой реки, солнце, игравшее в воде, ощущение избегнутой опасности успокоили его.

Паром был так же, как и прежде, тесно заставлен лошадьми, повозками, телегами. Канат торопливо выбирался с одной стороны и убегал в воду с другой, а когда стали приближаться к берегу, он стал биться по воде, и вдоль его сверкала длинная серебристая полоса. На берегу по-прежнему дожидались фуры, телеги, мужики, бабы, стоял говор, крики, шум – целая ярмарка.

– Ну что ж, пойдешь с нами опять раков ловить? – спрашивали мальчики, идя по песку рядом с Сережей.

– Когда?

– В энтэ воскресенье.

– Пойду.

– К Силантию теперь не пойдём... Долго серчать будет, покеда борода отрастет, – смеялись мальчики. – Кабы поймал, весь кнут бы избил на нас.

Сереже все это приключение теперь казалось смешным, хотя воспоминание о кнуте его передергивало.

– А спички принесешь?

– Какие спички?

– А какие обещал, коробку?

– Принесу, принесу, непременно принесу.

Сережа распрощался. Когда он поднимался на гору, солнце косо жгло уже с противоположной стороны, и длинные вечерние тени тянулись в другую сторону.

XIV

Дома Сережу встретил страшный переполох и волнение. Мать, в слезах, с красными, опухшими глазами, нюхала спирт. В зале большими шагами ходил отец, хмурый и расстроенный. Возле матери суетилась няня, и концы ее чепчика тряслись больше, чем когда-нибудь. У притолоки в передней мялся

дворник Ефим с растерянным лицом, приговаривая: «Хто ж их знает, где они». Он целый день ездил по городу, безуспешно разыскивая Сережу.

Сережа вбежал в комнату и бросился к матери. Та сжала его в своих объятиях, плача, выговаривая, лаская. Отец вошел с чувством огромного облегчения, стараясь не дать уйти выражению внешней суровости и недовольства.

– Вот тебе плоды воспитания... За одним ребенком усмотреть не может.

– Мама, мама... – торопливо говорил Сережа. – Я познакомился с мальчиками... был за рекой... на пароме... газ добывали... А мальчик самый маленький... такой ху-уденький, худенький... глаза большие... ни отца, ни матери... негде голову приклонить... Он, ма...ма, без...род...ный... – У Сережи брызнули слезы.

Он сам не знал, отчего он плачет. Ему хотелось рассказать матери все пережитые впечатления, все, что было ласкового, светлого, жестокого, болезненного и тяжелого за этот день, и он не мог передать связно и плакал вместе с матерью.

А за ужином Сережа весело говорил отцу:
– Папа, а раки-то живые вовсе не красные,
а черные, немножко зеленоватые.

– А ты и не знал?

XV

Каникулы кончились как раз в такое время, когда Сережа только вошел во вкус свободы, путешествий, поездок. Он часто и один ходил пешком на реку, часами сидел на песчаном крае и глядел, как нагружали паром, как он, черный, отражался, чуть колеблясь темными отражениями, в гладкой воде, и длинный канат бил по реке, сверкая серебряной полосой воды.

Своих приятелей – мальчиков, с которыми бродил по лесу, ловил раков и добывал болотный газ, – он уже не встречал. Напрасно он всматривался в каждое детское лицо, в каждого мальчугана, тех не было. Дети приходили целыми ватагами к реке, шумно купались, шалили, но Сережа не приставал к ним, и ему было скучно.

Начались занятия, опять уроки, перемены, звонки, пыльный воздух классов, гам и шум огромного здания, но все еще трудно было

влек в обычную колею учебного времени, тянуло на простор, на солнце, на реку, в лес. И каждое воскресенье он уходил из дому.

Лето кончалось, но птицы весело возились в еще густой листве городского сада, а по аллеям лежали узорчатые яркие листья. Сережа шел, рассеянно похлопывая по стволам старых развесистых лип. На скамейках сидели редкие гуляющие.

Сережа выбрал скамейку в тени и уселся, болтая ногами, прислушиваясь к воробьиному разговору, следя за тихонько скользящими по дорожке прихотливо-узорчатыми тенями сквозящей листвы.

Шел мальчик с огромной кипой книг под мышкой, перегнувшись на один бок и все поправляя выползающие из-под локтя книги. Сережа смотрел на него равнодушным, невидящим взглядом, думая о другом. У Сережиной скамьи одна из книг выползла и хлопнулась на дорожку. Мальчик, делая усилия, сложил книги на скамью, поднял упавшую и сел, отирая бледное, испитое лицо. Красные веки слезились.

И хотя мальчик был неинтересный, Сере-

же было скучно, и он сказал:

– Книжки очень тяжелые... Всегда их трудно носить.

Тот молча подшмурыгнув носом и стал забирать книги под мышку. Но, должно быть, действительно было тяжело и оттянуло усталую руку, потому что он снова свалил книги на скамью, повернулся и стал смотреть на другой конец аллеи.

Сережа чуть покраснел. Хотел сейчас же подняться и уйти, но что-то не пустило. С некоторым злорадством он снова заметил, что лицо у того было чахлое, испитое, в черных пупырышках, должно быть грязь заросла в коже, а шея грязная, давно не мытая.

«Ишь ты, жиденок!..»

И проговорил вслух:

– Через сад не позволяют ничего таскать, а то сторож сейчас...

Сережа с удовольствием посмотрел на топорливо заморгавшие красные веки.

– А вы тут сторожем? – слышался голос с акцентом, и из-за красных век глянули черные глубокие глаза.

Сережа смешался.

– Нет... я вообще... я не оттого... вам, верно, трудно нести... ноши всегда бывают тяжелые, верно вас хозяин послал...

Тот помолчал, повернувшись, и опять заморгали красные, гноившиеся веки...

– У меня нет хозяина, у меня папаша, он – переплетчик... заказ несу.

Опять помолчали. Тот не уходил. Все так же, едва приметно шевелились по дорожке сквозные тени и мелькали в листве воробьи.

У Сережи не было определенного отношения к евреям, он просто о них не думал, а когда приходилось сталкиваться, ощущал смесь легкой, незлобивой пренебрежительности и снисходительного добродушия. И теперь, когда расплылось первое ощущение вспыхнувшего было раздражения, эта легкая несознанная пренебрежительность добродушно стояла в его глазах, когда он глядел на нечистую шею и гноящиеся веки.

Оттого ли, что было скучно, или что-то было в этом еврейском мальчике, только Сереже не хотелось его так отпускать, и он проговорил:

– Лето еще не кончилось, а листья уже осы-

паются... впрочем, это от жары.

Постояло молчание.

– Это еврейские книги?

– Нет, русские. Это мой папаша переплетал, а я помогаю, я тоже умею переплетать.

– Русские много пишут книг, у них много ученых.

– У евреев пророки, и русские украли у евреев пророков.

Это было очень неожиданно, и Сережа слегка раскрыл рот. Посидел немного, и снова водворилась спокойная и добродушная пре-небрежительность.

– Разве можно украсть пророка. У нас наши христианские пророки.

– Пхе!..

Смешное еврейское восклицание, но за этим столько почудилось презрения, самоуверенности, надменности, что Сережа живо повернулся к своему собеседнику.

– Русские украли у нас пророков!

Это прозвучало поразительно четко и ясно под раскинувшимися ветвями лип, и от этого было особенно кощунственно.

Сережа вытаращил глаза.

– Разве можно так говорить!

Тот засмеялся, и по исхудалому лицу вокруг гноившихся глаз залучились морщинки, и вдруг стал серьезен.

– Наши пророки – Моисей, Навин, Илья... много, и всё евреи, всё евреи, пророки все – евреи...

Пропал сад, дорожка, пятнистые шевелившиеся тени, Сережа сидел с отвиснувшей слегка нижней губой. Перед глазами стояло обычное: парты, звонки, затылки сидящих учеников, башмаки, длинные волосы, наперсный крест на груди, и все это было известно и обыденно. Исход евреев из Египта, переход через море, пустыня, войны, пророки, Елисеевы медведи, съевшие сорок ребят, все усвоенные, давно и медленно впитанные представления вдруг точно перевернулись, стояла какая-то новая, неожиданная полоса. Евреи, Израиль были подернуты для Сережи неясной и смутной дымкой давно минувшего, стиравшего со всех представлений рельефность и выпуклость реальных очертаний, и меньше всего имели связи с теми, кого теперь называют «жидами» и к кому невольно и бессозна-

тельно Сережа чувствовал легкую пренебрежительность, но именно они-то и создали историю, с которой так тесно связан и наперсный крест, и длинные волосы, и черная ряса, и единицы, и двойки на законе божием.

Мальчик теперь казался ему выше, серьезнее, и Сережа уже не замечал этих болезненно-красных моргающих век.

Мальчик стал складывать тяжелые книги под локоть, придерживая подбородком.

– Вас как зовут.

– Хаим.

– А меня Сережей. Дайте я вам помогу донести книги... мне тоже к тем воротам.

– Нет, я сам.

Они пошли, один перегибаясь от тяжести книг набок, другой с смутным сознанием, что что-то не так, что-то нужно разъяснить, понять, что-то лопнуло и побежала трещина в установившихся, привычных понятиях. И Сережа задумчиво шел, наступая на пятнистые тени, и рядом с ним шла его короткая резкая тень.

За воротами они остановились.

– Вы где живете?

– А на Большом... Большой и переулочек Кирпичный, так во дворе... вывеска такая большая: «Переплетчик Нухим».

– До свидания.

– Прощайте.

Сереза пошел было, но остановился: он вдруг почувствовал, что связан какой-то глубокой и внезапной связью с этим еврейским мальчиком.

– Хаим!

– Что?

– Приходите ко мне в гости.

Тот мотнул головой и пошел, все так же отгибаясь на один бок и придерживая локтем и подбородком расползающиеся книги.

Сереза остановился, глядел на него, пока тот не завернул за угол.

– Ах ты боже мой, – хлопнул Сереза себя по ляжкам, – а ведь я не сказал ему, где мы живем.

Он хотел было бежать за мальчиком, но остановился, подумал и тихонько пошел домой.

XVI

Дни шли у Серези своим чередом, мелкие

заботы школьной жизни поглощали его, но каждый раз, как выпадала свободная минута и он гулял по улице или в саду, мальчик, отогнувшийся набок под тяжестью расползающихся из-под руки книг, стоял перед ним. И Сережа все смотрел кругом в тайной надежде встретить его. Какая-то тайная работа совершалась в нем, какие-то новые странные и жуткие в своей новизне мысли толпились в голове.

– Мама, я хочу... можно мне пригласить на именины того еврейского мальчика, помнишь, о котором я тебе рассказывал?

– Что же, пригласи.

Сережа отправился на угол Большой и Кирпичного. С забора, покосившись, глядела полинявшая, красневшая ржавыми пятнами вывеска: «Переплетчик Нухим».

Когда Сережа вошел, его охватил тяжелый промозглый запах сырости, разваренного клея, человеческого пота. На столах, на полу лежали книги в переплетах и без переплетов, стояли станки с зажатыми книгами и другие с натянутыми шнурками, к которым подшивались отдельные листы. Белела везде срезан-

ная бумага. Человек с длинной бородой, худой и костлявый, нагнувшись, шаркал ножом по краю зажатой книги, и от нее отваливались длинные узенькие полоски. Женщина, такая же худая и костлявая, что-то жарила на нестерпимо чадившей и шипевшей плитке.

На Сережу никто не обращал внимания, и он, в недоумении и конфузьях, стоял озираясь.

– Что надо? Заказ? – проговорил бородастый, не подымая головы и продолжая резать с шорохом падающую бумагу.

Плитка нестерпимо шипела.

– Мне бы... Хаима...

– Нет Хаима, – не отрываясь от плиты, бросила женщина.

«За что они на меня сердятся?» – подумал Сережа и повернул, готовый уйти.

– Хаим зараз придет, – так же отрывисто и, казалось, сердито бросила снова женщина, снимая kloкочущую кастрюлю.

Сережа стоял в ожидании. Что-то сосредоточенное, гнетущее вползало ему в душу. Солнечный день, узорчато-пятнистые тени и мальчик, согнувшийся от тяжести оттягивав-

ших руку книг. Этот старик, казалось, тоже никогда не разгибается над своим станком и женщина – над своей плитой. Было что-то важное, значительное в этой грязной бедной обстановке, точно все это имело какое-то отношение к тому разговору в саду на пестрой от теней дорожке, который опрокинул и батюшку с длинными волосами и наперсным крестом, и учеников, глядевших назад стриженными затылками, и весь установившийся прочный обиход привычных мыслей и представлений и заставил работать мысль в ином, новом и жутком направлении, Сережа переминался с ноги на ногу в недоумении – ожидать ли ему, или идти. Дверь отворилась, показался Хаим, как и тогда отогнувшийся набок и с целой кипой книг, выползавших из-под усталой руки. Он сложил книги на пол и улыбался застенчивой улыбкой.

– Вот... вы.

– Здравствуйте.

Хаим заговорил с отцом, все так же не отрывавшимся от станка, непонятно и быстро. Сережа почувствовал себя лишним.

«И зачем я пришел сюда?»

Хаим повернулся к нему:

– Поглядите, как резак режет, как дерево.

Зажатый край книги действительно был крепок, как кость.

– А это золотом кладут буквы.

Через пять минут мальчики с увлечением разговаривали. Сережа свинчивал тиски, резал и учился сшивать.

Когда шел домой, он чему-то улыбался, причмокивая, делая руками движения, как будто свинчивает тиски, и совершенно произвольно подпрыгивал.

– Мама!.. Мама!.. Я нашел... я нашел себе товарища!..

Мать засмеялась.

– Мало у тебя товарищей.

– Ах, мама, я друга нашел!..

XVII

Долго штопала, латала, зашивала, чистила мать Хаима, провожая сына на именины. Он был серьезен и сосредоточен, а она против обыкновения весела и разговорлива. Она поворачивала его, управляя, то в ту, то в другую сторону, и только и было слышно, какой ее любимец умный да ученый, такой умный и

ученый, что важные господа приходят сами звать его к себе в гости.

И Хаим шел по улице торжественный и сосредоточенный, осторожно двигаясь, точно опасаясь, что рассыплется праздничная одежда.

Сережа очень обрадовался, схватил за руку и повел знакомить к матери и отцу.

– Ну вот и отлично, – говорила ласково Сережина мать, подавая руку, – садитесь, пейте чай, а потом будете играть.

В комнате было светло, уютно и шумно. Было много детей, и смех и говор носился повсюду. Чувство некоторого напряжения, осторожного и чуткого, которое овладело Хаимом, когда он вошел в этот дом, стало ослабевать и таять. Сережа показал ему все свои книги, картины, рисунки; поднял голову, – в комнате никого не было, кроме него и Хаима, а голоса и смех неслись из соседних комнат.

– Пойдем.

– Давайте в свои соседи!.. – раздались голоса.

– Давайте... давайте.

Все расселись тесно друг возле друга. Возле

Хаима стояло с обеих сторон по пустому стулу.

– А у меня места нет.

– Вот, вот, возле Хаима, – кричал Сережа.

Но мальчуган сбегал в другую комнату и принес стул. Шумно оказывались недовольными соседями и со смехом перебегали с места на место, только Хаим сидел, а если переменил при всеобщем недовольстве место, по обеим сторонам неизменно стояло по пустому стулу. Потом играли в фанты, потом в почту, и около Хаима – точно заколдованный круг был проведен, и всегда было пусто.

Сережа, красивый и оживленный, всеми силами старался втянуть Хаима в общую игру, но шумная публика понемногу и незаметно переливала в соседние комнаты, и Сережа с Хаимом оставались одни.

У Сережи между бровями залегла недоумевающая складочка.

– Мама, что это такое? – вдруг прислушался и бросился в переднюю: по лестнице пронесся удаляющийся торопливый топот.

– Хаим, Хаим!.. – кричал Сережа, бросаясь вниз по лестнице, прыгая через две ступени с

риском сломать себе шею.

Внизу хлопнула парадная дверь. Сережа выскочил на улицу. Никого не было; горели фонари. Постоял растерянный и усталый, вернулся назад уже не принимал участия в играх.

– Мама, Хаим на меня, верно, рассердился, – огорченно говорил он на другое утро.

– И прав, ты не умел оградить мальчика от обиды и совершенно незаслуженных оскорблений, – ты должен пойти к ним на квартиру и извиниться.

Сережа колебался, но целую неделю его томил мысль о Хаиме, и в воскресенье он опять отправился на угол Большой и Кирпичного. Та же полинялая, проржавевшая вывеска, та же сырость, затхлость и чад, когда он вошел в заваленную книгами и обрезками комнату. Старик по-прежнему возился около станков, женщина – над плитой.

– Хаима можно видеть?

– Нет Хаима... Нет.

Сережа густо покраснел: Хаим сшивал книги у стола и не поворачивался.

– Нет Хаима и никогда не будет, и больше

не приходи к нам...

Сережа пришел домой, сдерживая просившиеся на глаза слезы обиды.

– Ну и отлично, и больше, пожалуйста, не приглашай его и сам не ходи туда, не стоит, зазнались!.. – говорила мать, – да и, наконец, разве мало у тебя товарищей, приличных мальчиков.

Да, у Сережи было много вполне приличных товарищей, но ни один из них никогда не сумел затронуть Сережину мысль так, как это сделал помимо сознания Хаим. Сережа скучал. Из гимназии, из круга товарищей, из семьи, из привычной обстановки его тянуло туда, в эту суровую, сырую, тесную, чадную комнатку, всю наполненную напряжением неустанного труда, в комнатку, где рождаются такие странные, жуткие, все перевертывающие мысли.

Как-то в саду Сережа снова встретил Хаима. Он шел, отогнувшись, с неизменными книгами под мышкой.

– Здравствуйте, Хаим.

Хаим шел, не отвечая, но Сережа уже не мог оторваться. Что-то говорило ему, что и в

сердце Хаима нет озлобления. Сережа обнял его одной рукой и шел рядом. Хаим торопливо свалил книги, тоже положил руку на плечо Сережи, и они сели на скамью и засмеялись, глядя друг другу в глаза.

– Я тогда был у вас...

– Да... моя мамаша сердчает на вас...

– И моя мама... сердится...

– Моя мамаша не будет долго сердчать,

– И мама тоже.

Потом начались бесконечные разговоры о ветхозаветной и новозаветной истории, о переплетной работе, о бедности, которая заедает всех, кто живет трудами рук, начались разговоры, которые он не вел ни в школе, ни в семье, ни с товарищами, пока, наконец, Хаим не засуетился..

– Ой, поздно как!..

И, торопливо забрав книги, ушел.

XVIII

Сережа сидел на уроке, но парты, кафедра, звуки голоса учителя, неподвижно сидевшие ученики, все куда-то отодвинулось, было далеко, звучало слабо и тускло. Иные мысли, иные картины, представления бродили в го-

лове.

За последнее время Сережа все больше и больше отбивался от школьной жизни, от всего гимназического уклада. И он торопился, торопился приходить в гимназию, торопился скорее начать урок, торопился сидеть на уроке, потому что все это было для него пока, временно, ненастоящее, а настоящее, настоящая жизнь, настоящие слова начинались потом, когда он вырывался из школы и семьи. Тогда приходили новые, особенные, захватывающие мысли, тогда работала голова, раскрывался иной, до сих пор незнакомый мир.

– Сергей Рогов, о чем сейчас шла речь?

Сережа поднялся, делая невероятные усилия вызвать в голове только что сказанные учеником у доски слова, но в голове выплывают и исчезают тысячи слов, только не те, которые нужны. Все поворачиваются, начинают смотреть на него. Ученик у доски выжидательно стоит с мелом.

– Ну вот, сидите и думаете о совершенно постороннем, – скрипучим голосом злорадно говорил учитель, – и результаты налицо: страницы не умеете написать диктанта, что-

бы не наделать кучу ошибок. Вы посмотрите на вашу тетрадь, на что это похоже?

Сережа понуро стоит и тоскливо думает, что еще не скоро конец, равнодушно пропуская мимо ушей скрипучий голос.

– А вот разгуливать любите. По саду гуляет, по улицам, да еще в обществе каких-то подзрительных оборванцев, отрепанных и грязных.

Сережа широко раскрыл глаза.

– На днях прохожу по общественному саду, сидит Рогов на скамье, обнявшись с каким-то грязным еврейским мальчишкой.

Сережа пунцово покраснел, даже загорелись уши.

– Сидят, беседуют, – по-видимому, уже давние приятели.

– На именины его даже к себе приглашает, – услужливо приподымаясь, проговорил один из учеников.

– Этого еще не доставало. Превосходная рекомендация для ученика гимназии. Наконец, что же смотрят ваши родители?.. Между прочим, я уже по этому поводу говорил с инспектором, и вашего отца вызовут сюда для объяс-

нений.

Сереже казалось, все на него смотрят, потому что по всему классу слышно, как бьется толчками, захватывая дыхание, сердце. И он смотрел на учителя огромными, расширенными глазами.

«Нет... нет!..» – хотел он крикнуть, чтобы убедить учителя, учеников, но вместо этого пролепетал полузадушенным голосом:

– Он... мама тоже... мальчик... умный...

Краска досады покрыла лицо учителя.

– Как вам не стыдно?! Стыдитесь!.. Вы – не пригостишка... Вы бы уж заодно со всего города жидов собрали, да и обнимались с ними...

Сережа глубоко и судорожнодохнул; большие и светлые окна в классе вдруг стали ярко-зеленые и быстро побежали, расплываясь оранжево-радужными кругами, и неожиданно для себя, для учеников, для учителя вдруг отчаянно завизжал, на весь класс, как поросенок, которого собирались резать.

С секунду царило изумленное молчание, и, раскрыв рот, сидел опешивший педагог. Ученики повскакали со своих мест, а учитель, за-

хлебываясь, заорал на весь класс, ухватившись обеими руками за кафедру:

– Вон... Вон из класса!.. Вон из класса... К директору!..

Сережа выбрался из-за парты и пошел большими шагами к двери; губы у него дергались, глаза горели злым огоньком и победным выражением удовлетворенной мести. У самой двери повернулся к учителю и, слегка нагнувшись и, чтобы сильнее было, придавив обеими руками живот, завизжал так пронзительно, что у всех зазвенело в ушах.

Бледный от бешенства, повалив стул, с трясущимися руками, кинулся учитель к Сереже.

– Вон из гимназии!!

Распахнулась, захлопнулась дверь, Сережа исчез.

Очерки, фельетоны и корреспонденции

Заметки обо всем*

Нет мест*

Обычная осенняя картина: перед плотно закрытыми дверями стоит серая толпа – прачки с припухшими, растрескавшимися руками; сапожники, от которых пахнет «варом» и выделанной кожей; официанты с печалью на лице от бессонных ночей и вывернутой наизнанку жизни; швейцары, дворники, мелкие чиновники, вдовы неопределенного возраста, торговцы, чернорабочие и между ними белые, русые, черные, кудрявые или гладко припомаженные головки с недоумевающими, – испуганными или веселыми личиками.

И над этой толпой звучит страшное:

– Нет мест... нельзя принять.

Эти простые и страшные слова звучат как приговор.

– Батюшка... – говорит прачка, торопливо моргая красными веками, вежливо сморкаясь

В угол головного платка, – батюшка... мово-то... мово-то примите...

Приговор жестокий и несправедливый!.. Но она хочет смягчить его.

– Мы даже на хороших господ стираем... спросите кого хотите в нашем квартале... премного довольны оставались... Что касательно манишки, плоить – это мы очень даже можем... Тяжело только... конечно... Как вдовой оставшись... женщина, кто захотел, тот обидел... пятеро их у меня... сделайте божескую милость...

Ей мучительно хочется рассказать все, всю ту непокрываемую массу обид, горечи, слез, страданий, тяготы, которая до краев заполняла ее жизнь. Ей кажется, что нужно только приподнять уголок, чтобы это все хлынуло, и переполнило, и затопило, и размягчило самое жестокое сердце, и она торопится, чтобы ее не перебили, рассказывать совсем не относящиеся к делу вещи и еще осторожнее, чтобы не обидеть заведующего, сморкается в угол платка.

А у заведующего играют мускулы лица, стиснуты зубы и хмурятся брови. Он испыты-

вает ту жестокую озлобленность, какую испытывают врачи при виде корчащихся вокруг больных, которым они не могут помочь.

– Не могу принять... Не на голову же я его себе посажу...

– Я только два слова... извините, пожалуйста... ста...

Официант знает, что нельзя распускать по бабьи слюни, но у него ведь тоже жизнь, огромная, спутанная, переполненная горечью, нелепая жизнь; он ведь тоже мучительно растил Гришутку на подачки, на обсчитывание гостей, на обкрадывание хозяина, а теперь приходится отнимать у Гришутки последнее, что он может ему дать – грамоту; он знает, что бабьим многословием тут не возьмешь, и он говорит, наклоняя набок голову:

– Ради бога... прошу вас...

– Я же вам сказал, господа, мест нет... все переполнено.

И толпа, из которой каждый мог бы рассказать о своей жизни столько горя, что хватило бы на весь день, медленно, тяжело, понуро расходится, чтобы на будущий год опять собраться перед заветными дверями.

Перед тысячью маленьких головок захлопнулись школьные двери, тысяча родителей с тяжелым, с больным сердцем увела домой своих безграмотных детей.

В нынешнем году мест в училищах для детей школьного возраста опять не хватило. Ввиду этого на состоявшемся на днях заседании комиссии по приему детей в городские училища решено открыть новые училища и параллельные классы при некоторых существующих училищах.

Городское управление должно сделать последнее героическое усилие, чтобы осуществилось всеобщее обучение, ибо отсутствие его страшнее для города и населения отсутствия всяких метрополитенов.

Даровой труд*

Из всех неправд жизни самая большая, самая жестокая неправда – это когда сильному, здоровому, рвущемуся к труду человеку нет места на арене труда.

– Я молод, силен, здоров, у меня крепкие руки и голова, полная знаний, и я хочу работать.

А жизнь, усмехаясь страшной, слепой, ни-

когда не сходящей с ее лица усмешкой, говорит:

– Ну так что ж.

– Я хочу работать, я хочу тратить энергию, силы, знания, я хочу работать, – жить.

– Так что ж.

– Боже мой!.. Молодость, силы уходят, а я их трачу не на прямой производительный полезный труд, а на то, чтобы, вцепившись зубами и когтями в кого-либо из ближних, столкнуть его и, заняв его место, вместо него трудиться, работать. Ведь это же бессмысленно!

– Так что ж.

Когда в последнем думском заседании поднялся вопрос о гражданке Тютневой, среди гласных распространилось замешательство, растерянность. Почтенные, искусившиеся в обсуждении всяких вопросов гласные вдруг стали шататься, испуганно в недоумении оглядывались, ища опоры. И я с удивлением глядел: отчего это?

История гражданки Тютневой чрезвычайно проста. Гражданка Тютнева в одной из городских больниц девять месяцев работала в

качестве массажистки, надрывалась, отдавала больнице силы, Здоровье... Бывали дни, когда через ее руки проходило по восемнадцати-двадцати больных. И гражданка Тютнева сказала:

– Господа, заплатите мне за мой труд.

Было чрезвычайно просто и понятно: раз человек работал, надо заплатить; но как только она сказала это, все гласные пришли в величайшее волнение, беспокойство и растерянность. И не потому, что гласным было жаль денег, – нисколько, вовсе нет. Я с удивлением слушал, как, заикаясь, путаясь, с растерянными глазами бормотали они: с одной стороны, нельзя не сознаться, что заплатить нужно; с другой, нельзя не признать, что заплатить невозможно. Наконец я понял; в зале почудился страшный беззвучный смех, бессмысленная слепая усмешка:

– Ну так что ж.

– Господа, – говорили гласные, – молодые, только что окончившие, жадные до работы врачи, фельдшера, фельдшерицы, акушерки, массажистки с удивлением видят, что недостаточно только приобрести знания, что надо

еще бороться за право на труд. Но как? И вот они идут в больницы и говорят: «Разрешите нам работать у вас без жалованья. Мы будем работать и терпеливо ждать, быть может, у вас откроется штатное место. Ради бога, рекомендуем нас для частной практики – с голоду умираем. Помимо этого, мы подучимся у вас, а это даст возможность скорее отыскать место». Их пускают. И таких экстернов всегда масса в больницах всех больших городов. Работают они в высшей степени добросовестно, работают годы; намного облегчают труд штатного персонала и... не получают ни гроша. Справедливо ли это? Допустимо ли, чтобы город, большой богатый город, отнимал крохи у слабых, незащищенных, голодных людей, отнимал бы только потому, что они слабы, незащищены, голодны? Как можно пользоваться чужим неоплачиваемым трудом!

Это было просто и ясно, все загомонили, и гласные с облегчением закивали головами; но в зале почудился бессмысленный, жестокий, неслышный смех, и все смешалось, спуталось.

– Так эти люди отдают больницам свой

труд, – вы говорите, – нужно его оплачивать. Посмотрите. Город ассигнует на врачебный персонал определенную сумму. Но вот в больницу является масса врачей, фельдшериц, массажисток. Они работают добросовестно, усердно. Им платят, им отдают все, что предназначено на больничное дело; им отдают все, что ассигнуется на народное образование, им отдают все, что получается с конок, с рядов, с трактиров, да, да, да, это не преувеличение, потому что к вам потянутся и из Петрограда, из Варшавы, из Казани. Они съедят вас.

Да, и это правда, и это жестокая, неумолимая правда, и опять слышится чей-то беззвучный страшный смех, и опять растерянные, сбитые с толку гласные беспомощно озираются, ища выхода.

И чтобы спастись, укрыться от преследующего их злорадного смеха, они перенесли вопрос с принципиальной почвы на чисто формальную и здесь поступили по отношению к г-же Тютневой крайне жестоко и несправедливо.

«Фараоны»*

Часов в девять вечера по одной из центральных улиц г. Таганрога (знаете, на Азовском море?), в сопровождении товарища и слуги-подростка, шел гимназист третьего класса местной гимназии, жизнерадостный, здоровый мальчуган. Навстречу три парня, покачиваются, делают вид, что пьяны. Проходя мимо мальчиков, один из парней, слегка толкнул гимназиста палкой в локоть, и гимназист почувствовал как бы легкий укол. Конечно, не обратили внимания. На другой день локоть вспух, через два дня мальчик, несмотря на усилия врачей, умер от гнояного заражения крови. Родители были в неописуемом отчаянии. За что? за что? за что? Ответа не было, потому что карающий меч Немезиды падает слепо на правых и виновных.

За что убили случайно встретившегося мальчика совершенно не знавшие его люди? А так. Говорят, на палке была насажена булавка, отравленная или загрязненная.

Кто же убил? «Фараоны». Живут они на окраинах, опоясывающих город. Грязь, поголовная безграмотность, ужасающее невежество и ужасающая нищета. Город ничего не

делает для окраин, и они страшно мстят. Вот характеристика «фараона» в одной из местных газет.

«Фараон» особенное удовольствие видит в оскорблении проходящих или в нанесении им физической боли. Если по улице идет женщина, «фараон» сквернословит во всю глотку. Редко бывает, чтобы дети, совершавшие прогулку по улицам, возвращались домой без слез. Того толкнули, и он упал с тротуара; того напугали бранью и криками, третьего просто избили. Ненависть, какую питают окраинцы к центру, проявляется в наивной и дикой форме. Впрочем, это даже не ненависть, это просто дикость, распущенность, окраинская удаль. Посмотрите вы на любого из тех же окраинцев, когда он работает, у вас же или где-нибудь в мастерской, – это совсем другой человек, услужливый, мягкий, корректный. Трудно поверить, что это тот самый, который еще вчера так грубо гоготал на всю улицу, так мерзко сквернословил и толкал во все стороны всех, кто не принадлежит к его компании.

Вы думаете: это в одном Таганроге? Киев-

ские «подкальыватели» приобрели всероссийскую известность. Вот случай из многочисленных в Екатеринославе. В лесу, лежащем недалеко от города, гуляла компания молодых людей и девушек. Выскакивают «фараоны» и начинают беспощадно бить. Все бросились бежать. Одна из девушек упала. Вечером она молча вернулась домой, молча провела два дня и молча умерла.

В Ростове-на-Дону, в сумерки, едет человек на извозчичьих санях. Лошадь в гору идет шагом. Навстречу два парня, напевают, покачиваются; один, проходя, всаживает человеку в спину сапожный нож и идет дальше, так же горланя, не прибавляя шагу. Полиция, крики... За что? Как? Почему? А так: они даже не знают друга друга.

По Юго-Восточной дороге идет поезд, подходит к городу часов в десять вечера. Вдруг в вагон на ходу влетает, разбив вдребезги окно, булыжник, фунтов пять весом. На один дюйм только левее, и череп пассажира, сидевшего у окна, разлетелся бы вдребезги. Поезд пролетел.

За что? Да, за что?

А в Москве громили, веселящие дачников?

«Фараон» подкарауливает вас везде: на улице, в поезде, за городом. Каждую минуту, каждый час могут оскорбить, изувечить вас, ваших мальчиков, оскорбить, изнасиловать вашу дочь, вашу жену. И даже если этого никогда не случится с вами, вы всю жизнь должны постоянно носить с собой страх, холодный, тяжелый страх, что это может случиться каждую минуту.

Полиция то и дело хватает «фараонов», составляет протоколы, передает мировому, следователю, но ведь невозможно же, чтобы полиция нянчила всех детей на улице, караулила по откосам все поезда, провожала всех барышень на прогулку, ходила следом за всеми гражданами, едущими на извозчике. И ведь у «фараона» вовсе не написано на лбу, что он «фараон». Он идет мирно, бьет не спеша вас по физиономии и идет себе мирно дальше или скрывается в переулке.

Наконец его схватят. Что за преступление толкнуть ребенка, плюнуть в лицо женщине, площадно обругать девушку?! Ну, отсидит несколько дней, эка важность!

Я вижу, уважаемый читатель, вы меня слушаете, и глаза у вас становятся круглыми. Это хорошо. Вы теперь видите, что избавиться от этого гнетущего, сосущего страха можно только, сделав из «фараонов» людей путем... путем просвещения, школ, народных чтений, народных клубов, библиотек, читален. Невозможно ведь жить в таком страхе.

Еще о даровых работниках*

Вопрос об экстернах, вызванный историей с Г-кой Тютневой, затронул широкий круг заинтересованных лиц. Редакцией получено по этому поводу интересное письмо, освещающее вопрос с новой стороны

Оказывается, что не в одних только больницах имеются экстерны. С уверенностью можно сказать, что большинство наших солидных учреждений преспокойно пользуется неоплаченным, даровым трудом. Под предлогом предоставления тому или другому кандидату при первой открывшейся вакансии штатной должности принимают его на неопределенный срок в качестве дарового работника. Но вакансия на штатную должность оказывается мифом, ибо всегда на действи-

тельно открывшуюся вакансию найдутся лица с протекцией, и сверхштатному служащему в редких только случаях удастся добиться платной должности. В большинстве же случаев, проработав год, а иногда и больше, измученные, истратившие последние гроши, потеряв надежду, уходят, и снова начинается бесцельное обивание порогов различных учреждений и хлопоты о штатной должности.

Между тем эти приватные даровые, сверхштатные работники ложатся тяжелым бременем на занимающих уже штатные места. Измучившиеся ожиданием, готовые идти на какие угодно условия, они страшно понижают оценку труда. В самом деле, с какой стати платить служащему тридцать рублей, когда тут же имеется пять-шесть человек, уже успевших напрактиковаться, ознакомиться с делом, готовых работать за пятнадцать рублей.

И мелкий служащий не смеет рта разинуть об улучшении своих условий, о более справедливой оценке своего труда. Конечно, разным акционерным законам это только на руку. Страдают не только экстерны, отда-

вая даром свой труд, – страдают и постоянные штатные служащие под давлением первых. Получается замкнутая цепь, безвыходная и тяжелая. Институт экстернов, даровых работников в разных видах является злом.

Война с прислугой*

Маленькое сообщение по телеграфу: «В Ардатовском уезде в семье заводского фельдшера пятнадцатилетняя нянька задушила двух малолетних детей. Будучи арестована, она созналась, что, живя в городе Меленках, так же освобождалась от детей». На подобное же сообщение я натолкнулся как-то из Киева: нянька задушила пятилетнего ребенка.

Эти сообщения поражают своей остротой, экстраординарностью. Но сколько подобных фактов, только не с кровавым финалом, тонут в жизненной сутолоке. Я знал интеллигентную семью; над ее единственным трехлетним ребенком, которым и отец и мать не могли надыхаться, горничная систематически жестоко издевалась. Мать ни на шаг не отпускала от себя сына. В семье жила горничная, которая в редкие отлучки хозяйки вот что про-

делывала с мальчиком: сводила его в темный сырой и холодный погреб, ловила лягушек, которых ребенок смертельно боялся, и сажала на него, а потом запирала его в погребе. Мальчик в смертельном ужасе бился в конвульсиях, как подстреленная птичка. Девушка выпускала его и говорила, что запрет навсегда, если он хотя слово скажет матери. И ребенок, несмотря на все расспросы, ни одним словом не выдал того, что с ним было.

Я смотрел на девушку, когда раскрылась эта история, – ничего жестокого, самое обыкновенное добродушное лицо.

– За что вы мучили ребенка? Вы его не любили?

– Он мне ничего не сделал.

– За что же?

Опустив глаза и перебирая фартук, она пожала плечами. И по совести она не могла ответить – за что. Озлобленная враждебность прислуги всякому знакома. В каждой семье идет война с прислугой. Прислугу стараются обуздать всякими мерами: заводятся рекомендательные конторы, на обязанности которых – наводить справки о поступающей в дом

прислуге; требуют от последней рекомендации с последнего места; немедленно изгоняют за малейшую провинность, ничто не помогает. И не только не помогает, но чем дальше, тем становится хуже, тем больше жалоб на прислугу, тем острее борьба прислуги с хозяевами.

А ведь страшно становится. Ведь наша жизнь переплетается с жизнью прислуги, как нитки в холсте. Вы думаете, вы воспитываете детей? Ошибаетесь. В значительной мере – прислуга. Как бы мать ни смотрела за детьми, устранить абсолютно влияние прислуги физически невозможно уже по одному тому, что она постоянно живет с вами в одном доме. Но ведь тогда, значит, постоянно живешь в доме с врагом? Отчего же это?

– Где помещается ваша горничная? – спрашивал я хозяйку, о которой выше говорил.

– Да с нами же.

– Ну да, а спит где?

– Спит? Спит вот тут же, в прихожей.

– Где же? Прихожая крохотная, и кровати негде поставить.

– Она спит на полу; постелет кофту, накро-

ется платком и спит.

– А если у вас гости, иной раз же сидят и до двух и до трех ночи.

– Подремлет в детской... Да, впрочем, ей тогда и спать нельзя: кто же будет подавать?

– А встает когда?

– В половине седьмого.

– Когда же она спит?

– Так ведь не даром живет, плачу ей.

И это была интеллигентная женщина, обращавшаяся с прислугой «ласково и деликатно». Я уже не говорю о таких семьях, где возвращают женскую прислугу, где не останутся перед грубой бранью, перед пинком. Человеку негде приклонить голову, ни минуты нельзя побыть самим с собой.

Фабричный, чернорабочий, поденщик после двенадцати-, четырнадцати-, шестнадцатичасового труда, как бы он ни был тяжел, принадлежит только себе. Прислуга из двадцати четырех часов в сутки не имеет и получаса, о котором она могла бы сказать: это мой. Ее подымут в любой час ночи, оторвут от обеда, от отдыха. Ее труд не так напряжен и интенсивен, но зато все сутки разбиваются на

бесчисленное множество кусочков, наполненных беготней, суетой, ожиданием, что куда-то пошлют, то-то заставят сделать. Фабричный, чернорабочий через шесть дней тяжелого труда имеют полный, всецело им принадлежащий день отдыха. Прислуга может только отпроситься на несколько часов, урывками, в редкие минуты.

Без угла, без определенного отдыха, в массе встречая к себе отношение, как к получеловеку, эти люди ведут странную жизнь.

А между тем более культурная среда, в которую они попадают, накладывает на них неизгладимый отпечаток. И, наблюдая жизнь «господ», они перенимают не только внешние привычки, не только научаются носить корсеты, кофточки, модные юбки, но и постепенно начинают сознавать свое человеческое достоинство.

В одну интеллигентную семью попала женщина из деревни.

Первое время ее поражала чисто внешняя сторона новой обстановки: чистота, посуда, величина комнат, но потом, когда привыкла, она стала присматриваться к внутренней сто-

роне жизни и, когда уходила, говорила:

– Ишь, барыня, как у вас все по-господски: цельный год живу, ни разу барин вас за виски не дернул, а у нас-то...

И, глубоко подумав, добавила:

– Там уж как хочешь, а не дам теперь своему бить себя.

Но супруг, которому она по возвращении заявила об этом, возмущенный, избил ее. Еле оправившись, она заявила, что уйдет от него, если он посмеет ее хоть пальцем тронуть. Тот избил ее до полусмерти. На другой день ее нашли под сараем на веревке.

Этот рост сознания человеческого достоинства наталкивается на освященную, давностью закрепленную привычку относиться к прислуге, как к получеловеку. И отсюда постоянное озлобленное глухое недовольство, такое страшное внутри семьи.

Пока публика не привыкнет смотреть на выросший слой прислуги как на людей, в полной мере считаясь с этим, до тех пор семья внутри себя постоянно будет чувствовать молчаливого врага.

Бадмаевы*

Случалось ли вам забредать в лесную глушь? Неподвижная тишина. Пахнет прелым листом и плесенью загнившего озера. По поверхности лежат лопухи и кувшинчики. Синее небо с белыми облаками сонно отражается в просветах. Неморгающими глазами смотрит жаба.

И вот рассеянная рука бросит ветку или упадет камешек. И побежит по заплесневшей поверхности, расходясь все больше и больше, морщина. Заколышутся лопухи и кувшинчики, заколеблется синее небо с белыми облаками, а потом снова все успокоится, опять сонная тишина, запах прелой плесени и неподвижно выпуклые жабыи глаза.

И русская общественная жизнь, по крайней мере своей внешней, видимой стороной, производит впечатление такого глухого уголка. Тот же загнивший запах плесени, та же сонная неподвижность, те же нагло выпученные жабыи глаза, и все то же изо дня в день. И вот уронит кто-нибудь слово, факт, сообщение, — и все заколеблется, подхватят и заговорят на тысячу манер.

Обронил кто-то письмом в редакцию жа-

лобу на врачей, что те не допустили лечить больного порошками Бадмаева. И заколыхалось сонное царство и заговорило на все лады: Бадмаев, Бадмаев, Бадмаев.

Посыпались письма в редакции, статьи, одни ругали Бадмаева, другие в телячий восторг от него приходили, но все одинаково кричали: Бадмаев, Бадмаев, И обыватель настораживался:

– Бадмаев... Кто такой Бадмаев?

– Не знаете Бадмаева?! Помилуйте... да это тот... насчет тибетской медицины... удивительно; разрушенные легкие восстанавливает заново, прогрессивный паралич, – понимаете ли, про-грес-сивный паралич излечивает... совершенно!!

Огромная безденежная реклама, помимо воли, создавалась для Бадмаева не только теми, кто кричал о чудесах исцеления, но и теми, кто ругал его. Ибо, когда говорили, что Бадмаев – знахарь, обыватель возмущался: знаем мы эту патентованную науку и ее представителей, сами ничего не знают и из зависти преследуют тех, у кого в руках верное средство.

Между тем господа Бадмаевы приносят обществу огромный вред, и не только тогда, когда отправляют своим лечением на тот свет, но и тогда, когда *вылечивают*.

Книга Вересаева показала, какая густая тьма невежества, суеверия затягивает наше так называемое общество. И в этом отношении по существу оно ничем не отличается от мужицкого общества. И тут и там вера в знахарство, в таинственность с примесью мистцизма. Только у мужика все это проще, незатейливее, а у барина – с известной внешней обстановкой. Не то страшно, что знахарь отправит на тот свет двадцать- тридцать человек, а то страшно, что среди сотни тысяч людей он культивирует мистическую веру в чудесное, что он засоряет головы.

И вот с этой-то стороны и нужно оценивать господ Бадмаевых.

– Но позвольте, – возразят мне, – а если действительно Бадмаев излечивает средствами, научной медицине неизвестными? За что же на него обрушиваться? За что его обвинять?

Бадмаева никто и не винит: он своему сча-

стью кузнец и торопится ковать, пока железо горячо. Но вся тяжкая вина падает на врачей. Они обязаны или воспользоваться драгоценными средствами Бадмаева, или сорвать с него покров так привлекающей таинственностью.

– Легко вам говорить, но ведь без содействия Бадмаева невозможно открыть употребляемые им средства, а ведь его за язык не потянешь.

Это увертка. В Петербурге существуют общества врачей, официальные учреждения. И вот такое общество и обязано было бы официально обратиться к Бадмаеву с тем, чтобы он дал возможность проверить на больных результаты его лечения. Если Бадмаев согласится – медицина, быть может, обогатится великим открытием; если не согласится, – для всех будет ясно, что это лечение – шарлатанство.

Так или иначе общество врачей должно освободить обывателя от удушливой атмосферы таинственности и суеверия, распространяемой господами Бадмаевыми.

Женская доля*

На конгрессе криминалистов обсуждался вопрос о торговле женщинами. Эту торговлю называли позорной, рассказали историю вопроса, который был затронут на международном конгрессе в Будапеште уже в 1897 году, предложили самый факт соращения совершеннолетней женщины с целью разврата считать включающим в себе все признаки юридически наказуемого деяния; одни соглашались, другие возражали; потом за малочисленностью собрания в это заседание решили дело отложить до следующего конгресса; потом заслушивали доклад об упрощенном судопроизводстве по маловажным делам; потом другие доклады; потом осматривали народный дом имени императора Николая II, потом конгресс был закрыт, и участники разъехались.

Я читал отчет, и у меня назойливо и неотступно стояла одна и та же сцена. Я встряхивал головой и никак не мог отделаться, отогнать.

В одном из южных городов мне пришлось как-то зайти в один из участков. Было накурено, пол заплеван, валялись окурки. На лавке

сидел испитой золоторотец в коротеньких штанах, из которых сиротливо выглядывали голые, грязные и, казалось, такие же испитые, как и лицо, ноги. Поставив на пол корзину с огурцами, торговка с красным лицом рассказывала околоточному надзирателю тонким, высоким голосом, как она «посунула» соседку, а та повалилась и переколотила яйца. Входили и выходили городовые, писаря, нагнув над бумагой головы, торопливо шелестели перьями, и в накуренной, прогорклой, тяжелой атмосфере носился говор, восклицания, вздохи и смолистый запах горящего сургуча.

– Да откуда он у тебя, кошелек-то?

– Кто ж его знает, – говорит, собрав брови, с изумлением глядя на кошелек, как на чудо, золоторотец.

– Да кто же знает?.. Ведь он у тебя в кармане найден.

Золоторотец как-то боком смотрит с мрачным укором на свой вывернутый карман, потом лицо его широко и радостно расплывается.

– Подкинули, ваше благородие!..

* * *

- Ты опять пьян?
- Никак нет, вашскб...
- Дохни.

* * *

- Пачпорт почему просрочен?

* * *

– Уберите вы его от меня, окаянного; ведь кажинный день... ноне два зуба выбил...

И среди этого шума, говора, выкрикиваний, отрывочных фраз слышался голос девушки, негромкий, прерывающийся, но почему-то слышный всем, западающий в душу:

– Просватали меня... в деревню за суседа, за Хведора... бедные мы... Маманька говорит: «Пойди, наймись, пост-то послужишь, соберешь себе хочь на юбку с кофтой». Вот на базар-то вышла... много нанимается... барыни ходят с корзинками и без корзинков... нанимают... Подходит одна ко мне, ласковая такая... «Нанимаешься, говорит, поедем, жалованье пять рублей, а дела – только что комнаты приберешь, платье подарю, щиблеты...» Пошла, – она извозчика взяла, приехали, дом хороший. Утром говорит: «Поедем за детьми

в другой город...» Поехали на вокзал, целую ночь ехали... Приехали, большой дом, накормили меня, напоили... одели очень хорошо, а вечером, а вечером...

Она замолчала, торопливо комкая конец платка, взглянула на пристава, быстро потупилась, и большая крупная одинокая слеза упала и скатилась по платку. И почему-то стоявший в тяжелой накуренной атмосфере шум упал, и эти суровые, выдавшие виды люди – писаря, городовые, околоточные, пристав – сумрачно и угрюмо, повернувшись к девушке, слушали.

– Меня в комнате замкнули... вошел купец, пьяный, старый... я вырвалась... в коридор... к барыне... «Дура, говорит, своего счастья не знаешь...» Я упала ей в ноги... я целовала ей руки... обливала слезами ноги... а о... он... а...

* * *

Да, IX международный конгресс закрыт. Теперь будет X. Сколько раз девушки эти, сколько раз за этот промежуток будут валяться в ногах, будут целовать, будут обливать слезами руки, которые душат их счастье, жизнь?!

Студенты*

Русское образованное общество к каждому высшему учебному заведению должно бы относиться, как мать к своему ребенку, прислушиваться к его дыханию, всеми мерами смягчать его нужды, поскольку это возможно, ибо там залог будущего, залог всей судьбы народа.

Что же мы видим в действительности? При платонических симпатиях – довольно равнодушное отношение на деле к учащейся молодежи. Трюизмом стала та полуголодная, усталая, измучивающая, надрывающая жизнь, которую ведет большинство студенчества, задавленное нуждой. И вот то, что это стало трюизмом, избитым, общим местом, что, стало быть, к этому привыкли, что это обычно, ложится несмываемым укором на наше общество. Какое это равнодушное, какое это вялое, какое это черствое общество! На Западе частные лица жертвуют огромные суммы на университеты, у нас что-то об этом не слышать.

Единственным исключением служит Москва, создавшая на частные пожертвования превосходные клиники, целый город. Те

же москвичи ежегодно приходят с широкой помощью студенчеству в моменты взноса платы за лекции.

Но ведь это отдельные моменты в жизни студенчества, а ведь помимо этого ему приходится жить каждый день, каждый день сгибаться под тяжестью нужды, недоедания, надрывающей работы из-за куска. Об этом забывают. Загляните вы на «Ляпинку» в Москве, и вас ужас охватит от той страшной цены, которой покупается молодежью образование.

Вот яркая страшная иллюстрация преступной холодности и равнодушия нашего общества: «за невзнос платы за слушание лекций из Петербургского женского медицинского института исключены *пятьдесят семь* слушательниц».

Пятьдесят семь девушек, с величайшими усилиями попавшие на курсы, исключены! Но как же могло допустить это так называемое общество? Как оно не поддержало, не пришло вовремя на помощь? Ежегодно сотни девушек не попадают в учебное заведение за отсутствием вакансий, а здесь уже попавшие по непростительному равнодушию общества

потеряли, быть может, единственный, уже невозвратимый случай получить высшее образование.

А вот еще характерная иллюстрация нашей чуткости, нашей отзывчивости к нуждам учащейся молодежи.

Уроженка Донской области подает прошение в Петербургский медицинский институт. Там ей говорят: вакансий нет, но если бы вы имели какую-либо стипендию, вас бы приняли.

Та обратилась в донское областное правление с просьбой назначить ей имевшуюся в данный момент свободную стипендию. Там ответили: если вы представите нам удостоверение института о том, что вы приняты, мы дадим вам стипендию. Та бросается в институт, там опять то же: «Примем, если представите удостоверение областного правления о том, что вам дана стипендия». Но областное правление без удостоверения института ни за что не хотело выдать своего удостоверения. И только по личному распоряжению помощника наказного атамана области правление, наконец, выдало это удостоверение. Но это не

конец.

Институт заявил, что в удостоверении не ясно, дана ли постоянная стипендия или временное пособие, и заявил, что просительница будет принята, если областное правление подтвердит, что это стипендия, а не пособие.

Измученная девушка опять бросилась в правление (имейте в виду, что женский медицинский институт находится в г. С.-Петербурге, а донское областное правление в г. Новочеркасске – не больше четырех дней пути по железной дороге), но секретарь его, от которого зависело дать требуемую справку в несколько строк, на дыбы поднялся, наотрез отказался – никаких справок. Человек с университетским образованием. Мало того, он накинулся на своего подчиненного, выдавшего первую справку, и помирился только тогда, когда ему разъяснили, что справка выдана по личному распоряжению самого помощника наказного атамана, но выдать вторую справку все-таки отказался. Не знаю, чем кончилась эта история.

Не правда ли, характерно?

Жалобная книга*

А. С. Серафимович. Собрание сочинений в семи томах. Том второй
М., ГИХЛ, 1959

В петербургских городских больницах решено завести жалобные книги, куда больные и посещающие их будут иметь возможность заносить свои жалобы.

Хорошее дело. Только мне невольно представляется сценка на железной дороге.

– Господин жандарм, дозвоьте жалобную книгу.

– Чего?

– Жалобную книгу, то ись...

– Ступай, ступай, проходи, ишь столпились, публике мешают.

– Да мне жалобную...

– Ну, проходи, протокола захотел.

– Ишь ты, сурьезный, – бормочет рваный полушубок в стоптанных валенках, направляясь к дежурному по станции.

– Господин начальник, дозвоьте жалобную книгу.

– Что такое?

– Жалобную книгу, то ись, на вас жалобу

написать.

– Жандарм, уберите этого субъекта. Чего вы смотрите?

– Говорил, не буянь, не мешай публике. Вот и допрыгался до протокола. Ну и пойдём, пойдём в дежурную. Теперь уже не вывернешься.

Но даже если жалобную книгу можно будет доставать, не боясь протокола, пользы с нее будет как с козла молока – слишком забит и загнан серый обыватель. Если интеллигентный россиянин при столкновениях не умеет отстаивать своих прав, что же требовать от серого человека, который главным образом наполняет больницы? Не в жалобных книгах дело, значение которых при главном докторе сведется к нулю, а в коренной реорганизации всего больничного дела.

Рабочие морильни*

Вопрос об обстановке, в которой приходится работать трудящемуся люду, один из самых больных вопросов. Грязь, сырость, теснота, плохое освещение, отсутствие вентиляции – вот обычные условия труда.

Рабочие каретно-кузнечного ремесла в Ки-

еве обратились к начальнику края с просьбой принять меры к улучшению санитарного состояния их помещений. Киевский губернатор передал эту просьбу городскому голове и вместе с тем указал, что, насколько ему известно, положение рабочих и в других отраслях промышленности не лучше. Помещения, в которых приходится работать рабочим, часто не удовлетворяют самым основным требованиям санитарии и гигиены. Так как киевское городское управление не проявило никакой инициативы в разрешении этого вопроса, путем ли обязательных постановлений, или иными способами, киевский губернатор предложил городскому голове передать на обсуждение думы вопрос о выработке обязательных постановлений по этому поводу.

Городские думы в полной мере заслуживают упрека в игнорировании условий и обстановки, среди которых приходится жить и работать трудящемуся населению. Болезни рабочего класса, сильная изношенность и преждевременная старость – прямой результат этого. Не удивительно, что, вырвавшись из тесной, душной, смрадной мастерской, рабо-

чие заливают себя водкой.

И сколько бы ни строили народных театров, сколько бы ни устраивали чтений, пока рабочий не будет проводить время работы в человеческой обстановке, его не оторвать от водки. Впрочем, не нынешнему составу городских дум решить этот вопрос. Слишком они заняты вопросами исключительно внешнего благоустройства городов, имеющего главным образом отношение к состоятельному городскому классу.

Собачья жизнь*

Когда русский богатырь остановился на распутии трех дорог, он увидел три столба и на столбах надписи: ежели по этой дороге поедешь, сам помрешь; ежели по этой – конь издохнет, а по этой – и сам загниешь и конь пропадет.

Каждый раз, как я сажусь в вагон железной дороги, передо мною мелькают эти роковые надписи на столбах: или голову сломишь во время крушения, или убьют и ограбят в вагоне, или ни за что ни про что оскорбят железнодорожные агенты, или, если так или иначе сам останешься цел, багаж стащат. Од-

ного из этих железнодорожных предопределений не миновать. И жутко становится, когда читаешь мысленно эти надписи, но так как невозможно постоянно носить в себе напряжение страха, понемногу привыкаешь, и когда оглянешься кругом, у всех такие лица, как будто никого не ждет одно из роковых предопределений. Однако, какие бы лица у вышколенных привычкой обывателей ни были, факт остается фактом, и факт – страшный, нетерпимый в мало-мальски благоустроенном государстве.

Почему же не принимаются меры? О, принимаются, очень принимаются.

Вот должен состояться конвенционный съезд представителей железных дорог. На нем ставится более шестидесяти мельчайших вопросов, находящихся в связи с железнодорожным уставом. Тут с глубокомысленным видом будут толковать о зловредном железнодорожном зайце, что с ним нужно делать, какой казни его предавать, раз он будет пойман; как поступить с пассажиром, опоздавшим взять билет в кассе; многое множество других вопросов будут трактовать, от кото-

рых нам с вами, читатель, ни на волос не станет легче. А вот о том, как охранить жизнь, здоровье и имущество пассажира, об этом ни слова.

Почему же так? А очень просто. Поймать и подвергнуть экзекуции зайца сравнительно легко и весьма приятно. А чтобы обезопасить пассажира, надо разрушить, перевернуть целую систему, надо затратить средства.

Отчего бывает крушение? Да это же давно известно: от стрелочника, от телеграфиста, от заснувшего машиниста. Они измучены, истомлены непосильной работой, задавлены нищенским содержанием. Чтобы уменьшить число крушений, надо уменьшить рабочий день стрелочников и других мелких агентов, от которых зависит жизнь пассажиров. Но ведь это денег стоит.

Отчего пассажир, раскрывая дома чемодан, с вытянутым лицом видит вместо белья, платья, вещей – кирпичи, камни, дрова? Да опять-таки оттого, что кондуктора и другие железнодорожные агенты, задавленные нищетой, идут на риск быть пойманными: в то время как пассажир покачивается на диване

в вагоне, отпирают подобранным ключом чемоданы, выбирают ценные вещи, а туда на память кладут кирпичи.

Дайте этим людям возможность вести человеческую, а не собачью жизнь, обеспечьте их, выведите их из положения, когда терять нечего, и они будут дорожить местом, и они не пойдут на риск преступление

Но ведь все это стоит денег. А деньги – это дорогая штука, очень дорогая, гораздо дороже голов и имущества обывателей.

Фабрика инвалидов*

М., ГИХЛ, 1959

Существует страшный закон: чем тяжелее, чем неприятнее, чем изнурительнее труд, тем он хуже оплачивается, И не только хуже оплачивается, но и происходит в условиях, в обстановке тем более тяжелых и разрушительных для здоровья.

Отчего?

На это нет ответа. Это – одна из жестоких бессмыслиц строя. И это всегда и везде. И потому, что это всегда и везде, мы к этому привыкли и равнодушно проходим мимо тысячи

тысяч трудящихся в такой обстановке, что если бы мы заглянули, ужас бы охватил. Но мы не заглядываем: всякому ведь хочется жить спокойно, никому не хочется отравлять себе жизнь. И только случайно всплывший отдельный факт заставляет обратить на себя внимание, а мы с удивлением смотрим широко раскрытыми глазами.

В главной бухгалтерии Харьково-Николаевской железной дороги была страшная комната – камера для заражения туберкулезом. Из году в год люди приходили в эту комнату, служили, работали, заражались, теряли способность к труду, сваливались и умирали. И это было так же обычно, как для нас с вами ежедневно просыпаться утром, пить чай, читать газету, ходить на службу, в театр, ездить по железной дороге. Здоровые, цветущие люди шли в эту комнату с тем, чтобы через несколько месяцев, много через год, через два, превратиться в измученного, исхудалого, с восковым лицом инвалида, не способного к работе, с голодной семьей на руках.

Ужас увеличивался тем, что шли и знали, что ждет впереди. Старший врач дороги кате-

горически настаивал на выселении служащих из этой комнаты, так как никакая дезинфекция в данном случае не могла уничтожить этого рассадника туберкулеза, но железнодорожное начальство не нашло возможным сделать этого по соображениям... по соображениям экономии.

Восемь человек заразилось. Наконец один из них предъявил иск к дороге в семь тысяч восемьсот рублей за утрату трудоспособности, и история всплыла на свет.

Вы говорите – факт, невероятный по своему жестокосердию, факт исключительный. Но я думаю, центр тяжести вовсе не в бессердечии, не в жестокосердии железнодорожных заправил, выжимающих экономию ценой жизни служащих. Не надо быть институткой. Сотни тысяч людей работают в горших условиях, и никто об этом не говорит и не кричит, ибо к этому привыкли. И если чем выделяется, обращает на себя внимание данный случай, так это разве попыткой служащего до известной степени вознаградить себя за потерю трудоспособности, попыткой возмездия за бездушие и жестокосердие.

Доверчивый читатель*

Известно, что печатный лист, независимо от содержания, вызывает со стороны большой публики известное почтение к себе. Самый факт, что мысли облечены в доступную видимую форму и запечатлены привычными значками, придает им особенную ценность. Для массовой, все возрастающей публики – это известного рода гипноз. Разумеется, всегда находились лица, эксплуатирующие эту особенность читающей публики.

Мы хорошо знаем типы бульварной прессы: кровавые убийства, грабеж, насилия, невероятные происшествия, лубочные романы, гоготанье по поводу всего, к чему только прикасается перо лубочного писателя. Но...tempora mutantur et nos in illis mutamur[2]. Читающая массовая публика незаметно уходит вперед. Два ее требования постепенно определяются: она не удовлетворяется лубком, она переросла его, ей нужно нечто не такое грубое, более тонкое, изящное, и она жаждет знания. Она, это спавшая до сих пор публика, хочет знать, учиться, она хочет широко раскрыть сомкнутые до сих пор глаза на мир.

Сейчас же к ней подлетают дельцы: «Извольте-с», – и открывают на странице журнала или газеты публичный дом форменно, с красными фонарями, с полуголыми девицами, с тапером, но не такой, в который ходят извозчики, дворники, а с обстановкой, с недурными картинами, девицы не сквернословят, выражаются литературным языком.

Когда молодой человек рассказывает нам на страницах журнала, что он захотел быть мужчиной и отправился в Японию, и рассказывает, как он там с японками, и какое у них тело, и что они его бросали в жар, а потом приелись, и он стал мечтать о «полногрудых северянках», вы, хотя и чувствуете, что тут красные фонари, но ничего себе, ослабляйтесь во всю физиономию:

– Ишь ты, каналья!..

И вот прежний лубок, грубая порнография сменяется порнографией более изысканной, порнографией обстановочной, с хорошей печатью, с недурными картинками, с гладким литературным языком.

Как я уже сказал, в теперешнем массовом читателе растет жажда знания. Дельцы сию

же минуту утилизируют это стремление. Добывают профессорские имена, добавляют к ним сотни премий, и насос для откачки подписных денег готов.

Один из подписчиков «Самообразования» письмом в редакцию горько жалуется на журнал.

Журнал этот, вооружившись, как тяжелой артиллерией, именами профессоров и ученых в качестве редактора-издателя и сотрудников, стал стрелять по подписчикам необыкновенно красноречивыми обещаниями и настрелял их целую кучу. Он счел, что миссия его окончилась, дал из 19 обещанных премий 6 и успокоился. Номера доставлялись неаккуратно или совсем не доставлялись, на письма контора не снисходила отвечать.

Так как дичь была напугана пальбой и нужно было переменить орудие или, быть может, других дельцов завистью лукавый мучил, только появилось широковещательное объявление о выходе нового журнала: «Вестник и библиотека самообразования». Приемы те же, те же громкие имена в качестве руководителей и сотрудников, та же масса прило-

жений, та же широкая программа.

Подписчику, как пуганому зайцу, приходится озираться во все стороны: положение его тем затруднительнее, что весьма почтенные профессорские имена вольно или невольно помогают уловлять в тенета подписки в достаточной мере обстриженного и общипанного зайца.

Но одно такое чистенькое, хорошенькое дельце сорвалось. Некий господин Сенигов, приват-доцент, соорудил огромный невод, назвал его «Саморазвитие», насажал туда, в виде приманки, профессора Глазенапа, сенатора Фойницкого, писателя Вейнберга и других, за *шесть* рублей подписной платы обещал премий на *шестьдесят* рублей и уж совсем собрался забрести и вытащить богатейший улов, как вдруг... невод прорвало, и едва ли теперь хоть одна рыбина попадет. Господа Глазенап, Фойницкий, Вейнберг заявили в печати, что с изумлением увидели свои имена в объявлениях о выходе «Саморазвития», что они категорически отказались сотрудничать в этом журнале... А счастье было так близко, так возможно! Невольно возникает вопрос:

почему же невода, именуемые «Самообразованием» и «Вестником и библиотекой самообразования», поддерживаются и направляются почтенными именами, которым доверяет публика? Почему на обложке журнала с двумя красными фонарями красуются имена писателей, которых публика привыкла уважать и ценить?

Брачные вагоны*

Удивительно, как публика, общество и выразительница его, пресса, бывают несправедливы, упорно, слепо несправедливы. Уже если задолбят что-нибудь, так хоть кол на голове теши.

Задолбили и общество и пресса, что наши железные дороги смотрят на пассажиров как на сельдей, как на дойных коров, как на тюки товара. Но ведь это же явная несправедливость. Ведь что там ни говорится, а железнодорожное дело у нас улучшается, удобства для пассажиров увеличиваются.

Вот, например, прочитал я как-то (признаться сказать, слеза даже прошибла), – прочитал я, как одна дорога до такой степени о пассажире заботилась, покою не знала, что

даже отдельный вагон завела для... новобрачных. Невеста в светло-небесно-голубом, стыдливый румянец на щечках, потупленный взор, жених – усики хвостиками кверху... и отдельный вагою.

Вы видите, до какой степени народ-то тонкий в управлении сидит, тонкий, деликатный, понимающий народ. Ведь это не просто: выстроили вагон, да и баста. Нет, тут понимание нужно, тонкое, джентльменское понимание, это – деликатность особенная. А публика только и знает, что на все корки ругает и злословит железнодорожников.

Хлебные залежи оскомину набили. А теперь вот в газетах появились ядовитые заглавия – рабочие залежи. Да, да, рабочие залежи. Вокруг вокзалов целый лагерь оборванных, полуголодных людей, тщетно ждущих отъезда, проедают последние крохи, мерзнут, дрожат под открытым небом, уныло бродят вокруг – вокзалы, конечно, не вмещают всей этой «рвани».

Видел я эти залежи. Неприятный, знаете, народ: серые, в лохмотьях, грубые, ждут и, представьте, возьмут да напьются пьяные, бу-

нянт. Скверный народ, грязный народ.

И ведь как их много! как блохи лезут. Не удивительно, что для них вагонов не хватает и вокзалы их не вмещают.

Да, наконец, что сделается этой «рвани», если она и поваляется на выгоне? Не сахарная – не растает.

Но ведь это-то и удивительно. Ведь вот о брачных вагонах никто не заикнулся, а вот там каким-то пьяницам приходится подождать каких-нибудь пять-шесть дней – газеты гвалт поднимают.

Это уж гипноз какой-то, это уж, значит, прут, закрывши глаза, ничего не разбирая; это просто избитый шаблон, по которому требуется во что бы то ни стало ругать железные дороги и замалчивать все светлое, что там есть.

Миловидное личико девушки, румянец, усики хвостиками кверху (у жениха), ну... ну и, конечно, деньги (кто же без денег брачное путешествие совершает!) – и, с другой стороны, голодранцы, грубые, горластые, голодные, часто пьяные.

Газетчики, да поймите же вы наконец раз-

ницу, освободитесь от гипноза, будьте справедливы и не закрывайте глаза на «светлые явления» в нашем железнодорожном мире!

Золотой телец*

Недалеко от Азовского моря в донских степях стоит город Ростов-на-Дону. Это – американский город по своему чудовищному росту в предыдущие десятилетия, по своим торговым оборотам, по своим особенностям. В узле железных дорог, на судоходной реке, в центре богатейшей хлебородной местности, он ворочает огромными капиталами. Это город чистых буржуа.

Прасолы, мелкие торговцы, мужики в лаптях, авантюристы, поденщики, люди с темным прошлым лет тридцать – сорок тому назад пришли искать сюда счастья. Теперь эти господа ходят во фраках, в цилиндрах, ездят на резинах, обучают детей в высших учебных заведениях. Выросши из ничтожества в миллионеры, эти люди поклоняются только одному богу, признают одного повелителя, ищут одного счастья – деньги. Здесь все покупается: любовь, дружба, знакомства, человеческие отношения. Без традиций, без прошлого или с

прошлым, которое всеми силами стараются забыть, эти люди, собственной жизнью познавшие всю колоссальную власть денег, иначе ни к чему и не могут относиться.

До какой степени безраздельно царствует здесь золотой телец, ничем не осложненный, не прикрытый, показывает участь попадающих сюда так называемых интеллигентов – людей свободных профессий, с высшим образованием. Могучая среда неотразимо нивелирует их, и через два-три года большинство из них становится в полном смысле аборигенами города.

Мне бы не хотелось, чтобы читатель думал, что я преувеличиваю, что это – карикатура. Везде деньги – господа, но в центральной России трудно представить себе город, подобный Ростову-на-Дону.

Это город буржуа, русских буржуа. Он в этом смысле ярко типичен, и потому я на нем остановился. Нигде особенные свойства русского буржуа не доведены до такой крайности, как здесь.

Здесь все для состоятельного класса и ничего для населения в широком смысле слова.

Прекрасные мостовые, электрическое освещение, широкие панели, бульвары, многочисленная ночная стража безопасности, помимо полиции, в центральной части города, где живет денежная знать, и ужасающая невылазная гомерическая грязь в остальной части, кромешная тьма, – и в этой тьме режущие душу крики «караул»... ограбляемых и убиваемых обывателей. Прекрасный театр с такими ценами, которые исключительно допускают туда богатых, и отсутствие в полуторастатысячном городе с огромной массой рабочего населения даже народных чтений. Развитая пресса, как орудие в руках табачных фабрикантов, хлебных маклеров, банковских дельцов.

Разврат утонченный, дорогой, требующий сотен, тысяч, десятков тысяч рублей, возведен здесь в культ, и едва ли где в таких размерах практикуется торговля невинными девушками, как здесь.

Люди, дорвавшиеся до денег, до общественного положения, до власти, даваемой миллионами, жадно и грубо спешат взять от жизни все, что можно.

Во всех проявлениях ростовец остается верен себе. Он жертвует на построение церкви, начинает строить, и на постройке из стекающих пожертвований ухитряется выколлотить себе хороший барыш. Съедаемый тщеславием, в погоне за орденом, медалью, он жертвует на городскую больницу тысячи, десятки тысяч рублей, строит павильоны своего имени, больница гремит на всю Россию, но здесь нет ни капли прочного общественного элемента. Это прихоть тщеславного миллионера, и ныне та же больница в одном из богатейших городов представляет нечто ужасающее: чудовищно переполняющие ее больные лежат вповалку на вплотную сдвинутых по всей палате кроватях, как на нарах, лежат в коридорах, лежат на полу, негде ступить, задыхаются в промозглом воздухе. Дети, заразные, хроники, старики перемешаны, как сельди в бочке. Да иначе оно и не может быть, раз отрасли городского хозяйства зависят от частной благотворительности, от каприза частного лица, а не от общественного управления.

Те же самые миллионеры, из среды кото-

рых находились жертвователи на больницу, теперь беззастенчиво эксплуатируют эту больницу. Фабриканты, заводчики обязаны иметь для своих рабочих больницы. Они и имеют, только рабочих-то туда не пускают, и они направляются в городскую; таким образом, собственные больницы требуют от фабрикантов и заводчиков ничтожных расходов, а городская превращается в трущобу.

Поставщиками в городскую больницу являются гласные думы, и цены достигают чудовищных размеров.

Иного невозможно, впрочем, и ожидать, раз вершителями судеб города является кучка буржуа чистой воды и раз все остальное население отодвинуто от общественного управления. Ростов-на-Дону является типом, портретом вообще русского города, только портретом неподкрашенным, голым.

Слепая кишка*

Язык, как и все органическое, растет, развивается. Рост и развитие его заключается в том, что, упрощаясь технически, он становится совершеннее, как орудие передачи наших мыслей. Наш язык за два текущие столетия

стал неизмеримо гибче, послушнее в выражении понятий, богаче оттенками, и в то же время пропали всякие юсы, давнопрошедшие и прочее.

Но это развитие, как и развитие органического мира, вовсе не идет гладко, без сучка и задоринки. Когда у животного становится бесполезным какой-либо орган, он постепенно атрофируется от неупражнения, но еще долго живет на организме, как ненужный придаток. Человек без толку, неизвестно зачем таскает в себе никому не нужную, бесполезную, часто вредную слепую кишку.

То же самое с языком, с технической его стороной. Разные эти буквы: ять, ер, фита, двойные буквы и многое другое давно сделались слепой кишкой, а мы их таскаем, неизвестно зачем и для чего. Припомните только, какую массу труда вы отдали в детстве на усвоение, на закрепление этой кишки.

Мир так сложен, богат, разнообразен, детская душа, как губка, жадно впитывает все живые его впечатления: нельзя терять ни одного дня, ни одной минуты, ибо детство промелькнет неуловимой чертой, а мы нагружа-

ем его мертвым бесполезным грузом и медленно и уныло заставляем влачить. В сутолоке повседневной жизни мы забываем об этом, но когда приходится встречаться с детишками, с широко открытыми, непонимающими глазками, долбящими никому не нужные вокабулы; когда встречаешься с учителями, с тоской вбивающими в их головы эти вокабулы, с изумлением останавливаешься перед колоссальностью этой нелепости.

В обществе, в печати не раз подымался вопрос по этому поводу. Между прочим, московское земство в последней сессии подняло вопрос об упрощении преподавания грамматики. Вопрос этот не обсуждался в силу чисто внешних причин. И там люди с изумлением останавливались перед колоссальностью бесполезной, никому не нужной траты детских сил.

Возражат: и зачем огород городить, раз это остается голосом вопиющего в пустыне? Да, сильна и крепка слепая кишка, но... *gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo*[3].

Дети*

Скучные, скучные, серые, мертвые дни. Вчера, как сегодня; сегодня, как завтра. Класс, потом дома обед, потом надо садиться за уроки. А уроков много, а уроки трудные. Чтобы выучить добросовестно, надо сидеть до десяти, до одиннадцати часов ночи, надо встать утром пораньше и повторить.

И потому, что их много, и потому, что они трудные, учить не хочется. Хорошо бы теперь выбраться за город, в лес, на озеро. Нельзя, не пустят, надо учить. И все кругом такое обыкновенное, такое скучное, такое будничное – стены, обстановка, прислуга.

Но, как птица из клетки, детский ум и воображение рвутся из серой будничной жизни. Ведь есть же какая-то иная, яркая, живая жизнь, сверкающая, как на солнце поверхность бегущего ручья. Уже по тому одному она есть, должна быть, что неудержимо рвется, жаждет и тянется к ней, как чашечка цветка к свету, детская душа.

И это неудержимое стремление к иной, бьющейся, живой жизни непременно должно так или иначе найти выход, так или иначе разрешиться. Разрешается оно тройко.

Все ребяташки распадаются сообразно этому на три части: две большие и одна маленькая. В первой части детишки, задавленные семьей, школой, всей будничностью окружающей обстановки, забывают о той особенной, яркой, зовущей их жизни, делаются серыми, будничными, благонаправными детьми. Порядочно или даже хорошо, с наградами учатся, порядочно ведут себя. Потом вырастают, делаются серыми, порядочными врачами, юристами, пьяницами, общественными деятелями, рожают детей, стареются и, когда кому придет черед, помирают.

Ребяташки второй большой группы не могут отказаться от исканий живой жизни, не могут помириться с серыми домами, с серыми улицами, с серыми лицами, с серыми человеческими отношениями, они забываются в серой будничной атмосфере. Но они не могут преодолеть замыкающую их серую обстановку, у них наследственно не хватает дееспособного начала, и они, не будучи в состоянии подавить в себе неутолимой жажды иной, яркой жизни, спасаются суррогатом ее. Детская душа начинает развиваться криво.

Напряженно, в ущерб другим способностям, работает воображение. Ребятишки, сидя в комнате, скрываются в степи и *лесах* героев Майн-Рида, Фенимора Купера, скитаются по морям и океанам с Жюль-Верном, взбираются на неприступные горы, исследуют непроходимые пустыни, блуждают по тропическим лесам, сражаются с дикарями, охотятся, спасают несчастных, не отрываясь от книги. Воображение гипертрофируется, становится изумительно ярким и болезненно-чувствительным. Стоит только взяться за книгу, как ребенок переносится целиком с головой, ногами и телом в совершенно иной мир. Семья, школа, все окружающее перестает для него существовать. И из этого мира их невозможно извлечь ни наказаниями, ни уговорами.

И эта группа в конце концов вырастает, дает юристов, врачей, пьяниц, общественных деятелей. И все это хорошие и милые люди, и они хотят и обществу и человечеству принести только одно хорошее, но они живут только воображением. В воображении они перестраивают общество на новый лад, в воображении они борются, в воображении они

влюбляются, в воображении они развратничают. Способность считаться с действительностью, с фактами, способность к реальной борьбе у них атрофирована. Действительности у них нет, весь мир у них в голове.

Это несчастный народ, большей частью пессимисты-неврастеники. И они рожают таких же пессимистов-неврастеников, которые так же будут жить одной головой, воображением. И сколько их на святой Руси! И никому не приходит в голову, что еще в детстве их свихнуло лучшее, что есть в человеке, – жажда выбиться из сумерек повседневной жизни, жажда чего-то иного, яркого и светлого.

Третья категория – самая маленькая и самая замечательная. Эти детишки не выносят ярма серых будней, но и призрачные картины воображаемых приключений их не удовлетворяют. Они жаждут факта, действительности, они жаждут реальной траты детских сил. Они бегут в Америку, к бурам, на Кавказ, еще с детских лет они широко обнимают мир.

Они тоже вырастают и входят в жизнь действительными агентами. Если они борются, они отдают жизнь в борьбе. Это люди факта, люди

реальной силы. Это созидатели или разрушители. О них нельзя сказать, что это только порядочные люди.

На московской станции Московско-Киево-Воронежской железной дороги был задержан за кражу трех лопат бедно одетый мальчик. Под пальто обнаружили гимназический мундир. Мальчик оказался гимназистом третьего класса. Он захотел изучить быт босяков, бежал от родителей, пытался собирать милостыню, ему не давали, и он с голоду украл три лопаты.

Бедный мальчик! С большой вероятностью можно предположить что он принадлежит к третьей группе. А ведь третьей группы не любят, она доставляет наибольшее число исключенных.

Скандал в благородном собрании*

Московские журналисты собрались для обсуждения проекта устава предполагаемого общества писателей.

Сначала шло все чин чинком: председатель, звонок, прения, страсти, взаимные колкости, но все это в более или менее парламентских формах. Редактор-издатель «Русского листка»

Казецкий вкупе с «знаменитым» русским публицистом Сергеем Шараповым, поддерживаемые ратью сотрудников «Русского листка», пытались сорвать проект.

Конечно, *прямо* этого на собрании не говорилось, но все доводы, приводимые Казецким и его присными, а также предшествовавшие этому статьи в «Русском листке» ясно и определенно говорили, в чем секрет. Казецкому чрезвычайно не нравилось учреждение в будущем обществе суда чести, или «самосеки», как говорил Казецкий.

Почему?

Казецкий и его рать требовали обсуждения проекта в целом и, по особым соображениям, закрытого голосования по поводу этого проекта.

Зачем понадобилось закрытое голосование? Расчет был простой: можно было надеяться, что против проекта с его судом чести будут голосовать не только подчиненные Казецкого, но и кое-кто из представителей других изданий, которые не посмели бы сделать этого в открытом голосовании, так как ведь и вопрос о суде чести и весь проект были прин-

ципиально одобрены. Собрание и новое обсуждение уже рассмотренного проекта и тайное голосование по этому поводу отклонило.

Взбешенный и все время говоривший дерзости и председателю и членам собрания Казецкий потерял голову и цинично бросил всему собранию оскорбительную брань.

Весь зал дрогнул от негодующих криков.

– Вон!.. вон, Казецкий!.. вон из собрания!.. Исключить... на баллотировку!..

Присные Казецкого, между которыми было несколько дам, бросились бежать. Они попали в щекотливое положение: голосовать против Казецкого нельзя – он хозяин, голосовать за – невозможно, ввиду его дикого, из ряда вон выходящего поступка. Они предпочли скрыться, а Казецкий сидел и... курил папиросу.

– Кто за исключение гражданина Казецкого из собрания – прошу встать.

Весь зал поднялся, за исключением двух.

– Гражданин Казецкий, ввиду постановления собрания, прошу вас оставить зал заседания.

Казецкий вышел.

Во всяком собрании возможен скандал, но в данном случае инцидент важен не столько сам по себе, сколько как некий показатель.

Присматриваясь ко всему, что произошло, думается, что иначе и не могло кончиться. Газета – это сотрудники. Если вы в газете встречаете определенное направление, определенную оценку вещей, так ведь это же не бумага говорит, это *люди* говорят. Если в газете вы встретите ни перед чем не останавливающуюся наглость, ложь, доносы, развращение читающей публики, так во всем этом не бумага повинна.

Теперь мысленно представьте себе характеристику всех московских газет, а они все были представлены, – ну и... подумайте.

Рабочих не пускают*

Я как-то писал о том, как ловко фабриканты и заводчики города Ростова-на-Дону обходят закон, повелевающий при каждой фабрике и заводе с известным числом рабочих иметь больницу. Фабриканты больницы имеют, но рабочих туда... не пускают. Рабочие и переполняют городскую больницу, что вызвало даже вмешательство администрации в ли-

це областного врачебного инспектора.

Оказывается, ростовцы являют собой только типический случай; все российские предприниматели, во главе с железнодорожными управлениями, всячески стараются свалить дело врачебной помощи на самих рабочих. Недавно последовало весьма важное сенатское разъяснение.

Управление Риго-Орловской железной дороги под шумок стало взыскивать расходы за лечение с железнодорожных агентов, служителей и рабочих. Некоторые запротестовали, и ныне сенат разъяснил, что все находящиеся на службе железной дороги, начиная с высших агентов и кончая низшими служителями и рабочими, должны быть совершенно освобождены от всяких сборов на дело медицинской помощи, так как железнодорожные управления на свой счет должны содержать больницы.

Мало того. От платы за лечение освобождаются не только служащие и рабочие, но и члены их семейств.

Разъяснение это вполне ясно и определенно ставит вопрос, но как все это будет осу-

ществляться на деле, и не найдут ли предприниматели лазеек, как ростовцы, – другое дело.

Кавказские разбойники*

Все дала судьба: удивительную природу, климат, плодородие, неисчерпаемые минеральные богатства, птичье молоко. Человеку бы только жить да радоваться. А он не только не радуется, он страдает, мучается бессмысленно, неизвестно зачем,

Это Кавказ.

Всем известно гомерическое разбойничество на Кавказе, разъедающее и опустошающее край. Это огромный фактор, оказывающий чрезвычайное влияние на экономическую жизнь населения. И если бы подсчитать то, что расходует население на собственное содержание, на подати и на содержание и поддержание разбойничества, то результат подсчета поразил бы огромностью последней цифры. Разбойничество опустошает чуть не целые области, приостанавливает переселения, убивает всякую инициативу в хозяйственной области. Это ужасная, роковая язва, не только не заживающая, но все глубже и шире расселяющаяся по телу населения.

Что же, мер не принимается, что ли, в борьбе с разбойничеством? Принимаются самые энергичные, самые строгие меры. Разбойников ловят, судят, сажают в тюрьму, отправляют на каторгу, но на место каждого пойманного разбойника становятся два новых.

Что же за причины? А вот маленькая иллюстрация. На Кавказе встречаются громадные территории без единой школы, без *единого* грамотного человека. Когда получается письмо, надобно ехать за пятьдесят – семьдесят верст, чтобы добыть грамотного человека или чтобы попасть в деревню, где есть церковь и где письмо прочтет священник. В одном уголке Кавказа в громадной округе жил всего один грамотей, да и тому было сто лет, и он был глухой и почти слепой. Между тем население рвется к грамоте.

На Северном Кавказе в прошлом году обнаружилось среди туземцев массовое переселенческое движение: тысяч десять обоего пола переселились в Турцию. Условия жизни в Турции оказались еще горшими, началось обратное переселение в Россию, но, несмотря на

этот горький урок, выселение с Северного Кавказа в Турцию не приостанавливается. Причиной этого служит крайняя ограниченность наделов в горах и тяжелое экономическое положение. Вот эта-то причина в связи с народной темнотой и служит почвой, питающей разбойничество.

Закон Плевако*

Дуракам и гениям закон не писан. То, за что заклеямили бы обыкновенного среднего человека, совершенно сходит с рук людям силы, поскольку эта сила проявляется в тех или иных выдающихся их качествах. Это – на каждом шагу.

Вы хотите доказательств?

В Новочеркасском окружном суде разбиралось дело о коннозаводчике Королькове. Обвинительный акт передает следующие подробности. Рабочий Карпенко пустил на землю коннозаводчика Королькова волов. Корольков задержал волов. Карпенко явился к Королькову и стал просить возвратить волов, а Корольков стал бить его. Он бил его по шее, бил о землю, за волосы, бил по-китайски тяжелой чабанской палкой по пяткам, а когда

устал и перестал бить, Карпенко лежал на земле с отнявшимися руками и ногами, – у него был паралич от разрыва вещества спинного мозга. Через три дня Карпенко умер, а Корольков попал на скамью подсудимых и... выписал себе Плевако.

На суде вполне выяснилась сцена убийства, да и Корольков не отрицал этого факта, и только говорил, что произошла маленькая ошибочка: он хотел *избить*, но не *убить*.

Король русский адвокатуры тонко наводящими вопросами старался выяснить, не получился ли разрыв вещества спинного мозга просто вследствие падения с высоты, или не перекусил ли себе Карпенко сам спинной мозг. Но, несмотря на вдохновенную речь художника-оратора, суд приговорил Королькова к восьмимесячному тюремному заключению за убийство без заранее обдуманного намерения и к церковному покаянию.

В Ставрополе-Кавказском разбирался надеждавший на всю Россию шум процесс миллионера Меснянкина. Служил у Меснянкина некий Суббота, служил верой и правдой, наконец, пришло время ему отправляться на ро-

дину к семье, ради которой он далеко на чужбине работал не покладая рук.

– Пиши расписку, – проговорил Меснянкин, доставая деньги. Суббота написал, что получил двадцать рублей, и подал расписку. Меснянкин спрятал расписку и... деньги и проговорил:

– Теперь убирайся к черту.

И пошел Суббота, не получив ни гроша из потом и кровью заработанных денег, а миллионер Меснянкин разбогател ровно на двадцать рублей. Так бы эта история и канула, если бы не нашлись люди, которые встали на защиту обобранного Субботы. Меснянкин попал на скамью подсудимых за мошенничество и... выписал Плевако.

Титан русской адвокатуры, если не разрушил обвинения, то вырвал из мировых учреждений и затянул дело, и все думали, что оно сведено на нет, но и конце концов Меснянкин был приговорен к двухмесячному тюремному заключению.

Ну, так что же такое? Плевако не совершил ничего дурного не только формально, но и по существу. Ведь каждый обвиняемый, какое

бы он преступление ни совершил, имеет право на защиту, на этом зиждется сущность нашего судебного процесса, заключающего в себе элемент состязательности.

Две правды есть на свете, читатель: одна – писанная, другая – неписанная. За несоблюдение писанной правды виновные караются каторгой, тюрьмой, ссылкой, лишением прав. За несоблюдение неписанной правды люди могут только сказать: вы поступили нечестно, несправедливо, жестоко.

Но если бы все руководствовались *только* писанной правдой, давным бы давно мы друг другу перегрызли горло на... законном основании.

Писанная правда необходима, но это – застывшая, остеклевшая правда, не охватывающая всей жизни, живой, изменяющейся жизни, во всем ее объеме, во всех ее изгибах; неписанная правда сама жива и тончайшими извилинами проникает всю нашу жизнь, наши поступки, наше сердце, наши отношения.

И вот против этой-то правды, против этой живой правды Плевако и преступил.

Почему?

Надо только представить себе эти степи, этих людей, живущих в этих степях, их быт, нравы, мировоззрение – жестокие, грубые, не знающие пределов своему произволу. Рабочий для этих людей – хам, вьючное животное, которое не должно выходить из-под кнута. Вышибить зуб, своротить скулу, раскровянить лицо чабану – то же, что выкурить папиросу. Это делают даже не в сердцах, не в раздражении, а так – мимоходом, потому что рука «чешется». Сколько убийств, сколько увечий молчаливо таит безграничная степь, по которой крутятся горячие смерчи, ходят бесчисленные отары овец и табуны лошадей.

У себя на зимнике коннозаводчик – полномочный князек, вольный в животе и смерти тех, кто бережет его овец, кто ходит за его лошадьми и скотом. До города, до станции «три года скачи, не доскачешь», да и кому охота связываться и поднимать историю. Своя рубашка ближе к телу.

Но вот убийство или бесчеловечное избивание всплывают. Власти извещены, начинается следствие.

Так что же такое? Эка невидаль... Из-за это-

го хамья да еще беспокоиться? Телеграмму дать Плевако.

Сколько за выезд? Три тысячи... Не едет? Пять. Мало? Ну, восемь, десять, наконец, эка невидаль – нашему брату это просто тьфу!

Вся округа взволнована.

– Слыхал? Тянут ведь соседа-то за хама за этого, за самого.

– Пожалуй, плохо придется – убийство.

– Пустяки, ничего не будет! Плеваку выписал.

– Ну-у?! Неужто выписал?

– Выписал.

– Ну, значит, ничего не будет. – Конечно, ничего.

Здесь царит непоколебимая уверенность, что законы пишутся для того, чтобы обходить их.

Плевако своей известностью, своей славой, своим обаянием, своим авторитетом только поддерживает эту уверенность. Деньги есть, значит – чист. Подумайте только, какую жизнь, какие нравы, какие отношения создаст эта уверенность.

Но позвольте, скажут, а обвинительные

приговоры?

Ничего не значит. Это грубый, жестокий и в высокой степени наивный народ. По поводу дела Королькова будут такие разговоры:

– Слышал, Королькова на восемь месяцев упекли?

– А кто защищал?

– Да Плевако.

– Плевако? Ну, это хорошо. Кабы не Плевако, быть бы на каторге.

– Непременно бы на каторге.

По поводу дела Меснянкина говорили:

– Старика-то на два месяца в тюрьму.

– А кто защищал?

– Да то-то и есть: в первый раз Плеваку выписал, ну, он его вызволил, дело затянули, а в другой-то раз поскупился, ну, и попал в тюрьму.

Нужды нет, что все отлично знают, что Корольков убил беззащитного человека, а Меснянкин обмошенничал еще более беззащитного человека. Дело вовсе не в факте, не в нравственной стороне его, а в том, как увернуться от опасности.

Такие дела имеют огромное общественное

значение.

ШКОЛЬНЫЙ ВОЗ*

Стала избитой, ходячей истина о необходимости, неизбежности введения общего обучения; говорят об этом и печать и общество, но не всегда ясно себе представляют, как мы далеки от осуществления всеобщего обучения.

Вот, например, в нижегородском губернском собрании выяснилось, что необходимо для осуществления его в *одной* только губернии открыть *тысяча тридцать семь* школ с единовременным расходом в полтора миллиона и ежегодно в четыреста семнадцать тысяч рублей.

Эти цифры ясно говорят, что земству своими средствами не справиться с этим делом, что необходим приток средств извне. Не удивительно, что земство мечется, выискивая эти средства, что оно пытается добыть их, ходатайствуя об обложении водки копейкой на градус и ведро с тем, чтобы этот сбор пошел исключительно на народное образование. Если бы это ходатайство увенчалось успехом, вопрос о всеобщем обучении почти был бы

решен.

В данное же время земство почти совершенно лишено помощи извне.

Но не только недостаток средств вяжет земство по рукам и ногам, ему приходится бороться и с другими затруднениями. Учителя бегут из школ от голода, от тяжелых условий жизни и труда. В Тихвинском уезде ежегодно пустуют первое полугодие школы за отсутствием учительского персонала. В нынешнем году, например, таких пустующих школ целых тринадцать. Земская управа бьется, подыскивая учителей и учительниц, но их нет.

Надбавочка*

Почтенные гласные московской думы расщедрились: товарищу городского головы отвалили вместо семи – девять тысяч в год.

Откуда такая щедрость и по какому случаю? А это уж исключительно всероссийская сердечность москвичей. Добрый народ, отзывчивый народ. Ну, и любят они Ивана Алексеевича. Само собой, эти девять тысяч Ивану Алексеевичу. Хороший человек.

Московское городское хозяйство трещит?

Но ведь у Ивана Алексеевича тоже есть хозяйство, и этого не надо забывать. Насущные городские нужды не удовлетворяются? Но ведь и у Ивана Алексеевича есть насущные, насущнейшие нужды. Отрывать в теперешнее безвыходное время лишний рубль от городских ресурсов, говорите, это все равно, что клещами рвать мясо у Москвы? Но, пожалуйста, когда же наконец наступит время, когда можно будет сказать: ну, теперь все городские нужды удовлетворены, а ведь Иван Алексеевич – живой человек, он сейчас живет, вот в данную минуту, и потребности его нужно удовлетворить сейчас же, вот теперь. Ведь потребности-то не резиновые, удовлетворение их не оттянешь на десятки лет (я говорю, конечно, не о городских потребностях).

Помимо всего, мотивом к отказу в прибавке Ивану Алексеевичу тяжелое финансовое положение города уже потому не может служить, что город сам виноват в том, что касса пуста. Как совершенно верно, изволил выразиться почтеннейший, уважаемый гласный А. П. Максимов, город безумно расточителен в... благотворении. Ну, поблаготвори раз, по-

благотвори два, но не до бесчувствия же! Ведь это в конце концов надорваться можно.

Один работный дом чего стоит! Припомните только; описание этого знаменитого отныне дома в «Русском богатстве». Да и один ли работный дом?

Гласный Максимов вкупе с гласным Калашниковым предсказывает окончательную гибель города от перепроизводства благотворения.

Если бы управа, вместо того чтобы переливать из пустого в порожнее, придумывать какие-то дешевые квартиры, взяла да предложила думе сделать надбавочку... Ивану Алексеевичу еще на две тысячи, то есть до одиннадцати, тогда бы разговор другой был.

Гласный Максимов не сказал это, но должен был сказать, – во всяком случае, подумал.

Переселенцы*

Я в большом затруднении. Впрочем...

Он сидел на обрывистом берегу, измученный, усталый, бледный, костлявый. Возле змеился из-под пепла перебегающими искрами полупотухший небольшой костер, над которым чернел котелок с варившейся картош-

кой. Баба, такая же исхудалая, такая же костлявая, в таких же лохмотьях, с отвисшими пустыми грудями, кормила ребенка...

Кормила!..

И вовсе не ребенок, а маленький щеночек, желтый, с длинными тонкими руками и ногами, с старческим взглядом ввалившихся, с черной каймой глаз. Он не ловил губами соска, – пересохший рот был раскрыт, руки, ноги лежали в тряпках, как плети; только отвислый пустой живот медленно подымался и опускался.

Не пугайтесь, читатель, это далеко, это очень далеко...

Трое других ребятишек, таких же желтых, полуголых. Они не ползают, они лежат на земле...

Вечернее солнце косыми лучами глядит на землю, на воду, на дальний лес, на телегу, покрытую старой изодранной дерюгой...

Лошади нет – проели. Телега без лошади горькой насмешкой смотрит на этих странных людей.

– Ну да, да, переселенцы...

Я в большом затруднении. Говорить о том,

что им больно, что их много, это уже старо и много раз переговорено.

Что же мне делать?

Я ничего не буду делать и ничего не буду говорить. Я только приоткрою синеющую даль, а вы взгляните, сами взгляните, а потом... а потом, как хотите. Можете сейчас же отвернуться, забыть.

А может быть, у вас останется тонкая, как острие, боль. Тогда лучше всего успокоить ее. Посетите сегодня литературно-музыкальный вечер в дворянском собрании.

Суворины сыны*

Пастух пас овец. Овцы разбрелись, собаки, растянувшись, мирно дремали, было скучно и нечего делать. Пастух захотел позабыться и заорал благим матом:

– Ой, батюшки... ай-ай-ай... волки режут!..

Услыхали люди, бывшие в поле, и соседние пастухи, – прибежали, кто с колом, кто с вилами, а пастух закатывается:

– Хха-ха-ха!.. – а ничего нету, я вас надул.

Опять скучно, опять нечего делать, бродят овцы, дремлют собаки, и опять страшным голосом вопит пастух:

– Помогите, режут волки!..

Прибежали люди, кто с колом, кто с вилами, а пастух хохочет. Пришла ночь, забрались волки в стадо и стали резать одну за одной овец. Не своим голосом стал кричать пастух:

– Помогите... ой, помогите!.. Никто не пришел.

– Врет!..

С «Новым временем» стряслась подобная же история. Прославившийся издательством гр. Рамм утверждает, что передал круглую сумму некоему лицу для вручения редактору «Нового времени». Конечно, «Новое время» яростно отрицает получение этих денег. Публике прежде всего должно было притти в голову соображение, что тут просто месть со стороны гр. Рамма за разоблачения и нападки газеты на его издательскую деятельность.

Но это соображение почему-то не приходит, а приходят другие соображения.

– После этого в разгаре подписки одиннадцать дней в «Новом времени» не появлялось на меня никаких нападок, – говорит многозначительно гр. Рамм.

– Гм! – говорит публика, – понимаем...

В связи с этим делом гр. Рамма привлек за клевету некий Черман, бывший сотрудник «Нового времени». Гр. Рамм вызывает в суд в качестве свидетеля редактора «Нового времени».

Редактор благоразумно уклоняется от явки, а присылает заявление, что он нервно болен и просит допросить его на дому.

– Да ведь редактор «Нового времени» ежедневно бывает в редакции газеты и работает там по пяти, по шести часов; это нервнобольной-то! – восклицает гр. Рамм, – я докажу это.

– Дда-а! – думает публика, – это неспроста... Отчего бы ему и не явиться в суд, раз он чист...

И все мелкие факты, все замечания, полупонамеки, все обстоятельства дела, – все ставится в счет не гр. Раммом, нет (что гр. Рамм?), а публикой, обществом, ставится в счет «Новому времени».

Но почему, почему же?

Ложь не проходит безнаказанно. Четверть века лжет газета, лжет во всех областях, во всех сферах, которых она только касается. Четверть века она развращает читателя, чет-

верть века газета торгует совестью, правдой, торгует всем, что только дорого обществу. Чего бы ни коснуться – политики, внутренней жизни, оценки литературных произведений, вопроса об учащейся молодежи, – везде та же ложь, тот же общественный разврат, стекающий широким и грязным потоком со страниц знаменитой газеты

Так лжет оно [«Новое время»]. Но от времени до времени приходит расплата, и взоры всех обращаются на лгуна.

Да, господа, четвертьвековая общественная ложь стоит над вами, как проклятие. Не смыть вам ее всей вашей черной жизнью, и достаточно малейшего намека, малейшего повода, чтобы поверили самому тяжкому обвинению вас. Ведь общество не знает, когда вы говорите правду.

[Сарказм – могучее оружие...]*

Сарказм – могучее оружие. Но, как всякое оружие, оно слепо. И вопрос, против кого и против чего направляет его владеющий им, разом определяет физиономию владельца. Щедрин поражал сарказмом все, что было темного, пошлого, позорного, беснующегося

мракобесием в русском обществе. Буренин в большинстве случаев обдает зловонной слюной все, что есть талантливое, благородное, чистого, светлого, все, что так или иначе освещает трудный человеческий путь. Скажи мне, как ты пользуешься смехом, и я скажу, кто ты.

Но, как есть человеческие лица, на которых ничего не написано и ничего нельзя прочитать: ни злобы, ни доброты, ни подлости, ни благородства, ни жестокости, ни жалости – или можно читать все это в странном конгломерате, – так часто нельзя разобрать, какие внутренние мотивы, мотивы ли пошлости, или мотивы служения общественным интересам заставляют людей осмеивать те или иные факты, те или иные общественные явления.

Нельзя этого разобрать, когда разворачиваешь «Русское слово».

Эта почтенная газета – не уличный листок. А раз так, общество вправе предъявлять к ней известные требования. Читатель постоянно натывается там на самые странные издевательства. Гг. Горький, Андреев, Скиталец,

Найденов постоянно фигурируют в карикатурах.

Сам по себе этот факт еще ничего не говорит. Печатный орган имеет право (нравственное, конечно) пользоваться, для того чтобы облекать в осязаемые формы свои мысли, не только словом, но и рисунком. Имеет право смеха. Но весь-то вопрос, над чем смеяться и как смеяться.

Вот не угодно ли взглянуть, над чем смеется «Русское слово». Во весь карьер несется лошадь с надписью «Дети Ванюшина». Сорвавшийся седок с оборванными в руках поводьями носит надпись «Неудачник», а внизу пояснительная подпись – «г. Найденов».

Ясно, газета издевается над автором за то, что он написал одну только драму: дескать, написал – и все, больше не может. Позвольте, что же тут достойного осмеяния? Что тут смешного? Допустим даже, что г. Найденов больше ничего не напишет. Ну так что ж? Ведь он уже дал художественную, талантливую вещь. Скажите, пожалуйста, что тут дурного, что тут скверного, достойного бичевания, что у человека не хватило бы сил на

дальнейшее творчество. Ведь человек сослужил уже, и сослужил большую службу обществу, за что же его травить?

Но в данном случае даже этого предположения сделать нельзя: прошел всего год с появления «Детей Ванюшина», и г. Найденов был бы просто драмодел, если бы сыпал из себя драмы, как из мешка картофель. Больше того: в будущем сезоне на сцене Художественного театра ставится новая пьеса г. Найденова.

Так чем же все-таки мотивируется это издевательство? А ничем. Просто грегочут люди, и только. Это уже непорядочно.

«Русское слово» всячески травит г. Андреева. Можно с г. Андреевым не соглашаться, можно возражать против способов изображения им жизненных явлений, правдивости этих изображений, больше того, можно считать его даже вредным писателем, можно бороться с ним, бороться не только словом, но и смехом, карикатурой, чтобы подействовать сильно и непосредственно на чувство читателя, но все это допустимо при условии добросовестного отношения к писателю, при усло-

вии, что мотивами не служит мелкое чувство мести личных счетов, при условии отсутствия сомнительных способов борьбы.

Что же мы видим в газете? Брань, голую, скверную, циничную брань, а в карикатуре ту же циничную брань в виде изображения Буренина, издевающегося над писателем. Но ведь это же стыдно. Кому же подают руку! Буренину. Разве имя этого нововременца не налагает позора на всякого, кто произносит его как имя единомышленника.

И почему же «Русское слово» издевается и травит во всяком случае наиболее талантливую, наиболее свежую, содержательную группу писателей. Да, тут не борьба с идеями, с представителями идей, с известным течением мысли, здесь – мелкая плоская травля.

Разве мало кругом пошлости, явлений действительно просящихся в карикатуру. «Русское слово» равнодушно проходит мимо и издевается и грегочет над тем, что требует анализа и критики, а не издевательств.

Почему?

Да потому, что у этого органа нет общего, руководящего, объединяющего начала, пото-

му, что сегодня они поклоняются богу, завтра мамоне, сегодня дельная статья, завтра – гаерство, шутовство, клоунство, уличная брань.

Маленькие рабы*

Представьте, что пришла пора вашего девятилетнего Колю отдавать в гимназию или в реальное училище для обучения наукам. Вам придется платить за право учения, покупать учебники, платье, кормить, содержать мальчика. Чтобы избежать расходов, вы отдадите мальчика человеку, который обещает, не беря с вас ни копейки, обучить мальчика всем предметам гимназической программы, кормить, одевать, с тем, чтобы он прожил у него лет до восемнадцати – двадцати и чтобы, усваивая гимназическую программу, работал на этого человека, ну, скажем, занимался с ребяташками, которые у него обучаются.

И вот мальчик водворяется. Вы видите с ним раз или два в месяц, кое-как кормят, кое-как одевают, кое-как учат. А так как он премудрости еще не успел приобщиться и, стало быть, в данный момент своим трудом еще не может оплачивать свое содержание и обучение, от него берут, что могут: посылают за

водкой, заставляют мыть полы, выносить помои, нянчить детей, носить любовные записки. Если он не понимает, возиться с ним некогда и его колотят по голове линейкой, пинают сапогом, бьют кулаком по лицу. У хозяина идет своя собственная жизнь, и он несколько не стесняется при мальчике в своих отношениях к жене, к любовнице, пьянствует, картежничает, уснащает речь скверной руганью. У мальчика нет ни минуты покоя, отдыха, он или на побегушках, или за занятиями. Ему нет времени поиграть, порезвиться, пожить детской жизнью.

Когда вы приходите навещать его, он, бледный, осунувшийся, исхудалый, протягивая тоненькие ручонки, с разрывающими грудь рыданиями бросается к вам с недетским воплем, захлебываясь от слез:

– Ма-ма... ма-ма!.. возьми меня... возьми меня отсюда... я не могу... я умру-у...

И вы наклоняетесь к нему, и прижимаете к груди, и, глотая слезы, говорите:

– Дорогой, будь умницей... Как же быть... Нельзя же остаться неучем...

И мальчик остается, и только ему одному

известно, сколько невыплаканных детских страданий вынесет он до конца учебного срока. И к концу этого срока перед вами испитой, вытянувшийся, развращенный, полный цинизма, кое-как обучившийся юноша, весьма вероятный кандидат в преступники.

– Слава богу, – думаете вы, – мой Колюша в гимназии, в поведении и чистописании у него пять, учителя его любят.

Да! Но, кроме вашего Колюши, десятки тысяч детей проходят эту ужасную школу. Их бьют шпандырем, колодкой, ремнем, их учат пьянству, разврату, с них стирают все детское, чистое и с большой любовью готовят из них преступников.

В последнем думском заседании решался вопрос об открытии портновского училища, и надо было видеть, как с пеною у рта боролся против учреждения почтенный гласный граф С. Л. Толстой. Да и то сказать: он своих детей ведь не будет отдавать в обучение мастерам.

Зеленое поле*

Как и подобает столичному городу, в Москве представители большинства профессий группируются в кружки, в общества, в

клубы. Имеют свое общество и представители наиболее интеллектуальных профессий, литераторы и артисты.

В центре города, на главной улице, в великолепном помещении находится Литературно-художественный кружок.

Когдаходишь сюда, разом чувствуешь, что попал в барское место: швейцары, лакеи, мальчики, буфет, анфилады комнат, зал, электрическое освещение. Чувствуешь, что это стоит громадных денег, и удивляешься: с каких это пор литераторы, да и артисты так разбогатели? И думаешь, – да, обстановка хорошая, взнос внушительный: двадцать пять рублей вступительный и пятнадцать – ежегодный, должно быть, и внутреннее содержание этой оболочки, жизнь в этих апартаментах соответственно полна смысла, интереса, литературы, искусства, – словом, напоминает некий храм.

Входите. Как зеленеющая степь весной, разворачиваются перед вами раскинутые столы, традиционные свечи освещают полные мысли, вдохновения и высших интересов лица игроков.

Одинокое бродите вы между столами, а литераторы, артисты и их гости все с тем же вдохновением на лице отдаются высшим интересам интеллекта, приговаривая: «пас», «без козырей», «семь червей», предаются и час, и два, и три, и пять, пока петух не пропоет, трижды.

А так как эта литература, как и всякая форма человеческого творчества, обладает способностью захватывать человека целиком, без остатка, когда самое время как понятие стирается в мозгу, принимаются меры к тому, чтобы витающих в надзвездных высях вдохновения как-нибудь связать с грешной землей, именно после определенного часа облагают штрафом, который дает весьма крупную статью дохода.

Вы отправляетесь дальше. Люди ужинают, звенят рюмками, стаканами, разговаривают, смеются непринужденно, весело, хорошо.

– А где же литература?

– Гм!.. литература? Пожалуйте-с по вторникам. По вторникам литература. Без литературы нельзя-с.

Если б назывался просто: карточный кру-

жок с буфетом, тогда так, тогда бы можно без литературы, а то литературный кружок. Поэтому семь дней трудимся, а восьмой – литература. Нельзя, иначе попрекать станут, если без литературы. Но, кроме восьмого дня для литературы, у нас отпускается девятый день и для искусства, ибо кружок не только литературный, но и художественный, литературно-художественный.

Мне вспомнился союз писателей. Собирались литераторы, артисты, скромное помещение, без швейцаров, без лакеев, без электрического освещения, скромный буфет, все скромно, просто, уютно, по-семейному, без карт, и все семь дней в неделю отдавались литературе. Артисты пели, играли.

Мне бы очень не хотелось, чтобы читатель подумал, что я морализирую. Совсем нет. Терпеть не могу хныкающих моралистов. Я говорю вовсе не о том, что не следует иметь дорогого помещения, электрического освещения, швейцаров, лакеев, буфета, карт, вовсе не о том.

Я хочу только сказать, что не надо смешивать разных вещей: или обыкновенный кар-

точный клуб, или специфическое общество литераторов и артистов. Если просто карточный клуб, так и понимать будем. Если литературно-художественное общество, стало быть, интересы литературы и искусства *преобладают*.

Здесь же выходит так, что клуб, в сущности, карточный, но его маскируют и пристегивают к нему литературу и искусство. Конечно, оно лестно: мало ли карточных клубов, а вот литературных-то обществ нет, и литературному и художественному обществу и почет другой.

Но хотя и лестно, а обманывать публику не надо. Вещи надо называть их именами: карты – так карты, литература – так литература, искусство – так искусство.

Карты определенно получают доминирующее значение, литература, искусство уступают им место, стушевываются, они остаются только при картах для отвода глаз. Барство съедает литературу и искусство.

Вы посмотрите только, во что обратились пресловутые вторники. Эти вторники бросили беспокойным членам кружка как подачку.

Не удивительно, что на «беседы» по вторникам публика шла, как на пикантное зрелище.

За такое специфическое карточно-клубное направление кружка ответственность целиком падает на дирижирующих в нем лиц.

Увечные дела*

Московский совет присяжных, очевидно, натолкнулся в корпорации на лиц со смытыми румянами и, по инициативе покойного князя А. И. Урусова, издал обязательное для своих членов постановление, которым нормировалось вознаграждение адвокатов, ведущих судебные дела по иску с железных дорог, фабрик и заводов о вознаграждении рабочих этих учреждений, лишившихся способности к труду вследствие увечий. Это постановление ограничивает гонорар адвоката десятью процентами с присужденной суммы.

Один из московских присяжных поверенных нашел; изданное советом постановление для себя необязательным и возбудил дело. На днях получен указ сената, которым за советом признается право издания циркуляров, ограничивающих предел взимаемого с клиентов вознаграждения.

Совет присяжных можно только приветствовать за его начинание. Нигде нет таких злоупотреблений, вопиющих несправедливостей на вполне законном основании, как в «увечных делах». Очень часто ведение этих дел не что иное, как замаскированное ростовщичество, ростовщичество жестокое и беспощадное.

«Увечный» и вдобавок голый и голодный человек является к адвокату. С первого же слова адвокат видит, что дело безусловно верное. Берет. Нужны деньги на расходы по ведению дела. Но у голого какие же деньги. И вот с этого-то момента и начинается ростовщичество.

Адвокат ссужает своего клиента – ведет процесс на свой счет, иногда даже выдает маленькое ежемесячное пособие, чтобы клиент не умер с голоду до окончания процесса и не испортил всего дела, а потом щедро вознаграждает себя за все траты с шейлоковскими процентами.

Вот пример из провинциальной практики. Иск в две тысячи шестьсот рублей. Адвокат ведет дело на свой счет и выдает за время

процесса пособие клиенту на еду в сто рублей. Когда был выигран процесс, потерпевший получил от адвоката двести пятьдесят рублей, то есть всего с прежней сотней триста пятьдесят рублей, – остальное поступило адвокату.

Конечно, такие факты возможны только на почве непроходимой нищеты клиентуры, темноты и беспомощности.

Интересной иллюстрацией этой беспомощности является дело по удовлетворению семей рабочих рудника Успенского, близ Юзовки, погибших во время пожара на руднике. Рабочие были застрахованы владельцем рудника в обществе «Россия». Когда случилась катастрофа, страховое общество «Россия» попыталось было уклониться от уплаты, а потом смилостивилось и стало торговаться с Успенским, стараясь возможно больше сбить сумму платежа. Наконец порешили на двадцати трех тысячах рублей. Чтоб семьи погибших скорее шли на соглашение и не вздумали предъявлять к руднику требования вознаграждения, какое им следует в действительности и какое присудил бы суд, если бы

был возбужден иск, – то поверенный владельца рудника употребил прямое давление, вплоть до удержания у себя паспортов. Конечно, истцы волей-неволей должны были идти на соглашение и благодаря Успенскому и его поверенному подарили страховому обществу «Россия» очень крупную сумму.

В адвокатской среде от времени до времени подымается вопрос о том, чтоб представители этой профессии руководились в своей деятельности не одной только формальной писаной правдой, но и неписаной.

В харьковском юридическом обществе был сделан интересный доклад: «Проблемы адвокатской морали». Признавая за адвокатурой общественное служение, докладчик указывал, что общество, карая своим осуждением адвоката, который взялся за ведение «закономерного», но безнравственного процесса, требует, чтобы адвокатура не была безразборчивой в выборе дел и в способах их ведения, чтобы адвокат не брался по собственной охоте за защиту безнравственных дел, не искажал фактов на суде, не называл невинным того, кого по совести таким назвать не может,

не обманывая правосудия.

Конечно, не все уклонения от правды общечеловеческой приходится ставить на счет, так сказать, личности адвоката. Многое приходится относить на счет тех условий, в которых приходится работать адвокатам. Вспомните положение помощников присяжных поверенных, этих илотов адвокатской среды. Не удивительно, что, выбившись из плотского состояния, некоторые из них с голоду проявляют такие аппетиты, что приходится ограждать клиентуру десятью процентами.

На дне*

Каждый раз, как я бываю на «На дне», я люблю смотреть на публику: спокойные, чисто выбритые лица, расчесанные усы и бороды, приличные, хорошие костюмы, белые крахмальные манишки, весь облик, говорящий, что люди не знают физической грязи, нечистоплотности, голода, что целая система, целая сложная и тонкая сплетающаяся сеть отделяет их от, так сказать, первичных, грубых лишений пищи, жилища, одежды.

Что бедняков много на свете, что они грязны, голодны, пьяны, в отрепьях, живут в

осклизлых подвалах, – это все знают, это всем примелькалось, на это поминутно наталкиваешься в рассказах, в очерках, в повестях, это сделалось трюизмом, шаблоном, общим местом. Как бы жгуче слово ни было, уже не тронешь сердца читателя – притерпелось.

Но когда подымается занавес, когда перед этой спокойной опрятной публикой вдруг откроется дымный и низко придавленный позеленевшими осклизлыми сводами подвал, когда зритель глазами увидит отрепья, нищету, грязь и ужас жизни, когда ушами услышит трагедию, потрясающую своей простотой трагедию смерти Анны, – привычное сердце его колыхнется. Как бы ни было могуче слово, никогда оно не производит такого впечатления, как реальный факт, и никакие описания не дадут представления, такого яркого и выпуклого, как самый предмет. Театр же создает иллюзию факта, действительности.

И вот эта чистая, опрятная хорошая публика выходит из подъездов театра, унося в сердце сострадание и боль, и жало укора, укора людей, которые голодны, измучены, исстрадались, которые тонут, которые «на дне».

Но привычка – страшная вещь. Только по-светлеет следующее утро, как все, что составляет жизнь этих опрятных людей, как илом, затягивает душу. Уже остается только впечатление, что были в театре, что хорошо играли. Уже и забыли тех, кто и сейчас не переставая голоден, измучен, одет в отрепья, пьян, готов на преступления. Привычка – страшная вещь, она родит глухоту и слепоту... Вот ее результаты.

В арбатском попечительстве о бедных – сорок тысяч жителей, около трех тысяч квартир-рантов, платящих за квартиры свыше трехсот рублей за каждую, шестьсот домовладельцев. Это целая армия опрятных, хорошо одетых людей, людей, бывающих на «На дне» и сейчас же забывающих о «дне». Об этом свидетельствует попечительство. Оно сводит бюджет с годовым дефицитом в три тысячи рублей. Теперь попечительство вынуждено будет сократить число призреваемых в его учреждениях, то есть выкинуть на улицу, в Хитров рынок, «на дно», половину призреваемых старух и ребятишек, вынуждено будет сократить выдачу пособий.

Добрый папаша*

Толпа народа. Крики, возбужденные лица, поднимающиеся руки, возгласы: «Городовой!» – извозчики, соскочившие с козел, и режущий душу, пронизывающий детский крик. Все толкаются, толпятся, вытягивают шеи, стараются заглянуть в середину шатающейся толпы, в небольшое пространство, где слышатся перехватываемые, задыхающиеся голоса борющихся людей.

– Что же это такое! – говорит, ни к кому в особенности не обращаясь, извозчик с красным возбужденным лицом, – ведь они его раздерут... Гляди, которые за ноги, которые за голову, которые за руки... Дите чем виновато?.. И... но и народ!..

А пронзительный неумолкающий детский крик хватается за сердце. Публика, по обыкновению, сердобольно глазеет, отпускает замечания, и никто не вступится за несчастного ребенка. Наконец двери соседнего дома отворяются, выбегает какой-то человек, расталкивает толпу.

– Оставьте ребенка!.. Оставьте сию минуту ребенка... вы его разорвете...

– Хоть мертвый, да мой будет.

– Не дам... не дам... не да-ам! – истерическим, голосом кричит с растрепавшейся головой и выбившимися косами женщина...

– А-а... отнимать... отнимать... отнимать!.. – хрипит прерывающимся, задыхающимся шепотом третья.

Человек кидается и начинает отнимать ребенка. Но в него вцепились, как когтями. Приходится отрывать одну руку за другой, но те сейчас же перехватывают, хватаются за ручки, за платице, тянут за голову. Ребенок кричит как резаный, перебрасываемый из рук в руки, вырываемый, как кусок тряпки, с искаженным ужасом лицом. Наконец при помощи вышедшей из спокойного созерцания публики человек вырывает у женщины ребенка, крохотную, лет трех, девочку, с прелестным личиком, обрамленным белым чепчиком, и бросается, преследуемый женщинами, в дом. Двери захлопываются.

– Еще трошки, аккуратно разорвали бы, – философски замечает извозчик и, путаясь и подбирая свой длинный армяк, залезает на козлы.

Чьи-то истерические рыдания слышатся у запертой двери:

– Дочка... дочечка!!

Дверь отворяется на минуту,

– Кто тут мать?

– Вот, вот эта, – гудит толпа, навалившаяся к подъезду и перегородившая всю улицу, и, расступаясь, пропускают к дверям скромно одетую женщину с страшно измученным бледным лицом и добрыми, полными тоски глазами,

Ее пропускают. Ребенок, пришедший в себя, бросается к ней.

– Мама!..

Женщина рассказывает печальную историю. Она – портниха. Сошлась с неким гражданином. Когда почувствовала себя матерью, гражданин этот нашел для себя более приятным иметь дело с ее сестрой. Родилась девочка, стала подрастать и вышел прелестный ребенок. Папаша заблагорассудил выкинуть на улицу обеих сестер, ребенка оставил у себя. Мать не смела показаться на порог, не смела взглянуть на дочь.

Бедная женщина истосковалась. И вот она

со своей матерью подкараулила гулявшую с няней на улице девочку, и три женщины чуть не разорвали ее.

Добрый папаша, узнав о похищении, прилетел на извозчике и с бешенством стал ломиться в дом с недвусмысленным намерением избить мать и забрать девочку.

Его не пустили. Он устроил правильную осаду и расположился перед подъездом.

Формально папаша никаких прав на девочку не имел: она незаконнорожденная и записана по матери, но ведь для наглости и кулака, с одной стороны, и нищеты и незащитности – с другой, закон не писан. Бедная женщина рыдала:

– Как я выйду теперь... Ведь он меня избьет и ребенка отнимет... На извозчике? Он вскочит на другого, догонит и среди улицы избьет. Даже если ускользну отсюда от него, все равно ворвется в квартиру, надо представить, что там только будет. Пока полиция, он меня изувечит, а ребенка увезет, надо судиться, но подумайте, где ж мне судиться?

Однако нужно было на что-нибудь решиться. Наступила ночь; нельзя же было

оставаться в чужом доме. Ребенок сладко спал, прильнув к матери. У входа караулил почтенный папаша, принимавшийся несколько раз ломиться в дверь, готовый на самое дикое насилие.

Прибегли к маленькой хитрости. Мать с ребенком другим ходом провели в соседний дом, наняли лихача, к он их умчал.

Толпа разошлась, улица опустела, все пошло своим порядком. Уличная сценка промелькнула, как и прочитанная страница.

Сколько же этих сцен, полных человеческой муки, которые не попадают на глаза, сколько детских пронзительных криков заглушаются сутолокой повседневной жизни, где не поможешь, не облегчишь, которые тонут в водовороте огромного города, как в мутной крутящейся реке!

[Странные, подчас трудно объяснимые вещи...]

Странные, подчас трудно объяснимые вещи встречаются в оценке одного и того же явления различными людьми.

На такое различное, почти прямо противоположное отношение к одному и тому же

факту мы натываемся в оценке пьес М. Горького москвичами и петербуржцами.

«Мещане» в первый раз были поставлены в Петербурге, прошли прекрасно, имели успех, в Москве же были встречены холодно.

«На дне», пьеса, написанная неизмеримо художественнее и имевшая в Москве колоссальный успех, в Петербурге встречается чрезвычайно холодно, по крайней мере печатно. Почему это?

Сказать, что у москвичей и петербуржцев различное вообще понимание, вкусы, взгляды, нельзя же, и те и другие происходят от Адамы и Евы. Очевидно, тут дело не в существе вопроса, а в чем-то привходящем, случайном, внешнем.

Вы присмотритесь к тому, что говорится о «На дне» в петербургской печати. Торопливо, наперерыв, почти захлебываясь, журналисты стараются подчеркнуть, преувеличенно выставить, раздуть все, что имеется недосказанного, слабого в пьесе, и старательно замалчивают, обходят всю ту огромную ценность, значение, которое имеет пьеса в целом. В этом удивительном старании дело доходит до ку-

рьезов.

Почему, говорит один, у М. Горького в «ночлежке» выведен татарин, а не армянин, не еврей, не чуваш, не поляк и еще кто там. Это потому, продолжает строгий критик, что в пьесе царит случайность, что действующие лица не спаяны органически, потому что они сошлись случайно в ночлежке, что нет действия.

Всякий раз, как пытаются в той или иной сфере искусства дать новую форму или перестают идолопоклоннически придерживаться старых форм, поднимаются крики. Я не хочу сказать, что М. Горький открыл новые пути в драматическом искусстве, но что он вместе с Чеховым осмелился отказаться от старой формулы всякого драматического произведения – завязка, развитие действия, достижение кульминационного пункта, развязка – это да. И весь вопрос, мне кажется, вовсе не в том, большой или малый грех совершил Горький, отказавшись от традиционного приема, а в том, жизнь-то в ее неприкрашенной и грозной правде развернул ли перед нами Горький, или нет.

– Да, развернул, – говорят москвичи.

– Нет, – говорят петербуржцы.

В «ночлежке» лица сошлись совершенно случайно. Но в жизни-то разве постоянно они сталкиваются не случайно? Действующие лица не спаяны органически, они связаны, так сказать, только местом. Но ведь это только в старых романах трое влюбятся в одну девицу, и эта африканская страсть на всем протяжении является органической спайкой. Думаю, громадное достоинство художника дать жизнь в ее слепой, хаотичной случайности, и это представляет громадные трудности.

– Слишком уж умны босяки, – продолжают критики, – это собрание каких-то философов. В этом замечании есть доля правды; это – одна из слабых сторон пьесы. Но весь-то вопрос не в том, есть ли слабые места, или нет, а в том, выкупаются ли они всем целым пьесы, или нет, остаются ли только они в голове, когда зритель уходит из театра, или они тонут в громадной, захватывающей и страшной общей картине человеческого горя и муки, развернутых автором.

Что бы там ни говорили петербургские

критики, но впечатление, которое уносят из театра, неизгладимо, и это потому, что все дефекты, все недочеты пьесы тонут в изумительно выпуклых, ярких, живых сценах и образах.

Несомненно последнее произведение г. Горького у петербургской публики встретит такой же прием, как у московской, и это лишний раз подчеркнет, что пером петербургских газетчиков водила не искренность оценки, а «особые соображения».

[Из всех зол и несчастий...]

Из всех зол и несчастий, которые приносит современная культура, наша изломанная, молью изъеденная культура, самое большое зло и несчастье – потеря непосредственности. Мы ни к чему не умеем подойти, ничего не умеем сделать с простым, нетронутым, непосредственным чувством.

Мы не умеем любить непосредственно и сильно, не оглядываясь, не рассчитывая, просто потому, что любовь – счастье; мы не умеем наслаждаться солнцем, рекой, озаренной луной, лесом, дремлющим в весеннем тумане, морем, косматым и белеющим под мечу-

щейся над ним бурей, красотой людских отношений; мы не умеем кинуться с головой в борьбу, не умеем презирать, жалеть, ненавидеть, веселиться, смеяться. Ко всему подходим с кислой, скептической улыбкой, корректные, сдержанные, полулюбим, полунаслаждаемся, полужалеем, полуненавидим и никогда не смеемся, а только улыбаемся.

Нужно заметить, что интеллект и непосредственность вовсе не исключают друг друга и вполне гармонично уживаются в здоровом человеке.

Так как большинство из нас, составляющих так называемое общество, изъедено молью, мы привыкаем к этой изъеденности, перестаем замечать ее, останавливаться на ней. И надо натолкнуться на что-нибудь экстраординарное, особенное, из ряда вон выходящее, чтобы вдруг почувствовать эту изъеденность, беспокойство от отсутствия здорового, свежего, нетронутого, непосредственного чувства.

Вот такое беспокойство, странное и тревожное, такую растерянность испытывает большинство публики на передвижной выставке перед картиной Репина «Какой про-

стор!»

– Да что же это такое!.. Ведь это бессмыслица: забрались в воду и необыкновенно довольны.

– И заметьте, время года холодное, зима или конец зимы, – у девушки муфта. Можете же себе представить, какой отчаянный насморк схватят эти господа.

– Что насморк – тиф!

– Позвольте узнать, ведь тут нечто сокровенное таится, несомненно нечто символическое... СИМВОЛ...

– В каком же смысле?

– Никакого символа нет, а если и есть, так самый препоганый: посмотрите только на эту отъевшуюся физиономию студента в крылатке, несомненно бело- или синеподкладочник.

– Наконец совершенно не разберешь, мазурку они танцуют или еще какой-нибудь танец.

– Да и выполнение... знаете, того... ведь Репин... Несомненно всякое явление необходимо осмысливать, но, боже мой, позвольте же нам, простым смертным, просто подойти к картине, взглянуть на нее просто и непосред-

ственно, предоставив специалистам, критикам доискиваться, символ ли это, или неудачная потуга на символизм, или еще что там. Позвольте нам взглянуть на нее, как мы смотрим на раскинувшиеся поля и луга, на поблескивающую реку вдали, на хмурый, под осенними облаками, лес, на милого ребенка, на прелестную улыбающуюся девушку.

Не знаю, связан ли с картиной символизм, или нет, знаю только, что море злое, черное, жестокое, холодное, не знающее ни милости, ни пощады, ни размышлений, ни колебаний, мертвое в вечном движении, тяжело вздымается в безжизненном плеске и шуме.

От века оно все то же, давящее своей роковой стихийностью. Уж не знаю, хорошо оно технически написано или нехорошо, одно только знаю, что эта мертвая, роковая, вне человека стоящая, поражающая своей колоссальной стихийностью сила мечется перед вами тяжело и грозно, и мертвая безжизненность ее титанически разрастается, по мере того как вы смотрите на картину.

Вы смотрите, вы не видите холодной, безжизненной глубины, но вы догадываетесь о

ней по этой черной, злобно взрытой поверхности, местами белеющей седыми космами, и напрасно глаз ищет, – не на чем остановиться, все та же холодная, мятущаяся сила, и невольно сжимается душа от одиночества, заброшенности и микроскопичности перед этим мятущимся хаосом. И вдруг глаза ваши остановились, и лицо дрогнуло, черты оживились, и улыбка тронула углы губ. Что такое? Вы увидели две фигуры?

Молодость, молодость увидели, свежую, нетронутую, смелую, живую, молодую молодость. Вот отчего ваши мертвые черты тронула хорошая живая улыбка.

Молодость!

Она придерживает одной рукой шляпу, которую рвет злой ветер, и милое полунаклоненное лицо озарено ярким милым смехом; он крепко держит ее руку, удерживая от сбивающих с ног волн и ветра. Какой простор!

Хороша молодость, в николаевке, в бобрах, с лицом будущего земского начальника или железнодорожного поверенного по «увечным делам»!

Пусть, пусть в будущем это – земский на-

чальник, или железнодорожный адвокат, или модный доктор, любимец скучающих бабынь, пусть она – это будущая и верная супруга и нежно любящая мать только, пускай, но сейчас-то это молодость, искрящаяся, светлая, молодая молодость, глядя на которую и наши с вами мертвые черты дрогнули. Что николаевка, что бобры! Молодость и в рогожу оденьте – она будет молодостью.

Но почему же молодость так трогает?

Не только своими внешними чертами, своей привлекательностью, своей живостью, а тем, что молодость – эмблема того, чего у нас с вами – увы! – давно нет: смелостью перед мертвым беспощадным хаосом жизни. Мы перед ним сжимаемся, мы не пойдем ему навстречу, потому... потому что можем схватить насморк, а они вот – пошли, а уже лепотам или нелепо, это – другой вопрос.

И долго стоишь перед картиной, и долго смотришь на это необыкновенно далеко уходящее, грозно чернеющее море, и слышишь, как оно шумит мертво, холодно, могуче.

Выставка и балаган*

На выставке ходишь среди картин, точно среди давнишних испытанных друзей, которые близки вам, которые много говорят и уму и сердцу, начиная с копошащегося около выздоравливающей матери «Первенца» Касаткина...

Что-с, настроение? Новые пути и формы в искусстве?

Не сотвори себе кумира и всякого подобия. Быть может, грядет новое искусство, быть может, оно сметет, камня на камне не оставит от старых привычных нам форм, даже не «быть может», а наверняка будет и даже есть, ибо искусство – кусочек жизни, вечно и неудержимо разворачивающейся и бегущей в темную даль, тем не менее то, что трогает ум и сердце, – трогает ум и сердце, и так это и понимать надо.

Я весьма далек от оценки, так сказать, технической стороны, я уж, если откровенно сказать, ничего в этой части не понимаю, но позвольте мне изложить впечатление простого зрителя, ибо картина – не только краски и сочетание тонов, но *иявление*, на которое мы смотрим так, как смотрим на солнце, на луч,

на человеческое лицо, что никому не возбраняется, и еще потому, что картины пишутся не только для специалистов, но и, между прочим, для публики.

На выставке ходило, смотрело, наслаждалось несколько десятков, сотен, тысяч человек (считая тех, которые еще посетят). В Москве – свыше миллиона народа. «Куда же остальные-то около миллиона делись, – подумал я, – где они теперь, что они делают, каким благородным наслаждениям предаются?» Я отправился на Девичье поле.

Вот он, миллион-то.

Море голов, море человеческих голосов, восклицаний, смеха, брани, и среди этого волнующегося репинского моря от века тот же, неизменный, непобедимый, непреклонный, все тот же... балаган. «Века проходили, все к счастью стремилось, все в мире по несколько раз изменилось», один только нерушимый, как серый гранит среди пенящегося народного моря, высится балаган.

Балаган! Как много для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось! В искусстве сменяются, борются, исчезают, нарожда-

ются направления, школы, а на Девичьем поле стоит балаган. Идут на смену новые формы, а на Девичьем поле стоит балаган. Академическая условность, чопорность и ложь уступают место реализму, а на Девичьем поле стоит балаган. На гигантских полотнах развертываются картины Девичьего поля с народным морем и балаганом, а на Девичьем поле стоит балаган.

Грядущее искусство говорит нам, что перспективы искусства гораздо глубже и шире, чем Девичье поле, хотя бы на нем был и миллион, ибо жизнь сама неизмеримо глубже и шире и чернеет зияющей пропастью неизвестных тайн, а на... Девичьем поле стоит балаган. От него не скроешься, от него не уйдешь, не закроешь глаз, он – всюду, непоколебимый.

Просматривая праздничные газеты, все натыкаешься на веселые картинки. «Вернувшись из гостей, где много было выпито, они поссорились, и она всунула ему в живот кухонный нож, отчего вывалились внутренности. По доставлении в больницу потерпевший умер. Делу дан законный ход». «Нача-

лась драка без всяких видимых поводов, все были пьяны, в результате двое были доставлены в больницу с разбитыми головами». «Подобранный на улице мужчина средних лет, одетый в армяк, умер от опьянения». Это – обычный праздничный репортерский материал, и он так же незыблем, как и балаганы, ибо это родное его детище. Они слишком прочно связаны кровными узами, и, пока будет существовать один, будет неизменно и другой.

Впрочем, я не совсем справедлив. Не только свету в окне, что балаган и выпивка. Есть и помимо благородные развлечения, где с пользой и удовольствием можно провести время. Пройдут праздники, разберут балаганы, меньше станет расходиться монопольной посуды, но серая публика не останется беспомощной, ей будет где освежиться в праздничный день после тяжелой работы, – открываются летние бега и скачки. Не надо употреблять грубого, режущего ухо слова азарт, игровой дом, а просто: бега и скачки.

Мошенничают? Но, как известно, и на солнце есть пятна. Если даже немного и плу-

туют там, – это уже не столь большой руки беда, а ради дела можно и поступиться. И, наконец, сколько ее, этой серой овечьей массы! Если с каждого по ложечке взять, и то для благородного лошадиного дела громадная польза.

Фокусники*

— **П**ожалте, пожалте, господа... роскошное представление... икзатическая наездница, трехногая лошадь, производящая замечательные фокусы!..

По небольшой из ходивших под ногами досок площадке края парусиновой крыши балагана похаживал в диковинном, вытертом и отрепанном костюме, обшитом золотыми позументами, ражий детина с откормленным, оплывшим от пьянства и разврата лицом. Он сверху посматривал на колеблющуюся внизу, шевелящуюся, луцащую семечки толпу, и его ражее, оплывшее лицо и вся дюжая быкообразная фигура «геркулеса», роль которого он исполнял в балагане, говорили о сознании своего особенного положения и превосходства над этими толпившимися внизу людьми с испытymi трудовыми лицами.

– Пожалте, господа, сейчас представление начнется... не теряйте дорогого времени...

На площадку выбежал мальчуган лет девяти – десяти, с лицом, вымазанным мелом, в шутовском балахоне из разноцветных лоскутьев, в дурацкой шапке с бубенчиками. Он три раза обежал с ужимками вокруг «геркулеса» и, присев на корточки, заговорил, коверкая язык:

– Каспадин, обучите фокусам.

– Давай. Каким же тебе фокусам?

– Разным: как сладкие пироги есть, водочкой запивать, с бабочкой баловаться...

– Го-го-го! – неслось кругом.

– Ну, ложись, – говорил быкообразный «геркулес», похаживая все с тем же сознанием своего превосходства, своего особенного положения, силы и роскошного наряда.

Мальчуган, строя гримасы, быстро и упруго опрокинулся на спину, высоко поднял ноги и, болтая ими, закричал петухом. Дитина дернул его за ноги, и мальчуган, перевернувшись два раза в воздухе, упруго, как мяч, упал на ноги, и доски под ним вскинулись и заговорили, взбивая пыль.

– А когда же, каспадин, пироги сладкие?

– Пироги? А вот зараз.

И детина сзади с размаху ударил его носком обутой в туфлю ноги. Мальчуган отлетел шага на три и провалился в вырезанную в доске дыру.

– Го-го-го... га-га-га... – гудела толпа.

Все поворачивались друг к другу с смеющимися лицами, лузгая и выплевывая шелуху семян.

– Здорово!

– Вот те сладкий пирог...

– Обучи, дескать, фокусу... а он его под это самое место... го-го-го... ха-ха-ха!..

– Под самое, значит, место... хо-хо-хо!..

И над толпой несся густой добродушный смех людей, не покладая рук работавших целый год и вот пришедших сюда отдохнуть, посмеяться, забыться.

Шутовская рожа мальчугана на минуту снова показалась из прореза досок, сделала гримасу и исчезла.

– Хо-хо-хо!.. опять за пирогом...

– Пожалте, пожалте, господа...

А над всем тепло и ярко светило веселое

южное солнце.

Толпа по-прежнему часами стояла перед балаганом, одни входили, другие выходили, смеялись, говорили, перебрасывались остроумными, бранью.

Чьи-то истерические вопли и крики понеслись из-за колыхавшихся холщовых, со множеством дырок, в которые смотрели даровые зрители, стен балагана. Рыдала женщина. Внутри чувствовалась возня, говор, отдельные голоса, окрики.

- Зови околodoшного...
- Признала... Слышь ты...
- По документам...
- Тяни его, дьявола...

И эта возня, говор, крики и волнение людей, которые были за тонкими, колеблющимися стенками, передавались толпе.

- Али упал хто?
- Чего упал! Руки, ноги поломало...
- Ноги!.. Голову напрочь отнесло.
- Никак, бьют?
- Бей тревогу... кричи полицию!..

Перед взволнованной, напиравшей на балаган толпой распахнулись двери, и оттуда

вывалила толпа зрителей. Выводили под руку рвавшуюся и кричавшую женщину. Она сквозь рыдания выкрикивала:

– Сынок... сыночек... Митюша!

– Чего такое?

– Сына, вишь, признала.

– Где?

– Во, вишь – паренек в одеянии.

– Это, который емнастику делает?

– Во, во, он самый... украли... сызмала...

сколько годов ищет... нашла...

Тут же в толпе гимнастов, обтянутых в трико, выходил мальчуган в шутовском костюме, и странно обвисал на его худенькой тщедушной фигуре пестрый балахон, и белели на втянутых щеках густо размазанные белила. Мальчик равнодушно и устало стоял среди обступивших его, не отвечая на сыпавшиеся на него вопросы.

– Матка твоя, што ли?

– Тебя, стало быть, хозяин уворовал?

– Давно?

– Сколько годов у него?

Мальчик так же безучастно молчал. Женщина рвалась к нему. Пришел околоточный,

- Это ваш мальчик?
- Сы... сы-ынок... укра-ли...
- Вы откуда сами?
- Екатеринославской губернии...
- Это твоя мать?

Мальчик вздохнул и, отвернувшись, стал неопределенно смотреть в толпу.

- Ты сам откуда?
- Казанской губернии...
- Родители твои где?
- В деревне... там...
- Это что же, твоя мать?

Мальчик, не отвечая на вопрос, вдруг бросился к нему и часто-часто заговорил с искаженным сдерживаемыми рыданиями лицом, глотая смешно разрисовавшие ему белилами лицо слезы:

– Возьмите... возьмите меня отсюда... господин... барин... ваше благородие... возьмите меня отсюда... я... ваше благородие...

Он задыхался, цеплялся судорожно дрожащими руками за мундир околоточного, не давая нечеловеческим усилием воли прорваться душившим его рыданиям.

– Возьмите...

Толпа, притихшая, сдвинулась тесно, оставив маленькое пространство в середине, сдержанно подавая реплики:

– Оpoznалась... чужой...

– Несладко тоже, значит, и им... даром что в одеянии.

– Ишь, сердяга, надрывается...

– Позвольте, господа, позвольте... расступитесь...

Расталкивая толпу, прошел господин с помятым изношенным лицом, в поношенном фраке, грязной крахмальной рубахе с хлыстом.

– Извольте, ваше благородие... вот документы... у меня все документы... У меня чисто, не как-нибудь... я не то, что иные прочие...

Околоточный взял истрепанную бумагу и углубился в чтение. Мальчик, дрожа, как лист, стоял с разрисованным лицом, беспомощно озираясь, и торопливо вытирал слезы.

– Нда-а!.. Казанской губернии... в обучение... на пять... лет... гимнастическому ремеслу... Да, матушка, опознались.

– Пшшел!.. – зашипел субъект во фраке, и

лицо его мгновенно преобразилось и сделалось необыкновенно жестоким.

Мальчик мгновенно пропал в балагане...

– Пожалте, пожалте, господа... икзатическая наездница... об трех ног лошадь... замечательные фокусы...

– Каспадин, науште фокусам.

– Каким?

– Разным; водочку пить, сладкие пироги есть, к бабочкам...

– Го-го-го!..

– Ложись.

– Хо-хо-хо... здорово... под это самое место...

Веселое солнце светило.

Литературные картежники*

Наш сугубо карточный и якобы литературно-художественный кружок, набивший оскомину своей страстью нежной к зеленому полю и неудержимым отвращением к искусству и литературе, оказывается не случайным явлением, это – тип, это – определенная общественная форма, выплавленная русской жизнью.

Уважаемый председатель кружка употребил все усилия, чтобы создать такую комис-

сию по организации литературных вторников, которая бы собственноручно убила их. И надо отдать ему справедливость, – как человек крупного ума, он преуспел совершенно: вторники представляли всемосковское торжище и посмешище.

Быть может, они и никому не нужны, эти вторники? Так нет. Год тому назад, когда к ним относились серьезно, когда правление с председателем во главе намеренно не придавало им вида торжища, они пользовались популярностью, публика охотно шла туда, чтобы обменяться мыслями, чтобы выслушать доклад.

В чем же дело? И какая цель превращения вторников в зрелище? Ведь и председатель и правление отлично понимают и оценивают дело рук своих.

О, понимают, превосходно оценивают?.. Так в чем же дело?

Точь-в-точь такой же случай произошел в Одессе. Там тоже имеется литературно-артистическое общество.

Точно так же бьются в карты даже до членовредительства и покушений на взаимное

истребление наиболее умным способом на земле, – именно на дуэли; имеется и литературная комиссия, организующая литературные вечера, – словом, все, как в Москве, но и дальше все, как в Москве; вся история и деятельность общества таковы же, как и в Москве.

Устраивались литературные собрания, читались и разбирались доклады; происходил живой обмен мыслей и мнений, публика шла сюда очень охотно и относилась к делу очень серьезно, – словом, успех литературных собраний полный.

И вдруг хлоп!.. Правление разогнало комиссию – грубо, бесцеремонно, возмутительно. Никаких литературных собраний! В карты можно, а собраний никаких. В этом пункте различия: в Москве вторники были преобразованы в торжища утонченно-вежливо, предупредительно, джентльменски, с шапо-кляк под мышкой, с обворожительной улыбкой на устах.

Но почему это? зачем? какой смысл?

Как бы правления обоих кружков ни были страстно привязаны к картам, нельзя объяс-

нить дело исключительно этой привязанностью. Есть еще что-то.

Что же?

Несомненно правления обоих обществ, с председателями во главе, торопливо и предупредительно идут по течению. Карты, и больше ничего. Легко, свободно и безопасно. Что ж, быть может, и это заслуга. О, жизнь!..

Человек во фраке*

Трудно представить себе что-нибудь более обманчивое и полное самых вопиющих противоречий, чем некоторые формы труда. Когда вы смотрите на заводского рабочего, черного от копоти и дыма, точно обугленного, с измученным лицом, ввалившимися щеками, с глазами, горящими лихорадочно, сжигаемого день и ночь неугасающим огнем, вы видите, что человеку трудно, тяжело, подчас – нестерпимо, так и понимаете это.

Когда вы видите извозчика, мерзнущего на козлах, три четверти своей жизни проводящего под открытым небом, рабочих, мостящих улицу, спящих под дождем на холодных булыжниках, прачку в облаках пара в подземе, – вы чувствуете, что это тяжело, что лю-

ди бьются из-за нищенской платы, из-за черствого куска, так и понимаете это.

Но вот перед вами джентльмен чистой воды, во фраке, чисто выбритый, в белом жилете, в крахмалах, джентльмен, легко и свободно скользящий по паркету или бесшумно ступающий по ковру. Джентльмен окружен «обстановкой»: люстры, мягкая мебель, белоснежные скатерти, серебро, хрусталь. И публика вокруг джентльмена отборная: рантье, крупное чиновничество, миллионеры, купцы, все первогильдейские, – публика, умеющая и слово сказать, и трюфели покушать, и шампанским небрежно зубы пополоскать. И труд джентльмена – не то что камни ворочать или на козлах под дождем сидеть, а легкий и приятный – подать, принять и в рот посмотреть, когда пережевывают трюфели. И заработок у джентльмена не то что тридцать, сорок копеек в день, а два, три, а то и четыре и пять рублей в вечер.

Чем не жизнь!

Но вот вы ловите характерное: «Человек!» – слышите столь же характерное: «Чего изволите-с?» Видите это чистовыбритое лицо,

то наглое, то льстивое, в зависимости от того, кто к нему обращается, чувствуете под этим фраком, белым жилетом, блестящей манишкой грязное белье, давно не мытое, измученное, испитое тело, чувствуете в этом теле такую же испитую, измученную, пропитанную рабскими чувствами душу. Эти рубли, трехрублевки достаются дорогой ценой попрания человеческой личности и достоинства. За эти рубли надо вести бессмысленную жизнь, ночь превращать в день, день – в ночь, надо готовиться к бесприютной, одинокой, разбитой старости в такие годы, когда другие работают в цвете лет, и неизгладимая печать ложится на ни в чем не повинного «человека».

Все это мы знаем, но ко всему этому мы привыкли, как привыкли в жизни ко всему острому, жесткому и несправедливому, и нужен какой-нибудь экстраординарный случай, чтобы выбить нас из спокойно-равнодушной привычки и чтоб мы вспомнили о «человеке».

Ресторатор Милль сбежал, забрав залогов всех своих «человеков». Просто ресторатор Милль ограбил, пустил по миру несколько де-

сятков работников, слишком дорогой ценой, ценой своего здоровья, ценой своей личности сколотивших себе гроши про черный день. Ресторатор Милль сделал то, что делают всегда и везде разные рестораторы, содержатели гостиниц и т. п. Сплошь и рядом аферисты приступают к делу, не имея за душой ни гроша. Они набирают возможно больше служащих, берут возможно крупные залоги – составляетя кругленькая сумма. На эти деньги накупается посуда, мебель, нанимается помещение, – а это в свою очередь открывает кредит, и ресторан готов. Конечно, «человеки» постоянно под обухом: ежеминутно предприятие может лопнуть, и они теряют последние гроши.

С этим, конечно, необходимо бороться, и московское общество взаимопомощи официантов намерено ходатайствовать перед кем полагается о том, чтоб залоги служащих ни в коем случае не пускались хозяевами в оборот, а сдавались на хранение в казначейство.

Правильно. Но думается, что залоги-то наименее значительная часть тяжести официантской жизни. Ведь если залоги и не бу-

дут разворачиваться, тягость этой жизни и унижительность обстановки труда по-прежнему останутся. По-прежнему надо с рабским, льстивым лицом глядеть в рот жующему гурману в ожидании подачи, по-прежнему, раздраженные атмосферой, насыщенной спиртом, будут по углам допивать остатки в рюмках, а по закрытии ресторана – пропивать по трущобным трактирам трудовые гроши. Весь трагизм официанта в том, что он – «человек», а не просто – человек, и вот сюда-то и должны быть направлены все усилия молодого общества. Поднять личность, внушить официанту уважение к себе, заставить его уважать человеческое достоинство и в себе и в других людях – вот задача.

Малолетние бродяги*

По Театральной площади, тяжело ступая, равнодушно шли спереди и сзади конвойные солдаты, поблескивая на солнце сталью обнаженных шашек. Между ними, в серых арестантских халатах, с отпечатком на серых лицах пребывания в тюрьме, шли две женщины. Крепко держась за них ручонками, торпливо семенил крохотными скользкими

и выворачивающимися на неровном бульжнике мостовой ножонками крохотный мальчуган с прелестным, но очень бледным личиком, с ясными большими наивными глазками, которые он то подымал и глядел на сверкающую колеблющуюся сталь, то опускал и напряженно следил за маленькими измучившимися ножонками. Конвойные шли крупным солдатским шагом, женщины торопливо попевали, и мальчуган напрягал все свои детские силы, крепко держась за руки женщины. Ему было очень трудно. Ему не было и шести лет.

Это была до того необычайная группа, что прохожие останавливались, и у многих при виде этой изнемогающей крошки невольно выступали на глазах слезы. Отчего его не везут или не несут? Какое тяжкое, не прощаемое людьми преступление он совершил? Очевидно, они шли в Кремль, в окружной суд. Если это из Бутырок, так ведь несчастному мальчугану пришлось сделать немалый конец.

Эти вопросы шевелились в голове у всех, встречавших мальчугана, и их легко было

разрешить, дойдя до окружного суда, наведя справки, и, быть может, можно было бы что-нибудь сделать для мальчика. Может быть, возможно было поместить в приют для детей заключенных, да мало ли что можно было сделать для ребенка!

Но... у каждого было свое дело, свой дом, свои собственные дети, прислуга, заботы, нужда, горе. Было тепло, слезы высохли, а конвойные с арестантками и с арестантом потерялись за углом, и опять на Театральной площади ехали извозчики, звонили конки, и каждый шел по своему делу, не останавливаясь, не отвлекаясь посторонним.

Обывателя хватает только на то, чтобы прослезиться, но от этих быстро высыхающих слез множеству заброшенных детишек ни капли не легче. Хитров рынок является центральным пунктом, куда стекаются дети-бродяги. Десяти-тринадцатилетние дети бегут сюда из мастерских, из лавок, из трактиров, куда они запроданы из деревни родителями, где их нещадно бьют и истязают. Встречаются и восьмилетние. На Хитровке дети ведут совершенно самостоятельную жизнь, пьянству-

ют, играют в карты, развратничают.

Делается ли что-нибудь для них? Обыватель при случае умеет горько прослезиться. Впрочем, нет. Он вовсе не так черств: хитровские дети зарабатывают нищенством от шестидесяти копеек до полутора рублей в день. Стало быть, им подают, – стало быть, средства находятся. Но если бы сердобольный обыватель заглянул на Хитровку, если бы он видел, какое чудесное употребление делают из его денежной помощи, как валяются мальчуганы пьяными на его деньги, как они отлично проводят время по трущобам с женщинами известного сорта, – стыд, жгучий стыд охватил бы его за его бессмысленную, ненужную и жестокую сердобольность.

На эти шесть гривен – полтора рубля в день кое-что можно сделать для ребенка. Только для этого нужно приложить усилия, нужно потратить труд, время, нужно создать известную обстановку для ребенка, нужно заботиться о нем, нужно вывести его в жизнь. Это возможно только при широкой организации деятельных обществ.

Все это так, но все это – волокита, беспо-

койство. А то – прослезился, сунул полтора целковых в руку ребенка, и пусть себе идет в кабак. Ясно, просто, без хлопот – и... душеспасительно.

Золотушные, малокровные*

Весна обманула. Поражающе рано сбежал снег, пришли теплые южные дни, развернулась зелень, временами стоял почти летний зной, и изумленный обыватель опасливо себя ощупывал: не пред добром это. Но природа не терпит нарушения равновесия, и холода и дожди торопливо и с успехом стали нагонять потеряное.

Впрочем, так или иначе равновесие будет восстановлено, время возьмет свое, и, как птицы в перелет, «вся Москва» потянется из душных, пыльных улиц на курорты ли, в деревню ли, на дачи ли, только вон из этих душных, горячих стен.

Правда, некоторая толика останется в городе, примерно так около миллиона останется, но это не в счет, ибо не включается во «всю Москву».

И среди этого миллиона останется много десятков тысяч учащейся детворы. Будут они

с пользой для себя щебетать в подвалах, в тесных, грязных каморках, на вонючих бульварах. Все лето они проведут в удушливом городе, малокровные, золотушные, испытанные городские дети, ибо они не принадлежат ко «всей Москве». Беспокоиться, впрочем, нечего: мозолить глаза они не будут, ибо скрыты по дворам и квартирам.

За границей, как известно, любят мотать деньги. Там, извольте ли видеть, понастроили множество детских санаторий, куда на лето и свозится это щебечущее, прыгающее, поющее, скачущее царство. Ребятишки там отдыхают, набираются сил, запасаются всем, чтобы дать здоровых, сильных, бодрых граждан. Ну, у нас это дело гораздо проще, разумнее, дешевле и без хлопот. Живут себе круглый год в городе – и все. Не привередничают. Если положено мальчишке быть золотушным или худосочным, так он так это и понимает и растет себе потихоньку и вырастает в тихого, смиренного, золотушного обывателя. Водку же он и без всяких санаторий научается пить, и пьет отлично и безубыточно.

К сожалению, искривленные и неправиль-

ные понятия проникают и в Москву; стали у нас совершенно зря и на ветер бросать деньги, стали и у нас таскать ребят по санаториям и летним колониям.

Одним разве можно только утешиться, что тут только «одна видимость», как выражается один из персонажей Успенского.

В Москве около восьмидесяти тысяч учащихся, и большинство из них падает на всевозможнейшие низшие школы. Из этой массы попадают в колонии и санатории человек полтора – двести. Согласитесь, что это опасно для золотухи, малокровия, детского истощения.

Эти двести детских сердец, радостно бьющихся среди деревенской обстановки, среди зелени, полей, лесов, с горячей признательностью запечатлеют имена лиц, положивших начало детским колониям, но еще десятки тысяч таких же маленьких бьющихся сердец жаждут проникнуться этой признательностью.

И общество должно им помочь в этом. Этому обществу на минутку только нужно представить себе, что это его дети задыхаются в

пыли и миазмах наступающего лета в громадном городе, надо на минутку представить себе эти золотушные, испитые личики.

Разумные развлечения*

Удивительно, как лицемерие пронизывает всю нашу жизнь, пронизывает, так сказать, органически сливаясь с ней, настолько сливаясь, что мы перестаем признавать лицемерие как таковое, совершенно искренне полагая, что это просто кусочек нашей жизни, кусочек правды.

Никто никогда не осмелится сказать: ни под каким видом не нужно давать народу образование; не осмеливаются сказать даже те, кто борется против освобождения народа от тьмы и невежества, не осмеливается этого вслух сказать даже мрачная толпа разных «Граждан», «Ведомостей» и пр.

Что народу нужно дать разумные развлечения, что ему нужно сделать доступным театр, стало стереотипом.

Это до того въелось в сознание, что сказать противное – все равно что явиться в вполне «приличное общество» в халате и туфлях. Но как только доходит до практического осу-

ществления этой мысли, так сейчас же обнаруживается, что мы – лицемеры.

И не то чтобы мы отказывались от своей мысли, – нет, но у нас являются тысячи доводов, которые ослабляют ее, сводят ее на нет. Присмотритесь.

Во многих городах строят городские театры, и для этого находятся средства. Но как только подымается вопрос об организации какого-либо учреждения, в котором бы пользовался разумными развлечениями рабочий люд, сейчас же является действительно непреодолимый довод – денег нет. Ну, если их нет, что же делать? И так всегда.

И если даже что-нибудь и устраивается в пользу рабочего люда, так это всегда до смешного ничтожно, в гомеопатических дозах.

Характерной иллюстрацией является проект второго городского народного дома в Москве.

На постройку этого дома имеется пожертвование в восемнадцать тысяч рублей. Вопрос за участком земли, который город должен отвести под здание. И вот тут-то начинается сказка про белого бычка.

Город отказывается давать землю в наиболее подходящих местах, то есть в центре рабочих кварталов, а дает где-нибудь на Конной площади, где народный дом будет пустовать. Так до сих пор проект народного дома ждет своего осуществления.

Наконец фирма Циндель предлагает участок земли под народный дом в Кожевниках с тем, чтобы город дал за этот участок в обмен соответствующее количество береговой земли по Москва-реке, находящейся в аренде у этой фирмы.

Но неожиданно оказывается, что у некоторых влиятельных членов финансовой комиссии является тьма доводов за то, чтобы не отдавать землю, даже не решая вопроса о выгодности обмена, что-де у города земельный фонд и без того истощился и пр. Словом, под фрактом оказался самый настоящий домашний халат, и московские рабочие еще не скоро дождутся второго народного дома, если еще дождутся.

В мутной воде*

Лавры Мильтиада не дают спать обывателю, жаждущему половить рыбки в мутной

воде. Грянул оглушительным проектом полуторастамиллионного метрополитена предприниматель Балинский.

Уже и глаза прищурил, и слюнки потекли, и вдруг... И долго изумленными глазами смотрел он, как, тяжело переворачиваясь и сверкая миллионами, гремел и катился сорвавшийся метрополитен.

Но неудачи не пугают обывателя: у Мильтиада все-таки были лавры. Да что Мильтиад – старье, а вот ближе. Есть лавры у предсказателя погоды Демчинского, и преотличные лавры, весьма осязательные, так сказать, увесистые, материализованные.

Слава, думаете? Что слава – звук пустой. Ею сыт не будешь и шубы из нее не сошьешь. И хотя слава его растет с каждым новым двойным предсказанием, которое, как предсказания пифии, можно повернуть и так и эдак и которые по этому самому не особенно редко оправдываются, – повторяю, не в славе дело, хотя, несомненно, и она доставляет приятные эмоции.

Демчинский выписывает свои кривые, и весьма безубыточно для себя. Но ведь это же

вовсе не остроумно, от этих кривых никому ни тепло, ни холодно, и пользы от них столько же, сколько от козла молока. И все-таки весьма безубыточно. И не только безубыточно, но это еще дает Демчинскому смелость уширить свою метеорологическую мощь и приняться за... разрушение университетов.

Что-то тут неспроста, думает обыватель, и если что-нибудь тут и зарыто, так это, несомненно, не просто собака, а преогромный пес. Стало быть, если придумать что-нибудь действительно остроумное и на пользу народную, результаты будут еще безубыточнее, и от университетов можно и следов не оставить.

Придумал. Обыватель придумал изменить отвратительную погоду Петербурга на ниццскую. Подумайте только: над Петербургом голубое ясное небо, теплые солнечные дни, ласкающий ветерок. Пропадет серый, сырой, угрюмый туман, мелкий, вьедливый, злой дождь, пропадет слякоть, промозглая, вьедающая в кости сырость.

Но как это? Очень просто, как просты все великие открытия. Обыватель, как извещает

телеграф, просит выдать ему привилегию на изменение, на улучшение петербургской погоды. Он поставит триста громадных мортир и начнет оглушительно палить в небо.

Вы улыбаетесь? А я говорю, что это имеет интерес вовсе не мелочного курьеза, а служит одним из тех тысячей мелких признаков, которые характеризуют время.

Не забывайте, что жизнь складывается из мелочей, в каждую эпоху окрашенных в определенный цвет. Демчинский, Балинский, неизвестный мортирный артиллерист – это характерные кусочки современной жизни.

И вот такие мелкие – я говорю только о мелких – мелкие, характерные, однотонно окрашенные факты, характеризующие время, лезут в глаза со всех сторон. И это везде – в печати, в обывательском обиходе и в прочих сферах жизни.

Вот не угодно ли, что рассказывает одна петербургская газета, отнюдь не бульварная. Рассказывает с самым серьезным видом, слегка нахмурившись, чтоб не вздумали смеяться.

Почтенный сотрудник газеты был на сеан-

се медиумическом. Были дамы, были штатские, были военные – и все люди почтенные.

Приняты были все меры, чтобы не допустить обмана; впрочем, дело было поставлено так солидно, что об обмане не могло быть и речи.

Посреди комнаты, на стуле, тесно окруженная толпой присутствующих, сидела дама-медиум. Она была загипнотизирована. И вот... вдруг... нижняя часть ее тела пропала. Да, да: над стулом была голова, руки, торс, а на стуле одно платье, пустое платье.

Что платье было пустое – в этом почтенный сотрудник, и все штатские, и все военные убедились непосредственно, ощупав рукой. Тело г-жи Н. превратилось в парообразное состояние, – с набежавшей на лбу складкой говорит почтенная газета.

Такое же парообразное состояние тела сотруднику почтенной газеты пришлось наблюдать в Ростове-на-Дону, где факир на глазах у всех огромным кинжалом проткнул на сцене театра (обман и фокус здесь абсолютно исключаются) горло полицейского пристава, так что тот глаза выпучил.

Потом вытянул кинжал, вытер, потер рану, и пристав отправился себе как ни в чем не бывало.

Мало ли какие глупости рассказывают газеты. Что тут особенного?

Извините. Это рассказывается не в «Ребусе», не в бульварном листке. Это рассказывается в органе, умеющем говорить серьезным языком!.. Почему же он не говорит этим серьезным языком?

Разве мало кругом жгучих, волнующих, пенящихся, как в клокочущем котле, вопросов, которые всех захватывают? То-то и есть, почему. Не чувствуете ли эдакой общественной мути, в которой выплывают фигуры и лица Балинских, Демчинских, мортиробойцев и сверхъестественных газетных сотрудников. И как бы каждый из них в отдельности мал и ничтожен ни был, как общественный факт, суммируясь, большой массой, они дают определенную картину общественной мути.

В глухой полночный час, когда черное небо низко припадает к черной земле, когда и люди спят, и звери спят, когда глухо, – вылезает всякая нечисть: хвостатые, лохматые, с

птичьими носами, с козьими ногами, с совиными ушами, они скалят зубы, грегочут, и несутся странные и дикие звуки.

Белошвейки*

Вы носите тонкую полотняную сорочку, уродливые, аршинные, подпирающие вам шею английские воротнички, не чувствуя, часто не подозревая той тяжести, которая должна бы в них вас давить. Вы их приобрели в одном из модных блестящих магазинов, несколько не задумываясь над историей о рубашке, над песней о рубашке.

Это чрезвычайно простая, несложная, все та же история и песня: «Шей, шей, шей...» – печальная и заунывная, как осенний ветер, шевелящий пожелтевший камыш. Наклоненная голова, согнутая спина, вдавленная грудь, бескровные губы, усталые глаза, молодость, выпитая восемнадцатичасовым трудом, измучивающими бессонными ночами, и унылый и монотонный, как эта печальная жизнь, непрекращающийся стук швейной машинки, твердящей все одно и то же: «Шей, шей, шей!..»

Вы смутно себе представляете, что где-то

по закоулкам живут и шьют для вас уродливые воротнички и тонкие сорочки белошвейки, что у них тусклая, тяжелая жизнь, что львиную долю забирают себе посредники-магазины, что на долю работниц приходятся гроши, но это неясно, случайно, отрывочно мелькает порой в голове, сейчас же стираемое тысячью других мыслей и соображений, ибо что тут особенного. Много и без того ведь на свете всякого горя и трудовой тяжелой жизни.

Но что для нас с вами лишь смутно мелькнувшее представление, для них, для этих работниц, – целая жизнь, быть может, и не особенно долгая – тут не бывает долгой жизни, – но настоящая, живая жизнь, которая только раз дается человеку и которую так или иначе надо прожить.

Белошвейка сплошь и рядом получает восемь рублей в месяц. На это нужно одеться, прокормиться, иметь квартиру. Не удивительно, что белошвейные дают очень большой процент проституток – приходится «додрабатывать», чтоб не пропасть с голоду.

Представители мужского труда в той или

иной мере пытаются улучшить свое положение, женский труд находится в первобытных условиях. Между тем женский труд, как масляное пятно, непрерывно расплывается, захватывая все новые и новые отрасли. И всякая попытка к улучшению условий его драгоценна.

Такую попытку делает некто Кузнецов. Он пытается организовать особый «белошвейный союз». Гр. Кузнецов уже организовал в Петербурге вспомогательное общество закройщиков и в Москве – бюро закройщиков и закройщиц. Этот прецедент до известной степени делает вероятным успех и последней попытки.

Для организации предполагаемого общества необходим капитал в десять тысяч рублей. На эти деньги будет производиться оптовая закупка материала, который в кредит будет отпускаться белошвейкам, а изделия их будут продаваться из специального магазина «союза».

Тем поразительнее прием, оказанный новому начинанию в ремесленном обществе. Собрание белошвейных мастериц в помеще-

нии взаимно-вспомогательного общества московских ремесленников не состоялось. Исправляющий обязанности председателя общества почтенный Петр Кириллович Правиков разогнал собравшихся категорически:

– Не позволю открывать собрание.

– Да почему?

– А потому. Идея эта принадлежит Кузнецову, а он из нашего общества вышел... Нет... н-не позволю!

Уломать этого героя не удалось. Дело, очевидно, гасится в самом начале. Теперь инициатор подыскивает другое помещение. Но ведь стыдно же будет обществу, если белошвейкам придется ходить по городу и искать помещение, чтобы обсудить и наладить дело.

Светочи*

Их шло двое.

Один – подвижной, живой, высокий и тонкий, другой – приземистый, низкий и хмурый.

Первый улыбался весело и радостно, поворачиваясь во все стороны, второй – угрюмо и хмуро, как ненастная туча, глядел на мир из-под нависших бровей.

У первого смеялись глаза, лицо, вся фигура. Он улыбался солнцу, улыбался улице, шумной и суетливой, улыбался прохожим, улыбался извозчикам, грохотающим по мостовой, конкам, неуклюже и не спеша ползшим по рельсам, улыбался домам, залитым ярким солнечным блеском, зелени деревьев, улыбался всей этой шумной, грохочущей, задержанной золотистой пылью жизни огромного города. Второй, тяжело ступая, не поднимал глаз от земли.

– А-ах, хорошо! – радостно вздохнул высокий. – Хорошо, тепло, солнце... весело... радостно... Посмотри, ты посмотри на лица прохожих: ведь они все смеются, все... ты не гляди, что они как будто серьезные, они улыбаются, они не могут не улыбаться, их одолевает этот беспричинный смех, смех жизни, тепла и радости...

– Чему радоваться, – низким, грубым, хриплым, как из бочки, голосом проскрипел хмурый, – чему радоваться-то – пыли, жаре, вони, раскаленной извести, кирпичам, булыжнику, железу!.. Все задыхаются, не знают, куда деться. Смеются!.. У всех красные, вспо-

тевшие лица передергивает, точно их на вертеле жарят... Смеются!.. Тем разве смехом, каким смеются в пекле...

– Нет, – радостно проговорил тонкий, заглядывая сощуренными и смеющимися глазами, – нет, что бы ни говорили, как бы тяжело в жизни ни приходилось, есть в ней что-то, есть в жизни что-то такое, что тянет вперед, дает надежду, заставляет чаще биться сердце, вызывает светлую, ласковую улыбку... Что? Жизнь не стоит на месте. Худо ли, хорошо ли, трудно или легко, с горем или с болью, но мы идем вперед... всей громадой, всей силой, мы грузно, тяжело, но бесповоротно шествуем вперед... вперед, а не назад... какую бы область ни взяли, в конце концов общий результат – вперед... Ну... вот пример... пример лучше всего. Возьмем Москву, образование в ней – это светильник, ярким светом освещающий людские сердца... Москва близка к всеобщему обучению... Дальше... в Москве *восемь тысяч четыреста пятьдесят девять* человек с высшим законченным, – слышишь-ли? – с законченным образованием... Боже мой! Ведь это армия, целая армия, восемь с половиной

тысяч. И из них двести сорок три женщины. Ведь это целая армия, сеющая вокруг себя понимание, культуру, знание, свет... И разве это не радостно? не весело? Разве это не заставляет всех прохожих неудержимо улыбаться радостной неодолимой улыбкой?

И высокий весело, как дитя, смеялся, оборачивался во все стороны и смотрел на всех.

– Да-а, – глухо, как немазаное колесо ночью, проскрипел хмурый, не подымая глаз от земли, – засмеешься, только не тем смехом. Восемь тысяч четыреста пятьдесят девять человек! Население свыше миллиона, это по одиннадцати человек на тысячу. *Одиннадцать* человек! Да, богатство, нечего сказать, скопление знания и светочей. И если тут, в белокаменной, их только одиннадцать на тысячу, что же там, за городской чертой?.. одна сотая на тысячу...

И хмурый шел, тяжело ступая, не подымая глаз от земли, и шел рядом с ним высокий и тонкий, весело и радостно улыбался и они говорили, и каждый стоял на своем.

Братья-газетчики*

Актер, профессор, адвокат имеют перед собой живую, глядящую на них, слушающую их публику. Каждым словом, каждым повышением голоса, каждым жестом и движением оратор непосредственно воздействует на предстоящих, – видит, как бледнеют лица, как разгораются глаза, как наворачиваются слезы, сжимаются кулаки, и, подхватываемый общим настроением, взмытый широкой волной внимания, сочувствия, вражды или раздражения, оратор чувствует странную, особенную связь с этим тысячеголовым, беспокойным, в одно и то же время таким простым, ординарным и загадочным существом, именуемым публикой. И чувствование этой связи почему-то доставляет высокие моменты удовлетворения.

Не то – писатель. Он – одинок.

Ему не смотрят в лицо тысячи глаз. Те, к кому обращено его слово, далеки от него, они разбросаны, они немые, их лица скрыты. Кто они? Как бьются их сердца? Что их волнует? Кому они кланяются? Кого ненавидят? Чего ищут?

Очень медленно реагирует читатель.

Очень медленно приподымается пред писателем легкий флер, задерживающий тех, с кем он беседует. Зато у писателя есть крупные преимущества: его воздействие на читателя длительнее, глубже, перед ним аудитория обширнее, он гибче, разностороннее, разнообразнее в своих воздействиях, связь его с читателем прочнее. Самые разнообразные вопросы жизни тянутся к нему из читательского мира, требуют обсуждения. И эта живая связь с людьми, которых не знаешь, с которыми в большинстве никогда не встретишься, является оплатой за все шипы и тернии, которые впиваются во всю писательскую работу, жизнь, деятельность.

Я сегодня позволю себе поделиться рядом вопросов, которые ставит, и фактов, которые сообщает читатель. Ничего особенного, ничего, предупреждаю, исключительного по интересу. Это все та же неправда и неустройство жизни, все то же недоумение перед нелепостью жизни, это все тот же крик боли и страдания. Все старое. Но ведь и вся наша действительность – это огромное колесо, слепо перемалывающее одни и те же, все старые

зерна.

Не странно ли: люди, все время проповедующие взаимную помощь, организацию, твердящие, что легко ломающийся в одиночку прут не переломить в пучке, что единение – сила, эти люди бредут в жизни, как слепые, заблудившиеся в темном лесу дети, как попали, не подавая друг другу руки. Едва ли вы встретите более кричащих о единении и наиболее разъединенных людей, чем литературные работники.

Все профессионалисты соединяются. Приказчики, врачи, ремесленники, инженеры, учителя. Только литературный работник одинок. Только один он не знает силы взаимной поддержки.

По поводу одной из моих «заметок» мне пишет один из литературных работников: «Тяжесть положения газетного чернорабочего, по крайней мере в провинции, усиливается еще тем, что он стоит, так сказать, вне жизни. Ему некуда приткнуться, некуда голову склонить. Везде он – третий элемент, сторонний зритель, вечно он один. Представители разного рода профессий организуются в круж-

ки, в корпорации, имеют клубы и т. д. У газетчиков – ничего подобного. В их судьбе роковое есть что-то». «Меня давно, – говорит далее мой корреспондент, – занимает вопрос, как бы газетчикам хоть немножко сплотиться. Ведь, помимо всего, есть масса профессиональных вопросов, разрешить которые буквально негде».

Далее автор письма сообщает, что в нынешнем году предпринял в этом направлении попытку. Он разослал в редакции поволжских газет письма, что-де следовало бы как-нибудь столкнуться сотрудникам газет, чтоб положить начало объединения на почве профессиональных интересов. Увы, только два издания из десяти прислали сочувственный ответ, остальные не удостоили ответом.

Помимо чисто внешних условий, а затем специальных особенностей литературной профессии, мешающих объединению, представители последней сами кладут палки в колеса своей инертностью, неподвижностью, антиобщественностью, равнодушием к судьбе собратьев.

Между тем профессиональное объедине-

ние не только имеет значение в смысле улучшения судьбы каждого пишущего, оно будет иметь и общественное значение, так как сделает каждого литературного работника более независимым.

Возьмите любой провинциальный город с двумя газетами. Газеты приблизительно одинаковы и по направлению, и по содержанию, и по дефектам. Трудно себе представить, какая вражда между ними существует. Дня не пройдет, чтоб друг друга не уличили во лжи, в клевете, в извращении фактов, во всех противоестественных преступлениях. А так как оба противника одинаково приписывают друг другу самые невероятные вещи, то нужно предположить, что вся русская пресса состоит из беглых с Сахалина. Вернее же будет предположить, что это – люди как люди, газеты как газеты, только отношения их окрашены взаимным соперничеством.

Между тем это соперничество накладывает печать глубокой розни и на литературных работников, отдаляя их друг от друга.

Для розни, для отдаления, для размежевания может быть только один повод – принци-

пиальное, принципиально непримиримое разногласие. Нельзя идти рядом, стыдно, позорно подать руку людям, которые торгуют совестью, честью, которые продают, как картофель на базаре, все, что дорого обществу. Но когда люди смотрят косо друг на друга только потому, что органы, в которых они работают, конкурируют, это уже – слепота, узость, ограниченность.

Прежде всего для литературного работника – независимость, независимость же органически связана со сплоченностью. Бессилие одиночества нередко заставляет идти на компромиссы.

Все это так, но как же практически осуществить единение, имея в виду разные специальные трудности и, в частности, кочевой образ жизни литературного работника? Это вопрос, так сказать, техники. Прежде всего – сознание необходимости такой сплоченности. Думаю, что решению вопроса будет положено начало в провинции – там нет такой глубокой, принципиальной по существу дифференциации между органами печати. С другой стороны, инициаторами должны выступить

представителя репортажа и вообще незаметной для постороннего глаза газетной работы.

Это потому, что так скорее всего наладится дело, что эта часть газетных тружеников наименее обеспечена, наихудше оплачивается, наиболее страдает от одиночества и розни. Попытку автора упоминаемого письма надо приветствовать и пожелать, чтобы она была не последней – под лежащий камень ведь и вода не течет.

Обыкновенная история*

Тысячелетия юноши любили девушек, и это было старо, как мир, и тем не менее каждый раз, когда любовь загоралась в юном сердце, это было страшно ново. Тысячелетия люди не переставали умирать и должны бы привыкнуть умирать, и все отлично знают, что рано или поздно умереть неизбежно, и тем не менее смерть, глядящая в лицо, поражает своей страшной неожиданностью, новизной.

То, о чем я сейчас расскажу, старо-престаро, тысячу раз рассказывалось в печати на все лады, и тем не менее каждый раз, как встречаешься с ним, оно поражает своей

страшной новизной.

«Судьба меня столкнула с одной из московских проституток, – так начинается в письме вечно новую и вечно старую историю один из читателей. – Так как она являет собой не личную извращенность, а всецело продукт тех условий, какие ей диктовала жизнь с момента рождения, думаю – не лишне рассказать ее историю. Приобрести доверие такой личности, как моя знакомая Е. А., очень трудно, и я его не приобрел бы, если бы не исключительный случай, который столкнул меня с ней. Но не важно, как я узнал, а важно, что узнал.

История обыкновенная, простая и страшная в своей простоте.

Е. А. - питомка московского воспитательного дома. До одиннадцати лет жила в деревне, до тринадцати – в белошвейной мастерской, тринадцати лет продана служившей в мастерской кухаркой немолодому купцу, после чего два месяца пролежала в больнице.

К кому было обратиться по выздоровлении? Естественно, к той же кухарке, которая *вторично* продала девочку сводне на Цвет-

ном бульваре.

Мадам М. содержала свою жилищу хорошо, получала с «гостей» за визиты по *пятидесяти* рублей, девочке же доставалось лишь то, что дарили гости на конфеты. Она и тратила те деньги на конфеты, так как ни в чем, живя у г-жи М., не нуждалась, а обстановка такого существования не давала возможности узнать ценность денег и вещей.

Госпожа М., выжав из своей жилицы все, что могла, перепродает ее другой сводне, та – третьей, и Е. А. *пятнадцати* лет с прибавкой одного года в паспорте очутилась в заведении.

Пробыла здесь недолго, с полгода, и, ознакомившись с Мясницкой больницей, пробует устроиться самостоятельно. Это – период скитаний по квартирным хозяйкам, *хозяевам*, есть и такие, – замечает автор письма, – по мебелированным комнатам. Это – жизнь по бульварам, тротуарам от «Эрмитажа», до Филипова.

В одной из содержимых хозяйкой мебелированных квартир, являющихся, к слову сказать, тайными публичными домами с распи-

тием водки и пива, горничная девушка Паша принимает участие в судьбе Е. А. Сначала они обе пытаются найти мать Е. А. Справляются в адресном столе, где получают справку, что «таковой в Москве на жительство не значится». Тогда приводят в исполнение план Паши устроиться Е. А. самостоятельно, то есть снять квартиру рублей за двадцать, нанять прислугу и зажить своим домом.

Расчет прямой. Хозяйка за комнату с отворотительным столом берет сорок рублей, да на столько же украдут хозяйка и подруги как вещами, так и деньгами, когда Е. А. пьяна, – впрочем, она и трезвая не имела привычки, по простоте своей, сохранять вещи под замком.

Теперь ей семнадцать лет. В такие годы родители дочерей своих считают детьми, а она уже четыре года – *четыре года!* – занимается проституцией как ремеслом.»

Далее автор рисует внутреннюю духовную сторону ее.

«Е. А. неграмотна. На карточке, подаренной ей одним «гостем» и изображающей Ада-

ма и Еву, она не могла указать, кому какое принадлежит имя. Она больше склонялась решить вопрос так, что Адам – это женщина, вероятно, от «дамы». Считает же девушка так: двадцать восемь, двадцать девять, двадцать десять... В какой цифре выражается ее бюджет, она не знает. Как ребенок, она не знает цены вещам: она их не покупала, за них не выплачивала, у нее удерживали из заработка. Ей обыкновенно объявляли: за такую-то вещь она уже не должна, а должна за другую. Не выходя из дома, она жила лучше или хуже, не в зависимости от заработка. Она ничем не дорожит: ни вещами, ни покоем, ни своим, ни чужим. Каждое впечатление без следа вытесняется следующим.

Вся ее жизнь – ряд случайностей, без логической связи, последовательности. Она много пьет: требуют хозяйки – доход. Требуют купцы:

– Мы дома с женами так-то сидеть можем, – говорят они, если она не пьет.

Она пьет еще потому, что среди этих девушек крепко держится предрассудок, что не пить совсем, живя их жизнью, – вредно.

Цинизм ее можно ли назвать цинизмом? В силу своего ремесла она только называет своими именами вещи и явления, преобладающие в ее обиходе. Это не цинизм, а печальная действительность.

Один «гость» неловко выразился, что «заплатил» ей. Надо было сказать «подарил». И она в слезах говорила ему:

– Платят только за вещи, я – не вещь, а женщина... я – женщина.

Физически Е. А. перестала развиваться, вероятно, со времени своего «падения», то есть с тринадцати лет. Она миниатюрна, очень мила, способна, как ребенок, подолгу любоваться собой в зеркале. Да в действительности это и есть ребенок, беспомощный, не знающий и не понимающий жизни, правдивый, искренний, откровенный, щедрый, не злой; жизнь еще не успела озлобить ее.

Самым вредным элементом в жизни проституток являются сутенеры, «коты». Начав с объяснений в любви, они окружают девушку полным вниманием и лаской и, приучив к себе, меняют тактику. Постепенно приобретая право вмешательства в личную жизнь де-

вушки, негодяй сначала только снисходительно принимает от нее угощение, а потом и всецело распоряжается ее доходами, побоями взыскивая все, что ему нужно.

У Е. А. уже появился такой обожатель. Он поколачивает. «Потому и бьет, – говорит она, – что любит».

Она горько сетует, что у нее нет матери, которая бы защитила ее.

И в самом деле, кто защитит ее? Кто освободит от настойчивого обожателя, который бьет ее по голове, чтобы избежать видимых синяков?»

Вот и все.

Старая и поражающая своей новизной, как смерть, история. Эта коротенькая история семнадцатилетней жизни стоит десятков повестей и романов с убийствами, самоубийствами, кровью и всякими ужасами. И это среди нас, быть может на одной с нами улице. Крохотная девочка, проданная старику купцу, утирает капающие слезы с одним задуманным криком-стоном: «Мама!» А сколько их, сколько их, таких девочек в Москве.

«Шумим»*

«Шумим, братец, шумим!»
«Ш» Это – удивительная, специально русская черта: «Шумим!..»

Шумим в личной жизни, шумим в общественной. И шумим не то чтобы так себе, зря, шумим искренне, от сердца. Те силы и энергия, которые в нас заложены, как в открытый люк, устремляются в этот шум, и мы чувствуем удовлетворение.

И сколько хороших дел, сколько прекрасных начинаний, сколько планов, сколько надежд, как утренний туман, растаяли вместе с замолкшим шумом!

Вы знаете болезнь хуже холеры и чумы, болезнь, как язва, въедающуюся в народное тело, болезнь, уносящую тысячи жизней в самую цветущую, в самую лучшую пору – туберкулез, этот страшный бич человечества.

Уже стала избитым местом его ненасытная прожорливость, его социальная опасность. На Западе – в полном разгаре борьба с чудовищем, у нас – только начинается.

Москва, как и во многом другом, подает пример этой борьбы.

Четыре года тому назад седьмой пироговский съезд врачей организовал комиссию при обществе русских врачей в память Н. И. Пирогова для выработки мер борьбы с туберкулезом.

И комиссия... зашумела.

Шумела она искренне, правдиво, с знанием дела, основательно, с толком.

– Граждане, – говорила она, – туберкулез – страшная штука.

Помолчав:

– Д-да! Страшная штука! Сколько народу поедает. Очень много.

Публика мнется.

– Да, это действительно... поедает народу.

– Граждане, бороться лекарствами с этим ужаснейшим недругом человечества, с этой роковой болезнью, с этим... ну, вообще с этим бичом человечества бессмысленно.

– Да... конечно... разве лекарствами что сделаешь?.. Лекарствами ничего не сделаешь, если, например, чахотка... Это уже известно... об этом писали, писали...

– Да... Ну вот, лекарствами ничего не сделаешь. Нет, тут нужны широкие социальные

меры. Не лечить надо уже заболевших, а не допускать болеть. Нужно, чтобы народ понимал, понимал сущность болезни, понимал, как ограждать себя от нее, понимал бы, что она заразительна, понимал бы, что надо хорошо питаться, жить в светлых просторных помещениях, соблюдать все правила гигиены, не надрываться в работе. Понимание, знание нужно. Тут лекарствами ничего не поделаешь, тут все в полной зависимости от социальных условий. Грамотность прежде всего.

– Это действительно, это так... палочки эдакие пакостные в человеке заводятся... Ну, там говядину нужно есть, чтобы сытость была, – давно об этом в газетах пишут. Вот брат у меня от чахотки помер... жена при последнем издыхании... детишки – ветром валяет, да и я туда же за ними гляжу... палочка эта самая вредит... нельзя ли помощи дать?.. Хоть вздохнуть бы, измаялся...

Комиссия строго:

– А ты грамотный? А питание? А насчет гигиены?

– Ась?.. Неграмотный... Кормимся кое-как по бедности нашей... Главное, палочка заела,

кашель, кровью харкаю, пот, работать – надо сил, хоть бы чего-нибудь... нельзя ли...

Комиссия снисходительно:

– Ну, вот что, батюшка, ничего не можем сделать: прежде всего грамотность, грамотность прежде всего и... Подожди немножко, братец мой: вот как наступит всеобщая грамотность, и питание там, тово... вот тогда приходи, мы тогда с большим удовольствием... Главное... питаться будете хорошо, по гигиене жить, объем воздуха и все такое... Тогда, братец, и приходи, тогда ты и понимать будешь... Вот тогда самое и бороться с чахоткой, понимаешь ли?.. Тогда, это самое, и бороться с чахоткой, потому что и чахотки-то не будет, не будет ее. Скажи, пожалуйста, какая чахотка, когда все будут отлично питаться, будут понимать, как уберечься, оградить себя от заразы, вообще, в иных условиях. Да!..

Вы говорите: это – шарж.

Нет-с, это только в обнаженном виде деятельность комиссии под председательством проф. В. Шервинского. Комиссия только и делает, что читает доклады, старые и давно известные доклады, что с чахоткой нельзя бо-

роться паллиативным лечением, что борьба с этим недугом должна быть перенесена на социальную почву и пр.,- что давным-давно известно и стало трюизмом.

Как, спросят меня, да разве распространение истинных понятий о болезни и о действительных мерах борьбы с ней в народе, разве это уже не борьба с чахоткой?

Да ведь в том-то и дело, что комиссия палец о палец не ударила, чтоб распространить в народе, в массе эти понятия. Ведь смешно же считать за рациональные способы распространения в народе, в обществе истинного представления о мерах борьбы с чахоткой те публичные вечера, на которых читались доклады и на которых присутствовало тридцать – сорок человек, смогших заплатить высокую входную плату.

Здесь нужны тысячи, сотни тысяч брошюр, брошенных в народ, здесь нужна широкая организация народных чтений, здесь нужно устройство амбулаторий для чахоточных, санаторий.

Вот севастопольское общество борьбы с туберкулезом не ждет, когда наступит всеобщая

грамотность и изменятся общественные условия, а делает что может и сейчас.

Комиссия же сидит у моря и ждет погоды, не умея или не пытаясь похлопотать о скорейшем утверждении устава. Устав севастопольского общества был послан гораздо позже, и он уже утвержден, общество уже функционирует, а комиссия поджидает. Под лежащий камень вода не течет.

«Шумим, братец, шумим!»

Мальчик с кулем*

— Эй ты, послушай... Ты за что бьешь так? — Да как же, бейся тут с ей цельный час... У, норовистая, дьявол!..

И ломовой вытирает шершавой, заскорузлой, мозолистой, с вьевшейся грязью рукой потное и красное лицо.

— Нет, постой, бить нельзя, истязать животное нельзя... Эк, удивительно варварский народ!..

— Да как же с ей быть... С норовом, проклятая, теперь уперлась — хошь на себе вези, а хозяин тоже нашего брата не гладит, штрафует, как опоздаешь...

— Ну, нет, милый человек, я теперь тебя не

отпущу... Эй, городской, составьте протокол – лошадь истязует... Я – член общества покровительства животным... Надо кладь взвесить – наверно непосильная...

Ломового повлекли в участок.

Нагибаясь, тяжело дыша, едва переступая подгибающимися ногами, совсем скрытый под огромным кулем углей, тащится мальчик лет двенадцати. Пот катится по красному, напряженному лицу. Мимо идут члены общества покровительства животным, члены других обществ и не члены – просто прохожие, смотрят на мальчика, неодобрительно качают головами:

– Ах, песьи дети, ишь сколько навалили на мальчишку!.. – И... идут дальше.

Пот едко расплывается по глазам, застилая дорогу, мальчик шатается, каждую минуту ожидая, что рухнет со своим кулем.

Мимо гремят извозчики, несутся рысаки. В Леонтьевском переулке на маленького носильщика налетела лошадь и повалила его вместе с кулем. И он с измученным лицом, со слезами, возился около горой возвышавшегося на мостовой куля, уже решительно не в си-

лах взвалить себе его на спину.

Собралась толпа, члены и не члены общества покровительства животным, позвали городского, отправили в участок, составили протокол. В куле было свыше двух пудов. Мальчик был послан из колониальной лавки у Никитских ворот.

Все.

Для нас с вами все. Постоянно встречаются эти мальчики из магазинов, из мастерских, навьюченные, как мулы. Мы проходим мимо. И только когда их придавит лошадь, мы зовем городского и... составляем протокол. И все. Для нас с вами все. А для двуногого мула очень не все. Он вернется домой в магазин или в мастерскую, и его там жестоко, беспощадно, нечеловечески отдерут – не скандал, не славь хозяина, – и он сквозь душасщие рыдания, под жгучими ударами ремня будет проклинать нас с вами, сердобольных прохожих.

Да, мой добрый читатель, *не все*.

Недогадливый мужик*

«**М**аленькие недостатки механизма»...
Как-то мне нужно было поехать до

станции Крюково, Николаевской железной дороги. Был веселый яркий день, и я отправился с дачи на полустанок Петровско-Разумовское той же дороги пешком.

Поезда еще не было. На платформе скучно дожидалось несколько пассажиров – вероятно, дачники. Сверкая на солнце, далеко убежали рельсы. По полотну шел мужичок, запыленный, усталый, с потным, почерневшим от загара лицом, с мешком за плечами.

Он подошел к платформе, свалил грузно опустившийся на землю тяжелый мешок и отер широкой мозолистой шершавой ладонью потное лицо.

– Жарко, – проговорил он, ни к кому в особенности не обращаясь, – итить чижало... плечи все отдавило.

И он еще раз отер лицо, снял шапку и поскреб в лохматых, слипшихся, тяжелых от пота космах. Приподнял, напрягаясь, мешок и сдвинул его к стенке.

Пассажиры стали подходить к кассе, и начальник станции подавал в окошечко билеты. Подошел и мужичок. Он достал из-за пазухи мокрый от пота, почерневший, скомкан-

ный платок и стал его осторожно развязывать. И его еще нестарое, но прорезанное уже глубоко морщинами труда и злой жизни лицо сделалось сосредоточенным, почти благоговейным. Он повернулся к пассажирам спиной, стараясь оградить себя от нескромных глаз.

Повозившись с платком, он достал из него несколько медяков, тщательно свернул платок, запихал за пазуху и несколько раз потрогал: «Тут ли, дескать?» – потом подошел к окошечку:

– До Крюкова, – и выложил, осторожно звякая, медяки.

Кассир торопливо и привычно пересчитал и быстрым движением сунул деньги назад.

– Тут тридцать, надо пятьдесят четыре. Мужичок добродушно улыбнулся, точно хотел сказать: «Шутить изволите».

– От Москвы тридцать семь, – проговорил он голосом, свидетельствовавшим, что он понимает шутку, – от Москвы до Крюкова тридцать семь копеек... Ну, думаю, хоша и трудно, дай, думаю, до Петровского дойду, все копеек семь сберегу... Деньги нонче дюже вздорожа-

ли, – проговорил он, добродушно улыбаясь публике, и многочисленные морщинки побежали, перекрещиваясь, как по лопнувшей сухой глине, и опять подвинул тридцать копеек.

Кассир раздраженно отодвинул деньги.

– Я же говорю: пятьдесят четыре копейки...

Отходи, не мешай другим...

Мужичок разом потемнел.

– Што же это: от Москвы до Крюкова тридцать семь копеек, а как ближе подходить, так все дороже будет!.. Это не модель... От Москвы, стало быть, до Крюкова тридцать семь верст, а от Петровско-Разумовского верстов тридцать, и, значит, дороже... И вдруг, повысив голос, проговорил:

– Пожалуйста билет!..

– Я тебе русским языком говорю; билет стоит пятьдесят четыре копейки... Отходи.

Мужик вдруг побагровел, и сквозь загар лицо стало кирпичным.

– А-а, стало быть, жалованья мало получаете, семейство, так, стало быть, для прокормления... Понимаем... ну, только это не модель... Мы и до высшего начальства дойдем...

мы и до Питенбурка добьемся... не-ет... Пожалуйте билет?!

– Да ты с ума сошел... протокола захотел...

– Не-ет... это не модель... Пожалуйте билет... денежки-то у меня кровные, не в сору насбирал... Ишь ты: от Москвы тридцать семь, а ближе подойдешь пятьдесят четыре... Не-ет, не модель... Это железная дорога, а не то что трахт, где народ в темную ночь обчищают...

– Жандарм!.. – взревел взбешенный начальник.

– Да в чем дело? – подошел я.

– Да помилуйте, – заговорил взволнованный начальник станции, – измучили эти пассажиры... От Москвы действует пониженный пригородный тариф, от Петровско-Разумовского – обыкновенный, вот и выходит, что от Москвы-то до Крюкова стоит тридцать семь копеек, а от Петровско-Разумовского, которое лежит ближе к Крюкову, дороже – пятьдесят четыре копейки. Но ведь втолкните им. Они глубоко убеждены, что я эти деньги произвольно беру и чуть ли не в карман себе кладу. Каждый день такие истории – до протоколов

включительно... Дико для него это... Вот этот, например, нарочно из Москвы шел, чтоб сохранить несколько копеек.

Подошел поезд. Мужичок отчаянно бунтовал и шумел перед кассой, требуя билета. По платформе, звякая шпорами, торопливо бежал жандарм. Свисток, вагоны дернулись, покатались, станция пропала.

Отравители*

Жизнь в больших городах, все усложняясь, доставляет больше и больше удобств. Жилища, обстановка, пути сообщения, концентрация научных образовательных учреждений – все создает более интенсивную, более привлекательную жизнь для людей.

Но рядом, как мрачная страница, развертываются нищета, разврат, оргии, грязь, извращение человеческой природы, невежество. Тысячи интересов переплетаются, поедая друг друга. Тысячи опасностей подстерегают человека, – опасностей, которых он и не подозревает.

Все отравлено, ибо все фальсифицировано: вода, пища, жилище, удовольствия, любовь, литература. Наряду с перлами человеческой

мысли и деятельности вы всегда встретите продукты и результаты волчьей алчности.

Одно из удивительных явлений городской жизни – это массовое отравление людей пищей, одеждой и обстановкой. Отравление это идет медленно и верно и, что важнее всего, en masse[4]. Ежедневно сотни тысяч людей искусственно и настойчиво укорачивают свою жизнь. И если бы собрать эти отнятые ежедневно у жизни минуты и часы, получилась бы колоссальная, поражающая цифра. И люди идут навстречу к скорейшей и искусственной смерти упорно и настойчиво, как быки на бойню. Мясо, хлеб, вода, обои, одежда, колбасы, кильки, вина, квасы, фруктовые воды – все, все, к чему мы прикасаемся, старается урвать у нас кусочек жизни. А так как это совершается в громадных размерах, оно приобретает уже значение социального факта.

Но мы слишком привыкли ко всему этому, мы не замечаем врага, окружающего нас и проникающего со всех сторон.

Гром не грянет, мужик не перекрестится. То, что ежедневно у нас отрывается жизнь – ничего, а вот если человек сразу протянет но-

ги, мы поражаемся.

– Слышали, Ивановых в больницу увезли всей семьей... Оказалось, отравились обоями, – говорит обыватель, сидя между стен, оклеенных выкрашенными мышьяковистыми красками обоями, – ужасно!..

– Вот страшный случай-то... У Сидоровых первенец умер... Как любили, с ума сходят... Фуражку какую-то купили, так изнутри кожа оказалась пропитана какой-то вредной краской, – говорит папаша, любовно глядя головку сына, на ногах которого чернеют чулки, окрашенные ядовитой анилиновой краской.

Десятки, сотни тысяч апельсин поедается, и масса из них, так называемые «корольки», готовится искусственно впусканием с помощью шприца сквозь уколы в ткань апельсина окрашивающих жидкостей. И многие знают это и преспокойно едят. И надо было на днях отравиться одной обывательнице окрашенными внутри фуксином апельсинами, чтоб на минуту перестали жевать и приподняли голову. Удивительное равнодушие к своей собственной судьбе!

А кто сосчитает, сколько жертв дают раз-

ные квасы, продаваемые на улице, фруктовые воды, безусловно ядовитые, мороженое, разные сласти, которыми торгуют и с лотков, и в лавчонках, и в лавках, и в громадных блестящих магазинах. Да, да, не так давно случайно (беда вся в том, что это делается всегда случайно) были обнаружены ядовитые краски и подмеси в шоколадных изделиях одной громадной, пользующейся упроченной репутацией фирмы. Беда вся в том, что люди, покушавши отравы, или надевши выкрашенное ядовитой краской платье, или выпивши отличного из салицилки и других снадобий вина, или уютно устроившись в квартире с мышьяковыми обоями, не отравляются остро и не умирают тут же, – тогда бы и помину не было фальсификации. Бьющая в глаза опасность учит уму-разуму, а для скрытой мы слишком неподвижны, инертны.

Массовое, все возрастающее отравление представляет социальный факт, и борьба с ним должна носить общественный характер. Но чтобы борьба эта поднялась, необходимо жгучее сознание ее необходимости, необходимо день и ночь грызть, точить обывателя, как

точат черви неподвижное дерево. Десятки, сотни тысяч людей заинтересованы своим богатством, своими фабриками, своими доходами в этом массовом отравлении. Борьба должна быть поэтому острая и тяжелая. Вот иллюстрация.

Известный гласный петербургской думы Кедрин внес чрезвычайно рациональное предложение: заносить имена недобросовестных торговцев на «черную доску». Никакие штрафы, никакие суды не сравниваются с «черной доской». «Черная доска» для торговца – смертная казнь, прекращение торговли. В большинстве случаев торговцу выгоднее заплатить штраф и опять торговать отравленными продуктами. Но когда на доске будет выставлено ваше имя с пояснением, что от ваших апельсинов обывательница отдала богу душу, едва ли кто станет у вас покупать.

И вот посыпалась тьма возражений. «Черная доска» – жестокость по отношению к торговцам. Часто они сами не знают о присутствии у них недоброкачественных продуктов. Есть продукты, которые уже через час портятся.

В санитарной комиссии петербургской думы был возбужден вопрос о том, следует ли допускать к продаже кильки, *отравленные салициловой и борной кислотами*, безусловно ядовитыми для человека. Подумали, подумали и решили, что...*следует*.

Хотите знать почему? Да очень просто: потому что выделывающие кильки потерпят убыток. Оказывается, что если не подмешивать яда к килькам, то они быстро... *портятся*.

Но, позвольте: чем же ядовитые кильки лучше испорченных? Почему лучше и удобнее отравляться кильками, пропитанными салициловой и борной кислотами, чем кильками испортившимися? Отравление несомненно происходит и в том и другом случае. Но во втором случае отравление может произойти быстро, может сопровождаться резкими болезненными проявлениями, стало быть, обратит на себя внимание, стало быть, можно попасть в протокол, под суд, нажать неприятностей. Отравление же салициловой и борной кислотами – медленное, постепенное, незаметное, никого не беспокоящее, обходя-

щееся без всяких протоколов. Вот почему санитарная комиссия в Петербурге нашла невозможным уничтожить и запретить продавать заведомо ядовитые консервы – торговцам, заводчикам невыгодно. Вот почему находят «черную доску» – один из наилучших способов борьбы с недобросовестностью торговцев – слишком для них жестокой.

И вот общественное сознание должно заставить взглянуть на дело с другой точки зрения: раз такое приготовление консервов губительно для употребляющих, а отсутствие ядовитых кислот ведет к быстрой порче консервов, *необходимо придумать* консервирование иное, безвредное и достигающее цели.

Правда, это сопряжено с известными расходами, напряжением, исканием, но почему же непременно должен платиться обыватель? Почему обыватель собственным здоровьем, жизнью должен охранять недобросовестного торговца, фабриканта, заводчика, этой дорогой ценой оберегать их от убытков, от необходимости быть деятельными, проявлять инициативу, удовлетворять запросам жизни?

Только когда обыватель в массе придет к заключению, что довольно его отравляли, он сломит рвущих его со всех сторон шакалов.

Троглодиты*

Жестокие, сударь, нравы.

Большой южный город недалеко от Азовского моря с полуторастантысячным населением. Электрическое освещение, электрический трамвай, миллионная набережная, громадные дома, банки, гимназия, клубы, кафешантаны, три газеты; громадная торговля, громадные богатства, умопомрачительные наряды, выезды, обстановка. И вот под этим городом происходят сцены, которые переносят в доисторическую эпоху. Когда читаешь местные газеты, с изумлением, со страхом щупаешь себя: не во сне ли, наяву ли?

Вечереет. Тени ложатся на далекую степь. Под горой потухает последним отблеском многоводная широкая река. В стороне от дороги, в неглубоком овраге, виднеется несколько фигур. Возле на притоптанной траве бутылки из-под водки, огурцы, корки хлеба. Лежат, сидят, обхватив руками колена, выпивают, закусывают, и крепкая едкая брань вис-

нет в воздухе, сдабривая веселый разговор. Сквозь дыры и рвань видно голое немытое, грязное тело. На небе высыпают звезды. Эти люди, прошедшие целый день в душном, огромном и жестоком к ним городе, теперь отдыхают. По дороге от берега подымается парочка. Он – писарь в одной из многочисленных канцелярий, или приказчик, или конторщик, или просто «служащий», в новой тройке, в туго накрахмаленном воротничке, она – вероятно, горничная или модистка, урвавшая минутку, чтобы дохнуть не городским воздухом, чтобы провести часок с любимым человеком. Разговаривая, шутя, смеясь, они проходят мимо рокового оврага, откуда несколько пар глаз жадно следят за ними. Как шакалы, выскакивает озверевшая толпа. Кавалер, после того как у него от полновесных ударов перевернется все в глазах, сломя голову летит под гору, рвущуюся девушку схватывают и затаскивают в одну из зияющих на берегу пещер.

Но часто шайка подвергается в свою очередь нападению. Живущая по окраинам молодежь – подмастерья, ученики, молодые са-

пожники, портные, кузнецы – толпой подстерегают в сумерки хулиганов и, когда увидят, что те овладели женщиной, кидаются на них. Завязывается бой, тяжелый, беспощадный, бьются, не давая и не прося пощады, ломают руки, ключицы, сшибают скулы, проламывают головы, пока та или другая партия не одерживает победы. Большею частью одолевают парни, молодые, еще не разъеденные водкой и ужасной жизнью по ночлежкам, – и хулиганы с разбитыми лицами, с краснеющими от собственной крови лохмотьями разбегаются по затягивающейся ночной мглой молчаливой степи, по оврагам, а победители... спасают несчастную девушку? Нет, затаскивают в ту же пещеру...

Почему-то настойчиво и назойливо лезет в голову картина Васнецова. Троглодиты борются с мамонтом, разъяренные, взъерошенные, смутно напоминающие образ человеческий, а больше звериный, они бьют его камнями, кольями, глыбами земли. Те же троглодиты с жадностью, с нечеловеческим обжорством пожирающие убитую тушу, руками и зубами рвущие сырое мясо. Разве не та же

картина? Разве это не те же окровавленные троглодиты, с остервенением рвущие друг друга из-за самки около полуторастатысячного города? И это почти каждый летний вечер.

Звери, говорите? Нет, люди, самые обыкновенные люди. Послушайте, что они говорят;

«Разве мы знаем, куда приклонить голову после работы в мастерской? Разве мы знаем иные удовольствия, кроме того, чтобы валяться по тротуарам, по мостовым возле винных лавок? Этот богатейший город, сделал ли ты что-нибудь для нас? Ничего».

И в самом деле, рука не подымается с камнем осуждения. В Ростове-на-Дону, в этом богатейшем из южных городов, все есть и для пьянства, и для разврата, и для торговли – нет только школ для народа или, если есть, так ничтожное число; нет складов народных книг, среди массы рабочего люда затерялись две-три народные библиотеки, вместо народного театра – жалкий навес, нет народных чтений. И разве удивительно после этого, что среди грохота и свиста паровозов, среди заливающего город электрического света, среди громадных домов живут пещерные люди?

Кандидат прав*

Пожимая руку вашему знакомому, вы наивно думаете, что это тот самый человек, которого вы хорошо знаете, у которого трое детей, который курит крепкий табак, привык ходить в один и тот же ресторан, никогда не играет на скачках и высказывает такие-то и такие-то мнения о положении Китая и русской литературе. Кроме того, что у него трое детей, вы знаете еще, что он окончил университет, что он медик, педагог, инженер, техник, кандидат прав.

Вы ошибаетесь: вы его совершенно не знаете. Вы знаете его внешность, привычки, все, что, как тонким налетом, обволакивает пребывание в высшем учебном заведении. Вы не знаете его, вы не знаете, как завтра же поступит он в том или другом случае, и с изумлением разведете руками. Пленка университета так же обманчива, как цилиндр, фрак, крахмальная манишка.

Кто, пожимая руку тому почтенному кандидату прав, который прославился на всю Москву своей историей с гадалкой, подозревал, что такая история может с ним разыг-

раться? Уважаемый кандидат прав пожелал узнать свое будущее и пригласил гадалку. Гадалка с серьезнейшей миной предложила ему для вящего успеха гадания дать ей восемьсот рублей, непременно сотенными, и разные бывшие у него драгоценности. Тот с такой же серьезнейшей физиономией вручил это все, и они отправились в Страстной монастырь, опять-таки по распоряжению гадалки, ставить свечи. Пока кандидат прав усердно ставил, гадалка с сотенными и драгоценностями исчезла. Пришлось заявлять в участок. Дикарь, суеверный и невежественный, пугливо выглянул из-под университетского диплома.

Наше общество кишит такими кандидатами прав. Известен случай в Киеве. Молодой врач, недавно окончивший курс, не имея практики, сильно бедствовал. Наконец немоготу стало переносить больше нищету, и он снял квартирку на окраине и объявил себя... знахарем. Народ повалил к нему. Купчихи, чиновники, кандидаты прав, интеллигенты и неинтеллигенты; на резинах, пешком, на извозчиках, шли и ехали к нему с утра до

вечера и толклись в крохотной передней. Он не обманывал. Он лечил всеми средствами, какие дает наука, только при этом называл себя знахарем, микстуры – наговорной водой, мази – наговорным маслом. Он стал греметь на весь город. Нагрязнула полиция, стали составлять протокол о незаконном врачевании и с изумлением увидели развернутый перед ними докторский диплом.

«Кандидат прав» наполняет арену общественной жизни. Он проявляется не только в том, что отправляется узнавать свою судьбу к гадалке, – нет, но главным образом своими общественными симпатиями и антипатиями, своими общественными воззрениями. Тоненькая пленка университетского налета легко и быстро стирается, как плохо сделанная никелировка, и обыватель во всем своем неглиже налицо.

Тот живой дух, та жизнедеятельная атмосфера, которые живут в университете, в сущности с трудом пробиваются в душу обывателя. Очень часто последний заимствует отсюда только чисто технические знания и выходит «кандидат прав».

[Умер доктор философии Филиппов...]*

Умер доктор философии Филиппов. Покойный разрабатывал последнее время грандиозный план уничтожения войн. По его словам, он был близок к открытию способа производить опустошающие взрывы на каком угодно расстоянии. Из какой-нибудь Чухломы можно было бы поднять на воздух Нью-Йорк, Рио-Жанейро, Капштадт, Пекин.

Если бы это осуществилось, в руках человечества очутилось бы страшное орудие самоистребления. Не надо бы тогда колоссальных армий, крепостей, артиллерии, не надо бы вторгаться в неприятельскую страну. Опустошение вносилось бы в самое сердце врага издали. Шрапнель, гранаты, разрывающиеся на тысячи кусков, расстилающиеся ветром смерти пули, пронизывающие по восьми человек в глубину рядов, – все это померкло бы перед новым колоссальным стихийным орудием истребления и разрушения. Люди ужаснулись бы, люди отступили бы и... войне конец.

Глубокое заблуждение. Меня в данном случае интересует не техническая осуществи-

мость этого плана. Вернее всего, что никаких взрывов на расстоянии доктор философии Филиппов не изобрел бы. Но не в этом дело. Пусть он не изобрел бы, но он бросил известную идею, которая, быть может, в конце концов и будет кем-нибудь осуществлена, — невозможного тут ничего нет. Пусть будет найдено страшное средство подымать на воздух города на расстоянии. Что же, конец войне? Нет.

Великое заблуждение думать, что такие явления, как война, могут быть уничтожены механическим, так сказать, путем. Как бы гениально ни было изобретение средства разрушения, в противовес ему всегда будут придуманы не менее гениальные средства самозащиты и самосохранения. Природа слишком сложна и богата, гений человеческий слишком гибок и разносторонен, чтобы средства борьбы и защиты держать всегда в равновесии.

Появился порох, и вот деревянные флоты доброго старого времени стали пробиваться ядрами, как бумага, и корабли стали гореть от бросаемых гранат, как свечи. Появились же-

лезные суда. Тогда артиллерия стала чудовищно расти, но и бока военных кораблей стали чудовищно пухнуть, одеваясь глыбами крепчайшей стали. Но артиллерия, не уставая ни на секунду, не приостанавливаясь, продолжала разрастаться, переросла средства защиты и, легко и смеясь, пробуравливая стальные глыбы, стала пускать ко дну морские чудовища. Тогда по морю вдруг рассыпались птицы-пароходики, и гигантские орудия оказались бессильными: они не успевали их расстреливать. Однако артиллерия сделала еще усилие, – появились скорострельные орудия, которые создали между собой и неприятелем движущуюся непрерывную среду снарядов, – птицы-миноносцы уничтожались без остатка, сколько бы их ни было. Тогда они скрылись под водой, и ныне создается мировой подводный флот. Артиллерия стала бессильна.

Не совсем. С известной высоты, с воздушного шара видны в глубине ходящие подводные лодки, – есть возможность их открывать и бить. И так бесконечно. Цепляясь одно за другое, тянутся без перерыва средства нападе-

ния и защиты, и не видно и нет этому конца.

Почему же нужно думать, что изобретение Филиппова, раз оно осуществилось, будет последним словом человеческого ума. Нет, не механическим путем будут уничтожены войны. Только рост сознания в народных массах положит им предел. Открытие одной школы, выпуск хорошей книжки, организация библиотеки, всякого просветительного учреждения – в тысячу крат ценнее в смысле приближения к уничтожению войн, чем самое гениальное изобретение наиболее разрушительного средства борьбы, которое, в силу самой огромности производимых им разрушений, якобы ведет к уничтожению этой борьбы.

И вместо того чтобы работать над изобретением средств гибели и разрушения, гораздо больше чести трудиться над распространением понимания и сознания в темных массах. Над изобретением средств разрушения и без того трудятся и будут трудиться.

Увеселительный сад*

В одном из южных городов существует увеселительный сад. Как и везде, там служат белые рабыни. На днях на суде были опубли-

кованы контракты, которыми опутывают рабынь и которыми поддерживается институт рабства.

Все артисты платят штраф в размере двадцати пяти рублей за неучастие в спектакле, за опоздание, за отлучку до «конца торговли» в саду. За опоздание на несколько минут двадцать пять рублей штрафу! Болезнь освобождает от штрафа, если... если только она засвидетельствована врачом хозяина, всецело от него зависимого.

Артисты обязываются подчиняться не только правилам, которые существуют при их вступлении на службу, но и правилам, *которые имеют быть изданными* директором или его уполномоченными, как бы эти правила ни были бессмысленны или неудобноисполнимы. И это опять-таки под страхом того же штрафа.

Контрактом предусмотрены почти невероятные явления. «В случае каких-либо общественных бед, – говорится в нем, – чумы, эпидемии, войны, пожара и официального траура, содержатель прекращает плату артистам, и настоящий контракт может быть уничто-

жен по воле директора без всякого вознаграждения противоположной стороне. Содержание не выдается и в те дни, в которые игра не дозволена по распоряжению правительства и церковному уставу. В случае, если артист или артистка не будет пользоваться успехом, контракт может быть уничтожен в течение пяти – пятнадцати дней». Кто же является судьей, имеют или нет успех артисты? Да он же, директор. Этот удивительный «контракт» ярко освещает белое рабство. И это везде и всегда, только мы об этом забываем, и все это очень старо.

Город самоубийц*

Город самоубийц. Есть такой город. Не в Америке, нет, у нас.

Вы думаете, это – какой-нибудь особенный город? Типичнейший провинциальный. Что же, какие-нибудь особенные условия жизни, чрезмерная роскошь, доводящая до отчаяния нищета, умственная жизнь, переступающая нормальный предел напряжения, торговая, промышленная деятельность, повышающая процент нервных заболеваний, климатические какие-нибудь особенности, племенные,

топографические? То-то и есть, что ничего подобного: самый обыкновенный, самый средний, самый серый российский город.

Люди как люди, того же великорусского племени, нет исключительных богатств и исключительной роскоши, нет и широких слоев пролетариата, опять-таки тот средний уровень богатства, достатка и бедности, который так характерен для среднего провинциального города. Наоборот, жизнь, в общем, размеренная, спокойная, исключительно от двадцатого до двадцатого. Здесь много учебных заведений, судебных всяких палат, присутствий, правлений, управлений. Общество – интеллигентное, если за признак интеллигентности считать состояние в том или ином роде службы. Умственным напряжением люди себя не утруждают, торговля главным образом заключается в торговле французскими булками, темно-зеленым, серым и других цветов сукнами, а промышленность – в выделке кирпича для собственных надобностей.

Совсем нельзя сказать, что это хмурый, нелюдимый народ. Вовсе нет. В городе городской театр, охотно посещаемый, сад, военное

собрание, дворянский, сословный клубы. Народ умеет и выпить, и закусить, и всячески погрешить, – словом, народ как народ.

Почитывают газеты, журналы, изредка заглядывают в библиотеку, но в перенапряжении мысли упрекнуть нельзя – во всем мера. Волнений специальных никаких не испытывают – здесь нет ни городского самоуправления, ни земства, стало быть нет партий, борьбы и связанных с ней огорчений. Одним словом, триста шестьдесят пять дней проходят ровно, спокойно, не торопясь. Нужно заметить, что Новочеркасск – областной город и является центром обширного войска донского.

Казалось бы, только жить да наслаждаться мирной, тихой, спокойной жизнью – и вдруг... самоубийства! Как?.. почему?.. отчего?.. кто?..

Самый разнообразный народ: молодые и в возрасте, учащиеся и чиновники, артисты и просто девушки. Причины самые разнообразные. Неудачный роман, «жизнь бессмысленна» или просто смерть молча, без всякой записки, без всякого следа приведших к роково-

му концу страданий.

С начала этого года умертвило себя семь человек. На пятьдесят тысяч и в шесть месяцев это много, принимая во внимание ту патриархальность, ту мирную обстановку, какими отличается здесь жизнь.

И это не последние жертвы. Всеми овладело страшное, тревожное, напряженное ожидание, что опять и опять что-то будет, в воздухе чувствуется несчастье. И эти мрачные предчувствия оправдываются.

Но отчего же, отчего все это?

Когда приглядишься к здешней жизни, после первого впечатления тишины, спокойствия, мира, патриархальности поражает необыкновенная мертвенность, застоявшаяся затхлость этой жизни. Точно сквозь чащу подошел к заглухнувшему пруду. Как тихо, как покойно, не шевелится лист, не рябит мелкая неуловимая рябь, неподвижно отражаются деревья, неподвижно лежат, кувшинки, неподвижно глядят выпуклые жабыи глаза, пахнет прелым листом, тиной, позеленелой застоявшейся водой.

Люди мирно и тихо живут клубом, служ-

бой, театром, семьей, выпивкой, картами, садами, гуляньями, всем, за исключением общественных интересов. Они ими не волнуются, они их не знают, они ими не увлекаются. И жестокое возмездие воздается этим людям – они начинают задыхаться гнилой атмосферой собственного дыхания.

Мало быть семьянином, мало быть членом клуба, театралом, винтером, хорошим собутыльником. Человек – общественное животное, и как таковое он нуждается в удовлетворении своих общественных потребностей, и раз нет этого удовлетворения, создается затхлая, застоявшаяся, мертвая и мертвящая атмосфера тоски, беспричинной скуки, самоубийств.

Ну, какая же связь между отсутствием общественных интересов и самоубийством из-за несчастной любви? Видите ли, чахоткой и вообще заразными болезнями заболевают не потому, что они голодны, нервно истощены, устали, а потому, что в них вселяются патогенные начала. Но эти патогенные начала именно и вселяются по преимуществу в голодных, нервно-истощенных, усталых, ибо

они оказывают наименьшее сопротивление.

То же самое и с социальными заболеваниями.

В исключительно личной, односторонней жизни залог всяких ненормальностей и душевных невзгод.

Человек второго сорта*

Как-то мне пришлось коснуться того тяжелого положения, в которое попадает юноша перед университетом. Беспомощное чувство неподготовленности, бессилия охватывает тяжело и горько. Что такое университет? Что там? Наука. Что такое наука? В школе, из которой он только что вышел, он знал *учебники* и не знал *науки*, а здесь наука независимо от учебников.

В еще более тяжелом, в еще более беспомощном положении оказывается перед дверьми высшего учебного заведения девушка. Все сложилось, чтобы наградить ее возможно большим невежеством. Разница в программах, в отношениях к учащимся, в той особенной атмосфере серьезности, которая их окружает, – все в пользу мальчиков. Свои знания, свое миропонимание мальчик, быть мо-

жет, на пятьдесят процентов черпает, помимо школы, из окружающей среды, от семьи, от общества.

Девочка в этом отношении поставлена в исключительно неблагоприятную обстановку. Около нее создается особенная, специфическая атмосфера чисто женских интересов. Она душит и давит молодой мозг, она опутывает его паутиной мелких, ничтожных требований, условностей.

Воспитывается девочка, – относятся все к ней так, чтобы она помнила постоянно, что она маленькая женщина. Не удивительно, что эти маленькие женщины вырастают большими невеждами. И если мужчина идет к дверям университета с темным и тяжелым от невежества мозгом, то что же сказать о девушках? Они поражают своим невежеством. Это – темное царство.

И все же с какой страстностью, с каким напряжением пытаются они выбиться из этого печального царства. Сколько труда, усилий, бессонных ночей, здоровья кладется, чтобы купить себе то, чего они были лишены так незаслуженно. Профессора, преподающие од-

новременно в университете, и на курсах, и в медицинском институте, а также и в зарубежных университетах, в один голос говорят об удивительной работоспособности студентов, о той неутомимой жадности, с которой они накидываются на предметы.

Но даром никому никогда не проходит то, что утеряно. Нельзя в год, два наверстать того, на что давалось семь, восемь лет. Всему свое время и свое место. Конечно, исключительные личности пренебрегают и временем и местом, они берут свое там, где находят; но ведь речь идет о массе, о типичной, а не исключительной девушке. И это торопливое нервное наверстывание дает себя знать. Если мы удивляемся мужчине, который вступая в жизнь адвокатом, медиком и иным каким-либо специалистом, быстро без запинки освобождается ото всего, что дал ему университет, торопливо и послушно становясь в уровень с плоской и серой средой, то молодой женщине, получившей образование, мы даже не удивляемся, — до того это частое, обычное, неизбежное явление: она, как только попадает в атмосферу пеленок, жареных котлет, го-

стиной мебели, спальни, сбрасывает с себя, как ненужное и утомительное бальное платье, всю эту науку, все знания, самые даже элементарные, которые были добыты ценой такого труда, таких усилий, часто страданий. И перед вами вместо милого, умного, вдумчивого лица, распоясавшаяся, простоволосая – умственно, конечно, – баба с серым лицом, с серым мозгом, с серыми чувствами, с серым мещанским мирозерцанием, оценкой людей и событий.

Как же ценен после этого всякий общественный почин, дающий возможность девушке, хотя в некоторой мере, исправить ту жестокою несправедливостью, которую ей приходится испытывать и в школе, и в семье, и в обществе. В Петербурге сделан такой почин. Профессор Петербургского университета В. Шимкевич и начальница одной из петербургских гимназий М. Лохвицкая-Скалон с осени текущего года открывают естественнонаучные курсы, которые имеют целью, во-первых, дать подготовку девушкам, желающим поступить в женский медицинский институт. Поступающие в этот институт так неподготовлен-

ны в естественнонаучном отношении, что нередко вынуждены покидать институт, так как на второй год на первом курсе по правилам не могут оставаться. Во-вторых, чтобы дать подготовку желающим заняться преподаванием естествоведения и вообще приобрести естественнонаучные познания.

Желаем полного успеха доброму начинанию.

Кондуктор*

Жарко.

Жаром несет от сухих вывороченных камней мостовой, от обжигающих ногу рельсов, от стен домов, от железных решеток, от крыш, над которыми струится горячий воздух, от размягчившегося, оставляющего на себе следы ног асфальта. Разваренные, влажные, со стекающим потом лица, с раскрытыми, как у галок, прыгающих в жаркий полдень по жнивью, ртами. Извозчики томно глядят из-под опущенных век.

Я поднимаюсь на подножку трамвая.

Из переполненного вагона пышет таким густым, удушливым воздухом, что невольно пятишься назад. Кое-как пристраиваюсь на

площадке. Вагон трогается. Бегут назад вер-хушки церквей, монастыря, бегут столбы, до-ма, проволока, переулки, панель, и вместе с нами бежит вперед характерный, воющий, становящийся все выше и выше звук работающего мотора.

– Прямо?

– К Смоленскому.

– К Сухаревке.

– Ваши двадцать... Нет местов... местов нет!..

Снова воющий все поднимающийся звук, бегущие проволоки, мелькающие дома, из-возчики. Пронеслись и становятся все мень-ше лежащие с завернутыми во что попало го-ловами на куче вывернутых из мостовой кам-ней неподвижные тела. Это – рабочие по ре-монту мостовой. Они тут работают, тут едят, тут отдыхают, спят. Дзинь-дзинь... Мостовщи-ки пропали на повороте. И опять все утонча-ющийся надоедливый вой, распаренные ли-ца, и все та же бесстрастная фигура кондукто-ра.

Пассажиры с отчаянием глядят в раскры-тые окна, из которых обжигает бегущий на-

встречу воздух. Кажется, вагон, который, как от стоячих, уходит от едущих в одном с ним направлении извозчиков, ползет, как черепаха. Когда же, наконец, за город! Когда же, наконец, пахнёт свежестью леса, простором полей, блеснет зелень, вздохнет измученная грудь. Скорей бы!

И напряжением воли пассажиры, злые и красные, молчаливо стараются гнать еще скорее и без того бегущий вагон.

Это – все дачники. Служба, дела загоняют их на полдня в эту огромную каменную огненную печь. И теперь, справившись с делами, они с остервенением рвутся снова на дачу. Этот кондуктор ежедневно привозит и отвозит их. А может быть, и не этот – все равно, они все на один манер – та же фигура, то же равнодушное лицо, та же форма, те же: «Вам прямо?.. ваши двадцать, местов нет, нет местов, местов нет, господа...»

И теперь я стою, прислонившись к дверце вагона, и гляжу, как убегают из-под него рельсы и камни мостовой.

– Урожай?.. урожай, неча бога гневить, урожай, благодарение богу, веселит...

– Дда-а... дожди перепадают, вот оно, значит...

Говорили два какие-то бородача в армяках, загорелые и запыленные, – вероятно, недавно из деревни.

– А у нас тоже урожай нынешнее лето... – раздался чей-то голос возле меня, – в Тульской губернии.

Я поднял глаза. Это был человек в кондукторской форме, но это было совсем не то лицо, которое так примелькалось в постоянных переездах. Иное, совсем не подходящее к этой обыденной форме лицо глядело на говоривших. Глаза, смеявшиеся тихо и радостно бесчисленными мелкими морщинками, светились и глядели ласково и приветливо. И улыбка, освещавшая загорелое усталое лицо, и искрошившиеся зубы, которые она показывала, точно пелену отдернули, и из-за серой примелькавшейся кондукторской формы глянуло в одно и то же время скорбное и радостное лицо человека, у которого задрожало дремавшее чувство.

– Я ведь сам из Тульской губернии, – говорил он радостно этим незнакомым людям, с

которыми он в первый раз встретился и, быть может, никогда их не увидит, – из Тульской... Оченно уж у нас земля там хороша... черноземистая... Дожди, а тут-то сказать, с весны, она, значит, промокла, отсырела, впитала в себя, ну, хлеб взялся, теперь и пошел... Э-эх!

Он снял шапку и провел по голове. Бородачи слушали его молча, одобрительно или неодобрительно – нельзя было разобрать.

– В деревне-то теперь, и-и боже мой... так бы и полетел... Хозяйства у меня там никакого, я уж годов с десять в кондукторах служу, и семья вся тут, ну, только земляки вот, тоже наши есть тут, пишут... Годов пятнадцать в деревне не был, не видал... Теперь у нас там жддут урожая, поправятся, стало быть... А уж земля там, уж земля... черноземистая! – говорил он, глядя с восхищением в глаза обоим молчавшим бородачам, – благодать!.. Ваши двадцать... местов нет... нет местов...

Опять мелькает булыжник мостовой, воет мотор, проносятся извозчики, прохожие, столбы, дома. И опять возле отбирает билеты, дает сдачу, подает звонки, размещает публику кондуктор в серой обычной форме, с серым

привычным лицом. Тысячи раз он будет проезжать от Страстного до заставы и от заставы до Страстного, будет проезжать мимо одних и тех же домов, улиц, переулков, будет говорить одни и те же слова: «Ваши двадцать... нет местов...» – и никогда не перейдет заставу, не перейдет предела, за которым поле, лес, «благодать»...

Скорей бы на дачу. Жарко, душно и томительно.

Призреваемые*

Добрыми намерениями дорога шоссирована в самое пекло. Человека, нафаршированного добрыми намерениями по горло, бойтесь пуще всего. И не только человека, но и учреждений.

Семен Подъячев в «Русском богатстве» развернул потрясающую картину жизни в московском рабочем доме.

Думается, никакая тюрьма с этим учреждением в сравнение не идет. Большого принижения, большего оплевания, большего издевательства над человеческой личностью вы нигде не найдете.

Но ведь при организации рабочего дома

учредителями руководили самые лучшие намерения. И по дороге, плотно утрамбованной этими добрыми намерениями, широким потоком лились злые, ужасные дела. Шли годы, и все обстояло благополучно. И когда печать приоткрыла завесу, все ахнули:

– Как!.. Неужели?!.

Управа увидела, что так продолжаться не может, что это вопиет, что нужно что-то сделать, реорганизовать. Но как и что?

Прежде всего необходимо создать новые должности. Учредили. Посадили сюда новых людей, дали им жалованье, будут кормиться. Но вы думаете, новые должности учреждены так себе, зря, для «видимости» только? Нет. Созданы они с самыми благими, с самыми добрыми... из тех, которыми мостят мостовую в пекло.

Новые должностные лица, это – други дома. Это други всех призреваемых, всех, кого горе, нужда, несчастье занесли в этот мертвый дом. Это – не начальство, это – хранители несчастных. Они входят во все их нужды, входят сердцем, индивидуализируют их, они индивидуализируют призреваемых, присматри-

ваются к ним, к их судьбе, к их особенностям. Они помогают им, помогают каждому в отдельности, именно каждому наилучшим для него образом. Это – в принципе, в идее.

Это вместе с тем... в пекло, хорошая, славная, широко укатанная дорога в пекло. Почему? Да вот почему.

Видите ли, жизнь очень похожа на то место, о котором говорят: ежели кругом ехать, будет верст пять, ежели напрямик, и все десять наберется. Казалось бы, чего проще, назначили «друзей дома», назначили им хорошее жалованье и сказали: «Смотрите же, чтобы все по-хорошему было». – «Слушаем». Казалось бы, все ладно. Что же оказывается?

Работают призреваемые. Работа оплачивается низко, но мало того, что низко, еще и произвольно. Расценка зависит от надзирателей. Надзиратели вербуются из малоинтеллигентной, малокультурной среды. Разумеется, с университетским образованием сюда не пойдет. Народ этот забитый, заеденный нуждой, дурно оплачиваемый. С другой стороны, клиентура у него грязная, отрепанная, оборванная, босая. Ничего иного, кроме прене-

брежения, презрения, он к ней не чувствует. Естественно, что такое чувство руководит им при расценке. Я уже не говорю о злоупотреблениях, которые возможны тут в гомерических размерах. Ведь то же самое наблюдалось в больницах в отношениях сиделок к пациентам.

Призреваемый обескуражен неправильной, несправедливой расценкой. Как ни молит, как ни просит надзирателя, тот упирается и стоит на своем. Ведь у него есть свои симпатии и антипатии, обусловленные порой не платоническими причинами. Куда же деваться призреваемому? Где искать защиты, правды?

Да ведь у него же есть «друг», у него есть защитник, покровитель. Он бросается к нему.

– Сделайте божескую милость... притесняет... разве можно? Работал, работал, что же это будет?..

– Ну, ну, ну, ступай, ступай... здесь не обсчитывают, ступай, тебе говорят...

Да и в самом деле, ведь их, этих призреваемых, сотни, и все они оборваны, и грязны, и простоволосы, и босы, и многие не имеют ви-

да человеческого, и все они пришли с улицы, и многие горькие пьяницы, изволь, возись тут с ними. Ведь и «друг» – тоже человек. Да, наконец, надзиратели на что-нибудь существуют. И друг заявляет жалобщику, что тут не обсчитывают и чтобы он убирался.

В чем же дело? Недобросовестный народ, что ли, попадает на новые должности? Нет, самый обыкновенный народ. Так что же? Да очень просто: напрямик десять, а кругом пять верст. Учредить должность, поставить человека – не значит решить вопрос.

Вопрос этот разрешается единственным путем: самым широким привлечением к делу общественных сил. Пустите сюда живые силы общества, – и вы увидите поразительные результаты. Широко откройте двери печати, гласности и не бойтесь критики и указаний на ошибки, – и вы увидите, как сторицей воздастся вам за труды и усилия ваши.

Волжские нравы*

Пожар на Волге. С одной стороны – кровавое пламя бушует, коробится дерево, злое свеще светятся раскаленные железные части, течет медь, с другой – шумит и крутится водо-

ворот, хлещут волны и темная холодная глубина жадно ждет. Стоны, крики, мольба, люди с опаленными волосами становятся на колени, протягивают руки, прыгают в эту темную холодную глубину, борются со смертью, топят друг друга, и на глазах у них идут ко дну дети, братья, сестры, мужья, матери. А к берегу уже прибиваются колышущиеся трупы; на берегу сидят, ходят, бегают, хохочут страшным хохотом помешанных полуголые и голые люди. Только что несколько минут тому назад они мирно спали семьями, теперь они, как безумные, мечутся на берегу, недо считываясь того, другого, или тихо всплывают посинелым трупом.

В печати сообщалось, что никогда не наблюдался на Волге такой прилив туристов, путешествующих, как в нынешнем году. Они буквально переполняли пароходы. Чтобы достать место, приходилось записываться за неделю, за две. Картина этого пожара в значительной степени охладит страсть к путешествиям. Этот пожар страшен не столько своими ужасными подробностями, сколько тем, что до мелочей повторяет пожар, разыг-

равшийся много лет назад на Волге же, на пароходе «Вера». Так же вспыхнул огонь на носу парохода, так же пароход, вместо того чтобы дать задний ход, пошел вперед, и пламя, развеваясь широким покрывалом, стало стлаться по всему пароходу, также обезумевшие люди, сбившись на корме, сжигались огнем и поглощались водой. Страшна эта повторяемость даже в мелочах. Это как бы говорит: все обстоит по-прежнему.

Катастрофа последняя – не случайность. Условия, создавшие ее, коренятся в самых нравах, в быте, во всей обстановке пароходной жизни. Вот картинка из волжских нравов. От пристани отваливает пароход, переполненный пассажирами. Вслед отваливает второй – другого общества, тоже пассажирский. Ему хочется дойти первым до следующей пристани, чтоб забрать ожидающихся пассажиров. Начинается гонка, усиленная гонка доводит давление пара до высшего напряжения, до того предела, когда уже нельзя поручиться, что котлы не взлетят на воздух. Великолепная картина! Два битком набитых живым грузом парохода несутся сломя голо-

ву. Пар рвется из клапанов с угрожающим ревом. Колеса поднимают горы пены. Капитан второго парохода видит, что не обойти ему конкурента. Тогда он старается посадить его на мель. Руль на борт, и несущийся пароход начинает наваливаться на конкурента. Тому некуда сворачивать – справа мель. Борты все сближаются. Вот-вот раздастся треск, хлынет вода, с ревом взлетят раскаленные котлы.

– Что вы делаете! Что вы делаете?!

По воде бежит тревожный, предостерегающий медный голос пароходного свистка. Капитан надсаживается в рупор. Оттуда со смехом в рупор же слышится!

– Мелко... бери наметку...

Только близость пристани предотвратила посадку на мель парохода или катастрофу.

Точно такая сцена на днях происходила недалеко от Николаева. Она кончилась столкновением и аварией.

Капитаны пароходов чувствуют себя на пароходах господами с непререкаемой властью над пассажирами. Он – все для них, они – только материал для перевозки.

Бойкое перо*

Талантливый журналист сидел за работой, смотрел в потолок, наклонился, перо быстро бегало по бумаге, и узкие длинные листки, исписанные быстрым небрежным почерком, так и летели.

– Петр!

Входил человек, бережно и почтительно брал листки, осторожно ступая, уносил в типографию. Журналист затаился и опять посмотрел в потолок.

– Нда-а!.. Случай нужен.

Приятель, сидевший у окна, посасывал пахучую сигару.

– А?

– Ничего... случай, говорю, нужен какой-нибудь. У меня, видишь ли, на каждую тему – случай из жизни. Необходимо.

Фельетонист снова небрежно стал бегать по бумаге.

– Пожар волжского парохода... Гм... гм... чтобы это?.. Человеческие жертвы, все такое... чтобы это... Разве об утонутии каком-нибудь таком-этаком, особенном... Нда...

Он опять затаился.

– Нда-а... ну вот «Вера», скажем, ага... от-

лично!..

И, сунув в чернила перо, он опять бойко и торопливо стал бегать по бумаге.

– Мне вспоминается почти тождественная гибель парохода «Вера» в восьмидесятых годах. Молодой человек, один из спасшихся пассажиров, рассказывал мне:

«Треск, свист... пламя бурно металось по палубе... Люди кидались в воду, их втягивало под работавшие колеса, било лопастями, и они, как ключ, шли ко дну... Молодой человек прыгнул в воду.

Кругом ходили волны от колес. Колотит со всех сторон. Так и прибивает, так и тянет к колесам... Выгребаю, что есть мочи. Из сил выбиваюсь. Не могу из этой толчеи выгresti...», – рассказывал потом молодой человек.

Около себя он увидал плавающую доску. Схватился. Ну, думает, спасен. В ту же минуту доска погрузилась: с другой стороны за нее схватился человек. При огненном свете от пожара молодой человек узнал... отца. Началась смертельная борьба из-за доски. Отец и сын с звериными лицами рвут друг у друга доску. Сын улучил минуту, рванул, отец пошел ко

дну. Вздохнул радостно, вдруг слышит, кто-то схватил его за пояс. Утопающий. Молодой человек его по морде, по морде, держится, цапает, себя не помнит. Молодой человек изловчился в висок, и этот пошел ко дну.

Журналист откинулся на минутку на спинку кресла, затянулся, побарабанил по столу.

– Петр!

Через некоторое время приносят корректуру. Приятель, пуская синий дымок сигары, тоже интересуется и просматривает гранки. Лицо его расплывается.

– Милый, ну скажи откровенно: ведь... врешь?

– Вру, – с невыразимым спокойствием проговорил журналист.

– Ничего, конечно, этого не было. Да и странно бы было, чтобы человек, утопивший, правда, во время смертельной опасности, но тем не менее утопивший родного отца и пустивший ко дну ударом в висок другого человека, – чтобы он так спокойно и обстоятельно рассказывал об этом тебе. Такие вещи мучительно помнят, но не рассказывают.

– Разумеется.

– При всех других событиях, крупных и мелких, у тебя непременно рассказывается «собственный» случай на ту же тему. Сербский переворот, – оказывается, ты встречался с самыми удивительными сербами, которые рассказывали тебе самые удивительные вещи. Правда, в глаза невольно бросается то обстоятельство, что эти удивительные вещи ты передаешь публике не раньше, а именно после переворота, но это ничего, все хорошо, что делается кстати; где бы, когда бы, что бы ни совершилось, у тебя непременно собственный случай. Ясно, ты выдумываешь.

Друг мой, зачем это? Ты талантлив, извештен, и без тою богат массой фактов, самых разнообразных, интересных. Зачем это мелкое, пошловатое лганье?

Журналист поправил слегка воротник нашее, потом заложил за спину руки и прошелся по комнате.

– Видишь ли, – заговорил он спокойно и самоуверенно, – случаи, мои собственные случаи я выдумываю, то есть попросту вру. Есть вранье и вранье. Есть вранье пошловатое, бесцельное, ненужное или преследующее

мелкие, пошлые цели. Это – вранье дураков, посредственностей и пошляков. Есть ложь вдохновенная, талантливая, ложь, от которой загораются глаза, ложь, от которой бьются сердца. Это – ложь великих вождей. Есть, наконец, ложь – тонкая артистическая резьба. Это – ложь артиста, художника, творца. Он, как орнамент, кладет ее тонким резцом на факты, и голые, костлявые, грубые в своей простоте и неинтересные факты вырастают перед толпой, на которую истинный художник смотрит как на стадо, причудливо узорчатым рисунком, поражающим и приковывающим глаз. Да знаешь ли ты, что, быть может, мимо половины моих блестящих статей, при всей признанности моего таланта, тупо прошла бы толпа, не обратив внимания, если бы я не вкраплял золотые блестки тонко и художественно выполненной лжи. Если хочешь запечатлеть в умах, солги, но солги, как художник, солги талантливо, а не как бездарность. Мы слишком привыкли смотреть на понятие ложь с лицемерно-фарисейской точки зрения прописной морали. Нет, ложь, выдумка имеют такие же права гражданства,

как и добродетельная правда. Одно только условие: лги талантливо. Кто врет талантливо – художник, кто врет бездарно – лгун. Это раз. Второе – по нынешним временам правдой не проживешь.

– Но, милый, ты смешиваешь разные вещи. Выдумка, что собственно есть ложь, вполне уместна и имеет полный *raison d'etre*[5] в так называемой художественной литературе; в публицистике же... согласишься, это отдает глубоким неуважением к читателю.

– А кто же тебе сказал, что я его уважаю? Я его глубоко презираю. Разные бездарные поэты вечно кричат, что презирают толпу. Крикуны. Я этого ни-ког-да не позволю себе сказать читателю. Но я глубоко презираю его самым делом, самым процессом творчества, своей литературной деятельностью: я ему лгу. Я презираю его за то, что он не может подойти к голому факту, как бы он ужасен ни был, что ему нужен орнамент, форма, украшения. Я презираю его за то, что лгу талантливо, что это порабощает его, что это сходит мне безнаказанно. Я его презираю за то, что лгу.

Он снова сел за стол и стал бегать пером. И

Петр то и дело входил в комнату и таскал в типографию узкие длинные листы с собственными случаями из жизни.

Катастрофа на Волге*

Когда погибал «Петр I», недалеко проходил пароход Кашина. Пассажиры «Петра», сжигаемые бушующим пламенем, становились на колени и протягивали с мольбой руки: «Спасите!» Эти темные силуэты молящих в предсмертной тоске людей на красном фоне пожирающего их пожара производили потрясающее впечатление.

Но... капитан не подошел. Он совсем уже хотел подойти, да пассажиры его парохода стали просить не рисковать. Так ли это, или капитан без всяких просьб не думал помочь несчастным, – говорят, он будет привлечен к ответственности за неоказание помощи погибающим, – все равно, хороши и пассажиры, хорош и капитан. Из этих двухсот пятидесяти человек не нашлось ни одного, кто бы заставил мягкосердечного капитана идти на помощь.

А в это время никем не знаемый мещанин Камышлов *шесть раз* бросался в воду и спа-

сал гибнущих. Двести пятьдесят человек вкупе с капитаном спокойно смотрели на простирающих к ним лопавшиеся от огня руки и гибнущих, а помещанин Камышлов *шесть раз* вытаскивал утопающих, наконец выбился из сил и утонул.

Утонул.

В газетах долго еще будут толковать, кто виноват, кто прав, долго еще будут обсуждать, как, носом или задом, должен был пристать «Петр I», следует или не следует заваливать палубы пароходов бунтами вспыхивающей от спички льняной пряжи, нужно или не нужно держать хорошо оплачиваемую и опытную команду, — двести пятьдесят человек разъедутся по своим делам и к своим семьям, кашинский капитан по-прежнему будет водить пароходы, а тело Камышлова будет покоиться на дне Волги. Потом оно всплывет, потом его зароят, потом понемногу забудется вся эта страшная история.

Но позвольте же, ведь у погибшего Камышлова, наверное, была семья? Ведь пока мы с вами будем забывать эту страшную историю, дети этого великодушного человека

будут голодать. Неужели же никого не найдется, кто бы навел справки, узнал бы точно, есть ли семья и в каком она положении? Неужели этот страшный пожар запечатлется еще такой позорной неблагодарностью и возмутительным отношением к судьбе человека, положившего душу за други своя?

Вернее всего.

С дубинкой*

В южных городах, которые быстро, не в пример городам остальной России, растут, весьма ярко сказываются все особенности и дефекты городской жизни. Схематически каждый город можно представить из центрального пункта, как насос, выкачивающий все жизненные соки из городской местности, расположенной периферически.

Все города находятся в таком же положении, но, повторяю, на южных городах, быстро растущих и развивающихся, это особенно хорошо наблюдается. Вот картина, отнюдь не преувеличенная, отнюдь не с сгущенными красками.

В темные, ненастные осенние ночи громады проделывают в нашем городе, – рассказы-

вает одна южная газета, – невероятные по дерзости и зверству дела. Грабежи, насилия, разбои совершаются чуть не каждую ночь.

Через две-три улицы от центра темно хоть глаз выколи, полиции почти нет, улицы не мощены. Громилам полное раздолье. Беззащитных стариков и старух грабят, подвергают пыткам, режут, как поросят, забираясь в дома, куда лезут, выламывая окна и двери. Выламывают окна и двери и лезут в дома, даже зная, что хозяева не спят, что у них гости, которые еще не разошлись. Лезут в почтовую контору, где, знают, спят вооруженные сторожа и почтальоны. Лезут и режут людей в конторе лесной биржи, зная, что бок о бок с конторой спят десятки людей.

Обыватель дрожит и судорожно сжимает в кармане револьвер, идя поздно ночью по улице; не спит ночи и дрожит при малейшем стуке, обложив себя огнестрельным оружием. Это обычная типичная картина не центральной части города. Южные города в силу своего роста выделяют особенно много бездомного элемента, увеличиваемого профессиональными преступниками.

Да чего же лучше, если в самой царице юга, Одессе, возможен был такой случай.

Была свадьба. В обширном зале помещения, находившегося на одной из отдаленных улиц, восседали гости за длинными столами, уставленными приборами и залитыми светом. Было человек тридцать. Лилось шампанское. Вдруг около часу ночи в зал врывается толпа хулиганов. Они начинают колотить кулаками, дубинами, камнями кавалеров и дам, хватают со стола бутылки и запускают их в головы почтенной публики и в лампы, стараясь их разбить и погасить. Крик, визг, стоны, свист, грохот опрокидываемых столов... Гости, невеста, жених бросаются куда попало, многие с разбитыми головами. Пользуясь суматохой, хулиганы похватили со стола серебро и исчезли.

Штат охраны в городах так мал, что она с трудом обслуживает центральные, наиболее людные улицы, на окраины же не хватает людей. Города же, за отсутствием средств, не могут увеличить ассигновку на усиление охраны окраин. Домовладельцы центральных частей заводят институт ночных страж-

ников, украинцы же не могут этого сделать.

Тяжелое ремесло*

Едва ли встречаются более запутанные, более странные отношения, чем отношения между артистом и театральным рецензентом. Первый вечно настороже, вечно волнуется, вечно недоволен за то, что его покорили или недостаточно похвалили. Он глядит в глаза рецензенту, часто глупые, наглые и злые, глядит с умилением, с преданностью, с любовью, с уважением на лице и с жгучей ненавистью, с неугасимой злобой, часто с презрением в сердце. Почему, почему это такой же человек, как он, артист, да нет, гораздо хуже его, бездарнее, глупее, человек, часто не имеющий никакого понятия об искусстве, попавший совершенно случайно в ценители, часто необразованный, не знакомый ни со сценой, ни с литературой, нередко просто безграмотный, — почему этот человек является его судьей, властителем, держит в своих руках его судьбу, счастье, будущее, счастье его семьи, детей? Почему он должен перед этим человеком унижаться, заискивать, в лучшем случае сохраняя достоинство, чувствовать себя перед

ним, как перед начальством? Почему, если это артистка, почему она, случается, бывает вынуждена платить невежественными доказательствами своей преданности этому человеку? Почему, наконец, если даже ничего этого нет, почему каждое утро, только откроешь глаза, сейчас же с дрожью, со страхом надо разворачивать газету и искать своего имени?

Эти больные, неотвязные, раздражающие и остающиеся без ответа вопросы, как тень, следуют за артистом, толпятся в его мозгу, сосут сердце, отравляют радость и спокойствие жизни. Он постоянно в роли жертвы, он – обвиняемый.

Рецензент чувствует себя особенным, значительным, точно он ростом выше, точно он смотрит на артистов, слегка наклонив голову, он – судья, он стоянно в тоге и судейской цепи. В руках его право казнить и миловать безапелляционно. Публика? Но что публика? Разве она послушно не повторяет того, что он, театральный критик, небрежно роняет. Публику он в высокой степени презирает, доказывает ей постоянно это тем, что сегодня говорит одно, завтра – другое, послезавтра – тре-

тье. Он сам себе господин, он господин своему слову, которым и распоряжается по произволу.

Конечно, характеристика того и другого варьируется до бесконечности, но основной тон ее: один – судья, другой – обвиняемый, постоянно сохраняется. Я вовсе не хочу сказать, что театральные критик, рецензент, непременно недобросовестный, злоупотребляющий своим положением человек. Совсем нет. Среди них столько же порядочных, честных людей, как и во всякой другой профессии. Я только хочу сказать, что нигде так удобно не культивируются злоупотребления, как когда один человек держит другого, живого, трепещущего, в руках.

В одном из губернских городов был видный провинциальный театр. Местный театральные критик свои отношения к антрепренеру целиком переносил на труппу. В большинстве случаев отношения с антрепренером устанавливались самого интимного характера, и труппа на страницах газеты оказывалась образцовой. Панегирики артистам лились широкой и блестящей струей. А чтобы

публике не бросалась в глаза чрезмерность похвал, избирались один-два третьестепенных, малозначительных, забитых и запуганных артиста, почти статиста, и на них выправлялась явно однобокая и пристрастная оценка остальных. И доставалось же беднягам: и ходить они не умеют, и стоять не умеют, и играть не умеют, – словом, это были козлы отпущения.

Интимностью с антрепренером критик не довольствовался. В труппе была хорошенькая, молодая артистка. Раздражающий льстивый фимиам, как чад, подымался ей со страниц газеты. «Глаза ее блистали, ослепительная кожа делала подобными мраморным статуям древних богинь каждый поворот головы, каждое движение... – писал в эротоманическом экстазе критик, – а сколько благородства, простоты, искренности чувства в игре!.. Это несомненно крупный, блестящий талант...» Затем во время одного из ужинов с артистками критик, сидевший рядом с артисткой, незаметно обшлагом, по-ноздrevски, пододвинул к ней записку. Та, смеясь, накрыла салфеткой и, улучив минуту, прочитала:

«Люблю безумно... жду ужинать...»

Но тут произошла величайшая, к изумлению критика, метаморфоза. Артистка, все время до того с ним игриво и чрезвычайно благосклонно кокетничавшая и заискивавшая, вдруг резко переменяла тон на самый заносчивый и оскорбительный. Критик ни капельки не верил в женскую добродетель, но, черт возьми, что же это значит! Он был взбешен. Страшное оружие против артистов было ведь в его руках, и после одного из представлений местная публика читала: «Артистка не портила игры, но как можно было браться за такую роль с такой фигурой? Как можно играть молодую, грациозную девушку особе с расплывшейся, обрюзгшей фигурой, по всем видимостям, лет за сорок?» Артистка превосходно и очень умело использовала свое положение, заявив, что еще один неблагоприятный отзыв, и она опубликует послание, и завоевала опять, ничем не поступаясь, самое благоприятное отношение со стороны газеты.

Станным покажется, что же думает публика при таких явно противоречивых отзы-

вах одного и того же критика об одном и том же артисте? Публика? Публике, что последняя строчка скажет, то ей на душу и ляжет, конечно, при условии, что рецензент неглупый и в достаточной мере ловкий человек, чтоб более или менее правдоподобно мотивировать свои отзывы. Когда упомянутому критику печатно указали на полную противоречивость его отзывов об артистке, он хладнокровно ответил в газете, что он и не думал называть молодую артистку старухой, у него есть глаза и голова, и он не мог сказать такого абсурда, он сказал, что только в *данном* случае артистка производила впечатление старообразной, а отчего, была ли она больна, или ей было не по себе, или костюм не шел – это другой вопрос. И публика удовлетворилась и верила. Нельзя сказать, чтобы такие факты были редкостью. Но и артисты охулки на руку не кладут. Все пускается в ход: интриги, подкуп вещественный и невещественный, клевета, просьбы, унижения и... кулаки. Люди борются за хлеб, за завтрашний день. И в этой борьбе за хлеб подчас разыгрываются тяжелые сцены, пожалуй, драмы, где нет винов-

НЫХ.

В опереточной труппе пел баритон, и пел прескверно, износившийся, с хрипотой, почти совсем неслышный, немножко козлиный голос. Музыкальный критик местной газеты, перечисляя исполнителей, отметил, что баритон был очень плох. Да иного он ничего и не мог сказать при всем желании.

И вот растворяются двери, и к сотруднику входит высокий, худой, с плоской грудью, уже погнувшийся человек с измученным лицом, на котором от худобы и изнурения кожа лежала длинными складками, и с добрыми выцветшими, когда-то синими глазами. Он был в черном застегнутом наглухо сюртуке и держался строго и официально.

– Изволите ли видеть, – начал он официальным тоном, положив руку на ручку кресла, – вы изволили дать обо мне отзыв... я бы хотел...

Но вдруг он стал кусать губы, складки лица и брови с ужасом полезли вверх, страдальческие морщины перерезали лоб... Он делал над собой невероятные усилия.

– Я... вы... я... хотел...

Но не выдержал и зарыдал. Хозяин вско-
чил.

– Что вы... что вы!.. Я... я вовсе не хотел...
пожалуйста, не думайте... видите ли... ради
бога...

Невыносимо было смотреть на этого уже
старого человека, рыдавшего, как ребенок. Он
истерически рыдал, навалившись грудью на
стол, и лицо его и складки на нем перекоши-
лись от неудержимых, разрывавших его ры-
даний. Ему подавали воды, брызгали, давали
нюхать спирт, а он, не будучи в силе спра-
виться, чувствуя, что ничего с собой не поде-
ляет, махнул рукой и выговаривал сквозь ры-
дания:

– Я... понимаю... вы... иного отзыва... не
могли дать... не могли... нет голоса... был ко-
гда-то... теперь нет... изнашивался... вы не мог-
ли... но... у меня... двое детей... Боже мой...
они не виноваты... вы не могли... жена...
умерла... двое остались... вы не могли... я по-
нимаю... завтра же антрепренер может... вы-
гнать... на улицу... дети... все, что осталось...
понимаю, не могли... Я без контракта... слу-
чайно попал... в конце сезона...

Сотрудник растерялся. Он всего ожидал – брани, просьб, угрозы, унижений, но никак не ожидал этого.

– Успокойтесь, ради бога, успокойтесь.

– Я... я... ничего не прошу... я не пришел вымаливать у вас отзыв... нет... но... ради бога, придите во вторник... я выступаю в дивертисменте... Я буду петь... я все сделаю... я всю душу вложу... если... и если... все-таки... вы... найдете... пишите... пишите... правду... что же делать... но, ради бога, придите... умоляю вас... я бросаю оперетку, перехожу в драму, но если ваш последний отзыв останется... меня... никто не возьмет... даже в драму... я знаю... и отсюда я должен буду уйти... но, ради бога, правду... одну правду...

Во вторник театр был набит сверху донизу. Сотрудник сидел во втором ряду. Кончился спектакль. Вышла девица, пропела по-птичьи, повертелась по-птичьи и ушла. Вышел высокий, худой, с худым, со складками от худобы, бритым лицом, во фраке, в белом жилете, белых перчатках. Он раскланялся, заложил один палец за жилет и помолчал. Потом вынул из-за жилета палец, раскрыл рот и

протянул руку публике, слегка откинув голову назад, точно осененную вдохновением. В зале ничего не было слышно за шуршаньем и шушуканьем усаживавшейся публики. Но те, кто сидел в первом и во втором ряду, услышали шуршащий хриповатый шорох, смешанный со звуком человеческого голоса, точь-в-точь такой, какой бывает, когда начинает петь граммофон, но еще не разойдется и хрипит.

Улыбка шевельнула складки кожи, и добрые выцветшие глаза глядели, ничего не видя перед собой, подернутые дымкой вдохновения. Неугасимая, тлевшая, как последняя искра, надежда, что не все еще потеряно, что совершится чудо, и он еще споет своим прежним голосом, гордость артиста, отчаяние, ужас напрягали все его душевные силы.

Ее в грязи он подобрал!

Да, в грязи. Сострадание, жалость, любовь разлились на этом добром, голом, в морщинах лице.

Чтоб все достать ей, красть он стал...

*Она плясала, пила вино и над
безумцем хохотала!..*

Он хохотал. Он хохотал, закатив добрые глаза, и его большой рот и голые складки лица потянулись к большим, торчавшим в разные стороны ушам.

Сотрудник сидел как на угольях. Он каждую секунду ждал, что гомерический неудержимый хохот потрясет театр от партера до галереи, опустил глаза и не смел поднять их на этого доброго человека. Если бы он пел обыкновенно, как поют безголосые, публика прослушала бы молча, поскучала бы, и все. Но он старался, он вкладывал душу в свой хрипчатый козлиный речитатив, сопровождавшийся шумом тяжелого дыхания, как в граммофоне, и это было ужасно. Не расхохотаться было невозможно.

Сотрудник робко, со страхом поднял глаза. Весь театр не шевелился и молчал, как мертвый.

Публика, обычно не церемонившаяся с артистами и очень экспансивно высказывавшая свои впечатления, теперь молчала. Очевидно, чувствовали, что на сцене разыгрыва-

лась какая-то драма.

Об этом человеке, так страшно улыбавшемся добрым морщинистым лицом, демонически хохотавшем, можно было сказать: «Смейся, паяц...»

Когда на другой день в газете появилась заметка о прекрасном исполнении «Ее в грязи он подобрал», рецензента подняли на смех.

– Ну, я желал бы, чтобы вы побыли на моем месте четверть часа, когда он пел.

За театральными кулисами*

Положение мое очень щекотливо. Приходится говорить о фактах, о которых говорить бы не хотелось. Не хотелось бы потому, что они имеют отношение к одному московскому обществу, преследующему весьма важные цели, обществу, к которому публика должна относиться в высшей степени внимательно и с величайшим участием. Это общество по организации народных развлечений в Москве.

Я уже упоминал о том, что из труппы, приглашенной комитетом общества, вышло девять человек. Упомянул об этом вскользь, не хотелось раскрывать и подымать всей исто-

рии, теперь я вынужден сделать это, читатель увидит дальше – почему.

В былые времена достаточно было сказать слово «актер, актриса», чтобы с этим сейчас же связывалось представление водки, разгула, пьянства, распущенности. Актер – пьяница, актриса – распущенная женщина. Мало-помалу жизнь брала свое. Общество научилось уважать артиста. Понемногу оно привыкло видеть в нем человека, женщину, такого же человека, такую же женщину, из каких состоит само оно, общество. Артист ведь – это чей-нибудь сын из этого самого общества, артистка – это чья-нибудь дочь из этого самого общества. Они – плоть и кровь его.

Но, повторяю, эта эволюция, это признание в артисте и артистке человека совершалось медленно и постепенно. И прежде всего этому содействовало поднятие культурного уровня самих артистов.

Люди стали сознавать свое человеческое достоинство и потребовали его признания и от других. Это всегда так бывает, и это обычный и нормальный путь. Уважай сам себя, и

тебя будут уважать другие.

Представьте себе милого, хорошего, добро-го, симпатичного человека. И этот добрый и хороший человек, будучи режиссером, напи-вается до бесчувствия и в присутствии не только артистов, но и артисток загибает та-кие ругательства, что уши вянут. Но ему про-щают: в самом деле, что же тут такого, – ну, выругался площадно, да ведь не откусил же он никому ни носа, ни уха, не полиняют, брань не виснет на шее. Наконец это – свое домашнее, семейное дело. Одно дело – на лю-дях, на публике, на народе, и другое дело – в своем семейном артистическом кругу.

Тут можно и на босу ногу и в халате нара-спашку.

Вот какие понятия остаются еще порой у артистов, как пережиток доброго старого вре-мени, когда на актера смотрели как на шута горохового, а на актрису как на блудницу. Это – темные пятна в жизни артистов, кото-рые так же сойдут, как прошло возмутитель-ное отношение публики к артистам.

Что бы вы сказали, если бы порядочные люди, истые джентльмены вне дома, дома, в

кругу своих семейных ругались бы площадно? Некоторые артисты так именно и поступают.

Вот какая разыгралась история в труппе общества по распространению народных развлечений.

Режиссер этой труппы, как человек, очень милый и хороший, как режиссер, знающий дело, думает, что в своем семейном артистическом кругу можно быть в халате и даже без халата и на босу ногу, можно хлопнуть любя по уху артиста-товарища, можно пустить, тоже любя, при артистках такую руладу, от которой доски на потолке коробятся и пол лопаются, публика в восемнадцатом ряду вскакивает с изумлением. Это черные обломки прошлого.

Поэтому, когда часть артистов труппы возмутилась и запротестовала, требуя человеческого отношения к товарищам-артистам, режиссер категорически заявил, что иначе он не может относиться. Артисты и артистки, не желавшие выслушивать из уст режиссера «крепкие» рулады, вынуждены были выйти из труппы.

В высшей степени бережно относясь к интересам общества, они сделали все, чтобы не причинить ему вреда. Они обратились в комитет общества, указывая на невыносимое положение, которое создал режиссер.

Положение обязывало комитет отнестись к делу в высшей степени серьезно и внимательно. К сожалению, он поступил как раз наоборот. Он отнесся невнимательно и лукаво. Прежде всего он никак, изволите ли видеть, не мог собраться в достаточном числе членов, которых нужно было, для законности собрания, человек пять-шесть. Это уже одно характерно. Затем один из его почтенных членов, взявший на себя миссию примирения, пропел артистам и артисткам, не желавшим выслушивать «крепкие» рулады режиссера, дифирамб этому самому режиссеру, указав, что режиссер – закадычайший друг-приятель ему, члену комитета. Вы понимаете, что это вышло очень тактично и благородно.

А затем, – а затем комитет отложил разбор этой истории до... конца августа – тогда, дескать, он соберется.

Но позвольте же, ведь на улицу выброше-

но девять человек вашей труппы, без всякой с их стороны вины.

Ведь они обречены на форменное голодание, ведь у них же своя жизнь, свои нужды, которые требуют удовлетворения, ведь некоторые из них прямо в безвыходном положении.

Очутиться артисту без ангажемента в середине сезона, вы понимаете, что это – не шутка. Вы понимаете, что это является ущербом и для будущей их деятельности, и раз люди вынуждены были уйти, значит, положение действительно стало невыносимым.

А вы преспокойно откладываете решение вопроса до... конца августа. Расчет ясен: в августе все разъедутся, и дело само собой прекратится.

Можно ли так поступать с живыми людьми?

Степная Вифсаида*

Дорога

Земля наша велика и обильна, но мы ее совершенно не знаем. Сколько по лицу ее разбросано драгоценных уголков, о которых мы не имеем ни малейшего понятия, уголков, из которых на Западе сделали бы по жемчужине.

Об одном из таких уголков я хочу рассказать.

Поезд шел по Тихорецко-Царицынской ветви Владикавказской железной дороги. В два часа дня кондуктор возгласил:

– Станция!

Отсюда до местоназначения оставалось семьдесят верст, и надо было ехать на лошадах. Часа через два я выезжал со двора земской станции на тройке в покойном рессорном экипаже.

Экипаж с особенным, характерным звуком рессор катится по пыльной дороге; влево степь, вправо тянется Великокняжеская станция донских казаков. Маленькие, приземистые саманные белые домики под соломен-

ной крышей, базы и плетни, огромные пустыри производят впечатление хутора. Это – богатая, большая торговая станица. На огромном пустыре, заросшем бурьяном, колючкой, полынью, перерезанном в разных направлениях пыльными уезженными дорогами, сиротливо стоит деревянная церковь. Что поражает в станице – так это бедность зелени: голо, неприкрыто, и жгучее степное солнце немилосердно палит и эту одинокую церковь, и саманные домики, и широкие пустынные пыльные улицы, и заросшие колючкой пустыри, и степь, которая надвинулась со всех сторон и, кажется, царит и в самой станице. Только на пустыре, недалеко от церкви, за дощатой отгородкой сиротливо стоят два садика – общественный и при местном училище, – но и они, видимо, подавлены этим степным могуществом.

Станица, церковь, саманные домики и сиротливые, затерянные среди степи деревья двух садиков понемногу отходят назад. Во все стороны простирается солонцеватое бесплодное пространство. Здесь ни поселений, ни хуторов, лишь изредка попадаются зимовники

коннозаводчиков, этих пауков, сосущих донское войско.

Куда ни глянешь, везде истрескавшаяся сухая земля. Знойный ветер метет по дороге столбами пыль. Степь курится, и над ней там и сям ходят смерчи, наводя уныние и тоску. Пыль мелкая, едкая, горячая лезет в глаза, в нос, уши, делает ямщика, экипаж, лошадей и меня серыми.

Зной струится и колеблется над буграми, и вдали появляется марево: на самом краю степи вдруг показывается длинной полосой вода, как будто силуэты деревьев, ветряных мельниц, неясные призраки строений. Но немного погодя эта светлая полоса воды отделяется от горизонта вместе с силуэтами деревьев, строений, подымается, тает, и видишь только одну голую, сожженную безлюдную степь. Лошади бегут усталой рысцой, отчаянно отбиваясь от мух головой, ногами, хвостом, рессоры похрустывают, кузов качается, веки тяжелеют, размаривает сонливость. Мой ямщик клюет, покачивается, стараясь удержаться, да вдруг разом качнется с козел, очнется, подергает вожжами, и опять начинает-

ся то же.

И меня клонит ко сну. Я не могу удержаться и опускаю утомленную, разболевшуюся голову на подушку, но через минуту снова подымаюсь: невозможно лежать – голова скачивается, а щеку и шею немилосердно палит солнце; если же поднять верх – становится душно, и через минуту обливаешься потом. Я снова сажусь и гляжу на мелькающие ноги лошадей и слушаю, как похрустывают и постукивают колеса, как носится горячий, скучный ветер над степью и экипаж катится в облаках пыли.

Станица давно скрылась позади. Кони в мыле и в поту яростно бьют себя по брюху ногами. Дорога и придорожный бурьян медленно отходят назад.

– Сколько верст осталось до станции?

Ямщик, одолеваемый дремотой, качнулся, мгновение казалось – он свалится под колеса, но он очнулся, задергал вожжами и, чтобы скрыть смущение, стал немилосердно хлестать пристяжную.

– Не лукавь, не лукавь, не лукавь!.. – И он в такт своим словам хлестал бедного коня, ко-

торый сначала отмахивался хвостом, не придавая этому серьезного значения, но видя, что от него не отстают, стал прыгать всеми четырьмя ногами. Кучер успокоился.

– Сколько верст до станции? – спрашиваю.

– Ась? Верстов сколько? Да, почитай, половину проехали. Да вон половина и будет, вот зимовник, – проговорил он, указав вперед кнутом. – Пятнадцать верстов сюда считаем, значит, пятнадцать осталось.

Ямщик повернулся ко мне спиной и потрагивал лошадей.

– Теперя скрозь зимовники пойдут. Тут больше никаких других поселениев нету, акромья зимовников... Но-о, милаи!

Ямщик говорил, сидя ко мне спиной, точно обращался совсем не ко мне.

– Лютый народ.

– Кто?

– А коннозаводчики.

– А что?

– Позавчера на зимовнике человека убили. Приказчик на поле приехал, парень косит. «Как, грит, тихо косишь». А парень грит: «Не могу шибче». – «А, грит, не можешь?!» – пле-

тью его калмыцкой через лоб, упал, а он ногами. Вечером идут ребята вечерять. «Пойдем, Ваня, вечерять». – «Нет, братцы, не буду вечерять». Лег под стогом, ничего не сказывает. Ребята полегли спать, скрозь сон слышат – стонает. Подымет кто-нибудь голову: «Ты чего, Ваня?» – «Батюшку бы мне, братцы». – «Спи, Ваня». Известно, за день-то намаются, спать хочется. Покеда месяц светил, видать по степи было, он все стонал, а как месяц закатился – замолчал. Утром встали, а он мертвый... Но-о, милаи!..

Коннозаводчики снимают у донского войска по несколько десятков тысяч десятин, внося три копейки арендной платы за десятину, ведут хозяйство и обязаны держать табуны лошадей, которых и поставляют за хорошую цену в кавалерию. В степи они чувствуют себя князьками. Большею частью это разбогатевшие мужики, беспощадные и жестокие к рабочим.

Зимовник медленно отходит назад и скрывается за бугром, и опять зной, пыль, безлюдье и сожженная солончаковая степь. Дорога, на сколько только хватает глаз, дымится; ве-

тер бежит вдоль нее и несет облака пыли, острые, наклоняющиеся вперед, точно дым и гарь с огромного пожарища. По краям степи небо серо-желтое и мутное. И я опять смотрю на мелькающие лошадиные ноги, на подпрыгивающие шлеи и взмыленную, потемневшую под ними лошадиную шерсть. Солнце все раскалило: не только к железным – к деревянным частям тарантаса нельзя прикоснуться рукой, страшно разогрелись подушки, чемодан, платье. А кругом все тот же сизый полынок, из-желта-бурая горелая трава, между которой сквозит сухая, потрескавшаяся земля, то же обманчивое марево. Даже скирды и стога сена, виднеющиеся вдали, не уничтожают впечатления пустынности.

Только уже к вечеру, когда я подъезжал к последней станции, жар свалил и отяжелевшее, усталое солнце все больше и больше опускалось, посылая к нам косые красноватые лучи, и рядом с лошадьми и тарантасом бежали длинные и острые тени. Марево пропало, мутное небо очистилось, посинело и стало прозрачным, даль открылась. В посвежевшем воздухе молчаливо реяли стрижи, а

в сторонке низко над степью тянулась вереница журавлей, и характерные гортанные звуки доносились оттуда. Быстро пронеслись утки, вытянув шеи, – где-нибудь близко вода. Я вдыхал полной грудью этот степной вольный воздух.

Впереди по горе покраснелись крыши построек, напоминая помещичью экономию. Это была Манычская санитарно-лечебная станция. Она казалась жалкой и затерянной среди огромной сожженной пустыни безлюдной степи. Кругом было так пусто, так тихо, что невольно охватывал страх перед жизнью в этих закинутых домиках с низкими красными крышами, перед тоской одиночества и унылостью. Жизнь представлялась такой же унылой, однообразной и плоской, как степь.

На станции

Я никак не мог понять, что это. Вдоль окна золотилась узкая щель, жужжали мухи. Странные, непонятные звуки, уканье, тонкий плач, глухое, придавленное рыданье невнятно пробивались сквозь затворенный ставень окна... Дорога, жара, степь, пыль, безлюдье... Ах, да, ведь я же на грязелечебной станции.

Это уже утро.

Я торопливо соскочил с постели и толкнул окно и ставень. В комнату ворвалось яркое свежее утро, птичье щебетанье и, что меня поразило, звуки оркестра, – так они не вязались с впечатлением безлюдности широко открывавшейся в окно степи, дышавшей мощью пустыни.

Я торопливо оделся и вышел. Штук десять домов стояло вокруг площадки, на которой играли музыканты. С четырех сторон примыкал подрастающий лесок, так странно выделявшийся среди безлесной местности. А кругом степь, степь и степь без конца и краю, без признаков жилья. Только несколько калмыцких кибиток чернели в отдалении. Я отправился к доктору. Он осмотрел, выслушал и назначил грязевые ванны. Но предварительно нужно было принять несколько рапных ванн. Захватив простыню, я минут через пять уже спускался к Грузскому целебному озеру. Когда оно открылось, я в изумлении остановился. Под ярким июньским солнцем блестело льдом и ослепительно белело снегом озеро. Это была поразительная зимняя картина сре-

ди сожженной от зноя степи.

Я спустился к самому озеру. Соль сплошным слоем то в виде снега, то в виде льда лежала по грязи, которой было заполнено озеро. В ванном здании, куда я вошел, ударил в нос запах сероводорода. Прислуга приготовила ванну, я погрузился в густую, как масло, пахивавшую протухлыми яйцами темную зеленовато-желтую бурду, в «рапу» (концентрированный раствор соли), и начал отчаянную борьбу в ванне. Страшно густой раствор выпирал меня наружу, а я употреблял все усилия, чтобы забраться опять в него, но, несмотря на все, плавал поверх рапы, как пробка. Губернаторское положение: никак не влезешь в ванну, да и баста! Наконец мне подали длинный шест, я уперся одним его концом в потолок, а другим себе в грудь и что есть силы стал вдавливать себя в ванну, помогая упрятывать себя туда и руками и ногами, и только тогда кое-как окунулся в рапу, которая начала пощипывать тело. Из других ванн также торчали длинные шесты и выглядывали напряженные лица, – караулят себя, чтобы не вынесло из ванны. Но, несмотря на это, то в

одной, то в другой ванне вдруг выскочит нога или вывернется бок.

После ванны я отправился осматривать станцию. Станция выстроена и содержится на счет донского войска, здесь нет частных предпринимателей. Домики обложены кирпичом, с отдельными помещениями, с высокими просторными светлыми комнатами, уютными и удобными, с мягкой мебелью.

Перед курзалом разбита площадка для крокета, другая – для танцев, тянутся кегли.

К часу стала собираться в курзал публика. Это была самая разнообразная публика: купцы, офицеры, кандидаты на судебные должности, учителя, учительницы, железнодорожные служащие, чиновники, дети, старушки, девицы, дамы хорошенькие и некрасивые, кокетливые и равнодушные ко всему окружающему. В комнате рядом с обеденным залом стояло пианино, по вечерам здесь пели и играли; следующая комната – бильiardная. Девицы и дамы, держа по-женски кии, ходят около маленького бильiardа и неловко тыкают ими в сукно, в борта и очень редко – в шары. Впрочем, игра меньше всего их интересу-

ет, и их миловидные лица как будто говорят: «Нам вовсе нет дела до игры, но, вы видите, мы молоды и привлекательны, и вы смотрите и любуетесь нами, и с нас довольно», – и они продолжают забавляться, грациозно и кокетливо рисуясь своей неловкостью. За большим бильярдом бились мужчины, с обычными приемами игроков клали шары, всецело поглощенные игрой и не заботясь об окружающих.

Время обедать. Беру карточку. Цены невысокие. Провизия безусловно свежая, готовят вкусно.

После обеда все разбредаются по номерам. Зной, мухи, безделье. Тянешь одну за другой бутылочки кумыса, довольно дорогого. Кумыс превосходный. В этой пустынной местности юго-восточного угла России сохранились еще не тронутые плугом, девственные пространства ковыльной степи, по которой гуляют табуны кобылиц, никогда не знавших упряжи и работы, – два фактора, имеющие громадное значение для состава кумыса. Смело можно сказать: настоящий кумыс вы встретите только на Маныче. В связи с девственным степ-

ным воздухом он делает чудеса с грудными больными.

– Вставайте, скоро на ванны.

Я открываю глаза, с трудом отгоняя сновидения.

– Ванные нынче хорошие будут, – продолжает Андрей Иваныч, наш номерной, стоя надо мной и желая сейчас же, как только я открываю глаза, уже чем-нибудь угодить мне.

Слегка позавтракав, – перед грязевыми ваннами обязательно нужно съесть легкий завтрак: пару яиц, молока или что-нибудь в этом роде, иначе сильно ослабеваешь в ванне, – нагрузившись шубой, пледом, валенками, теплой шапкой, простыней, я отправился к ванному зданию. Такие же нагруженные фигуры шли и ехали на извозчиках из разных номеров к озеру. Раздевшись в раздевальне, я вышел на небольшой, застланный досками и окруженный со всех сторон высоким забором дворик. Это и было инквизиторское место, где пытали солнцем, водой и грязью.

На полу дворика лежали удлиненные черные, маслянистые, чуть-чуть подернутые со-

лью четырехугольники целебной грязи. Рабочие достают грязь посреди озера и привозят ее сюда на тачках.

Почти отвесные лучи ослепительно жгучего солнца падали на площадку дворика, нагревая грязь и до того накаляя доски, что приходилось прыгать и скакать – обжигало подошвы.

Публика, совершенно голая, заложив руки за спину, разгуливала вдоль забора в тени, беседовала, рассказывала игривые анекдоты или, сидя на корточках на припеке, принимала солнечные ванны, похлопывая себя по голому телу. И тут нельзя было отличить кандидата на судебные должности от советника областного правления, полковника от парикмахера, генерала от газетного сотрудника, – все были одинаковы, все были равны, и среди этой голой одинаковой публики резко выделялся белым кителем доктор.

Рабочие кладут больных спиной на грязевой четырехугольник и быстро обкладывают и обмазывают мягкой, пластичной, маслянистой горячей грязью до самого подбородка. Под голову кладется подушечка из соломы, а

над головой ставится небольшой зонтик от палящих лучей. Одна за одной появляются на досках неподвижные черные мумии, с вытянутыми вдоль неуклюжего, как бревно, туловища черными толстыми руками.

Странно было смотреть на эти выглядывавшие из грязи беспомощно покрасневшиеся лица, по которым медленно ползут капли пота, – умиленные и сосредоточенные, точно прислушивающиеся к тому, что делалось внутри их. Ни пошевелинуться, ни приподняться. Мухи пользуются случаем и начинают безбожно кусать и щекотать лицо. Кусаемый моргает, морщит нос, двигает кожей, шлепает губами, но мухи преспокойно разгуливают по потному лицу.

Доходит и до меня очередь. Горячая, тягучая, как тесто, грязь обжигает тело. Как будто залез в мягкий теплый мешок по самую шею. Доктор и фельдшер расхаживают среди царства поверженных...

Я лежу на спине и, когда скашиваю глаза, вижу часть забора, черные доски и обращенные вверх неподвижные распаренные лица моих соседей. И я опять гляжу прямо перед

собой и вижу только голубое сияющее небо. Облачка, прозрачные, тонкие и нежные, как след от дыхания, тают в этой сверкающей синеве. Больно смотреть. Я закрываю глаза. Истома все больше и больше охватывает распаренное тело и переходит мало-помалу в расслабленность. Я бы не прочь и вылезть, но хочется дотянуть нормальные пятнадцать минут. На заботливый вопрос доктора: «Как вы себя чувствуете?» – отвечаю, еле ворочая языком: «Пре... е... восходно!» – и опять гляжу в синее сверкающее небо.

Ласточки реют над двориком, помогая и уча птенцов летать. По моему лицу стекают капли пота, ползает, щекоча, муха и пьёт этот пот, но я уже не моргаю и не делаю усилий согнать ее. Я до того обессилел, что мне трудно сделать движение, трудно подать голос. И ведь стоит только сказать доктору, что мне тяжело, как меня моментально поднимут, но я употребляю все усилия, чтобы скрыть это, чтобы дотянуть до конца. Сердце стало тревожно работать, давящее, мучительное беспокойство овладевало мной, становилось тоскливо.

Сбоку поднимают соседа. Несмотря на то, что он превратился в кисель, он протестует – еще хочет полежать. Мне осталось две минуты; две минуты – это вечность!.. И опять синее небо, тонкие, неуловимые облачка, ласточки и сбоку белый китель доктора, а над всем – неподвижный, тяжелый, отнимающий способность двигаться, думать, делать усилие – зной, который стоит в этом дворике над неподвижно вытянувшимися черными безобразными мумиями с красными, обливающимися потом физиономиями.

Наконец поднимают и меня и, поддерживая, ведут в здание, но из какого-то ложного самолюбия я освобождаюсь и иду без поддержки, стараясь ступать легко, свободно и вольно, как будто я не чувствую ни малейшей слабости, между тем у меня в глазах летают зеленые мухи, забор, доски, неподвижно лежащие черные фигуры плывут кругом, и я каждую секунду жду, что повалюсь на пол. И странно, все больные проделывают то же самое.

Грязь падает с меня кусками. Два служителя торопливо обмывают меня, и я в изнемо-

жении, ослабевшими, дрожащими руками кое-как напяливаю на себя белье, платье, шубу, валенки и, окончательно изнуренный, изнемогая от этих усилий, с сердцем, готовым разорваться в груди, неверными, колеблющимися шагами выхожу и, как мешок с мокрым бельем, валюсь на блан-карду.

Извозчик втаскивает меня на гору и везет в номер, а тут уже ждет Андрей Иваныч. Он раздевает меня, увертывает простыней, укладывает на постель и сверху укутывает пледом и шубой и вдобавок поит страшно горячим чаем. Два часа я лежу в самом дурацком положении. Пот бежит по телу ручьями, пробивает подушку, тюфяк, пропитывает одеяло, плед, капает на пол. Наконец меня вынимают, вытирают, одевают, и я с полчаса лежу на кровати как тряпка, без движения, без сил, с оловянными глазами, неподвижным лицом, с неприятным металлическим вкусом во рту.

Не удивительно, что манычские грязи чудеса делают: эдакое лечение и мертвого подымет. А результаты лечения действительно изумительны. Я видел больных, которых таскали на простыне, а через три недели (обыч-

ный курс лечения) они разгуливали по станции как ни в чем не бывало. Людей, уезжавших на Маныч со сведенными руками и ногами, когда они возвращались домой совершенно здоровыми, не узнавали. Мышечный и суставной ревматизм, золотушные и сифилитические страдания желез, надкостницы и костей, травматические воспаления суставов, невралгии, особенно мучительный Ischias ревматического происхождения, болезни кожи и многочисленные женские болезни при лечении грязями дают удивительные эффекты.

Манычская грязелечебная станция находится в чрезвычайно выгодных условиях. Сухой, знойный климат с большим числом ясных, безоблачных дней дает возможность применять способ лечения натуральными ваннами (ваннами-лепешками).

Везде на курортах западнее Сак употребляют только разводные ванны (грязь разбалтывают в ванне с соленой водой), так как натуральные грязевые ванны солнцем не нагреваются. О преимуществах же натуральных грязевых ванн единогласно говорят все авторы,

знакомые с этим способом лечения, а также и сами больные, которые, испытавши грязевые ванны, неохотно переходят на разводные.

Дети в этой местности поправляются и крепнут замечательно под благотворным действием кумыса, соленых купаний, степного воздуха и степного солнца.

Вечер

Степь, спокойная и тихая, простиралась вокруг, утомленная и остывающая от дневного жара. Слева виднелась гора, нарушавшая характер местности. Солнце, отяжелевшее, посылавшее уже негреющие вечерние лучи, коснулось края степи, с каждой секундой заходя за черту горизонта. Длинные синеватые тени тянулись от зданий, от людей, от курганов.

По деревянному помосту, проложенному для гулянья, гуляли больные, сидели на скамейках, пили кумыс на веранде курзала, слушали музыку. Безлюдная, точно вымершая во время знойного дня станция оживилась, хлопали кумысные пробки, слышался говор и смех, от кухни доносился поднимающийся стук и суета, и мягкие, ласковые звуки фау-

стовского вальса носились и таяли в вечернем воздухе. Трудовой день станции кончался, и всем после зноя, после тоски потения хотелось отдохнуть, насладиться вечерней прохладой.

Я прошелся по помосту и присел на лавочку. Пожилой благообразный господин в фуражке ведомства юстиции сидел на той же скамейке и раздумчиво слушал музыку. Некоторое время мы сидели молча, потом, повернувшись ко мне, он проговорил:

– Недавно изволили приехать?

– Несколько дней.

Мы познакомились и разговорились.

– Не успели еще ознакомиться? Я уже кончаю курс, осмотрелся, ознакомился с историей учреждения и дальнейшего существования станции... Прелюбопытная, знаете, история!.. Пройдемтесь.

Мы поднялись и пошли в степь, которая лежала перед нами открытая, точно от загара золотисто-палевая, с черневшими вдали копами сена. И по ней, как по засыпающему лицу, уже лежали широкие тени, было прохладно, неслись тысячи запахов к вечеру начина-

ющих пахнуть трав, и манило вдаль.

– Знаете, что меня здесь поражает? – заговорил мой спутник. – Не техническая сторона дела, – поставлена она прекрасно, – не изумительная целебность счастливого сочетания грязей, климата и кумыса... Не могу, впрочем, удержаться, чтобы не рассказать, что со мной тут было. У меня, извольте ли видеть, разращение на кости, вот тут, на ноге. Целый год я криком кричал, понимаете, напролет по целым месяцам ночи не спал. Разращение это давит на нерв, и невыносимая, нечеловеческая боль. Все перепробовано, целый год ел лекарства, – ничего не помогало, ревел, как резаный боров. Врачи и предлагают: «Давайте, говорят, выскоблим ее». Это по кости-то, а? Вспомнишь, по телу мурашки!

Он помолчал немного, посмотрел в степь и проговорил:

– А теперь сплю покойно вот уж три недели, шишка рассасывается... Так вот, говорю, чудеса делают грязи. Но, повторяю, не чудеса меня поражают, а та борьба, которую пришлось вести за самое существование станции. Будь это на Западе, это место, как жемчу-

жину, вправили бы в чудную оправу, а тут долго рассуждали: да нужна ли станция, да зачем, да почему.

Он замолчал. Тени расплзлись и легли над всей степью прозрачным сумраком. Позади мигнули два-три огонька. Станция виднелась смутно, неясно, и изредка и слабо доносились оттуда то тупые, ничего не говорящие звуки тромбона, то тревожные, близкие к человеческому голосу звуки корнет-а-пистона.

– А хорошо тут! Нехотя выздоровеешь.

Мы остановились и, подымая руки, старались вдохнуть сухой благовонный воздух степи, но грудная клетка все не могла расширяться и вместить столько, сколько жадно просила.

Когда возвратились, на площадке скользили пары, публика сидела на веранде, стояла вокруг площадки, смотрела на танцующих, оркестр привычно играл все те же мелодичные надоевшие танцы. В бильярдной бились игроки, и оттуда доносились удары шаров. В углу веранды сражались на зеленом поле, освещаемом не колеблемыми ветром свечами, и, сосредоточенно уткнувшись, думали

над досками шахматисты. Барышни усабливались относительно завтрашнего катанья.

В десять часов резко и по-солдатски, точно музыканты обрадовались, грянул марш. Публика разошлась. Но и после этого из номеров доносился смех, говор, беготня, хлопанье дверей, – публика никак не могла успокоиться.

В лесу кто-то запел молодым грудным тенором. Ему отозвался в другом конце женский голос. Он пел простую песню, но потому, что стояла ночь, темнел лес, голос казался таинственным и обаятельным.

Под парусом

– Так что же, господа, идемте?

Компания набралась большая, человек двадцать.

Спустились к Грузскому озеру и гуськом потянулись по мосткам. Кругом белело затянутое льдом озеро, местами запушенное инеем и снегом. Глаза щурились от блеска. Коегде чернели следы: кто-то шел и проваливался. Наконец выбрались на другой берет, до которого, казалось, рукой подать, но на самом деле была верста с четвертью.

Под говор и смех дамы уселись в экипаж,

который бесплатно перевозит больных от Грузского озера к Гудилу. Мужчины пошли пешком по дороге. Невысокая гора пыльным горбом закрывала горизонт. Когда поднялись на гору, все ахнули: поражая простором, открылось море. Оно синело, и тени облаков бежали по его синему простору, и немолчный ропот отлого набегавших на отмели волн стоял, наполняя степной воздух. Среди голой, на сотни верст выжженной пустыни, где земля трескалась от зноя, как пережженный кирпич, где нет ни рек, ни речек, разворачивается вдруг не озеро, а целое море, на краю которого чуть виднеется полоска противоположного берега, а влево и вправо его синий простор сливается с синим небом.

Все стали спускаться по тропинке с пустынного, отвесно стоявшего глинистым обрывом, изрытого водоемами, мертвого, безлюдного берега. Как сороконожка, протянулись на бесчисленных столбиках мостки к купальням, далеко вынесенным в море. Парус большой лодки, привязанной у купальни, шелвелился и играл.

– Садитесь, господа.

– Ой!..

– Я сяду на носу.

– Душечка, устройте так, чтобы мне сесть рядом с кадетом.

– Готовы?

– Извините, пожалуйста, здесь водятся акулы?

– Господа, это неправдоподобно: среди степи вдруг море... Это во всяком случае против правил. Откуда здесь морю взяться?

– Господа, Сидор Иваныч не верит, что он на воде. Он думает, что он на телеге едет по дороге. Он думает, что это нарочно вода...

– Зельтерскую взяли? Кумыс?

– Все тут.

– Отдавай!

Лодка отделилась от ступеней, парус перестал биться, пополнел, и под носом стала шипеть и пениться вода. Купальни, мостки, глинистый безлюдный обрывистый берег поплыли назад. Волны, мягкие, отлогие, тяжелой морской зеленоватой воды, тихо плескались о борт. Беспыльный, пробежавший над водной поверхностью воздух вливался в грудь, и было отрадно, и дышалось легко.

Не успевшая еще освоиться друг с другом публика несколько дичилась, стеснялась, не знала, что теперь делать. В виду этого синего простора, горячего солнца, весело бежавших облаков хотелось особенных ощущений, живого и радостного веселья, и было как будто немножко скучно. Но понемногу это настроение прошло, и над лодкой без перерыва звучали смех, шутки, остроты.

Уже не стало видно купален, берег отошел, понизился, сравнялся, стал тонко затягиваться дымкой. Противоположный берег выступал яснее синей полоской, на западе и востоке берегов не было: искрилась и играла под солнцем вода до самого горизонта.

– Господа, давайте петь.

– У нас всегда – как на лодку, так пение.

– Начинайте вы.

– Почему же я?

– А почему же непременно я? Начинайте, а за вами и другие.

Поторговавшись, начали запевать, сначала несмело, нескладно, потом понемногу разошлись. Пели «Вниз по матушке по Волге», «Гречаньки», «Солнце нызенько», «Марселье-

зу», перепробовали все песни, какие только кому приходили в голову.

Вдали показался, желтея глинистым обрывом, пустынный остров, безлюдный и плоский, обиталище водяной птицы, лисиц и волков. Последние каждую ночь путешествуют к станции и режут скот. Многочисленные следы их явственно отпечатываются по мокрому берегу.

Уже давно рядом с лодкой бежала по воде длинная косая тень. Над водой с криком тянули на ночной покой гагары, утки, журавли. Выпили весь кумыс, зельтерскую, лимонад, поели горы сладостей. Напелись, насмеялись, наелись. Надо было ворочаться. Повернули лодку, перекинули парус, и тогда далекий и смутный берег вновь стал вырастать глинистыми обрывами, и, темнея, стали обозначаться над водой купальни.

За разговором, смехом, шутками и не заметили, как село солнце. Стихло. Парус висел неподвижно и мертво. Вода улеглась в шевелившуюся и слабо игравшую темным отблеском гладь. Свернули парус, сели на весла. Над головами зажглись звезды, но в той стороне,

откуда ехали, лежало что-то черное, непроницаемое и угрюмое. Берег рисовался впереди неясно и смутно странными, незнакомыми очертаниями. Купальни пропали в сумраке.

Все притихли и молча смотрели в смутную, неясную и теперь таинственную даль. И так же смутно и таинственно подымалось в душе, заглушаемое дневной сутолокой, разговорами, дневным светом, требование жажды счастья.

Девушка с прозрачным лицом и разрушенными легкими думала о милом человеке, о любви, о светлых днях.

Но никто не выразил своего настроения прямо. Никто не сказал; «Как хочется счастья! Как мучительно хочется счастья!» – потому что это было неприлично, и в то же время не могли сдержать в себе этого порыва и выразили так, как допускало это приличие.

– Ах, какая прелесть!

– Вот никак не ожидала!

– Можно подумать – мы в Крыму.

– Господа, это обидно. Почему в Крыму в такую ночь никто не скажет: «Можно подумать, что мы на Маныче»?

Все засмеялись.

– Ах, взгляните, луна! Как красиво!

Над морем лежало угрюмо облако с черными, как траур, оборванными краями. В одном месте эта траурная кайма золотилась, словно край парчи. В этом чудилось что-то неизбежное, как мрачное предчувствие. И всем пришла одна и та же мысль: как ни хорошо, как ни обаятельно это море, даль, какова бы ни была жизнь, полная ли счастья, или страданий, горя или наслаждений, – для всех один конец, роковой и неотвратимый.

Но опять в такой форме, никто не выразил этой мысли – слишком она не вязалась с прогулкой, с песнями, с разговорами. И только кто-то продекламировал:

*И бледный месяц, как монах,
Завернут в черных облаках.*

– Откуда это?

– Из Пушкина.

– Нет, из Лермонтова.

Потом опять каждый стал думать свое: молодежь – как они будут любить, пожилые – о том, как они будут здоровы и все пойдет по-

прежнему.

Когда возвращались и шли длинной вереницей по мосткам через Грузское, кругом, как привидения, среди ночи смутно белела соль, и доносились от курзала звуки «*pas de ratineur'a*»[6].

Мертвый город*

Новочеркасск – это город совершенно в духе и вкусе «Московских ведомостей». И не в том смысле, что там думают и чувствуют по «Московским ведомостям», – нет, это лишь образец, во что превратились бы наши города, когда бы там водворилась «тишь да гладь да божья благодать» по «Московским ведомостям».

Обыватель тихо, смиренно и скромно ходит по улицам, смотрит, как и нужно, себе под ноги, в каком проценте полагается, помирает, и сколько нужно нарождается, храмы божьи посещает, и при встрече с начальством снимает шапку и кланяется. О завтрашнем дне общественной жизни не заботится; как птица небесная, не сеет, не жнет, и в житницу общественных дел и интересов не собирает, ибо

знает, что о нем неустанно пекутся.

И когда в безлунные ночи в погруженных в крошечный мрак улицах ощупью на четвереньках разыскивает дом свой, не ропщет, ибо простой и ясной душой понимает, что нельзя же в одно время заливать великолепным электричеством упирающиеся в атаманский дворец центральные улицы и освещать керосином окраины. И когда ломает лошадиные и свои собственные ноги как изрытых, с навороченным булыжником, улицах, имеющих мостовые, не ропщет, ибо знает, что создание рук человеческих – тлен, прах и разрушение. И когда по пояс тонет в невылазной грязи на улицах, не имеющих мостовой, не бывает в претензии, ибо понимает и чувствует простым и ясным сердцем, что не наместиться же на всех.

И когда дети его, обывателя, как мухи мрут от дифтерита, оспы, скарлатины и близкие друзья, родные валяются от тифа, дизентерии, малярии без малейшей медицинской помощи, ибо город не имеет ни одной своей больницы, смиренно размышляет, что жизнь и смерть не в человеческих, а в божьих руках.

Понимает он, глядя, как дети его, вместо того чтобы поутру бежать с сумочкой в школу, бьют баклуши на улицах, понимает, что не настроишься же на всех школ. Все понимает простым и ясным сердцем новочеркасский обыватель. И оттого так тихо, так мертвенно на широких, пустынных улицах города.

Отчего же так? И неужели в городе с шестидесятитысячным населением, в центральном городе двухмиллионной области, городе, сосредоточивающем в себе массу учреждений (окружной суд, судебную палату, гимназии, институты, семинарии, корпус, банки, театр, военное и гражданское управления), не найдется обывателей, которые, разыскивая ощупью на поломанных ногах свои дома, не задали бы друг другу вопроса: «Чем был бы хуже твой удел, когда б ты менее терпел?»

Воспитание – великое дело. Сто лет существует Новочеркасск, сто лет по совершенно определенной системе и методу воспитываются в нем обыватели.

Все блага жизни ему предоставлены: ешь, пей, читай благонамеренные газеты, роди детей, умирай, когда придет черед, и... плати

налоги, обо всем же остальном позаботится начальство.

И оно заботится.

Раскаленное солнце свалилось за раскаленные здания. В сумеречной мгле пышат сухим жаром мостовые. Душно.

На площади целый табор. Гомон, крик, ругань, лошадиное ржание. Все заставлено бочками на двуколках. Лошади мотают головами, едят овес, вскидывая торбы, или понуро стоят, опустив головы. Водовозы собираются кучками, бьются в карты, в орлянку, хохот, смех, брань, бабы расположились с ведрами, коромыслами, визг, игры.

Огромный хвост ожидающих бесконечно теряется в соседних улицах. Гомон и шум далеко разносятся между сонными домами. Мирный обыватель просыпается, зевает, крестит рот: «Покою, анафемы, не дают», – и опять засыпает с тяжелым храпом.

А огромный табор стоит час, и два, и три, и пять, стоит целые ночи, дни. Это – новочеркасский обыватель получает воду из городского водопровода.

Так же смирно и не спеша, как и все, что

делается в городе, тихонечко капает вода из водопроводного крана в очередную бочку, и, пока накапает, водовоз успевает выпасться, покурить, сыграть в орлянку, поссориться, подраться, попасть в участок.

– Скажите, пожалуйста, неужели нельзя пустить воду полностью, чтобы разом наполнить бочку, не тянуть за душу и не мучить людей томительным, совершенно ненужным ожиданием?

– О, совершенно можно, – проговорило лицо, имеющее касательство к водопроводу, и таинственно и дипломатически сложило губы, – бочку в три минуты наполнить можно, но везде требуется политика. Пусти воду полностью, первые бочки сразу заберут воду, – воды-то ведь у нас совершенно не хватает, – что же сказать остальным? «Воды нет»? Да ведь обыватели тогда разнесут водопроводное управление, и нам головы не сносить. Как, воды нет! Камня на камне не оставят. Ну, а как капает-то вода, обыватель спокоен – хоть по каплям, да есть вода. А результат-то один и тот же, все равно приходится по суткам ждать. Вот она, политика-с... Хе-хе-хе...

Происходит, как видите, дипломатически-систематическое надувательство обывателя. И простодушный обыватель валяется, высунув язык, не умывается, не пьет чай, не моет белья, а когда уже невтерпеж, пьет из зловонного тифозного Тузлова и так же простодушно мрет от эпидемических заболеваний.

И во время пожаров нередко молодцы пожарные, облокотясь на насосы, переговариваются:

– Кабы воды, ловко бы пужанул с этой стороны.

– Да, это бы зараз залил, – говорят товарищи, разгребая баграми до основания и без помехи сгоревшее здание,

И это надувательство – не со вчерашнего дня, лет тридцать уже вода из водопровода в летние дни только капает.

Существует в городе симпатичное общество донских врачей. Обыватель знает, что всякая копейка, пожертвованная в общество, пойдет на пользу страждущему люду, каждая копейка на учете, каждая копейка бережется. И в общество широкой рекой текут пожертво-

вания, на которые врачи имеют возможность содержать бесплатную женскую и глазную лечебницы и амбулаторию для проходящих больных.

Прием. Народу битком набито. В дверях показывается казак, неся в охапке женщину. Он сажает ее между ожидающими осмотра и на цыпочках, тихонечко, гремя сапогами на всю лечебницу, выбирается.

– Тетка, кто тебя привез?

У тетки голова валится то на ту, то на другую сторону.

– Родимый, сделай милость... ребятишки... семья... измаялась... век буду бога молить... болезный мой...

– Господа, да ведь оставили ее!..

Врачи, фельдшер, сестры, служители схватываются и несутся, как буря, на улицу.

– Стой!.. стой!.. Что тебе говорят, воротись!..

Но казак знает, в чем дело, прыгает в повозку, собирает вожжи, неистово хлещет коня и орет благим матом:

– Выручай, гнедой, выручай-ай!..

Гнедой мерин подбирает все четыре ноги и с места несется в карьер, гремя и кидая по-

возку и кланяющегося в ней от толчков, хлещущего коня казака. Летят ребяташки, заливаются собаки, верещат полицейские свистки.

– Стой!.. стой!.. лови!.. держи!..

Куда! Только пыль за городом в степи курится далеко.

Ворочаются все назад и, растерянные, в отчаянии стоят перед больной, у которой бесильно мотается голова.

– Что с ней делать?

Заведующий запускает пальцы и таскает себя за волосы.

Дело в том, что лечебница располагает определенным помещением, определенным инвентарем, служебным и врачебным персоналом и расширять прием больных сверх нормы может только в известных, ограниченных пределах. И если, скажем, имеется норма в двадцать кроватей, могут принять сверх, не в счет, еще пять-шесть, ну, десять больных.

Но когда сверх нормы является тридцать, сорок, пятьдесят, восемьдесят человек, становится физически невозможно устраивать больных. Их кладут в коридорах, кладут иной

раз на полу. Но не хватает уже и коридоров, не хватает белья, еды, посуды, не хватает врачебного и служебного персонала.

Врачи в отчаянии. Но и население в отчаянии: шестидесятитысячный город не имеет своей больницы. Больше того: в большом областном городе нет вообще ни одной женской больницы, за исключением маленькой лечебницы общества врачей. Женщина заболевает, ей решительно некуда голову приклонить. Больше того, как это ни поразительно: во всей области, занимающей пространство, не меньшее многих западноевропейских государств, с свыше чем двухмиллионным населением, нет ни одной женской больницы. (Последнее время шли разговоры об устройстве женской больницы в одной из станиц, но разговоры...)

Не удивительно, что население не только города, но и всей области заваливает больными женщинами лечебницу общества врачей, которые просто приходят в отчаяние.

И нужно знать ужасающее распространение женских болезней, чтобы понять всю безвыходность положения, в которое поставлено

население.

В городе – никакого санитарного надзора. Нельзя же в самом деле считать за санитарный надзор бумажно-чиновничьи реляции: «Все обстоит благополучно». И странно, как при таких условиях смиренный обыватель Новочеркаска не вымирает поголовно.

Объяснение этого – в топографических и климатических условиях местности.

Как и везде в юго-восточной России, здесь господствуют ветры, упорные, жгучие, сухие. Само собою, ни о какой очистке города, улиц, дворов нет и речи (конечно, не принимая во внимание бумажные реляции), и все отбросы задушили бы жителей. Но на выручку являются благодатные ветры. Все иссушают, все обращают в мелкую пыль и разносят по лицу земли.

Город стоит на горе, и в дождливый период дожди смывают всю грязь в гнилой Тузлов и Аксай: так благодаря дождям и ветрам существует еще на свете новочеркасский обыватель.

Но там, где нельзя полагаться на атмосфе-

рические явления, там, где человек сам должен проявить инициативу, энергию и силу сопротивления, там дело обстоит совсем иначе. Город со стороны заливаемого весной луга опоясан железнодорожной дамбой. От весеннего разлива между дамбой и городом остаются громадные лужи. Вода загнивает, получаются зеленые гнилые болота, великолепные рассадники всевозможных инфекций. И малярию, царящую по окраинам, да и в городе, по злокачественности врачи сравнивают только с кавказской. Бороться с этим искусственным рассадником злой и страшно истощающей население болезни очень нетрудно, но до сих пор чиновники, в руках которых город, палец о палец не ударили в этом направлении.

Это все – для грешного тела. Теперь посмотрим, что делается для смиренной души новочеркасского обывателя.

Школ по сравнению с населением – ничтожное количество, безграмотность царит, невежество – повальное и не только среди низших слоев. Загляните вы в так называе-

мый beau monde[7]. Боже мой, что это такое! О вспомогательных внешкольных образовательных учреждениях и помину нет. Повторяю, я говорю только о том, что делает для города его чиновничье управление. О том же, что делает сам обыватель, в сфере народного просвещения – до другого раза.

Но кто же тот таинственный незнакомец, который так благотворно правит судьбами шестидесятитысячного города? Это так называемый городской комитет, чисто бюрократическое учреждение, состоящее из нескольких чиновников. Действительно, учреждение в высшей степени таинственное. О существовании его мало кто и знает, ибо все, что там делается, делается под великим спудом.

Таинственно и сумрачно, с великой печатью на устах сходятся старцы и за семью канцелярскими дверями решают судьбы города, то есть пишут горы бумаг. Что они там делают, о чем шепчутся, что пишут, никто ничего не знает. Пробовали было газеты просить разрешения брать из текущих дел комитета хронике, как это делается во всех городах, где введено городское самоуправление, так куда!

На выстрел не подпускают...

Основной принцип всякого бюрократического учреждения – таинственность и невозможность общественного контроля и критики. Кому, в самом деле, охота раскрывать свою бездарность, косность, невежество, неумелость? Не смеют отметить, что на мостовой камни выворочены, что фонари плохо горят или их совсем нет, что население без воды сидит. Разрешается только говорить о погоде в г. Новочеркасске да о театре.

И обыватель, совершенно оттертый и отрезанный от всякой общественной деятельности, затих, обезличился и стал просто наивен детской душой.

И если придется, читатель, проезжать вам по необозримым донским степям мимо города, стоящего на горе, взгляните и вспомните, что это – мертвый город, похороненный бюрократическим режимом.

Комментарии

В настоящий том вошли произведения А. С. Серафимовича 1902–1906 годов. До середины 1902 года писатель жил в провинции и печатался по преимуществу в провинциальных газетах.

Серафимович уже давно стремился уехать из Новочеркаска в Петербург или Москву. Но при этом нужно было обеспечить себе постоянный литературный заработок. 13 января 1902 года он получил от Л. Андреева приглашение работать в московской газете «Курьер».

Л. Андреев писал ему: «Милостивый государь! В „Курьере“ подбирается хорошая компания беллетристов, и мне, как заведующему этим отделом и ценящему Ваш талант, очень хотелось бы привлечь Вас как сотрудника. Плата 7 к. строка. Если Вы согласны, будьте любезны уведомьте. С искренним уважением Леонид Андреев».

С переездом в Москву в августе 1902 года расширяются литературные связи Серафимовича, он входит в круг московских литерато-

ров, становится активным участником литературного объединения «Среда». Это объединение, которому суждено было сыграть заметную роль в истории русской литературы, было создано в 1899 году и объединило группу писателей реалистического направления.

Напряженная работа в «Курьере», для которого Серафимовичу приходилось писать заметки, фельетоны почти каждый день, продолжалась до июля 1903 года.

Одновременно писатель поддерживает связь с петербургским «Журналом для всех», где печатает ряд своих рассказов. Вынужденный по семейным обстоятельствам в июне 1904 года уехать из Москвы на юг, он более года сотрудничает в журнале «Южные записки», выходящем в Одессе.

Но главным местом публикации произведений Серафимовича с 1903 года становится издательство товарищества «Знание», во главе которого к этому времени стоял А. М. Горький.

Произведения Серафимовича были известны Горькому еще до того, как произошло личное знакомство двух писателей. Когда в 1901

году у Н. Д. Телешова явилась мысль издать сборник рассказов для самого широкого круга читателей, Горький отнесся сочувственно как к самой идее сборника, так и к намерению Телешова сделать «определенный подбор авторов» и назвал Серафимовича в качестве весьма желательного участника сборника.

В 1902 году состоялось знакомство Серафимовича с А. М. Горьким. Издательство «Знание» стало готовить первый том «Рассказов» А. С. Серафимовича, редактором которого был Горький. Вслед за первым вышло еще два тома «Рассказов» (1907 и 1908), в которые вошли все наиболее значительные произведения писателя.

В 1903 году то же издательство задумало выпускать серию литературных сборников из произведений демократических писателей, и Горький привлек Серафимовича к участию в них.

В первом же сборнике (СПб. 1904) наряду с произведениями Н. Телешова, В. Вересаева, И. Бунина, С. Гусева-Оренбургского, рядом с поэмой М. Горького «Человек» появился рассказ Серафимовича «В пути». В литературных

сборниках «Знания» Серафимович печатался до 1908 года. Не отказываясь от публикации своих произведений в журналах и газетах, он, однако, по собственному его признанию, лучшее из написанного им отдавал в эти сборники.

Вместе с тем издательство пропагандировало рассказы Серафимовича, выпуская некоторые из них отдельными дешевыми изданиями.

Тесная связь с горьковским «Знанием» имела большое значение для творчества Серафимовича. В эпоху, когда долгом каждого писателя было служение делу революции, Серафимович обрел в лице Горького умного, требовательного и дружественного критика, который умел видеть все ценное в рассказах молодого автора и в то же время настоятельно добивался от него более совершенного в художественном отношении воплощения темы. Об этом свидетельствуют письма Горького Серафимовичу с отзывами о рассказах «Среди ночи», «Мать», «Погром», «Похоронный марш» и ответные письма Серафимовича с согласием переработать рассказы по со-

ветам Горького.

Вспоминая позднее этот период своей жизни, Серафимович писал о Горьком: «Он всех нас сумел объединить вокруг революции, зажечь ее пламенем, заставить ей служить. До него тоже звучали в литературе революционные мотивы, но они звучали разрозненно, а он создал могучий, стройный объединенный писательский хор» («Воспоминания о Горьком»). С полным основанием Серафимович заявлял, что Горький сыграл решающую роль в его писательской судьбе.

Выход в 1903 году первого тома «Рассказов» вызвал появление статей и рецензий на произведения, опубликованные в этом томе; в общих статьях и рецензиях, посвященных сборникам «Знания», также начинает фигурировать имя Серафимовича. Именно в предреволюционный период и в годы первой русской революции оценки произведений Серафимовича в критике стали отчетливо отражать острую идейную борьбу, характерную для литературного движения тех лет.

Суждения демократической критики о Серафимовиче в 1903–1907 годах были немно-

гочисленными, но в них правильно отмечались сильные стороны его творчества и высказывались надежды, что писатель обратится к непосредственному изображению революционных настроений эпохи. Именно так ставил вопрос А. Богданович в «Критических заметках», в журнале «Мир божий», 1903, № 4. Спустя четыре года критик Б. Львов в статье «Из жизни и литературы» (журнал «Образование», 1907, № 2) отмечал уже, что сборники «Знания» и рассказы Серафимовича, напечатанные в них, ярко отражают рост революционных настроений народа. «Рассказы Серафимовича „В пути“ и Гусева-Оренбургского „В приходе“... – писал он, – говорят, что гроза собирается, надо ждать бури». «В семье» («Погром»), «Похоронный марш», «Среди ночи», «На Пресне» являются для критика свидетельством стремлений писателя поспевать за событиями революционной борьбы народа и даже опережать движение масс.

В противовес критике демократического лагеря, которая всегда ценила суровый реализм Серафимовича, либерально-буржуазная критика считала взгляд писателя на жизнь

слишком мрачным и пыталась поставить под сомнение правдивость его рассказов. По поводу рассказа «Заяц», например, рецензент «Вестника Европы» (см. «Литературное обозрение» за подписью Евг. Л., «Вестник Европы», 1905, № 6), писал: «Опять, как видят читатели, трагический „случай“, но и только: сердобольные люди побранят жестокого капитана и пожалеют всех Антипов, у которых нет денег на покупку билета для поездки на родину, но едва ли не признают, что обстановка „случая“ слишком уж исключительна и мало-правдоподобна».

Но особенным нападкам произведения Серафимовича подверглись со стороны декадентской критики. Поход декадентских журналов «Новый путь» и «Весы» в 1904 и 1905 годах против Горького определил собой оценки этими журналами и Серафимовича, который был сразу отнесен к горьковской «плеяде». А то, что революционную проповедь Горького поддерживает своим творчеством его «плеяда», вызывало особую тревогу декадентской критики. С декадентскими журналами солидаризировался реакционный «Русский вест-

ник». Критик Стечъкин откровенно ужасался тому, что доступный всем и каждому сборник «Знания», где «революционное воззвание, преступная прокламация налицо» (речь идет о поэме «Человек»! публикует произведения, «споспешествующие целям М. Горького» («Русский вестник», 1904, № 6, стр. 778).

Связь Серафимовича с горьковским лагерем литературы была воспринята как проявление его писательской несостоятельности.

«Весы» и «Новый путь» не жалели красок, чтобы доказать, как «малосамостоятельны», «шаблонны» рассказы Серафимовича. Делались попытки вывести их вообще за пределы искусства. При этом «шаблонность», «одноцветность», «однокронность» рассказов писателей-«знаньевцев» рассматривались как прямое следствие их тенденциозности, их внимания к социальным проблемам, как прямой результат того, что Серафимовичу и другим «знаньевцам» «чужды задачи художественные, и литература для них является лишь средством для достижения целей, не имеющих ничего общего с искусством» («Весы», 1908, № 4, стр. 49). Выдвигая на первый

план заботу о художественном уровне литературы, критики декадентских журналов по существу были далеки от того, чтобы действительно оценивать художественное мастерство «знаньевцев». Не заботой об искусстве, а страхом перед революционизирующим воздействием сборников «Знания» на общественное сознание была продиктована рецензия И. Смирнова, который писал: «Принимая в расчет, что „Сборники Знания“ расходятся в громадном количестве экземпляров, надо признать, что они развращают и принижают литературный вкус читателей. Все любящие русскую литературу и русскую речь должны бы бороться с влиянием этих сборников» («Весы», 1905, № 4, стр. 50). В том же духе высказывался другой критик тремя годами позднее: «Средний русский интеллигент еще находится под гипнозом т-ва „Знание“, и в традиционном зеленом мундире, все равно что в фуражке с кокардой, наводящей страх на стационарных смотрителей, беспрепятственно проедешь по всей России. На вязаной скатерти в любой провинциальной гостиной вы никогда не увидите ни Валерия Брюсова,

ни А. Белого, ни Кузьмина, но хотя одного из наших зеленых знакомцев – Гусева-Оренбургского, Серафимовича или Телешова – непременно» («Весы», 1908, № 3, стр. 93). Подобные горькие признания подтверждали широкую популярность сборников «Знания» и их большое общественное значение.

Рассказы 1902–1904 годов, вошедшие в настоящий том, еще тесно связаны с предшествующим, донским, периодом жизни писателя и по материалу и по основным идеям. Донские неоглядные степи, приморский капиталистический город являются здесь ареной страшных человеческих драм, обусловленных уродствами собственнического мира. Повествуя о них, писатель остается верен суровой правде жизни. Вместе с тем, он оттачивает свое мастерство, умело создает острейшие коллизии, захватывающие своим драматизмом, обладающие глубоким смыслом и большой силой эмоционального воздействия.

Рассказы 1905–1906 годов, также вошедшие в настоящий том, положили начало новому этапу в творческом пути писателя. Написанные в период первой русской революции, они

несут в себе новые темы, новые образы, рожденные героической эпохой первых вооруженных столкновений народа с самодержавием. Являясь достоверными документами эпохи, созданными вдумчивым и наблюдательным современником, они обладают качествами настоящего искусства. Все средства художественной изобразительности Серафимович подчиняет в них глубокому раскрытию сущности первой русской революции, понятой и осмысленной с пролетарских позиций. Яркие и оригинальные страницы литературного наследия Серафимовича, его рассказы о 1905 годе обогатили русскую литературу и обозначили собой важную веху на путях подъема ранней пролетарской художественной прозы.

Степные люди*

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1902, № 3, стр. 259–278. Тему Серафимовичу дала его мать. «...Она еще молодой жила в степи, – вспоминал писатель позднее, – ей там и рассказывали про этот случай. Она так ярко его передала, что я тут же сел и стал писать»

(«Высказывания автора» – А. С. Серафимович, Собр. соч., М. 1947, т. II, стр. 428)[8].

В архиве писателя сохранился отрывок из чернового варианта рассказа. Он сюжетно слабо связан с известным текстом, но представляет большой интерес, так как дополняет картину быта и нравов казачьей среды яркими подробностями, характеризующими станичное правление и казачьего атамана.

Вот текст этого отрывка:

«Сначала Иван часто попрекал жену, но мало-помалу обида и горечь сгладились. Трудовая жизнь, бедность, заботы брали свое.

Настала осень. Иван был выбран доверенным от десяти дворов на станичный сбор. В воскресенье, когда обыкновенно назначался сбор, Иван надевал свой новый потитук – род жакета на вате из серого черкесина, густо смазывал волосы коровьим маслом и шел в станичное правление. В сборном зале правления на простых белых скамьях сидели молодые и старые, безусые и бородатые казаки в потитуках, в теплушках, тулупах, мундирах и просто в жилетах с потными, лоснящимися, распаренными красными лицами. Сквозь

грязные, закопченные, во многих местах заклеенные бумагой окна слабо пробивался дневной свет. Ослизлые черные стены местами светились щелями, и с потолка густой бахромой свешивалась паутина. Впереди, за покрытым красным сукном столом, сидел председательствовавший на сборе атаман в мундире с булавой. Это был отставной офицер из старых, усвоивший себе и манеры и говор казаков. У атамана было миллион всякого начальства от высшего до низшего, которое засыпало его „предписаниями“, „приказаниями“, „распоряжениями“ строжайше, неукоснительно, неусыпно, немедленно донести, разъяснить, исполнить; и миллион всяких дел гражданских, военных, благотворительных: об искоренении пьянства в народе, о поднятии его экономического благосостояния, об исследовании происхождения, образа жизни и нравов поедающих хлеб червячков, и бесчисленное множество других, которые, чтоб закончить вовремя и к сроку, нужно было делать по сорок восемь часов в сутки, а так как у атамана в распоряжении было только по двадцать четыре часа, да и то неполных за

вычетом на сон, еду и другие надобности, то масса дел была запущена и ему день и ночь приходилось отписываться, изворачиваться, постоянно чувствовать себя, свою службу, карьеру на ниточке. Чтоб не терять времени, обеспечить и вознаградить себя, атаман воровал направо и налево, каждую минуту ожидая попасть под суд, в тюрьму, в ссылку или в лучшем случае быть прогнанным со службы или подвергнуться дисциплинарному взысканию. Казаки это знали, но воровство атамана они считали нормальным и неизбежным. Кого бы они ни выбрали, все равно тот поступал бы так же. Утомленный делами, атаман позволял себе иногда отдых и развлечения. Так, на престольный день он три дня поил казаков станицы и съехавшихся с соседних хуторов, конечно на станичные суммы, которые потом расписывались по разным статьям расхода. Станица в эти три дня казалась пораженной чумой: на улицах, под плетнями, на ступенях правления, во дворах валялись груды тел. На третий день атаман потребовал две тройки почтовых лошадей для поездки по казенной надобности, В нагруженные водкой,

вином, закусками повозки уселись атаман с супругой, два его помощника, писарь и брандмейстер. Выехали на луг. Атаманша на берегу реки стала готовить закуски, а атаман с приятелями разделились на две партии, взяли две лодки, выплыли на середину реки, дали примерное морское сражение. Атаманша стояла на берегу и аплодировала. Но в разгар боя брандмейстер, с которым случилась морская болезнь, перевесившись через борт, как мешок, свалился в воду. И неприятели и „свои“ стали хватать его за волосы, за уши, за бороду, но он выскальзы<вал> из рук, как мокрый угорь. И если б не прибежавшие на крик с луга казаки, пир кончился бы бедою.

Государственный человек позволял себе развлечения лишь во время необходимого отдыха. На сборе же он председательствовал с достоинством и важно.

– Господа старики, как постановите: отдавать подряд Шульгину али нет?

– С богом...

– В добрый час...

– Ня нада... Ня нада!..

– Потому мошенник и сукии сын..., ня на-

да!..» (ЦГАЛИ, фонд № 457, оп. 1, ед. хр. № 45, л. 11–12?).

При включении рассказа в первый том «Рассказов», изд. «Знание», СПб. 1903, текст подвергся переработке. Начало журнального текста было отнесено в третью главу окончательного текста. В последующих изданиях печатался «знаньевский» текст.

В хурул ездила. – Хурул – калмыцкий храм.

Епишка*

Впервые напечатано под заглавием «О том, как Епишка встречал светлое Христово воскресение» в газете «Курьер», 1902, 14 апреля, № 103. Это первое произведение Серафимовича, напечатанное в «Курьере».

Заглавие «Епишка» дано было рассказу при включении во второй том «Рассказов», изданных «Знанием». В предпоследнем абзаце конец фразы со слов «...но ведь есть же где-то большая правда для трудового народа...» (стр. 36) написан при включении рассказа в одиннадцатый том Полного собрания сочинений в 1933 году. В газетном и «знаньевском» тексте было: «...но уже, быть может, творится

великая правда, творится страшная своей молчаливой силой, вопреки всему, что думают и к чему привыкли люди, незримо и независимо от людей, творится, быть может, в нем, в Епишке, и он только не замечает».

По поводу этого рассказа писатель сообщает:

«К бедному ремесленному люду я стал внимательно присматриваться еще на Дону, в станице Усть-Медведицкой (теперь город Серафимович), когда учился там в гимназии...

Ремесленники составляли заметную часть населения старой России. Особенно много жило их в городах и крупных поселках. В подавляющем большинстве ремесленники были заядлыми индивидуалистами, мелкими, крохотными хозяйчиками. Своих заказчиков – крупные магазины – они ненавидели, потому что те их эксплуатировали; но одновременно они не мыслили иной системы государственного управления, кроме капиталистической. Каждый в тайниках души сам мечтал стать крупным хозяином и начать эксплуатировать других... Большинство ремесленников, однако, жило в большой бедности,

работая без отдыха и срока, часто по праздникам» (т. II, стр. 427–428)..

Жара и грузчики*

Впервые напечатано под заглавием «На набережной» с подзаголовком «Отрывок» в газете «Курьер», 1902, 23 мая, № 141.

В газетном тексте была заключительная сцена, в которой описывалось, как, воспользовавшись тем, что в порт пришло полтораста человек из деревни в поисках работы, приказчик на следующий день не только нанимает грузчиков за грошовую плату, но и за прошедший день рассчитывается «по шесть гривен с пятаком», а не по рубль пятьдесят, как должен был заплатить по уговору. В тексте третьего тома «Рассказов», вышедших в «Знании» в 1908 году, эта сцена была снята.

В «Высказываниях автора» Серафимович писал:

«В этом рассказе рисуется жизнь ростовского порта. Грузчики не только работали, но и жили на набережной. Впрочем, на юге летние ночи сухие и теплые. Грузчики после работы тут же, у сложенных бунтов хлеба,

устраивались по-домашнему, тут же ели и пили, тут же спали, тут же развлекались, как могли. У реки устраивались базары. Из окрестных станиц и хуторов привозили печеный хлеб, жареное и пареное, фрукты, арбузы, виноград. Тут же торговали водкой. Грузчики не составляли спаянного коллектива. Состав грузчиков был текучий, комплектовался он из разных общественных прослоек, начиная с крестьян и мещан и кончая „босяками“ – бывшими людьми – дворянами, выходцами из интеллигенции и чиновничества.

В общем, грузчики были народ беспокойный. Они не прочь были поднажать на работодателей всеми способами, вплоть до стачки и забастовки. Однако сознательности в их действиях было мало. Их выступления неизменно носили анархо-бунтарский характер» (т. II, стр. 429).

Заглавие «Жара и грузчики» рассказу дано в Полном собрании сочинений, 1933, т. XI.

Преступление*

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1902, № 9, стр. 1035–1052 и № 10, стр. 1157–1174.

Из воспоминаний Серафимовича известно, что в основу рассказа положены реальные впечатления его кратковременной службы в 1901 году в Донском областном правлении, которое было административным центром Донской области.

Глава IV представляет собой ранее напечатанный рассказ «Все по-прежнему» («Донская речь», 1902, 1 января, № 1, подзаголовок «Новогодний рассказ»).

Случай*

Впервые напечатано под заглавием «Неправда жизни» в «Журнале для всех», 1902, № 12, стр. 1467–1476. Заглавие «Случай» дано при включении во второй том «Рассказов», изданных «Знанием».

Серафимович позднее вспоминал: «Рассказ „Случай“ написан по материалу наблюдений, которые я делал в среде студенток высших женских курсов в Петербурге. Среди них я встречал честных девушек, искренно стремившихся к свету знания, искренно желавших отдать свои силы служению обществу. Но непреодолимо сковывали пути мелкой

буржуазии, из которой они вышли. Я встречал таких, которые никак не могли увязать „концы“ с концами. Судьба их была трагична.

Тип дочери – сборный. Мне казалось, что обличение мещанского „гнёздышества“ лучше дойдет и будет более убедительно, если действие будет развернуто в среде не худших, а лучших представителей буржуазии. Даже природа более чуткого буржуазного человека не могла мириться с таким семейным эгоизмом: дочь всеми фибрами начинает ненавидеть свою мать за ее алчную, хищную любовь к ней, помешавшую ей спасти любимого доктора и устроить свою жизнь так, как ей нравится.

Проблема не из первостепенных и глубинных. Ну, ненавидит дочь мать, – какие потрясения от сего произойти могут? Однако колорит эпохи дан. Чувствуется все-таки, чем тогда люди жили, какими миазмами дышали: только бы себе получше, поудобней да побогаче устроиться, а на все остальное наплевать в высокой степени. И это вошло в плоть и кровь общества, стало двигающим для самых благонамеренных и добропорядочных стару-

шек, – неписанный закон» (т. III, стр. 375–376).

В снегу*

Впервые – газ. «Курьер», 1902, 25 декабря.

В бурю*

Напечатано в первом томе «Рассказов», изданных «Знанием» в 1903 году. Неизвестно, было ли это первой публикацией. В том же 1903 году рассказ вышел отдельным изданием в дешевой серии товарищества «Донская речь», № 45 (Ростов-на-Дону, дозволено цензурой 16 мая 1903 года). Текст этого издания значительно отличается от «знаньевского», и, хотя он вышел позднее, представляет, по-видимому, более ранний вариант рассказа, подвергнутый в «знаньевском» издании значительным исправлениям и сокращениям. В основу последующих изданий рассказа лег «знаньевский» текст, только часть II главы со слов «Дед воодушевляется и, подняв еще выше брови...» до слов «И лохматые брови деда...» (стр. 122–123) была перенесена из ростовского издания в т. VIII Полного собрания сочинений, 1933.

В рассказе отразились мариупольские впечатления писателя, относящиеся к середине 90-х годов.

Вспоминая о своем общении в эти годы с азовскими рыбаками, Серафимович писал: «Мне пришлось в Ейске мельком слышать про рыбака, который оставил у себя на воспитание ребенка от прохожей женщины, поступившей к нему ночью в избу и вскоре умершей. Образ „морского волка“ – деда – собирательный. „Философия“ его не сочинена. Рыбаки настойчиво убеждали меня, что рыба „не глупей людей соображает“ и что „она все понимает“» (т. II, стр. 432).

Некогда*

Впервые напечатано в газете «Курьер», 1903, 27 февраля, № 1, с подзаголовком «Набросок».

По признанию писателя, в рассказе отразились впечатления студенческих лет. «В студенческие годы я жил в большой нужде, так как войсковая стипендия плохо кормила; приходилось бегать по грошовым урокам часто на далекие, окраинные улицы Петербур-

га. Занятие это, отнимавшее много сил и энергии, не только не давало удовлетворения, но и порождало иногда настроения, близкие к отчаянию. В рассказе „Некогда“ я описываю урок, который давал в замкнутом, полутаинственном доме богомольного старовера, скряги-купца... Другой урок я давал в квартире новочеркасской женщины-врача. Она хотела, чтобы сын ее непременно учился на круглые пятерки. И когда сын приносил пятерку с минусом, мать закатывала истерику. В конце концов она меня прогнала» (т. II, стр. 431).

В архиве писателя частично сохранился газетный текст рассказа с авторской правкой, относящейся к дореволюционному периоду. Правка носит стилистический характер. Писатель стремится освободить фразу от лишних слов, ищет более точный и выразительный образ. Например, фраза «Дождь все так же косо мелькал, и на мокрой, залитой мостовой вскакивали пузыри...» (стр. 132) после правки стала звучать так: «Дождь все так же косо мелькал в свете фонаря, и на мокрой, поблескивающей мостовой вскакивали пузыри...» и т. д.

При включении рассказа в собрание сочинений (Полн. собр. соч., М.-Л. 1930, т. XII) эта правка не была учтена: вероятно, за давностью времени писатель забыл о ней.

На берегу*

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1903, № 4, стр. 399–412. По свидетельству автора, для сюжета рассказа он взял факт из действительной жизни. «Случай произошел в городе Керчи на Азовском море. Действительно, пропала девочка и ее приютили грузчики, и, действительно, мать-буржуйка плюнула в лицо приютившему ее дочку грузчику татарину за то, что девочка научилась в порту разным скверным ругательствам. Я прибавил сюда лишь свои ростовские наблюдения над грузчиками» (т. II, стр. 433].

Лихорадка*

Впервые напечатано в журнале «Русское богатство», 1903, № 7, стр. 170–178. Сам автор по памяти сообщает, что рассказ был написан во время пребывания его в Петербурге в 1902 году. «Я приехал тогда в Петербург „выбивать-

ся“: имени у меня еще не было. Поселился я в номерах на Невском. Деньги скоро иссякли, сидел голодный. Приходил ежедневно номерной, приносил счет, а платить было нечем. Я сидел за столом, как идол, и писал рассказ „Лихорадка“. Думал: „Примут – выбьюсь, откажут – деваться некуда“... Закончил рассказ, отнес в редакцию „Русского богатства“. Провел мучительных пять дней в ожидании решения своей участи. Голодал, почти не выходил из номера. Била лихорадка, нервы были взвинчены. Встретили меня в „Русском богатстве“ Якубович, затем Короленко ласково, рукопись одобрили, дали рублей сорок авансом» (т. II, стр. 431–432?).

Однако, по-видимому, память изменила писателю, и он отнес к «Лихорадке» обстоятельства, сопровождавшие написание другого рассказа. Серафимович действительно приезжал в Петербург 31 декабря 1902 года, но в то время он имел постоянную работу в московском «Курьере» и у него уже было имя. «Выбиваться» он приезжал в Петербург в 1898 году, когда «Донская речь», где он сотрудничал, была закрыта на восемь месяцев и он

остался без работы. В Петербурге он находился с 25 ноября до 18 декабря, и встреча с Короленко, о которой вспоминает Серафимович, была возможна, так как, отсутствуя в конце ноября, Короленко в декабре вернулся в Петербург. Но тогда в «Русское богатство» был отдан рассказ «На заводе», появившийся затем в майской книжке журнала за 1899 год.

Серафимович еще приезжал в Петербург осенью 1901 года, но в этот приезд работал над рассказами для газеты «Новости и биржевая газета» («Свои люди» и «Дорожное приключение»). Если предположить, что «Лихорадка» была отдана в «Русское богатство» в этот приезд, то, значит, она пролежала в редакции журнала более полутора лет, что маловероятно.

Скорее всего «Лихорадка» была отдана в журнал в последний приезд Серафимовича, 31 декабря 1902 года. В. Г. Короленко известил Серафимовича письмом от 9 марта 1903 года (ЦГАЛИ, фонд № 457, опись № 1, ед. хр. № 290] о принятии рассказа в «Русское богатство».

В пути*

Впервые напечатано в сборнике товарищества «Знание» за 1903 год, кн. 1, вышедшем в январе 1904 года, стр. 285–304.

Серафимович читал рассказ в кругу писателей, объединенных литературным обществом «Среда». А. М. Горький принял рассказ для напечатания в литературных сборниках, издаваемых «Знанием», и отредактировал его.

Автор вспоминал впоследствии о случае, послужившем поводом для написания рассказа: «Я на велосипеде ездил как-то из Новочеркасска степью. Меня подобрал на свою бричку проезжающий батрак. И все произошло почти так, как описано в рассказе. Моей жизни угрожала явная опасность, но, к счастью, я взял с собой револьвер. Когда возница свернул с дороги в сторону, я, вынув револьвер, крикнул: „Ты куда! Пстой!“ Вознице пришлось снова свернуть на тракт. Тут показались казачьи подводы. Я слез, заплатил, и тот уехал» (т. II, стр. 432).

Наденька*

Впервые напечатано в «Журнале для всех»,

1904, № 2, февраль, стр. 66–75.

Вечеринка*

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1904, № 4, апрель, стр. 202–204.

Обман*

Впервые напечатано в журнале «Южные записки», 1904, № 44, стр. 8-15. Рассказ написан во второй половине 1904 года, во время пребывания писателя на юге.

У костра*

Впервые напечатано в журнале «Южные записки», 1904, № 52, стр. 13–22.

Заяц*

Впервые – сб. товарищества «Знание» за 1904 год, кн. 5 (СПб., 1905).

Обед*

Первая публикация не установлена. В последнем прижизненном собрании сочинений рассказ отнесен к 1904 году. «Обед» (так же, как рассказы «Истинное происшествие», «Ин-

валид», очерк «Как создается газета», см. том 1, стр. 607 настоящего издания и рассказ «В редакции», см. том 3) связан с незавершенной повестью «Около газеты», над которой Серафимович работал в конце 90 – начале 1900-х годов.

Создавая рассказ об обеде сотрудников газеты «Облачный день», Серафимович имел в виду газету «Приазовский край», он писал о ней: «Эту газету издавали богатые капиталисты-фабриканты. Газета им нужна была для „влияния“ и для прикрытия разных темных дел и делишек... Газета вела, под вывеской прогрессивного общественно-политического органа, изворотливую мошенническую линию. Капиталисты цинично колпачили попавших к ним в кабалу идеалистов-газетчиков. Некоторые из них, впрочем, сами желали быть околпаченными, получая высокий гонорар» (т. II, стр. 435).

Сердце*

Впервые напечатано в журнале «Южные записки», 1905, 9 января, № 2, стр. 35–47 и 16 января, № 3, стр. 20–28.

Серафимович вспоминал позднее, что в образе героя рассказа отразились черты реального лица «Большой популярностью в стране до революции пользовались знаменитые адвокаты, хорошие ораторы, выступавшие на политических процессах. Я близко знал одного такого „громовержца“ – с него, с этой живой модели, я и списал образ своего героя. Жил этот адвокат в Новочеркасске, фамилия его была Криндач. Пользовался он известностью далеко за пределами края. Либеральничал, выступал в защиту политических. Кроме того, объединял интеллигенцию в нескольких филантропических обществах, устраивал народные чтения, на которых читались лекции о происхождении земли, о воде, о ее обитателях, о планетах, о вулканах, об океанах. Все это было бы неплохо, если бы это не предпринималось либералами с целью отвлечь рабочих от борьбы с самодержавием.

С политических Криндач не брал ничего. Вообще же зарабатывал много именно благодаря политическим процессам. Политические процессы давали ему имя и славу: о нем шумели в газетах. А параллельно выступал он

на громких гражданских процессах и громадные гонорары загребал» (т. III, стр. 372–373).

При включении рассказа в сборник «Рассказы о прошлом» (изд. «Советский писатель», М. 1937) текст был несколько изменен в сцене, изображающей богослужение (гл. VIII). Вместе с тем была включена новая фраза: «А в голову Егора Матвеевича неодолимо лезли воспоминания о клиентах, которые ему рассказывали, как этот дьякон бил священника во время службы в алтаре – не поделили сбор» (стр. 283). Часть VIII главы со слов «...помолимся господу...» (там же): до слов «Детские голоса...» в журнальном тексте читалась так: «...помолимся господу, – говорил над самым ухом такой же глухой, немножко хриплый, но слышный только Егору Матвеевичу голос.

– Господи поми-и-и-лу-й!..

– О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, господу помолимся, – снова и снова высылал прошения дьякон, казавшийся тучным и неповоротливым в широко расходившейся на нем парчовой ризе, каждый раз широко крестясь орарем, держа его двумя перстами.

И снова и снова слова дьякона, священника, хора, как только они прозвучали, сейчас же непреодолимо, вопреки усилиям, сами собой переключивались в обыкновенную речь и теряли свой таинственный, скрытый, глубокий смысл и были обыкновенны и открыты, как слова, которые произносят все и всегда».

Среди ночи*

Впервые напечатано в сборнике товарищества «Знание» за 1906 год, кн. 9 (СПб. 1906), стр. 233–252.

Рассказ был написан до сентября 1905 года. В письме к жене от 12 сентября 1905 года Се-рафимович сообщал, что ему через Л. Андреева стал известен положительный отзыв Горького о рассказе. А вскоре (до 22 сентября), Горький сам высказал автору свое мнение.

«Вы написали славную картинку, она, несомненно, произведет большое впечатление, и еще большее, если Вы несколько исправите ее.

Портной – слишком груб, он ослабляет рассказ, темнит ясное отношение автора к предмету. Исправьте его, это просто сделать – ука-

жите, подчеркните ярче его искренность, его муки – боль человека, который не находит старых слов для новых мыслей и не владеет новыми.

Есть кое-где небрежности, местами – излишняя грубость. И были бы очень уместны еще два-три лирических штриха в конце. Новый человек родился – это хорошо, и в этом много смысла» (М. Горький, Собр. соч., М. 1954, т. 28, стр. 387}.

Из ответного письма Серафимовича Горькому от 22 сентября 1905 года видно, что писатель принял замечания Горького и учел их при окончательной отделке рассказа для печати.

Рассказ «Среди ночи» подвергся преследованиям цензуры. 3 июля 1912 года начальник Енисейского губернского жандармского управления прислал девятуя книгу сборника товарищества «Знание» на рассмотрение Санкт-Петербургского комитета по делам печати, который в свою очередь в отношении, адресованном Санкт-Петербургской судебной палате от 11 сентября 1913 года, признал необходимым наложить арест на сборник с

рассказами «Среди ночи» и «Похоронный марш». При этом рассказ «Среди ночи» был охарактеризован следующими словами: «...Таким образом, резко противопоставляя... с одной стороны – сытых и веселящихся хозяев-капиталистов, эксплуатирующих „голодных пролетариев“ – рабочих, барина-дворянина, готового „сожрать“ мужика и „с землею“, и „попов“, которым „ничего не надоть“, только бы „хабаров набрать“, и с другой стороны – неимущих рабочих, которых так „жмут“ хозяйева, что из них „сок бегить“, и крестьян, вечно работающих, страдающих и только в могиле находящих „спокой“, Серафимович тем самым возбуждает вражду между хозяевами и рабочими, а также между сословиями – дворянским, духовным и крестьянским» («Красный архив», 1938, № 2 (87), стр. 186).

18 сентября 1913 года судебная палата утвердила постановление комитета по делам печати об аресте экземпляров девятой книги сборника товарищества «Знание», а 27 сентября того же года постановила страницы с рассказами «Среди ночи» и «Похоронный марш» «уничтожить вместе со стереотипами

и другими принадлежностями тиснения, заготовленными для их напечатания». 12 февраля 1914 года помощник Санкт-Петербургского градоначальника уведомлял Главное управление по делам печати, что «1 февраля сего года в типографии Санкт-Петербургского градоначальства, в комиссии, уничтожены, посредством разрывания на мелкие части, вырезки из арестованных экземпляров девятой книги сборника товарищества „Знание“ за 1906 год».

Во второй том «Рассказов» (изд. «Знание», СПб. 1907) рассказ вошел без существенных изменений. Однако при перепечатке его во втором томе «Рассказов», изданных «Шиповником» (СПб. 1912), по цензурным соображениям оказались сняты в III главе в фразах «Вставай, по-ды-ма-а-айся, ру-усский нарррод!» и «Вста-вай на вра-га, бра-ат го-ло-од-ный!» подчеркнутые слова. Сняты были слова «Пролетарии всех стра-ан, со-единяйтесь!» после фразы «Товарищи, кабы да отсюда да гаркнуть всему рабочему люду, да так, чтоб по всему миру слышать было!..» (стр. 301) и заменены словами «Подымайся, ребята, будя

спать...»

От этих цензурных искажений текст был освобожден только в последнем прижизненном издании (Собр. соч., М. 1947, т. III).

Серафимович говорил впоследствии о тех впечатлениях, которые послужили материалом для рассказа: «Уже с ранней весны 1905 года Москва забурлила. Рабочие устраивали в Сокольниках, в Богородске, в Петровском парке и других окрестностях так называемые „массовки“, на которых выступали партийные ораторы, призывавшие к революционному выступлению... Живя в густо населенном рабочими районе Пресни, я узнавал от своих соседей и от знакомых рабочих про ожесточенные споры о тактике, которые тогда велись на „массовках“. Рабочие передавали мне подробно и содержание некоторых речей как выступавших ораторов, так и рядовых рабочих. Эти рассказы рабочих послужили для меня прекрасным материалом и были мною максимально использованы... Я, однако, решил показать рабочую массовку не на московской окраине, а в обстановке более живописной. Болея туберкулезом, я в те годы ездил

летом в Крым и много ходил по горам южного берега Крыма. Сюда я и перенес московскую массовку...» (т. III, стр. 384–385).

Похоронный марш*

Впервые напечатано в сборнике товарищества «Знание» за 1906 год, кн. 9 (СПб. 1906);, стр. 253–261.

Рассказ был написан в декабре 1905 года и послан Горькому. Горький в письме Серафимовичу (декабрь 1905), отозвался о рассказе: «Славно написано, ярко и сильно» (М. Горький, Собр. соч., М. 1954, т. 28, стр. 402).

«Похоронный марш» вместе с рассказом «Среди ночи» послужил причиной ареста девятой книги сборника товарищества «Знание» (см. примечания к рассказу «Среди ночи», стр. 656 наст. тома). Мотивируя необходимость постановления об аресте сборника, Санкт-Петербургский комитет по делам печати писал о рассказе «Похоронный марш»: «...Серафимович, картинно описывая торжествующее шествие по городу многотысячной революционно настроенной толпы рабочих, с красными знаменами, щедро смоченными

кровью борцов, распеваящих похоронный марш революционеров – „Вы жертвою пали борьбы роковой“, и изображая случай отказа отряда солдат стрелять в эту бунтующую толпу, вкладывает в уста рабочего-оратора речь, дышащую глубокой ненавистью „рабов“-пролетариев к своим поработителям, и говорит: „нет им примирения...“ Сам автор с видимым сочувствием относится и к описанному революционному выступлению рабочих, и к бунтарским речам оратора: бледные лица певших „торжествующую песнь смерти, – по его словам, – светились вдохновенным призывом“, солдаты „радостно“ сливались с бунтующей толпой. При таких данных рассказ „Похоронный марш“ несомненно содержит в себе возбуждение к изменническим и бунтовщицким деяниям...» («Красный архив», 1938, № 2(87), стр. 185). Судебная палата постановила наложить арест на все экземпляры 9-й книги сборника товарищества «Знание», а страницы с рассказом уничтожить.

Серафимович указывал в «Высказываниях автора», что в основу рассказа положен реальный факт: «Описанный в „Похоронном

марше“ случай отказа казаков стрелять в рабочую демонстрацию действительно произошел в Москве, у Зоологического сада, недалеко от дома, в котором я проживал тогда с семьей.

Против демонстрантов выслали 1-й Донской полк, который и остановил движение демонстрантов. Но рабочие выслали к казакам „парламентеров“, и после недолгих переговоров казаки наотрез отказались стрелять в рабочих. Невзирая на приказание офицера, они не пожелали даже разгонять демонстрантов нагайками. В отдельных кучках казаки братались с рабочими. Я не приукрашивал, не преувеличивал факты. Наоборот, по цензурным условиям, мне приходилось подчас не разворачивать их во всей полноте, а ограничиваться поверхностным изложением» (т. III, стр. 378–379).

Во втором томе Сочинений, изданных «Шиповником» в 1912 году, по цензурным причинам текст «...над бесчисленными рядами, как тысячеголосое эхо, носилось: „— Да здравствует свобода!.. да здравствует рабочий народ!..“» (стр. 302) не имел подчеркну-

ТЫХ СЛОВ.

Во всех последующих изданиях цензурная купюра не восстанавливалась.

В настоящем издании рассказ печатается с восстановлением цензурной купюры.

На Пресне*

Впервые напечатано в сборнике товарищества «Знание» за 1906 год, кн. 10, стр. 137–164. Рассказ был написан непосредственно по горячим следам событий декабрьского вооруженного восстания в Москве. Серафимович опубликовал его с пометой: «Москва, 8-18 декабря 1905 года», указывающей на время основной работы над рассказом. Но автор завершал его уже в начале января 1906 года. В письме А. М. Горькому от 31 декабря 1905 года он сообщал: «Сейчас заканчиваю о московских событиях. Вышлю на днях». А 9 января 1906 года уже спрашивал его, получил ли он «На Пресне». Время завершения рассказа подтверждается и письмом Серафимовича жене от 5 января 1906 года: «Сегодня дописываю рассказ о московских событиях для „Знания“. Около двух листов выходит».

Серафимович рассказал в «Высказываниях автора» о тех наблюдениях и впечатлениях, которые послужили основой рассказа. «В нем даю много собственных переживаний в памятные декабрьские дни. Я жил тогда на Пресне, в Волковом переулке, возле Зоологического сада, второй дом от угла Пресни. Дом этот большой, шестиэтажный. Принадлежал он тогда иностранно-подданному – американцу. Это обстоятельство, между прочим, тогда было очень важно: иностранцев старались не тревожить, и поэтому наш „иностранный“ дом был на особом счету. Как только вставала серьезная угроза, управляющий докладывал, куда надо, и принимались соответствующие меры. Другие, например, дома, рядом с нами, поджигали, все дома вокруг нашего подожгли, а наш остался...

Я с двумя своими мальчиками и с няней жил в шестом этаже. Окно моей комнаты как раз выходило на каланчу Кудринской площади (теперь – площадь Восстания), а с этой каланчи городские зверски палили по темным окнам обывательских квартир. Устроили проклятые „соревнование“: кто больше... Подчи-

няясь дубасовским приказам, мы не зажигали огней, занавесили окна, чем могли, – одеялами, тюфяками, одеждой, – ничего не помогало: мерзавцы городовые целили и в темные окна. Пули летели по всем этажам. И все-таки и в такой обстановке я умудрялся записывать впечатления...

В очерке „На Пресне“ у меня описывается жуткая ночь после того, как пришли семеновцы и полковник Мин открыл канонаду по всем правилам войны с неприятелем. Один снаряд ударил в квартиру как раз под нами, в пятом этаже, и все разметал. Двое суток так били. Как на театре военных действий. Пришлось с детьми ползть в подвал, как у меня описано...

Основной задачей я ставил себе: запечатлеть хотя бы в беглых очерковых чертах жестокость усмирителей и хотя бы в скрытой, „косвенной“ форме показать „безумство храбрых“, мужество горстки бойцов, сражавшихся на Пресне.

В те мрачные дни, когда пушками беспощадно сметали „преступников“, никак нельзя было выражать открытое сочувствие прес-

ненским мятежникам. А очерк „На Пресне“ писался в самые дни восстания, когда кругом свистели пули и грохотали орудия.

Я хорошо видел слабость восставших, я понимал, что горсточка дружинников с их плохим вооружением не может противостоять царской артиллерии. Вот почему в очерке „На Пресне“ упор делается не на физическую военную силу, а на силу *моральную*, на несомненное моральное превосходство восставших над дубасовской полицией. Я старался показать, что восстание внушало темным силам реакции страх и трепет, как движение массовое. Пресня с первого дня и еще долго после последнего дня восстания черпала свою мощь в сочувствии широких рабочих масс.

К сожалению, я не мог использовать весь имевшийся у меня материал, иначе очерк „На Пресне“ не увидел бы света. Я не мог рассказать про многие случаи ревностной помощи восставшим со стороны населения Пресни» (т. III, стр. 382–383).

Дело Дубасова – дрянь... – Дубасов Ф. В. (1845–1912) генерал-адъютант, в 1905–1906 го-

дах московский генерал-губернатор, руководил подавлением декабрьского вооруженного восстания в Москве.

Погром*

Впервые напечатано под заглавием «В семье» в сборнике товарищества «Знание» за 1906 год, кн. 2, стр. 227–248.

Над рассказом Серафимович начал работать в сентябре 1905 года. В письме к жене от 23 сентября 1905 года он сообщал: «Пишу, надрываюсь сейчас рассказ, не знаю, что выйдет. Материал – погромное время, в Ялте, митинг». В первом варианте, который носил название «Письмо», рассказ был послан Горькому, и тот в ответном декабрьском письме Серафимовичу, отметив большую трагическую силу рассказа и считая его лучшим по глубине замысла из трех (имелись в виду еще «Мать» и «Похоронный марш»), предложил его доработать, в частности посоветовал вести повествование от автора (по-видимому, первоначально рассказ был написан в форме письма девочки).

Серафимович 31 декабря 1905 года писал

Горькому: «„Письмо“ переработаю и думаю, что из него выйдет вещь». А 9 января: «„Письмо“ пришлю на днях».

В конце 1906 года по материалу рассказа была написана пьеса «Разбитый дом».

Заглавие «Погром» рассказу было дано в Полном собрании сочинений, 1931, т. IV.

На мельнице*

Впервые напечатано в журнале «Современная жизнь», 1906, май, стр. 1-16.

Из писем Серафимовича к жене от 13, 15 и 26 января 1906 года видно, что рассказ был написан в январе 1906 года, в пору пребывания писателя в Москве, и первоначально назывался «Отцы и дети». В комментариях к Собранию сочинений, М. 1947, т. III, стр. 401 он ошибочно отождествлен с рассказом «Ожидание».

На основе рассказа в 1907 году была написана пьеса того же названия, оставшаяся при жизни писателя неопубликованной.

Рассказ нигде не перепечатывался и в собрание сочинений включается впервые. Печатается по журнальному тексту.

Мать*

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1906, № 6, стр. 119–124.

Начало работы над рассказом относится еще к концу 1905 года. Первый вариант был создан, по-видимому, еще до декабря 1905 года, так как в декабре его уже читал Горький и в письме Серафимовичу советовал его переработать: «Хочется видеть этот глубокий по смыслу рассказ написанным более просто... „Мать“ слишком риторична, – ведите этот рассказ более от себя, и он выйдет. Люди думают бессвязно и едва ли словами, больше образами. А она – словами думает» (М. Горький, Собр. соч., М. 1954, т. 28, стр. 402). В ответном письме от 31 декабря 1905 года Серафимович согласился с критикой Горького и с необходимостью коренным образом переработать рассказ, но, по-видимому, это ему не сразу удалось, так как работа растянулась до апреля 1906 года. В письме к жене от 5 мая 1906 года Серафимович сообщает, что сдал рассказ в «Русскую мысль».

В журнальном и «знаньевском» тексте по-

сле слов «Прислуга разбежалась, и это так и должно быть» (стр. 367), шла фраза: «Муж – во главе отряда боевой дружины, и это так и должно быть». Готовя текст для четвертого тома Полного собрания сочинений 1931 года, Серафимович снял эту фразу, существенно изменив, таким образом, психологическую ситуацию рассказа.

Пусто, черно, немо. – Далее выброшено царской цензурой. Восстановить не удалось.

Востроносый*

Впервые напечатано под заглавием «В бараке» в журнале «Русская мысль», 1906, № 6, стр. 125–130.

Рассказ был написан во время пребывания писателя в Ялте, в марте – апреле 1906 года.

В «Высказываниях автора» Серафимович писал: «В „Востроносом“ я хотел изобразить тип одного из многих в ту пору погромщиков-черносотенцев, входивших в организации „Союза русского народа“, „Михаила Архангела“ и пр. Зная наперед, что за избиение и истребление „жидов“, студентов и интеллигенции не будет никакого наказания, „востро-

носые“ чувствовали себя на улицах русских городов, как империалисты в завоеванных колониях...

Историю о выстреле сестры в больного погромщика рассказывал в кругу писателей Горький. Незамеченная, внимательно прослушала она исповедь насильника, подошла и выпалила в упор. Дело происходило в Западном крае после волны еврейских погромов. Время тогда было тревожное. Многие с револьверами ходили, и сестра тоже при себе имела оружие на случай нападения, потому что ей поздно ночью приходилось возвращаться с дежурства. Я эту тему разработал несколько иначе, чем Горький рассказывал. Прибавил свои собственные наблюдения над черносотенцами» (т. III, стр. 377).

До 1925 года во всех изданиях герой был не востроносый, а курносый. Рассказ получил заглавие «Востроносый» в Полном собрании сочинений, 1931, т. IV.

На площади*

Впервые напечатано в журнале «Новое слово», 1906, № 13–14, стр. 229–250.

Из письма Серафимовича к жене от 20 мая 1906 года видно, что рассказ был написан в Москве в мае 1906 года.

При включении в сборник рассказов А. Серафимовича «1905 год», М. 1935, в тексте были сделаны большие сокращения. Например, в журнальном тексте рабочий подробнее разъяснял мужику материальные выгоды, которые ему принесет свобода. Путем сокращений Серафимович освободил эти разъяснения рабочего от той наивности и прямолинейности, которая им была свойственна первоначально. В третий том последнего прижизненного собрания сочинений рассказ вошел в переработанном виде.

Астрономия*

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1906, 24 сентября, № 235, 29 сентября, № 239 и 30 сентября, № 240.

В пятой главе рассказа, повествующей о том, как Парфеныч говел (стр. 403–404), текстуально использована часть рассказа «Обман», где речь шла также о том, как говел портной Антипыч (стр. 214–215).

«Темой для рассказа, – вспоминал Серафимович, – послужил действительный случай, о котором тоже рассказал в Петербурге в кругу писателей Горький. Рассказал он о работавшем на магазин готового платья портном, который долго бился над мучительным вопросом, есть бог или нет бога, и наконец плюнул и решительно сказал: „Нет бога!“ ... Рассказанный Горьким случай с портным, который подозрительной трубой шарил по небу, ища там бога, меня заинтересовал, потому что случай этот показывал, как настойчиво рабочий класс искал до революции культуры и знания, – и я взялся за лепку Парфеныча, имея в своей писательской „кладовой“ долгие наблюдения над ремесленной средой» (т. III, стр. 381).

Текст рассказа подвергнулся цензурным искажениям. В Собрании сочинений 1916 года и последующих изданиях текст, начиная со слов «Да ведь что первое нужно рабочему человеку?..» (стр. 415), до слов: «Скинь мне двадцать годов!» (там же), отсутствовал и был снят конец рассказа после восклицания Парфеныча «поздно!» (там же). В последнем при-

жизненном издании (Собр. соч., М. 1947, т. III), цензурные купюры восстановлены, но в исправленном виде. На месте фразы «Это понять, что, пока царь, да фабриканты, да помещики, он – не свободный человек, а раб» в газетном тексте было: «Это – понять, что он во все не свободный человек, а раб». А на месте «И вот перво-наперво рабочему человеку спихнуть царя, сбросить помещиков да фабрикантов, то есть, значит... революцию!..» (там же) в газетном тексте было: «И вот нужно перво-наперво, чтобы раб это понял, а как увидит...» И в фразе «Ежели одна нам – революция...» (там же) в газетном тексте вместо слова «революция» было «эволюция».

Комментируя эти исправления, редактор последнего прижизненного издания Г. Нерадов отметил, что в 1906 году Серафимовичу по цензурным причинам приходилось подчас смягчать резкость выражений.

Белая Глина*

Впервые напечатано под заглавием «Присяга» в журнале «Новое слово», 1906, № 46–50, стр. 740–744.

В сборник «Рассказов» (т. IV, СПб. 1910) рассказ вошел под новым заглавием «В вагоне» с исправлениями, существенно меняющими характер отношений Федора и драгуна и, тем самым, смысл рассказа. В журнальном варианте дядя Федор и драгун действительно земляки, и рассказ Федора о расправе казаков с крестьянами не носит характера сознательной мести.

Заглавие «Белая Глина» дано рассказу в Полном собрании сочинений, 1931, т. IV.

Сережа*

Начиная с главы IX по XIV впервые напечатано под заглавием «Мальчики» в газете «Курьер», 1903, 10 июня, № 102 и 12 июня, № 104; главы I–VIII под заглавием «Из жизни Сережи (Отрывок)» впервые напечатаны в журнале «Русская мысль», 1904, кн. I, январь, стр. 133–158.

Объединение этих частей было сделано писателем во втором томе «Рассказов», изданных «Знанием» в 1907 году с сокращениями, касавшимися главным образом части, взятой из «Курьера».

В советских изданиях текст рассказа подвергся дальнейшим авторским сокращениям. Была снята IV глава «знаньевского» текста, повествующая о разговорах, которые ведут гимназисты во время перемены. В V главе (ставшей четвертой) опущен большой рассказ гимназического сторожа, донского казака Лактионыча, из времен его службы в Польше.

Последняя часть была впервые напечатана в газете «Русские ведомости», 1907, 14 января, № 10, также под заглавием «Сережа» и не вошла в состав рассказа, возможно, по случайным причинам, так как в прижизненных изданиях всегда указывалась в качестве составной части этого произведения.

По свидетельству автора, основа рассказа автобиографична: «В этом рассказе я рисую свои детские годы в гимназии, в станице Усть-Медведицкой – теперь город Серафимович, – где учился в период 1874–1883 гг... Я хотел бы, чтобы читатель почувствовал в рассказе „Сережа“ дыхание тогдашней реакционной эпохи, поставлявшей в изобилии таких маленьких неврастеников и меланхоликов,

как Сережа... Царская школа создавала художение, безвольные характеры и калечила в первую очередь детей обеспеченных слоев населения. Именно „дети улицы“ могли оздоровительно влиять на хиревшего в школьной и семейной клетке буржуазного мальчика» (т. IV, стр. 469).

Последняя часть рассказа (начиная с главы XV) печатается по газетному тексту, нумерация глав сделана редактором настоящего издания.

Заметки обо всем*

Фельетоны и очерки, входящие в этот цикл, печатались в газете «Курьер» в двух сериях, в серии «Заметок» и в серии «Обо всем» с 16 августа 1902 года до конца июля 1903 года. Серафимович заменил в газете Л. Андреева, который до этого вел в «Курьере» фельетоны-обозрения на современные темы.

Сам Серафимович охарактеризовал орган, в котором работал в те годы, следующими словами: «Газета была либерального, можно сказать – радикального направления... „Курьер“ очень не ладил с цензурой. Начальство

вообще к нему относилось с подозрением. Газета часто подвергалась административным взысканиям и штрафам и всегда находилась под страхом закрытия. Приходилось все время улаживать дела с цензурой. С ней постоянно была какая-нибудь возня, так как цензоры имели в отношении „Курьера“ особые инструкции...

Темы для очерков и фельетонов брались мною непосредственно из жизни. Рабочие темы проникали в „Курьер“ в общем довольно туго, но не печатать фельетонов на трудовые темы уже нельзя было, так как прогрессивная печать уже в 1902–1903 годах начинала осязать, что оттуда, снизу, надвигается лавина» (т. II, стр. 429–430).

Писатель всегда шел от конкретного материала текущей жизни, нередко при этом отталкиваясь от фактов, сообщенных петербургскими, московскими и провинциальными газетами. Рамки его наблюдений, таким образом, раздвигались до общероссийских масштабов; это давало возможность публицисту подчеркивать типичность фактов, подлежащих обсуждению, и использовать их для

характеристики существенных явлений русской действительности.

Круг тем фельетонов и очерков Серафимовича разнообразен, многие из них непосредственно связаны с его газетной публицистикой предшествующих лет («Приазовский край» и «Донская речь»). Публицист заглядывает в разные сферы жизни: промышленность, торговля, железная дорога, деятельность городской думы, благотворительных учреждений, область юрисдикции, культура, образование, газетный мир, воспитание детей, медицина и т. д. Но к освещению всех вопросов он подходит неизменно с позиций защиты интересов трудового народа. Это видно не только тогда, когда он непосредственно пишет, например, о тяжелых условиях труда рабочих, мелких служащих («Рабочие морильни», «Фабрика инвалидов» и др.). Идет ли речь о недостатке школ, об отсутствии ремесленных училищ, о средствах, отпускаемых на врачебную помощь, о положении в больницах, Серафимович всегда стремится прежде всего заставить читателя уяснить, как это отзывается на жизни рабочего люда.

Порой он затрагивает темы, примелькавшиеся в печати, но его точка зрения на жизнь позволяет подойти к обсуждению такой темы с новой стороны. В 900-х годах, например, тема взаимоотношений хозяев и прислуги оживленно обсуждалась в печати. На все лады буржуазная печать разрисовывала «злодейства» прислуги, этого «всеобщего бича». Серафимович не отрицает, что прислуга – молчаливый враг в доме своих хозяев, он сам приводит факты, подтверждающие даже возможность кровавых драм: нянька задушила пятилетнего ребенка. Но, сообщая подобные факты, писатель обращает внимание на условия, в которые поставлена прислуга, ищет в социальных отношениях объяснения озлобленности и враждебности прислуги. Серафимович заставляет читателя по-новому взглянуть на то, что примелькалось, стало обычным, он не пропускает даже незначительные, на первый взгляд, частные случаи, чтобы заставить читателя почувствовать фальшь представлений и оценок, привычных в буржуазном обществе.

Позиция последовательного защитника

интересов простых тружеников позволяет Серафимовичу более всесторонне и глубоко рассмотреть некоторые большие вопросы русской жизни, вскрыть причины, объясняющие невозможность их разрешения при данных условиях.

В фельетонах и очерках Серафимович высказывает иногда мысли о необходимости разных общественных начинаний на пользу рабочему люду. Но эти мысли часто окрашены иронией, ибо Серафимович не упускает случая, чтобы высказать сомнения в их действительной пользе. И он постоянно напоминает, что все учреждения в буржуазном обществе заинтересованы только в соблюдении интересов состоятельных классов, поэтому всегда найдутся лазейки, которые позволят обойти то или иное постановление, принятое, казалось бы, в интересах трудящихся. Там, где царствует «Золотой телец», не может быть иначе (см. «Золотой телец»).

Всем своим содержанием очерки и фельетоны Серафимовича направлены были против каких бы то ни было либеральных иллюзий. Мимо писателя не проходят незаметные

драмы, которые обычно тонут «в водовороте огромного города, как в мутной крутящейся реке». Из сценок, нарисованных в очерках «Добрый папаша», «Фокусники», «Малолетние бродяги» и др., встает широкая картина народной нищеты, мук и страданий, старая, известная, но в то же самое время вечно новая своей жестокой правдой. Эта картина выразительна и красноречива, но тон публицистики Серафимовича всегда прост и сдержан. Писатель никогда не позволяет себе пользоваться дешевыми приемами, чтобы потрясать воображение читающей публики. Это имеет для него принципиальное значение. Он беспощадно высмеивал «бойких» журналистов, которые, будучи уверены в том, что статьи «без золотых блесток лжи» читающая публика не примет, разукрашивают события подробностями, действующими на нервы, вызывающими ужас или содрогание («Бойкое перо»).

Чужда была ему и позиция наивных «институток» от журналистики; они способны удивляться, например, исключительному бессердечию и бездушию железнодорожных за-

правил, которые из-за соображений экономии не уничтожают рассадника туберкулезной заразы в помещении для служащих, превратив его в «Фабрику инвалидов», и забывать о том, что сотни тысяч людей работают в еще горших условиях. Уж если видеть в этой истории что-нибудь поразительное, замечает Серафимович, то не жестокосердие начальства, а поведение одного из пострадавших служащих, который за потерянную трудоспособность осмелился предъявить дороге иск на большую сумму.

В своих фельетонах Серафимович не устает разоблачать своекорыстие буржуазных публицистов. Он наносит сокрушительные удары по продажной буржуазной печати, которая является источником лжи, развращающей общество. Показательны его выступления против «Нового времени», «Русского листка» и других органов печати. Он выступает на защиту Горького, против которого в петербургских газетах был организован поход, в связи с представлениями пьесы «На дне». Он осмеивает вкусы буржуазной публики, которая готова либо по-обывательски, с насмеш-

кой истолковывать картину Репина «Какой простор», либо недоумевать перед загадочностью ее смысла, предпочитая не замечать веры художника в силы бесстрашной молодости.

Серафимович борется против всяких проявлений мракобесия, невежества, суеверия, которые порой благодаря буржуазной печати приобретают узаконенный характер, вливаясь в единый поток «общественной мути».

Безвозвратно отошел в прошлое мир, о котором писал в своих очерках и фельетонах Серафимович. Многие из того, что было важно и имело злободневный характер в пору работы публициста, теперь может показаться утратившим прежнее общественное значение. Но советский читатель сохранит благодарность к пролетарскому художнику, который в памяти будущих поколений навсегда запечатлел в живых, неповторимых подробностях картину России начала XX века.

Впервые очерки и фельетоны из «Курьера» Серафимович включил в собрание сочинений в 1930 году (Полн. собр. соч., 1930, т. II). Здесь обе серии, «Заметки» и «Обо всем», были объ-

единены под общим заглавием «Заметки. Обо всем». В следующем издании (Полн. собр. соч., 1931, т. II) заглавие приобрело окончательный вид «Заметки обо всем». Автор отобрал только то, что, на его взгляд, могло представлять интерес для современного читателя. С одобрения автора были даны заглавия отдельным фельетонам. В собрании сочинений фельетоны и очерки печатались, как правило, с большими сокращениями и незначительными исправлениями преимущественно стилистического характера.

Нет мест*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год, 21 августа, № 230.

Даровой труд*

Впервые опубликован: «Даровой труд» — «Курьер», 1902, 22 августа.

«Фараоны»*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: «Фараоны» 25 августа, № 234

Еще о даровых работниках*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Еще о даровых работниках 1 сентября, № 241

Война с прислугой*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Война с прислугой 8 сентября, № 248

Бадмаевы*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Бадмаевы 14 сентября, № 254.

Книга Вересаева показала... – Речь идет о книге В. В. Вересаева «Записки врача», вышедшей в 1901 году.

Женская доля*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Женская доля 15 сентября, № 255.

На конгрессе криминалистов... – IX Международный конгресс криминалистов состоялся 4–8 сентября 1902 года в Петербурге. Отчет о конгрессе печатался в «Курьере» с 5 по 8 сентября.

Студенты*

Впервые опубликован: «Студенты» – «Курьер», 1902, 17 сентября.

Жалобная книга*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Жалобная книга 21 сентября, № 261

Рабочие морильни*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Рабочие морильни 21 сентября, № 261

Собачья жизнь*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Собачья жизнь 20 октября, № 290.

Фабрика инвалидов*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Фабрика инвалидов 22 октября, № 292

Доверчивый читатель*

Впервые опубликован: «Доверчивый читатель» – «Курьер», 1902, 26 октября.

Брачные вагоны*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Брачные вагоны 12 ноября, № 313

Золотой телец*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Золотой телец 18 ноября, № 319

Слепая кишка*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Слепая кишка 19 ноября, № 320

Дети*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Дети 23 ноября, № 324

Скандал в благородном собрании*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Скандал в благородном собрании 27 ноября, № 328

Рабочих не пускают*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Рабочих не пускают 30 ноября, № 331

Кавказские разбойники*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Кавказские разбойники 6 декабря, № 337

Закон Плевако*

Впервые опубликован: «Закон Плевако» – «Курьер», 1902, 8 декабря.

Школьный воз*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Школьный воз 10 декабря, № 341

Надбавочка*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Надбавочка 12 декабря, № 343.

Припомните только описание этого знаменитого отныне дома в «Русском богатстве». – Имеется в виду «Мытарства» (очерки Московского работного дома) Семена Подъячева, опубликованные в «Русском богатстве», 1902, № 8, стр. 5-47 и № 9, стр. 79-109.

Переселенцы*

Впервые напечатан в «Курьере» за 1902 год: Переселенцы 12 декабря, № 343.

Суворины сыны*

Впервые опубликован: «Суворины сыны» – «Курьер», 1903, 15 марта.

[Сарказм – могучее оружие...]*

Впервые – газ. «Курьер», 1903, 19 марта.

Маленькие рабы*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Маленькие рабы 20 марта, № 22

Зеленое поле*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Зеленое поле 29 марта, № 31

Увечные дела*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Увечные дела 30 марта, № 32.

...покойного князя А. И. Урусова... – Александр Иванович Урусов (1843–1900) – известный адвокат. Пользовался большим авторитетом в адвокатских кругах Петербурга и Москвы как человек либерального образа мыслей, талантливый защитник и прекрасный оратор.

На дне*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: На дне 2 апреля, № 35

Добрый папаша*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Добрый папаша 9 апреля, № 41

[Странные, подчас трудно объяснимые вещи...]*

[Странные, подчас трудно объяснимые вещи...]. Впервые – газ. «Курьер», 1903, 11 апреля.

[Из всех зол и несчастий...]*

[Из всех зол и несчастий...]. Впервые – газ. «Курьер», 1903, 13 апреля.

Выставка и балаган*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Выставка и балаган 13 апреля, № 45.

«Века проходили, все к счастью стремилось, все в мире по несколько раз изменилось».
– Искаженная цитата из поэмы Н. А. Некрасо-

ва «Мороз, Красный нос». У Некрасова: «Века протекали...»

Фокусники*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Фокусники 19 апреля, № 51

Литературные картежники*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Литературные картежники 2 мая, № 64

Человек во фраке*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Человек во фраке 7 мая, № 69

Малолетние бродяги*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Малолетние бродяги 8 мая, № 70

Золотушные, малокровные*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Золотушные, малокровные 11 мая, № 73

Разумные развлечения*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903

год: Разумные развлечения 11 мая, № 73.

...даже мрачная толпа разных «Граждан», «Ведомостей» и пр. – Имеются в виду официозные, монархические газеты «Гражданин», «Московские ведомости».

В мутной воде*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: В мутной воде 11 мая, № 73.

Лавры Мильтиада не дают спать обывателю... – Мильтиад (VI–V в. до н. э.) – прославленный афинский полководец, одержавший в 490 году до н. э. крупную победу над персами.

...рассказывает одна петербургская газета... – Речь идет о газете «Биржевые ведомости», на страницах которой 8 мая 1903 года были напечатаны «Очерки необыкновенного» с подзаголовком «Страшный урок анатомии» за подписью Астарта. В очерке описан сеанс, происходивший 11 декабря 1893 года в Гельсингфорсе в доме инженера Сейлинга.

Это рассказывается не в «Ребусе»... – «Ребус» – еженедельный журнальчик развлекательного характера, издававшийся в Петер-

бурге с 1881 по 1915 год.

Белошвейки*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Белошвейки 13 мая, № 75.

...над песней о рубашке. – Здесь использовано название знаменитой «Песни о рубашке» английского поэта Томаса Гуда (1799–1845).

Светочи*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Светочи 17 мая, № 79

Братья-газетчики*

Впервые – газ. «Курьер», 1903, 19 мая.

Для того времени любопытен сам факт столь большой и ревностной заботы литератора о единстве, сплоченности «братьев» своего «цеха».

Обыкновенная история*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Обыкновенная история 19 мая, № 81.

Ссылка на письмо одного из читателей – не стилистический прием публициста. В ар-

хиве писателя хранится большое письмо за подписью А. Б – в, в котором автор письма рассказывал историю проститутки Е. А. Письмо с обращением к редактору начиналось словами: «Постоянно встречаясь с чуткой отзывчивостью со стороны Вашей уважаемой газеты на всякого рода явления текущей жизни – позволю себе надеяться, что Вы не откажете мне в помещении на столбцах Курьера следующего письма» (ЦГАЛИ, фонд № 457, оп. № 1, ед. хр. № 592). Письмо А. Б-ва Серафимович использовал в фельетоне почти полностью.

«Шумим»*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: «Шумим» 21 мая, № 83.

«Шумим, братец, шумим!» – слова Репетилова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Мальчик с кулем*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Мальчик с кулем 25 мая, № 87

Недогадливый мужик*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Недогадливый мужик 29 мая, № 90

Отравители*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Отравители 30 мая, № 91

Троглодиты*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Троглодиты 7 июня, № 99

Кандидат прав*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Кандидат прав 20 июня, № 112

[Умер доктор философии Филиппов...]*

[Умер доктор философии Филиппов...].
Впервые- газ. «Курьер», 1903, 22 июня.

Увеселительный сад*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Увеселительный сад 22 июня, № 114

Город самоубийц*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Город самоубийц 24 июня, № 116

Человек второго сорта*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Человек второго сорта 25 июня, № 117

Кондуктор*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Кондуктор 28 июня, № 120

Призреваемые*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Призреваемые 29 июня, № 121.

Семен Подъячев в «Русском богатстве»... – см. примечание к стр. 520.

Волжские нравы*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Волжские нравы 6 июля, № 128

Бойкое перо*

Впервые опубликован: «Бойкое перо» – «Курьер», 1903, 7 июля.

Катастрофа на Волге*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Катастрофа на Волге 10 июля, № 132

С дубинкой*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: С дубинкой 12 июля, № 134

Тяжелое ремесло*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: Тяжелое ремесло 13 июля, № 135

За театральными кулисами*

Впервые напечатаны в «Курьере» за 1903 год: За театральными кулисами 27 июля, № 149.

Степная Вифсаида*

Впервые напечатано в газете «Курьер», 1902, 27 октября, № 267 и 28 октября, № 268.

«Очерк носит древнебиблейское название местности, где – по легенде – евреи купались и исцелялись. Описана Манычская грязелечебная станция, устроенная Донским областным правлением на реке Маныч» (т. II, стр.

Очерк был написан по свежим впечатлениям от пребывания на Маныче в мае – июне 1902 года. Серафимович ездил туда и раньше. Манычскому курорту он еще в 1899 году посвятил очерк «Целебное озеро» (напечатан в газете «Донская речь», 1899, 12, 17, 19, 26, 30 сентября и 7 октября). Значительная часть этого очерка текстуально вошла в «Степную Вифсаиду».

И бледный месяц, как монах, Завернут в черных облаках... – цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

Мертвый город*

Впервые напечатано в журнале «Южные записки», 1904, № 54, 25 декабря, стр. 64–68 под заглавием «С Дону (Город без самоуправления)».

«Чем был бы хуже твой удел, когда б ты менее терпел» – неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «На Волге» (1860). У Некрасова «Чем хуже был бы твой удел».

Примечания

1

Чести ради, почета ради (*лат.*).

[^^^]

2

Времена меняются, и мы меняемся (*лат.*) –
Ред.

[^^^]

3

Капля камень долбит не силой, но частым паденьем (*лат.*).

[^^^]

Массово (*франц.*).

[^^^]

5

Смысл, разумное основание (*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

6

Бальный танец падепатинер – танец конькобежцев(*франц.*).

[^^^]

Высшее общество (*франц.*).

[^^^]

В дальнейшем при ссылках на «Высказывания автора» будут указываться только том и страница издания 1940–1948 годов.

[^^^]